Samuel P. Huntington

POLITICAL ORDER in Changing Societies

New Haven and London,
Yale University Press

Сэмюэл Хантингтон

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК в меняющихся обществах

Перевод с английского
В.Р. Рокитянского

Прогресс-Традиция
Москва

УДК 32
ББК 60.55
Х 19

Данное издание выпущено в рамках проекта «Translation Project» при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) – Россия и Института «Открытое общество» – Будапешт.

Издание осуществлено при содействии отдела культуры Посольства США

Хантингтон С.
Х 19 Политический порядок в меняющихся обществах. — М.: Прогресс-Традиция, 2004. — 480 с.

ISBN 5-89826-194-X

Исследование Сэмюэла Хантингтона, ведущего американского политолога, посвящено политическим и социальным особенностям процессов модернизации традиционных обществ. Автор подробно рассматривает типы исторически складывающихся политических институтов, роль политических лидеров, социальную структуру меняющихся обществ, значение политических партий в современном обществе.
Книга С. Хантингтона признана одной из наиболее значительных работ в области политической науки.

ББК 60.55

© 1968 by Yale University
© renewed 1996 by Samuel P. Huntington
© В.Р. Рокитянский, перевод, 2004
© А.В. Гордон, предисловие, 2004
© А.Б.Орешина, оформление, 2004
© Прогресс-Традиция, 2004

ISBN 5-89826-194-X

Содержание

А.В. Гордон
Сэмюэл Хантингтон и его концепция политической модернизации **7**

Предисловие **19**

1. Политический порядок и политический упадок **21**
Политический разрыв 21
Политические институты: сообщество и политический порядок 28
Политическая активность населения: модернизация и политический упадок 50
Политическая стабильность: гражданские и преторианские политические системы 94

2. Политическая модернизация: Америка и Европа **109**
Три варианта модернизации 109
Рационализация власти 113
Дифференциация структуры 122
Тюдоровские институты и участие масс в политической жизни 134
Тюдоровская политика и модернизирующиеся общества 145

3. Политическое изменение в традиционных государствах **151**
Власть, институты и политическая модернизация 151
Традиционные политические системы 158
Политическая инновация: реформа или свобода 164
Инкорпорирование групп: плюрализм или равенство 176
Дилемма короля: успех или выживание 186
Поддержание существующего положения вещей 193

4. Преторианство и политический упадок **201**
Источники преторианства 201
От олигархического преторианства к радикальному: перевороты-прорывы и солдат как реформатор 207
Радикальное преторианство: социальные силы и формы политического действия 217
От радикального преторианства к массовому: вето-перевороты и военные как охранители (guardians) 226

От преторианства к гражданскому строю:
военные в строительстве институтов 244

5. Революция и политический порядок **269**
Модернизация через революцию 269
Институционные и социальные условия революций 278
Город и революция 282
Интеллигенция среднего класса 291
Крестьяне и революция 293
Революционная коалиция и национализм 302
Политическое развитие через революцию 310
Ленинизм и политическое развитие 334

6. Реформа и политическое изменение **343**
Стратегия и тактика реформ: фабианство, блицкриг и насилие 343
Реформы: замена или катализатор? 359
Городская интеллигенция: реформа как катализатор 365
Крестьянство: реформа как альтернатива 370
Политика земельной реформы 375

7. Партии и политическая стабильность **391**
Модернизация и партии 391
Процессы партийного развития 405
Зеленое восстание: партийные системы
и политическая активизация села 424
Организационный императив 449

Примечания **450**

Сэмюэл Хантингтон и его концепция политической модернизации

Имя Сэмюэла Хантингтона хорошо известно российскому читателю, но эта известность связана почти исключительно с концепцией «войны», или, точнее, «столкновения цивилизаций», которую американский профессор сформулировал в начале 90-х годов и которая стала предметом оживленных дискуссий в научных и общественно-политических журналах страны[1]. Между тем ученый приобрел известность и авторитет одного из ведущих теоретиков модернизации развивающихся стран значительно раньше. Публикуемая издательством «Прогресс-Традиция» книга «Политический порядок в меняющихся обществах» (впервые изданная в 1968 г.) стала классикой политологической литературы и по сию пору остается одним из важнейших трудов по проблемам власти и ее роли в реформировании и развитии современного мира.

Сэмюэл Хантингтон родился 18 апреля 1927 г. в Нью-Йорке, в 1951 г. защитил диссертацию в Гарвардском университете и до настоящего времени занимает пост профессора в этом престижном и влиятельном учебном заведении, остававшемся на протяжении всего прошлого века центром подготовки политической элиты страны. Специализируясь в области международных отношений и национальной безопасности, Хантингтон стал автором многочисленных научных трудов, среди которых, кроме «Политического порядка в меняющихся обществах», наибольшую известность приобрели монографии «Армия и государство: теория и практика отношений между гражданскими и военными» (1957) и «Третья волна: демократические процессы в конце XX века» (1991)[2]. Последнее крупное сочинение, книга «Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядка»[3] (1996), переведенная на 22 языка, включая русский, принесла ученому мировую славу.

Хантингтон — видный организатор американской науки. Он был президентом и вице-президентом Американской ассоциации политической науки, основал специальный теоретический журнал по вопросам внешней политики «Foreign policy» (1970), возглавляет Институт стратегических исследований Джона Олина при Гарвардском университете (с 1989 г.). Хантингтон был и является научным консультантом различных правительственных агентств США, включая Совет национальной безопасности при президенте.

Хантингтон — ученый, в творчестве которого наука тесно переплетается с политикой, политология с политической технологией, теоретичес-

кие вопросы международных отношений с практическими задачами политики США, что придает его трудам свою специфику и особую познавательную ценность. «Политический порядок в меняющихся обществах» представляет именно такую книгу. Это основательный пересмотр и новое обоснование политики США в развивающемся мире, и одновременно — это обстоятельная характеристика политических процессов, происходящих в нем, основанная на весомом багаже сравнительно-исторических исследований.

«Политический порядок в меняющихся обществах» подводит итог важному этапу новейшей истории, который начался по окончании Второй мировой войны и содержанием которого явился распад колониальной системы с последовавшим за ним появлением на мировой арене так называемого третьего мира в образе многочисленных стран Азии, Африки, Латинской Америки, представляющих огромное большинство человечества. По мере складывания массива новых и вновь обретших национальную независимость стран остро обозначился разрыв между их претензиями на достойное место в современном индустриально-цивилизованном мире и традиционным строем и качеством жизни их по преимуществу сельского населения (отсюда другое название третьего мира — «крестьянские континенты»). Эти претензии нашли отражение в особой идейно-теоретической парадигме «модернизации», т. е. «осовременивания» стран третьего мира. Западные эксперты прогнозировали в ее рамках поступательное преобразование развивающихся стран в общества западного типа. Поэтому «модернизация» отождествлялась нередко еще с «вестернизацией» (от английского «western» — «западный»).

Парадигма развивалась в многочисленных научных трудах, варьировалась в различных теориях, обосновывалась разнообразным историческим, экономическим, политическим и иным материалом, оставаясь неизменной по сути. Исходя из исторического опыта развитых стран, в программу модернизации включали экономический рост, индустриализацию, урбанизацию, превращение рыночных отношений в универсальный принцип хозяйствования, консолидацию института частной собственности и развитие на этой основе предпринимательства, распространение грамотности и новейших средств коммуникации, обособление индивида, обезличивание социальных связей, секуляризацию и выработку рационалистического мировосприятия, внедрение правового порядка и демократических форм политического устройства, создание централизованных национальных государств.

Общей слабостью теорий модернизации был дихотомизм, представление о развивающихся обществах как антиподе развитых по всей сумме

социально-экономических и культурно-антропологических характеристик. Различие между теми и другими обществами сводилось в ряд противоположностей: аграрные — индустриальные, перераспределяющие ограниченные материальные ресурсы и регламентирующие общественные потребности — ориентированные на неограниченный рост производства и потребностей, авторитарные — либеральные, иерархические — эгалитарные, закрытые — открытые, семейственность (преданность первичной социальной ячейке) — гражданственность (лояльность обществу и государству), «растворенная» (стадная) личность — самостоятельный индивид, конформизм — творческая личность и т. д. Левая часть такого ряда формировала модель «традиционного общества», правая часть — модель «современного общества». Между состояниями «традиционности» и «современности» не было видно никакого исторического пространства: подразумевалось нечто вроде вознесения развивающихся стран из своей первозданности в цивилизованные по мировым стандартам общества. Схема «идеальной» модернизации диктовала полный разрыв государств третьего мира со своим прошлым, отказ от всякой преемственности, полное размежевание с культурной традицией.

Практика развития афро-азиатских и латиноамериканских стран в 1950–60-х гг. с жестокой очевидностью выявила слабость и даже порочность постулатов «идеальной» модернизации, и в конце названного периода последовал их решительный и всесторонний пересмотр. Общим его направлением сделался отказ от рецептов форсированной модернизации, вдохновляемых идеей «скачка», образом прямолинейной трассы в движении от «традиционности» к «современности». На смену пришло толкование этого перехода как длительной исторической эпохи, наполненной противоречивым соединением форм нового и старого. Вместо представления о прирожденном пороке стал утверждаться конструктивный подход к «традиционности», подразумевавший дифференциацию различных элементов традиции и возможность их частичного и избирательного использования в модернизационной стратегии.

Важное место в пересмотре заняли политические вопросы. Теоретиков модернизации по-человечески потрясла волна насилия, захлестнувшая многие районы развивающегося мира с началом движения к вожделенной «современности». Следовавшие здесь один за другим политические перевороты и социальные потрясения сопровождались многочисленными жертвами и отбрасывали развивающиеся страны далеко назад от идеальных целей. Обеспечение политического порядка и сохранение социальной стабильности начали осознаваться как высшие приоритеты в процессе развития. Эта установка и стала руководящей для профессора Хантингто-

на, а важность политического порядка, поиск способов его достижения и укрепления сделались лейтмотивом публикуемой книги.

Но хотя в книге «Политический порядок в меняющихся обществах» рассматривается проблема политической модернизации в третьем мире, было бы ошибкой считать, что ее автора интересовали только трудности развивающихся стран и просчеты американской «политики развития» в отношении этих стран. 1960-е годы оказались очень неспокойным временем для США. Мощное движение за гражданские права афро-американского населения, акции «Черных пантер» и экстремистских организаций праворадикального толка, демонстрации против войны во Вьетнаме, наконец, убийство президента США потрясли страну. Национальный кризис заставил многих ученых задуматься о судьбах Америки. Среди них оказалось немало теоретиков модернизации, особенно представителей так называемой социологии развития.

Характерны признания автора хорошо известной в 1960-х годах книги «Религия в обществе Токугава» Роберта Беллы: «Хотя моя позиция была гораздо более сдержанной, чем у других американских социологов, занятых проблемой модернизации... в большинстве моих работ примерно до 1965 г. можно заметить усилие построить некую систему, альтернативную марксизму... В известной мере это была современная апология либерального общества и попытка показать его значимость для развивающихся регионов». Однако события середины 1960-х годов в США подорвали уверенность ученого в том, что современные западные общества должны стать идеальным образцом развития, а их опыт эталоном для третьего мира. «Эти переживания, — пишет Белла, — заставили меня почувствовать, что проблемы американского общества, а не развивающихся обществ — самые серьезные проблемы современности»[4].

Подобное движение мысли еще в большей мере должно было затронуть автора «Политического порядка в меняющихся обществах». Хантингтон, как очевидно из названий его предшествовавших книг[5], был глубоко вовлечен в проблематику государственной политики и политической организации страны. Опубликованная в разгар глубокого общественного кризиса, затронувшего не одни США, а все страны Запада (движение «новых левых»), книга содержала размышления не только о политическом развитии афро-азиатских и латиноамериканских обществ; и не только превратности их модернизации побуждали автора поставить во главу угла ценность политического порядка. Внимательный читатель найдет в книге немало критических замечаний о конституционном строе, общественном мнении, официальной идеологии в США и соображений о путях совершенствования политического устройства страны. Но главное: анализируя исто-

рический опыт США и Западной Европы одновременно с современным развитием незападных обществ, Хантингтон формулирует существенные поправки к постулатам либеральной демократии и отвергает некоторые основоположения либерализма.

Отнюдь не политическая свобода, а эффективность политического режима становится для автора «Политического порядка в меняющихся обществах» исходным критерием модернизации страны и ее продвижения к «современности». «Может быть порядок без свободы, но не может быть свободы без порядка»[6], — формулирует Хантингтон свое кредо и цитирует ведущего политического обозревателя США 1960-х годов Уолтера Липпмана, который, с горечью размышляя о состоянии американского общества и смерти президента Джона Кеннеди, писал, что самая настоятельная необходимость для людей жить в управляемом обществе, «самоуправляющемся, если это возможно, хорошо управляемом, если посчастливится, но в любом случае — управляемом»[7].

Следуя критерию эффективного управления, Хантингтон оставлял в стороне один из важнейших идеологических догматов времен «холодной войны». В первых же строках книги он утверждает: главное в международной классификации государств не форма правления, а степень управляемости, и потому основное различие в политическом развитии проходит не между диктаторскими режимами коммунистических стран и либеральными системами Запада, а между теми и другими, с одной стороны, и большинством стран Азии, Африки и Латинской Америки — с другой. При этом Хантингтон констатирует, что эффективность коммунистических режимов зиждется на широкой общественной поддержке и убежденности большинства населения в их легитимности.

Коммунистическая система, пишет ученый, становится очень привлекательной в развивающихся странах, и это происходит не из-за того, что коммунисты продемонстрировали большие способности к ниспровержению существующего порядка. Не искусство захвата власти, а высокая способность ее удержать — основа их популярности в развивающемся мире. Именно поэтому «кремлевская» система управления столь же часто служит образцом для подражания в XX в., как «версальская», французский абсолютизм в XVII–XVIII вв. или «вестминстерская система» (английский парламентаризм) в XIX в.[8].

В развивающихся странах, считает автор «Политического порядка в меняющихся обществах», либералистские установки слишком часто наносят вред политическому развитию. Принцип разделения властей может порождать хаос в управлении, а «свободными и честными выборами» нередко пользуются реакционные силы для срыва проводимых преобразо-

ваний. Главное в политической модернизации, убежден Хантингтон, — это формирование политических институтов, способных привлечь широкие слои населения к этим преобразованиям и вместе с тем достаточно автономных, чтобы не поддаться популистскому или лоббистскому нажиму.

Как последовательный институционалист, Хантингтон размежевывается и с либералистскими, и с марксистскими подходами к власти. Он отнюдь не склонен абсолютизировать принцип представительного управления, еще меньше готов согласиться с марксистским тезисом о правительстве как «исполнительном комитете буржуазии». Система управления, доказывает Хантингтон, имеет не инструментальную ценность как орудие тех или иных интересов, а самоценность. Именно самоценность и автономность власти позволяют ей отстаивать общие интересы и добиваться общественного консенсуса. Очень известному (и с энтузиазмом подхваченному частью постсоветской элиты) положению «что хорошо для «Дженерал моторс», хорошо для страны» Хантингтон противопоставляет свое убеждение: «что хорошо для президентской власти, хорошо для страны»[9].

Отвергает Хантингтон «минималистские» концепции роли государства в обществе. Вопреки им ученый отстаивает тезис сильной и активной власти, находя, что только такая власть отвечает потребностям развивающихся обществ. Успех модернизации зависит, по Хантингтону, от способности политической системы осуществить радикальные преобразования, которые должны охватить не только институциональную систему, но все области общественной жизни, включая сферу общественного сознания (ценности, мотивацию, поведенческие нормы, структуру личности и определение ее идентичности). Немаловажно, что власть должна преобразовать и саму себя, рационализовав форму и природу управления.

Именно на путях рационализации и институциализации власти можно преодолеть издержки такого сопутствующего государственной власти явления, как коррупция. Хантингтон предлагает рассматривать проблему коррупции в историческом плане: коррупция, по его мнению, обусловлена определенным уровнем политического развития и традициями тех или иных обществ. То, что современными понятиями о государственной службе осуждается, поощряется нормами традиционных обществ, поскольку признается условием поддержания социальных связей или необходимым инструментом перераспределения материальных благ. Коррупция более характерна для централизованных систем имперского типа, чем для феодально-иерархических государств. Все же это универсальное социальное явление, становящееся острой политической проблемой в известные периоды истории всех стран, периоды радикальных общественных преобразований.

В подобных исторических условиях, свойственных переходу от «традиционности» к «современности», коррупцию нельзя считать абсолютным злом. Напротив, доказывает Хантингтон, она выполняет определенную функциональную роль, обеспечивая поддержку преобразований теми общественными группами, которые в противном случае могли выступить против проводящей преобразования власти. Она становится своеобразным громоотводом, поскольку там, где высока коррумпированность, высок и уровень насилия. Коррупция безусловно ослабляет эффективность управления; но главное, от чего предостерегает ученый, это форсированная борьба с ней. Такая борьба — выражается ли она в «легисломании», фабрикации все новых и новых законодательных актов, или в «морализации» проблемы, нагнетании общественных настроений — может принести больше вреда, чем собственно коррупция. Решение же проблемы требует поступательного развития общества, и прежде всего всестороннего совершенствования политической системы, т. е. для Хантингтона — ее институциализации.

Столь же критические замечания автор «Политического порядка в меняющихся обществах» высказывает по поводу стратегии борьбы с бедностью. Столкнувшись с ростом нестабильности и срывами модернизации в развивающихся странах, американские чиновники-либералы сочли причиной бедность и стали выстраивать графики зависимости числа актов насилия от величины национального продукта, приходящегося на душу населения. Провозгласив бедность врагом номер один, США ориентировали на борьбу с ней свою «политику развития». Обоснованием ее в 60-х годах стала доктрина Роберта Макнамары, министра обороны США, а затем президента Всемирного банка. Ссылаясь на рост насилия в странах Азии, Африки, Латинской Америки, Макнамара предлагал для них нечто вроде нового «плана Маршалла» в виде массированной финансовой и экономической помощи США и других стран Запада. Однако уже к концу 60-х годов выявилась несостоятельность этих планов.

Дело было не в несопоставимости масштабов Западной Европы и «крестьянских континентов», а в отношении к помощи последних. Сплошь и рядом она увековечивала слаборазвитость, поощряя паразитизм отдельных слоев населения и укрепляя реакционные режимы. Не случайно здоровая часть элиты третьего мира провозгласила тогда лозунг «торговля, а не помощь». Иными словами, трезвые и честные деятели этих государств ждали от Запада улучшения условий для национального развития, прежде всего облегчения экспорта продукции развивающихся отраслей экономики, коротко — вклада в развитие своих стран, а не благотворительности по отношению к бедным.

Осмысливая провалы американской политики «помощи развитию», Хантингтон пересматривает и некоторые положения институционализма в той форме, какая была придана ему господствовавшими в американских социальных науках экономоцентризмом и техно-экономическим детерминизмом. Можно вспомнить о знаменитой в 1960-х годах концепции «стадий роста» Уолта Ростоу, изложение которой автор назвал «некоммунистическим манифестом» (в пику классикам марксизма, опубликовавшим веком раньше «коммунистический манифест», точнее, книгу «Манифест Коммунистической партии»)[10]. Ростоу в своей программной работе последовательно свел парадигму модернизации к изменениям в экономике, положив поступательный рост производства в основу всех сдвигов на пути от «традиционного общества» к «современному». Не упоминая Ростоу, в то время помощника президента по вопросам национальной безопасности, Хантингтон отвергает точку зрения, что между экономической помощью и экономическим развитием, экономическим развитием и политической стабильностью существует прямая причинная связь. Подобную систему взглядов он объявляет «догмой», подчеркивая ее типичность для «американского мышления»[11].

В построении альтернативной позиции Хантингтону пришлось вести свой теоретический поиск за пределами институционализма. В известной мере «Политический порядок в меняющихся обществах» — свидетельство того, что задолго до книги, сделавшей его всемирно знаменитым, автор задумывался о возможностях рассмотрения проблем развития в рамках цивилизационного подхода. В общем направлении от институционализма структур-функционалистского толка (основоположником которого был Толкотт Парсонс) к цивилизационным теориям Хантингтон не продвинулся так далеко, как работавший одновременно с ним другой классик «модернизации» Шмуэль Эйзенштадт[12]; но тем важнее отметить начало этого движения.

Оно выражено уже в самом понимании институтов не как учреждений, а как основополагающих норм социальной жизни, устойчивость которых обусловлена признанием их легитимности в сфере общественного сознания. Характерна и трактовка Хантингтоном парадигмы «модернизации», где на первый план выступают сдвиги в сознании представителей модернизующихся обществ. Модернизация, пишет автор «Политического порядка в меняющихся обществах», невозможна, пока люди не начинают ощущать возможность перемен. «Прежде всего модернизация подразумевает веру в человеческую способность посредством осмысленной деятельности изменить свое природное и социальное окружение». Сознание перемен начинает формироваться, когда люди убеждаются в возможности

понять общество и природу, и восприятие этой возможности превращается в убежденность, что общественная жизнь и природная среда могут контролироваться человеком в соответствии с теми целями, которые он ставит перед собой. Это предполагает «прометеевское освобождение», преодоление фатализма в сознании, освобождение его от веры в подчиненность истории воле богов или рока[13].

Так в институциональный подход Хантингтона-политолога входит миф о Прометее в его цивилизационном значении особого, «прометеевского» типа личности, которая только и может стать субъектом «модернизированности» («modernity»). При этом автор «Политического порядка в меняющихся обществах» расходится с фундаменталистскими определениями этого мифа как свидетельства исключительности европейской цивилизации. В его трактовке тот культурно-исторический феномен, процесс утверждения которого в неевропейском мире стал предметом теорий модернизации и очагом формирования которого в XVII–XVIII вв. была Западная Европа, имеет универсальное значение.

Поскольку именно эту позицию, представление об универсальности «модернизированности», т. е. родившейся в Европе цивилизации Нового («modern») времени, Хантингтон пересмотрел в концепции «столкновения цивилизаций», важно отметить, от чего отправлялся теоретик политической модернизации, обращаясь к цивилизационному подходу. Именно универсалистские элементы цивилизационного подхода проглядываются и в разработке автором «Политического порядка в меняющихся обществах» проблематики революций. Процитировав мнение о том, что данное историческое явление — специфика Запада, он вносит знаменательное уточнение «революция — характерный признак модернизации»[14].

Затем, правда, Хантингтон проводит типологическое различение «западной» и «восточной» революций; но это скорее различие между социальной революцией и так называемой революцией «сверху», или государственным переворотом. Употребление классической антиномии ареальных цивилизаций (т.е. культурно-исторических образований, закрепленных, в отличие от цивилизации Нового времени, за определенным географическим пространством, «ареалом»)[15] «Запад—Восток», быть может, не случайно для будущего теоретика «столкновения цивилизаций», но в «Политическом порядке» это видится лишь символической данью европоцентристской традиции. И потому «западными» для автора «Политического порядка в меняющихся обществах» оказываются, наряду с французской, русская, мексиканская и отчасти китайская революции.

Подобные революции (Хантингтон называет их еще «великими»), носившие, в отличие, например, от американской, глубокий социальный ха-

рактер (который особенно отчетливо проявлял себя гражданской войной), ученый считает скорее исключением, чем правилом для модернизации обществ. Однако этот вывод, расходящийся с постулатами марксизма, отнюдь нельзя назвать уступкой либералистскому антиреволюционаризму. Хотя социальные революции не являются для ученого фатальной неизбежностью, они становятся, по его мнению, необходимостью в определенных ситуациях. В таких случаях, констатирует Хантингтон, «подлинно безнадежными обществами являются не те, которым угрожает революция, а те, которые неспособны ее осуществить»[16].

Размышляя о предпосылках социальных революций, автор «Политического порядка в меняющихся обществах» обращает внимание на позицию крестьянства. Это указание тоже симптоматично и очень выразительно характеризует место Хантингтона в политической науке того времени и либеральной политологии вообще. Для последней (как хорошо известно по тем трудам, что широко переводят, издают и цитируют в современной России) типично акцентирование позиции так называемого среднего класса или элит того либо иного рода. Аналогичным образом формировалось и мышление либеральных историков. Как раз в то время, когда Хантингтон писал «Политический порядок в меняющихся обществах», в изучении Великой французской революции, роль которой в наступлении эпохи «модерности» (Нового времени) он справедливо выделяет, произошла знаменательная смена парадигм: верх взяли «ревизионисты», для которых именно «революция элит» (а не крестьянские восстания или выступления городских низов) выражала сущность революции[17].

Напротив, Хантингтон склонен подчеркивать ограниченность исторических возможностей городского среднего класса, если они не обретут поддержку крестьянских масс. А для участия в революции у крестьян должны быть основательные причины, и никакая пропаганда не заменит крестьянскую заинтересованность. «Интеллигенция может найти союзника в революционном крестьянстве, но она не способна сделать крестьянство революционным»[18], — утверждает Хантингтон, подчеркивая значение глубинных социальных факторов, пренебрегать которыми стало плохой традицией в современной политологии.

Роль социальных факторов ученый отмечает и при проведении глубоких реформ. По его мнению, последние представляют еще более редкое явление в истории, чем революции, а успех радикально-всеобъемлющего реформирования (российскую «шоковую терапию» начала 90-х гг. XX в. можно, видимо, считать красноречивым примером) попросту невозможен. Причина в том, что силы сопротивления отдельным реформам объединяются в совместном выступлении против общего курса реформ и проводящей их

власти. В итоге «политическая мобилизация захватывает не те группы, не в то время, направлена на решение не тех задач»[19]. Ссылаясь, в частности, на опыт российских реформ в царствование Александра II, Хантингтон доказывает, что подобные радикальные преобразования «сверху» зачастую оказываются прологом революции вместо того, чтобы ее предупредить.

Автора «Политического порядка в меняющихся обществах» можно упрекнуть в определенной непоследовательности. Для проведения успешных реформ, считает он, особенно нужна государственная мудрость политического руководства, тогда как в осуществлении революции на первое место выдвигается роль политической организации. «Революционное движение — продукт революционной организации»[20], — цитирует Хантингтон В.И. Ленина. Акцентирование самоценности политических институтов в конечном счете придает власти самодовлеющий характер, и это особенно заметно, когда американский политолог буквально восхищается большевизмом как организацией власти, не очень задумываясь о том, какими способами она утверждалась. Ленинская партия служит для него эталоном политической организации безотносительно и к экономическим последствиям ее деятельности, и к идеологии, которую она выражала. В экономике, пишет Хантингтон, коммунизм безнадежно устарел, марксизм как историческая теория обанкротился, идеология классовой борьбы примитивна и в смысле эффективности далеко уступает национализму. Но ленинизм — замечательная политическая теория, а созданная Лениным партия — образец организационного совершенства. Произошло это потому, что Ленин, как считает автор «Политического порядка», перевернул учение Маркса «вверх дном», а в построении своей партии отказался от классового подхода, придав ей черты самодовлеющего корпоративного института.

Вообще в «Политическом порядке в меняющихся обществах» партия возводится на самую вершину политической теории и практики современного мира. «В модернизирующемся государстве политическая организация означает партийную организацию»[21], — лаконично постулирует автор в последней главе, носящей симптоматичное название «Партии и политическая стабильность». Такой вывод подкрепляется в книге и широко привлекаемым опытом модернизированных государств. При этом разница между однопартийной и многопартийной формами, двухпартийной структурой и системой доминирующей партии оказывается для Хантингтона чисто количественной. Важно, чтобы они справлялись со своей задачей институционализации политического порядка, обеспечивая тем самым стабильность в обществе.

Склонность Хантингтона к предельно четкому формулированию своих выводов оборачивается порой тем, что они оказываются сродни ма-

тематическим уравнениям. Эта склонность именно и проявилась с впечатляющей наглядностью в концепции «столкновения цивилизаций», придав ей ту прямолинейность, которая обеспечивает соответствующим теоретическим работам широкую (и одновременно шокирующую) популярность. Читатель «Политического порядка в меняющихся обществах», конечно, должен отдавать себе отчет в том, что за «математизацией» политических выводов кроется предпочтение более простых теоретических моделей сложным конструкциям, призванным учитывать многогранность политической действительности.

И все-таки это не умаляет достоинств книги и ее автора. За его политическими «уравнениями» угадываются серьезные и напряженные размышления, которые опираются на основательное изучение исторической и политической литературы, осмысление большого объема текущей информации. Решающее достоинство «Политического порядка в меняющихся обществах» — трезвость мышления автора, не склонного поддаваться гипнозу тех или иных идеологических доктрин и научно-теоретических постулатов. Хантингтон ищет свой путь, и в оригинальности подхода заключен в конечном счете секрет поучительности его выводов.

А.В. Гордон,
доктор исторических наук

Предисловие

«Политический порядок», о котором идет речь в названии книги, это желаемое, а не реальное состояние. Поэтому-то дальнейшее изложение наполнено описаниями насилия, нестабильности и беспорядка. В этом отношении данная книга напоминает те труды, которые вроде бы посвящены «экономическому развитию», в то время как их подлинным предметом оказываются экономическая отсталость и стагнация. Предполагается, что экономисты, пишущие об экономическом развитии, отдают именно ему предпочтение; соответственно, и эта книга выросла из моей аналогичной тяги к политической стабильности. Задача, которую я перед собой поставил, состоит в том, чтобы исследовать условия, при которых общества, переживающие быстрые и радикальные социальные и экономические изменения, могут в какой-то мере достичь этого состояния. Показатели экономического развития, такие, как валовой национальный продукт на душу населения, достаточно хорошо известны и привычны. Проявления политического порядка или его отсутствия — насилие, перевороты, мятежи и другие формы нестабильности — также вполне ясны и даже измеримы. Подобно тому как экономисты имеют возможность анализировать и обсуждать — в качестве экономистов — условия и политические действия, способствующие экономическому развитию, у политологов должна существовать возможность анализировать и обсуждать — принятым в науке образом — пути и средства достижения политического порядка, сколь бы они ни расходились во взглядах относительно законности и оправданности этой цели. Подобно тому как экономическое развитие зависит, до некоторой степени, от соотношения между инвестициями и потреблением, политический порядок зависит отчасти от соотношения между развитием политических институтов и мобилизацией новых общественных сил в политику. По крайней мере, таковы рамки, которыми определяется мой подход к проблеме.

Я проводил свое исследование и писал эту книгу в Центре международных отношений Гарвардского университета. Работа была поддержана частично Центром за счет его собственных ресурсов, частично Фондом Форда путем предоставления гранта университету на исследования в области международных отношений, а частично грантом от Корпорации Карнеги, предоставленным Центру на осуществление исследовательской программы в области политической институциализации и социальных изменений. Толчком для разработки принятой в этой книге системы аргументации в целом стало полученное от профессора Роберта Даля и Совета по международным отношениям Йельского университета приглашение выступить на Чтениях памяти Генри Л. Стимсона в 1966 году. Части глав 1, 2 и 3

публиковались в журналах «Уорлд политикс» и «Дедалус» и включены в состав данной книги с разрешения издателей этих двух журналов. Кристофер Митчелл, Джоан Нелсон, Эрик Нордлингер и Стивен Р. Ривкин прочли рукопись, полностью или частично, и сделали по ее поводу ценные замечания. В последние четыре года моим размышлениям о проблемах политического порядка и социальных изменений очень помогли проницательные и мудрые суждения преподавателей Гарварда и Массачусетского технологического института, моих коллег по семинару, посвященному проблемам политического развития. В числе тех, чей вклад имел непосредственное отношение к созданию этой книги, можно назвать Ричарда Олперта, Маргарет Бейтс, Ричарда Беттса, Роберта Брюса, Аллана Э. Гудмена, Роберта Харта, Кристофера Митчелла и Уильяма Шнейдера. Наконец, на протяжении всего времени работы над книгой в качестве неоценимого помощника в исследовательской работе, редактора, машинистки, корректора и, что самое важное, начальника штаба, связывающего воедино работу всех тех, кто также исполнял эти роли, выступала Ширли Йоханнесен Левин. Я глубоко признателен всем этим организациям и лицам за их поддержку, советы и помощь. При этом за все имеющиеся ошибки и недостатки ответственность несу я один.

Сэмюэл П. Хантингтон
Кембридж, Массачусетс
апрель 1968 г.

1. Политический порядок и политический упадок

Политический разрыв

Самым важным из того, что отличает одну страну от другой в политическом отношении, является не форма правления, а степень управляемости. Демократические страны и диктатуры отличаются друг от друга меньше, чем отличаются те страны, политическая жизнь которых характеризуется согласием, прочностью общественных связей, легитимностью, организованностью, эффективностью, стабильностью, от тех, где этого всего недостает. И коммунистические тоталитарные государства, и либеральные страны Запада принадлежат к политическим системам высокой эффективности. Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз имеют различные формы правления, но во всех трех странах правительство управляет. Каждая из них представляет собой политическое сообщество с высочайшей степенью согласия народа относительно легитимности системы правления. В каждой из этих стран граждане и их лидеры имеют единые представления о характере общественного интереса и о тех традициях и принципах, на которых базируется жизнь данного политического сообщества. Во всех трех странах существуют сильные, гибкие, прочные социальные институты: эффективные бюрократии, хорошо организованные политические партии, высокая степень народного участия в общественных делах, работоспособные системы гражданского контроля над военными, широкое участие государства в экономике и достаточно действенные процедуры, обеспечивающие преемственность власти и регулирование политических конфликтов. Правительства этих стран располагают лояльностью своих граждан и в силу этого имеют возможность облагать ресурсы налогами, мобилизовывать рабочую силу, обновлять и осуществлять свою политику. Если Политбюро, Кабинет министров или Президент принимают решение, то велика вероятность, что посредством государственной машины оно будет проведено в жизнь.

Во всех этих отношениях политические системы США, Великобритании и Советского Союза существенно отличаются от систем управления многих модернизирующихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. В этих странах многого недостает: продовольствия, грамотности, образования, богатства, доходов, здоровья, но многое из этого уже осознано, и прилагаются усилия по выправлению положения. Но помимо названных трудностей и в их основании лежит порок более существенный: недостаточная прочность общественных связей и недостаточно эффективная, ав-

торитетная, легитимная государственная власть. «Я знаю, — писал Уолтер Липпман, — что нет ничего, в чем бы люди нуждались больше, чем в управлении, чтобы по возможности это было самоуправление, чтобы, если повезет, это управление было эффективным, но во всяком случае чтобы оно, управление, существовало»*[1]. Эти слова продиктованы отчаянием, которое Липпман испытывал в тот момент в отношении США. Но в гораздо большей мере они приложимы к модернизирующимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, где общество политически расколото и где у политических институтов мало власти, еще меньше авторитета и совсем нет гибкости — где, во многих случаях, правительство просто-напросто не управляет.

В середине 50-х Гуннар Мюрдаль привлек внимание всего мира к тому очевидному факту, что богатые страны мира богатеют, абсолютно и относительно, быстрее, чем бедные страны. «В целом, — утверждал он, — в последние десятилетия экономическое неравенство между развитыми и слаборазвитыми странами увеличивалось». В 1966 г. президент Всемирного банка указывал на то, что при существующих темпах роста разница в национальном доходе на душу населения в США и в сорока слаборазвитых странах к 2000 г. увеличится на 50%[2]. Ясно, что одним из важнейших вопросов мировой экономики — может быть, самым важным — является по видимости неустранимая тенденция увеличения этого экономического разрыва. Сходная и не менее насущная проблема существует и в политической сфере. В политике, как и в экономике, разрыв между развитыми и слаборазвитыми политическими системами, между гражданскими и иными формами государственного устройства увеличился. Этот политический разрыв аналогичен экономическому и связан с последним, но ему не тождествен. Страны со слаборазвитой экономикой могут иметь высокоразвитые политические системы, а в странах, достигших высокого уровня экономического развития, политическая жизнь может при этом быть дезорганизованной и хаотической. И все-таки в XX в. как политическая неразвитость, так и слаборазвитая экономика характерны в первую очередь для модернизирующихся стран Азии, Африки и Латинской Америки.

За немногими исключениями, политическая эволюция этих стран после Второй мировой войны характеризовалась обострением этнических и классовых конфликтов, повторяющимися вспышками массовых беспорядков и насилия, частыми военными переворотами, нахождением у власти деспотических и неуравновешенных лидеров, часто проводивших разрушительную экономическую и социальную политику, широкомасштабной

* Цифрами обозначены примечания автора (см. с. 450–480).

коррупцией среди государственных чиновников, нарушением прав и свобод граждан, неэффективностью бюрократии, всеобъемлющим взаимным отчуждением городских политических групп, падением авторитета законодательных и судебных органов и фрагментацией, а подчас и полной дезинтеграцией политических партий, имевших широкую общественную опору. За два десятилетия, прошедшие с окончания Второй мировой войны, успешные перевороты произошли в 17 из 20 латиноамериканских стран (конституционный строй сохранялся только в Мексике, Чили и Уругвае), в полудюжине стран Северной Африки и Ближнего Востока (Алжир, Египет, Сирия, Судан, Ирак, Турция), примерно в таком же числе стран Западной и Центральной Африки (Гана, Нигерия, Дагомея, Верхняя Вольта, Центрально-Африканская Республика, Конго) и в ряде стран Азии (Пакистан, Таиланд, Лаос, Южный Вьетнам, Бирма, Индонезия, Южная Корея). Революционное насилие, восстания и гражданские войны раскололи Кубу, Боливию, Перу, Венесуэлу, Колумбию, Гватемалу и Доминиканскую Республику в Латинской Америке, Алжир и Йемен на Ближнем Востоке, Индонезию, Таиланд, Вьетнам, Китай, Филиппины, Малайю и Лаос в Азии. Насилие или напряженность на расовой, племенной и религиозной почве потрясали Гайану, Бурунди, Судан, Руанду, Кипр, Индию, Цейлон, Бирму, Лаос и Южный Вьетнам. В Латинской Америке архаичные, олигархические диктатуры в таких странах, как Гаити, Парагвай и Никарагуа, поддерживали существование нестабильных полицейских режимов. В восточном полушарии традиционные режимы в Иране, Ливии, Саудовской Аравии, Эфиопии и Таиланде пытались себя реформировать, едва удерживаясь на краю революционного обрыва.

В течение 1950-х и 1960-х в большинстве стран мира резко возросло число случаев политического насилия и нарушения порядка. 1958 год, согласно одному из исследований, принес около двадцати восьми затяжных партизанских войн, четыре военных путча и две войны обычного типа. Семь лет спустя, в 1965 г., насчитывалось 42 длительных повстанческих движения, произошло десять военных мятежей и пять конфликтов обычного типа. В период 1955–1962 гг. насилие и другие дестабилизирующие события наблюдались в пять раз чаще, чем в 1948–1954 гг. 64 страны из 84 в более поздний из этих периодов оказались в менее стабильном состоянии[3]. Повсюду в Азии, Африке и Латинской Америке происходило ослабление политического порядка, подрыв авторитета, эффективности и легитимности власти. Падал уровень гражданственности и патриотизма, не было политических институтов, способных придать общественному интересу значимость и направленность. Характерной чертой ситуации было не политическое развитие, а политический упадок.

Таблица 1.1. Военные конфликты, 1958–1965

	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Длительные партизанские войны	28	31	30	31	34	41	43	42
Краткие мятежи, путчи, восстания	4	4	11	6	9	15	9	10
Войны обычного типа	2	1	1	6	4	3	4	5
Всего	34	36	42	43	47	59	56	57

Источник: Министерство обороны США.

Чем были вызваны эти насилие и нестабильность? Моя идея состоит в том, что они были в значительной мере продуктом быстрого социального изменения и быстрой мобилизации новых групп в политическую жизнь в сочетании с медленным развитием политических институтов. «Среди законов, регулирующих жизнь человеческих обществ, — писал Токвиль, — есть один, который представляется более неукоснительным и четким, чем другие. Если люди хотят оставаться цивилизованными или становиться таковыми, искусство совместной жизни должно возрастать и совершенствоваться пропорционально росту политического равенства»[4]. Политическая нестабильность в Азии, Африке и Латинской Америке есть именно следствие того, что это условие не соблюдается: политическое равенство ширится много быстрее, чем «искусство совместной жизни». Социальные и экономические изменения — урбанизация, распространение грамотности и образования, индустриализация, распространение средств массовой коммуникации — расширяют горизонты политического сознания, умножают политические требования, расширяют число участников политической жизни. Эти изменения подрывают традиционные источники политического авторитета и традиционные политические институты; они чудовищно усложняют проблемы создания новых оснований политического единства и новых политических институтов, соединяющих в себе легитимность и эффективность. Темпы социальной мобилизации и роста политической активности населения высоки; темпы политической организации и институциализации низки. Результатом оказываются политическая нестабильность и беспорядок. Важнейшая проблема политики — это отставание в развитии политических институтов сравнительно с социальными и экономическими изменениями.

За два десятилетия, прошедшие после окончания Второй мировой войны, американская внешняя политика не сумела справиться с этой проблемой. Экономический разрыв, в отличие от политического разрыва, был объектом постоянного внимания, анализа и действия. Программы помощи и программы займов, Всемирный банк и региональные банки, ООН и ОЭСР, консорциумы и картели, экономисты и политики — все вносили свой вклад в решение проблемы экономического развития. Между тем проявил ли кто-нибудь внимание к проблеме разрыва политического? Американские политики признавали, что США крайне заинтересованы в создании жизнеспособных политических режимов в модернизирующихся странах. Но лишь немногие действия американского правительства в отношении этих стран сколько-нибудь способствовали укреплению там политической стабильности и преодолению политического разрыва. Как можно объяснить это поразительное упущение?

Представляется, что его причины коренятся в двух различных аспектах американского исторического опыта. Благополучная история США — вот что делает их слабо восприимчивыми к проблемам модернизирующихся стран. В своем развитии США оказались счастливыми обладателями более чем справедливой доли экономического богатства, социального благополучия и политической стабильности. Это благоприятное сочетание обстоятельств породило в американцах веру в единство блага, в то, что все хорошее взаимосвязано и что достижение одной социальной цели способствует достижению других. Что касается американской политики в отношении модернизирующихся стран, то этот опыт отразился в том убеждении, что политическая стабильность есть естественное и неизбежное следствие, прежде всего, экономического развития, а затем социальных реформ. На протяжении 1950-х гг. важнейшей предпосылкой американской политики было то, что экономическое развитие — ликвидация нищеты, болезней, неграмотности — есть необходимое условие политического развития и политической стабильности. В мышлении американцев выстраивалась следующая причинная цепь: экономическая помощь способствует экономическому развитию, экономическое развитие способствует политической стабильности. Эта догма отразилась в законодательстве и, что, может быть, еще важнее, она укоренилась в умах чиновников Агентства международного развития и других ведомств, ответственных за программы помощи зарубежным странам.

Если в 1965 г. политический упадок и политическая нестабильность приняли в Азии, Африке и Латинской Америке бóльшие масштабы, нежели

пятнадцатью годами ранее, то это отчасти связано с тем, что в американской политике возобладало такое ложное убеждение. Дело в том, что в действительности экономическое развитие и политическая стабильность — это две независимые друг от друга цели и продвижение в направлении одной из них не имеет необходимой связи с продвижением к другой. В некоторых случаях программы экономического развития могут способствовать политической стабилизации; в других случаях они могут существенно подрывать политическую стабильность. Равно как и некоторые формы политической стабильности могут содействовать экономическому росту; другие же могут ему препятствовать. Индия в 1950-е гг. была одной из беднейших стран мира и имела очень скромные темпы экономического роста. И при этом усилиями партии Индийский национальный конгресс она достигла высокой степени политической стабильности. В Аргентине и Венесуэле доход на душу населения был раз в десять выше, чем в Индии, между тем для обеих стран стабильность оставалась недосягаемой целью.

С возникновением в 1961 г. Союза ради прогресса у американской политики в отношении модернизирующихся стран появилась еще одна осознанная и очевидная цель, помимо экономического развития, — социальная реформа, т.е. более справедливое распределение материальных и духовных ресурсов. Появление этой новой цели было отчасти реакцией на кубинскую революцию и отражало убеждение разработчиков политики в том, что земельная и налоговая реформы, программы жилищного строительства и повышения уровня жизни должны содействовать смягчению социального напряжения и ослаблять влияние революционной Кубы. И на этот раз политическая стабильность должна была стать побочным продуктом достижения другой социальной цели. На самом деле, разумеется, соотношение между социальной реформой и политической стабильностью сходно с соотношением между экономическим развитием и политической стабильностью. В некоторых обстоятельствах реформы могут приводить к снижению напряженности и способствовать мирному, а не насильственному изменению. В других обстоятельствах, однако, реформы могут обострять напряжение, порождать насилие и оказываются не альтернативой революции, ее а катализатором.

Еще одной причиной безразличия американцев к проблемам политического развития является отсутствие в американском историческом опыте необходимости утверждать политический порядок. Американцы, писал Токвиль, рождены равными и потому никогда не были озабочены проблемой равенства; они наслаждались плодами демократической революции, не выстрадав ее. Америка получила систему правления, политические институты и политическую практику, вывезенные из Англии XVII в. Поэтому

американцы никогда не были обеспокоены проблемой выработки системы публичной власти. Этот пробел в историческом опыте сделал их крайне невосприимчивыми к проблемам создания эффективной власти в модернизирующихся странах. Когда американец думает о проблемах государственного строительства, его внимание направлено не на создание органов управления и укрепление власти, а на ограничение и разделение власти. Получив заказ на разработку системы управления, он предлагает конституцию, билль о правах, систему разделения властей, сдержек и противовесов, федерализм, регулярные выборы, борьбу партий — замечательные инструменты ограничения власти государства. В своей приверженности локковской политической философии американец настолько антигосударственник, что государство для него есть средство ограничения власти. В ситуации, когда нужно разработать политическую систему, которая бы максимально утверждала власть и порядок, он беспомощен. У него на все случаи жизни один рецепт: государственная система должна основываться на свободных и справедливых выборах.

Во многих модернизирующихся странах эта формула не работает. Чтобы выборы имели смысл, необходим определенный уровень политической организации. Проблема состоит не в том, чтобы проводить выборы, а в том, чтобы создавать организацию. Во многих, если не во всех, модернизирующихся странах выборы лишь укрепляют влияние разрушительных и часто реакционных общественных сил, подрывают систему политического управления. «При создании системы управления одних людей другими людьми, — предупреждал Мэдисон в № 51 «Федералиста», — немалая трудность связана с тем, что нужно сначала обеспечить власть управляющих над управляемыми, а во вторую очередь обязать их подчинить этой власти самих себя». Во многих модернизирующихся странах правительства до сих пор не способны к осуществлению первой из этих функций, не говоря уже о второй. Главной проблемой является не обеспечение свободы, а утверждение законного политического строя. Порядок может, разумеется, существовать и без свободы, но свобода невозможна без порядка. Прежде чем ставить вопрос об ограничении власти, должна существовать сама власть, а именно власти не хватает в тех модернизирующихся странах, где она является заложницей оппозиционной интеллигенции, мятежных полковников и бунтующих студентов.

Вот этот-то дефицит власти нередко способны ликвидировать коммунистические и прочие радикальные движения. История достаточно определенно свидетельствует о том, что коммунистические режимы не эффективнее свободных стран в борьбе с голодом, развитии здравоохранения, обеспечении роста национального производства, создании новых

отраслей и повышении благосостояния. Зато они обеспечивают эффективное государственное управление. Их идеология служит основой легитимности, а их партийная организация обеспечивает институциональные механизмы для мобилизации поддержки и осуществления политических стратегий. Во многих модернизирующихся странах свергнуть правительство несложно: достаточно бывает одного батальона, двух танков и полудюжины полковников. Но ни в одной модернизирующейся стране с помощью военного переворота не было свергнуто коммунистическое правительство. Реальный коммунистический вызов для модернизирующихся стран состоит не в том, что коммунистам так хорошо удается свержение правительств (это легко), а в том, что им так хорошо удается организация государственного управления (что много труднее). Они не обеспечивают свободы, но они обеспечивают порядок; они создают правительства, способные управлять. В то время как американцы прилагают большие усилия, чтобы уменьшить экономическое отставание, коммунисты предлагают модернизирующимся странам испытанный метод преодоления политического отставания. В ситуациях, когда модернизирующиеся страны страдают от социальных конфликтов и насилия, коммунисты дают им некоторую надежду на достижение политического порядка.

Политические институты: сообщество и политический порядок

Общественные силы и политические институты

Уровень политической общности, достигаемый обществом, отражает связь между его политическими институтами и составляющими его общественными силами. Общественная сила — это этническая, религиозная, территориальная или экономическая группа. Модернизация в значительной мере связана с умножением и диверсификацией наличных в обществе социальных сил. Помимо группировок, основанных на родстве, расовой и религиозной общности, возникают группировки по профессиональному, классовому и образовательному признаку. В свою очередь, политическая организация или процедура есть средство для установления порядка, разрешения споров, выдвижения авторитетных лидеров и тем самым для установления общности между теми или иными общественными силами. Простое политическое сообщество может иметь основанием этническую, религиозную принадлежность или род занятий и не нуждаться в высокоразвитых политических институтах. Оно характеризуется единством

в смысле дюркгеймовой механической солидарности. Чем, однако, сложнее и неоднороднее общество, тем в большей мере достижение и поддержание политической общности оказывается зависимым от функционирования политических институтов.

На практике различие между политическим институтом и общественной силой не вполне отчетливо. Многие группы совмещают в себе черты того и другого. Между тем теоретическое различие между ними вполне ясно. Можно утверждать, что все люди, участвующие в политической жизни, являются членами различных общественных группировок. Уровень политического развития общества в значительной мере зависит от того, в какой степени политические активисты принадлежат к различным политическим институтам и идентифицируются с ними. Очевидно, что разные общественные силы существенно различаются по своему могуществу и влиянию. В обществе, где все принадлежат к одной общественной силе, конфликты ограничены и разрешаются в рамках структуры этой общественной силы. Здесь нет нужды в определенных политических институтах. В обществе с небольшим числом общественных сил какая-нибудь одна группа — военные, священнослужители, какой-то один род, расовая или этническая группа — может господствовать над другими и эффективно понуждать их к подчинению своей власти. Общество может существовать при невысокой степени общности или ее отсутствии. Но в обществе, обладающем достаточно высокой неоднородностью и сложной структурой, ни одна общественная сила не может править в одиночку и тем более не может установить согласие, если не созданы политические институты, которые бы существовали до некоторой степени независимо от тех общественных сил, которые их создали. «Сильнейший, — согласно часто цитируемому высказыванию Руссо, — никогда не силен настолько, чтобы всегда оставаться господином, если только он не превратит свою силу в право, а повиновение в долг». В обществе любой сложности сравнительное могущество групп изменяется, но, чтобы это общество было единым, могущество каждой из групп осуществляется через посредство политических институтов, которые умеряют это могущество и изменяют его направленность таким образом, чтобы сделать доминирование одной группы совместимым с согласием многих.

При полном отсутствии социальных конфликтов политические институты не нужны; при полном отсутствии общественной гармонии они невозможны. Две группы, видящие друг в друге непримиримых врагов, не могут сформировать фундамент для сообщества до тех пор, пока это взаимовосприятие не изменится. У групп, составляющих общество, должны быть совместимые интересы. Кроме того, сложное общество нуждается в некотором определении — в терминах общего принципа или этических обязаннос-

тей — той связи, которая удерживает группы вместе и отличает это сообщество от других. В простом обществе общность основывается на непосредственной связи одного лица с другим: мужа с женой, брата с братом, соседа с соседом. И обязанности, и общность носят непосредственный характер; ничто не привносится извне. В более сложном обществе, однако, общность связана с отношением отдельных людей или групп к чему-то внешнему для них. Обязанность относится к некоторому принципу, традиции, мифу, цели или кодексу поведения, общим для этих лиц или групп. Сведенные воедино, эти элементы образуют то, что Цицерон определял как «сообщество» или «совместное существование значительного числа людей, связанных общим соглашением о законе и правах и желанием пользоваться преимуществами совместного существования». Consensus juris и utilitatis communio* суть две стороны политической общности. Есть, однако, и третья сторона. Намерения, установки должны отражаться в поведении, а сообщество предполагает не просто «совместное существование», но упорядоченное, стабильное и устойчивое совместное существование. Короче говоря, совместное существование должно быть институциализовано. И создание политических институтов, связанное с моральным согласием и общими интересами и их отражающее, составляет, следовательно, третий элемент, необходимый для установления общности в сложном обществе. Такие институты, в свою очередь, придают новый смысл общей цели и по-новому увязывают частные интересы индивидов и групп.

Таким образом, уровень общности в сложном обществе зависит, в первом приближении, от прочности и силы его политических институтов. Институты являются поведенческим выражением морального согласия и общих интересов. Отдельная семья, клан, племя или сельская община могут достигать общности ценой сравнительно небольших сознательных усилий. Они представляют собой в некотором роде естественные сообщества. По мере того как общества становятся более многочисленными, более сложными в структурном отношении и осуществляющими все более разнообразную деятельность, достижение и поддержание высокого уровня общности все больше зависит от политических институтов. Люди, однако, не склонны отказываться от образа общественной гармонии, достигаемой и поддерживаемой без политического действия. Это было мечтой Руссо. Это же остается мечтой государственных и военных деятелей, воображающих, что они могут добиться общности в своих социумах без приложения усилий в сфере политики. Это же является эсхатологической целью

* Consensus juris — единство законов, utilitatis communio — общественная польза (*лат.*).

марксистов, которые надеются создать в конце истории совершенное сообщество, в котором политика станет ненужной. На самом деле эта атавистическая идея могла бы осуществиться лишь в том случае, если бы история обратилась вспять, цивилизация была бы уничтожена, а из уровней организации человечества сохранились бы только семья и сельская община. В простых обществах общность может существовать без политики или, во всяком случае, без высокодифференцированных политических институтов. В сложном обществе общность возникает в результате политического действия и поддерживается политическими институтами.

Исторически политические институты возникли из взаимодействия и разногласий между общественными силами и постепенного развития процедур и организационных механизмов для разрешения этих разногласий. Дробление малочисленного и однородного правящего класса, диверсификация общественных сил и возрастающее взаимодействие между этими силами — таковы предпосылки возникновения политических организаций и процедур и создания в конечном счете политических институтов. «Осознанная выработка конституций началась в средиземноморском мире, видимо, тогда, когда ослабла клановая организация и борьба между богатыми и бедными стала существенным политическим фактором»[5]. Афиняне призвали Солона для учреждения конституции тогда, когда их государство оказалось под угрозой распада из-за того, что «население разделилось на несколько партий по числу различных территорий» и «неравенство между богатыми и бедными дошло тогда, так сказать, до высшей точки»[6]. Чем больше усложнялось афинское общество, тем более развитые политические институты требовались для поддержания в нем политической общности. Реформы Солона и Клисфена были ответами на социально-экономические изменения, угрожавшие подрывом прежнего фундамента сообщества. По мере того как росло разнообразие общественных сил, политические институты должны были усложняться и усиливаться. Но как раз именно этого и не произошло в XX в. в модернизирующихся странах. Общественные силы были сильны, а политические институты слабы. Законодательные и исполнительные органы, общественные авторитеты и политические партии оставались непрочными и дезорганизованными. Развитие государства отставало от эволюции общества.

Критерии политической институциализации

Политическая общность в сложном обществе зависит, таким образом, от силы существующих в этом обществе политических организаций и того,

насколько прочно утвердились в нем соответствующие политические процедуры. Эта сила и эта прочность зависят, в свою очередь, от того, насколько широкую *поддержку* имеют организации и процедуры, и от уровня их *институциализации*. Масштабы поддержки означают всего лишь то, в какой мере политическими организациями и процедурами охвачена проявляющаяся в обществе активность[7]. Если лишь небольшое число представителей высшего класса состоит в политических организациях и подчиняет свое поведение некоторому набору процедур, то их поддержка ограничена. Если же большая часть населения соблюдает политические процедуры, то поддержка широка. Институты — это устойчивые, значимые и воспроизводящиеся формы поведения. Организации и процедуры могут обладать различным уровнем институциализации. И Гарвардский университет, и недавно открытая сельская школа являются организациями, но в Гарвардском университете мы наблюдаем много больше признаков института, нежели в средней школе. Как заседания Конгресса, так и пресс-конференции президента Джонсона — процедуры, но процедура определения старшинства много более институциализована, чем манера президента Джонсона общаться с прессой.

Институциализация — это процесс, посредством которого организации и процедуры приобретают ценность и устойчивость. Уровень институциализации какой-либо политической системы определяется адаптивностью, сложностью, автономией и согласованностью ее организаций и процедур. Равным образом уровень институциализации какой-либо отдельной организации или процедуры измеряется ее адаптивностью, сложностью, автономией и внутренней целостностью. Если есть возможность выделить и измерить эти критерии, можно сравнивать политические системы по уровню их институциализации. Можно также оценивать возрастание и снижение уровня институциализации отдельных организаций и процедур в составе политической системы.

Адаптивность — ригидность. Чем более адаптивна организация или процедура, тем выше уровень ее институциализации; чем она менее адаптивна и более ригидна, тем ниже уровень ее институциализации. Адаптивность — приобретаемая характеристика организации. Грубо говоря, это функция давления со стороны окружающей среды и возраста организации. Чем больше требований предъявляет окружающая среда и чем организация старше, тем более она адаптивна. Ригидность в большей мере присуща молодым организациям, чем старым. В то же время старые организации и процедуры не обязательно адаптивны, если они существовали в статичном окружении. Кроме того, если за какой-то период времени организация выработала набор реакций для эффективного решения одного

типа проблем, а позднее ей пришлось столкнуться с совершенно другим типом проблем, требующим других реакций, то организация вполне может оказаться жертвой своих прошлых успехов и не приспособиться к новым условиям. В целом, однако, первое препятствие — самое трудное. Успешная адаптация к одному вызову со стороны окружающей среды прокладывает путь для успешной адаптации к последующим вызовам. Если, к примеру, вероятность успешного преодоления первой трудности составляет 50%, вероятность успешной адаптации ко второму вызову может составить 75%, к третьему вызову — 87,5%, к четвертому — 93,75% и т. д. Какие-то изменения в окружающей среде неизбежны для всякой организации. Другие изменения среды могут быть продуктом функционирования самой организации — как, например, в тех случаях, когда она успешно решает те задачи, для выполнения которых была изначально создана. Если принять, что среды могут различаться в отношении требований, предъявляемых ими к организациям, то адаптивность организации может в первом приближении измеряться ее возрастом[8].

Что же касается возраста, то он измеряется трояко.

Один способ — чисто хронологический: чем дольше существует организация или процедура, тем выше уровень ее институциализации. Чем старше организация, тем вероятнее, что она будет существовать в течение некоторого времени и в будущем. Можно предполагать, что для столетней организации вероятность того, что она проживет еще один год, в сто раз выше, чем вероятность прожить еще один год для организации с годичным стажем. Таким образом, политические институты складываются не за один день. Политическое развитие есть в этом смысле медленный процесс, особенно по сравнению с намного более динамичным процессом экономического развития. В некоторых случаях определенные виды опыта могут оказывать влияние, сравнимое с влиянием времени: острый конфликт или другие серьезные испытания могут приводить к более быстрому преобразованию организаций в институты, чем в условиях нормальной жизни. Но такие интенсивные воздействия редки, и даже при их наличии, требуется время. «Крупная партия, — замечает Ашока Мехта, объясняя, почему коммунизм потерпел неудачу в Индии, — не создается в одночасье. В Китае становлению крупной партии способствовала революция. И в других странах крупные партии возникали в процессе революций. Но в обычных условиях просто невозможно сформировать большую партию, невозможно мобилизовать миллионы людей в полумиллионе деревень»[9].

Еще одна мера адаптивности — поколенческий возраст. Пока во главе организации остается первое поколение ее лидеров, пока процедура исполняется ее инициаторами, адаптивность организации остается под

сомнением. Чем чаще организации пришлось решать проблему мирного перехода власти из одних рук в другие, чем чаще сменялись ее руководители, тем выше уровень ее институциализации. Разумеется, поколенческий возраст есть в значительной мере функция хронологического возраста. Но политические партии и правительства могут десятилетиями оставаться под руководством одного поколения лидеров. Основатели организаций — партий, правительств или корпораций — часто молоды. Поэтому разрыв между хронологическим возрастом и поколенческим в ранней истории организации обычно более значителен, чем в последующие периоды ее существования. Этот разрыв порождает напряжение между первыми руководителями организации и поколением, следующим непосредственно после них, теми, кому маячит перспектива прожить всю свою жизнь в тени первого поколения. В середине 1960-х гг. Коммунистической партии Китая было 45 лет, но руководило ею в значительной части первое поколение вождей. Бывает, конечно, что в организации сменяется руководство без смены поколения руководителей. Одно поколение отличается от другого своим жизненным опытом. Простая замена одной группы руководителей на другую в ситуации, например, преодоления кризиса преемственности что-то значит с точки зрения институциальной адаптивности, но ее значение не столь велико, как при смене поколения руководителей, т. е. при замене одной группы руководителей на другую, с существенно иным организационным опытом. Переход власти от Ленина к Сталину имел внутрипоколенческий характер; переход от Сталина к Хрущеву был межпоколенческим.

В-третьих, организационная адаптивность может измеряться в функциональных терминах. Организационные функции могут, разумеется, определяться множеством способов. (В этом состоят как бóльшая привлекательность, так и существенная ограниченность функционального подхода к организациям.) Обычно организация создается для выполнения одной конкретной функции. Когда отпадает надобность в этой функции, организация переживает значительный кризис: либо она находит для себя новую функцию, либо примиряется с постепенным умиранием. Организация, адаптировавшаяся к изменениям в окружающей среде и пережившая одно или несколько изменений в своих основных функциях, имеет более высокий уровень институциализации, чем та, которая этого не переживала. Функциональная адаптивность, а не функциональная специализация является подлинным отличием высокоразвитой организации. Институциализация делает из организации нечто большее, чем просто инструмент для достижения определенных целей[10]. Руководители и члены этой организации начинают ценить ее ради ее самой, и она обретает собственную жизнь, не сводящуюся к тем конкретным функциям, которые она выполняет в определенное время. В этом триумф организации над ее функцией.

Таким образом, организации и индивиды существенно различаются в отношении приобретаемой ими способности адаптироваться к изменениям. Индивиды обычно проходят периоды детства и отрочества без отчетливой функциональной специализации. Процесс такой специализации начинается в конце отрочества. По мере того как индивид все больше и больше ограничивается выполнением определенных функций, ему становится все труднее изменять эти функции и отвыкать от тех реакций, которые он усвоил в ответ на изменения среды. Его личность уже сформировалась; его «пути» определились. Организации, напротив, обычно создаются для выполнения специальных функций. Сталкиваясь с изменившимся окружением, они должны, чтобы выжить, ослабить свою нацеленность на выполнение первоначальных функций. По мере их созревания заданность их «путей» утрачивается[11].

Организации существенно различаются между собой в отношении функциональной адаптивности. ИМКА*, к примеру, была создана в середине XIX в. как евангелическая организация для обращения одиноких молодых людей, которые в первые годы индустриализации мигрировали в города. По мере изживания нужды в этой функции ИМКА успешно адаптировалась к выполнению многих других функций «общего характера», в широком смысле связанных с целью «формирования личности». Параллельно расширилось членство в этой организации, охватив сначала неевангелических протестантов, затем католиков, затем евреев, затем старых людей наряду с молодежью, затем женщин наряду с мужчинами[12]. В результате организация процветает, хотя ее первоначальные функции были сведены на нет усилиями Князя тьмы. Другим организациям, таким, как Союз женщин за христианское воздержание или Таунсендское движение**, оказалось много труднее приспособиться к меняющимся обстоятельствам. СЖХВ — «организация, сдающая свои позиции. Вопреки требованиям теории институциализации это движение не приняло мер для сохранения организационных ценностей за счет отхода от прежней доктрины»[13]. Таунсендское движение разрывалось между теми, кто

* YMCA — Young Men's Christian Association — Христианская ассоциация молодых людей. — *Здесь и далее прим. ред.*

** Таунсендское движение — движение в поддержку реформы социального обеспечения стариков, организованное в годы после Великой депрессии (1930-е) Ф. Таунсендом.

желал сохранять верность первоначальной функции, и теми, кто выдвигал на первый план организационные императивы. Если бы победили последние, «доминирующая ориентация руководства и рядовых членов сместилась бы *с реализации ценностей, которые, как считается* (руководителями, членами и общественностью), *она представляет, в направлении поддержания организационной структуры как таковой*, даже ценой утраты главной миссии организации»[14]. Победа над полиомиелитом вызвала столь же острый кризис Национального фонда детского паралича. Первоначальные задачи организации носили весьма специальный характер. Следовало ли этой организации самоликвидироваться после решения этих задач? Подавляющее большинство ее добровольных участников считали, что организацию следует сохранить. «Мы смогли победить полиомиелит, — сказал председатель одного из городских отделений, — потому что смогли организовать людей. Если мы можем столь эффективно организовывать людей, то можем побеждать что угодно». Другой вопрошал: «Разве это не замечательно — то, что мы одолели полиомиелит, а теперь обратимся к чему-то другому и одержим новую победу, а затем найдем что-то третье? Это вызов, это призвание»[15].

Проблемы функциональной адаптивности остаются теми же и для политических организаций. Политическая партия достигает функциональной зрелости, когда изменяется электорат, который она представляет; другой пример функционального созревания — переход из оппозиции в правительство. Партия, которая не в силах изменить свой электорат или взять власть, находится на более низком уровне институциализации, чем партия, способная к таким изменениям. Националистическая партия, функция которой состояла в освобождении от колониального правления, сталкивается с серьезным кризисом, когда она достигает этой цели и должна адаптироваться к функции управления страной. Этот функциональный переход может оказаться для нее столь трудным, что и после завоевания независимости она будет отдавать значительную часть своих сил борьбе с колониализмом. Партия, действующая подобным образом, в меньшей мере обладает характеристиками института, чем Индийский национальный конгресс, который отказался от своего антиколониализма после достижения независимости и быстро адаптировался к задачам управления. Индустриализация была основной функцией Коммунистической партии Советского Союза. Серьезным испытанием для нее с точки зрения институциализации будет то, насколько успешно она выработает для себя новые функции после того, как основные задачи индустриализации будут позади. Орган управления, который может успешно адаптироваться к изменившимся функциям, так, как это сделала королевская власть Англии в XVIII–XIX вв., имеет более высокий уровень институциализации, чем, скажем, французская королевская власть в те же века.

Сложность — простота. Чем сложнее организация, тем выше уровень ее институциализации. Сложность может выражаться как в умножении организационных структур, иерархическом и функциональном, так и в дифференциации отдельных типов организационных подразделений. Чем выше число и разнообразие подразделений, тем выше способность организации обеспечивать и поддерживать лояльность своих членов. Кроме того, организация, преследующая много целей, в большей мере способна адаптироваться к утрате какой-то одной из целей, чем организация, у которой только одна цель. Диверсифицированная корпорация очевидным образом менее уязвима, чем та, которая производит единственный продукт для единственного рынка. Дифференциация подразделений может происходить как по функциональным границам, так и безотносительно к ним. Если она носит функциональный характер, то сами подразделения имеют менее высокий уровень институциализации, чем то целое, в состав которого они входят. Изменение функций целого, однако, довольно отчетливо проявляется в виде изменений в роли и функциях его подразделений. Если подразделения многофункциональны, то их институциализация выше, но может статься, что по этой же самой причине они уменьшают гибкость организации в целом. Поэтому политическая система, внутри которой действуют партии «общественной интеграции» (в терминологии Зигмунда Ньюмена), обладает меньшей институциализационной гибкостью, чем система, построенная на партиях «индивидуальной репрезентации»[16].

Сравнительно малоразвитые традиционные политические системы обычно ниспровергаются и разрушаются в ходе процесса модернизации. Более сложные традиционные системы имеют больше шансов адаптироваться к новым требованиям. Япония, к примеру, смогла приспособить свои традиционные политические институты к современному миру ввиду их сравнительной сложности. В течение двух с половиной веков до 1868 г. император царствовал, а сегун из рода Токугава правил. Однако стабильность политического строя зависела не только от устойчивости сегуната. На смену сегунату пришел другой традиционный институт, императорская власть, ставшая инструментом модернизации самурайского общества. Свержение сегуна означало не крушение политического строя, а «реставрацию» императорской власти.

Простейшей политической системой является та, что зависит от одного человека. Она же и наименее устойчива. Как указывал Аристотель, «большая часть всех тираний была совсем кратковременной»[17]. Напротив,

у политической системы с несколькими различными политическими институтами много больше возможностей для адаптации. Потребности одной эпохи могут удовлетворяться за счет одной группы институтов, потребности другой — за счет других институтов. Такая система имеет в своем составе средства для своего обновления и адаптации. В американской системе, к примеру, президент, Сенат, Палата представителей, Верховный суд и правительства штатов играли различную роль в различные периоды истории. При возникновении новых проблем инициативу их решения могут брать на себя сначала один институт, затем другой. В противоположность этому во французской системе Третьей и Четвертой республик власть была сосредоточена в Национальном собрании и у бюрократии. Если, как это часто случалось, собрание было слишком расколото, чтобы действовать, а бюрократия слишком ослаблена, система не могла адаптироваться к меняющимся условиям и решать новые политические проблемы. Когда в 1950-е гг. собрание оказалось неспособно действовать в условиях распада Французской империи, не было другого института, такого, как независимая исполнительная власть, чтобы восполнить этот недостаток. В результате в политику вмешалась внеконституционная сила, военные, и в свой черед был создан новый институт, президентская власть де Голля, способная справиться с этой проблемой. «Государство, не имеющее средств для своего изменения, — заметил Берк по поводу более раннего французского кризиса, — не имеет средств для самосохранения»[18].

Классики политической теории, которых занимала проблема стабильности, приходили к аналогичным выводам. Простые формы управления имеют больше всего шансов для вырождения; государство «смешанного типа» с большей вероятностью окажется устойчивым. Как Платон, так и Аристотель считали, что самой практичной формой государственного устройства была «полития», сочетавшая в себе демократические и олигархические институты. «Чем государственное устройство будет лучше смешано, тем оно окажется устойчивее»[19]. Такое устройство имеет больше шансов уберечься от мятежей и революций. Полибий и Цицерон разработали эту идею еще более обстоятельно. Каждая из «хороших» простых форм правления — монархия, аристократия и демократия — склонна к вырождению в свой извращенный аналог — тиранию, олигархию и охлократию. Нестабильности и вырождения можно избежать лишь путем сочетания элементов из всех хороших форм в смешанной форме государства. Сложность имеет своим результатом стабильность. «Простые формы правления, — вторил им двумя тысячелетиями позже Берк, — фундаментально дефектны, если не сказать больше»[20].

Автономия — подчинение. Третий критерий институциализации состоит в том, насколько политические организации и процедуры не зависят

от других общественных образований и способов поведения. Достаточно ли сфера политики отделена от других сфер? В высокоразвитой политической системе политические организации обладают самостоятельностью, которой у них нет в менее развитых системах. Они в известной мере изолированы от влияния неполитических групп и процедур. В менее же развитых политических системах они в высокой степени подвержены внешним влияниям.

На самом элементарном уровне автономия касается отношений между общественными силами, с одной стороны, и политическими организациями — с другой. Политическая институциализация в аспекте автономии означает такое развитие политических организаций и процедур, при котором они не являются простыми выразителями интересов конкретных общественных групп. Политическая организация, являющаяся инструментом некоторой общественной группы — семьи, клана, класса, — не автономна и находится на невысоком уровне институциализации. Если государство, как утверждает традиционный марксизм, есть в действительности «исполнительный комитет буржуазии», то в нем немного от института. Судебная власть независима в той мере, в какой она придерживается именно юридических норм и в какой мере ее цели и поведение независимы от интересов и поведения других политических институтов и общественных групп. Как и в случае с судом, автономия всех других политических институтов измеряется тем, насколько их интересы и ценности отличимы от интересов и ценностей других институтов и общественных сил. Как и в случае с судом, автономия политических институтов есть чаще всего результат конкуренции общественных сил. Политическая партия, выражающая интересы какой-либо одной общественной группы — будь то рабочие, предприниматели или фермеры, — менее автономна, чем партия, выражающая и суммирующая интересы нескольких общественных групп. Партия этого последнего типа существует в качестве некоего целого, отличного от отдельных общественных групп. То же самое относится к законодательной власти, исполнительной власти и бюрократии.

Политические процедуры, как и политические организации, также могут иметь различную степень автономии. В высокоразвитой политической системе имеются процедуры, позволяющие минимизировать, если не совсем исключить, роль насилия в системе и ограничить влияние в ней богатства четко определенными каналами. Если должностное лицо может быть свергнуто кучкой военных или на него можно воздействовать с помощью небольшого количества долларов, то организация и процедуры не обладают автономией. На обыденном языке такое отсутствие автономии именуется коррупцией.

Политические организации и процедуры, подверженные неполитическим влияниям внутри общества, обычно подвержены таковым и извне. В них легко проникают агенты влияния, группы и идеи из других политических систем. Так, переворот в одной политической системе легко может запустить механизм переворота со стороны аналогичных групп в других менее развитых политических системах[21]. В некоторых случаях режим может быть свергнут путем просачивания в страну нескольких агентов и небольшого количества оружия. В других случаях свержение может произойти в результате обмена несколькими словами и несколькими тысячами долларов между иностранным послом и горсткой недовольных полковников. Советское и американское правительства предположительно тратят значительные суммы на подкуп высокопоставленных чиновников в менее защищенных политических системах — суммы, которые бы им не пришло в голову тратить на то, чтобы повлиять на высокопоставленных чиновников друг у друга.

В каждом обществе, переживающем социальное изменение, к участию в политике приходят новые и новые группы. Там, где политической системе недостает автономии, эти группы добиваются участия в политической жизни, не связывая себя при этом с оформившимися политическими организациями и не подчиняя себя установившимся политическим процедурам. Существующие политические организации и процедуры оказываются неспособны противостоять воздействию новой общественной силы. Напротив, в развитой политической системе автономию системы защищают механизмы, ограничивающие и умеряющие воздействие новых групп. Эти механизмы либо замедляют вхождение новых групп в политику, либо, через посредство процесса политической социализации, изменяют установки и поведение наиболее политически активных членов новой группы. В политической системе с высоким уровнем институциализации важнейшие позиции в руководстве системой обычно достижимы лишь для тех, кто прошел период ученичества на менее важных позициях. Сложность политической системы способствует ее автономии за счет того, что предусматривает множество организаций и позиций, где индивиды готовятся к занятию высших должностей. В некотором смысле высшие руководящие посты составляют сердцевину политической системы; менее влиятельные позиции, периферийные организации и полуполитические организации играют роль фильтров, через которые должны пройти те, кто стремится достичь центра. Таким образом политическая система инкорпорирует новые общественные силы и новые кадры, не жертвуя своей институциальной целостностью. В политической системе, лишенной таких средств защиты, новые люди, новые идеи и новые общественные группы могут сменять друг друга в сердцевине системы с чудовищной быстротой.

Сплоченность—раздробленность. Чем более сплочена организация, тем выше уровень ее институциализации; чем больше она раздроблена, тем ниже уровень институциализации. Очевидно, что некоторая мера согласия является условием существования любой социальной группы. Эффективная организация требует, как минимум, значительной меры согласия относительно функциональных границ группы и относительно процедур для процедур разрешения конфликтов, возникающих внутри этих границ. Согласие должно охватывать тех, кто активен в системе. От неучаствующих или тех, кто участвует в функционировании системы лишь спорадически и маргинально, согласия не требуется, обычно они и не охвачены общим согласием в той же мере, что активные участники жизни системы[22].

Теоретически организация может быть автономной, не будучи сплоченной, и сплоченной, не будучи автономной. В действительности, однако, эти два качества часто бывают взаимозависимыми. Автономия становится средством достижения сплоченности, позволяя организации развить в себе дух и стиль, которые делаются отличительной чертой ее поведения. Автономия также ограждает от вторжения разрушительных внешних сил, хотя она, разумеется, не может защитить от разложения, имеющего внутренний источник. Быстрое или значительное расширение состава организации или числа участвующих в системе обычно ослабляет ее сплоченность. Так, к примеру, правящие институты Османской империи сохраняли свою жизнеспособность и сплоченность до тех пор, пока доступ в их состав был ограничен и кандидаты должны были проходить через многоступенчатую систему образования «с отбором и специализацией на каждой ступени». Этим институтам пришел конец, когда «стало совершенно невозможным пресекать претензии местной феодальной мусульманской знати... Последствия этого показывают, что инфляция здесь производит то же действие, что и в финансовом мире... [Эти последствия] не замедлили проявиться в падении дисциплины и снижении эффективности армии»[23].

Правительства так же нуждаются в сплоченности, моральном духе и дисциплине, как и войска. И численность войск, и вооружение, и стратегия имеют значение для успеха военных действий, но даже серьезный дефицит любого из этих факторов может быть компенсирован высоким уровнем сплоченности и дисциплины. То же и в политике. Проблемы, связанные с созданием сплоченной политической организации, более сложны, но не имеют принципиальных отличий от проблем, связанных с созданием сплоченных военных организаций. «Чувство, лежащее в основе сплоченности военной организации, — писал Дэвид Раппопорт, — имеет много об-

щего с тем, которое цементирует любую группу людей, занятых политической деятельностью. Это готовность большинства индивидов обуздывать частные потребности ради достижения общих целей. Каждый должен доверять способности другого противостоять бесчисленным искушениям, угрожающим групповой солидарности; иначе в трудных социальных обстоятельствах желание действовать в свою пользу становится непреодолимым»[24].

Способность к координации и поддержанию дисциплины имеет ключевое значение как для войны, так и для политики, и исторические общества, которые были искусными в организации первой, хорошо справлялись и со второй. «Связь между эффективной социальной организацией в искусстве мирной политики и в искусстве успешного поведения в условиях группового конфликта, — пишет один антрополог, — практически абсолютна, говорим ли мы о цивилизации или о субцивилизации. Успешность войны зависит от сплоченности и согласия; то и другое требуют командования и дисциплины. Командование и дисциплина, в свою очередь, суть, возможно, не что иное, как символы чего-то более глубокого и реального, чем они сами»[25]. В таких государствах, как Спарта, Рим и Англия, современники восхищались не только авторитетом и справедливостью законов, но и сплоченностью и дисциплиной армий. Дисциплина и развитие идут рука об руку.

Политические институты и общественные интересы

Для политических институтов важны как моральные, так и структурные факторы. Обществу со слабыми политическими институтами нелегко справляться с последствиями личных и групповых вожделений. Политика — это гоббсовский мир безжалостной конкуренции общественных сил — человека с человеком, семьи с семьей, клана с кланом, региона с регионом, класса с классом, — конкуренции, не опосредованной принадлежностью к более широкой политической организации. «Аморальная семейственность» отсталого общества, по Бэнфилду, находит аналог в аморальной клановости, аморальной групповщине, аморальной классовости. Мораль нуждается в доверии; доверие предполагает предсказуемость; а предсказуемость требует регуляризованных и институциализованных форм поведения. В отсутствие прочных политических институтов у общества недостает средств для определения и реализации общих интересов. Способность создавать политические институты есть способность создавать общественные интересы.

Существует три традиционных подхода к проблеме общественного интереса[26]. Его отождествляли либо с абстрактными, основополагающими, идеальными ценностями и нормами, такими, как естественное право, справедливость или разум; либо со специфическими интересами конкретного индивида («государство — это я»), группы, класса (марксизм) или большинства; либо же с результатом конкуренции между индивидами (классический либерализм) или группами (Бентли*). Проблема всех этих подходов состоит в том, чтобы прийти к определению, которое было бы конкретным, а не размытым, общим, а не частным. К сожалению, в большинстве случаев конкретному недостает общности, а общему конкретности. Отчасти выход из затруднения можно видеть в том, чтобы определить общественный интерес через конкретные интересы институтов управления. Общество с высоким уровнем институциализации правительственных организаций и процедур обладает большими возможностями формулирования и реализации общественных интересов. «Организованные (институциализованные) политические сообщества, — пишет Фридрих, — *лучше адаптированы* для принятия решений и разработки политики, чем неорганизованные сообщества»[27]. Общественный интерес в этом смысле слова не есть нечто существующее a priori в естественном праве или воле народа. Не сводится он и к результатам политического процесса. Но он укрепляет правительственные институты. Общественный интерес — это интерес общественных институтов. И он возникает в результате институциализации правительственных организаций. В сложной политической системе различные управленческие организации и процедуры представляют различные аспекты общественного интереса. В сложном обществе общественному интересу свойственно быть сложным.

Демократам привычно мыслить об институтах управления как об имеющих представительские функции, т.е. как о выражающих интересы каких-то других групп (их электората). Они поэтому склонны забывать о том, что у правительственных институтов есть собственные интересы. Эти интересы не только существуют, они достаточно конкретны. На вопросы типа: «Каковы интересы президентской власти? Каковы интересы Сената? Каковы интересы Палаты представителей? Каковы интересы Верховного суда?» — ответить трудно, но возможно. Эти ответы в совокупности составят достаточно близкую к истине картину «общественного интереса» Соединенных Штатов. Аналогичным образом общественный интерес Великобритании приблизительно соответствует специфическим интересам Коро-

* Бентли, Ричард (1662–1742) — английский филолог и философ.

ны, Кабинета и Парламента. В Советском Союзе он приблизительно равен сумме специфических интересов правительства и Центрального комитета Коммунистической партии.

Институциональные интересы отличаются от интересов индивидов, действующих внутри институтов. Верное замечание Кейнса, что «в долгосрочном плане мы все мертвы», приложимо к индивидам, не к институтам. Индивидуальные интересы неизбежно краткосрочны. Институциональные же интересы существуют долго; выразитель интересов института должен думать о его благополучии на неопределенное время вперед. Это соображение часто означает необходимость ограничивать ближайшие цели. Аристотель считал важнейшим достоинством политики как демократического, так и олигархического государства не приумножение достоинств той или другой формы государственного устройства, а создание условий для политической стабильности[28]. Должностное лицо, стремящееся максимально усилить свою власть или другие ценности в краткосрочном плане, ослабляет свой институт в плане долгосрочном. Судьи Верховного суда могут, руководствуясь своими ближайшими индивидуальными интересами, захотеть объявить акт Конгресса неконституционным. Но, думая о том, отвечает ли это общественному интересу, они, вероятно, должны задать себе вопрос о том, действительно ли такое решение отвечает долгосрочным интересам Верховного суда. Образцом государственной мудрости судьи могут служить люди вроде Джона Маршалла в деле «Марбери против Мэдисона»*, действия которых направлены на такое повышение институциальной мощи суда, чтобы ни президент, ни Конгресс не могли поколебать ее. Напротив, члены Верховного суда 1930-х гг. в борьбе за усиление своего текущего влияния рисковали долгосрочными интересами суда как института.

«Что хорошо для «Дженерал моторс», хорошо для страны», — в этом высказывании есть часть правды. Но еще больше правды в словах: «Что хорошо для президентской власти, хорошо для страны». Попросите любую достаточно информированную группу американцев назвать пять лучших и пять худших президентов. А затем попросите их назвать пять сильнейших и пять слабейших президентов. Если совпадение силы с положительной оценкой и слабости с отрицательной оценкой и не будет стопроцентным, оно несомненно будет не меньше чем на 80%. Тем президентам — Джефферсону, Линкольну, обоим Рузвельтам, Вильсону, — которые расширили

* «Марбери против Мэдисона» — знаменитое дело, при рассмотрении которого в 1803 г. в Верховном суде США судья Джон Маршалл признал законодательное решение недействительным как противоречившее Конституции США.

влияние своего института, воздают хвалу как деятелям, много способствовавшим общественному благополучию и осуществлению национальных интересов. О тех же президентах, которые не сумели защитить права своего института от посягательств со стороны других общественных групп, — таких, как Бьюкенен, Грант, Хардинг, — говорят, что их деятельность была малоэффективна для страны. Институциальный интерес совпадает с общественным интересом. Сильная президентская власть отождествляется с общественным благом.

Общественный интерес Советского Союза примерно совпадает с совокупным институциальным интересом высших органов Коммунистической партии: «Что хорошо для Политбюро, хорошо для Советского Союза». Если взглянуть на дело с этой точки зрения, то сталинизм можно определить как ситуацию, в которой личные интересы правителя были поставлены выше институциализованных интересов партии. Начиная с конца 1930-х гг. Сталин последовательно ослаблял партию. С 1939 по 1952 гг. не было ни одного партийного съезда. В ходе Второй мировой войны и после нее редко созывался Центральный комитет. Секретариат ЦК партии и партийная иерархия были ослаблены созданием параллельных органов. Можно было предполагать, что этот процесс приведет к замене одной системы институтов управления другой, и некоторые американские эксперты, как и некоторые советские руководители, действительно думали, что на место партийных организаций в качестве институтов управления встанут государственные организации. Но вовсе не это входило в намерения Сталина, и не это стало результатом его действий. Он усилил свою личную власть, а не власть государства. Когда он умер, его личная власть умерла вместе с ним. Борьба за возможность заполнить образовавшийся вакуум была выиграна Хрущевым, который связал свои интересы с интересами партии, а не Маленковым, идентифицировавшим себя с правительственной бюрократией. Консолидация власти, осуществленная Хрущевым, означала восстановление и оживление главных органов партии. Хотя Сталин и Грант действовали очень по-разному и руководствовались разными мотивами, первый ослабил партию так же, как второй ослабил институт президентства. Точно так же, как сильная президентская власть — в интересах американского общества, сильная партия — в интересах общества советского.

В терминах теории естественного права действия правительства легитимны в той мере, в какой они согласуются с «общественной философией»[29]. Согласно демократической теории, мерой их легитимности является то, насколько они выполняют волю народа. Согласно процедурной концепции, они легитимны, если представляют собой исход процесса

конфликта и компромисса, в котором участвовали все заинтересованные группы. Есть, однако, еще один взгляд, согласно которому источник легитимности действий правительства можно видеть в том, насколько они отражают интересы правительственных институтов. В противоположность теории представительной власти этот взгляд состоит в том, что правительственные институты получают легитимность и авторитет не от того, насколько они представляют интересы народа или какой-нибудь общественной группы, а от того, насколько они имеют собственные интересы, отличные от интересов всех других групп. Политики часто высказываются в том смысле, что с того времени, как они занимают свои места в учреждении, все начинает «смотреться иначе», чем тогда, когда они боролись за эти места. Эта разница служит мерилом институциональных интересов, связанных с данным учреждением. Именно эта разница в перспективе и легитимизирует требования, предъявляемые должностным лицом к своим согражданам. Интересы президента, к примеру, могут совпасть частично и на время с интересами сначала одной группы, а потом другой группы. Но интересы президентства как института, согласно Нейштадту[30], не совпадают ни с чьими интересами. Власть президента проистекает не из того, что он представляет какие-либо классовые, групповые, региональные или народные интересы, а из того факта, что он ни одну из этих групп не представляет. Президентская перспектива есть уникальное достояние института президентства. Именно по этой причине этот пост предполагает и одиночество, и могущество. Его авторитет коренится в его одиночестве.

Существование политических институтов (таких, как президентство или Центральный комитет), способных воплощать общественные интересы, как раз и отличает политически развитые общества от неразвитых. Оно же отличает моральные сообщества от аморальных. Правительство с низким уровнем институциализации — это не только слабое правительство, но и плохое правительство. Функция правительства — править. Слабое правительство, не имеющее авторитета, не в состоянии выполнять свою функцию и аморально в том же смысле, что и продажный судья, трусливый солдат или невежественный учитель. Моральные основания политических институтов проистекают из потребностей людей в сложных обществах.

Отношение между культурой общества и политическими институтами носит диалектический характер. Сообщество, замечает Жувенель, основывается на «институциализации доверия», и важнейшая функция органов власти состоит в том, чтобы «повышать уровень взаимного доверия внутри общественного целого»[31]. И наоборот, отсутствие доверия в культуре общества ставит серьезные препятствия на пути формирования общественных институтов. В таких обществах, лишенных устойчивой и эффективной системы управления, отсутствует и взаимное доверие между гражданами, недостаточно развиты национальная и общественная солидарность, редки организационные навыки и способности. Политическая культура таких обществ нередко отмечена подозрительностью, завистью, скрытой, а то и открытой враждебностью ко всякому, кто не член семьи, деревенской общины или, скажем, племени. Эти характеристики встречаются во многих культурах, но отчетливее всего они выражены, вероятно, в арабском мире и в Латинской Америке. «Свойственная арабской среде недоверчивость, — отмечал один внимательный наблюдатель, — рано интериоризуется и включается в состав системы ценностей ребенка... Организация, солидарность, сплоченность отсутствуют... Их общественный темперамент не развит и общественное сознание слабо. Лояльность государству не прочна, и идентификация с лидерами выражена слабо. Более того, преобладает общее недоверие к тем, кто управляет, и отсутствие ожиданий в связи с их деятельностью»[32].

Сходные традиции эгоцентрического индивидуализма, недоверия и ненависти к другим общественными группам преобладают и в Латинской Америке. «В Америке отсутствует доверие и между людьми, и между народами, — сетовал когда-то Боливар. — Договор здесь всего лишь лист бумаги, конституция — запыленный том, выборы — схватка, свобода — анархия, а жизнь — пытка. Единственное, что можно сделать в Америке, это эмигрировать». Столетие спустя слышится та же жалоба. «При коварстве и постоянном взаимном недоверии в политике, — писала эквадорская газета, — мы можем лишь внести разложение в национальную душу: этот род политики истощает нашу энергию и делает нас слабыми»[33].

Аналогичные оценки звучат по отношению к другим странам за пределами арабского мира и Латинской Америки. В Эфиопии «взаимное недоверие и отсутствие готовности к сотрудничеству, свойственные политическому климату страны, тесно связаны с очень низкой оценкой способности человека к солидарности и согласию... Представление о том, что возможно преодоление господствующей атмосферы страха и подозрения на путях взаимного доверия, очень редко и с трудом находит дорогу в умы людей». Иранская политика получила название «политики недоверия». Утверждалось, что иранцам «очень трудно даются доверие друг к другу и долгосрочная совместная работа в сколько-нибудь многочисленных группах». В Бирме ребенка учат чувствовать себя «в безопасности только в кругу своей семьи и тому, что посторонние люди, и особенно незнакомые, опасны и к ним надо относиться с осторожностью и подозрением». Как следствие, бирманцу «трудно сознавать себя как-то включенным в формализованные и регулируемые системы человеческих отношений». Даже в такой

«западной» и экономически развитой стране, как Италия, политическая культура отмечена «сравнительно высоким уровнем политического отчуждения, социальной изоляции и недоверия»[34].

Господство взаимного недоверия в этих обществах приводит к тому, что индивидуальная лояльность существует только в отношении групп, с которыми человек связан близкими и родственными отношениями. Люди лояльны и могут быть лояльны своим кланам, возможно, своим племенам, но не более широким политическим институтам. В политически развитых обществах лояльность этим ближайшим общественным группировкам подчинена лояльности государству и включена в нее. «Любовь к целому, — писал Берк, — не терпит ущерба от этой избирательной привязанности... Быть привязанным к части, любить то малое звено, которому мы принадлежим в рамках общества, есть первопринцип (зародыш, можно сказать) общественного чувства». Однако в обществе, где недостает политического единения, проявления лояльности более первичным социальным и экономическим группировкам — семье, клану, сельской общине, племени, религии, общественному классу, — соперничают с лояльностью более широким институтам социальной организации и часто оказываются сильнее. В сегодняшней Африке проявления племенной лояльности сильны; лояльность же по отношению к стране и государству слаба. В Латинской Америке, по словам Калмана Сильверта, «прирожденное недоверие к государству в сочетании с прямым представительством экономических и профессиональных интересов в правительстве подрывают авторитет партий, разрушают плюрализм и делают невозможной просвещенную и масштабную политику в широком смысле слова»[35]. «В арабском мире, — писал один из исследователей, — государство всегда было слабым институтом, более слабым, чем другие общественные учреждения, такие, как семья, религиозная община и правящий класс. Частный интерес всегда преобладал над общественным». Х. Джибб также писал, что «слабость арабских стран в том и состоит, что со времени крушения прежних ассоциаций не развилось никаких социальных институтов, посредством которых общественная воля могла бы направляться, интерпретироваться, определяться и мобилизоваться... Короче говоря, не возникло никакого функционирующего органа демократического общества»[36]. Сходным образом итальянцы проявляли в семье «те доблести, которые другие народы обычно проявляют во имя благополучия страны в целом; истинный патриотизм итальянца — это его любовь к своей семье... Всякая государственная или судебная власть воспринимается ими как враждебная, пока она не проявит дружественность или отсутствие враждебных намерений»[37]. Таким образом, в политически отсталом социуме, где отсутствует сознание политической общности, каждый лидер, каждый индивид, каждая группа преследуют свои ближайшие, краткосрочные, корыстные цели, не принимая в расчет какие-либо более широкие общественные интересы.

Взаимное недоверие и отсутствие лояльности означают недостаток организации. По внешним признакам поведения политически развитое общество отличается от неразвитого прежде всего числом, величиной и эффективностью существующих в обществе организаций. Если социальные и экономические изменения приводят к подрыву или уничтожению традиционных оснований ассоциации, достижение высокого уровня политического развития зависит от способности людей сформировать новые виды ассоциации. В современных странах, по словам Токвиля, «наука ассоциации есть мать наук; прогресс всего остального зависит от ее прогресса». Наиболее очевидное и наиболее впечатляющее различие между деревней Бэнфилда и американским городом сходных размеров состоит в свойственном последнему «гуле [ассоциационной] активности, нацеленной, по крайней мере отчасти, на повышение благосостояния сообщества»[38]. В противоположность этому, в итальянской деревне существовала лишь одна ассоциация, и она не занималась никакой деятельностью, вдохновленной общественным интересом. Отсутствие ассоциаций, низкий уровень организационного развития характерны для обществ, политика которых отличается хаотичностью. Большая проблема Латинской Америки, как заметил Дж. Лодж, состоит в том, что «там сравнительно мало социальной организации в том смысле, в каком мы наблюдаем ее в Соединенных Штатах». Результатом является «мотивационно-организационный вакуум», который затрудняет функционирование демократии и замедляет экономическое развитие. Легкость адаптации политических систем традиционных обществ к требованиям современности почти непосредственно зависит от организационных навыков и способностей членов этих обществ. Только те редкие народы, которые в высокой степени владели такого рода навыками, например японцы, смогли сравнительно легко осуществить переход к развитой экономике и современному общественному устройству. Как пишет Л. Пай, «проблемы развития и модернизации тесно связаны с потребностью создавать более эффективные, более адаптивные, более сложные и более рациональные организации... Конечным критерием развития является способность людей учреждать и поддерживать масштабные, сложные, но гибкие организационные формы»[39]. Способность создавать такие институты, однако, дефицитна в современном мире. Как раз способность действовать в соответствии с этой моральной потребностью и создавать легитимный общественный строй — это и есть то, что прежде всего предлагают модернизирующимся странам коммунисты.

Политическая активность населения: модернизация и политический упадок

Модернизация и политическое сознание

Модернизация — это многоаспектный процесс, связанный с изменениями во всех областях человеческой мысли и деятельности. Это, как писал Дэниэл Лернер, «процесс, имеющий некоторую *качественную специфику*, которая создает ощущение современности как *единого целого* у людей, живущих по ее законам». Основные аспекты модернизации, «урбанизация, индустриализация, секуляризация, демократизация, образование, роль средств массовой информации проявляются не случайным образом и не без связи друг с другом». Исторически они «развивались в столь тесной связи друг с другом, что встает вопрос о том, можно ли их вообще рассматривать как подлинно независимые факторы, нельзя ли предположить, что столь устойчивый параллелизм в их развитии обусловлен тем, что, в некотором историческом смысле, они *с необходимостью* развивались параллельно»[40].

На психологическом уровне модернизация означает фундаментальный сдвиг в ценностях, установках и ожиданиях (expectations). Традиционный человек рассчитывал на неизменность в природе и обществе и не верил в свою способность изменять их и управлять ими. Напротив, современный человек признает возможность изменений и убежден в их желательности. У него, по выражению Лернера, «мобильная личность», приспосабливающаяся к изменениям в его окружении. В типичном случае эти изменения требуют распространения лояльности и идентификации с конкретных и ближайших групп (таких, как семья, клан и деревенская община) на более широкие и безличные единства (такие, как класс и нация). Этот процесс сопровождается возрастающей приверженностью универсалистским ценностям в противоположность ценностям партикуляристским и все большей опорой на стандарты, связанные с достижениями индивида, в противоположность стандартам аскриптивным (связанным с его принадлежностью) к той или иной группе.

На интеллектуальном уровне модернизация означает огромное расширение человеческих знаний об окружающем мире и распространение этих знаний в обществе посредством роста грамотности, массовых коммуникаций и образования. В демографическом плане модернизация означает изменения в образе жизни, заметный рост здоровья и продолжительности жизни, возрастание профессиональной, вертикальной и географической мобильности, и в особенности быстрый рост городского населения сравнительно с сельским. В плане социальном модернизация связана с той тенденцией, что в дополнение к семье и другим первичным группам, характеризующимся диффузным распределением ролей, возникают сознательно организуемые вторичные ассоциации с более определенными функциями. Традиционное распределение статуса в рамках единой поляризованной структуры, характеризующееся «кумулятивным неравенством», уступает место плюралистическим статусным структурам, характеризующимся «дисперсным неравенством»[41]. В экономическом плане наблюдается диверсификация деятельности по мере того, как на место горстки простых занятий приходит множество сложных; существенно возрастает уровень профессиональных навыков; повышается роль капитала сравнительно с трудом; сельское хозяйство, рассчитанное на выживание, сменяется сельским хозяйством, рассчитанным на рынок; уменьшается значение самого сельского хозяйства сравнительно с торговой, промышленной и другой несельскохозяйственной деятельностью. Существует тенденция территориального распространения экономической деятельности и ее централизация на национальном уровне, сопровождающаяся появлением национального рынка, национальных источников капитала и других национальных экономических институтов. Со временем возрастает уровень экономического благосостояния и уменьшается экономическое неравенство.

Эти аспекты модернизации, имеющие наибольшее политическое значение, можно сгруппировать в две больших категории. Во-первых, это социальная мобилизация, согласно Дейчу, представляющая собой процесс, в ходе которого «происходит эрозия или разрыв основных узлов прежних социальных, экономических и психологических связей и люди становятся подготовленными к новым формам социализации и поведения»[42]. Это означает смену установок, ценностей и ожиданий у людей — отказ от тех, которые связаны с традиционным миром, и принятие тех, которые свойственны миру современному. Происходит это как следствие роста грамотности, образования и коммуникаций, влияния средств массовой информации и урбанизации. Во-вторых, экономическое развитие влечет за собой рост общей экономической активности и продуктивности общества. Мерилами этого могут служить валовой национальный продукт на душу населения, уровень индустриализации и уровень индивидуального благосостояния, оцениваемый по таким показателям, как продолжительность жизни, количество потребляемых калорий, обеспеченность медицинской помощью. Социальная мобилизация связана с изменениями в ожиданиях индивидов, групп и обществ; экономическое развитие ведет к изменению их возможностей. Модернизация требует и того, и другого.

Влияние, оказываемое модернизацией на политику, бывает разным. Еще многообразнее ряд определений, которые давали политической модернизации исследователи. Многие из этих определений сфокусированы на различиях между тем, что принято считать отличительными чертами соответственно современного и традиционного общественных устройств. Политическая модернизация при этом, естественно, рассматривается как движение от одного к другому. При таком подходе ключевые аспекты политической модернизации можно в первом приближении сгруппировать в три широкие категории. Во-первых, политическая модернизация связана с рационализацией авторитета, заменой большого числа традиционных, религиозных, родовых, этнических политических авторитетов единым светским, национальным политическим авторитетом. Это изменение подразумевает, что орган власти есть продукт действий человека, а не природы и не Бога, и что хорошо устроенное общество должно иметь определенный человеческий источник конечного авторитета, и что подчинение исходящим от него установлениям важнее всех других обязанностей. Политическая модернизация предполагает утверждение внешнего суверенитета нации-государства в отношении транснациональных влияний и внутреннего суверенитета национального правительства в отношении местных и региональных властей. Она означает национальную интеграцию и централизацию, то есть сосредоточение власти в руках признанных национальных законодательных институтов.

Во-вторых, политическая модернизация предполагает дифференциацию новых политических функций и развитие специализированных структур для выполнения этих функций. Области специальной компетенции — юридической, военной, административной, научной — отделяются от сферы политики, и появляются автономные, специализированные, но подчиненные органы для выполнения этих задач. Административные иерархии становятся более сложными и более дисциплинированными. Распределение должностей и полномочий все больше зависит от достижений, а не от принадлежности к некоей группе по праву рождения. В-третьих, политическая модернизация связана со все большим участием в политике самых различных общественных групп. Возросшая политическая активность может означать как усиление контроля со стороны власти, как в тоталитарных государствах, так и усиление контроля над властью со стороны народа, как в некоторых демократических странах. Но во всех современных государствах граждане оказываются непосредственно вовлечены в процессы управления и испытывают на себе их последствия. Таким образом, рационализация авторитета, дифференциация структуры и массовое участие в политике — вот то, что отличает современные общества от обществ прошлого.

Было бы, однако, ошибкой заключить из сказанного, что на практике модернизация означает рационализацию авторитета, дифференциацию структуры и расширение участия масс в политике. Существует фундаментальное и часто не принимаемое в расчет различие между политической модернизацией, определяемой как движение от традиционного политического устройства к современному, и политической модернизацией, определяемой как совокупность политических аспектов и политических последствий социальной, экономической и культурной модернизации. Первая определяет направление, в котором теоретически должны происходить политические изменения. Последняя выражается в политических изменениях, которые действительно происходят в модернизирующихся странах. Разрыв между той и другой нередко очень велик. Модернизация на практике всегда предполагает изменение, а обычно и разрушение традиционной политической системы, но она не обязательно ведет к существенному продвижению в становлении современной политической системы. Существует, однако, тенденция считать, что то, что справедливо для широких социальных процессов модернизации, справедливо и для политических изменений. Социальная модернизация является в какой-то степени фактом в Азии, Африке, Латинской Америке: идет стремительная урбанизация; медленно, но растет грамотность; принимаются меры по индустриализации; понемногу возрастает валовой национальный продукт на душу населения; расширяется охват населения средствами массовой коммуникации. Все это имеет место. Но при этом прогресс в направлении других целей, которые исследователи связывают с политической модернизацией — демократией, стабильностью, структурной дифференциацией, идеологией достижений, национальной интеграцией, — по меньшей мере сомнителен. Многие, однако, полагают, что, поскольку имеет место социальная модернизация, значит, налицо и политическая модернизация. В результате многим сочувственным западным работам о слаборазвитых регионах в 1950-е гг. свойствен тот же дух необоснованного оптимизма, который характеризовал многие из сочувственных западных работ о Советском Союзе в 1920-е и 1930-е гг. На них был налет того, что можно назвать «веббизмом»*; то есть склонностью приписывать политической системе качества, которые, как предполагается, являются ее конечными целями, не обращая внимания на те качества, которые реально присущи происходящим в ней процессам развития и функционирования.

* По имении Сиднея (1859–1947) и Беатрис (1859–1943) Вебб, идеологов т. н. фабианского социализма.

В действительности лишь некоторые из тенденций, часто включаемых в понятие «политической модернизации», характеризуют «модернизирующиеся» регионы. Вместо эволюции в направлении свободной конкуренции и демократии наблюдается «эрозия демократии» и тенденция к установлению автократических военных или однопартийных режимов[43]. Вместо стабильности мы видим перевороты и мятежи. Вместо объединяющего национализма и строительства нации — непрекращающиеся этнические конфликты и гражданские войны. Вместо институциальной рационализации и дифференциации нередко происходит распад административных организаций, унаследованных от колониальной эпохи, и ослабление и разложение политических организаций, сформировавшихся в ходе борьбы за независимость. Лишь понимание политической модернизации как мобилизации и политической активности населения оказалось широко приложимым к «развивающемуся» миру. Между тем рационализация, интеграция и дифференциация представляются фикцией.

Более, чем что-либо, современное государство отличает от традиционного то, насколько шире стало участие масс в политике, и то, насколько сильнее теперь влияет на их жизнь политика, проводимая в рамках больших политических образований. В традиционных обществах участие населения в политике может иметь достаточно широкое распространение на уровне деревни, но на более высоких уровнях оно ограничено пределами очень малых групп. Крупные традиционные общества могут достигать сравнительно высоких уровней рационализации авторитета и структурной дифференциации, но и здесь политическая активность ограничивается пределами сравнительно немногочисленных аристократических и бюрократических элит. Наиболее фундаментальным аспектом политической модернизации, следовательно, является повсеместное участие социальных групп в политике за пределами уровня села или малого города и развитие новых политических институтов, таких, как политические партии, призванных организовать такое участие.

Разрушительные последствия социальной и экономической модернизации для политики и политических институтов могут принимать разнообразные формы. Социальные и экономические изменения неизбежно разрушают традиционные социальные и политические группировки, подрывают лояльность к традиционным авторитетам. Лидерам деревни, светским и религиозным, бросает вызов новая элита гражданских служащих и школьных учителей, которая представляет здесь авторитет далекого центрального правительства, поскольку владеет такими навыками и ресурсами и воодушевлена такими надеждами, что с ней не могут соперничать традиционные сельские или племенные лидеры. Во многих традиционных обществах важнейшей социальной единицей была расширенная семья, которая сама часто представляла собой небольшое гражданское общество, выполняющее политические, экономические, благотворительные, оборонительные, религиозные и другие функции. Под воздействием модернизации, однако, расширенная семья начинает разрушаться, и ей на смену приходит нуклеарная семья, которая слишком мала, слишком изолирована и слишком слаба, чтобы выполнять те же функции. Более широкая форма социальной организации сменяется более узкой, и усиливаются тенденции недоверия и враждебности — война каждого против всех. Аморальная семейственность, которую Бэнфилд обнаружил в Южной Италии, типична не для традиционного, а для отсталого общества, в котором традиционный институт расширенной семьи разрушился под воздействием первых фаз модернизации[44]. Модернизация, таким образом, обычно порождает отчуждение и аномию, отсутствие норм — как следствие конфликта между старыми и новыми ценностями. Новые ценности подрывают прежние основания ассоциации и авторитета до того, как становится возможным появление новых навыков, мотиваций и ресурсов, необходимых для образования новых группировок.

Крушение традиционных институтов может приводить к психологической дезинтеграции и аномии, но те же самые обстоятельства рождают и потребность в новых идентификации и лояльности. Последние могут принимать форму реидентификации с группой, которая в скрытом или открытом виде существовала в традиционном обществе, либо же они могут приводить к идентификации с новым набором символов или с новой группой, которая сама сформировалась в процессе модернизации. Индустриализация, писал Маркс, порождает классовое сознание сначала у буржуазии, а затем у пролетариата. Маркс сосредоточил свое внимание лишь на одном из аспектов много более широкого феномена. Индустриализация есть лишь один из аспектов модернизации, а модернизация вызывает к жизни не одно лишь классовое сознание, но групповое сознание разного рода: в племени, регионе, клане, конфессии и касте, равно как и в классе, профессии и ассоциации. Модернизация означает, что у всех групп, как старых, так и новых, как традиционных, так и современных, усиливается их сознание самих себя в качестве групп и своих интересов и притязаний в отношении других групп. Одним из самых поразительных феноменов модернизации является, пожалуй, рост сознательности, сплоченности, организации и активности у многих социальных сил, прежде существовавших на много более низком уровне сознаваемой идентичности и организации в традиционном обществе. Ранние фазы модернизации часто отмечены появлением фундаменталистских религиозных движений, таких, как «Братья-мусульмане»

в Египте и буддийские группировки на Цейлоне, в Бирме и Вьетнаме. Эти движения сочетают современные методы организации, традиционные религиозные ценности и сильную популистскую ориентацию.

Точно так же и во многих местах Африки племенное сознание было почти что незнакомо в традиционной сельской жизни. Трайбализм стал продуктом модернизации и западного влияния на традиционное общество. В Южной Нигерии, к примеру, этническое самосознание йоруба сформировалось только в XIX в., и слово «йоруба» сначала использовалось англиканскими миссионерами. «Все знают, — пишет Ходжкин, — что понятие «быть нигерийцем» появилось недавно. Но, как представляется, понятие «быть йоруба» не многим старше». Аналогичным образом, еще в 1950-е гг. лидер ибо, Б.О.Н. Элюва, разъезжал по иболенду, пытаясь убедить жителей, что они являются ибо. Но жители деревень, пишет он, просто «не могли вообразить народ ибо в целом». Усилия Элюва и других лидеров ибо увенчались, однако, успехом, и самосознание ибо было сформировано. Лояльность по отношению к племени «есть во многих отношениях *ответ* на модернизацию, продукт тех самых перемен, которые колониальное правление принесло в Африку»[45].

Традиционное общество может иметь немало потенциальных источников идентичности и ассоциации. Некоторые из них могут оказаться подорваны и разрушены процессом модернизации. Другие, однако, могут достигать нового уровня осознания и становиться фундаментом новой организации, поскольку они — как, например, племенные ассоциации в африканских городах или кастовые ассоциации в Индии — заключают в себе возможности удовлетворения многих потребностей в личной идентичности, социальной опеке и экономическом успехе, т. е. потребностей, порождаемых процессом модернизации. Рост группового сознания оказывает, таким образом, как интегрирующее, так и дезинтегрирующее воздействие на социальную систему. Если сельские жители начинают связывать свою первичную идентификацию не с деревней, а с племенем; если рабочие плантации перестают идентифицировать себя только лишь со своими товарищами по работе на этой плантации и вместо этого начинают идентифицироваться с рабочими плантаций вообще и с организацией рабочих плантаций вообще; если буддийский монах из приверженца местного храма и монастыря превращается в участника национального буддийского движения — каждое из этих изменений представляет собой расширение границ лояльности и в этом смысле вклад в процесс политической модернизации.

Но то же самое групповое сознание может, однако, явиться серьезным препятствием на пути формирования эффективных политических институтов, охватывающих широкий спектр общественных сил. Наряду с групповым сознанием складываются и групповые предрассудки, «когда существуют интенсивные контакты между различными группами, как это имеет место при движении в направлении более централизованных политических и общественных организаций»[46]. А с групповыми предрассудками приходят и групповые конфликты. Этнические и религиозные группы, мирно жившие бок о бок в традиционном обществе, вовлекаются в насильственный конфликт в результате взаимодействия, напряжений, неравенства, порождаемых социальной и экономической модернизацией. Модернизация, таким образом, усиливает конфликты между традиционными группами, между традиционными и современными группами и между современными группами. Новые элиты, выдвинувшиеся благодаря западному или современному образованию, вступают в конфликт с традиционными элитами, авторитет которых основан на признанном или наследуемом статусе. Внутри модернизированных элит возникает антагонизм между политиками и бюрократами, интеллектуалами и военными, рабочими лидерами и предпринимателями. Многие, если не большинство, этих конфликтов рано или поздно приводят к насилию.

Модернизация и насилие

Бедность и модернизация. Связь между модернизацией и насилием не проста. Более современные общества обычно более стабильны, и в них наблюдается меньше насилия во внутренних конфликтах, чем в менее современных обществах. В одном из исследований была получена корреляция 0,625 (n = 62) между политической стабильностью и сложным показателем современности, учитывающим восемь социальных и экономических переменных. Как уровень социальной мобилизации, так и уровень экономического развития прямо связаны с политической стабильностью. Связь между грамотностью и стабильностью особенно сильна. Частота революций также варьирует обратно пропорционально образовательному уровню общества, а смертность от внутреннего группового насилия обратно пропорциональна доле детей, посещающих начальную школу. Экономическое благосостояние аналогичным образом связано с политическим порядком: в 74 странах корреляция между валовым национальным продуктом на душу населения и смертностью от внутреннего группового насилия составила −0,43.

Таблица 1.2. Душевой уровень ВНП и насильственные конфликты (1958–1965)

Экономическая группа	Число стран	Число стран с конфликтами	Доля от общего числа затронутых стран в %	Число конфликтов в группе	Уровень конфликтности для всех стран группы
Очень бедные (менее $100)	38	32	87	72	1,9
Бедные ($100–$249)	32	22	69	41	1,3
Со средним уровнем дохода ($250–$749)	37	18	48	40	1,1
Богатые (выше $750)	27	10	37	11	0,4
Всего	134	82	60	164	1,2

Источник: Министерство обороны США и кн.: Escott Reid, The Future of the World Bank (Washington, D.C., International Bank for Reconstruction and Development, 1965), p. 64–70.

В другом исследовании 70 стран за 1955–1960 гг. была получена корреляция –0,56 между валовым национальным продуктом на душу населения и числом революций. В восьмилетний период между 1958 и 1965 гг. в самых бедных странах произошло в четыре раза больше насильственных конфликтов, чем в богатых странах; 87% очень бедных стран пострадали от значительных вспышек насилия сравнительно с всего лишь 37% для богатых стран[47].

Ясно, что страны с высоким уровнем как социальной мобилизации, так и экономического развития характеризуются большей стабильностью и миром в политическом отношении. Модернизированность (modernity) означает стабильность. От этого факта легко перейти к «доказательству от бедности» (poverty thesis) и к выводу, что именно экономическая и социальная отсталость ответственны за нестабильность и что, следовательно, модернизация — это путь к стабильности. «Нет сомнений в том, — утверждал министр обороны США Макнамара, — что существует

неопровержимая связь между насилием и экономической отсталостью». Или, как писал один исследователь, «всепроникающая бедность подрывает систему управления — любую. Это постоянный источник нестабильности, делающий демократию практически неосуществимой»[48]. Если принять, что эта связь имеет место, то очевидно, что распространение образования, грамотности, массовых коммуникаций, индустриализация, экономический рост, урбанизация должны приводить к росту политической стабильности. Однако эти по видимости убедительные выводы из корреляции между модернизацией и стабильностью неверны. На самом деле модернизированность порождает стабильность, но сам процесс модернизации порождает нестабильность.

Видимую связь между бедностью и отсталостью, с одной стороны, и нестабильностью и насилием, с другой, следует признать ложной. Не отсутствие модернизированности, а усилия по ее обретению являются источником политического беспорядка. Если бедные страны оказываются нестабильными, то это не потому, что они бедны, а потому, что они стремятся разбогатеть. Чисто традиционное общество было бы невежественным, бедным и стабильным. К середине XX в., однако, все прежде традиционные общества стали одновременно переходными, модернизирующимися. Как раз распространение модернизации по всему миру и привело к глобальному росту насилия. На протяжении двух десятилетий после Второй мировой войны американская внешняя политика в отношении модернизирующихся стран была в значительной мере направлена на поддержку экономического и социального развития, поскольку это должно было привести к политической стабильности. Достижениями этой политики можно, однако, считать как возросший уровень материального благосостояния, так и возросший уровень внутреннего насилия. Чем активнее человек борется со своими исконными врагами — бедностью, болезнью, невежеством, — тем в большей мере он борется с самим собой.

К 1960-м гг. всякая отсталая страна была уже страной модернизирующейся. Есть тем не менее основания считать, что причины насилия в этих странах коренятся в модернизации, а не в отсталости. Богатые страны обычно более стабильны, чем менее богатые, но беднейшие страны, те, которые находятся на самых низших ступенях международной экономической лестницы, менее подвержены насилию и нестабильности, чем страны, расположенные на этой лестнице непосредственно над ними. Даже статистика, использованная самим Робертом Макнамарой, лишь отчасти подкрепляет его выводы. Всемирный банк, например, отнес шесть из двадцати латиноамериканских республик к числу «бедных», что означает, что их валовой национальный продукт на душу населения составил менее

250 долларов. В шести же странах из той же двадцатки в феврале 1966 г. наблюдались затяжные гражданские войны. Но только одна страна, Боливия, попала в обе эти категории. Вероятность мятежей в тех латиноамериканских странах, которые не были бедны, была вдвое выше, чем в тех, которые были бедны. Аналогично 48 из 50 африканских стран были отнесены к числу бедных и в одиннадцати из них происходили вооруженные конфликты. Можно, однако, с уверенностью утверждать, что вероятность конфликтов в двух африканских странах, которые не были бедны — Ливии и Южной Африке, — была столь же высока, как и в бедных странах и территориях. Более того, вооруженные конфликты, существовавшие в 11 странах, были, по-видимому, связаны в четырех случаях с сохраняющимся колониальным правлением (как, например, в Анголе и Мозамбике), а в других семи — с ярко выраженными племенными и расовыми различиями в населении (как в Нигерии и Судане). Колониализм и этническая неоднородность оказались много более существенными основаниями для предсказания вспышек насилия, чем бедность. На Ближнем Востоке и в Азии в 10 из 22 стран, отнесенных к числу бедных, в феврале 1966 г. наблюдались вооруженные конфликты. С другой стороны, столкновения происходили и в трех из четырех стран, которые не были бедными (Ирак, Малайзия, Кипр, Япония). В этом случае также вероятность вооруженного конфликта в более богатой стране примерно в два раза выше, чем в бедной. И здесь тоже этническая неоднородность выступает как более вероятный источник насилия, чем бедность.

В пользу отсутствия выраженной прямой корреляции между бедностью и нестабильностью свидетельствуют и другие данные. Хотя корреляция между ВНП на душу населения и смертностью от внутреннего группового насилия составила −0,43 (n = 74), наибольшее количество насилия наблюдалось не в беднейших странах с душевым ВНП меньшим 100 долларов, а в несколько более богатых с душевым ВНП от 100 до 200 долларов. При значении показателя выше 200 долларов размеры насилия существенно снижаются. Эти данные привели к выводу, что «в слаборазвитых странах следует ожидать довольно высокого уровня внутренней нестабильности в течение некоторого времени и в очень бедных странах вероятен рост, а не снижение внутреннего насилия в следующие несколько десятилетий»[49]. Аналогичным образом Экстейн обнаружил, что 27 стран, в которых внутренние насильственные конфликты были редкостью в период 1946–1959 гг., распадаются на две группы. Девять из них принадлежали к числу наиболее современных (такие, как Австралия, Дания, Швеция), тогда как 18 других — это «сравнительно слаборазвитые страны, в которых элиты оставались тесно связаны с традиционными типами и структурами

жизни». В их числе оказалось несколько все еще отсталых европейских колоний, а также такие страны, как Эфиопия, Эритрея и Саудовская Аравия[50]. Близок к этому и результат, согласно которому зависимость нестабильности от распределения стран по уровню грамотности описывается колоколообразной кривой. Нестабильными оказались 95% стран в среднем диапазоне 25–60-процентной грамотности в сравнении с 50% стран с грамотностью меньше 10% и 22% стран с более чем 90% грамотности. В другом исследовании средние показатели нестабильности были подсчитаны для 24 современных стран (268), 37 стран переходного типа (472) и 23 традиционных стран (420)[51].

Таблица 1.3. Грамотность и стабильность

Уровень грамотности	Число стран	Число нестабильных стран	% нестабильности
Ниже 10%	6	3	50,0
10–25%	12	10	83,3
25–60%	23	22	95,6
60–90%	15	12	80,0
Выше 90%	23	5	21,7

Источник: Ivo K. and Rosalind L. Feierabend and Betty A. Nesvold, «Correlates of Political Stability» (доклад, представленный на ежегодном заседании Американской ассоциации политической науки, сентябрь 1963 г.), с. 19–21.

Резкое различие между странами переходного типа и современными наглядно демонстрирует справедливость того тезиса, что модернизированность означает стабильность, а модернизация — нестабильность. Слабость различия между традиционными обществами и переходными обществами отражает тот факт, что граница между ними была проведена произвольно, только чтобы образовать группу «традиционных» стран, равную по величине группе стран современных. Поэтому практически все общества, отнесенные к числу традиционных, в действительности переживали начальные этапы модернизации. Однако данные все же свидетельствуют о том, что, если бы чисто традиционное общество существовало, оно было бы более политически стабильным, чем общество в переходном состоянии.

Таким образом, фактор модернизации (modernization thesis) объясняет, почему утверждение о роли бедности (poverty thesis) могло получить

некоторую видимость убедительности в конце XX в. Он также объясняет наблюдаемое обратное отношение между модернизированностью и стабильностью для некоторых групп стран. В Латинской Америке, к примеру, богатейшие страны характеризуются средними уровнями модернизации. Неудивительно поэтому, что они должны быть менее стабильными, чем более отсталые латиноамериканские страны. Как мы видели, в 1966 г. только одна из шести беднейших стран Латинской Америки, но пять из 14 более богатых стран переживали внутренние вооруженные конфликты. Коммунистические и другие радикальные движения были сильны на Кубе, в Аргентине, Чили и Венесуэле — в четырех из пяти богатейших из 20 латиноамериканских республик и трех из пяти наиболее грамотных. Частота революций в Латинской Америке напрямую связана с уровнем экономического развития. Для континента в целом корреляция душевого дохода и числа революций составляет 0,50 (n = 18); для недемократических стран этот показатель много выше (r = 0,85; n = 14)[52]. Таким образом, латиноамериканские данные, предполагающие связь между модернизированностью и нестабильностью, по существу, подкрепляют вывод о связи нестабильности с модернизацией.

Эта связь сохраняется и для вариаций внутри страны. В модернизирующихся странах насилие, нестабильность и экстремизм чаще наблюдаются в более богатых частях страны, чем в беднейших. Анализируя ситуацию в Индии, Хозелитц и Вайнер обнаружили, что «корреляция между политической стабильностью и экономическим развитием слабая и даже отрицательная». При британском правлении политическое насилие чаще всего наблюдалось в «наиболее экономически развитых провинциях»; после достижения независимости вероятность насилия осталась более высокой в индустриализованных и урбанизированных регионах, нежели «в самых отсталых и слаборазвитых областях Индии»[53]. Во многих слаборазвитых странах уровень жизни в крупных городах в три-четыре раза выше, чем в сельской местности, но при этом именно города часто являются центрами нестабильности и насилия, тогда как сельские районы остаются мирными и стабильными. Политический экстремизм также обычно сильнее выражен в богатых, нежели в бедных областях. В пятнадцати западных странах процент отдавших голоса коммунистам был наиболее высок в наиболее урбанизированных областях наименее урбанизированных стран[54]. В Италии центр коммунистического могущества располагался на богатом севере, а не на нищем юге. В Индии коммунисты были сильнее всего в Керале (где выше всего уровень грамотности в сравнении с другими индийскими штатами) и в индустриализованной Калькутте, а не в экономически более отсталых зонах. На Цейлоне «областями наибольшего марксистского влияния являются наиболее вестернизированные» и те, где самый высокий душевой доход и самый высокий уровень образования[55]. Таким образом, и внутри стран центрами насилия и экстремизма оказываются модернизирующиеся области, а не остающиеся традиционными.

Мало того что социальная и экономическая модернизация рождает политическую нестабильность; уровень нестабильности зависит от темпов модернизации. В истории Запада огромное количество свидетельств в пользу этого наблюдения. «*Быстрый* приток большого числа людей во *вновь* развивающиеся городские районы, — отмечает Корнхаузер, — стимулирует массовые движения». Опыт европейских (особенно скандинавских) стран показывает, что там, где «индустриализация проходила быстро, порождая резкие разрывы между доиндустриальной и индустриальной стадиями, возникавшее рабочее движение носило более экстремистский характер»[56]. Сходным образом корреляция комбинированного индекса скорости изменений, рассчитанного по шести из восьми индикаторов модернизации (начальное и среднее образование; потребляемое число калорий; стоимость жизни; охват радиосвязью; детская смертность; урбанизация; грамотность; национальный доход) для 67 стран в период 1935–1962 гг., с политической нестабильностью в этих странах в период с 1955 по 1961 г. составила 0,647. Чем выше темпы изменений в направлении современности, тем выше уровень политической нестабильности, в статике или динамике. Возникающий обобщенный образ нестабильной страны таков. Это — страна, «открытая влиянию современного мира; социально оторванная от традиционного уклада; испытывающая давление в направлении изменений, экономических, социальных и политических; соблазняемая новыми, «лучшими» способами производства товаров и услуг; фрустрированная процессом модернизации вообще и неспособностью правительства удовлетворить растущие ожидания в особенности»[57].

Азия, Африка и Латинская Америка стали местами особенно высокой политической нестабильности в значительной мере потому, что модернизация проходила там намного более высокими темпами, чем в странах, где модернизация совершилась раньше. Модернизация Европы и Северной Америки растянулась на несколько столетий; как правило, там приходилось в каждый отрезок времени решать одну проблему или справляться с одним кризисом. В ходе же модернизации незападных регионов мира проблемы централизации власти, национальной интеграции, социальной мобилизации, экономического развития, политической активности населения, социального обеспечения вставали не постепенно, а одновременно. «Демонстрационный эффект», который ранние модернизаторы оказывают на последующих модернизаторов, усиливает

сначала ожидания, а затем фрустрацию. Разница в темпах модернизации отчетливо видна в том, какое время понадобилось странам, чтобы осуществить, по выражению С. Блэка, консолидацию модернизирующего руководства. Для первой модернизирующейся страны, Англии, эта фаза растянулась на 183 года, с 1649 по 1832 г. Для второй, США, этот период длился 89 лет, 1776–1865 гг. Для 13 стран, вступивших в эту фазу во время наполеоновских войн (1789–1815), средняя ее длительность составила 73 года. Но уже для 21 из 26 стран, которые начали модернизацию в первой четверти XX в. и завершили в 1960-е гг., средняя длительность равнялась всего 29 лет[58]. По оценке К. Дейча, в XIX в. основные показатели социальной мобилизации в модернизирующихся странах менялись со скоростью 0,1% в год, тогда как в модернизирующихся странах XX в. они изменялись на 1% в год. Очевидно, что темпы модернизации резко выросли. Ясно также, что возросшая тяга к социальным и экономическим изменениям прямо связана с ростом политической нестабильности и насилия, отличавшим Азию, Африку и Латинскую Америку в годы после Второй мировой войны.

Социальная мобилизация и нестабильность. Связь между социальной мобилизацией и нестабильностью представляется достаточно прямой. Урбанизация, рост грамотности, образования и охвата средствами коммуникации — все это способствует росту ожиданий, который, не получая удовлетворения, политически активизирует индивидов и группы. В отсутствие сильных и гибких политических институтов такого рода рост политической активности населения способствует нестабильности и насилию. Здесь отчетливо проявляется та парадоксальная закономерность, что модернизированность рождает стабильность, а модернизация — нестабильность. К примеру, у 66 стран корреляция между процентом детей, посещающих начальную школу, и частотой революций оказалась равной −0,84. В то же время у других 70 стран корреляция между ростом доли детей, посещающих начальную школу, и политической нестабильностью составила 0,61[59]. Чем быстрее просвещается население, тем чаще свергается правительство.

Быстрое распространение образования оказало заметное влияние на политическую стабильность в целом ряде стран. На Цейлоне, к примеру, в период 1948–1956 гг. происходило активное становление школьной системы. Этот «рост числа учащихся, получавших образование на местных языках, удовлетворял некоторые амбиции, но способствовал росту социального напряжения в среде образованных средних классов». С ним, очевидно, были связаны поражение правительства на выборах 1956 г. и рост нестабильности на Цейлоне в последующие шесть лет[60]. Аналогично в Корее в 1950-е гг. Сеул стал «одним из крупнейших образовательных центров мира». Его юридические школы, по некоторым оценкам, в 1960 г. выпускали примерно в 18 раз больше специалистов, чем система могла поглотить. На более низких уровнях образования рост был еще более впечатляющим: если в 1945 г. грамотность выросла меньше чем на 20%, то в начале 60-х гг. рост составлял более 60%[61]. Можно предполагать, что этот рост образования отчасти ответствен за политическую нестабильность в Корее в начале 1960-х гг., главным источником которой были студенты. Студенты и безработные выпускники университетов составляли предмет озабоченности и для националистического военного режима в Корее, и для социалистического военного режима в Бирме, и для традиционного военного режима в Таиланде. То, в какой степени высшее образование во многих модернизирующихся странах не рассчитано на производство выпускников с подготовкой, отвечающей потребностям страны, создает парадоксальную, но обычную ситуацию «страны, где квалифицированная рабочая сила является дефицитным ресурсом и где в то же время имеет место избыток высокообразованных людей»[62].

Вообще, чем выше уровень образования безработных, отчужденных и в других отношениях неудовлетворенных жизнью людей, тем более крайние формы принимает их дестабилизирующее поведение. Отчужденные выпускники университетов готовят революции; отчужденные выпускники технических училищ и средних школ планируют перевороты; отчужденные люди, получившие начальное образование, оказываются участниками более распространенных, но менее значительных форм политического протеста. В Западной Африке, к примеру, «бывшие школьники, хотя и охваченные раздражением и беспокойством, оказываются не в центре, а на периферии крупных политических событий. Характерными формами политических волнений, ими вызываемых, являются не революции, а такие действия, как поджоги, угрозы и оскорбления в адрес политических оппонентов»[63].

Проблемы, порождаемые быстрым распространением начального образования, заставили некоторые правительства пересмотреть свою политику. К примеру, в дебатах по вопросам образования в восточном регионе Нигерии, происходивших в 1958 г., Азикиве высказал мысль, что начальное образование может превращаться в «непродуктивный социальный фактор», а один из членов кабинета напомнил, что Великобритания следовала «порядку, при котором сначала развивалось производство и повышалась его производительность, а потом обеспечивалась свобода образования. Не стоит начинать со свободы образования, поскольку должны существовать рабочие места, которые могли бы занять получившие обра-

зование, и только промышленность и торговля могут предоставить достаточное количество таких мест...». Нам следует поостеречься и не создавать политическую проблему безработицы[64]. Грамотные и полуграмотные поставляют рекрутов для экстремистских движений, порождающих нестабильность. Бирма и Эфиопия имели в 1950-е гг. одинаково низкий душевой доход; относительная стабильность второй в сравнении с первой, вероятно, отражала тот факт, что среди эфиопов грамотных было 5%, тогда как доля грамотных среди бирманцев составляла 45%[65]. Аналогичным образом Куба стояла на четвертом месте в Латинской Америке по уровню грамотности, когда она стала коммунистической, а единственный индийский штат, избравший коммунистическое правительство, Керала, также имеет самый высокий уровень грамотности в Индии. Ясно, что коммунисты обычно адресуются скорее к грамотным, чем к неграмотным. Много раз обсуждались проблемы, связанные с распространением избирательного права на большие массы неграмотного населения; говорили, что демократия не может удовлетворительно функционировать, если значительная часть электората не умеет читать. Но политическая активность неграмотных вполне может, как в Индии, оказаться менее опасной для демократических политических институтов, чем активность гра́мотных. Последние, как правило, имеют более сильные стремления (aspirations) и предъявляют правительству более высокие требования. Кроме того, участие в политике неграмотных с большой вероятностью будет ограниченным, тогда как активность грамотных имеет тенденцию расти как снежный ком с потенциально разрушительными последствиями для политической стабильности.

Экономическое развитие и нестабильность. Социальная мобилизация повышает ожидания. Экономическое развитие, предположительно, повышает способность общества удовлетворять эти стремления и тем самым должно уменьшать социальную неудовлетворенность и порождаемую ею политическую нестабильность. Можно также предположить, что быстрый экономический рост создает новые возможности для предпринимательства и рабочие места и тем самым направляет на зарабатывание денег те амбиции и таланты, которые иначе могли быть использованы в заговорщической деятельности. На это, впрочем, можно возразить, что само экономическое развитие представляет собой в высокой степени дестабилизирующий процесс и что те самые изменения, которые необходимы для удовлетворения стремлений, на деле склонны порождать новые стремления. Высказывалась точка зрения, что быстрый экономический рост

1) разрушает традиционные общественные группировки (семью, класс, касту) и тем самым увеличивает «численность деклассированных индивидов... которые поэтому оказываются в обстоятельствах, благоприятных для зарождения революционного протеста»[66];

2) порождает нуворишей, плохо адаптирующихся к существующему строю и плохо им ассимилируемых, но при этом претендующих на политическое влияние и социальный статус, соизмеримые с их новым экономическим положением;

3) повышает социальную мобильность, что тоже подрывает общественные связи и, в частности, способствует ускоренной миграции из сельских районов в города и тем самым способствует росту отчуждения и политического экстремизма;

4) повышает число людей, чей уровень жизни снижается, и тем самым может увеличивать разрыв между богатыми и бедными;

5) у некоторой части людей ведет к абсолютному росту доходов, но не относительному, увеличивая этим их неудовлетворенность существующим строем;

6) требует общего ограничения потребления ради повышения капиталовложений, рождая этим общественное недовольство;

7) повышает грамотность, уровень образования, охват средствами массовой информации, что ведет к росту стремлений выше того уровня, на котором возможно их удовлетворение;

8) обостряет региональные и этнические конфликты из-за распределения инвестиций и потребления;

9) расширяет возможности групповой организации и тем самым масштабы требований, предъявляемых группами правительству, до пределов, когда правительство оказывается неспособным их удовлетворять.

В той мере, в какой эти зависимости имеют место, экономический рост повышает материальное благосостояние, но еще более быстрыми темпами растет социальная неудовлетворенность.

Связь экономического развития, особенно быстрого, с политической нестабильностью нашла классическое изображение в данной Токвилем интерпретации Французской революции. Перед революцией, писал он, «общественное благосостоянии растет с невиданной доселе быстротой». «По мере того, как растет описанное мною благополучие, в умах, по-видимому, накапливается неудовлетворенность и беспокойство», и «именно тем областям Франции, где больше всего заметен прогресс, было суждено стать основными очагами революции»*. Подобный же рост

* Токвиль А. Старый порядок и революция. М.: Московский философский фонд, 1997. С. 138, 140–141.

экономического благополучия предшествовал, по мнению историков, Реформации, английской, американской и русской революциям, а также возбуждению и недовольству в Англии в конце XVIII и начале XIX вв. Мексиканская революция также произошла после двадцати лет впечатляющего экономического роста. Высокая корреляция темпов изменения душевого ВНП в течение семи лет перед успешным переворотом с масштабами насилия в таких переворотах наблюдалась в странах Азии и Ближнего Востока в 1955–1960 гг., но не в Латинской Америке. Сообщалось, далее, что опыт Индии в период с 1930-х по 1950-е гг. показывает, «что экономическое развитие вместо того, чтобы способствовать политической стабилизации, усиливает политическую нестабильность»[67]. Эти данные очевидным образом согласуются с тем наблюдением, что во время Второй мировой войны недовольство продвижением по службе было более распространено в военно-воздушных силах, чем в других родах войск, несмотря на то или благодаря тому что в действительности продвижение по службе в ВВС происходило и чаще, и быстрее, чем в других частях[68].

Существует, таким образом, множество очевидных подтверждений связи между быстрым экономическим ростом и политической нестабильностью. На более общем уровне, однако, связь между ними не столь ясна. В период 1950-х гг. корреляция между темпами экономического роста и внутренним групповым насилием была слабо отрицательной (–0,43). В Западной Германии, Японии, Румынии, Югославии, Австрии, СССР, Италии и Чехословакии наблюдались очень высокие темпы экономического роста, но было очень мало проявлений внутреннего насилия. В то же время в Боливии, Аргентине, Гондурасе и Индонезии наблюдалась высокая смертность от внутреннего насилия при очень низких, а в некоторых случаях отрицательных темпах роста. Аналогичным образом корреляция для 70 стран темпов роста национального дохода в 1935–1962 гг. с уровнем политической нестабильности в 1948–1962 гг. составила –0,34; корреляция между изменением национального дохода и колебаниями стабильности для тех же стран в те же годы была равна –0,45. Нидлер обнаружил, что в Латинской Америке экономический рост стал предпосылкой институциональной стабильности в странах с высоким уровнем политической активности населения[69].

Эти противоречивые данные заставляют предполагать, что связь между экономическим ростом и политической нестабильностью, если она существует, должна быть непростой. Возможно, зависимость изменяется с уровнем экономического развития. На одном конце некоторая степень экономического роста необходима, чтобы сделать нестабильность возможной. Простая апелляция к бедности не выдерживает критики, поскольку люди, которые действительно бедны, слишком бедны, чтобы участвовать в политике, и слишком бедны, чтобы протестовать. Они безразличны, апатичны и мало подвержены воздействию средств информации и других стимулов, которые могли бы возбудить в них такие ожидания, которые подтолкнули бы их к политической активности. «Люди, испытывающие крайнюю нужду, — пишет Эрик Хоффер, — пребывают в страхе перед окружающим миром и не стремятся к переменам... Существует, таким образом, консерватизм обделенных, столь же глубокий, как и консерватизм привилегированных, и первый является столь же важным фактором сохранения общественного строя, как и последний»[70]. Сама бедность является барьером на пути нестабильности. Тот, кто думает лишь о том, где ему следующий раз поесть, не слишком склонен беспокоиться о крупных преобразованиях в обществе. Бедные становятся маргиналами и постепеновцами, озабо-

Таблица 1.4. Быстрый экономический рост и политическая нестабильность

Годовой рост ВНП на душу населения	Смертность от внутреннего группового насилия в 53 странах, 1950–1962 (на 1 000 000 населения)				
	отсутствовала	низкая 0,1–9,9	умеренная 10–99	высокая 100–1335	всего
Очень высокий, 6% и выше	4	3	0	0	7
Высокий, 4–5,9%	0	6	1	2	9
Умеренный, 2–3,9%	8	5	1	3	17
Низкий, 1–1,9%	3	4	6	1	14
Очень низкий, ниже 1%	0	1	2	3	6
Всего	15	19	10	9	53

Источник: Bruce Russette et al., *World Handbook of Political and Social Indicators* (New Haven, Yale University Press, 1964), таблицы 29 и 45. Периоды, в которые измерялся рост, различаются, но в основном это 7–12 лет около 1950-х гг.

ченными только небольшими, но абсолютно насущными улучшениями существующей ситуации. Подобно тому как социальная мобилизация необходима для появления мотивов к дестабилизации, также и некоторая степень экономического развития необходима для появления средств дестабилизации.

На другом конце, где располагаются страны, достигшие сравнительно высокого уровня экономического развития, высокие темпы экономического роста оказываются совместимыми с политической стабильностью. Отрицательные корреляции между экономическим ростом и нестабильностью, приводимые выше, являются в значительной мере результатом соединения в рамках одного анализа высокоразвитых и слаборазвитых стран. Экономически развитые страны более стабильны и имеют более высокие темпы роста, чем страны-аутсайдеры. В отличие от других социальных индикаторов темпы экономического роста имеют тенденцию к прямой, а не обратной зависимости от уровня развития. В странах небогатых темпы экономического роста не очень сильно связаны с политической нестабильностью: для 34 стран с душевым ВНП ниже 500 долларов корреляция между темпом экономического роста и смертностью от внутреннего группового насилия составила −0,07. Таким образом, зависимость между темпом экономического роста и политической нестабильностью варьируется пропорционально степени экономического развития. На низких уровнях существует положительная связь, на средних существенной связи не наблюдается, на высоких уровнях эта связь становится отрицательной.

Гипотеза разрыва. Социальная мобилизация оказывает больший дестабилизационный эффект, чем экономическое развитие. Разрыв между этими двумя формами изменения может служить своего рода измерителем влияния модернизации на политическую стабильность. Урбанизация, грамотность, образование, средства массовой информации — все это подвергает традиционного человека воздействию новых форм жизни, новых возможностей удовлетворения потребностей. Этот опыт разрушает познавательные и установочные барьеры традиционной культуры и рождает новые уровни стремлений и желаний. Однако способность переходного общества удовлетворять эти новые ожидания увеличивается много медленнее, чем сами стремления. Отсюда — разрыв между стремлениями и ожиданиями, между формированием желаний и их удовлетворением, или между функцией стремлений и функцией уровня жизни[71]. Этот разрыв порождает социальные фрустрации и неудовлетворенность. На практике величина разрыва может служить неплохим показателем политической нестабильности.

Причины такой зависимости между социальной фрустрацией и политической нестабильностью не столь просты, как может показаться на первый взгляд. Эта зависимость во многом объясняется отсутствием двух потенциальных промежуточных переменных: возможностей для социальной и экономической мобильности и гибких политических институтов. Со времен Реформации энергичный новатор в экономике и убежденный революционер при качественно различных целях имели поразительно сходные аспирации, которые в обоих случаях были продуктом высокого уровня социальной мобилизации[72]. Следовательно, то, в какой мере социальная фрустрация способствует росту политической активности населения, зависит в значительной степени от характера экономической и социальной структуры традиционного общества. Можно представить себе, что фрустрации устранимы посредством социальной и экономической мобильности, если традиционное общество достаточно открыто, чтобы предоставить возможности такой мобильности. Отчасти именно это имеет место в сельских регионах, где внешние возможности для горизонтальной мобильности (урбанизация) способствуют относительной стабильности села в большинстве модернизирующихся стран. В то же время недостаточные возможности вертикальной (профессиональной и экономической) мобильности в городах способствуют их большей нестабильности. Однако, если не считать урбанизации, в большинстве модернизирующихся стран уровень социально-экономической мобильности невысок. В сравнительно немногих обществах существуют традиционные структуры, поощряющие экономическую, а не политическую активность. Землю и все другие виды экономического богатства в традиционном обществе прочно удерживает в своих руках сравнительно немногочисленная олигархия, либо же эти богатства находятся под контролем зарубежных корпораций и инвесторов. Ценности традиционного общества нередко находятся в противоречии с предпринимательством, и последнее может оказаться в значительной мере монополизировано этническим меньшинством (греки и армяне в Османской империи, китайцы в Юго-Восточной Азии, ливанцы в Африке). Кроме того, современные ценности и идеи, вводимые в систему, часто связаны с акцентом на роли государства (социализм, плановая экономика) и могут поэтому побуждать мобилизованных индивидов сторониться предпринимательства.

В этих условиях участие в политике становится для социально мобилизованного индивида средством продвижения. Социальные фрустрации побуждают предъявлять более высокие требования к власти и к расширению своего участия в политике, что, в свою очередь, усиливает требовательность к власти. В то же время отсталость страны в сфере политической

институциализации делает трудным, если не невозможным, чтобы требования к власти выражались в законных формах и могли умеряться и встраиваться в политическую систему. В итоге резкий рост политической активности порождает политическую нестабильность. Влияние модернизации, таким образом, предполагает следующие зависимости:

$$(1)\quad \frac{\textit{Соц. мобилизация}}{\textit{Экон. развитие}} = \textit{Соц. разочарование}$$

$$(2)\quad \frac{\textit{Соц. фрустрация}}{\textit{Возможн. мобильность}} = \textit{Полит. участие}$$

$$(3)\quad \frac{\textit{Полит. участие}}{\textit{Полит. институциализация}} = \textit{Полит. нестабильность}$$

Отсутствие возможностей для мобильности и низкий уровень политической институциализации в большинстве модернизирующихся стран приводят к корреляции между социальными фрустрациями и политической нестабильностью. В одном исследовании были выявлены 26 стран с низким отношением формирования желаний к их удовлетворению и тем самым низкой «системной фрустрацией» и 36 стран с высоким отношением и, соответственно, высокой «системной фрустрацией». Из 26 стран с удовлетворенным населением только шесть (Аргентина, Бельгия, Франция, Ливан, Марокко и Южно-Африканский Союз) имели высокий уровень политической нестабильности. Из 36 «неудовлетворенных» стран только две (Филиппины, Тунис) характеризовались высоким уровнем политической стабильности. Общая корреляция между фрустрацией и нестабильностью равнялась 0,50. Различия в числе голосов, подаваемых за коммунистов в индийских штатах, также могут отчасти объясняться соотношением между социальной мобилизацией и экономическим благосостоянием в этих штатах. Аналогично было показано, что в Латинской Америке конституционная стабильность является функцией экономического развития и политической активности населения. Резкий рост политической активности населения вызывает нестабильность, если он не сопровождается соответствующим изменением уровня экономического благосостояния[73].

Политическая нестабильность в модернизирующихся странах является, таким образом, в значительной мере функцией разрыва между стремлениями и ожиданиями, порождаемого ростом стремлений, особенно характерным для ранних фаз модернизации. В некоторых случаях аналогичный разрыв с аналогичными же результатами может быть вызван

уменьшением ожиданий. Революции часто происходят, когда период устойчивого экономического роста сменяется резким экономическим спадом. Такой спад происходил, по-видимому, во Франции в 1788–1789 гг., в Англии в 1687–1688 гг., в Америке в 1774–1775 гг., перед восстанием Дорра в 1842 г.*, в России (как следствие войны) в 1915–1917 гг., в Египте в 1952 г. и на Кубе в 1952–1953 гг. (когда Кастро предпринял свое первое выступление против режима Батисты). Кроме того, известно, что в Латинской Америке перевороты чаще происходят в те годы, когда экономические условия ухудшаются, чем тогда, когда душевой доход растет[74].

Неравенство и нестабильность. Аристотель видит причину всех мятежей в неравенстве[75]. Политическое неравенство есть по определению неотъемлемая сторона нестабильности. А экономическое неравенство? Скудость данных о распределении доходов и богатства затрудняет проверку предположения, что экономическое неравенство связано с политической нестабильностью. Для 18 стран была получена корреляция 0,34 между индексом Джини неравенства в доходах перед уплатой налогов и смертностью от политического насилия; для 20 стран корреляция неравенства доходов после уплаты налогов и политическим насилием оказалась равной 0,36[76]. Существуют, однако, более убедительные данные в поддержку связи между неравенством во владении землей и смертностью от внутреннего группового насилия. Не столь высокие показатели корреляции были получены для связи между неравенством во владении землей и частотой случаев насилия. Связь между концентрацией земельных владений и насилием оказывалась, однако, существенно более заметной, если принималась во внимание доля населения, занятого в сельском хозяйстве. В преимущественно сельскохозяйственных странах, как можно предположить, возможности для социально-экономической мобильности лиц, занятых в сельском хозяйстве, ниже, и поэтому неравенство в распределении земли должно быть более тесно связано с насилием. Так это, разумеется, и есть, и корреляция между неравенством во владении землей и насильственной смертностью для сельскохозяйственных стран оказывается равной 0,70[77].

Модернизация воздействует на экономическое неравенство и тем самым на политическую нестабильность двумя путями. Во-первых, обычно богатство и доходы в бедных странах распределены менее равномерно, чем в экономически развитых странах[78]. В традиционном обществе

* Восстание Дорра — восстание 1842 г. против правительства штата Род-Айленд за более либеральную конституцию штата. Восстание, возглавленное Томасом У. Дорром, было подавлено, но некоторые из предложенных восставшими реформ были воплощены в жизнь.

это неравенство воспринимается как часть естественного порядка вещей. Социальная мобилизация, однако, повышает сознание неравенства и, вероятно, его неприятие. Поток новых идей ставит под вопрос прежний порядок распределения и подсказывает мысль об осуществимости и желательности более справедливого распределения доходов. Очевидным представляется путь быстрых изменений в распределении доходов с помощью государства. Но обычно власть принадлежит как раз тем, кому принадлежат доходы. Таким образом, социальная мобилизация превращает традиционное экономическое неравенство в стимул к насильственному изменению строя.

Во-вторых, в долгосрочном плане экономическое развитие приводит к более справедливому распределению доходов, чем то, которое существовало в традиционном обществе. В краткосрочном же плане ближайшим следствием экономического роста часто оказывается возрастание экономического неравенства. Достижения быстрого экономического роста часто концентрируются в руках немногих групп, тогда как потери распределяются на многих; в результате число обедневших может даже возрасти. Быстрый рост часто связан с инфляцией; инфляционные цены обычно растут быстрее заработной платы с последующей тенденцией в направлении большего неравенства в распределении богатства. Влияние западных правовых систем на незападные общества часто побуждает к замене общинных форм землевладения на частную собственность, а это обычно усиливает неравенство в распределении земли сравнительно с традиционным обществом. Кроме того, в менее развитых обществах распределение доходов в более современном, несельскохозяйственном секторе обычно более неравномерно, чем в сельском хозяйстве. В сельской Индии, к примеру, в 1950 г. 5% семей получали 28,9% доходов, тогда как в городской части Индии 5% семей получали 61,5% доходов[79]. Поскольку же и общее распределение доходов более равномерно в менее сельскохозяйственных, развитых странах, постольку неравенство в распределении доходов в несельскохозяйственном секторе слаборазвитой страны является много более глубоким, чем в таком же секторе развитой страны.

В отдельных модернизирующихся странах влияние экономического роста на экономическое неравенство может становиться весьма заметным. За двадцать лет до революции в Мексике наблюдался огромный рост экономического неравенства, особенно в землевладении. В 1950-е гг. в Мексике и в Латинской Америке в целом снова наблюдалась тенденция к возрастанию разрыва между богатством и бедностью. Сообщалось, что и на Филиппинах разрыв между высокими и низкими доходами существенно вырос в 1950-е гг. Аналогичным образом быстрый экономический рост в Пакистане в конце 1950-х и начале 1960-х гг. привел к «чудовищной разнице в уровне доходов» и способствовал «относительной стагнации на нижних этажах общественной пирамиды»[80]. В африканских странах независимость принесла немногим, взявшим власть в свои руки, широкие возможности для накопления несметных богатств в то самое время, когда уровень жизни основной части населения оставался неизменным или даже падал. Чем раньше в ходе эволюции колониального общества наступала независимость, тем большим оказывалось экономическое — и политическое — неравенство, которое она приносила этому обществу.

Экономическое развитие усиливает экономическое неравенство, а при этом социальная мобилизация подрывает его легитимность. Таким образом, оба эти аспекта модернизации вместе способствуют политической нестабильности.

Модернизация и коррупция

Коррупцией называется такое поведение государственных чиновников, которое отклоняется от принятых норм ради достижения частных целей. Коррупция очевидным образом существует во всех обществах, но не менее очевидно и то, что в одних обществах она более распространена, чем в других, и что она чаще встречается в определенные периоды эволюции общества. По первому впечатлению можно предположить, что ее размеры достаточно отчетливо коррелируют с быстрой социальной и экономической модернизацией. Представляется, что политическая жизнь в Америке XVIII в. и в Америке XX в. была менее коррумпирована, чем в Америке XIX в. Точно так же и политическая жизнь в Англии XVII в. и конца XIX в. была, по видимости, менее коррумпированной, чем в Англии XVIII в. Можно ли считать простым совпадением то, что эти пики коррупции в английской и американской общественной жизни совпали с воздействием промышленной революции, появлением новых источников богатства и власти и возникновением новых классов, предъявляющих новые требования к государству? В оба эти периода политические институты переживали трудности и до некоторой степени упадок. Коррупция есть, разумеется, одно из следствий отсутствия эффективной политической институциализации. Государственные чиновники не имеют достаточной автономии и сплоченности и потому подчиняют свои институциальные роли внешним требованиям. В некоторых культурах коррупция может получить большее распростране-

ние, чем в других, но в большинстве культур она, по-видимому, получает максимальное распространение в периоды наиболее интенсивной модернизации. Различия в уровне коррупции в модернизированных и политически развитых обществах атлантического мира и в обществах Латинской Америки, Африки и Азии в значительной мере отражают существующие между ними различия в политической модернизации и политическом развитии. Когда руководители военных хунт и революционных движений осуждают «коррупцию» в своих обществах, они, по существу, осуждают отсталость своих обществ.

Почему модернизация рождает коррупцию? Можно выделить три аспекта. Во-первых, модернизация связана с изменением базовых ценностей общества. В частности, она означает постепенное принятие группами внутри общества универсалистских норм, ориентированных на успех, формирование лояльности индивидов по отношению к нации-государству и их идентификации с ним, а также распространение представления о том, что граждане имеют равные права и равные обязанности по отношению к государству. Обычно, разумеется, эти нормы принимаются сначала студентами, офицерами вооруженных сил и другими лицами, испытавшими их влияние за рубежом. В дальнейшем такие группы начинают судить о своем обществе согласно этим новым и чужим нормам. Поведение, бывшее приемлемым и законным согласно традиционным нормам, становится неприемлемым и противозаконным, будучи рассматриваемо современным взглядом. Таким образом, в модернизирующемся обществе коррупция есть отчасти не столько результат отклонения поведения от принятых норм, сколько отклонение норм от установившихся форм поведения. Новые стандарты и критерии того, что хорошо и что плохо, ведут к осуждению по меньшей мере некоторых традиционных форм поведения как противозаконных. «То, что англичанам кажется противозаконным, а хауса деспотичным, — замечает один исследователь Северной Нигерии, — фулани могут рассматривать как необходимое и традиционное»[81]. Более того, постановка под вопрос прежних стандартов способствует размыванию легитимности всех стандартов. Конфликт между современными и традиционными нормами открывает для индивидов возможность действовать, не считаясь ни с теми, ни с другими.

Коррупция предполагает, что существует различие между публичной ролью и приватным интересом. Если в культуре данного общества не проводится различие между ролью короля как частного лица и как главы государства, то невозможно обвинить короля в коррупции при использовании общественных денег. Различие между личным кошельком и общественными расходами сформировалось в Западной Европе постепенно

к началу современного периода. Некоторое понятие об этом различии необходимо, однако, чтобы вынести какое-то суждение о том, правомочны ли действия короля или противозаконны. Аналогичным образом, согласно традиционным понятиям многих обществ, чиновник обязан награждать членов своей семьи и давать им работу. Не существовало различий между обязанностями по отношению к государству и обязанностями по отношению к семье. Только в тех случаях, когда такое различие признается группами, доминирующими в обществе, появляется возможность определить такое поведение как непотизм и, соответственно, определить, что такое коррупция. В самом деле, введение стандартов, ориентированных на успех, может стимулировать большую идентификацию с семьей и усилить потребность защищать семейные интересы от угроз со стороны чужаков. Коррупция есть, таким образом, продукт противоречия между общественным благосостоянием и частным интересом, которое приносит с собой модернизация.

Модернизация способствует развитию коррупции еще и тем, что создает новые источники обогащения и власти, отношение которых к политике не задано господствующими традиционными нормами данного общества и для которых современные нормы еще не приняты доминирующими в обществе группами. Коррупция в этом смысле есть прямой продукт формирования новых групп с новыми ресурсами и стремления этих групп обеспечить себе влияние в политической сфере. Коррупция может рассматриваться как неформальное средство ассимиляции новых групп в политическую систему в условиях, когда система не способна адаптироваться достаточно, чтобы обеспечить законные и приемлемые средства достижения этой цели. В Африке коррупция перекинула «мост между теми, в чьих руках политическая власть, и теми, кто контролирует богатства, позволив этим двум классам, мало связанным между собой на начальных фазах становления националистических режимов в Африке, осуществить взаимную ассимиляцию»[82]. Новые миллионеры покупают себе места в Сенате США или палате лордов и тем самым становятся участниками политической системы, а не ее непримиримыми оппонентами, что могло бы произойти, будь они лишены возможности коррумпировать систему. Точно так же массы, недавно получившие избирательные права, или недавние иммигранты используют полученное ими право голосовать для покупки себе рабочих мест или привилегий у местной политической машины. Существует, таким образом, коррупция бедных и коррупция богатых. Одна обменивает политическую власть на деньги, другая деньги на политическую власть. Но в обоих случаях нечто общественное (голос, должность или решение) обменивается на личную выгоду.

В-третьих, модернизация способствует коррупции посредством тех изменений, которые она производит в функционировании политической системы. Модернизация, особенно в странах, где она проходит позднее, связана с расширением государственных полномочий и умножением тех областей деятельности, которые подлежат государственному регулированию. В Северной Нигерии «угнетение и коррупция в среде хауса усиливались с политической централизацией и расширением функций государства». Всякий закон, как показывает Макмаллен, ставит какую-либо группу в менее выгодное положение, и эта группа в результате становится потенциальным источником коррупции[83]. Умножение законов, таким образом, умножает возможности коррупции. Степень, в которой эти возможности реализуются на практике, в значительной мере зависит от того, насколько законы пользуются поддержкой населения, от легкости, с которой закон можно безнаказанно нарушить, и от выгоды, которая приобретается от его нарушения. Законы, затрагивающие торговлю, взимание пошлин, налоги, а также те, которые регулируют популярные и выгодные виды деятельности, такие, как азартные игры, проституция и продажа алкоголя, становятся поэтому основными побудителями к коррупции. В результате в обществе, где распространена коррупция, принятие строгих законов против коррупции обычно лишь умножает ее возможности.

Нередко приверженность некоторой группы в традиционном обществе к современным ценностям поначалу принимает весьма крайние формы. Идеалы честности, неподкупности, универсализма и достоинства принимаются столь горячо, что индивиды и группы начинают обвинять в коррумпированности в своем обществе такие явления, которые воспринимаются как нормальные и даже законные в более современных обществах. При вступлении общества на путь модернизации в нем возникают неоправданно жесткие ценностные стандарты, как, например, в пуританской Англии. Подобное рвение приводит к неприятию любых сделок и компромиссов, необходимых в политике, и к отождествлению самой политики с коррупцией. Для зилота модернизации данное политиком жителям деревни обещание прорыть у них ирригационные каналы, если его изберут, выглядит столь же бесчестным, как и предложение заплатить каждому жителю деревни за его голос перед выборами. Приверженные модернизации элиты являются националистическими и склонны подчеркивать безусловный приоритет общественного блага. Поэтому в такой стране, как Бразилия, «попытки влиять на общественную политику ради частных интересов воспринимаются, в духе Руссо, как *изначально* «бесчестные». По той же причине действия правительства, предпринимаемые для удовлетворения каких-то требований или под давлением со стороны общества, воспринимаются как "демагогия"»[84]. В обществе, подобном бразильскому, сторонники модернизации осуждают как проявления коррупции назначение послом, производимое в качестве благодарности другу или ради умиротворения критики, или выдвижение правительственного проекта в качестве платы за поддержку со стороны заинтересованной в этом проекте группы. В крайних случаях неприятие коррупции может принимать форму фанатичного пуританства, отличающего большинство революционных и некоторые военные режимы, по крайней мере на ранних стадиях их существования. Парадоксальным образом конечные последствия такой фанатической ненависти к коррупции очень сходны с последствиями самой коррупции. И та и другая подрывают автономию политики: одна за счет того, что общественные цели подменяются частными, а другая за счет того, что политические ценности подменяются техническими. Резкая смена стандартов в модернизирующемся обществе и сопровождающие ее обесценивание и неприятие политики представляют собой победу ценностей современности над нуждами общества.

Борьба с коррупцией в обществе, таким образом, нередко связана как с ослаблением норм, которым вроде бы должно подчиняться поведение государственных чиновников, так и с некоторым изменением поведения чиновников в направлении следования этим нормам. В результате мы получаем несколько большее согласие между общепринятыми нормами и типичным поведением, достигаемое ценой некоторой непоследовательности того и другого. Некоторые виды поведения начинают восприниматься в качестве нормальной составляющей политического процесса, как «честное», а не «бесчестное» лоббирование, тогда как другие, не слишком от первых отличающиеся, становятся предметом всеобщего осуждения и их стараются избегать. Через этот процесс прошли как Англия, так и США: на каком-то этапе в Англии приняли как должное покупку пэрства, но не посольских должностей, тогда как в США смирились с покупкой посольских назначений, но не с покупкой судейства. «В результате в США, — как заметил один наблюдатель, — мы имеем лоскутное одеяло: масштабы политического патронажа сильно сократились и прямой подкуп высших должностных лиц в значительной мере искоренен. В то же время значительные области общественной жизни до сих пор остаются более или менее не затронутыми реформами, и те действия, которые в одной сфере рассматривались бы как противозаконные, принимаются как практически сами собой разумеющиеся в другой»[85]. Формирование в некотором обществе способности к такого рода различению есть признак его продвижения от модернизации к модернизированности.

Функции коррупции, как и ее причины, те же, что у насилия. Развитию того и другого способствует модернизация; то и другое являются симптомами слабости политических институтов; то и другое характерно для то-

го, что мы позднее назовем преторианскими обществами; то и другое выполняют роль средств, с помощью которых индивиды и группы вступают в связь с политической системой и фактически участвуют в функционировании этой системы — способами, которые нарушают нравы этой системы. Поэтому общество с большими возможностями коррупции предоставляет и большие возможности для проявлений насилия. В какой-то мере одна из форм девиантного поведения может замещать другую, но чаще различные общественные силы одновременно используют свои неравные возможности в том и другом отношении. Распространение насилия представляет, однако, большую угрозу функционированию системы, чем рост коррупции. В отсутствие согласия относительно общественных целей коррупция предлагает в качестве заменителя согласие относительно частных целей, тогда как насилие замещает законные формы конфликта между общественными или частными целями. Как коррупция, так и насилие — это незаконные средства предъявления требований к системе, но коррупция — это еще и незаконное средство удовлетворения этих требований. Насилие чаще выступает в роли символического протестного жеста, который не получает прямого удовлетворения и на такое удовлетворение не рассчитан. Это симптом более глубокой степени отчуждения. Подкупающий полицейского чиновника системы с большей вероятностью идентифицирует себя с системой, чем тот, кто штурмует полицейские участки этой системы.

Как всякая политика покровительства, коррупция доставляет непосредственные и конкретные выгоды группам, которые иначе могли бы остаться глубоко отчужденными от общества. Коррупция поэтому может быть столь же функциональной для поддержания политической системы, как и реформа. Коррупция сама может быть заменой реформы; как коррупция, так и реформа могут быть заменой революции. Коррупция способствует снижению группового давления в направлении изменения политики, подобно тому как реформа способствует снижению классового давления в направлении структурных изменений. В Бразилии, к примеру, государственные кредиты лидерам объединения профсоюзов побудили последних отказаться от «более широких требований их объединения. Такого рода предательство стало важным фактором уменьшения классового и профсоюзного давления на правительство»[86].

Уровень коррупции, порождаемой в обществе модернизацией, есть, разумеется, функция как природы традиционного общества, так и характера процесса модернизации. Наличие в традиционном обществе нескольких конкурирующих систем ценностей или культур само уже способствует развитию в этом обществе коррупции. В случае же относительно однородной культуры вероятные размеры коррупции, развивающейся

в процессе модернизации находятся, видимо, в обратной зависимости от степени социальной стратификации традиционного общества. Ярко выраженная классовая или кастовая структура предполагает высокоразвитую систему норм, регулирующих поведение индивидов различного статуса по отношению друг к другу. Подчинение этим нормам вынуждается как социализацией индивида в его собственную группу, так и потенциальными санкциями со стороны других групп. В таком обществе неспособность соблюдать нормы в межгрупповых отношениях может приводить к глубокому душевному кризису и личному краху.

Отсюда следует, что при модернизации феодальных обществ коррупция должна принимать меньшие размеры, чем при модернизации централизованных бюрократических обществ. Можно ожидать, что в Японии ее масштабы будут меньше, чем в Китае, а в индуистских культурах — ниже, чем в мусульманских. По видимости, это так и есть. Для западных обществ одно из исследований выявило тот факт, что в Австралии и Великобритании наблюдается «довольно высокий уровень классового голосования» сравнительно с США и Канадой. Между тем размеры политической коррупции в последних двух странах выше, чем в первых, причем Квебек оказывается самой, вероятно, коррумпированной областью в пределах этих четырех стран. Итак, представляется, что «страны с более высоким уровнем классовой поляризации характеризуются и наименьшими размерами политической коррупции»[87]. В «мулатских» странах Латинской Америки (Панама, Куба, Венесуэла, Бразилия, Доминиканская Республика и Гаити), «наблюдается бóльшая степень социального равенства и меньшая жесткость социальной структуры», чем в странах «индейских» (Мексика, Эквадор, Гватемала, Перу, Боливия) или «метисских» (Чили, Колумбия, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Парагвай). Однако относительное «отсутствие изолированного высшего класса приводит и к отсутствию этики правящего класса с отличающим ее чувством noblesse oblige*, и, как следствие, «можно с несомненностью утверждать, что именно в странах этой социологической категории политический подкуп достигает особенно впечатляющих размеров». Перес Хименес в Венесуэле, Батиста на Кубе и Трухильо в Доминиканской Республике — все они вышли не из высшего класса и все стали на своих постах мультимиллионерами. Сходным образом «Бразилия и Панама известны более «демократическим» характером взяточничества, более широким его распространением»[88]. Распространенность коррупции в африканских странах также можно связать с тем, что там, как правило, отсутствует жесткое членение общества на классы. «Возможность

* Noblesse oblige (*фр.*) — положение обязывает. Исторически речь идет о дворянской этике, обязанности «благородного сословия» вести себя соответственно понятию благородства.

быстрого перехода от бедности к богатству и перемены рода занятий, — замечает один наблюдатель об Африке, — помешала формированию здесь классовости, то есть наследственного статуса или классового сознания»[89]. Но эта же самая мобильность умножает возможности и повышает привлекательность коррупции. Существует много свидетельств о широкой распространенности политической коррупции на Филиппинах и в Таиланде, где существуют достаточно гибкие и открытые общественные системы со сравнительно высоким уровнем социальной мобильности.

В большинстве своих форм коррупция предполагает обмен политического действия на экономические блага. Конкретные же ее формы, преобладающие в том или ином обществе, зависят от легкости доступа к этим предметам обмена. В обществе, где велики и многообразны возможности обогащения и в то же время неширок круг властных позиций, преобладать будет использование богатства для покупки власти. Так, в США чаще богатство открывало дорогу к политическому влиянию, чем политическое положение становилось средством обогащения. Запреты на использование общественной должности для получения частной выгоды более строги и в большей мере исполняются, чем запреты на использование богатства для получения общественного поста. В большинстве стран мира с изумлением и недоверием восприняли бы такое поразительное, но вполне обычное для американской политики явление: министр или помощник президента, который вынужден оставить свой пост *для того, чтобы* обеспечить материальное благополучие своей семьи. В странах, переживающих модернизацию, обычно имеет место обратная ситуация. Возможности обогащения посредством частного предпринимательства ограничены традиционными нормами, монополизацией экономических ролей этническими меньшинствами или доминированием в экономике иностранных компаний и инвесторов. В таком обществе политика становится дорогой к богатству, и те амбициозные и талантливые люди, чья предприимчивость не находит того, что они ищут, в бизнесе, могут обрести это в политике. Во многих модернизирующихся странах способному и амбициозному молодому человеку легче заняться политикой и стать министром, чем заняться бизнесом и стать миллионером. Как следствие, в противоположность американской практике в модернизирующихся странах широко распространенное использование общественного положения для повышения своего материального благополучия может восприниматься как нечто вполне нормальное, и в то же время там может существовать более суровое отношение к использованию богатства для получения общественного поста. Коррупция, как и насилие, распространяется тогда, когда отсутствие возможностей для мобильности за пределами политики в сочетании со слабыми и негибкими политическими институтами направляет энергию в область политически девиантного поведения.

Засилье в стране иностранного бизнеса особенно способствует распространению коррупции — как по той причине, что иностранцы испытывают меньше угрызений совести, нарушая нормы данного общества, так и потому, что захват иностранцами основных путей к экономическому благополучию вынуждает потенциальных местных предпринимателей пытать свое счастье в политике. Описание Филиппин, сделанное Тейлором, без сомнения, широко приложимо и к другим модернизирующимся странам: «Политика — это одна из важнейших областей бизнеса для филиппинца; это образ жизни. Политика — это основной путь к власти, которая, в свою очередь, является основным путем к богатству... Используя политическое влияние, можно сделать больше денег и за более короткое время, чем любыми другими путями»[90]. Использование политического положения как средства обогащения предполагает подчинение политических ценностей и институтов экономическим. Главной целью политики становится не достижение общественных целей, а удовлетворение индивидуальных интересов.

Во всех обществах *шкала* коррупции (т.е. средняя стоимость частных благ и общественных услуг, участвующих в противозаконном обмене) возрастает по мере продвижения вверх по ступеням бюрократической иерархии или политической лестницы. Однако *частотность* коррупции (т. е. частота, с которой данная группа населения участвует в актах коррупции) на данном уровне политической или бюрократической структуры может быть существенно различной для разных обществ. В большинстве политических систем частотность коррупции высока на низших уровнях политической или бюрократической власти. В некоторых обществах частотность коррупции остается постоянной или возрастает по мере продвижения вверх в политической иерархии. Как в отношении частоты, так и в отношении шкалы национальные законодатели более коррумпированы, чем местные чиновники; бюрократы высших уровней более коррумпированы, чем бюрократы низких уровней; министры правительства коррумпированы более, чем кто-либо; более же всех коррумпирован президент или высший руководитель. В таких обществах высший руководитель — Нкрума, Сарит Танарат, Сан Мартин*, Перес Хименес, Трухильо — может за время своего

* Нкрума, Кваме (1890–1972) — первый президент (1960–1966) Республики Гана. Сан Мартин, Хосе (1778–1850) — один из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке. Освободитель Аргентины, Чили и Перу. Возглавлял первое правительство Перу. Сарит Танарат (1908–1963) — фельдмаршал, премьер-министр Таиланда в 1959–1963 гг., пришедший к власти в результате военного переворота.

правления обогатиться на десятки, если не сотни миллионов долларов. В такой системе коррупция обычно усиливает уже существующее неравенство. Те, кто получают доступ к наибольшей политической власти, имеют и большую возможность доступа к источникам обогащения. Такая форма коррупции на высшем уровне власти означает очень низкий уровень политической институциализации, поскольку высшие политические институты общества, которые должны быть независимыми от внешних влияний, в действительности наиболее подвержены таким влияниям. Эта форма коррупции не обязательно несовместима с политической стабильностью, поскольку пути направленной вверх мобильности по ступеням политической машины или бюрократии остаются открытыми. Если, однако, молодые политики видят себя на неопределенное время отстраненными от дележа преимуществ, которые получают старые лидеры, или же армейские полковники имеют мало надежд на продвижение по службе и мало шансов получить ту долю возможностей, которыми располагают генералы, система рискует быть насильственно ниспровергнутой. В таком обществе как политическая коррупция, так и политическая стабильность зависят от вертикальной мобильности.

В других обществах распределение коррупции по этажам иерархии оказывается обратным. Здесь частотность коррупционного поведения растет по мере спуска вниз по ступеням политической или бюрократической лестницы. Бюрократы низкого уровня коррумпированы с большей вероятностью, чем высокопоставленные чиновники; должностные лица штатов и местных органов власти с большей вероятностью коррумпированы, чем чиновники общенационального уровня; высшее национальное руководство и национальное правительство сравнительно свободны от коррупции, тогда как городские советы и местные учреждения глубоко охвачены ею. Обратная зависимость наблюдается для шкалы и частотности коррупции. Подобное распределение обычно имеет место в очень современных обществах, таких, как США, а также в некоторых, по крайней мере модернизирующихся, обществах, как Индия. Сходное распределение преобладает, вероятно, и в коммунистических странах. Решающим фактором в обществах такого типа является существование достаточно сильных национальных политических институтов, которые обеспечивают социализацию растущих политических лидеров, прививая им кодекс ценностей, в котором акцентируется ответственность политического руководства. Национальные политические институты достаточно автономны и дифференцированы, тогда как политические деятели и организации низших уровней и на местах более тесно связаны с другими общественными силами и группами. Такой тип распределения коррупции может прямо способствовать стабильности политической системы. Высшее руководство общества хранит верность декларируемым нормам политической культуры и удовлетворяется политической властью и моральным достоинством взамен экономических выгод. Низшие же чиновники, в свою очередь, компенсируют недостаточно высокое политическое положение за счет больших возможностей участвовать в коррупции. Выгоды, доставляемые коррупционным бизнесом, служат для последних утешением и смягчают их ревность к политической власти высших руководителей.

Если коррупция, связанная с ростом политической активности населения, способствует интеграции новых групп в политическую систему, то коррупция, являющаяся результатом усиления государственного регулирования, может стимулировать экономическое развитие. Коррупция может стать одним из путей преодоления традиционных законов или бюрократических запретов, тормозящих рост экономики. В США в 1870-е и 1880-е гг. коррупция законодательных собраний штатов и городских советов, осуществлявшаяся железнодорожными, промышленными и связанными с коммунальным обслуживанием корпорациями, без сомнения, ускорила рост американской экономики. «Многие виды экономической деятельности были бы парализованы, — пишет Вайнер об Индии, — если бы не гибкость, которую «бакшиш» вносит в функционирование сложной и ригидной административной системы»[91]. Примерно то же происходило и в период правления Кубичека в Бразилии, когда высокие темпы экономического развития были очевидным образом связаны с высоким уровнем парламентской коррупции — предприниматели, осуществлявшие индустриализацию, покупали протекцию и поддержку у консервативных сельских законодателей. Высказывалось даже предположение, что одним из результатов антикоррупционной политики правительств в таких странах, как Египет, являлось появление новых препятствий на пути экономического развития. С точки зрения экономического роста хуже общества с жесткой, сверхцентрализованной, бесчестной бюрократией может быть только общество с жесткой, свехцентрализованной, честной бюрократией. Для общества относительно некоррумпированного — например, такого, где еще сильны традиционные нормы, — некоторая прививка коррупции может оказаться благотворной смазкой, облегчающей путь к модернизации. Развитое традиционное общество может получить пользу — по меньшей мере, с точки зрения модернизации — от небольшой дозы коррупции; однако общество, в котором коррупция уже получила большое распространение, едва ли выиграет от роста ее масштабов.

Естественно, что коррупция ослабляет правительственную бюрократию или препятствует ее усилению. В этом смысле она несовместима

с политическим развитием. Временами, однако, некоторые формы коррупции могут способствовать политическому развитию через усиление политических партий. «Коррупция одной формы правления... — писал Харрингтон, — есть путь к рождению другой формы правления»[92]. Аналогичным образом, коррупция одного правительственного органа может способствовать институциализации другого. В большинстве модернизирующихся стран наблюдается чрезмерное развитие бюрократии сравнительно с институтами, ответственными за согласование интересов и входную сторону политической системы. Если правительственная бюрократия подвергается коррупции в интересах политических партий, это может оказаться скорее полезно, чем вредно для политического развития. Покровительство партиям — довольно слабая форма коррупции, если оно вообще заслуживает такого наименования. Если должностное лицо принимает решение в пользу некоторого общественного учреждения и получает за это плату, то мы имеем очевидный случай постановки частного интереса выше общественного. Если же должностное лицо принимает решение в пользу общественного учреждения в обмен на выполнение работы или денежные выплаты в пользу партийной организации, то мы имеем подчинение одного общественного интереса другому, более насущному, т.е. партийному.

Исторически сильные партийные организации складывались или в ходе революций снизу, или сверху, благодаря покровительству. Опыт Англии и США XIX в. представляет собой один долгий урок использования общественных фондов и общественных учреждений для строительства партийных организаций. Воспроизведение этого образца в сегодняшних модернизирующихся странах прямо способствовало строительству некоторых из числа наиболее эффективных политических партий и наиболее стабильных политических систем. В странах, где модернизация осуществляется позднее, источников частного финансирования слишком немного и они слишком скудны, чтобы их участие в партийном строительстве было значительным. И как государству в этих странах приходится играть более важную роль в экономическом развитии, чем это было в Англии и США, так оно должно играть более важную роль и в политическом развитии. В 1920-е и 1930-е гг. Ататюрк использовал ресурсы турецкого государства для ускорения развития Народно-республиканской партии. После 1929 г. развитию мексиканской Институционно-революционной партии также содействовали коррупция и покровительство со стороны правительства. В формировании Демократической республиканской партии в Корее в начале 1960-х гг. имела место прямая финансовая и организационная помощь со стороны государства. В Израиле и Индии именно государственное покровительство было источником силы Мапай и Индийского национального конгресса. Коррупция в Западной Африке проистекала отчасти из удовлетворения нужд политических партий. Ну и, наконец, в наиболее очевидной и откровенной форме это происходило в случае коммунистических партий, которые, захватив власть, прямо подчиняют государственную бюрократию и государственные ресурсы своим интересам.

Коррупция бюрократий со стороны партий не объясняется простым предпочтением одной формы организации другой. Коррупция, как мы видели, есть продукт модернизации и в особенности роста политической сознательности и политической активности населения. Для снижения уровня коррупции необходимо создавать формы организации и структурирования этой активности. Политические партии суть основные институты современной политики, выполняющие эту функцию. Коррупция разрастается в условиях дезорганизации, отсутствия устойчивых отношений между группами и признанных форм авторитета. Развитие политических организаций, которые выступают в роли эффективных источников авторитета и служат организованному выражению групповых интересов — «машины», «организации», «партии», — более широких, чем интересы отдельных индивидов и общественных групп, уменьшает возможности коррупции. Коррупция находится в обратной зависимости от степени политической организации, и в той степени, в которой она участвует в строительстве партий, она подрывает условия собственного существования.

Коррупция особенно распространена в странах, где нет эффективных политических партий, в обществах, где доминирующее значение имеют интересы индивида, семьи, клики или клана. В модернизирующихся странах чем слабее и непопулярнее политические партии, тем вероятнее распространение коррупции. В странах, подобных Таиланду и Ирану, где партии в лучшем случае полулегальны, широко распространена коррупция во имя индивидуальных и семейных интересов. Распространена коррупция и на Филиппинах, хорошо известных слабостью своих партий. В Бразилии слабость политических партий также нашла отражение в политике «покровительственного» типа, в которой существенную роль играет коррупция[93]. В противоположность этому есть основания считать, что частотность коррупции в тех странах, где государственные ресурсы «коррупционным образом» использовались для партийного строительства, в целом меньше, чем в странах, где партии оставались слабыми. Исторический опыт Запада также подтверждает эту закономерность. Партии, поначалу бывшие пиявками бюрократии, в конце концов превратились в шкуру, защищающую государство от более зловредной саранчи клановости и семейственности. Партийность и коррупция, утверждал Генри Джонс Форд, «это, по существу, антаго-

нистические принципы. Партийность стремится к установлению связей, основанных на признанных общественных обязательствах, тогда как коррупция руководствуется частными и индивидуальными интересами, которые прячутся в тени и уклоняются от какого-либо учета. Слабость партийной организации открывает возможности коррупции»[94].

Разрыв между городом и селом: городской прорыв и «зеленое восстание»

Одним из важных политических результатов модернизации является порождаемый ею разрыв между сельской местностью и городом. Этот разрыв составляет отличительную политическую характеристику обществ, переживающих быстрые социальные и экономические изменения. Это главный источник политической нестабильности в таких обществах и одно из основных, если не основное, препятствие на пути национальной интеграции. Модернизацию часто измеряют ростом городов. Город становится средоточием новой экономической активности, новых общественных классов, новой культуры и нового образования, что обуславливает его фундаментальное отличие от села, в большей мере привязанного к традиции. В то же время модернизация может еще и предъявлять селу новые требования, что усиливает его враждебность по отношению к городу. Чувствам интеллектуального превосходства и презрения, которые горожанин испытывает к отсталому крестьянину, противостоят присущие последнему чувства нравственного превосходства и в то же время зависти к городскому пройдохе. Город и село становятся различными обществами, различными образами жизни.

Исторически миграция крестьян из деревень в городские трущобы является процессом столь же важным, сколь и необратимым. Однако в странах, позднее переживающих процесс модернизации, сам этот процесс уменьшает значение этого явления и сокращает разрыв между городом и селом. Радио приносит язык и надежды города в село; автобус привозит язык и представления села в город. Городские и сельские родственники начинают чаще контактировать друг с другом. Современная инфраструктура модернизации, таким образом, сократила разрыв между городом и селом, хотя и не уничтожила его. Различия все еще фундаментальны. Уровень жизни в городе часто в четыре-пять раз выше, чем на селе. Большинство горожан грамотны, подавляющее большинство сельских жителей неграмотны. Экономическая деятельность и возможности в городе бесконечно более разнообразны, чем в сельских районах. Городская культура характеризуется открытостью, это современная и светская культура; культура села является замкнутой, традиционной и религиозной. Различия между городом и селом — это различия между наиболее современными и наиболее традиционными частями общества. Фундаментальной проблемой политики в модернизирующемся обществе является проблема средств для преодоления этого разрыва и восстановления политическими средствами того общественного единства, которое было разрушено модернизацией.

Расширение участия населения в политике отражается в меняющихся отношениях между городом и селом и в меняющихся формах политической нестабильности и политической стабильности, свойственных этим частям общества. В типично традиционной фазе развития общества село доминирует над городом и в политическом, и в социальном отношениях, а на селе небольшая аристократическая группа доминирует над пассивной крестьянской массой. За пределами села уровень вовлеченности населения в политическую жизнь невысок. В ней участвуют аристократы, землевладельцы, представители высшей бюрократии, деятели церкви и военные высших рангов. Все они рекрутируются из одной и той же немногочисленной правящей элиты, и различия между ролями и функциями участников политического процесса все еще сравнительно примитивны. В большинстве традиционных обществ, за исключением централизованных бюрократических империй, город играет незначительную и второстепенную роль. Он может быть местом пребывания правительства, но само правительство состоит из небольшого числа профессиональных чиновников и полностью контролируется сельской элитой, богатство и влияние которой обусловлены земельной собственностью. В таком обществе доминируют сельские районы, и как они, так и города стабильны.

Модернизация изменяет характер города и соотношение между городом и селом. В городе развивается экономическая активность, что ведет к появлению новых общественных групп и к формированию нового общественного сознания у старых групп. В город проникают новые идеи и новые технологии, импортированные извне. Во многих случаях, особенно там, где имеется достаточно развитая традиционная бюрократия, первыми группами традиционного общества, которые испытывают на себе влияние модернизации, оказываются представители военной и гражданской бюрократии. Со временем на сцене появляются студенты, интеллигенция, торговцы, доктора, банкиры, ремесленники, предприниматели, учителя, адвокаты и инженеры. У представителей этих групп формируется чувство своей политической силы, и они начинают требовать участия в функционировании политической системы. Иначе говоря, в политическую жизнь входит городской средний класс, превращающий город в источник неспокой-

ствия и оппозиции к политической и социальной системе, в которой все еще доминируют сельские районы.

В конечном счете город утверждает свою силу и свергает власть сельской элиты, полагая тем самым конец традиционной политической системе. Этот прорыв города к власти обычно сопровождается насилием, и в этой точке политическая жизнь общества становится крайне нестабильной[95]. Город еще остается небольшим наростом на теле общества в целом, но внутригородские группы могут использовать свои преимущества в квалификации, размещении и концентрации для того, чтобы контролировать политическую жизнь общества на общенациональном уровне. В отсутствие эффективных политических институтов политика становится городской игрой, разыгрываемой в среде зарождающегося городского среднего класса. В обществе возникает фундаментальный разрыв: оно в целом остается сельским, тогда как его политика становится городской. Город делается основным источником политического влияния, но внутригородские группы среднего класса выступают в оппозиции сначала к низвергнутой ими сельской элите, а потом и друг к другу. Источники нестабильности в обществе, переживающем модернизацию, редко располагаются в беднейших и отсталых областях; чаще всего их надо искать в самых передовых секторах общества. В процессе урбанизации политика становится все более нестабильной.

На этом этапе для восстановления политической стабильности необходим союз между некоторыми городскими группами и массами сельского населения. Поворотным пунктом роста политической активности в обществе, переживающем модернизацию, является вовлечение в национальную политику масс сельского населения. Для стран, позднее переживающих модернизацию, эта мобилизация села (или «зеленое восстание») имеет гораздо большее политическое значение, чем в странах, проходивших эту стадию первыми. В последних урбанизация и индустриализация обычно достигали высоких уровней до того, как основная масса сельского населения оказывалась доступной для политической мобилизации. К тому времени, как участие сельского населения в политике становилось существенным, его доля в населении в целом была уже не столь велика. Важным исключением являлись, правда, США. В XVIII в., во время Войны за независимость, распространенность норм справедливости и демократии, сравнительно высокий уровень грамотности и образования, сравнительно широкое распространение землевладения (за пределами Юга) в совокупности сделали возможным широкое участие сельского населения в политической жизни еще до того, как выросло влияние городов. Сходным образом и в странах, модернизирующихся позднее, ускорение модернизации

повышает политическую сознательность села и его способность к политическому действию тогда, когда урбанизация и индустриализация зашли еще сравнительно недалеко. В таких странах, соответственно, ключом к политической стабильности оказывается то, в какой мере сельские массы мобилизуются в политическую жизнь в рамках политической системы, а не выступают против этой системы.

Сроки, пути и формы руководства «зеленого восстания» оказывают, таким образом, решающее влияние на последующую политическую эволюцию общества. Такое «восстание» может происходить ускоренными темпами или же медленно и в несколько этапов. Обычно оно принимает одну из четырех форм. В колониальном обществе «зеленое восстание» может осуществляться под руководством националистически настроенной интеллигенции, которая, как это было в Индии и в Тунисе, вовлекает крестьянские группы в политику в рамках национального движения, используя их поддержку в борьбе с имперской властью. После достижения независимости, однако, перед националистическими лидерами встает проблема организации этой сельской поддержки и придания ей устойчивых политических форм. Если националистической партии не удается это сделать, какая-то другая группа городских лидеров, стоящая в оппозиции к националистам или к политической системе, в которую те включены, может сделать попытку заполучить поддержку крестьян. В системе, где существует партийная конкуренция, «зеленое восстание» часто принимает такую форму, что одна из соперничающих частей городской элиты получает поддержку сельского электората или вступает с ним в союз, с тем чтобы на выборах победить партии, в большей мере опирающиеся только на городское население. Победы Джефферсона и Джексона над обоими Адамсами* имели в XX в. аналоги в Турции, на Цейлоне, в Бирме, Сенегале и других странах, переживавших модернизацию. В третьем случае «зеленое восстание» может происходить, по крайней мере частично, под руководством военных, если, как в Южной Корее и, пожалуй, в Египте, военная хунта, ориентирующаяся на поддержку сельского населения, приходит к власти и затем пытается расширить свою политическую базу в сельских районах, чтобы успешно противостоять своим городским оппонентам. Наконец, если внутри политической системы не находится такой группы, которая бы взяла на себя вовлечение крестьянства в политическую жизнь, то какая-нибудь группа городской интеллигенции может мобилизовать и организовать его на борьбу против данной политической системы. Результатом бывает революция.

* Речь идет о президентских выборах в США 1800 и 1828 гг.

Каждая из этих форм «зеленого восстания» предполагает мобилизацию крестьян на политическую борьбу. Нет борьбы, нет и мобилизации. Ключевые различия связаны с тем, против кого направлено восстание, и с тем, в каких рамках оно осуществляется. В националистическом варианте врагом является колониальная власть, а мобилизация происходит в рамках национального движения, которое сменяет колониальную власть в качестве источника легитимности в политической системе. В случае системы с партийной конкуренцией в роли мишени выступает правящая партия, а мобилизация осуществляется в рамках политической системы, но не в рамках правящей партии. В военном варианте в качестве врага обычно избирается бывшая у власти олигархия, а мобилизация вписывается в усилия военных лидеров сконструировать новую политическую структуру. В революционном варианте мишенью становятся существующая политическая система и ее руководители, а мобилизация осуществляется через посредство оппозиционной политической партии, руководство которой стремится изменить существующую политическую систему.

Нестабильность города — обстановка переворотов, беспорядков и демонстраций — представляет собой в какой-то мере неизбежную характеристику модернизации. Степень, в которой проявляется эта нестабильность, зависит от эффективности и легитимности политических институтов общества. Городская нестабильность поэтому не слишком значительна, но универсальна. Сельская нестабильность, напротив, принимает значительные масштабы, но ее можно избежать. Если городским элитам, идентифицирующимся с политической системой, не удается взять контроль над «зеленым восстанием», появляется возможность захвата власти оппозиционной группой — революционным путем при поддержке крестьянства — и создания новой институциональной однопартийной структуры для устранения разрыва между селом и городом. Если же городским элитам, идентифицирующим себя с политической системой, удается вовлечь крестьян в политику на своей стороне, то у них появляется возможность поставить барьеры на пути распространения нестабильности и сдержать ее. Поддержка, оказываемая режиму со стороны сельских районов, позволяет ему выдержать враждебность города на ранних этапах модернизации. Цена, которую режиму приходится заплатить за эту сельскую поддержку, состоит в модификации или отказе от многих усвоенных им западных или современных ценностей и практик. Так, парадоксальным образом, «зеленое восстание» оказывает на политическую систему либо в высокой степени традиционализирующее, либо глубоко революционное влияние.

Если революции удается избежать, то со временем городской средний класс существенно изменяется; увеличиваясь численно, он становится

Таблица 1.5. Политическая модернизация: изменения в относительном влиянии города и сельских районов и уровне стабильности

Фаза	Город	Село	Примечания
1. Традиционная стабильность	стабилен, подчинен	стабильно доминирует	Сельская элита является правящей; средний класс отсутствует; крестьянство пассивно
2. Начало модернизации	нестабилен, подчинен	стабильно доминирует	Появляется городской средний класс и начинает борьбу против сельской элиты
3. Городской прорыв	нестабилен, доминирует	стабильно подчинено	Городской средний класс свергает сельскую элиту; крестьянство все еще пассивно
А4. «Зеленое восстание»: сдерживание	нестабилен, подчинен	стабильно доминирует	Мобилизация крестьянства в рамках системы восстанавливает стабильность и сельское доминирование
А5. Фундаменталистская реакция	стабилен, доминирует	нестабильно подчинено	Средний класс взрослеет и становится более консервативным; появляется рабочий класс; сдвиг доминирования в пользу города рождает сельскую фундаменталистскую реакцию
В4. «Зеленое восстание»: революция	нестабилен, подчинен	нестабильно доминирует	Мобилизация крестьянства против системы приводит к ниспровержению прежних структур
В5. Модернизирующая консолидация	стабилен, доминирует	нестабильно подчинено	Революционеры, пришедшие к власти, навязывают крестьянству модернизационные реформы
6. Современная стабильность	стабилен, доминирует	стабильно подчинено	Сельское население принимает современные ценности и городское доминирование

более консервативным. Городской рабочий класс также вовлекается в политику, но он обычно слишком слаб, чтобы соперничать со средним классом, или слишком консервативен, чтобы желать этого. Так, по мере развития урбанизации, город начинает играть бóльшую роль в политике страны и сам становится более консервативным. Политическая система и правительство больше зависят от поддержки города, чем от поддержки сельских районов. Приходит черед селу столкнуться с перспективой доминирования города и реагировать на нее. Эта реакция часто принимает форму сельских протестных движений фундаменталистского характера, которые безуспешно пытаются подорвать могущество города и остановить распространение городской культуры. Поражение или умиротворение этих оппозиционных движений и означает, что процесс модернизации привел страну к современности. И город, и село вновь стабильны, но власть теперь сосредоточена не в селе, а в городе. Общество, некогда объединенное традиционной аграрной культурой, теперь объединяется современной городской культурой.

Бóльшая или меньшая степень революционности того пути, по которому эволюционирует общество, зависит, таким образом, от выбора его лидеров и их городских оппонентов, после того как город утверждает свою роль в политической системе. В этой точке либо лидеры системы мобилизуют крестьянство, вовлекая его в политику в качестве стабилизирующей силы для сдерживания городской оппозиции, либо оппозиция увлекает крестьянство в политику в качестве революционной силы, соучаствующей в насильственном ниспровержении существующего политического и общественного строя. Общество, таким образом, может оказаться охваченным революцией только в том случае, когда выступление против политической системы среднего класса совпадет по времени с оппозиционностью крестьянства. Если средний класс стал консервативным, сельское восстание еще возможно, но революция — нет.

Политическая стабильность: гражданские и преторианские политические системы

Политические системы можно, таким образом, различать по уровню их политической институциализации и уровню вовлеченности населения в политику. В обоих случаях различия суть различия в степени: не существует четкой демаркационной линии между обществом с высоким уровнем институциализации и дезорганизованным обществом; точно так же не существует четкой границы между одним уровнем политической активности населения и другим. Для того, однако, чтобы анализировать изменения по обоим этим параметрам, необходимо задать различные категории систем, понимая при этом, что редкая реальная политическая система укладывается в конкретную теоретически определенную ячейку. С точки зрения институциализации достаточно, вероятно, отличать друг от друга системы, достигшие высокой степени политической институциализации, и системы, характеризующиеся низким уровнем институциализации. С точки зрения политической активности населения представляется желательным выделить три уровня: на низшем уровне участие в политике ограничивается немногочисленной традиционной аристократической или бюрократической элитой; на среднем уровне в политику уже вовлечены средние классы; в обществе же с высоким уровнем политической активности населения в политическую жизнь включены уже и элита, и средний класс, и широкие массы населения.

Было бы удобно ограничиться подобной картиной, но дело не обстоит столь просто. Стабильность любого общества зависит от соотношения между уровнем политической активности населения и уровнем политической институциализации. Уровень политической институциализации в обществе с низким уровнем политической активности может быть много ниже, чем в обществе с более высоким уровнем политической активности населения, и все же общество с низким уровнем того и другого может оказаться более стабильным, чем общество с более высоким уровнем институциализации и еще более высоким уровнем политической активности населения. Политическая стабильность, как мы уже указывали, зависит от отношения институциализации к политической активности. С возрастанием политической активности должны возрастать также сложность, автономия, адаптивность и согласованность политических институтов общества — если мы хотим, чтобы политическая стабильность сохранялась.

Современные политические системы в какой-то мере можно отличать от традиционных по уровню политической активности населения. Развитые политические системы в какой-то мере можно отличать от слаборазвитых по уровню их политической институциализации. К этим критериям различения можно теперь добавить третий: различие между системами, где уровень политической активности населения высок по отношению к уровню политической институциализации, и такими, где уровень институциализации высок относительно политической активности населения. Политические системы с низким уровнем институциализации и высоким уровнем активности — это системы, где социальные силы действуют непосредственно в политической сфере, пользуясь собственными методами. По причинам, о которых пойдет речь ниже, такие политические системы можно назвать

преторианскими. Напротив, политические системы с высоким значением отношения институциализации к политической активности населения можно назвать гражданскими. Некоторое общество может, таким образом, иметь более развитые политические институты, чем другое общество, но быть в то же время более преторианским в силу того, что оно характеризуется еще более высоким уровнем политической активности населения.

И гражданские, и преторианские общества могут, таким образом, существовать при разных условиях политической активности населения. Наложение классификации обществ по уровню политической активности, с одной стороны, на их классификацию по отношению институциализации к активности, с другой, дает нам типологию политических систем, показанную в таблице 1.6.

Эта типология историку политических идей может показаться знакомой. Отправляясь от по-новому заданного набора категорий, но имея в виду выявление все тех же условий политической стабильности, наш анализ привел к типологии политических систем, поразительно напоминающей классические концепции. Теоретики прошлого подразделяли политические системы двояким образом: по числу правителей и по характеру правления. Это разделение систем на такие, которые управляются одним, немногими или многими, примерно соответствует нашему и других современных исследователей различению по уровню вовлеченности населения в политику. Различение между гражданскими и преторианскими системами примерно соответствует различию, постулированному Платоном, Аристотелем и другими классическими авторами, между легитимным государством, где действуют законы, где правители действуют во имя общественных интересов, и порочными и беззаконными системами, где правители действуют, преследуя свои, а не общественные интересы. «...Только те государственные устройства, которые имеют в виду общую пользу, являются... правильными; имеющие же в виду только благо правящих — все ошибочны и представляют собой отклонение от правил...»[96].

Как понимали греки, «правильное» политическое устройство может принимать различные формы, подобно тому как в наше время политические системы США, Великобритании и СССР существенно отличаются друг от друга. В противоположность им, к обществам с извращенным устройством относились те, в которых не действовали законы и органы власти, не было сплоченности, дисциплины и согласия, где частные интересы доминировали над общественными, где отсутствовали гражданские обязанности и гражданский долг, где, наконец, политические институты были слабы, а общественные силы влиятельны. По Платону, в выродившихся государствах правят различные виды стяжания — сила, богатство, численность групп и харизма. Они

Рис. 1. Политическая институциализация и политическая активность

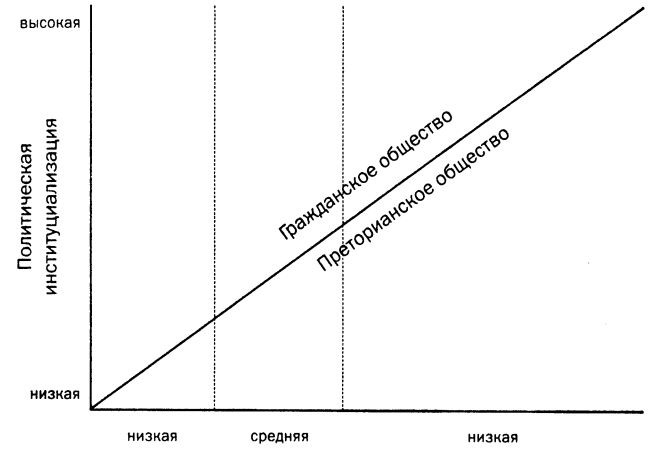


Таблица 1.6. Типы политических систем

Политическая активность	Отношение институциализации к политической активности	
	Высокое: гражданская	Низкое: преторианская
Низкая: традиционная	Органическая (Эфиопия)	Олигархическая (Парагвай)
Средняя: переходная	Либеральная (Чили)	Радикальная (Египет)
Высокая: современная	Активистская (СССР)	Массовая (Аргентина)

суть манифестации того, что Макиавелли называл порочным государством, где, по словам одного комментатора, процветают «все виды произвола и насилия, очень неравномерное распределение богатства и власти, нарушения мира и справедливости, беспорядочные амбиции, раздоры, беззаконие, бесчестность и презрение к религии»[97]. Современными эквивалентами этой классической идеи порочного государства могут служить теория массового государства Корнхаузера, государства, где элиты доступны влиянию масс, а массы подвержены мобилизации со стороны элит, и созданная Раппопортом концепция преторианского государства, в котором «частные амбиции редко наталкиваются на ограничения со стороны общественного сознания и где максимально велика роль власти (т.е. богатства и силы)»[98].

Практически невозможно классифицировать такого рода государства с точки зрения формы правления. Мы можем не сомневаться, что США — это конституционная демократия, а СССР — коммунистическая диктатура. Но какова политическая система Индонезии, Доминиканской Республики, Южного Вьетнама, Бирмы, Нигерии, Эквадора, Аргентины, Сирии, где проводились выборы? Но эти страны, очевидным образом, не являются демократиями в том смысле, в котором таковыми являются Дания или Новая Зеландия. У них были авторитарные правители, но это не эффективные диктатуры, как коммунистические государства. В другие периоды своей истории во главе их стояли харизматические личности или военные хунты. Они не поддаются классификации в терминах какой-либо конкретной формы государственного устройства, поскольку их отличительной характеристикой является хрупкость и зыбкость всех форм авторитета. Харизматический лидер, военная хунта, парламентский режим, популистский диктатор сменяют друг друга непредсказуемым и озадачивающим по видимости образом. Формы участия в политике нельзя назвать ни устойчивыми, ни институциализованными; могут происходить резкие колебания от одной формы к другой. Как давно уже указывали Платон и Аристотель, порочные или преторианские государства часто совершают колебания между деспотизмом и властью толпы. «Там, где ранее установившаяся политическая власть характеризуется высокой степенью автократии, быстрое и насильственное свержение этой власти демократическим режимом с высокой вероятностью приводит к появлению экстремистских массовых движений, чреватых изменениями новой демократии в антидемократических направлениях». Раппопорт находит у Гиббона краткое описание ритмики преторианского государства, которое «балансирует между крайностями абсолютной монархии и дикой демократии». Такая нестабильность есть признак общества, в котором отсутствует политическая общность и в котором политическая активность опережает институциализацию политики»[99].

Государства гражданского типа, напротив, располагают четкими и стабильными формами институциального авторитета, отвечающими достигнутому в них уровню политической активности населения. В традиционных обществах эти структуры обычно принимают форму либо централизованной бюрократической империи, либо сложно организованной феодальной монархии, либо некоторой комбинации того и другого. На либеральном уровне политической активности среднего класса преобладающей формой политических институтов обычно являются парламентские ассамблеи, формируемые посредством какой-либо ограниченной формы выборов. В обществе современного типа с полномасштабным участием населения в политике на смену или в дополнение к традиционным политическим структурам в качестве ключевых институтов для организации вовлечения масс в политику приходят политические партии. На всех уровнях, однако, политические институты достаточно сильны, чтобы обеспечивать базис для легитимного политического строя и работающего политического сообщества. Институты обеспечивают принудительную политическую социализацию в качестве платы за участие в политике. В преторианском обществе группы мобилизуются в политику без прохождения политической социализации. Отличительной же чертой высокоинституциализованной политической системы является та цена, которой приходится оплачивать власть. В гражданском обществе ценой власти служат ограничения на ресурсы, которые могут быть использованы в политике, процедуры, посредством которых может приобретаться власть, и установки, которых могут придерживаться люди во власти. В обществе современном и сложном, с большим разнообразием общественных сил, индивидам из любой общественной группы приходится вносить существенные изменения в свое поведение, свои ценности и свои установки в процессе прихода к власти через посредство политических институтов общества. Может оказаться, что им придется отвыкнуть от многого из того, чему они научились в семье, этнической группе и общественном классе, и адаптироваться к совершенно новому кодексу поведения.

Формирование гражданского государственного устройства может иметь некоторое отношение к стадии модернизации и вовлеченности населения в политику, но прямо от нее не зависит. К середине XX в. многие из наиболее развитых стран Латинской Америки достигли сравнительно высоких показателей грамотности, душевого национального дохода и урбанизации. В середине 1950-х гг. Аргентина, к примеру, была уже высокоразвитой страной в экономическом и социальном отношениях. Почти половина аргентинцев жила в городах с населением более 20 000 человек; 86% населения было грамотно; 75% были заняты вне сельского хозяйства; ВНП на душу населения составлял более 500 долларов. Аргентинская политическая

система, однако, оставалась заметно недоразвитой. «Общественное благо, — сказал Сармьенто в 1850-е гг., — бессмысленное слово, поскольку нет "общественности"». Столетием позже так и не удалось сформировать эффективные политические институты, что означало продолжающееся отсутствие общественности. Как заметил один наблюдатель:

«Жесткая поверхность военного правления либо пестрая картина балансирования и интриг в духе Макиавелли — таковы были две маски аргентинской политики начиная с 1930-х гг. Эти маски, к несчастью, не скрывают за собой какую-то иную реальность, они *и есть* реальность Аргентины с ее слабым правительством, слабость которого проистекает из нескольких фундаментальных причин... Государство не утвердилось достаточно прочно в качестве последнего арбитра аргентинской общественной жизни. Другие институты, соперничающие за поддержку населения, могут предоставлять высокую степень защиты от диктата государства»[100].

До тех пор, пока в такой стране, как Аргентина, будут сохраняться политика переворотов и контрпереворотов и слабое государство, окруженное мощными общественными силами, она будет оставаться политически неразвитой, сколь бы ни было урбанизированным, экономически процветающим и образованным ее население.

И напротив, страна может быть высокоразвитой политически, но при этом весьма отсталой с точки зрения модернизации. Индия, например, всегда считалась образцом слаборазвитого общества. Если оценивать ее по обычным критериям модернизации, она находилась в самом низу лестницы на протяжении всех 1950-х гг.: ВНП на душу населения 75 долларов, 80% неграмотных, более 80% населения, проживающего в сельских районах, 70% рабочей силы занято в сельском хозяйстве, четырнадцать значительных по распространенности языков, глубокие кастовые и религиозные различия. И все же с точки зрения политической институциализации Индия является далеко не отсталой. В этом отношении ей отводят более высокое место не только в сравнении с другими странами Азии, Африки и Латинской Америки, переживающими модернизацию, но и в сравнении со многими более современными европейскими странами. Развитая политическая система обладает сильными и достаточно автономными институтами для выполнения политических функций как на входе, так и на выходе политической системы. Индия вступила в независимость не просто с двумя организациями, но с двумя высокоразвитыми — гибкими, сложноорганизованными, автономными и обладающими внутренним единством — институтами, готовыми к тому, чтобы взять на себя основную ответственность за выполнение этих функций. Национальный конгресс, основанный в 1885 г., был одной из старейших и хорошо организованных политических партий мира; индийская

гражданская служба, существующая с начала XIX в., справедливо считается «одной из крупнейших административных систем всех времен»[101]. Устойчивое, эффективное и демократическое правительство в Индии в первые двадцать лет ее независимости имело своим основанием не столько харизму Неру, сколько именно это институциальное наследие. Кроме того, сравнительно медленные темпы модернизации и социальной мобилизации в Индии были причиной того, что в обществе не возникло запросов и напряжений, с которыми бы не могли справиться партия и бюрократия. Пока эти две организации сохраняли свою институциальную мощь, было бы нелепо представлять Индию как политически слаборазвитое общество вне зависимости от того, насколько низок здесь душевой доход или насколько высок процент неграмотных.

Практически ни одна из стран, получивших независимость после Второй мировой войны, не была так хорошо подготовлена к самоуправлению, как Индия. В таких странах, как Пакистан и Судан, институциальная эволюция проходила несбалансированно: гражданская и военная бюрократии были более высокоразвиты, чем политические партии, и у военных имелся сильный соблазн занять институциальный вакуум со стороны входа в систему и попытаться выполнять функцию агрегирования интересов. Эта ситуация была, разумеется, знакома и Латинской Америке. В странах, подобных Гватемале, Сальвадору, Перу и Аргентине, как указывал Дж. Джонсон, военные оказались «наиболее организованным институтом страны и, таким образом, в лучшем положении для того, чтобы объективно выражать волю нации», чем политические партии или группы интересов. В другой категории оказалась такая страна, как Северный Вьетнам, который пробивал себе путь к независимости, имея высоко дисциплинированную политическую организацию, но был слаб в административном отношении. В качестве латиноамериканской параллели можно привести Мексику, где, как пишет Джонсон, «не вооруженные силы, а Институционно-революционная партия (ИРП) является наиболее организованным институтом, и партия, а не армия, была объединяющей силой на общенациональном уровне»[102]. К еще одной категории, четвертой, относятся такие несчастные страны, как Конго, которые образовались, не имея ни политических, ни административных институтов. Многие из этих новых государств, где ко времени получения независимости не было одного или обоих типов институтов, столкнулись к тому же с высокими темпами социальной мобилизации и быстро растущими требованиями к политической системе.

Чтобы поддерживать в обществе высокий уровень единства, рост политической активности населения должен сопровождаться формированием более сильных, сложных и автономных политических институтов.

Таблица 1.7. Институциальное развитие ко времени получения независимости

Институты на входе, уровень развития	Институты на выходе, уровень развития	
	высокий	низкий
высокий	Индия	Северный Вьетнам
низкий	Судан	Конго

Обычно, однако, расширение участия населения в политике приводит к подрыву традиционных политических институтов и трудностям на пути формирования современных политических институтов. Модернизация и социальная мобилизация, таким образом, становятся факторами политического упадка, если не принимаются меры по ограничению влияния этих процессов на политическое сознание и политическую активность. В большинстве обществ, даже располагающих довольно сложными и гибкими традиционными политическими институтами, наблюдаются снижение уровня политического единства и упадок политических институтов в периоды наиболее интенсивной модернизации.

Этот упадок политических институтов часто оставляют без внимания и рассмотрения в работах, посвященных модернизации. В результате модели и концепции, в которых речь идет о «развитии» или «модернизации», оказываются лишь отчасти приложимыми ко многим из тех стран, к которым их пытаются применять. Столь же применимыми к этим случаям могли бы оказаться модели порочных или вырождающихся обществ, делающие акцент на упадке политической организации и растущем доминировании разрушительных общественных сил. Между тем кому удалось предложить такую теорию политического упадка или модель порочного политического строя, которая была бы полезной в анализе политических процессов в странах, обычно именуемых «развивающимися»? Быть может, наиболее удачными в этом отношении следует признать опять же самые старые идеи. Эволюция новых государств последнего времени после того, как оттуда ушли колониальные опекуны, не слишком сильно отклонялась от платоновской модели[103]. За объявлением независимости следуют военные перевороты, и власть передается следующим эшелонам бюрократии. Коррупция олигархов возбуждает зависть групп, стремящихся наверх. Конфликт между олигархией и массами выливается в гражданскую войну.

Демагоги и уличные толпы прокладывают путь деспотии. Данное Платоном описание того, как деспот апеллирует к народу, изолирует и уничтожает своих врагов и строит здание своей личной власти, объясняет то, что происходит в Африке, много точнее, чем многое из написанного недавно[104].

Степень политического распада, переживаемого обществом в процессе модернизации, во многом зависит от качества его традиционных политических институтов. Если их нет, или они слабы, или разрушены колониализмом или другими факторами, общество обычно эволюционирует непосредственно от традиционного преторианства к еще более преторианской переходной фазе с широким участием городского среднего класса в политике. Если общество в его традиционной фазе располагает достаточно развитой и автономной бюрократической структурой, оно столкнется с острыми проблемами в процессе адаптации к ситуации более широкой вовлеченности населения в политику в силу природы этой структуры. Парадоксальным образом традиционные системы, выглядящие более «современными» за счет структурной дифференциации и рационализации власти, часто сталкиваются с большими трудностями в процессе адаптации к ситуации более широкой вовлеченности населения в политику, чем традиционные политические системы, менее рациональные и дифференцированные, но институциально более сложные и плюралистические. Централизованные бюрократические монархии, такие, как Китай и Франция, представляются более современными, чем более плюралистические феодальные системы Англии и Японии. Тем не менее последние оказались более способными к адаптации, чем первые[105]. Там борьба между олигархией и средним классом принимает более умеренные формы, и политические институты общества оказываются достаточно гибкими, чтобы вобрать в политическую систему новые группы среднего класса.

Обществам с высоким уровнем политической активности среднего класса свойственны сильные тенденции к нестабильности — в силу природы среднего класса и доминирования в политической жизни города за счет интересов остальной, сельской, части страны. Именно в этой фазе, характеризующейся активностью среднего класса, политика чаще всего принимает формы преторианства и возникает ситуация, которую Маколей охарактеризовал словами: «одни паруса и никаких якорей»[106]. В таком обществе политическая система потеряла свой сельский якорь и мечется по бурному морю с городскими парусами, надутыми ветром. При этом политические институты, даже высокоразвитые, испытывают сильное напряжение, и в большинстве обществ традиционные институты, унаследованные от прошлого, дезинтегрируют и разрушаются.

Если традиционные политические институты все же адаптируются к ситуации возросшей политической активности среднего класса или же если в прежде преторианском обществе создаются новые политические институты для стабилизации политики на уровне среднего класса, то рано или поздно они сталкиваются с проблемой адаптации к растущему участию в политике городского рабочего класса и крестьянства. Если существующие политические институты среднего класса способны к адаптации, то происходит переход к современному институциализованному обществу с участием в политике всего населения. Если же эти институты оказываются неспособными адаптировать себя к ситуации массового участия в политике или если в обществе возобладает радикализм, то общество в дальнейшем движется в направлении массового преторианства, когда доминирующие силы превращаются в массовые движения, характерные для наиболее современных обществ с высоким уровнем мобилизации.

Как массовый, так и активистский типы общества (см. табл. 1.6) характеризуются высоким уровнем политической активности населения. Различаются же они степенью институциализации их политических организаций и процедур. В массовом обществе политическая активность характеризуется неструктурированностью, непостоянством, аномией и пестротой. Каждая общественная сила пытается добиться осуществления своих целей путем использования тех ресурсов и тактик, в которых она сильнее. Апатия и негодование сменяют друг друга — порождения-близнецы ситуации отсутствия авторитарных политических символов и институтов. Отличительной формой политической активности населения для такого общества является массовое движение, сочетающее насильственные и ненасильственные, законные и незаконные действия, принуждение наряду с убеждением. В массовом обществе отсутствуют организованные структуры, которые могли бы соотносить политические устремления и действия населения с целями и решениями его лидеров. В результате возникают прямые отношения между лидерами и массами; в терминах Корнхаузера, массы доступны мобилизации со стороны лидеров, а лидеры доступны влиянию со стороны масс. Напротив, в активистском обществе высокий уровень вовлеченности масс в политическую жизнь организуется и структурируется посредством политических институтов. Каждая общественная сила должна преобразовывать источники своего влияния и формы действия — будь то численность, богатство, знание или потенциал насильственных действий — в легитимные и институциализованные в рамках данной политической системы. Структура активистского общества может принимать разнообразные формы, и власть может быть как рассредоточенной, так и централизованной. Во всех случаях, однако, политическая активность принимает широкие масштабы, носит организованный характер и осуществляется с использованием законных каналов. Политическая активность народа не обязательно означает контроль народа над правительством. И конституционные демократии, и коммунистические диктатуры относятся к активистскому типу государственных устройств.

Таким образом, современное государственное устройство отличается от традиционного развитостью политического сознания и уровнем политической активности населения. Современное развитое государство отличается от традиционного развитого государства характером политических институтов. Функция институтов традиционного общества ограничена задачей структурирования политической активности небольшого сегмента общества. Напротив, на институтах современного общества лежит задача организации политической активности широких масс населения. Ключевым институциальным различием между этими двумя типами обществ является, таким образом, появление в последнем организаций для структурирования участия масс в политической жизни. Характерным для современного общественного устройства институтом становится поэтому политическая партия. Другие институты, существующие в современных политических системах, представляют собой обновленные варианты традиционных. Бюрократия не является специфически современным учреждением. Бюрократии, существовавшие в Китайской, Римской, Византийской, Османской и других исторических империях, часто характеризовались высокой степенью структурной дифференциации, развитыми системами отбора кадров и их продвижения по служебной лестнице в соответствии с достоинствами и заслугами, а также тщательно разработанными процедурами и правилами, в соответствии с которыми регулировались действия чиновников. Не составляют исключительной особенности современного общественного устройства и ассамблеи, парламенты: ассамблеи существовали в древних городах-государствах, а парламенты и другие собрания представителей сословий были вполне обычным явлением в средневековой Европе, явлением, которое по большей части подверглось разрушению в процессе модернизации. Встречаются в несовременных типах общественного устройства и выборы: выборные вожди — вполне обычное явление в племенных обществах; «стратеги» избирались в Афинах, трибуны и консулы — в Древнем Риме. Давнюю историю имеет также идея и практика конституционализма. Конституции, законы и суды — все это в весьма развитых формах существовало задолго до появления государства современного типа. Равно как и кабинеты министров, и исполнительные советы. Единственным потенциальным соперником

партий в качестве отличительного института современного государственного устройства может считаться федерализм[107]. Более широкое распространение федеральных институтов в современных государствах, нежели в государствах традиционных, отражает действие того же самого фактора, что и развитие политических партий: расширение сферы влияния политической системы как в отношении охвата ею населения, так и в территориальном смысле. Но все же и федерализм не составляет исключительного достояния современного мира и не имеет в нем преимущественного распространения. Именно партия является тем институтом, который составляет отличительную особенность современной политической жизни.

Кланы и соперничающие группировки существуют во всех политических системах. Равно как и партии в смысле неформальных групп, соперничающих за власть и влияние. Но партии как организации являются продуктом современной политики. Политические партии существуют в современном обществе потому, что только современная политическая система нуждается в институтах для организации участия широких масс в политической жизни. Политическая партия как организация имеет предшественников в революциях XVI–XVII вв. Первое появление организованных политических партий наблюдается, однако, в XVIII в. в тех странах, где впервые начался рост политической активности широких масс населения, — в Америке и затем во Франции. Появление политической партии как политического института связано с переходом, в терминах Рудольфа, от политики статуса к политике мнения[108]. В 1800 г. политические партии существовали только в США; к 1900 г. они существовали во всех странах Запада. Развитие политических партий идет параллельно развитию государственного устройства современного типа. Чем в большей мере традиционные политические институты оказывались способными адаптироваться к требованиям современной политики, тем менее значительной была роль политической партии. И напротив, значение политической партии для обеспечения легитимности и стабильности в модернизирующейся политической системе обратно пропорционально объему институциального наследия, полученного системой от традиционного общества. Там, где традиционные политические институты (такие, как монархия и феодальный парламент) сохраняются и в современную эпоху, партии играют второстепенную, вспомогательную роль в политической системе. Основным источником преемственности и легитимности являются другие институты. В типичном случае партии возникают в рамках законодательных собраний и затем постепенно распространяют свою деятельность на все общество. Они встраиваются в существующую политическую систему и обычно в своей деятельности отражают организационные и процедурные принципы, на которых строится эта система. Они расширяют круг вовлеченных в деятельность традиционных институтов, адаптируя тем самым эти институты к требованиям современной политики. Они помогают сделать традиционные институты легитимными с точки зрения народного суверенитета, но сами не являются источниками легитимности. Их собственная легитимность определяется тем вкладом, который они вносят в работу политической системы.

Там, где традиционные политические институты разрушены, слабы или вообще отсутствуют, роль партий совершенно иная, чем в обществах, характеризующихся институциальной преемственностью. В таких ситуациях сильная партийная организация — единственная долгосрочная альтернатива нестабильности коррумпированного, или преторианского, или массового общества. Партия в этих случаях не просто вспомогательная организация; это источник легитимности и авторитета. В отсутствие традиционных источников легитимности ее ищут в идеологии, харизме, народном суверенитете. Для того чтобы сохранять свое действие в течение длительного срока, каждый из этих принципов легитимности должен получить воплощение в партии. Партия уже не является, как прежде, отражением государства, напротив, государство становится порождением партии и инструментом партии. Действия правительства легитимны в той мере, в какой они отражают волю партии. Партия становится источником легитимности в силу того, что она — институциальное воплощение национального суверенитета, народной воли или диктатуры пролетариата.

Там, где традиционные политические институты слабы или отсутствуют, условием стабильности является существование хотя бы одной политической партии с высоким уровнем институциализации. Государства с одной такой партией заметно более стабильны, чем государства, в которых такой партии нет. Государства, где нет партий или имеется множество слабых партий, наименее стабильны. Там, где традиционные политические институты сокрушены революцией, установление постреволюционного порядка зависит от образования одной сильной партии: примерами могут служить в остальном очень различные истории китайской, мексиканской, русской и турецкой революций. Там, где новые государства возникают в результате освобождения от колониализма, при слабой или вовсе отсутствующей преемственности политических институтов, стабильность государства прямо зависит от силы партии.

Политическая партия представляет собой отличительную особенность современной политики, но в другом отношении это не исключительно современный институт. Функции партии — организация участия населения в политике, согласование интересов, обеспечение связи между обще-

ственными силами и государством. Выполняя эти функции, партия неизбежно отражает политическую логику, а не логику эффективности. Бюрократия с ее дифференцированной структурой и системой продвижения в зависимости от заслуг с точки зрения этой второй логики более современный институт, чем политическая партия, функционирование которой основано на патронаже, влиянии и компромиссе. На этом основании идеологи модернизации, как и защитники традиции, нередко отвергают и порочат систему партий. Они пытаются модернизировать свое общество политически, не создавая института, который обеспечивал бы политическую стабильность этого общества. Они стремятся стать модернизированными в ущерб политической сфере и терпят неудачу: невозможно преуспеть в модернизации, пренебрегая политикой.

2. Политическая модернизация: Америка и Европа

Три варианта модернизации

Политическая модернизация связана с рационализацией власти, дифференциацией структур и ростом политической активности населения. На Западе политическая модернизация растянулась на многие столетия. Порядок следования и соотношение трех ее составляющих существенно различались в различных регионах Европы и Северной Америки. Вполне очевидно, что рост политической активности произошел раньше и в гораздо больших масштабах в Америке, нежели в Европе. В XVIII в. участие населения колоний в политическом процессе в форме избирательного права получило даже, по английским стандартам, не говоря уже о континентальных, широкое распространение. Революция убрала с американской сцены английскую монархию и вместе с ней единственный возможный источник легитимности, альтернативный народному суверенитету. Революция, как подчеркивает Роберт Палмер, делала историю, утверждая народ в качестве носителя власти[1]. Распространение избирательного права и других форм народного участия в управлении резко возросло с достижением независимости. Имущественный избирательный ценз, который во многих штатах и так лишал права голоса не слишком многих, был сначала заменен на требования к уплате налогов, а потом и вовсе отменен. Новые штаты, как правило, вступали в союз без каких-либо экономических ограничений избирательного права. К 1830-м гг. всеобщее избирательное право для белых мужчин стало в Америке нормой. В то же время в Европе имущественный ценз оставался высоким. Акт о Реформе 1832 г. расширил границы английского электората с 2 до 4%; в Америке же на президентских выборах 1840 г. голосовало 16% населения. Во Франции высокий имущественный ценз существовал до 1848 г., когда было введено всеобщее избирательное право для мужчин — только для того, чтобы потерять всякий смысл с установлением Второй империи. В Германии всеобщее право голоса для мужчин было введено в 1871 г., но в Пруссии трехклассовая система голосования действовала до конца Первой мировой войны. В Нидерландах и Скандинавии всеобщее голосование мужчин стало фактом только в конце XIX и в первые десятилетия XX вв.

Более того, Соединенные Штаты были пионером народного участия в управлении не только в отношении количества людей, могущих выбирать должностных лиц, но, что, пожалуй, важнее, — в отношении количества

должностей, на которые выбирал народ. В Европе выборность распространялась только на нижнюю палату национального парламента и на местные советы; в противоположность этому в Америке, как отмечал Токвиль, «принцип выборности распространяется на все», и множество должностей на национальном уровне, на уровне штатов и в местных органах управления замещаются в результате народного волеизъявления. Резкий контраст между равенством и демократией, которые Токвиль наблюдал в Америке, и теми условиями, которые ему были знакомы по Европе, — это лишь одно из проявлений лидерства Америки на пути роста политической активности населения.

Более раннее распространение политической активности населения в Америке в сравнении с Европой часто приводит людей к заключению, что политическая модернизация в целом в Америке началась раньше, чем в Европе, и происходила быстрее. Это, однако, далеко не так. В действительности рационализация власти и дифференциация структур произошла в Европе раньше, чем в Америке, и в более полной мере. Опыт Запада позволяет предполагать, что существует обратная корреляция между модернизацией государственных институтов и ростом политической активности населения. Первая более быстрыми темпами происходила в Европе, второй — в Америке.

В отношении модернизации государственных институтов могут быть выделены три отчетливо различных варианта: континентальный, британский и американский[2]. На континенте основными тенденциями XVII в. были рационализация власти и дифференциация структур. «Суммировать в одной фразе содержание длительного исторического процесса не слишком продуктивно, — замечает сэр Джордж Кларк, — но дело монархии в XVII в. можно описать как строительство более простой и цельной системы управления взамен сложной феодальной. С одной стороны, это была централизация, подведение местных процессов под наблюдение или контроль со стороны столичной власти. Другой стороной происходящего с необходимостью была тенденция к единообразию»[3].

Это был век великих упрощенцев, централизаторов и модернизаторов: Ришелье, Мазарини, Людовик XIV, Кольбер и Лувуа во Франции, Фридрих Вильгельм в Пруссии, Густав Адольф и Карл XI в Швеции, Филипп IV и Оливарес в Испании и их бесчисленные последователи в более мелких государствах континента. Современное государство приходило на смену феодальному княжеству, лояльность государству — на смену лояльности церкви и династии. «Я бóльшим обязан государству», — заявил Людовик XIII в знаменитый «день обманутых», 16 ноября 1611 г., когда он отказался от союза с королевой-матерью и отверг ее притязания на привилегии для королевского семейства в пользу союза с кардиналом, действовавшим во имя государства. «Этот день, — пишет К. Фридрих, — более, чем какой-либо другой, заслуживает того, чтобы именоваться днем рождения современного государства»[4]. Рождение современного государства принесло с собой подчинение церкви, подавление средневековых сословий и ослабление аристократии как следствие вхождения в политику новых групп. К тому же это столетие стало свидетелем быстрого роста и рационализации государственных бюрократий и государственной службы, создания и роста численности постоянных армий, совершенствования и расширения базы налогообложения. В 1600 г. на континенте еще царил средневековый политический мир; к 1700 г. ему на смену пришел современный мир наций-государств.

Британский вариант институциальной модернизации в принципе сходен с тем, что разворачивался на континенте, но он привел к существенно отличным результатам. В Англии церковь тоже была подчинена государству, власть централизована, был утвержден суверенитет, внутренний и внешний, произошла дифференциация политических институтов, выросла бюрократия и была создана постоянная армия. Однако попытки Стюартов осуществить рационализацию власти по типу континентального абсолютизма вызвали конституционную борьбу, победителем в которой в конце концов стал парламент. В Англии, как и на континенте, произошла централизация власти, но не у короны, а у парламента. Это, однако, было не меньшей революцией, чем то, что произошло на континенте, а возможно, и большей.

В Америке же политические институты не претерпевали революционных изменений. Основные элементы английского государственного устройства XVII в. были вывезены в Новый Свет, укоренились там и получили новую жизнь как раз тогда, когда от них отказались на родине. Это было тюдоровское устройство и, следовательно, устройство в значительной мере средневековое. Век Тюдоров стал свидетелем определенных шагов в направлении модернизации английской политической жизни, в частности утверждения верховенства государства над церковью, роста сознания национальной идентичности и существенного усиления королевской власти и роли исполнительных учреждений. И все же даже в правление Елизаветы первостепенно важным был «фундаментальный фактор преемства со Средними веками»[5]. Шестнадцатый век, утверждает Краймс, наблюдал «зенит средневекового типа политического устройства». Изменения, произведенные Тюдорами, не влекли за собой «ломки ни основных принципов средневекового политического устройства, ни даже его структуры»[6]. В числе этих принципов были идея органического единства общества и государ-

рства, гармония различных ветвей власти, подчинение правительства фундаментальному закону, переплетение правовой и политической сфер, баланс власти между королем и парламентом, взаимодополняющие роли этих двух учреждений в отношении представительства, действенность системы местного самоуправления и опора на милицию в деле охраны государственного порядка.

В ходе больших миграций первой половины XVII в. английские колонисты перевозили с собой через Атлантику эти позднесредневековые тюдоровские идеи, практики и институты. Формы мысли и поведения, утвердившиеся в Новом Свете, развивались и набирали силу, однако в течение полутора столетий колониального правления существенно не изменялись. Поколение англичан 1603–1630 гг., как отмечает Ноутстейн, было поколением, «в котором средневековые идеи и практики отнюдь не были забыты и которое в то же время усваивало новые понятия и новые формы поведения. Американская традиция, или та ее часть, которая уходит корнями в Англию, утверждалась, по меньшей мере отчасти, первыми колонистами. Англичане, прибывшие позднее, должны были столкнуться с тем обстоятельством, что образ жизни американцев уже в какой-то мере определился»[7]. Конфликт с английским правительством в середине XVIII в. способствовал лишь укреплению приверженности колонистов к своим традиционным институтам. Послушаем крупнейшего историка нашего политического строя: «Колонисты в необычно большой степени сохранили у себя традиции тюдоровской Англии. Всякий раз, приступая к исследованию американских институтов, колониальных и современных, институтов как государственного, так и частного права, этот факт следует принимать во внимание. Спор между колониями и метрополией был в значительной мере недоразумением, основанным в большой мере на том, что колонии сохранили верность старым идеям после того, как торжество парламентского суверенитета привело к отходу от этих идей в метрополии»[8].

В конституционных спорах, предшествовавших американской революции, колонисты, по существу, отстаивали принципы старого английского политического строя против нового, сложившегося в течение столетия после того, как они покинули свою старую родину. «Их взгляды, — утверждает Поллард, — носили, по существу, средневековый характер»[9].

Эти древние институты и идеи нашли воплощение в конституциях штатов, составленных после объявления независимости, и в федеральной конституции 1787 г. Американская конституция — это не только первая писаная конституция в мире, это еще и конституция, которая в значительной степени просто кодифицировала и формализовала на национальном уровне практики и институты, задолго до того существовавшие в различных колониях. При этом институциональная конструкция, установленная в 1787 г., примечательно мало изменилась за 175 лет. Следовательно, американская политическая система «может быть правильно понята — в своих источниках, развитии, функционировании и духе — только в свете прецедентов и традиций, восходящих к Англии периода гражданских войн и перед гражданскими войнами»[10]. Американская политическая система XX в. все еще ближе к тюдоровскому государственному устройству XVI в., чем политическая система Англии XX в. «Американизмы в политике, как и американизмы в речи, — писал Генри Джонс Форд, — это обычно англицизмы, вышедшие из употребления в Англии, но сохранившиеся в Новом Свете»[11]. Британцы отказались от своих традиционных политических форм в XVII в. Американцы не сделали этого тогда и лишь отчасти сделали это позднее. Политическая модернизация в Америке, таким образом, оказалась странным образом смазанной и неполной. В институциальных терминах можно сказать, что американская политическая система никогда не была слаборазвитой, но никогда не была и вполне современной. В век рационализованной власти, централизованной бюрократии и тоталитарной диктатуры американская политическая система остается любопытным анахронизмом. В современном мире американские политические институты уникальны хотя бы потому, что они столь архаичны.

Рационализация власти

В Европе XVII в. государство приобрело роль источника политического авторитета, и внутри каждого государства единый источник авторитета заменил множество источников, существовавших прежде. Америка же продолжала держаться фундаментального закона и как источника авторитета для человеческих действий, и как авторитетного источника ограничений, налагаемых на поведение людей. Кроме того, в Америке власть или суверенитет никогда не сосредотачивались в одном институте или индивиде, они оставались распределенными по всему обществу и между многими органами политического целого. Таким образом, традиционные формы власти были в Европе радикально разрушены и заменены на другие; в Америке же они были реформированы и дополнены, но фундаментальному преобразованию не подвергались. Устойчивое верховенство закона сочеталось с решительным отвержением суверенитета.

Без сомнения, наиболее существенным отличием современного человека от человека традиционного является то, как они представляют себе отношения между человеком и окружающей средой. В традиционном

обществе человек воспринимает свое природное и социальное окружение как данность. Что есть, то будет всегда, оно имеет или должно иметь божественную санкцию; попытки изменить постоянный и неизменный мировой порядок не только кощунственны, но и обречены на неудачу. Изменение в традиционном обществе есть нечто несуществующее или недоступное восприятию, поскольку человек не может вообразить его. Современность начинается тогда, когда у людей появляется сознание своих возможностей, когда они приходят к мысли, что могут понимать природу и общество и даже управлять природой и обществом во исполнение своих целей. Модернизация связана прежде всего с верой в способность человека посредством разумных действий изменять природную и социальную среду. Она означает снятие с человека внешних ограничений, прометеевское освобождение человека от контроля со стороны богов и судьбы.

Этот фундаментальный сдвиг от покорности к активизму проявляется во многих областях. В числе важнейших — право. Для традиционного человека закон есть внешнее предписание или ограничение, над которым он не властен. Человек узнает закон, но не творит его. Самое большее, он может внести в неизменный фундаментальный закон некоторые поправки, чтобы обеспечить его применимость в конкретных обстоятельствах. Такие представления, однако, могут существовать только в обществе, где правительство не производит фундаментальных изменений. Если от политических институтов ждут социальных изменений, то политический авторитет должен сосредотачиваться в этих институтах, а не во внешних ограничениях, которые к тому же часто идентифицируются на практике с тем самым общественным порядком, который должен измениться в результате модернизации.

В позднесредневековой Европе право различным образом определялось в терминах божественного закона, закона природы, закона разума, обычного права и обычая. Во всех этих случаях оно рассматривалось как сравнительно неизменный внешний авторитет, определявший и ограничивавший действия человека. В частности, в Англии господствовала «характерная для средневековья идея, что источником всякой власти является закон». Как выразился Брэктон, «закон делает короля»[12]. Эти идеи оставались господствующими на протяжении всей тюдоровской эпохи и в той или иной форме лежали в основе трудов Фортескью, Сен-Жермена, сэра Томаса Смита, Хукера и Коука. Даже после Акта о верховной власти парламент все еще рассматривался как учреждение для объявления законов, а не как законотворческое учреждение. Даже на начальных этапах конституционной борьбы XVII в. Принн утверждал, что «основные свободы, обычаи, законы» королевства, особенно те, которые

заключены в «великих хартиях», являются «фундаментальными, вечными и неизменными»[13].

Из верховенства фундаментального закона прямо следует отвержение права на суверенную власть за какой-либо человеческой инстанцией. Для людей 1600-х, отмечает Фиггис, «подлинным сувереном является закон, и им нет нужды рассматривать вопрос о том, король, или Палата лордов, или Палата общин, или, наконец, все эти три инстанции в совокупности являются субъектом высшей власти в государстве»[14]. При суверенитете закона может существовать много носителей власти, поскольку ни один носитель власти не является единственным источником легитимности. Человек должен повиноваться властям, но власть существует в виде многих институтов: это король, парламент, суды, обычное право, обычай, церковь, народ. Понятие суверенитета было, по существу, чуждо тюдоровскому политическому порядку. Ни один «юрист или государственный деятель тюдоровской эпохи, — пишет Холдсуорт, — не смог бы ответить на вопрос о носителе суверенной власти в английском государстве»[15]. Общество и правительство, Корона и народ гармонично сосуществовали в рамках «единого политического целого». Тюдоровский режим, пишет Краймс, «был в основных своих чертах кульминацией средневекового идеала монархического правления в сочетании с опорой на парламент для определенных целей и признанием верховенства обычного права там, где это уместно. Никого не заботил вопрос о локализации суверенитета внутри государства»[16]. В отличие от Бодена и других континентальных теоретиков, английские авторы XVII в. просто отрицали существование суверенитета. «Концепция целого», которую развивал самый известный толкователь елизаветинского государственного устройства, сэр Томас Смит, была «ближе взглядам Брэктона, чем взглядам Бодена»[17].

Фундаментальный закон и рассеянная власть были несовместимы с политической модернизацией. Модернизация требует власти, чтобы производить изменения. Фундаментальные изменения в обществе и политике являются результатом целенаправленной деятельности людей. Поэтому власть должна принадлежать людям, а не неизменному закону. Кроме того, для осуществления изменений одни люди должны иметь власть над другими и, следовательно, власть должна быть сосредоточена в руках какого-то определенного индивида или группы. Фундаментальный и неизменный закон может способствовать рассредоточению власти в обществе и таким образом закреплению существующего общественного строя. Но он не может служить источником власти для осуществления изменений, разве что мелких изменений, которые могут сойти за реставрацию. Модернизация, начавшаяся в XVI в. на континенте и в XVII в. в Анг-

лии, требовала новых представлений о власти, важнейшим из которых была простая идея суверенности как таковой, идея, что существует, как писал Боден, «верховная власть над гражданами и подданными, не ограниченная законом». Одним из выражений этой идеи была новая теория, появившаяся в Европе в конце XVI в., теория «божественного права королей». Здесь фактически религиозные и в этом смысле традиционные формы были использованы в современных целях. «Божественное право королей с политической точки зрения было не чем иным, как популярной формой выражения теории суверенитета»[18]. Эта доктрина возникла во Франции после 1594 г. и была применена в Англии Яковом I. Она великолепно служила целям монархов, осуществлявших модернизацию, обеспечивая санкцию Всевышнего для задач, которые решали могущественные. Она была необходимым «переходным этапом между средневековой политикой и политикой современной»[19].

Но конечно, и другие политические мыслители, которые отвечали на запросы времени, предлагали иные, более «рациональные» оправдания абсолютной власти, основанные на природе человека и природе общества. На континенте Боден ожидал от верховной власти короля, что она установит порядок и образует единый центр власти над партиями, сектами и группами, которые будут существовать лишь по ее милости. «Государство» (Republic) Бодена вышло в 1576 г.; «Левиафан» Гоббса с его более радикальной доктриной суверенитета появился в 1651 г. С идеей абсолютного суверенитета было тесно связано представление о государстве как о чем-то отдельном от индивида, семьи и династии. Марксисты, осуществлявшие модернизацию в XX в., оправдывали свои действия интересами партии; монархи, делавшие это в XVII в., оправдывали свои действия «государственными соображениями». Это выражение первым ввел в обиход Ботеро в своем труде «Della Ragion di Stato» в 1589 г. Суть этого понятия кратко выразил другой итальянский автор, писавший в 1614 г.: «Государственные соображения суть необходимое нарушение [eccesso] обычного права во имя общественной пользы»[20]. Один за другим европейские монархи начинали ссылаться на государство как на источник легитимности для себя и своих действий.

Суть новой доктрины суверенитета, и в религиозном, и в светском ее вариантах, как у Филмера, так и у Гоббса, состояла в том, что на подданном лежит абсолютный долг повиновения королю. В обоих вариантах это учение способствовало политической модернизации тем, что легитимизировало концентрацию власти и слом средневекового плюралистического политического строя. Для XVII в. это были аналоги тех теорий верховенства партии и национального суверенитета, которые используются в наше время для подрыва авторитета традиционных местных, племенных и религиозных институтов. В XVII в. массовая политическая активность была делом будущего; поэтому рационализация власти означала ее концентрацию в руках абсолютного монарха. В XX в. рост участия населения в политике и рационализация власти происходят одновременно, и поэтому власть должна концентрироваться в руках либо политической партии, либо популярного харизматического лидера — и первая, и второй способны как приводить в движение массы, так и бросать вызов традиционным источникам авторитета. Абсолютный монарх XVII в. был функциональным эквивалентом монолитной партии века двадцатого.

На континенте в XVII в. средневековое распределение власти между сословиями быстро сменялось централизацией власти в руках монарха. В начале XVII в. «в каждой стране христианского Запада, от Португалии до Финляндии и от Ирландии до Венгрии, существовали свои сословные собрания»[21]. К концу века большая их часть была уничтожена или потеряла значительную часть своей власти. Во Франции Генеральные Штаты в последний раз перед Революцией созывались в 1615 г., а провинциальные собрания сословий нигде, кроме Бретани и Лангедока, не собирались после 1650 г.[22]. К XVII в. лишь шесть из первоначальных 22 испанских королевств сохранили свои кортесы. Кортесы в Кастилии были уже подавлены; в Арагоне их низложил Филипп II; Оливарес подчинил Каталонию после долгой кровопролитной войны. В Португалии кортесы последний раз созывались в 1697 г. В Неаполитанском королевстве деятельность парламента завершилась в 1642 г. Великий курфюрст* прекратил деятельность собраний в Бранденбурге и Пруссии. Собрания Крайны, Штирии и Каринтии уже уступили власть Габсбургам, а в первые десятилетия века последние смогли урезать власть собраний Богемии, Моравии и Силезии. Датская корона стала наследственной в 1665 г., венгерская — в 1687 г. К концу века Карл XI восстановил абсолютное правление в Швеции[23]. К 1700 г. традиционное распределение власти практически исчезло в континентальной Европе. Модернизаторы и строители государств торжествовали победу.

Тенденция к замене закона суверенитетом и к централизации власти наблюдалась и в Англии. Яков I отделил королевскую власть от парламента, оспаривал традиционный авторитет закона и судей, отстаивал божественное право королей. Короли, утверждал он, «творят законы, а не законы королей»[24]. Яков всего лишь пытался модернизировать английское государственное устройство и продвинуть его по тому пути, который уже во многом прошли страны континента. Его усилиям в направлении политиче-

* Великий курфюрст — Фридрих Вильгельм (1620–1688), курфюрст с 1640 г.

ской модернизации противостояли Коук и другие консерваторы, апеллировавшие к фундаментальному закону и традиционному распределению власти. Их принципы, однако, уже устарели в условиях социальных и политических перемен. «Коук, как и большинство оппонентов короля, в действительности не понимал идеи суверенности; он занимал позицию, вполне осмысленную для Средних веков, но недопустимую в развитом унитарном государстве»[25]. Централизация была необходима, и временами казалось, что Англия последует континентальному образцу. Но со временем притязания на абсолютную власть для короля породили контрпритязания парламента на верховенство. Когда Яков I, Филмер и Гоббс ставили короля над законом, они с неизбежностью побуждали Мильтона к тому доводу, что «парламент выше всякого положительного права, гражданского или обычного, что он и творит, и упраздняет и то, и другое». Долгий парламент* открыл эру парламентаризма. Именно тогда Англия получила «практически впервые законодательное собрание современного типа — механизм не только для провозглашения законов, но и для их *создания*»[26]. Фундаментальный закон в Англии разделил судьбу фундаментального закона на континенте, но на смену ему здесь пришла всемогущая легислатура, а не абсолютная монархия.

В Америке развитие шло поразительно иным путем, нежели в Англии. В то самое время, когда монархи-модернизаторы давили традиционные сословия, когда отстаивалось право человека устанавливать законы, когда Ришелье строил абсолютное государство во Франции, а Гоббс проповедовал таковое в Англии, старые образцы фундаментального права и рассредоточенной власти получали новую жизнь в Новом Свете. Традиционные представления о праве сохранялись в Америке в двух формах. Во-первых, та идея, что человек может лишь провозглашать законы, но не творить их, сохраняла силу в Америке еще долго после того, как в Европе ей на смену пришла позитивная концепция права. В некоторых отношениях она дожила здесь до XX в. Во-вторых, старая идея фундаментального закона, не подчиненного человеческой власти, получила дополнительный авторитет за счет отождествления ее с писаной конституцией. Разумеется, писаную конституцию можно рассматривать как контракт, источником авторитета для которого служит сознательное, позитивное человеческое действие. Но наряду с этим ее можно рассматривать как кодификацию ограничений, уже поставленных правительству обычаем и разумом. Именно в этом последнем смысле идея фундаментального права воспринималась

* Долгий парламент, созванный королем Англии Карлом I в 1640 г., фактически стал законодательным органом английской революции. Распущен Кромвелем в 1653 г.

в Англии XVI–XVII вв. и воплощалась в хартиях и декларациях прав колоний. Сочетание этих двух теорий породило ситуацию, в которой «высший закон, как будто омоложенным, вступил в один из величайших периодов своей истории»[27].

Приверженность доктринам фундаментального права существовала рука об руку с отвержением суверенитета. В политической мысли продолжали господствовать старые идеи взаимодействия общества и государства и гармонического равновесия разных элементов государственного строя. В Англии идеи великих политических мыслителей тюдоровской эпохи, Смита, Хукера, Коука «начинали становиться анахронизмом с самого момента своего появления»[28]. В Америке, напротив, их идеи пользовались успехом, а на Гоббса не обращали внимания. Ни божественному праву королей, ни абсолютному суверенитету, ни верховенству парламента не было места на западных берегах Атлантики. «Американцев можно определить, — писал Поллард, — как ту часть англоязычного мира, которая инстинктивно отвергала доктрину суверенности государства и которая, не вполне успешно, стремилась сохранить эту установку со времен отцов-пилигримов до наших дней». Происходивший в XVIII в. конфликт колонистов с бывшей родиной был, в сущности, их протестом против законодательного суверенитета парламента. «Отрицание всяческого суверенитета — вот что вызывает глубокий и непреходящий интерес к Американской революции... Это — американские идеи, но они были английскими, прежде чем стать американскими. Они были частью тех средневековых доспехов мысли, в которых, включая сюда естественное равенство людей, взгляд на налоги как на добровольные взносы, природное и божественное право, колонисты сражались против суверенности парламента. Они сохранили при себе эти идеи после того, как отряхнули прах Англии с ног своих; можно сказать, что они и страну свою оставили для того, чтобы иметь возможность сохранять верность этим убеждениям. А теперь они возвращаются, чтобы обратить нас, вернув к представлениям, которых мы когда-то держались, но со временем утратили»[29]. В той мере, в какой идея суверенитета принималась в Америке, ее понимали в том смысле, что носителем суверенитета является «народ». Но за исключением редких моментов, таких, как выборы законодательного собрания или ратификация конституции, народу не приходилось реализовывать свою суверенность. Власть распределялась между множеством органов, каждый из которых указывал на народ как на источник своей власти, но ни один не имел возможности убедительно продемонстрировать, что он более народен, чем другие. Народный суверенитет — столь же туманное понятие, как и понятие божественного права. Глас народа так же трудно уловим, как и глас Божий. Это, таким обра-

зом, скрытый, пассивный и конечный, а не позитивный и активный источник власти.

Различие между американским и европейским путями развития проявилось также в теории и практике представительства. В Европе уничтожение средневековых представительных учреждений, сословных собраний, сопровождалось также понижением статуса легитимности, который придавался местным интересам. На континенте абсолютный монарх представлял или воплощал собой государство. Начиная со времени Французской революции его место заняло Национальное собрание, которое представляло или воплощало собой нацию. В обоих случаях власть и легитимность принадлежали коллективному целому; местные, общинные, групповые интересы, как утверждал Руссо, не обладали достаточной легитимностью и потому не могли претендовать на представительство в центральных органах политической системы.

Рационализация власти в Британии также внесла изменения в систему представительства, которые резко контрастируют с устойчивой приверженностью американцев к прежним традиционным представлениям. В Англии XVI в. представительские функции имели и король, и парламент. Король был «представительным главой корпоративного сообщества страны»[30]. Члены парламента по-прежнему выполняли свои традиционные средневековые функции представительства местных сообществ и специальных интересов. В позднесредневековом парламенте «парламентарий — это доверенное лицо своего города. Его присутствие в парламенте дает ему возможность представлять петиции о подтверждении хартий, о расширении местных свобод и возмещении нанесенного урона, а также заниматься частным предпринимательством в Лондоне или его окрестностях, представляя интересы своих избирателей»[31]. Таким образом, король представлял общество в целом, тогда как члены парламента представляли части этого общества. Член парламента отвечал за своих избирателей. Акт, принятый в правление Генриха V, требовал, чтобы члены парламента жили в своих избирательных округах. В конце XVI в. это положение закона стало на практике игнорироваться, но все же для большинства членов парламента проживание в своем округе и местные связи оставались преимуществом. «Преобладающая локализация парламентского представительства остается его главной характеристикой, — пишет Роуз о елизаветинской Англии, — и придает ему силу и реализм. Повсюду большинство составляют люди с мест, сельское дворянство или горожане. Число представителей государства, адвокатов и т.п. незначительно, и даже они имеют какие-то корни... Анализ представительства показывает очень небольшую долю чужаков и еще меньшую чиновников»[32]. Члены парламента не только жили в своих округах и представляли интересы их жителей, но им и платили их избиратели за оказываемые услуги. Более того, каждый округ обычно представляли два или три члена парламента.

Конституциональная революция XVII в. нанесла смертельный удар этой системе представительства в стиле «старых тори». Ей на смену пришла система, которую Бир называет системой «старых вигов», система, при которой король утратил свои активные представительские функции, а члены парламента стали «представителями общества в целом, а не только интересов его частей»[33]. Парламент, как сформулировал это Берк в своем классическом изложении «старовигской» теории, есть «*совещательное* собрание *одной* нации с *одним* интересом, интересом целого — где руководствуются не местными целями, не местными предрассудками, а общим благом, определяемым коллективным разумом целого». Следовательно, член парламента не должен быть связан инструкциями своих избирателей, скорее их интересы он должен подчинять общему интересу общества в целом. С этим новым представлением был связан радикальный разрыв со старой традицией проживания в своих избирательных округах и получения оттуда платы. Последний зарегистрированный случай, когда избиратели платили своему представителю в парламенте, имел место в 1678 г. На протяжении XVII в. число членов парламента, живущих в округах, неуклонно уменьшалось. Соответствующий статут «обходился путем предоставления неместным права числиться горожанами» и был в конечном счете отменен в 1774 г.[34]. В то же время происходил процесс уменьшения числа многомандатных округов, завершившийся их полным упразднением в 1885 г. Все эти изменения превратили парламент из собрания представителей отдельных округов в собрание, представляющее нацию. Таким образом теория и практика британского представительства адаптировалась к новому факту верховенства парламента.

В Америке же, разумеется, система «старых тори» обрела новую жизнь. Колониальные представительные учреждения воспроизводили тюдоровскую практику, и впоследствии именно эта система была установлена в национальном масштабе в конституции 1787 г. В Америке, как и в тюдоровской Англии, была установлена двойная система представительства: президент, как король династии Тюдоров, представлял интересы общества в целом; отдельные члены законодательного собрания представляли интересы своих избирательных округов. Многомандатные округа, существовавшие в Англии XVI в., были экспортированы в Америку; эта система существовала в законодательных собраниях колоний, была сохранена в верхней палате национального собрания и перенесена в легислатуры штатов, где во многих случаях дожила до XX в.[35]. Проживание в своих из-

бирательных округах, требуемое законом и составлявшее политическую реальность в тюдоровской Англии, стало политическим требованием и политической реальностью в Америке. Оно отражало «настроения местничества... сохранявшиеся в Америке и после того, как они исчезли на исторической родине американцев». Так, в Англии многие ведущие политические фигуры XIX и XX вв. могли оставаться в парламенте, поскольку имели возможность менять свои избирательные округа. «Насколько иначе происходило бы развитие английской политической жизни, — замечает один автор, — если бы Великобритания не отбросила несколько веков тому назад средневековую практику, доныне сохраняемую в Америке!» И напротив, американцы могут с изумлением и негодованием смотреть на тот разрыв, который модернизация породила между членом британского парламента и его избирателями[36].

Дифференциация структуры

При сравнении европейского и американского путей развития следует различать «функции» и «власть» (power). В этой главе «власть» (в единственном числе) означает влияние на действия других или управление действиями других; термин «функции» относится к конкретным типам деятельности, которые могут определяться по-разному. Термин «власти» (powers) использоваться не будет, поскольку у большинства авторов он означает «функции». Можно, таким образом, вместе с Отцами-основателями говорить о законодательной, исполнительной и судебной функциях, с Бейджхотом о почетных и действенных функциях, а также о правовых и политических функциях, о военных и гражданских функциях, внутренних и внешних функциях. Исполнение всякой функции требует некоторой власти. Но функции и власть суть разные измерения. Два суда могут иметь сходные или тождественные правовые функции, но у одного может быть больше власти, чем у другого. Два учреждения могут иметь одинаковую власть, но их функции могут различаться как содержанием, так и числом. Государственные институты могут иметь равную или неравную власть, различные или совпадающие функции.

В Европе рационализация и централизация власти сопровождались функциональной дифференциацией и появлением более специализированных государственных институтов и учреждений. Это, разумеется, было следствием растущей сложности общества и повышения требований к системе управления. Административные, правовые, судебные, военные институты формировались как полуавтономные, но подчиненные образования, так или иначе ответственные перед политическими учреждениями (монархом или парламентом), которые были носителями суверенитета. Распределение функций между относительно специализированными институтами способствовало, в свою очередь, неравному распределению власти между этими институтами. Законодательная или законотворческая функция была связана с большей властью, чем функции административная или исполнительная.

В средневековом государстве и в государстве Тюдоров степень дифференциации функций была не велика. Одно учреждение часто выполняло много функций, а одна функция часто распределялась между несколькими учреждениями. Это способствовало более равномерному распределению власти между институтами. Система управления тюдоровской Англии была «правительством *смешанных* властей» (т.е. функций), иными словами парламент, Корона и каждый из других институтов выполнял много функций[37]. В XVII–XVIII вв. английское государство эволюционировало в направлении концентрации власти и дифференциации функций. В Великобритании, по словам Полларда, «исполнительная, законодательная и судебная власти развились из одного источника и адаптировались к решению специфических задач, поскольку без такой специализации функций английская система управления осталась бы примитивной и неэффективной. При этом, однако, не было никакого дробления суверенитета и никакого разделения властей»[38].

В Америке, напротив, суверенитет подвергся дроблению, власть разделялась и функции комбинировались в рамках многих различных институтов. Этот результат был достигнут скорее вопреки теории разделения властей (т.е. функций), нежели в соответствии с этой теорией, популярной в XVIII в. В своей чистой форме придание законодательной, исполнительной и судебной функций различным институтам породило бы монополию одного института как носителя доминирующей законотворческой функции и тем самым привело к централизации власти. Этого отчасти желал Локк и в еще большей мере — Джефферсон. Конечно же, эта теория была у Монтескье, но Монтескье признавал, что строгое разделение функций должно привести к неравному распределению власти. «Суд, — писал он, — в каком-то отношении почти ничтожен». Следовательно, чтобы достичь реального разделения власти, Монтескье разделил законодательную функцию между тремя различными институтами, представляющими три традиционных сословия страны. На практике в Америке, как и в тюдоровской Англии, не только власть была разделена путем разделения законодательной функции, но и другие функции разделились между несколькими институтами, образуя таким образом систему «сдержек и противовесов», которая

привела к более равномерному распределению власти. «Утверждается, что конституционное соглашение 1787 г., — пишет Нейштадт, — привело к «разделению властей» [т. е. функций]. Ничего подобного не произошло. Напротив, была создана система управления, в которой раздельные институты делили между собой власти [т.е. функции]»[39]. Таким образом, Америка продолжила тенденцию слияния функций и разделения власти, тогда как Европа развивалась в направлении дифференциации функций и централизации власти.

Страстное стремление Отцов-основателей к разделению власти, к уравновешиванию амбиций, к созданию сложной системы противовесов, которая бы превосходила в этом отношении всякое другое государственное устройство, хорошо известно. За все, однако, приходится платить, и, как указывали многие английские авторы, очевидной платой за разделение власти была неэффективность системы государственного управления. «Государственный строй Англии, — пишет Бейджхот, — коротко говоря, основан на том принципе, что избирается один носитель суверенной власти и делается все, чтобы он был хорош; у американцев принцип состоит в том, чтобы иметь много суверенных носителей власти в надежде, что сама их множественность сможет смягчить последствия их несовершенства»[40]. Пятьюдесятью годами позже Поллард точно так же указывал на разделение властей как на «причину, по которой эффективность, столь заметно отличающая американцев в сфере частных интересов, столь мало проявилась в сфере государственного управления» и по которой «американская политика столь непривлекательна для столь многих американских умов». Он выражал надежду, что со временем «американская нация наделит свое правительство всей полнотой суверенной власти» и «разделение властей будет введено тогда в должные рамки специализации функций»[41]. Между тем, парадоксальным образом, в американских институтах продолжалось разделение власти и соединение функций. Именно эту тенденцию можно отчетливо наблюдать в соединении в одном институте законодательной и судебной функций или почетной и действенной функций, в разделении законодательной функции между многими институтами и в неполной дифференциации отдельных военных институтов.

В средневековом государственном устройстве не существовало разделения между законодательством и судопроизводством. На континенте такие институты, как *Justiza* в Арагоне и французские *Parlements*, еще и в XVI в. выполняли важные политические функции. В Англии сам парламент, конечно же, рассматривался в первую очередь как суд, а не как легислатура, вплоть до начала XVII в. Суды, пишет Холдсуорт, «в дни, предшествовавшие специализации функций управления, были чем-то бóльшим, нежели просто трибуналы для вынесения приговоров. В Англии, как и в других местах, им придавались функции, которые можно назвать политическими, чтобы отличить их от чисто судебных функций, которые в наши дни суть их единственные функции на континенте и их главные функции повсюду. То, что суды продолжали выполнять эти более широкие функции даже после того, как началась дифференциация правительственных учреждений, было следствием сохранявшейся веры в верховенство закона, которая была отличительной характеристикой политической теории Средних веков»[42]. В Англии идея верховенства закона сгинула в гражданских войнах XVII в., и с нею прекратилось смешение судебных и политических функций. Английские судьи последовали скорее курсом Бэкона, чем курсом Коука и превратились в «львов у подножия трона», которые уже не могли «ни ограничивать суверенитет в каком-либо отношении, ни противостоять ему». В XVIII в. Блэкстоун мог уже категорически утверждать, что ни один суд не может объявить акт парламента недействительным, сколь безрассудным бы ни был этот акт. Признать за судом такое право, писал он, «значило бы поставить судебную власть выше законодательной, что было бы разрушительным для всей системы государственного управления»[43]. Эволюция парламента шла от высокого суда до верховной легислатуры.

В Америке, напротив, сохранялось смешение судебных и политических функций. Судебная власть объявлять, в чем состоит закон, превратилась в смешанную судебно-законодательную власть указывать законодательному органу, каким закон быть не должен. Американская теория и практика судебного контроля лишь в очень слабовыраженной форме существовала в Англии конца XVI — начала XVII вв. В самом деле, доктрина судебного контроля предполагает различение законодательной и судебной функций, которое к тому времени еще не было явным образом признано. Ясно, однако, что при Тюдорах и в начале правления Стюартов суды прибегали к обычному праву для «контроля» над актами парламента, по меньшей мере для того, чтобы существенным образом переопределить цели парламента. За этими действиями стояла не столько сознательно принимаемая доктрина судебного контроля, сколько все еще «недифференцированное соединение судебных и законодательных функций»[44]. Это смешение законодательных и судебных функций сохранилось в американских судах и в конечном счете было сформулировано в виде доктрины и практики судебного контроля. Законодательные функции судов в Америке, писал Макилуэн, «существенно превышают таковые в Англии, поскольку в последней такого рода тенденции были сдержаны развитием в XVII в.

новой доктрины верховенства парламента». В отличие от английских судов, «американские суды сохраняют многое от той функциональной неопределенности, которая была присуща судам тюдоровской эпохи, — несмотря на наше разделение учреждений. Их действия в степени, немыслимой для современной Англии, направляются соображениями политики и практической целесообразности. Верховный суд неоднократно основывался на принципе, что он может пересматривать свои решения, на принципе, который Палата лордов недвусмысленно признала недопустимым»[45]. Иностранные наблюдатели со времен Токвиля отмечали «огромное политическое влияние» судов как одну из наиболее удивительных и уникальных характеристик американской системы управления.

Смешение судебных и политических функций в американской системе управления можно видеть также в той устойчиво весомой роли, которую в американской политике играют юристы. В Англии XIV–XV вв. юристы играли важную роль в развитии форм работы парламента, и союз между парламентом и правом, в отличие от имевшего места во Франции разделения между Генеральными штатами и *parlement*, способствовал укреплению власти парламента[46]. В елизаветинской Англии юристы играли в парламенте все более важную роль. В 1593 г., к примеру, юридическое образование имели 43% членов Палаты представителей. Юристами обычно были спикер и другие ведущие фигуры в Палате. Впоследствии роль, которую в британском парламенте играли юристы, неуклонно снижалась, достигнув низшей отметки в XIX в. В XX в. только около 20% членов парламента были юристами. В Америке же, напротив, тюдоровское наследие в лице юристов-законодателей сохранялось и в системах управления колоний, и в штатах, и в общенациональной системе управления, где юристы составляли большинство членов законодательных органов[47].

Всякая политическая система, как указывал Бейджхот, должна приобрести власть и затем использовать власть. В современной британской системе эти функции выполняют почетные и действенные части государственной системы. Отнесение каждой функции к отдельному учреждению есть один из аспектов функциональной дифференциации, которая является составляющей процесса модернизации. Наиболее отчетливо это видно, разумеется, в случае так называемых конституционных монархий, но до некоторой степени и почти во всех современных системах государственного устройства[48]. Однако в американской политической системе, как и в старых европейских политических системах, почетные и действенные функции не отнесены к различным институтам. Все основные институты системы американского управления — президент, Верховный суд, Палата

представителей, Сенат и их аналоги на уровне штатов — в той или иной степени совмещают в себе оба эти типа функций. Это сочетание особенно, конечно же, заметно в отношении президента. Практически во всех других современных политических системах, от так называемых конституционных монархий Великобритании и Скандинавии до парламентских республик Италии, Германии и Франции до де Голля, коммунистических диктатур Советского Союза и Восточной Европы, должности главы государства и главы правительства раздельны. В советской системе дифференциация зашла еще дальше: здесь есть глава государства, глава правительства и руководитель партии. В США, напротив, президент соединяет в себе все эти три функции; это соединение, с одной стороны, является основным источником его власти, с другой же, налагает существенное ограничение на эту власть, поскольку требования одной из ролей вступают в противоречие с требованиями другой. Это сочетание ролей есть наследие древней практики; институт президентства был создан, как заявлял в 1787 г. Джефферсон, в качестве «выборной монархии». В этом учреждении по замыслу должны были найти воплощение многие прерогативы британской Короны, и, соответственно, его политические формы суть во многом формы дворцовой политики[49].

Президентство — это, по существу, единственный сохранившийся в современном мире пример конституционной монархии, некогда распространенной по всей средневековой Европе. В XVI в. конституционный монарх — это монарх, который и царствовал, и управлял, но управлял по закону (*non sub homine sed sub Deo et lege**) в должном уважении к правам и свободам своих подданных, тип монарха, который имел в виду Фортескью, когда указывал на различие между *dominium politicum et regale*** и *dominium regale**** . В XVII в. этот старый тип конституционного монарха сменился новым типом абсолютного монарха, поставившего себя над законом. Еще позднее, в XVIII и XIX вв., появилась новая так называемая конституционная монархия, в которой «почетный» монарх царствовал, но не правил. Как и абсолютный монарх, такой конституционный монарх — современное изобретение, возникшее в ответ на потребность закрепить верховную власть за единым органом. Американский же институт президентства представляет собой более архаичный тип конституционной монархии. По функциям и власти американские президенты — это короли тюдоровского типа. По своей институциональной роли, равно как и по лич-

* Не под человеком, но под Богом и законом (*лат.*).

** Власть политическая и царская (*лат.*).

*** Власть царская (*лат.*).

ным характеристикам, Линдон Джонсон намного больше напоминает Елизавету I, чем Елизавету II. Британия сохранила форму старой монархии, тогда как Америка сохранила ее содержание. Сейчас Америка все еще имеет короля, тогда как Британия — только Корону.

В большинстве современных государств законодательная функция теоретически находится в руках большого представительного собрания, парламента или верховного совета. На практике, однако, она осуществляется сравнительно небольшой группой людей — кабинетом или президиумом, власть которого распространяется на все области государственного управления. В Америке при этом законодательная функция остается поделенной между тремя отдельными институтами и их подразделениями, во многом так же, как она разделялась между различными сословиями и другими институтами в позднесредневековой Европе. На национальном уровне такой порядок не основан на идеях какого-либо европейского теоретика, а является продуктом «институциальной истории колоний между 1606 и 1776 гг.»[50]. В свою очередь, отношения между депутатами, советами и губернаторами в колониях были отражением отношений между Короной, лордами и членами Палаты общин в XVI в.

В современной политике степень разделения власти между двумя образованиями в составе законодательной ассамблеи обычно обратно пропорциональна реальной власти этой ассамблеи как целого. Верховный Совет в СССР имеет мало власти, но он действительно двухпалатен; власть британского парламента больше, но он, по существу, однопалатен. Америка же уникальна в том, что сохраняет работоспособную двухпалатную систему, прямо унаследованную от XVI в. Лишь в тюдоровскую эпоху произошло формальное и практическое, на институциальной основе, разделение двух палат парламента. «Столетие началось с парламентом как унитарным учреждением, подлинно двухпалатным ему еще предстояло стать». К концу же столетия рост «влияния, статуса и престижа Палаты общин превратил парламент в политическую силу, с которой Корона и правительство должны были считаться»[51]. Шестнадцатый век был пиком в развитии принципа двухпалатности в парламентской истории Англии. Нередко случалось, что одна из палат отвергала закон, принятый другой палатой, и для разрешения конфликта палаты прибегали к согласительным комиссиям. Первоначально выработанная для конкретной ситуации, эта процедура в 1571 г. была преобразована в «нормальную практику». В елизаветинских парламентах такие комиссии созывались при обсуждении большинства законопроектов по требованию то одной, то другой палаты, делегации в согласительную комиссию иногда получали инструкции не уступать по каким-то конкретным пунктам, и, когда между вариантами, одобренными палатами, были существенные расхождения, согласительная комиссия могла существенным образом переработать весь законопроект, подчас побуждаемая к этому королевой, с учетом ее мнения и рекомендаций ее советников. Хотя все это и звучит весьма современно, это на самом деле очень по-тюдоровски, и именно эта согласительная процедура была перенесена в колониальные легислатуры и распространена затем на общенациональный уровень. Что же касается Великобритании, то там эта практика сошла на нет с установлением ответственности кабинета перед Палатой общин. Последнее реальное использование «свободных конференций», где были разрешены обсуждения и, следовательно, делалась политика, имело место около 1740 г.[52].

Участие в законодательном процессе двух ассамблей и главы исполнительной власти имело своим следствием сохранение в Америке и многих других легислативных методов, обычных для тюдоровского правительства. Собрание, осуществляющее законодательную деятельность, должно делегировать какую-то часть своей работы подчиненным учреждениям или комитетам. Комитеты появились в тюдоровском парламенте в 60-е и 70-е гг. XVI в. Практика отправки законопроектов в комитеты скоро приняла почти универсальный характер, и, по мере того как комитеты все больше и больше принимали на себя функции Палаты, они становились все бóльшими по числу членов и все более постоянными. Кроме того, в комитетах руководящие места часто занимали люди, имевшие личный интерес в тех областях законодательства, которые им приходилось рассматривать. Законопроекты, связанные с местными и региональными проблемами, отправлялись в комитеты, составленные из депутатов из этих регионов и населенных пунктов[53]. К концу века крупные комитеты преобразовались в постоянные комитеты, которые рассматривали все вопросы в границах некоторой, достаточно широкой, области. Активная роль Палаты общин в законотворческом процессе вынуждала ее прибегать к этой комитетской форме работы. Эта процедура была, в свою очередь, перенесена в колонии в начале XVII в. — конкретно в палату представителей штата Виргиния, — где она также отвечала реальной потребности, и через 150 лет была воспроизведена в первых сессиях национального Конгресса. В то же самое время в Англии усиление власти кабинета подорвало систему комитетов, ранее существовавшую в парламенте; постоянные комитеты Палаты представителей превратились в пустую формальность, они стали неотличимы от комитетов парламента в целом, задолго до того, как были официально упразднены в 1832 г.

Разделение легислативной функции налагало сходные обязанности на спикера как в тюдоровской Палате представителей, так и в после-

дующих американских законодательных собраниях. Тюдоровский спикер был политическим лидером, от которого требовалась лояльность как в отношении Короны, так и в отношении Палаты. Его успех в значительной мере зависел от того, насколько ему удавалось уравновешивать и согласовывать эти, нередко противоречащие друг другу требования. Он был «управляющим королевских дел» в Палате, но он же был и представителем Палаты перед Короной, защитником ее прав и привилегий. Он мог оказывать большое влияние в Палате за счет своего права — права, которое, правда, ограничивалось вето со стороны Палаты, — регулировать порядок постановки законопроектов на обсуждение и своего влияния на решение вопросов регламента. Однако борьба между Короной и парламентом в XVII в. лишила спикера возможности сохранять лояльность обеим сторонам. На первое место вышел его долг в отношении Палаты, и со временем беспристрастие, которое Онслоу проявлял в XVIII в. (1727–1761), стало нормой для спикеров XIX–XX вв. Таким образом, в Англии должность, некогда нагруженная политическим содержанием, как действенным, так и почетным, радикально изменилась и превратилась в должность деполитизированного, беспристрастного председательствующего. В Америке же, напротив, политический характер должности тюдоровского спикера сохранялся в колониальных собраниях и был в конечном счете перенесен в общенациональную Палату представителей[54]. Разделение законодательной функции между двумя собраниями и главой исполнительной власти придает процессу законотворчества в Америке отчетливо тюдоровский характер. В елизаветинской Англии, отмечает Роуз, «отношения между Короной и парламентом больше напоминали отношения между президентом и Конгрессом, чем те отношения, которые имеют место в сегодняшней Англии»[55]. Монархам династии Тюдоров приходилось прибегать к интригам, лести, обману и убеждению, чтобы добиться от Палаты принятия нужных им законов. Иногда им приходилось иметь дело с непокорными парламентами, принимавшими решения, которых монарх не желал, или дебатировавшими вопросы, которые монарх хотел бы замолчать. Обычно, конечно, «законодательная программа» монарха, состоящая прежде всего в требованиях о финансировании, одобрялась. В других, однако, случаях Палата вставала на дыбы, и монарху приходилось отказываться от своих запросов или вносить в них коррективы. Бергли, отвечавший за отношения между парламентом и Елизаветой, «тщательно следил за ходом работы парламента и в ходе сессии получал от клерков отчеты с информацией об этапах прохождения всех законопроектов в обеих палатах»[56]. Елизавета регулярно предпринимала усилия по завоеванию поддержки своим предложениям

со стороны Палаты общин — путем отправки в Палату своих посланий и распространения там «слухов», путем давления на спикера и инструктирования его относительно того, как вести дела в парламенте, путем «приглашения к себе депутаций от палат, приема их в Уайтхолле и персональной обработки», путем, наконец, «торжественных визитов в парламент в карете или открытом экипаже и обращения к депутатам», личного или через лорда-хранителя[57].

Хотя суверен имел «достаточно средств для того, чтобы заблокировать неприемлемые законопроекты во время их прохождения через две палаты», почти в каждую сессию парламент принимал какие-то законы, которых Корона не желала, и приходилось прибегать к королевскому вето. Хотя вето чаще применялось против частных, а не общественно значимых законопроектов, случалось, что и важные публичные проекты отвергались Короной. За время своего правления Елизавета I, по-видимому, одобрила 429 законопроектов и наложила вето на 71. Вето, однако, не было тем оружием, которое королевская власть могла использовать, не взвесив все за и против: «политика как искусство возможного не была вполне чужда и тюдоровской монархии. Слишком поспешное или плохо продуманное применение вето могло иметь неприятные последствия»[58]. Тактика Генриха VIII или Елизаветы I в отношении своих парламентов мало, таким образом, отличалась от тактики Кеннеди или Джонсона в отношении Конгресса. Сходное распределение власти порождало сходные образцы взаимодействия исполнительной и законодательной властей.

У Тюдоров было, пожалуй, некоторое преимущество по сравнению с американскими президентами в том, что некоторые, хотя и не все, члены их тайного совета сидели в парламенте. Эти советники были главными управляющими королевских дел в парламенте и при этом выполняли функции лидеров большинства в Конгрессе. Иногда, подобно лидерам большинства, им приходилось ставить лояльность Палате выше лояльности Короне. Практика членства тайных советников в парламенте никогда, однако, не признавалась вполне желательной, и в XVII в. прилагались непрерывные усилия по их удалению из парламента. Кульминацией этих усилий был Закон о престолонаследии 1701 г., соответствующие положения которого были впоследствии вписаны в американскую конституцию, хотя они почти сразу же стали неэффективными в Англии. Таким образом, американская практика была развитием одного из аспектов ранней английской политической мысли и практики, тогда как в позднейшей британской практике получил развитие другой аспект[59]. Отношения между главой исполнительной власти и законодателями придавали, однако, американскому кабинету и чиновникам сходство с британскими кабинетами

и советами XVI–XVIII вв. Это сходство и те радикальные изменения, которым подверглась роль британского кабинета, нашли отражение в том факте, что в США исполнительное руководство доныне именуется «администрацией», как это было в Англии XVIII в., тогда как в самой Британии оно теперь носит название «правительства».

Дифференциация специализированных административных структур также происходила в Европе много быстрее, чем в Америке. Это различие очень заметно применительно к военным институтам. Современные вооруженные силы включают в себя постоянную армию, набираемую на добровольной основе или путем призыва и имеющую профессиональный офицерский корпус. В Европе профессиональный офицерский корпус сложился в первой половине XIX в. К 1870 г. большинство континентальных государств сформировало у себя основные институты профессионального офицерства. Англия, однако, отставала от континента в деле формирования военного профессионализма, а США отставали от Англии. Не раньше начала нового столетия возникли в США многие из институтов профессионального офицерства, которые в европейских государствах сложились несколькими десятилетиями раньше. Разделение власти между правительственными институтами и, как следствие, смешение политики с военными вопросами сильно мешало формированию современной системы объективного гражданского контроля. В большинстве областей гражданской жизни американцы были готовы воспринимать функциональную дифференциацию и специализацию компетенций как неотъемлемые и даже желательные аспекты модернизации. При этом даже после Второй мировой войны многие американцы все еще оставались сторонниками «смешанности» функций в области гражданско-военных отношениях и полагали, что военное руководство и военные институты должны воспроизводить установки и характеристики гражданского общества[60].

Американское неприятие регулярной армии также контрастирует со значительно более быстрой модернизацией в Европе. В XVI в. европейские вооруженные силы состояли из рекрутов феодального типа, наемников и местной милиции. В Англии милиция была древним учреждением; Тюдоры формально организовали ее на базе графств под началом лордов-лейтенантов взамен свиты феодальных лордов. Эта мера была шагом в направлении «внутреннего мира и военной беспомощности», и в 1600 г. «ни у одной западной страны не было постоянной армии; единственной регулярной армией в Европе была турецкая»[61]. К концу века, однако, все крупные европейские державы располагали постоянными армиями. Существенно повысилась дисциплина, введена униформа, формализованы уставы, стандартизовано вооружение, и установлен эффективный государственный контроль над вооруженными силами. Французская постоянная армия отсчитывает свое существование от Ришелье; прусская от деятельности Великого курфюрста в 1655 г.; английская от Реставрации 1660 г. В Англии милиция графств продолжала существовать и после 1660 г., но неуклонно утрачивала свое значение.

В Америке же, напротив, милиция приобрела характер основной военной силы в то самое время, когда она переживала упадок в Европе. Милиция оказывалась естественной формой вооруженных сил для обществ, нуждавшихся в обороне, а не в нападении и периодически, а не постоянно. Колонисты XVII в. удержали у себя, адаптировали к своим нуждам и усовершенствовали ту систему милиции, которая существовала в тюдоровской Англии. В следующем столетии они отождествили милицию с народовластием, а постоянные армии стали символом монархической тирании. «В военном отношении, — пишет Вэгтс, — американская Война за независимость была отчасти восстанием против британской постоянной армии»[62]. Но с точки зрения развития военных институтов это было реакционное восстание. Постоянные армии Георга III были проявлением модернизации, колониальные милиции — воплощением традиционализма. При этом приверженность американцев этому военному традиционализму еще больше укрепилась в результате Войны за независимость. Враждебность к постоянным армиям и опора на милицию как первую линию обороны свободного народа приняли характер популярной догмы и конституционной доктрины, как бы далеко от них ни приходилось отклоняться на практике. К счастью, в XIX в. угроз национальной безопасности было немного, и поэтому американский народ смог прожить это столетие со счастливой верой в неэффективную силу, которая защищала его от несуществующей опасности. Милицейское наследие, однако, сохранилось в качестве устойчивого элемента американской военной системы и в гораздо более беспокойном XX в. Оно зримо проявлялось в политическом влиянии и военной силе национальной гвардии. Даже после Второй мировой войны идее, что профессиональная военная сила превосходит силу, составленную из граждан-солдат, еще предстояло завоевать признание на западном побережье Атлантики.

Тюдоровские институты и участие масс в политической жизни

Среди народов западной цивилизации американцы были первыми, кто достиг широкого участия населения в политической жизни, но последними в модернизации своих традиционных политических структур. В Америке

тюдоровские институты и политическая активность народа соединились в системе, которую настолько же трудно понять, насколько невозможно воспроизвести. В Европе же рационализация власти и дифференциация структуры явным образом предшествовали росту политической активности населения. Как можно объяснить эти различия в путях политической модернизации?

Они в значительной мере непосредственно связаны с обилием в Европе, по контрасту с Америкой, войн и социальных конфликтов. На континенте конец XVI и XVII вв. были временем интенсивных конфликтов. За весь XVII в. можно указать только три года, когда на европейском континенте совсем не воевали. Несколько крупнейших государств в этом веке чаще находились в состоянии войны, чем в состоянии мира. Войны были обычно сложным делом, в которое вовлекались многие государства, связанные между собой династическими и политическими союзами. Интенсивность войн достигла в XVII в. уровня, которого она никогда не достигала прежде и который был превышен лишь в XX в.[63]. Распространенность войн прямо способствовала политической модернизации. Соперничество вынуждало монархов наращивать военную мощь. Для создания военной мощи требовались национальное единство, подавление региональных и религиозных диссидентов, рост армий и бюрократии, значительное увеличение государственных доходов. В истории конфликтов XVII в. «больше всего поражает, — отмечает Кларк, — огромный рост численности армий и масштабов военных столкновений... Если современное государство было необходимо для создания постоянной армии, то и армия создала современное государство, так что влияние этих двух факторов было взаимным... Рост административной машины и искусства управления направлялся и обусловливался стремлением обратить природные и человеческие ресурсы страны в военную мощь. Общее развитие европейских институтов определялось тем, что континент становился все более милитаризованным»[64]. Война показала себя мощным стимулом государственного строительства.

В последние годы много писали об «оборонительной модернизации», проводимой правящими группами незападных обществ, таких, как Египет при Мохаммеде Али, Османская империя XVIII–XIX вв. и Япония эпохи Мэйдзи. Во всех этих случаях первые интенсивные усилия по модернизации предпринимались в военной области, и стремление заполучить европейское оружие, тактику и организацию приводило к модернизации других институтов общества. Сказанное в отношении этих обществ справедливо и в отношении Европы XVII в. Потребность в безопасности и стремление к экспансии побуждали монархов развивать свои военные

учреждения, а для достижения этой цели необходимы были централизация и рационализация политического устройства.

Великобритания в ситуации войны и нестабильности стояла несколько особняком во многом в силу своего островного положения. Но при всем том одним из важнейших факторов централизации власти в Англии стали усилия Стюартов собрать больше налогов, чтобы построить и привести в боевую готовность больше кораблей в ситуации соперничества с Францией и другими континентальными державами. Если бы не Ла-Манш, централизационные усилия Стюартов, вероятно, оказались бы успешными. Между тем в Америке в XVII в. постоянные угрозы исходили только от индейцев. Характер этих угроз и разбросанность поселений означали, что основные задачи по обороне должны были лечь на самих поселенцев, организованных в милицейские отряды. Не существовало сколько-нибудь серьезных побуждений для формирования вооруженных сил европейского типа и государства европейского типа, которое бы поддерживало и контролировало такие вооруженные силы.

Гражданский мир существенно способствовал также сохранению в Америке тюдоровских политических институтов. Эти институты были отражением сравнительного единства и согласия, отличавших английское общество на протяжении XVI в. Английское общество, потрясенное войной Алой и Белой розы в XV в., приветствовало те возможности гражданского мира, которые предложили ему Тюдоры. Общественные конфликты в XVI в. свелись к минимуму. В гражданских войнах предыдущего века была почти полностью уничтожена аристократия. Англия, возможно, и не была обществом среднего класса, но различия между общественными классами были меньше, чем прежде, и много меньше, чем позже. Годы правления Тюдоров отмечены не столько классовой борьбой, сколько индивидуальной мобильностью. «Англия Тюдоров была «органическим обществом» в степени, неизвестной до тюдоровской эпохи и практически сразу же забытой после нее»[65]. Следствием общественного согласия и единства было отсутствие необходимости закреплять суверенитет за каким-либо конкретным институтом; пока общественные конфликты были минимальными, суверенитет мог оставаться рассеянным.

Единственным, что нарушало гармонию тюдоровского общества, были религиозные конфликты. Не случайно в английской истории XVI в. Акт о супрематии* предписывал главенство государства над церковью, а не главенство одного правительственного института над другим или

* Акт о супрематии (1534) — закон, объявлявший английского короля главой англиканской церкви.

превосходство одного класса перед другим. Причем после кратковременной вспышки религиозных конфликтов в правление Марии Кровавой Елизавета путем хитроумных политических интриг и демагогии восстановила мир между религиозными группами, создав ситуацию, едва ли не уникальную для Европы того времени. И равновесие между Короной и парламентом, и сочетание активной монархической власти с обычным правом зависели от этой общественной гармонии. Тем временем на континенте еще до окончания XVI в. гражданские конфликты уже достигали нового пика интенсивности. В одной Франции за 36 лет, протекших между 1562 и 1598 гг., т.е. за период, примерно совпавший со временем мирного правления Елизаветы, произошло восемь гражданских войн. Последующие 50 лет стали свидетелями борьбы Ришелье с гугенотами и войн Фронды. Гражданские конфликты потрясали и Испанию, особенно в 1640–1652 гг., когда Филипп IV и Оливарес пытались покорить Каталонию. В Германии друг с другом воевали князья и парламенты. Там, где, как часто случалось, сословия и князья исповедовали разные религии, религиозный спор неизбежно нарушал средневековый баланс сил между князьями и парламентами[66].

Английская гармония закончилась в конце XVI в. Независимо от того, что в Англии XVII в. происходило с джентри — усиление, ослабление или и то и другое, — в обществе действовали силы, разрушавшие социальный мир тюдоровской эпохи. Попытки восстановить что-то подобное тюдоровскому равновесию, потерпели неудачу перед лицом глубоких социальных и религиозных конфликтов. К примеру, краткий период усиления королевской власти в 1630–1640 гг. сменился «кратковременной реставрацией чего-то наподобие тюдоровского баланса сил в первый год Долгого парламента (1641). Это равновесие могло бы, вероятно, поддерживаться неопределенно долгое время, если бы не обострение религиозных разногласий между Короной и воинствующей пуританской партией в Палате общин»[67]. В Англии, как и во Франции, гражданские конфликты рождали потребность в сильной централизованной власти для восстановления общественного порядка. Разрушение единства общества вызвало к жизни непреодолимое стремление к восстановлению этого единства силами государственной власти.

Эмигранты, как пуритане, так и роялисты, бежали в Америку от гражданской распри в Англии. Процесс фрагментации способствовал росту однородности, а однородность способствовала «своего рода иммобильности»[68]. В Америке, можно сказать, воздействие среды укрепляло преемственность, и условия приграничной жизни в сочетании с обилием земли способствовали сохранению унаследованных от тюдоровского общества эгалитарных характеристик и сложности тюдоровских политических институтов. И, парадоксальным образом, как отмечает Харц, создатели конституции 1787 г. воспроизвели эти институты на федеральном уровне в предположении, что социальные противоречия и конфликты внутри американского общества делают необходимой сложную систему сдержек и противовесов. В действительности, однако, их конституция оказалась удачной лишь потому, что их представление об американском обществе было ложным. Точно так же лишь отсутствие существенных социальных противоречий сделало возможным непрерывное преобразование политических проблем в юридические через посредство своеобразного института судебного контроля[69]. Разделенные общества не могут существовать без централизованной власти; общества, характеризующиеся сплоченностью, не могут существовать в условиях такой власти.

В континентальной Европе, как и в большинстве современных модернизирующихся стран, рационализованная и централизованная власть была необходима не только ради единства, но и ради прогресса. Оппозиция модернизации исходила от носителей традиционных интересов — религиозных, аристократических, региональных. Централизация власти была необходима, чтобы сокрушить старый порядок, уничтожить привилегии и ограничения феодализма и освободить дорогу новым общественным группам, развитию новых форм хозяйственной деятельности. Между абсолютными монархами и растущим средним классом наблюдалась известная общность интересов. Поэтому европейские либералы нередко сочувственно воспринимали концентрацию власти в руках абсолютного монарха, подобно тому как сегодняшние модернизаторы часто с одобрением воспринимают концентрацию власти в руках единой «массовой» партии.

В Америке же, напротив, отсутствие феодальных общественных институтов сделало централизацию власти необязательной. Поскольку не было аристократии, которую нужно было бы потеснить, не было нужды и в создании такой государственной власти, которая была бы способна ее потеснить[70]. Этого мощного побудительного мотива к политической модернизации здесь, в отличие от Европы, не существовало. Общество могло развиваться и меняться без необходимости преодолевать сопротивление общественных классов, заинтересованных в социальном и экономическом статус-кво. Сочетание эгалитарного социального наследия с обилием земли и других ресурсов создавало возможность для того, чтобы социальное и экономическое развитие происходило более или менее спонтанно. Государство часто оказывало содействие экономи-

ческому развитию, но (если не считать отмены рабства) оно не играло большой роли в процессах изменения социальных обычаев и социальной структуры. В модернизирующихся обществах централизация власти растет пропорционально сопротивлению общественным изменениям. В США, где такое сопротивление было минимальным, минимальной была и централизация.

Различным уровнем общественного согласия в Европе и Америке объясняется и то, что в них по-разному происходило расширение участия населения в политической жизни. В Европе этот процесс отмечен радикальными преобразованиями на двух уровнях. На институциальном уровне демократизация означала переход власти от монарха к народному собранию. Этот переход начался в Англии в XVII в., во Франции в XVIII в. и в Германии в XIX в. Там, где средневековые ассамблеи пережили период абсолютизма, они обычно становились инструментом для утверждения народного суверенитета в оппозиции к королевской власти. Власть и прерогативы короля постепенно ограничивались или вовсе упразднялись; доминирующим институтом становился парламент, и распространение избирательных прав со временем превращало его в представительный орган нации.

В странах, где сословные и иные ассамблеи исчезли при абсолютизме, переход к представительному правлению происходил труднее. В этих системах рационализация власти и дифференциация структуры нередко осуществлялись лишь в той мере, чтобы исключить возможности народного влияния через традиционные институты. Следствием часто становились революционное свержение монархии и замена ее избранным народом собранием: Руссо был естественным наследником Ришелье. Поэтому-то такие страны, как Франция и Пруссия, которые первыми модернизировали свои политические институты, столкнулись с наибольшими трудностями при установлении у себя стабильной демократии в XX в. Страны же, где проявившиеся в XVII в. тенденции к установлению абсолютной монархии потерпели поражение (Англия), были сдержаны (Швеция) или отсутствовали (Америка), являют собой примеры формирования более жизнеспособных демократических институтов. Живучесть средневековых сословных, плюралистических ассамблей оказывается связанной с последующими демократическими тенденциями. «Конечно же, неслучайно, — замечает Карстен, — что либеральное движение XIX в. оказалось сильнее в тех областях Германии, где сословное представительство пережило эпоху абсолютизма»[71]. Сходным образом в Испании XVII в. Каталония была центром феодальной оппозиции централизаторским и рационализаторским усилиям Оливареса, но в XX в. она же стала оплотом испанского либерализма и конституционализма. Также и в Европе XVIII в. консервативные и часто реакционные усилия традиционных представительных органов сохранить или восстановить свои привилегии заложили фундамент позднейшего народного представительства и народного сопротивления деспотизму[72].

На электоральном уровне рост политической активности населения в Европе означал последовательное предоставление права участвовать в выборах в ассамблею крупной буржуазии, затем менее крупной, крестьянам и городским рабочим. Этот процесс отчетливо просматривается в английских законах об избирательной реформе 1832, 1867, 1884 и 1918 гг. Там, где не было ассамблеи, ее создание тоже иногда сопровождалось введением всеобщего избирательного права для мужчин, которое, в свою очередь, прямо способствовало росту политической нестабильности. В обоих случаях контроль над собранием обеспечивал и контроль над правительством; поэтому борьба вокруг вопроса о том, кто должен избирать ассамблею, часто принимала острый, а подчас и насильственный характер. В Америке же не было таких классовых различий, как в Европе, и поэтому оснований для конфликтов вокруг избирательных прав было меньше. Кроме того, сохранение плюралистических институтов средневекового конституционализма делало вопрос о распространении избирательных прав, по видимости, менее важным. При системе сдержек и противовесов, при множестве институтов, соперничающих за власть, представлялось достаточно естественным, чтобы по меньшей мере один из этих институтов (обычно нижняя палата ассамблеи) избирался всенародным голосованием. Но раз это имело место, то соперничество между общественными силами и между государственными институтами приводило к постепенной демократизации других институтов.

В Америке, таким образом, единство общества и разделение властей сделало это последнее главным фокусом демократизации. Американским эквивалентом избирательного закона 1832 г. стало изменение характера коллегии выборщиков — в результате образования политических партий и связанного с этим преобразования президентства из учреждения с непрямыми выборами, полуолигархического, в учреждение общенародного характера. Другие крупные шаги в направлении расширения участия народа Соединенных Штатов в политической жизни были связаны с распространением принципа выборности на губернаторов штатов, на обе палаты законодательных собраний штатов, на многие административные посты и коллегиальные органы штатов, судебные органы во многих штатах и Сенат США. В Европе расширение активности на-

селения означало распространение права избирать в некоторое одно учреждение на все классы общества, тогда как в Америке оно означало распространение принципа выборности на все (или почти все) государственные институты.

Почему раннее и быстрое расширение политической активности в США не привело здесь к росту насилия и нестабильности? По меньшей мере отчасти ответ кроется в относительной сложности, адаптивности, автономии и согласованности традиционных политических институтов, существовавших в Америке в XVII–XVIII вв. Дело, в частности, в том, что эти институты были достаточно разнообразны на местном уровне, на уровне штатов и, наконец, на общенациональном уровне, чтобы обеспечивать многообразие направлений канализации политической активности. Множественность институтов создавала множество возможностей достижения политического влияния. Группы, лишенные влияния на общенациональном уровне, могли доминировать на уровне штатов или на местном уровне. Те, кто не мог избирать на высшие посты в исполнительной власти, могли тем не менее контролировать легислатуры или по меньшей мере комитеты по законодательству. Те, кто не мог рассчитывать на влияние в силу своей малочисленности, находили поддержку со стороны судебных органов, стремившихся к утверждению своей власти. За редкими исключениями большинство значительных общественных и экономических групп в американском обществе XVIII–XIX вв. могли найти ту или иную возможность участия в государственном управлении и согласования своего влияния с государственной властью.

В Европе расширение политической активности было связано с централизацией власти: «демократическому движению приходилось быть унитарным и централизующим, поскольку ему предстояло разрушать, прежде чем оно сможет созидать»[73]. В Америке, напротив, расширение участия народа в политической жизни было связано с рассредоточенностью власти и сохранением сложившихся государственных институтов. Лишь такой автократ-модернизатор, как Гамильтон, мог пытаться навязать Америке тип централизации, излюбленный у демократов Европы. Однако демократизация многих государственных институтов уравнивала их влияние и тем самым смягчала свои собственные последствия. В то же время она также легитимизировала и укрепляла плюралистическое наследие прошлого. Как признавал Мэдисон, самая популярная ветвь государственной власти оказывается и самой влиятельной. Вновь и вновь установление связей между государственными институтами и нарождающимися общественными силами придавало второе дыхание политическим институтам, которые без этой связи утратили бы свое влияние подобно монархам

и нижним палатам Европы. Таким образом, институционный плюрализм, унаследованный от прошлого, сначала способствовал расширению политической активности, а потом укреплялся за ее счет.

В Европе оппозиция модернизации внутри общества вынуждала модернизировать политическую систему. В Америке легкость, с которой происходила в обществе модернизация, делала ненужной модернизацию политических институтов. США, таким образом, совмещают в себе самое современное в мире общество с одними из самых архаических в мире политических институтов. Американский политический опыт отличается интенсивностью законотворчества, но редкостью, а то и отсутствием нововведений. Со времени Революции конституции писались для 38 новых политических систем, но при этом вновь и вновь дублировалась все та же схема государственного устройства. Новые конституции Аляски и Гавайских островов, принятые в 1950-е гг., лишь отдельными деталями отличались от конституции Массачусетса, первоначально составленной Джоном Адамсом в 1780 г. Когда еще в истории такая уникальная череда возможностей для политического эксперимента и инновационной деятельности была практически полностью упущена?

Эта статичность политической системы контрастирует с изменчивостью во всех других сферах американского общества. Отличительной чертой американской культуры, писал Робин Уильямс, является ее ориентированность на изменение. Другие авторы отмечают следующее: «В Соединенных Штатах изменение ценится само по себе. Новое хорошо, старое плохо. Американцы завоевывают престиж тем, что становятся первыми владельцами автомобиля следующего года; в Англии много сил тратится на то, чтобы поддерживать в рабочем состоянии двадцатипятилетние машины»[74]. За три века несколько мизерных и нищих сельских поселений, вытянувшихся вдоль атлантического побережья и населенных ссыльными религиозными диссидентами, превратились в огромную, урбанизованную республику, ведущую экономическую и военную державу мира. Америка подарила миру самые современные и эффективные формы экономической организации. Она стала пионером в процессе роста социального благополучия масс: массовом производстве, массовом образовании, массовой культуре. В экономическом и социальном отношениях царили движение и изменение. В отношении же государственного устройства единственной существенной институционной инновацией был федерализм, но и он, конечно же, стал возможен лишь в силу традиционной враждебности к централизации власти. Фундаментальные социальные и экономические изменения сочетались, таким образом, с политической стабиль-

ностью и непрерывностью. В обществе, столь любящем блеск новизны, политическое устройство сохраняет патину архаики.

Специфически американский вклад в политику относится к организации участия в ней широких народных масс[75]. Америке также принадлежала инициатива создания одного важнейшего политического института — политической партии. Предвыборное совещание (caucus) возникло еще до революции, а корреспондентские комитеты — во время революционного кризиса. На основе этих зачаточных образований в конце XVIII в. были организованы первые политические партии. Американские партии, в свою очередь, непосредственно отражают природу политической модернизации в Америке. Они возникли в США прежде появления где-либо еще как ответ на раннее расширение здесь политической активности масс. Амбициозные политики должны были мобилизовывать и организовывать электорат для успеха в борьбе за власть. В Нью-Йорке в 1800 г., к примеру, лидеры республиканцев, сторонников Джефферсона, пришли к выводу, что победить на выборах можно, лишь завоевав поддержку штата Нью-Йорк, а чтобы завоевать ее, нужно получить поддержку города Нью-Йорка. И чтобы достичь этой цели, Аарон Бэрр фактически преобразовал партийную машину. Бэрр, как писал один из исследователей, «оказался в очень трудной ситуации, поскольку федералистами умело руководил его старый противник, Александр Гамильтон, одержавший решительную победу на прошлых выборах, а республиканцы были расколоты. Бэрр потихоньку убедил старых партийных лидеров объединиться в составе общего списка наиболее известных местных республиканцев; коварно выжидал с объявлением этого списка, пока Гамильтон не составил список, который уступал ему... создал хорошо организованную сеть своих помощников для каждого района города; составил списки избирателей с указанием политической истории каждого, его взглядов и путей побуждения участвовать в выборах; учредил комитеты для сбора фондов; давил на богатых республиканцев, выжимая из них более крупные денежные пожертвования; организовывал митинги; привлекал в свои ряды членов общества Таммани*, тогда имевшего характер сплоченной и воинственной группы; публично дебатировал с Гамильтоном; провел десять часов на избирательных участках в последний день трехдневных выборов»[76]. Результатом была решительная победа Бэрра и тех институциальных инноваций, которые он внес в американскую политику.

* Общество Таммани — благотворительное общество в Нью-Йорке, связанное с Демократической партией.

Таким образом, тот факт, что массовые политические организации родились именно в Америке, можно объяснить тем, что здесь рост политической активности масс происходил с опережением по сравнению с другими странами. Сходным образом, но в обратном смысле отсутствие здесь дифференциации и рационализации власти и сохранение традиционных политических институтов объясняют, почему американские политические партии так и не обрели столь прочной организации, как партии в Англии или на континенте. Существование сложной структуры государственного управления оставляло меньше функций, которые могли бы выполняться партиями, и делало их общую роль в политической системе менее важной, чем в Европе. Американские партии в целом были менее жестко организованными, менее сплоченными, менее дисциплинированными, чем европейские партии, и они обычно избегали участия в разнообразной побочной общественной и экономической деятельности, что было свойственно европейским партиям, особенно левым. В некотором роде американские партии стоят в том же отношении к европейским партиям, в каком американские государственные институты стоят к европейским государственным институтам. «Общая структура американских партий очень архаична»[77] по сравнению с их европейскими аналогами. Парадоксальным образом форма политической организации, зародившаяся в Америке, развилась во много более прочную и сложную структуру в Западной Европе и получила наиболее полное и законченное развитие в СССР.

Модернизация, таким образом, не обязательно однородна. Американский опыт наглядно показывает, что какие-то институты и какие-то аспекты общества могут достигать весьма высокого уровня модернизации, тогда как другие институты и другие аспекты во многом сохраняют традиционные форму и состав. В сущности, это можно рассматривать как вполне естественный порядок вещей. Во всякой системе должно поддерживаться некоторое равновесие между изменением и постоянством. Изменение в одних областях делает ненужным или невозможным изменение в других. В Америке стабильность государственных институтов сделала возможным быстрое изменение общества, а быстрое изменение общества способствовало преемственности и стабильности в сфере государственного управления. Вполне возможно, что связь между государством и обществом носит диалектический характер, а не характер взаимодополнительности. В других обществах, скажем, в Латинской Америке, жесткая общественная структура и отсутствие социальных и экономических изменений сочетались с политической нестабильностью и слабостью политических институтов. Более того, есть все основания считать, что последнее — следствие первого[78].

Это сочетание современного общества с тюдоровскими политическими институтами объясняет в отношении американских политических идей многое, что иначе бы не поддавалось объяснению. В Европе консерватор — это защитник традиционных институтов и ценностей, преимущественно общественных, а не государственных. Консерватизм ассоциируется с церковью, аристократией, общественными нравами и установленным общественным порядком. Отношение консерваторов к государству двойственно; оно рассматривается как гарант общественного порядка, но оно же рассматривается как генератор общественных изменений. Предметом основной заботы консерваторов является общество, а не государство. Европейским либералам, напротив, свойственно гораздо более позитивное отношение к государству. Вслед за Тюрго*, Прайсом и Годвином** они рассматривают централизацию власти как предпосылку общественных реформ. Они всегда поддерживали сосредоточение власти — сначала в руках абсолютного монарха, затем в руках суверенного народа, — там, где она может быть использована для изменения общества.

В Америке же эти либеральные и консервативные позиции были во многом смешаны, а отчасти получили противоположный смысл. Консерватизм редко получал развитие, поскольку не было общественных институтов, которые надо было сохранять. Общество менялось и модернизировалось, тогда как государство, на которое консерватор смотрит с подозрением, оставалось сравнительно неизменным и архаичным. За немногими исключениями, такими, как горстка колледжей и церкви, старейшие институты в американском обществе — это государственные институты. Отсутствие традиционных общественных институтов, в свою очередь, сделало ненужной для либералов поддержку централизации власти, которая была свойственна европейским либералам. Джон Адамс мог сочетать государство Монтескье с обществом Тюрго, весьма озадачивая этим Тюрго. У европейцев XIX в. были все основания изумляться Америке: она соединяла в себе либеральное общество, которое еще только ожидало их в будущем, с консервативной политикой, которую они уже успели позабыть.

Вполне можно было ожидать, что эти консервативные институты в будущем будут меняться быстрее, чем они менялись в прошлом. Внешняя

* Тюрго, Анн Робер Жак (1727–1781) — французский государственный деятель, философ и экономист. На посту министра финансов провел ряд реформ в духе учения физиократов. Автор одной из первых рационалистических теорий общественного прогресса.

** Годвин, Уильям (1756–1836) — английский писатель, автор утопического трактата «Рассуждения о политической справедливости» (1793), один из предшественников анархизма.

безопасность и внутреннее единство были основными факторами, препятствовавшими модернизации американских политических институтов. Первый из этих факторов перестал действовать в начале XX в.; второй, как представляется, временами оказывается под угрозой исчезновения. Политические институты, пригодные для общества, которому не приходилось беспокоиться относительно угроз извне, могут оказаться непригодными для общества, непрерывно вовлеченного с ситуацию страха, холодной войны и военных интервенций в отдаленных частях земного шара. Государству приходится также считаться и с проблемами расовых отношений и бедности, которые требуют его вмешательства. Требования национальной обороны и социальной реформы могут оказать разрушительное действие на унаследованный от прошлого традиционный плюрализм, ускорить централизацию власти и структурную дифференциацию американских политических институтов.

Тюдоровская политика и модернизирующиеся общества

Много говорилось о значении для ныне модернизирующихся стран Азии, Африки и Латинской Америки опыта ранних этапов модернизации в США. Утверждалось, что Соединенные Штаты были и должны оставаться революционной силой. Американская революция, говорилось при этом, «породила цепную реакцию», звеньями которой стали французская революция и в конечном счете русская революция, в которой следует видеть «дитя американской революции, хотя и нежеланное и непризнаваемое»[79]. Но попытки увидеть связи и (или) параллели между тем, что произошло в Америке в XVIII в., и тем, что происходит в Азии, Африке и где-то еще в XX в., могут лишь привести к чудовищному искажению смысла исторического опыта в обоих этих случаях. Американская революция не была социальной революцией, как французская, русская, китайская, мексиканская и кубинская революции; это была война за независимость. Более того, это не была война за независимость против иноземных завоевателей, как борьба индонезийцев против голландцев или вьетнамцев и алжирцев против французов; это была война переселенцев против своей исторической родины. В качестве современных аналогов этой ситуации можно рассматривать разве что отношения алжирских «колонистов» к Французской Республике или южнородезийцев к Соединенному Королевству. Именно здесь, в ситуациях, когда последние «фрагменты» Европы рвут свои с ней связи, можно видеть воспроизведение опыта Америки XVIII в. Но это не те параллели, напоминания о которых любят либеральные интеллектуалы в Америке.

В качестве довода в пользу важности американского опыта для современных модернизирующихся стран говорилось также о США как о «первой новой нации». Соединенные Штаты, утверждалось при этом, были первой крупной нацией, «возникшей в результате освобождения от колониального господства Западной Европы, в качестве самостоятельного, суверенного государства, и поэтому у них есть нечто общее с «нарождающимися нациями» нашего времени, вне зависимости от того, сколь значительно они могут различаться в других отношениях»[80]. Выражение «новая нация», однако, не ухватывает различия между государством и обществом и потому стирает фундаментальные различия между американским опытом и опытом ныне модернизирующихся стран. Последние по большей части более точно описываются названием книги К. Геерца «Старые общества и новые государства»[81]. Америка же, так исторически сложилось, была новым обществом и старым государством. Поэтому проблемы государственного управления и политической модернизации, с которыми сталкиваются современные модернизирующиеся государства, фундаментально отличаются от тех, с которыми когда-либо сталкивались США.

В большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки модернизация сталкивается с огромными социальными трудностями. Разрывы между богатыми и бедными, между современной элитой и традиционными массами, между сильными и слабыми, которые составляют обычный удел «старых обществ», пытающихся сегодня осуществлять модернизацию, сильно контрастируют с той «привлекательной однородностью» «односословного» общества, которое существовало в Америке XVIII в. В Европе XVII в. эти разрывы могли быть преодолены только путем создания мощной, централизованной государственной власти. Перед США никогда не стояла необходимость создавать такой центр власти, чтобы модернизировать свое общество, и поэтому их опыт едва ли может быть полезным для стран, которые проводят у себя модернизацию сегодня. Америка, писал Токвиль, «достигла демократии без необходимости пережить демократическую революцию», и американцы «рождались равными без необходимости таковыми становиться». Точно так же американское общество зародилось как общество современное и потому никогда не нуждалось в государстве достаточно сильном, чтобы сделать его таковым. Архаичное государство совместимо с современным обществом, но оно не совместимо с модернизацией традиционного общества.

К примеру, латиноамериканский опыт является почти противоположным опыту США. После обретения независимости Соединенные Штаты сохраняли в основном те же политические институты, которые

они имели до того, как стали независимыми, и которые вполне отвечали потребностям общества. Что же касается латиноамериканских стран, то там после завоевания независимости сохранялась феодальная в основных своих чертах социальная структура. Они попытались наложить на эту социальную структуру республиканские политические институты, скопированные у США и революционной Франции. Но такие институты не имели смысла в феодальном обществе. Эти первые попытки установления республиканского строя оставили Латинскую Америку со слабыми правительствами, которым вплоть до XX в. недоставало авторитета и силы, чтобы модернизировать общество. Либеральное, плюралистическое, демократическое государственное устройство способствует сохранению устаревшей социальной структуры. Таким образом, в Латинской Америке существует внутренний конфликт между политическими целями Соединенных Штатов, такими, как выборы, демократия, представительная система государственного управления, плюрализм, конституционализм, и их социальными целями, такими, как модернизация, реформа, социальное благосостояние, более справедливое распределение богатства, развитие среднего класса. В североамериканском опыте между этими целями нет противоречия. В Латинской Америке они нередко прямо противоречат друг другу. Те версии североамериканской политической системы, воспроизведение которых североамериканцы хотели бы видеть в Латинской Америке, просто-напросто слишком слабы, слишком диффузны и лишены целостности, чтобы обеспечить мобилизацию политической силы, необходимой для осуществления фундаментальных перемен. Такая сила может быть мобилизована революцией, как это было в Мексике и на Кубе, и историческая функция революций состоит в том, чтобы на смену слабому государству приходило сильное, способное осуществлять социальные изменения. Вопрос для Латинской Америки и стран, находящихся в аналогичной ситуации, состоит в том, существуют ли иные пути, не связанные с насильственной революцией, формирования политической власти, которая необходима для модернизации традиционных обществ.

Если возможна параллель между модернизацией XVII в. и XX в., то уроки первой для последней ясны. Несмотря на все аргументы в пользу обратного, страны, где модернизация требует концентрации власти в руках единственной, монолитной, иерархически организованной и при этом «массовой» партии, едва ли могут стать благоприятным местом для формирования демократии[82]. Активность масс оказывается тесно связанной с авторитарным управлением. Как это было в Гвинее и Гане, последнее выступает в качестве современного оружия модернизирующих централи-

заторов в их борьбе против традиционного плюрализма. Демократия же имеет больше шансов в тех странах, которые сохраняют элементы традиционного социального и политического плюрализма. Наилучшие перспективы у нее там, где традиционный плюрализм адаптируется к современной политике, как это, по-видимому, произошло с кастовыми ассоциациями в Индии и как это может получиться с племенными объединениями в некоторых частях Африки. Точно так же в самой демократической из арабских стран — пожалуй, даже единственной демократической арабской стране Ираке, проводится в высшей степени традиционная политика конфессионального плюрализма[83]. Как и в Европе XVII в., современные незападные страны могут иметь у себя политическую модернизацию либо же могут иметь демократический плюрализм, но по общему правилу они не могут иметь и то и другое.

В каждый исторический период какой-то один тип политической системы обычно воспринимается современниками как наиболее отвечающий нуждам и требованиям эпохи. В эпоху европейского государственного строительства «образцом государства» (pattern-state), если использовать выражение сэра Джорджа Кларка, была монархия Бурбонов во Франции. В самом деле, тот новый тип государства, который появился в этом веке, утверждает Кларк, «может быть назван монархией французского типа не только потому, что он достиг наиболее яркого и последовательного выражения во Франции, но и потому, что в других местах сознательно и целенаправленно копировали бурбонский образец»[84]. Этот тип централизованной, абсолютной монархии удовлетворял насущным требованиям времени. В конце XVIII в. и в XIX в. образцом государства стала парламентская система Англии. Страны Европы в это время сталкивались с проблемами демократизации и включения в политическую жизнь низших классов общества. Британская система служила моделью для этой фазы модернизации. Сегодня во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки политические системы сталкиваются с необходимостью одновременно централизовать власть, дифференцировать структуру и расширять участие населения в политической жизни. Неудивительно, что системой, которая представляется наиболее пригодной для одновременного достижения всех этих целей, оказывается однопартийная система. Если Версаль задавал стандарт для одного столетия, а Вестминстер для другого, то Кремль вполне может стать наиболее привлекательной моделью для большинства модернизирующихся стран этого века. Подобно тому как главы мелких немецких княжеств подражали Людовику XIV, главы столь же мелких и хрупких африканских государств будут подражать Ленину и Мао. Первостепенной потребностью этих стран является усиление и концентрация власти,

а не ее распыление, и этому можно научиться в Москве и Пекине, а вовсе не в Вашингтоне.

И эта непригодность американского государственного устройства в качестве примера для подражания не должна удивлять. Исторически иностранцы всегда находили американское общество более привлекательным, чем американское государство. Даже в XVII и XVIII вв., пишет Белофф, «политический образ новой страны обладал меньшей притягательной силой, чем ее социальный образ»[85]. На Токвиля много большее впечатление произвел демократизм американского общества и американских обычаев, нежели демократические государственные институты. И в этом веке европейцы нашли немало такого, что можно позаимствовать в организации американского бизнеса и в американской культуре, но они не видят оснований копировать что-либо из американских политических институтов. В мире достаточно много как парламентских демократий, так и однопартийных диктатур. Но одной из поразительных черт мировой политической карты является, несомненно, редкость других политических систем, таких, которые бы практически воспроизводили американскую модель.

Не следует, однако, и преуменьшать значение американского политического устройства для остальной части мира. Она не слишком поучительна для обществ, которым приходится модернизировать традиционный строй. Но, как показывает и опыт самих США, тюдоровское государственное устройство вполне совместимо с современным обществом. Отсюда следует, что возможно, хотя отнюдь не несомненно, что по мере того, как другие общества будут принимать все более современный характер и потребность в разрушении старых, традиционных, феодальных и местнических элементов будет уменьшаться, может исчезнуть и нужда в сохранении политической системы, способной осуществлять модернизацию. Такая система, разумеется, будет иметь за собой преимущество традиции и того, что она ассоциируется с успешным социальным преобразованием. Поэтому велика вероятность, что она не изменится слишком сильно. Но существует, по крайней мере, возможность некоторой эволюции в направлении системы американского типа. «Конец идеологии» в Западной Европе, снижение остроты социальных конфликтов, тенденции, ведущие к становлению «органического общества», — все это позволяет предполагать, что европейские страны могут теперь иметь более децентрализованные и гибкие политические институты. Некоторые из элементов американской системы, похоже, понемногу пробивают себе дорогу в Европу, откуда они были вывезены три века тому назад[86]. На континенте понемногу и робко, но возрождается судебный надзор.

После де Голля конституция Пятой республики может вполне превратиться в нечто не слишком отличающееся от конституции США. В Англии г-на Вильсона обвиняли в том что он ведет себя как президент. Это всего лишь соломинки на ветру. Они могут ничего не значить. Но если они все же что-то значат, то именно то, что новая Европа может в конечном счете прийти к усвоению некоторых старых институтов, которые Новый Свет унаследовал от старой Европы.

3. Политическое изменение в традиционных государствах

Власть, институты и политическая модернизация

Чтобы успешно справляться с модернизацией, система должна быть в состоянии, прежде всего, обновлять свою политику, т.е. проводить социальные и экономические реформы усилиями государства. Реформа в этом контексте обычно означает изменение традиционных ценностей и форм поведения, распространение средств коммуникации и образования, расширение горизонтов — от семьи, села и племени до нации в целом, секуляризацию общественной жизни, рационализацию структур власти, формирование функционально специфических организаций, замена аскриптивных* критериев критериями, основанными на достижениях, и усилия в направлении более справедливого распределения материальных и символических ресурсов. Второе требование к политической системе состоит в том, чтобы она была способна успешно инкорпорировать общественные силы, вызываемые к жизни модернизацией, чтобы в результате модернизации складывалось новое общественное сознание. Рано или поздно эти социальные группы начинают претендовать на участие в политической системе, и система либо предоставляет им возможность такого участия в формах, согласующихся с непрерывным существованием системы, либо отчуждает эти группы от системы, порождая тем самым открытую или скрытую внутреннюю напряженность и расколы.

Каковы политические условия или, более конкретно, условия организации власти, благоприятные для проведения политических инноваций в обществах, осуществляющих модернизацию? В достаточно сложных системах, как свидетельствует большинство данных, благоприятным для обновления политики оказывается распределение власти, которое не характеризуется ни слишком сильной концентрацией, ни слишком широким рассредоточением. Попытавшись обобщить данные, содержащиеся в литературе по проблемам инновации в организациях, Джеймс Уилсон пришел к выводу, что частота инновационных предложений прямо пропорциональна диверсифицированности организации, тогда как частота принятия инновационных идей обратно пропорциональна диверсифицированности организации[1]. Под организационной диверсифицированностью он подра-

* Аскриптивные критерии — основанные на принадлежности индивида по происхождению к сословию, роду, семье и т. д.

зумевает сложность организации и сложность ее системы поощрений. Применительно к крупным политическим системам «диверсифицированность» можно грубо отождествить с рассредоточением власти. В таком модифицированном и расширительном понимании вывод Уилсона будет тогда означать, что в политической системе, где власть децентрализована, будет много предложений, но лишь немногие из них будут приниматься, тогда как в системе с централизованной властью будет мало предложений, но доля принимаемых будет больше. Процессы политических инноваций в США и СССР, видимо, приближенно соответствуют этим моделям[2]. Как, однако, указывает Уилсон, само по себе это двойное утверждение ничего не говорит о том, при каком уровне диверсификации или децентрализации власти будет достигаться наивысший уровень инноваций; можно разве что предполагать, что в крайних точках распределения — там, где власть полностью сосредоточена в одном центре или же где она полностью рассредоточена, — он будет ниже, чем в середине континуума.

Отправляясь от этой теории мы, однако, можем попытаться выделить некоторые факторы, которые позволят связать вероятность инноваций с распределением власти. Проблема инноваций в процессах политической модернизации к настоящему времени хорошо изучена. Существенно, вероятно, что в странах, где модернизация происходила раньше — Великобритании, Северной Европе, США, — власть была более децентрализованной, чем в странах, где процесс модернизации осуществлялся позднее. Первоначально то множество разнообразных инноваций, которые вместе составляют модернизацию, могло быть выдвинуто только в обществах, где возможность инициативы принадлежала многим группам. Общества, осуществлявшие модернизацию позднее, не нуждались в такой степени диверсификации или рассредоточения влияния для выдвижения инноваций. По существу, минимальным требованием является осведомленность по меньшей мере некоторых групп в обществе о модернизации, которая уже осуществлена на Западе. В позднее модернизирующихся обществах предложение инноваций (в смысле их продвижения в обществе какой-либо влиятельной общественной группой) требует меньшей организационной диверсификации и рассредоточения власти, чем это было необходимо в ранее модернизировавшихся обществах.

Таким образом, в обществах, где модернизация происходит позднее, критическим этапом в осуществлении инновации становится процесс принятия, а не процесс предложения. Эти общества отличаются от США числом и влиятельностью источников сопротивления модернизационным реформам. Факторами такого сопротивления становятся традиционные общественные силы, интересы, обычаи и институты. Изменение

или сокрушение этих традиционных сил требует концентрации власти в руках агентов модернизации. Модернизация связана с существенным перераспределением власти внутри политической системы: разрушением местных, религиозных, этнических и других центров влияния и сосредоточением власти в общенациональных политических институтах. Племенные и деревенские общности с более централизованными властными структурами легче и быстрее воспринимают инновации, чем те, где власть больше рассредоточена[3]. В маленьких и больших городах быстрый экономический и демографический рост бывает связан с концентрацией власти в руках небольшой предпринимательской элиты. Снижение темпов гражданского развития аналогичным образом связано с распределением власти между большим числом групп, и много обсуждавшиеся различия между Атлантой и Нью-Хейвеном оказываются, таким образом, зависящими от времени, а не от метода. В США социальные изменения, такие, как преодоление сегрегации, легче и быстрее осуществляются, по-видимому, в тех ситуациях и организациях, где власть централизована, а не там, где она рассредоточена[4]. Разумно, таким образом, заключить, что в модернизирующемся обществе уровень политических инноваций более или менее прямо связан с уровнем централизации власти в политической системе этого общества.

Преодоление сопротивления традиционных сил часто требует мобилизации в политику новых общественных сил, и потому вторым ключевым требованием к модернизирующейся системе является ее способность инкорпорировать порождаемые модернизацией общественные силы. Во многих случаях это новые общественные группировки, такие, например, как предприниматели или городские рабочие, группировки, которых не было в традиционном обществе. Однако по меньшей мере столь же важной является способность системы включать в свой состав традиционные общественные группы, обретающие политическое самосознание в процессе модернизации. Развитие группового сознания побуждает группы предъявлять свои притязания на участие в политической системе. Проверкой системы служит в какой-то мере ее способность отвечать этим требованиям. Успешная инкорпорация зависит как от рецептивности системы, так и от адаптивности вступающей в ее состав группы, т. е. от готовности группы отказаться от некоторых своих ценностей и притязаний ради того, чтобы быть допущенной в систему. Обычно два этих качества прямо связаны между собой: рецептивность системы побуждает группу к адаптивности. Кроме того, системы обычно более рецептивны в отношении новых общественных групп, которых прежде не было в обществе, чем в отношении тех старых общественных групп, которые прежде были исключены

из системы, но у которых формируется новое политическое сознание. Ассимиляция промышленников-предпринимателей и промышленных рабочих ставит поэтому перед модернизирующимся обществом меньше проблем, чем ассимиляция крестьян.

Ассимиляция новых групп в состав политической системы означает, по существу, расширение влияния этой политической системы. Как богатство в экономической сфере, так и власть в сфере политической существуют в двух измерениях. Власть не только может централизоваться и рассредоточиваться, но и пределы власти могут расширяться и сокращаться. Власть, как писал Парсонс, «приходится делить и распределять, но ее еще нужно создавать, и она имеет не только распределительные, но и собирательные функции. Это способность мобилизовать ресурсы общества для достижения целей, в пользу которых высказалось или может высказаться «общество». Это, прежде всего, мобилизация лиц или групп на действия, мобилизация, которая оказывается для них *обязательной* в силу их положения в обществе»[5]. В более общем смысле количество власти в обществе зависит от числа и интенсивности отношений влияния внутри этого общества, т.е. отношений, в которых действие одного лица или группы производит изменение в поведении другого лица или группы. Политические системы, таким образом, различаются не только в отношении распределения власти, но и в отношении накопления власти. Рост производства богатства зависит от индустриализации; точно так же рост производства власти зависит от включения новых групп в политическую систему. Экономические системы различаются в отношении способности увеличивать свое богатство посредством индустриализации, т.е. своей восприимчивости к новым формам экономической деятельности; точно так же политические системы различаются в отношении способности увеличивать свою власть посредством инкорпорирования, т.е. своей рецептивности к новым типам политических групп и политических ресурсов. Современные политические системы отличаются от систем традиционных количеством власти, накопленной системой, а не ее распределением. Как в традиционных, так и в современных политических системах власть может быть централизованной или рассредоточенной. В современной системе, однако, бóльшая часть общества вовлечена в большее количество властных отношений, чем это имеет место в традиционной системе; в первой политически активно больше людей, чем в последней. У современной системы просто-напросто больше власти, чем у системы традиционной.

Здесь опять-таки существует важное различие между американским и коммунистическим подходами к политическому развитию. Американцы обычно склонны мыслить о власти в терминах игр с нулевой суммой:

Таблица 3.1. Политические системы и конфигурации власти

Распределение власти	Количество власти	
	Малое	Большое
Централизованная	Бюрократическая империя; абсолютная монархия	Тоталитарная диктатура
Рассредоточенная	Феодализм; «пирамидальные структуры»	Конституционная демократия

увеличение влияния какого-то одного лица или группы должно уравновешиваться утратой влияния другими лицами или группами. Коммунистический же подход связан с акцентом на «коллективном», экспансивном аспекте власти. Власть есть нечто требующее мобилизации, формирования и организации. Неспособность американцев к осознанию этого отражается в часто выражаемых опасениях, что коммунисты или какая-то другая враждебная группа может «захватить» власть в отсталой или модернизирующейся стране. Похоже, что за такими утверждениями может иногда стоять представление, что власть есть нечто такое, что может валяться на полу Капитолия или президентского дворца, и что группа заговорщиков может пробраться туда и удрать вместе с властью. За этим стоит неспособность понять, что большинство таких стран страдают от отсутствия власти в своих политических системах. В них мало чего или нечего захватывать, а то, что есть, может быть одинаково легко и утрачено, и обретено. Проблема состоит не столько в том, чтобы захватить власть, сколько в том, чтобы создать власть, мобилизовать группы в политику и организовать их участие в политике. Это требует времени и обычно также борьбы; именно так понимают политическое изменение коммунистические элиты.

Модернизация, таким образом, связана, как утверждает Фрей, с изменениями как в распределении власти внутри системы, так и в количестве власти, присутствующей в системе[6]. С точки зрения логики изменение одного из этих параметров не обязательно связано с изменением другого параметра. Но вполне возможно, что они связаны исторически. Рост богатства в обществе связан с распределением богатства в этом обществе. В бедных странах обычно существуют крайности роскоши и нищеты. На ранних этапах стадиях экономического роста богатство еще в большей мере сосредоточивается в немногих руках. На позднейших же стадиях экономический рост делает возможным более широкое распределение материальных благ. В самых богатых странах, как правило, устанавливается

и наиболее равномерное распределение богатства. В каком-то смысле аналогичное соотношение между концентрацией власти и ее расширением существует в процессе политической модернизации. На ранних стадиях модернизация требует изменений в традиционных социальных, экономических и культурных представлениях и формах поведения; отсюда — инновационные изменения в политике и, следовательно, концентрация власти. Разрыв между могущественными и слабыми увеличивается. В то же время социальные и экономические изменения, вызванные к жизни изменившейся политикой, побуждают новые группы требовать доступа в политическую систему и способствуют расширению системы. В третьей фазе, много позднее, расширение системы может сделать возможным новое рассредоточение власти в рамках системы.

Таким образом, в зависимости от выбранного угла зрения можно считать, что политическая модернизация предполагает или концентрацию власти и ее расширение, или ее рассредоточение, и примечательно, что политологами предлагались все три эти описания политической модернизации. На том или ином отрезке истории страны «модернизация» может быть тем, другим или третьим, и каждый из вариантов, в свою очередь, может оказаться испытанием адаптивности политической системы. Первое, чего в типичном случае требует модернизация от плюралистической, слабо оформленной и организованной традиционной системы феодального типа, это концентрации власти, необходимой для осуществления изменений в традиционных обществе и хозяйстве. Второй проблемой является последующее расширение власти в системе для ассимиляции новомобилизованных и политически активизировавшихся групп, порождающее, таким образом, систему современного типа. Именно этот фактор является преобладающим в сегодняшнем модернизирующемся мире. На позднейших этапах система сталкивается с притязаниями политически активных групп на более равномерное распределение власти и на создание механизмов взаимного ограничения и контроля для всех политически активных групп и институтов. Многие из коммунистических государств Восточной Европы сталкиваются с проблемами адаптации к тому давлению, которое на них оказывают группы, требующие своей доли в распределении власти.

Политические системы, таким образом, различаются по количеству власти, присутствующей в системе, и по распределению власти в системе. И что еще более важно, с точки зрения обновления политики и инкорпорирования групп политические системы различаются в отношении их способности сосредоточивать власть и расширять пределы власти. Эти возможности системы прямо зависят от природы ее политических институтов. Преторианские системы, в которых отсутствуют эффективные институты, не

способны ни к устойчивой концентрации власти, необходимой для проведения реформ, ни к устойчивому расширению власти, которое требуется для идентификации новых групп с данной системой. И концентрация, и расширение власти возможны здесь лишь на временной основе. Типичны для таких систем быстрые переходы от крайней степени концентрации к крайней степени рассредоточения и от быстрого расширения власти к ее быстрому сокращению. Подчас диктатор-популист, харизматический лидер или военная хунта могут добиться одновременно и концентрации власти, и ее расширения. Но эти достижения неизбежно носят временный характер и сменяются раздроблением власти между многими общественными силами и возвращением населения в состояние апатии и отчужденности. Постоянное чередование ситуаций, при котором на смену слабому диктатору приходит правление множества слабых партий и наоборот, означает неспособность системы осуществить серьезные изменения в области накопления или распределения власти.

С другой стороны, высокая эффективность и большая привлекательность однопартийной системы в модернизирующихся странах состоит в том, что это весьма благоприятствует как концентрации власти (и, следовательно, инновациям в политике), так и расширению власти (и, следовательно, включению новых групп в состав политической системы). Все однопартийные системы, утвердившиеся в Мексике и Тунисе, Северной Корее и Северном Вьетнаме, так или иначе продемонстрировали обе эти способности. Сходные возможности обнаруживаются в системах, где существуют одна крупная, господствующая партия и множество более мелких, локальных, этнических и идеологических партий. В таких странах, как Индия и Израиль, малые партии играют важную предупредительную роль: рост и падение подаваемых за них голосов показывают господствующей партии те направления, в которых она должна сдвигаться, чтобы сохранять свое господствующее положение путем либо включения новых групп, либо обновления своей политики. Идеологическая установка и электоральное давление вместе побуждают правящую партию к сохранению своих инновационных и ассимиляционных возможностей.

Системы двух или многих соперничающих между собой партий могут характеризоваться высоким уровнем способности расширения и ассимиляции групп, но в меньшей степени способны к концентрации власти и проведению реформ. Политическая конкуренция в двухпартийной системе, к примеру, может способствовать мобилизации новых групп в политическую жизнь и в этом смысле расширению власти системы, но в то же самое время эта мобилизация способствует разделению власти и нарушению существующего в обществе согласия относительно модернизации.

Типичными проявлениями этого были «аграрные (ruralizing) выборы», имевшие место в Турции в 1950 г., на Цейлоне в 1956 г. и в Бирме в 1960 г.[7]. Однако само по себе существование многопартийной системы еще не гарантирует способности к расширению власти. Расширению способствует конкуренция, а не сама множественность, и бывают политические системы, где много партий, но между ними нет соперничества. Даже при двухпартийной системе могут быть приняты меры, явные (как в Колумбии после 1957 г.) или скрытые, для того чтобы ограничить конкуренцию между партиями и тем самым уменьшить возможность расширения власти системы и включения новых групп. Таким образом, способность как традиционных, так и современных систем проводить реформы и инкорпорировать группы зависит от природы существующих в них институтов. Системы современного типа будут обсуждаться в последующих главах книги. Вопрос, который встает перед нами здесь, таков: каковы возможности традиционной монархии с точки зрения расширения и концентрации власти?

Традиционные политические системы

Традиционные политические системы различаются по форме и размеру: сельские демократии, города-государства, племенные королевства, патримониальные государства, феодальные образования, абсолютные монархии, бюрократические империи, аристократия, олигархия, теократия. Все множество традиционных государственных образований, которым пришлось столкнуться с вызовами модернизации, можно, однако, разделить на две большие категории в области политического анализа. «Королевства, известные в истории, — писал Макиавелли, — управлялись двояко: либо государем и его слугами, которые в качестве министров по его милости и с его изволения помогают в управлении государством; либо же государем и баронами, которые занимают свое положение не по изволению правителя, а в силу древности своего рода». Макиавелли указывал на турок как на пример первого и на французское государство его дней как на пример последнего. Моска проводил более или менее сходное различие между бюрократическими и феодальными государствами. «Феодальное государство» — это «такой тип политической организации, при котором все исполнительные функции общества — экономические, судебные, административные, военные — осуществляются одновременно одними и теми же индивидами и при этом государство состоит из небольших общественных образований, каждое из которых обладает всеми органами, требуемыми для самодостаточности». В бюрократическом государстве «центральная власть аккумулирует значительную часть общественного богатства посредством налогообложения и использует ее для содержания прежде всего военных учреждений, а затем большего или меньшего числа государственных служб». Аналогичным образом Аптер проводит различие между иерархическими и пирамидальными властными структурами[8]. Ключевым элементом в этих разграничениях выступает степень концентрации или рассредоточения власти. В качестве двух традиционных исторических форм государственности, которые могут служить наиболее типичными примерами, можно рассматривать бюрократическую империю, с одной стороны, и феодальную систему, с другой.

В централизованном бюрократическом государстве монарх, как утверждал Макиавелли, обладает большей властью, нежели в феодальном государстве. В первом он прямо или косвенно назначает всех должностных лиц, тогда как в последнем должности и власть передаются по наследству среди аристократии. Бюрократическое государство поэтому характеризуется значительной социальной и политической мобильностью — находящиеся на низших ступенях могут достигать высших постов, — тогда как феодальное государство значительно сильнее стратифицировано и люди там редко переходят из одного общественного положения в другое. В бюрократическом государстве «всегда существует более высокая степень специализации государственных функций, чем в феодальном государстве»[9]. В бюрократическом государстве существует, таким образом, тенденция к разделению функций и концентрации власти, а в феодальном государстве — к слиянию функций и разделению власти. В бюрократическом государстве вся земля часто является собственностью короля, и на практике именно он осуществляет основной контроль за ее распределением. В феодальном государстве собственность на землю обычно рассредоточена и передается по наследству; монарх едва ли может влиять на ее распределение. В бюрократическом государстве король или император есть единственный источник легитимности и власти; в феодальном государстве он делит эти права с аристократией, чья власть над ее вассалами независима от власти монарха. Сущность бюрократического государства составляет однонаправленность передачи полномочий от вышестоящего к подчиненному; сущность феодального государства составляет двусторонняя система взаимных прав и обязанностей между находящимися на разных уровнях социо-политико-военной структуры. Конечно, в эти две категории невозможно втиснуть все известные традиционые политические системы. И все же традиционные государственные системы характеризуются большей или меньшей степенью концентрации власти, и уже тот факт, что эти категории постоянно встречаются в полити-

ческом анализе, заставляет предполагать, что они обладают вполне универсальной применимостью.

Помимо указанной дифференциации в терминах общей функциональной специализации и распределения власти, традиционные политические системы могут различаться между собой в отношении той роли, которую в них играет монарх. В некоторых государствах, бюрократических или феодальных, роль монарха может быть пассивной. Он царствует, а не правит, но ни суверенитет народа, ни партийный суверенитет как принцип не принимаются, и ни тот ни другой не институциализованы в электоральных процедурах, партийных или парламентских формах. Король остается главным источником легитимности, но подлинная власть принадлежит бюрократической или феодальной олигархии, действующей от его имени. Таиланд и Лаос были олигархическими монархиями в середине XX в.; Япония — в XIX и начале XX вв. В других традиционных государствах, бюрократических или феодальных, монарх может играть активную роль. Он не только главный источник легитимности, но к тому же он и царствует, и правит. Правящая монархия — необязательно абсолютная монархия. Правительство может делить реальную власть с другими институтами и группами, но во всех случаях монарх также играет активную, действенную политическую роль в процессе управления. XX в. явил широкий диапазон правящих монархий — от таких, которые приближаются к абсолютистской модели (например, Эфиопия и Саудовская Аравия), до таких, где на монарха наложены некоторые институционные и конституционные ограничения (например, Иран и Афганистан), и, наконец, таких, где могут иметь место активное соперничество и сотрудничество между монархом, с одной стороны, и армией, парламентом и политическими партиями, с другой (Марокко, Греция).

Таблица 3.2. Традиционные политические системы

Политическая структура	Роль монарха	
	активная (правящая)	пассивная (олигархическая)
централизованная (бюрократическая)	Римская империя Эфиопия Китай	Корея Япония эпохи Мэйдзи Таиланд
рассредоточенная (феодальная)	Средневековая Европа	Япония эпохи Токугава

И олигархическая монархия, и правящая монархия являются, конечно же, традиционными политическими системами, и их, следовательно, нужно отличать от современных парламентских монархий. В последних монарх царствует, но конечный источник легитимности заключен не в нем, а в народе. Монарх есть глава государства, символ национальной преемственности, идентичности и единства. Реальная власть управления принадлежит кабинету, образуемому политическими партиями и ответственному перед всенародно избранным парламентом. Реальная власть монарха обычно ограничена правом проявлять свою волю при выборе премьер-министра в ситуации, когда ни один из лидеров или ни одна из партий не обладает явно выраженным большинством голосов в парламенте. Речь, разумеется, идет о хорошо знакомой форме конституционной монархии, существующей в Британском Содружестве, Нидерландах, Скандинавии и современной Японии.

Характер изменений, посредством которых в этих политических системах различного типа проводились общественные реформы и осуществлялось включение групп в политическую жизнь общества, можно в полной мере наблюдать на примере эволюции исторических бюрократических империй Европы и Азии (Российской, Османской, Китайской) и эволюции европейских монархий с эпохи Средних веков до конца XIX в. Уроки, которые можно извлечь из такого рода исследования, представляют не только исторический интерес. Дело в том, что опыт традиционных монархий помогает понять многие из проблем политической модернизации, с которыми в менее драматической форме сталкиваются и государства других типов. Кроме того, в современном мире сохраняется еще ряд архаических и довольно-таки экзотических политических систем, в которых носителями легитимности и власти остаются в значительной мере традиционные институты наследственной монархии. Многие из этих монархий существуют сегодня в странах, которые вступают в период быстрых социальных, экономических и культурных перемен. Одна из задач нашего анализа состоит в изучении проблем, которые в процессе модернизации встают перед такими традиционными политическими системами. В какой мере короли суть обреченные реликты уходящей исторической эпохи? Могут ли монархические системы справляться с проблемами модернизации? Какова вероятность политической эволюции таких режимов в направлении демократии, диктатуры или революции?

В 1960-е гг. пятнадцать из существовавших с мире суверенных государств были правящими или олигархическими монархиями; остаточные формы племенных монархий сохранялись также в Уганде, Бурунди, Лесото и, вероятно, в других странах Африки. Среди ведущих стран мира тради-

Таблица 3.3. Типы существующих монархий

	Традиционные		Современные
	правящие	олигархические	парламентские
Основная функция монархии	править и царствовать	царствовать	царствовать
Основной источник легитимности	монархия	монархия	народ
Основной носитель реальной власти	монархия, бюрократия, армия и, возможно, партии	армия и бюрократия	кабинет, партии и парламент
Масштабы участия населения в политической жизни	от малого до среднего	малые	широкие

ционных монархий не было, но Иран, Эфиопия и Таиланд имели население по 20 миллионов человек, а всего в условиях политических систем такого типа в мире жило около 150 миллионов человек. В сравнении с другими слаборазвитыми странами монархии в основном стояли невысоко по большинству показателей социального и экономического развития. Правда, в 1957 г. по душевому доходу и богатейшая страна мира (Кувейт, 2900 долларов США), и беднейшая (Непал, 45 долларов США) были правящими монархиями. Но в целом картина была совершенно иной. В восьми из 14 традиционных монархий душевой национальный доход составлял 100 и менее долларов, в четырех от 100 до 200 долларов и только в двух он превышал 200 долларов. Сходным образом, только в двух из 14 традиционных монархий более половины населения были грамотны, при том, что в десяти грамотными были менее 20% населения. В одиннадцати из 14 менее четверти населения жили в городах с населением больше 20 000 человек, а в восьми странах в городах такой величины жило менее 10% населения[10].

При том, что традиционные монархии в типичном случае находились на низких уровнях экономического и социального развития, они в то же время, как правило, меньше страдали от проблем национальной идентичности и национальной интеграции, чем большинство слаборазвитых стран. Правящие монархии либо вовсе не знали колониального правления, либо имели лишь косвенный или кратковременный опыт такого правления. Они обычно располагались в тех регионах, где сталкивались между собой империалистические устремления крупных держав, что создавало ситуацию

взаимного сдерживания, позволявшую этим малым монархическим государствам сохранять свою, хотя и непрочную, независимость. Таиланд оказался между англичанами и французами, Непал между Китаем и Индией, Афганистан и Иран между англичанами и русскими, Эфиопия на перекрестье английского, французского и итальянского империализма. Колониальный опыт Ливии и Марокко был до некоторой степени ограничен соперничеством между Великобританией и Италией, с одной стороны, и Францией и Испанией, с другой. Большинство других традиционных монархий находятся на Аравийском полуострове, на большой части которого отсутствовало эффективное управление как со стороны Османской империи, так и со стороны европейских держав. В некоторых случаях, как, например, в случае Эфиопии, Таиланда и Ирана, можно говорить о непрерывном существовании монархии на протяжении столетий. Хотя на территории некоторых традиционных монархий проживали значительные этнические меньшинства, даже проблемы национальной интеграции решались здесь сравнительно проще, чем в большинстве стран Азии и Африки. Одной из ключевых проблем для традиционных монархий было, таким образом, то, как им сохранить преимущество, которое им давали независимость и национальные институты, в условиях быстрых социальных и экономических изменений и такого роста политической активности населения, которому не отвечали возможности существующих институтов.

Традиционные монархии, таким образом, ставят перед исследователем политического развития интересные проблемы. Более того, их судьба представляет интерес и для действующих политиков. Как следствие исторических условий, связанных с их длительной независимостью, многие традиционные монархии приобретали особое стратегическое значение. В тот или иной период холодной войны в центре оказывались Греция, Иран, Афганистан, Таиланд и Лаос. В Марокко, Ливии, Саудовской Аравии, Эфиопии и Таиланде размещались важные американские базы. Кроме того, большинство традиционных монархий были в холодной войне на стороне Запада. США были поэтому очень небезразличны к их будущему политическому развитию. Приход на смену их политическому строю революций, хаоса, нестабильности или радикальных националистических режимов очевидным образом меньше соответствовал американским национальным интересам, чем мирная эволюция монархий. Наконец, хотя традиционные монархии в целом не богаче и не беднее природными ресурсами, чем другие развивающиеся страны, они играют ключевую роль в производстве одного из важнейших ресурсов современной экономики. От одной пятой до четверти мировой нефти поступает из стран, где монарх и правит, и царствует.

Политическая инновация: реформа или свобода

Традиционные монархии в сегодняшнем мире редко — если вообще когда-нибудь — являются монархиями традиционалистскими. Монархистские олигархии (такие, как самураи эпохи Мэйдзи, младотурки или тайские «прогрессисты» 1932 г.) — это олигархии модернизаторов, а правящие монархи — это монархи-модернизаторы. Модернизация проредила ряды монархов, но привела к тому, что доля монархов-сторонников модернизации сейчас выше, чем когда-либо прежде. С большой вероятностью можно утверждать, что эти правители в большей мере содействуют реформам и переменам, чем менее традиционные националистические лидеры, пришедшие к власти в результате отступления западного империализма. Последние могут претендовать на легитимность современного типа и потому могут позволить себе уделять больше внимания тем преимуществам, которые дает обладание властью. Традиционная легитимность первых, напротив, в большей мере может ставиться под вопрос. Они должны подтверждать свои права добрыми делами. Поэтому они становятся революционерами сверху. Поступая так, они, разумеется, воспроизводят хорошо знакомые нам образцы монархов-централизаторов и строителей наций Европы XVII–XVIII вв. и разнообразных деятелей XIX в., таких, как Махмуд II, Александр II, Чулалонгкорн и Тэвонгун*.

Если формы монархических инноваций и централизации остаются на протяжении веков и культур поразительно сходными, то основные побуждения и мотивы, стоящие за этой политикой перемен, с годами существенно изменились. Для абсолютных монархий Европы XVII в. основные побуждения к инновациям и централизации были связаны с внешними угрозами и конфликтами. «Оборонительная» модернизация незападных стран в XIX в. была мотвирована подобным же страхом перед иностранным вторжением и завоеванием. Рассредоточение власти и отсутствие модернизационных инноваций были возможны, только если общество оставалось изолированным от внешних угроз. Японский феодализм (как и американский плюрализм) дожил почти до конца XIX в., поскольку «в последние два века эпохи Токугава в Японии совершенно не ощущалось то давление международного соперничества, которое в других случаях становилось двигателем реформ и уничтожения феодализма»[11]. Невозможность сохранить эти условия изоляции породили эпоху Мэйдзи, характеризующуюся централизацией и реформами.

* Чулалонгкорн (Рама V) — король Таиланда в 1868–1875 гг. Тэвонгун — правитель Кореи в середине XIX в.

Аналогичным образом существовавшее в XVIII в. в Османской империи распределение власти между султаном, великим визирем и «тремя великими двигателями государства — армией, бюрократией и духовенством» — не могло сохраняться после появления на Среднем Востоке армий Французской революции. У Селима III и Махмуда II возникло «убеждение, что это распределение власти, взаимовлияние при решении конкретных вопросов стало препятствием на пути османского прогресса перед лицом Запада. Они пришли к убеждению, что условием модернизации является сосредоточение власти в руках султана»[12]. Точно так же Опиумная война стимулировала первые шаги в направлении реформ в Китае; победа Японии над Китаем привела к «Ста дням» 1898 г.; а интервенция западных держав, последовавшая за Ихэтуаньским восстанием, обеспечила поддержку реформ даже со стороны вдовствующей императрицы.

В Иране участившиеся нападения со стороны русских и англичан, а также японская победа над Россией в 1905 г. породили конституционное движение, и политика Реза-шаха после Первой мировой войны была в значительной мере мотивирована желанием сохранить территориальную целостность и независимость своей страны от вмешательства Англии и, возможно, России. В самой России реформы Александра II последовали за катастрофическим поражением в Крымской войне, а столыпинские реформы стали возможны как следствие японской победы в 1905 г. Если династия или монархия как таковая оказывалась неспособной сама осуществить реформы, она могла быть свергнута и заменена новой династией (как в Иране), или же монархия могла быть вообще уничтожена, как в Турции после Первой мировой войны или в Египте после Палестинской войны. Политическая модернизация нередко оказывается, таким образом, итогом военного поражения. И наоборот, успешные модернизация и централизация повышают вероятность военных успехов. В Африке, к примеру, «успешное национальное возвышение» Буганды было связано с централизованным, иерархическим деспотизмом кабаки[13].

Для традиционных монархий XX в. соображения безопасности, без сомнения, также имели большое значение. Но еще более важным было, пожалуй, признание необходимости модернизации по внутриполитическим соображениям. Главную угрозу для стабильности традиционного общества представляет не вторжение иностранных армий, а вторжение иностранных идей. Печатное и устное слово перемещается быстрее и проникает глубже, чем полки и танки. Опасность для традиционных монархий XX в. проистекает не извне, а изнутри. Монарх вынужден модернизировать свое общество и пытается его изменять, движимый страхом, что, если он не будет этого делать, это сделает кто-то другой. Монархи XIX в. осуществляли

модернизацию, чтобы сдержать империализм; монархи XX в. осуществляют модернизацию, чтобы сдержать революцию.

Приоритетные для традиционной монархии направления инновации зависят от типа традиционного государства. В бюрократическом государстве власть уже является централизованной, и основная проблема состоит в том, чтобы превратить традиционную бюрократию в опору модернизационных реформ. В феодальной системе или другом традиционном обществе, где власть широко рассредоточена, необходимым предварительным условием политической инновации является централизация власти. Основная борьба разворачивается между монархом и его бюрократическим аппаратом, с одной стороны, и автономными центрами традиционной власти, местными, аристократическими и духовными, с другой. Эффективность оппозиции монарху обратно пропорциональна степени бюрократизации общества. Для проведения модернизационных реформ монарх должен с неослабевающим усердием осуществлять централизацию. Усилия европейских монархов XVII в., по большей части успешные, были направлены на то, чтобы покончить со средневековой рассредоточенностью власти, упразднить провинциальные собрания и установить светский контроль над церковью. По этому же пути пошли незападные монархии, испытавшие западное влияние. Махмуда II справедливо назвали Петром Великим Османской империи. «Первым условием решения этой задачи, как понимал Махмуд, было сосредоточение власти в его собственных руках и упразднение всех промежуточных уровней власти, как в столице, так и в провинциях. Всякую власть, получаемую по наследству, по традиции, по обычаю или в силу общенародного или местного признания, следовало подавить, и единственным источником полномочий в империи должна была стать власть суверена». Точно так же и в Эфиопии XX в. главная цель Хайле Селассие состояла в том, чтобы «раз и навсегда уничтожить частичную автономию могущественных провинциальных нобилей и сделать себя средоточием власти и престижа в степени, дотоле никогда не имевшей места в Эфиопии»[14].

Часто модернизация требует не только перехода власти от региональных, аристократических и религиозных групп к центральным, светским, общенациональным институтам, но и сосредоточения ее в руках одного человека в рамках этих институтов. Монарху приходится отстаивать права государства и нации против притязаний семьи, класса и клана. «Рождение» современного государства во Франции в тот день, когда Людовик XIII отверг семейные притязания королевы-матери в пользу Ришелье и представляемых им государственных интересов, было повторено в большинстве монархий XX в. Рождение современного государства в Афганистане можно датировать 12 марта 1963 г., когда король Мухаммед Захир-шах сместил своего двоюродного брата Мухаммеда Дауда с поста действующего правителя страны и запретил на будущее членам королевской семьи участвовать в политике. Современное государство в Саудовской Аравии может отсчитывать свое существование с 20 марта 1964 г., когда приход принца Фейсала на место короля Сауда утвердил, по существу, приоритет общественных задач и государственных интересов перед запросами семьи и рода; огромные личные расходы короля, его детей и родственников были сокращены с 15 до 6% национального бюджета, а сэкономленные средства пущены на развитие образования, связи и общественного благосостояния. Этот переход власти сопровождался интенсивной политической борьбой между Фейсалом и Саудом, борьбой, которая расколола королевскую семью и едва не привела к открытому насилию.

Приоритетные направления проводимых монархами реформ различаются в разных странах. Ни один монарх не начинает реформы в полностью традиционном обществе, и в большинстве стран, где модернизация осуществляется таким образом, она требует череды сменяющих друг друга монархов-модернизаторов. Необходимой предпосылкой реформ является, однако, консолидация власти. Поэтому в первую очередь внимание уделяется созданию эффективной, лояльной, рационально организованной и централизованно управляемой армии. Вооруженные силы должны быть едиными. Всем другим реформам Махмуда II предшествовало уничтожение им института янычар. Аналогичным образом и Менелик в Эфиопии, и Реза-шах в Иране первым делом занялись созданием централизованных вооруженных сил. На втором месте по приоритетности стоит обычно создание более эффективной правительственной бюрократии. Если в традиционном государстве уже имеется многочисленная бюрократия с некоторой функциональной специализацией и отбором кадров в соответствии с традиционными критериями, то проблема реформирования такой бюрократии может оказаться очень трудной. По этой причине реформы в централизованных бюрократических империях (например, в Российской, Китайской и Османской) осуществлялись с большими трудностями и в меньших масштабах, чем в странах с феодальным общественным устройством, где административные структуры приходилось создавать с нуля. В тех обстоятельствах, которые существовали в европейских абсолютных монархиях, у монарха была возможность привлекать новых людей и извлекать преимущества из социальной и политической мобильности. Короче говоря, переход от традиционной аскрипции к современной системе отбора по достижениям легче, чем переход от системы отбора в соответствии с традиционными критериями достижений к системе современного отбора по достижениям.

Военная и административная реформы дают как стимулы, так и средства для осуществления изменений в обществе. Возросшая активность правительства требует более радикальной реорганизации фискальной системы и введения новых, косвенных, налогов и пошлин. За этим обычно следуют изменения в законодательстве, ускорение экономического развития и индустриализации, рост транспортных и коммуникационных сетей, совершенствование общественного здравоохранения, количественный и качественный рост образования, изменения в общественных нравах (в таких областях, как роль женщин в обществе) и шаги в направлении секуляризации и исключения влияния религиозных учреждений на государственные дела. Осуществление такого рода изменений очевидно требует терпения и упорства. В большинстве стран периоды интенсивных реформ чередуются с периодами затишья или даже традиционалистских контрреформ. Традиционному реформатору еще в большей степени, чем реформатору общества современного типа, следует действовать неторопливо, если он вообще хочет добиться успеха. Если старый режим уже свергнут, то в обществе обычно преобладают настроения, сочувственные в отношении реформ.

В традиционном же обществе монарх-реформатор очевидно находится в меньшинстве. Следовательно, действовать слишком быстро и слишком решительно значит мобилизовать оппозицию и превратить ее из скрытой в открытую. Сто дней Гуансюй* в 1898 г. являют собой драматический пример того, как попытка достичь всего сразу ведет к скорому концу всего начинания. В чем-то сходный и столь же безуспешный пример имперского утопизма можно видеть в лице «императора-революционера» Иосифа II, который в период 1780–1790 гг. попытался осуществить во владениях Габсбургов практически все те же реформы, которые революция позднее принесла Франции. Он начал наступление на церковь и подчинил ее своей власти, запретив монашеские ордена и конфисковав их собственность, передал заботу о бедных из рук церкви в руки государства, провозгласил терпимость в отношении протестантов, перевел решение брачных дел в ведение гражданских судов и включил духовенство в состав государственной бюрократии. Он ввел равную ответственность за преступления для дворянства и простолюдинов. Он открыл доступ на гражданскую службу для буржуазии и в армию для евреев. Он начал наступление на крепостное право, объявив, что каждый крестьянин должен быть гражданином, предпринимателем, налогоплательщиком и потенциальным солдатом. Крестьянам следовало гарантировать владение землей с правом свободно продавать и закладывать ее. Он хотел ввести единый налог на землю, так чтобы он был одинаковым для всех землевладений «вне зависимости от принадлежности владельца к сословию или ордену». За пять месяцев до взятия Бастилии он издал революционный декрет, согласно которому крестьяне должны были стать собственниками своей земли, оставлять 70% доходов себе и платить 18% бывшим владельцам и 12% государству[15]. Таким образом, в Австро-Венгрии была предпринята неудачная попытка революции сверху еще до того, как во Франции началась революция снизу.

* Сто дней Гуансюй, или Сто дней реформы, — период умеренных реформ в конце XIX в. в Китае. Начался 11 июня 1898 г. с издания императором Цзай Тянем (Гуансюй) указа «Об установлении основной линии государственной политики». Окончился переворотом вдовствующей императрицы Цыси 21 ноября того же года.

Основными политическими силами в традиционном обществе обычно являются монарх, церковь, землевладельческая аристократия и армия. Если государство сильно бюрократизировано или находится на пути к этому, то ключевую роль начинают также играть гражданские чиновники. В процессе модернизации появляются новые образования, в первую очередь интеллигенция, затем коммерческий или предпринимательский слой, затем профессиональные и менеджерские группы. По мере развития процесса может сложиться городской рабочий класс, и, наконец, крестьянство, остававшееся за пределами политического целого, также становится политически сознательным и активным. Перед монархом, пытающимся реформировать традиционное общество, стоит проблема — как установить и поддерживать благоприятное равновесие между этими общественными силами. На начальных этапах модернизации преобладающую роль играют духовенство, землевладельцы, военные и бюрократия. Успех монарха во многом зависит от того, насколько он сможет завоевать поддержку последних двух в борьбе с первыми двумя силами. Насколько монарх остается зависимым от поддержки церкви и аристократии, настолько его возможности в деле проведения реформ будут ограниченными. Если церковь является неотъемлемой частью традиционного общественного устройства, успех монарха зависит от его способности распространить на церковь свое влияние, обеспечить свой контроль над формированием кадров духовенства и его финансами. Если это удается, как в Османской империи и в Эфиопии и Марокко XX в., то конфликт между церковью и монархом будет с большой вероятностью приглушен и отсрочен. Церковь в этом случае будет выполнять функцию, в чем-то подобную функции армии: она будет источником традиционной лояльности к институту монархии, несмотря на несомненную оппозицию ее высших руководителей к политике, проводимой монархом. С другой стороны, если церковь и государ-

ство разделены, если церковь обладает автономной иерархией и независимым контролем над землей и другой собственностью, то она с большой вероятностью становится активной оппозиционной силой по отношению к монарху. Землевладельческая аристократия по своей сути независима от монарха и почти неизбежно оказывается в оппозиции к его реформам. Успех монарха, следовательно, зависит от того, насколько ему удастся сформировать бюрократию, имеющую корпоративные интересы, отличные от интересов аристократии, и рекрутируемую хотя бы отчасти из неаристократических элементов населения. Рост деспотизма связан, таким образом, с ростом социальной и политической мобильности.

Основной политический водораздел в монархии, осуществляющей модернизацию, проходит, таким образом, между монархом и его бюрократической опорой, с одной стороны, и оппозиционными духовенством и аристократией, с другой. Целью последних является сохранение традиционного общества и своих привилегированных позиций внутри этого общества. В борьбе за достижение этой цели их интересы, сколь бы традиционными и консервативными они ни были, побуждают их к принятию и выражению современных ценностей свободы, конституционализма, представительной системы правления в противоположность целям реформы и централизации, которым подчинена деятельность монарха. С этим связана классическая дилемма первой фазы политической модернизации: традиционалистский плюрализм против модернизирующего деспотизма, свобода против равенства. Р.Р. Палмер суммировал эту дилемму в своем описании бельгийского восстания 1787 г. против модернизационных реформ Иосифа II:

«Выбор был ясен. Это был выбор между общественными переменами и конституционными свободами. Реформа могла быть осуществлена ценой торжества произвола над выраженной волей и историческими институтами страны. Либо же свобода сохранялась ценой сохранения архаических установлений в области привилегий, собственности, особых прав, классовой структуры и церковного вмешательства в дела государства... Это была революция против инноваций правительства, осуществляющего модернизацию, — иначе сказать, революция *против* Просвещения. В этом отношении она была вполне типичным явлением своего времени»[16].

Все то, что можно было наблюдать во владениях Габсбургов в XVIII в., повторилось в империи Романовых и Османской империи в XIX в. Когда в конце 1850-х гг. Александр II предложил освободить крепостных, ответом ему были предложения дворянства о созыве национального собрания. Эти попытки ограничить императорскую власть были поддержаны «как олигархами, стремившимися усилить влияние дворянства, так и подлинными сторонниками конституционализма...». Александр II энергично настаивал на отмене крепостного права, но отказывался от созыва собраний на том основании, что они приведут к «установлению в стране олигархической формы правления». Как утверждает У. Мосс, царь и его чиновники в министерстве внутренних дел были более надежными защитниками интересов крепостных, чем «любое выборное собрание, которое можно вообразить в России того времени. Легко представить, что сталось бы с освобождением крестьян, если бы этот вопрос решался в «конституционном» собрании, где большинство было бы у «плантаторов» и их друзей»[17]. Здесь мы поистине имеем дело с таким случаем, когда деспотизм «оказывается освободительной силой, которая, «разбивая оковы обычая, тяжелым ярмом лежащие на дикаре», может расчищать путь для более развитых институтов, для более широкого и разнообразного поля человеческой деятельности»[18].

В Османской империи на смену Махмуду II в 1839 г. пришел султан Абдул-Меджид, провозгласивший новый период реформ, так называемый Танзимат. Эти реформы породили в конечном счете конституционалистскую оппозицию «новых османов», сформировавшуюся, как и большинство оппозиций, в Париже. Ее лидер, Намык Кемаль, вдохновлялся Монтескье и желал заменить османский абсолютизм конституционной системой. Все это звучало либерально и современно. В действительности, однако, Намык Кемаль должен был апеллировать к традиционализму в поисках оснований для ограничения власти султана. По существу, он стал защитником исламских традиций против реформ Танзимата. Он утверждал, что реформы ведут к уничтожению старых прав и привилегий, не создавая новых; что султан должен подчиняться исламскому закону; что в свое время в Османской империи существовали представительные учреждения, которые должны быть восстановлены; и, наконец, что опора старого порядка, янычары, которых упразднил в 1826 г. Махмуд II, были на самом деле «вооруженным консультативным собранием нации»[19]. Что за удивительное сочетание современного либерализма и традиционного плюрализма! «Новые османы» осуществили успешное свержение султана в 1876 г. и вынудили его преемника принять конституцию, составленную по образцу бельгийской конституции 1831 г. Эта конституция, однако, просуществовала всего около года. Новый султан Абдул-Хамид II распустил парламент в 1878 г. и восстановил связь деспотизма и реформ.

Конституционалистское движение в Иране на рубеже веков также сочетало в себе традиционализм и либерализм. В 1896 г. на иранский трон взошел новый монарх, не имевший престижа своего предшественника. Кроме того, многие персы уже ездили за границу и усвоили идею ограни-

ченной власти. В 1906 г. в стране внезапно вспыхнул мятеж, и шах был вынужден даровать конституцию, которая, так случилось, тоже была составлена по образцу бельгийской конституции 1831 г. И опять те силы, которые, объединившись, произвели этот сдвиг в сторону конституционализма, представляли собой пеструю комбинацию, включавшую на либеральном фланге студентов, торговцев, интеллектуалов, а на традиционалистском фланге — племенные группы, религиозных лидеров и цеховые корпорации. Иранская конституция оказалась более успешной, чем османская; она действует и сегодня*. Но ее влияние менялось обратно пропорционально темпам осуществления модернизации и реформ. В 1920-е и 1930-е гг. Реза-шах задумывался о соблюдении конституции в своей деятельности по модернизации страны. Аналогичным образом самая значительная из реформ, предпринятых его сыном Мохаммедом, земельная реформа 1961–1962 гг., смогла осуществиться лишь после того, как шах перестал соблюдать конституцию и избавился от парламента.

Откуда же может черпать поддержку монарх-модернизатор в деле проведения реформ и преодолении либерально-консервативной оппозиции? Перед ним стоит деликатная проблема. Политика монарха носит реформаторский характер, но сам институт монархии глубоко традиционен. Подобно тому как его оппоненты числят в своих рядах и традиционалистов-плюралистов, и конституционалистов современного толка, и монарх, осуществляющий модернизацию, должен пополнять ряды своих сторонников из числа как модернизаторов, так и традиционалистов. На практике монарх-модернизатор может рассчитывать на поддержку из четырех источников, три из которых находятся внутри общества, а один — вне его.

Первым и наиболее важным источником поддержки является, разумеется, государственная бюрократия. Бюрократия — естественный враг аристократии, и, контролируя бюрократию, монарх может ставить на влиятельные посты людей из неаристократических общественных групп. Обычно, однако, он не может делать этого в массовом порядке, не подрывая авторитет бюрократии и не провоцируя более упорное и открытое сопротивление со стороны аристократии. Он может продвигать индивидов, но не общественные группы. Вместо этого ему приходится сочетать в составе своей бюрократии новых людей со старыми, чтобы она сохраняла престиж последних, осуществляя в то же время политику первых. Важнейшей составной частью бюрократии является, конечно же, офицерский корпус. Во многих случаях, как это было в Османской империи, офицеры имеют общие с монархом устремления. В других случаях, как в Иране

* До провозглашения Исламской республики и принятия конституции 1979 г.

и Эфиопии, преобладающая часть офицерского корпуса может придерживаться в основном традиционалистских ценностей, но по этой самой причине сохранять верность монарху как традиционному источнику авторитета. Во всяком случае, реальная власть монарха в большой мере зависит от его армии и от того, насколько интересы армии и трона сознаются как тождественные.

Целеустремленный монарх и эффективная бюрократия могут оказать существенное воздействие на традиционное общество. Редко, однако, их сил хватает для проведения значительных реформ. Они нуждаются в поддержке со стороны других групп. В Западной Европе классическим источником такой поддержки был, как известно, средний класс: новая финансовая, торговая, а потом и промышленная буржуазия. Между тем во многих обществах средний класс не настолько силен, чтобы от него можно было ждать существенной помощи. Огромная проблема, с которой столкнулся император-революционер, состояла в том, как указывает Палмер, что позиция Иосифа «не была выражением каких-либо общественных чаяний, за ней не стояли никакие заинтересованные группы, которые бы имели сформулированные идеи и навыки совместного действия. Его сторонниками были только его собственное окружение и чиновники»[20]. Во владениях Габсбургов просто не было многочисленного среднего класса, который мог бы оказать монарху действенную поддержку. Во многих модернизирующихся монархиях традиции этатизма, при которых государственная служба является предпочтительной карьерой для элиты из коренного населения, препятствуют формированию автономного среднего класса. Коммерческие и финансовые функции выполняют этнические меньшинства — греки и армяне в Османской империи и Эфиопии, китайцы в Таиланде, — которые, соответственно, не могут служить серьезным истолчником политической поддержки.

Кроме того, даже в тех случаях, когда существует средний класс, состоящий из представителей коренного населения, он может становиться источником оппозиции к монарху. В XVIII в. Вольтер и новый средний класс могли с энтузиазмом относиться к «добродетельному» деспотизму. Это было еще до наступления эры народного суверенитета и политических партий. В идеологии же и восприятии интеллектуалов и среднего класса XX в. даже самый добродетельный деспотизм предстает как феодальный анахронизм. Монархия просто-напросто не в моде в кругах среднего класса. Как бы они ни поддерживали социальную и экономическую политику монарха-модернизатора, они против монархии как института. Они — противники тех ограничений, которые монарх-модернизатор налагает на свободу коммуникаций, выборов и парламентской деятельности, и они с неизбеж-

ностью воспринимают проводимые им реформы как недостаточные и слишком запоздалые, как подачку, призванную скрыть упорную приверженность сохранению существующего положения дел. Поэтому, например, в такой стране, как Иран, городской средний класс не только не поддерживает монархию в ее политике модернизации, но наряду с традиционалистским духовенством является ее злейшим врагом. Обычно при этом оппозиция среднего класса превосходит своей интенсивностью оппозицию любой другой общественной группы.

Третьим потенциальным источником поддержки могут стать массы населения. Короли обычно популярны, во всяком случае, более популярны, чем местные аристократы и феодалы-землевладельцы. Многие из реформ, предлагаемых монархами, благоприятны для больших масс населения, городского и сельского. В 1860-е гг. в Корее Тэнвонгуну удалось получить поддержку низших классов и других ранее угнетенных групп в отношении его усилий, направленных на централизацию власти и проведение модернизационных реформ. В Буганде олигархия племенных вождей регулярно пыталась ограничить власть каждого нового монарха. Но «всякий раз кабака обращался через головы вождей и администрации к народу, и ему удавалось добиться народной поддержки в отношении традиционной идеи всевластного короля»[21]. Завоевание и удержание такой широкой поддержки связано, однако, со многими проблемами. Обращение к массам, с гораздо большей вероятностью, чем обращение к буржуазии, может спровоцировать резкую оппозицию традиционной элиты — в соответствии с тем общим принципом, что группы «своих» с большей готовностью принимают в свои ряды новые группы, чем старые группы «отверженных». Во-вторых, страхи аристократов могут оказаться оправданными: обращение к массам может зайти слишком далеко и крестьяне могут овладеть ситуацией. Иосиф II столкнулся с этой проблемой, когда крестьяне отреагировали на его радикальную аграрную реформу отказом работать и платить налоги или ренту кому бы то ни было, поджогами домов и поместий и физическим насилием в отношении своих бывших помещиков. В-третьих, хотя массы вполне способны на спонтанные вспышки насилия, они редко могут оказывать длительную, организованную политическую поддержку, а у монарха мало возможностей для организации широких народных объединений. Наконец, очень часто массы не разделяют целей монарха. По определенным экономическим вопросам, таким, как аграрные реформы, несущие крестьянам очевидные выгоды за счет земельной аристократии, совпадение интересов имеет место. Долгосрочная стабильность монархии, как это сознавали Столыпин и Амини, вполне может зависеть от ее способности мобилизовать крестьянскую поддержку посредством таких реформ. Но по многим другим вопросам, таким, как правовая реформа, секуляризация, перемены в обычаях и даже образование, крестьянские массы могут стоять на очень традиционалистских позициях и вполне могут присоединиться к традиционным элитам, таким, как духовенство или местные помещики, в сопротивлении модернизаторской политике монарха.

Четвертым потенциальным источником поддержки является иностранная держава или любое другое образование, находящееся вне политической системы. Для монарха-модернизатора, являющегося чужаком в собственной стране, это может быть крайне нежелательным, но необходимым источником поддержки. Поддержка США была какое-то время неотъемлемым элементом той коалиции, на которой держалась власть иранского шаха. Здесь можно отчетливо видеть роли и взаимодействие различных социальных сил. Оппозиция шаху исходила от националистического среднего класса и традиционного духовенства. Основной же его опорой были армия, бюрократия и США. Первоначально земельная аристократия также была на стороне монархии. Однако после кризиса 1961 г. правительство стало считать существовавшую оппозицию со стороны помещиков меньшей угрозой, чем потенциальная оппозиция со стороны крестьянства. В сущности, правительство пыталось перестроить коалицию своих сторонников, вовлечь в политику новые общественные силы, такие, как мелкие землевладельцы и крестьянство, которые бы обеспечили ему массовую опору и уменьшили его зависимость от служб безопасности и США. В Иране иностранная поддержка была ценой, которую платил монарх-модернизатор за то, чтобы выиграть время, необходимое для завоевания более широкой поддержки со стороны собственного народа.

Но поддержка извне ставит под угрозу также способность монарха извлечь выгоду из того, что в долгосрочной перспективе может оказаться самым мощным вдохновляющим фактором для всех групп общества, — из национального чувства. Выживают монархии, идентифицирующие себя с народным национализмом; погибают же те, что остаются приверженными в большей мере традиционным ценностям, классовым и семейным интересам, нежели интересам и ценностям национальным. Судьба правителей многонациональных империй, таких, как Османская и Австро-Венгерская, может служить тому подтверждением. Соответственно, и династии иностранного происхождения, такой, как маньчжурская*, трудно идентифицировать себя с нарождающимся духом национализма — как в силу самого иностранного происхождения, так и из-за ее неспособности защищать

* Династия Цин в Китае (1644–1911 гг.).

страну от других иноземных вторжений. В Японии же, наоборот, трон стали идентифицировать с утверждением национализма и новыми военными и промышленными программами, направленными на укрепление национальной независимости, и была разработана государственная религия синто, призванная служить связующим звеном между новым патриотизмом и старыми имперскими ценностями.

В Иране Реза-шах в 1920-е и 1930-е гг. сумел сделать себя институциональным воплощением иранского национализма, противостоящего иностранному влиянию. Кризис монархии в 1940-е гг. и начале 1950-х во многом проистекал из того факта, что его сын оказался неспособным монополизировать иранское национальное чувство. Последнее все больше находило себе выражение в деятельности Национального фронта, направившего свой гнев сначала против русских, потом против англичан и американцев. Когда кризис достиг апогея, некоторую — возможно, решающую — роль в сохранении шаха на троне сыграли иностранная помощь и интервенция. Цена, которую пришлось заплатить, это рост националистической оппозиции монарху в рядах среднего класса и реакционно-националистических групп. В десятилетие после 1953 г. шах предпринял большие усилия, чтобы противопоставить «негативному национализму» Моссадыка и Национального фронта свой «позитивный национализм». Но многие группы по-прежнему испытывали чувство, что монарх в какой-то мере недостаточно предан нации, которой он управляет. С точки зрения обретения поддержки в собственной стране монарху, пожалуй, предпочтительней быть свергнутым иностранной державой, нежели удерживаться на троне благодаря ее поддержке. Высылка французами и англичанами султана Марокко и бугандийского кабаки в конце колониальной эпохи сделала возможным последующее возвращение этих монархов на их троны при горячей поддержке подавляющего большинства народа.

Инкорпорирование групп: плюрализм или равенство

«Бюрократическое государство, — пишет Моска, — есть всего лишь феодальное государство, получившее определенное организационное развитие и ставшее в силу этого более сложным»; бюрократическое государственное устройство характерно для обществ, стоящих на более высоком «уровне цивилизации», феодальное государственное устройство — для обществ, находящихся на более примитивном уровне[22]. Это отношение между формой политической организации и уровнем развития представляется достаточно убедительным. В отличие от феодальных государств бюрократические системы имеют более дифференцированные политические институты, более сложные административные структуры, им свойственны большая специализация и разделение труда, большее равенство возможностей и социальная мобильность и преобладание достиженческих критериев над аскриптивными. Предполагается, что все эти характеристики отражают более высокий уровень политической модернизации, чем тот, который наблюдается в государствах с рассредоточенной или феодально организованной системой власти. В то же время централизация власти в бюрократическом государстве повышает возможности этого государства в деле осуществления в обществе модернизационных реформ.

И все же ставить знак равенства между модернизированностью, с одной стороны, и централизацией и способностью проводить инновационную политику, с другой, значит упрощать ситуацию. В действительности чем более «современным» («modern») в этом смысле становится традиционное государство, тем труднее ему адаптироваться к росту активности населения, который является неизбежным следствием модернизации. Может оказаться, что концентрация власти в руках монарха, достаточная для проведения реформ, чрезмерна с точки зрения задачи инкорпорирования общественных сил, высвобождающихся в ходе реформ. Модернизация создает новые группы и новое социальное и политическое сознание у представителей старых групп. Бюрократическая монархия вполне способна привлечь индивидов; больше, чем любая другая традиционная политическая система, она предоставляет возможности социальной мобильности для умных и умелых. Однако индивидуальная мобильность вступает в противоречие с участием группы в политической жизни. Иерархичность и централизация власти, облегчающие для монархии привлечение индивидов, создают в то же время препятствия для рассредоточения власти, необходимого для инкорпорирования групп.

В основе своей эта проблема является проблемой легитимности. Легитимность реформ зависит от авторитета монарха. Но в долгосрочном плане легитимность политической системы зависит от участия в ее функционировании более широкого круга общественных групп. Выборы, парламенты, политические партии суть методы организации такого участия в современных обществах. Но модернизационные реформы традиционного монарха предполагают отсутствие выборов, парламентов и политических партий. И к тому же успех реформ подрывает легитимность монархии. Монархию в традиционном обществе поддерживают обычно группы, лояльные к ней как к традиционному институту, даже если они не одобряют проводимую монархией модернизационную политику. Однако с изменени-

ем общества появляются новые группы, которые одобряют модернизационные тенденции монархии, но радикально не приемлют монархию как институт. Рост политической активности, свойственный традиционным обществам на ранних стадиях их эволюции, благоприятствует традиционным силам. Именно по этой причине монарх стремится ослабить или упразднить традиционные представительства сословий, собрания, советы и парламенты. Успех проводимых им реформ приводит затем к появлению групп, сочувствующих модернизации и жаждущих участвовать в политике, но не имеющих необходимых для этого институционных средств.

Эта дилемма является следствием особенностей монархии как института. Модернизационная политика монарха требует разрушения или ослабления тех самых традиционных институтов, которые могли бы облегчить рост политической активности. Кроме того, традиционный характер монархии как института затрудняет, если не полностью исключает, формирование современных каналов и институтов политической активности. Другие типы элит, действующие через институты иных типов, могут располагать другими возможностями и для осуществления реформ сверху, и для мобилизации поддержки снизу и предоставления более широкого доступа к участию в политической жизни общества. Такими возможностями располагают обычно однопартийные режимы, и, вероятно, в этом кроется одна из причин, почему столь часто на смену бюрократическим режимам, когда их время кончается, приходят режимы однопартийные. Военный правитель также может, осуществив централизацию власти для проведения реформ, столкнуться затем с необходимостью разделения власти и допущения новых групп к участию в политической жизни. У него при этом много больше возможностей, чем у монарха, для организации политической партии, для создания новых структур политической активности (таких, как базовые демократические механизмы) и адаптации к легислатурам и выборам. Монарх-модернизатор является заложником того самого института, который делает возможной модернизацию. Его политика требует расширения политической активности населения, а его институт не допускает этого. Успех ранних этапов модернизации зависит от усиления этого традиционного института, а процесс модернизации постепенно все более подрывает его легитимность.

Кроме того, неспособность монархии адаптироваться к расширяющейся политической активности в конечном счете ограничивает способность монарха обновлять свою политику социальных реформ. Эффективность деятельности монарха зависит от его легитимности, и ослабление последней снижает первую. Успех реформ делает монарха менее склонным к обновлению его политики и более озабоченным сохранением института монархии. Увеличивается разрыв между все более модернизированным обществом и традиционным государственным устройством, которое привело к этому; способный к преобразованию общества, но неспособный к преобразованию себя самого, монарх-родитель оказывается в конце концов жертвой своего модернизированного потомства.

Многие общества являют нам примеры контрастов с точки зрения своей способности к расширению политической активности, так что на одном полюсе мы имеем традиционные государства с высокой степенью централизации власти, располагающие в силу этого возможностями для политических инноваций, а на другом — те, где власть рассредоточена, и они поэтому в меньшей степени располагают такого рода возможностями. В западном мире, как мы видели, централизация власти и модернизационные реформы на континенте были осуществлены раньше, чем в Англии, а в Англии — раньше, чем в Америке[23]. В XVIII в. на французский централизованный деспотизм смотрели как на двигатель реформ и прогресса; только консерваторы вроде Монтескье могли усматривать какие-то преимущества в том, что всеми воспринималось как коррумпированная, лишенная организации и целостности, отсталая политическая система Англии. Но централизация власти под традиционным флагом оказалась препятствием на пути роста политической активности, тогда как страны, где власть оставалась рассредоточенной, располагали большими возможностями для включения новых общественных классов в состав политической системы. В Америке же централизация политической власти происходила еще более медленными темпами, чем в Англии, а политическая активность масс росла и расширялась еще быстрее и легче. Таким образом, страны, бывшие в XVII–XVIII вв. менее современными в политическом отношении, в XIX в. стали более современными.

Аналогичные различия в типах эволюции наблюдаются между Китаем и Японией. В середине XIX в. в Китае имела место намного более высокая степень централизации власти, чем в Японии: первый был бюрократической империей, вторая оставалась в основных своих чертах феодальным государством. Японское общество было в высокой степени стратифицировано и допускало лишь незначительную социальную мобильность; китайское общество было более открытым и допускало перемещение индивидов вверх и вниз по социальной и бюрократической лестнице. В Японии «основным источником авторитета» была, по словам Рейшауэра, наследственность, в Китае же она играла много меньшую роль, и продвижение по ступеням бюрократической системы основывалось на развитой системе экзаменов[24]. Как предполагает Локвуд, наблюдатель, которого в 1850 г. попросили бы оценить потенциал дальнейшего развития этих

двух стран, «без сомнения, поставил бы на Китай». С политической точки зрения «феодальное наследие Японии... способствовало сохранению власти в руках воинского класса, чьи традиционные навыки и привычка господствовать над несвободным народом были сомнительными преимуществами с точки зрения модернизации, чтобы не сказать больше... По контрасту с этим Китай, единственный среди азиатских народов, принес с собой в современный мир традицию эгалитаризма, личной свободы и социальной мобильности, свободной покупки и продажи частной собственности, светского прагматизма и материализма, гуманных политических идеалов, санкционированных правом на восстание, учености как условия занятия общественных должностей»[25].

Однако та же самая феодальная система, которая создавала впечатление отсталости Японии эпохи Токугава в сравнении с цинским Китаем, обусловила социальную базу для роста политической активности и интеграции в рамках политической системы и традиционных кланов, и новых коммерческих групп. В Японии «как следствие феодальных политических институтов потенциальное лидерство было много более широко распространено, не только среди 265 «автономных» княжеств *(хан)*, но даже и среди различных социальных групп с их различными социальными функциями внутри общества. Если одна географическая область или один сектор японского общества не был в состоянии адекватно отреагировать на кризис, вызванный давлением со стороны Запада, это делал другой»[26]. Период между символическим концом феодализма (1868) и организацией первой современной политической партии (1881) был достаточно коротким, чтобы последняя могла возникнуть на обломках первого. Таким образом, в Японии рост и институциализация политической активности происходили одновременно с введением модернизационных инноваций в политике. В Китае же, напротив, конфуцианские ценности и установки замедляли переход политической элиты на сторону реформ, а когда такой переход совершился, централизация власти помешала мирному инкорпорированию социальных групп, порожденных модернизацией.

Пути, которыми шла эволюция в Африке, не слишком отличаются от того, как это происходило в Европе и Азии. Руанда и Урунди, к примеру, — это два традиционных общества, сходных по численности, по географическому положению, со сходной экономикой и сходным этническим составом, а именно и там и там 85% населения составляют племена хуту, а 15% — воины тутси, образующие политическую и экономическую элиту. Основное различие между двумя королевствами касается распределения власти и гибкости социальной структуры. *Мвами,* или король Руанды «был абсолютным монархом, который правил посредством высоко централизованной организации и на основе принципов, позволявших ему эффективно контролировать своих могущественных в военном отношении вассалов». В Урунди же король делил власть с королевским кланом, или *баганва*, члены которого «по праву наследства составляли правящий класс Урунди». В Руанде король мог дарить землю членам королевской семьи, но они «не имели особых прав или полномочий». Что же касается *баганва* Урунди, то они могли поручать своим подчиненным «командование их личными армиями и управление их землями». Не так уж редко эти личные армии, типичным для феодальных порядков образом, могли обращаться против короля. Таким образом, хотя власть короля Урунди и была в теории абсолютной, на практике он был «в отношении *баганва* первым среди равных в децентрализованном государстве». Системы заключения королевского брака и наследования трона в Руанде способствовали «консолидации королевской власти», в Урунди же «ослабляла королевскую власть». Аналогичным образом внешние войны, типичные для Руанды, также «консолидировали королевскую власть, пополняя королевскую казну и тем самым отдавая в распоряжение короля новые земли, коров и другие богатства, которые он мог распределять между успешными вассалами»[27]. В Урунди, напротив, гражданские войны между соперничающими принцами приводят к ослаблению власти короля.

Если Руанда в некоторых отношениях была более консервативной и традиционалистской, чем Урунди, то ясно, что одновременно эта страна была и более централизованной и бюрократической, а Урунди — более децентрализованной и феодальной. Восприимчивость этих двух обществ к социально-экономическим изменениям отражала эти различия. Руандийцы выказывали «более высокие способности к учению, а также больший интерес к европейскому образу жизни и способности к его усвоению — в школьной системе, в области религиозного образования, в реакции на экономические или политические реформы, предлагаемые европейцами». Руандийцы ценили «в европейской культуре предоставляемую ею возможность повысить свой престиж и влияние и склонны были действовать таким образом, чтобы сделать эту культуру возможно более своей». Эти различия в восприимчивости к изменениям являются, как показывает исследование, во многом следствием различия между «в высокой степени централизованной и децентрализованной политическими системами»[28].

В то же время было обнаружено, что в том, что касается способности расширения доступа к политическому влиянию и включению групп в политическую систему, отношение между этими двумя системами является обратным. Более современная и «прогрессивная» Руанда пережила в про-

цессе своего политического преобразования насильственную революцию 1959 г., в ходе которой ранее подчиненные хуту восстали против своих правителей-тутси, перебили несколько тысяч представителей этого племени, свергли *мвами*, образовали республику, где доминирующее положение занимают хуту, и изгнали из страны около 150 000 тутси. Как и в России, Китае и Османской империи, на смену централизованной монархии в Руанде пришел однопартийный режим. В конце 1963 г. набеги партизан-тутси снова вызвали жестокую племенную резню, в ходе которой хуту убили еще примерно 10 000 тутси, остававшихся на территории Руанды, сплавив их тела по реке Рузизи в Бурунди и подвергнув насилию тысячи других. Сообщали, что в Кигали, столице Руанды, повсюду ощущался запах человеческого мяса. «За несколько недель, — писал один из находившихся там европейцев, — Руанда была отброшена на 500 лет в прошлое»[29]. Централизованная, иерархическая, более открытая традиционная политическая система Руанды оказалась, таким образом, способной адаптироваться к социальным и экономическим реформам, но очевидно неспособной обеспечить мирное включение в политическую систему ранее не участвовавших в ней общественных групп. Следствием этого была кровавая революция, в ходе которой к 1966 г. было уничтожено или изгнано из страны около половины более чем 400-тысячного населения тутси.

Политическая эволюция Бурунди едва ли может служить образцом мирного развития. На протяжении четырех лет два премьера были убиты и один тяжело ранен. Но все же насилию были положены пределы, и племенной резни удалось избежать. «Если в Руанде приход к власти большинства потряс самые основания традиционной системы стратификации и прямо угрожал элитарной природе политической системы, то в Бурунди, где расслоение было не столь последовательным, силы традиции и современности существовали в относительном равновесии»[30]. Более слабая, децентрализованная бурундийская монархия вступила в период независимости в качестве конституционной, возникли политические партии — на основе аристократических кланов и не в соответствии с этнической принадлежностью, лидеры страны происходили из обеих племенных групп. Однако напряжения, порожденные независимостью, и впечатления от племенного конфликта в Руанде заставили монарха принять на себя более активную роль в политической системе. Эта тенденция к централизации власти «наряду с ростом политической активности крестьянства не только разрушили прежнее равновесие сил между *баганва*, но и проложили путь для поляризации этнических чувств между хуту и тутси»[31]. На выборах 1965 г. хуту завоевали большинство в парламенте. Король ответил тем, что бросил вызов авторитету парламента и начал более энергично отстаивать свое право не только царствовать, но и править. Эти действия побудили некоторых хуту предпринять в октябре 1965 г. попытку переворота, которая провалилась и повлекла за собой казнь нескольких лидеров хуту. В результате король стал фактически заложником тутси; еще один переворот в июле 1966 г. привел к тому, что на трон был посажен его сын; третий, осенью 1966 г., вообще покончил с монархией и привел к установлению республики, в которой доминировали тутси. В течение, однако, всего этого периода нестабильности Бурунди удалось избежать такого массового кровопролития, которое имело место у соседей, да и сама пережитая ею нестабильность была в какой-то мере следствием резни в Руанде. Невозможность мирного сосуществования тутси и хуту при централизованной системе Руанды очевидна. Возможность их сосуществования при децентрализованной системе Бурунди не доказана, но и не исключена[32].

Различия в политической эволюции этих двух африканских стран находят параллели в аналогичных различиях, характеризующих развитие других стран со сходными политическими системами. В Уганде, к примеру, ньоро сформировали высокоцентрализованную государственную систему, тогда как у их соседей, итесо, такой системы не было, а была весьма широко рассредоточенная структура власти; они, «по западным меркам, существовали в состоянии, близком к анархии». Однако в противоположность ньоро с их более современным типом традиционной системы, итесо много быстрее адаптировались к современным формам организованного участия в политической жизни. Они «быстро отказались от многого в своей традиционной общественной организации и сравнительно быстро адаптировались к новым формам ассоциации»[33].

Аналогичным образом Дэвид Аптер обнаружил, что способность африканских политических систем адаптироваться к модернизации является функцией их традиционных систем ценностей и их традиционных структур авторитета. Общества с потребительскими (consummatory) ценностными системами имеют меньше шансов на успешную адаптацию к современному миру. У обществ с инструментальными системами ценностей характер адаптации во многом определяется иерархическим или пирамидальным характером традиционной структуры авторитета. Иерархическая система с высокой социальной мобильностью, такая, как в Буганде, реагировала так же, как в Руанде, и быстро усваивала современные социальные, экономические и технические практики. Но у такой системы были очень ограниченные возможности для расширения участия населения в политической жизни. Баганда упорно противились организации политических пар-

тий и других институционных форм структурирования такого участия. Они выступили против проведения выборов в 1958 г., поскольку, как объяснял премьер-министр Буганды, «с незапамятных времен баганда не знали никакого правителя, власть которого в их королевстве была бы выше власти кабаки, и никого, кто бы в своей власти не опирался на авторитет кабаки и не действовал от его имени»[34]. Короче говоря, источником власти не может быть народное представительство. В результате Буганда стала отдельным и в каком-то смысле неусвояемым образованием внутри независимой Уганды. Ее представители в центральном правительстве образовали главную оппозиционную партию, Кабака Йекка («Только кабака»), посвятившую себя сохранению авторитета монарха. Во имя достижения компромисса кабаку сделали президентом Уганды, в то время как премьер-министром стал лидер главной националистической партии, Объединенного народного конгресса, черпавшей силу в основном из небугандийских частей Уганды. Со временем, однако, эта попытка примирить современные и традиционные формы власти потерпела крушение. В начале 1966 г. премьер-министр Милтон Оботе сосредоточил власть в своих руках и отобрал пост главы государства у кабаки. Несколькими месяцами позже угандийская армия вступила в Буганду, подавила сопротивление центральному правительству, после кратковременной осады захватила дворец кабаки и отправила его в ссылку, покончив, по крайней мере на время, с традиционной централизованной монархией Буганды. Лидеры Буганды утверждали, что при этом было убито 15 000 их соплеменников. Таким образом, традиционная бугандийская иерархическая монархия оказалась не в состоянии усвоить современные формы политической активности, а современная политическая система Уганды не смогла интегрировать традиционую бугандийскую монархию. «Инструментально-иерархический тип систем», утверждает Аптер, легко поддается обновлению до той поры, пока ничто не угрожает монархическому принципу; когда же такая угроза возникает, вся система объединяется в сопротивлении изменению. Другими словами, такие системы характеризуются высокой сопротивляемостью именно политическим, а не каким-то другим формам модернизации; в особенности неохотно они идут на замену иерархического принципа власти представительным»[35].

Судьбу Буганды можно сравнить с эволюцией существовавшей в Нигерии системы фулани-хауса. Как и в случае Буганды, эта система характеризовалась инструментальной системой ценностей. В отличие от Буганды власть здесь строилась пирамидально. В результате фулани-хауса были намного менее активны в области социальной, экономической и культурной модернизации, чем баганда. Во многих отношениях они оставались глубоко традиционными. Как и баганда в Уганде, фулани-хауса существовали вне основных течений современной националистической политики, формировавшихся в обеих странах в десятилетие, предшествовавшее обретению независимости. В отличие от баганда, однако, фулани-хауса адаптировались к участию в современной политической жизни. Они оказались способными к тому, чтобы «успешно сорганизоваться для участия в современной политической жизни — до такой степени, что стали доминировать практически во всей Нигерии». В начале 1966 г. этому ведущему положению северян был положен конец в результате военного переворота, который возглавили ибо из Восточной Нигерии. В отличие, однако, от угандийского правительства, новое центральное правительство Нигерии не имело ни желания, ни сил для свержения рассредоточенных властных структур на севере, и вместо этого был постепенно выработан ряд компромиссов между центральным правительством и северными властями. Инструментально-пирамидальная система фулани-хауса, по мнению Аптера, «является адаптивной, оставаясь консервативной. Склонные к компромиссу и переговорам, ясно сознающие свои прагматические интересы, фулани-хауса тем не менее нелегко вовлекаются в процессы интенсивного развития или заражаются идеями изменения и прогресса»[36]. Конечно, процесс эволюции далек от завершения, но можно предположить, что севернонигерийские эмиры вполне могут адаптироваться к росту политической активности населения в формах, не слишком отличающихся от того, как это сделала английская аристократия.

Таким образом, все говорит за то, что чем более плюралистична структура традиционной политической системы и чем более рассредоточена в ней власть, тем менее насильственной оказывается ее политическая модернизация и тем легче она приспосабливается к росту политической активности масс. Эти обстоятельства делают возможным возникновение политической системы современного типа, характеризующейся широким участием населения в политической жизни, системы, которая будет скорее демократической, нежели авторитарной. Как бы это ни казалось парадоксальным, дисперсные или феодальные традиционные системы, характеризующиеся жесткой социальной стратификацией и низкой социальной мобильностью, чаще рождают современную демократию, чем более дифференцированные, эгалитарные, открытые и подвижные бюрократические традиционные системы со свойственной им высокой централизацией власти. Опыт Европы XVII–XVIII вв. воспроизводится в Азии и Африке XX в. Системы этого рода — самые современные в период, предшествующий росту политической активности, — испытывают наибольшие трудности в том, что касается последствий этого роста.

Дилемма короля: успех или выживание

В Марокко и Иране, Эфиопии и Ливии, Афганистане и Саудовской Аравии, Камбодже и Непале, Кувейте и Таиланде традиционным монархиям пришлось во второй половине XX в. столкнуться с проблемами модернизации. Перед этими политическими системами встала фундаментальная дилемма. С одной стороны, централизация власти в руках монарха была необходимой для осуществления социальных, культурных и экономических реформ. С другой стороны, эта централизация затрудняла или делала невозможным рассредоточение власти и включение в систему власти традиционного общества новых групп, порожденных модернизацией. Представлялось, что участие этих групп в политике может быть достигнуто лишь ценой упразднения монархии. Перед монархом это ставило серьезную проблему: следовало ли ему становиться жертвой собственных достижений? Можно ли избежать выбора между успехом и выживанием? Или, в более широкой формулировке: существуют ли средства для того, чтобы обеспечить достаточно плавный переход от централизованной власти, необходимой для политического обновления, к распределению власти, необходимому для включения новых групп?

Эта проблема фундаментально связана с отношением между традиционными и современными формами власти. Монарху открыты три возможных стратегии. Он может попытаться ограничить влияние монархической власти и начать движение в направлении современной, конституционной монархии, в которой власть принадлежит народу, партиям и парламентам. Или же могут быть приложены сознательные усилия для того, чтобы сочетать монархическую и народную власть в рамках одной политической системы. Или же, наконец, монархия может сохраняться в качестве основного источника власти в политической системе и стараться минимизировать разрушительное воздействие, оказываемое на нее процессом расширения сферы политического сознания.

Трансформация

В современных конституционных монархиях король царствует, но не правит; источником власти является народное признание, выражаемое посредством выборов, партий и легислатур. Существуют ли какие-нибудь препятствия к тому, чтобы сохраняющиеся правящие монархии — при наличии на то воли самого монарха — трансформировались в царствующие монархии современного типа? Теоретически это возможно, но традиционные монархии, существовавшие во второй половине XX в., почти все были режимами с очень высокой степенью централизации. В числе немногих заметных исключений были Афганистан, где рассредоточенность власти долгое время существовала за счет этнического плюрализма, и Марокко, где колониальное правление породило эксперимент с партиями, уникальный для правящих монархий. История не знает случая, когда бы совершился мирный прямой переход от абсолютной монархии к электоральному режиму с правительством, ответственным перед парламентом, и королем, который бы царствовал, но не правил. В большинстве стран такое изменение предполагало бы передачу легитимности от суверенитета монарха к суверенитету народа, а такие изменения обычно требуют либо времени, либо революции. Современные конституционные монархии развились почти без исключений из феодальных, а не из централизованных традиционных систем правления. «Чем у́же сфера полномочий правителя, — писал Аристотель, — тем дольше сохраняется власть правителя». В Японии, к примеру, император был традиционным источником легитимности, но он практически никогда не правил. Переходы власти от сегуната к олигархии периода Мэйдзи, к партийным режимам 1920-х гг. и к военным хунтам 1930-х — все эти политические перемены получали легитимацию со стороны императора. Пока император не пытался активно править сам, монархическая легитимность не конкурировала с авторитетом народа, партий и парламента, а укрепляла эту власть. «Трудно переоценить, — писал Мендель, — символическое значение института императорской власти в Японии как инструмента легитимизации сравнительно плавных переходов от одного режима правления к другому»[37].

Альтернативой для традиционной правящей монархии является отказ от своих формальных притязаний на легитимность ради удержания действительной возможности править. В 1955 г. Сианук отрекся от камбоджийской короны, передал трон своему отцу, организовал политическую партию, выиграл выборы в парламент и вернулся в правительство в качестве премьера. Когда его отец в 1960 г. умер, конституционная монархия формально сохранилась и на трон взошла королева, но при этом в конституцию было внесено изменение, по которому учреждался пост главы государства, избираемого парламентом, и Сианук был избран на этот пост. Так, в манере, чем-то напоминающей то, как действовала в свое время английская аристократия, Сианук сохранил существо традиционного элитного правления, приспособив его к формам народовластия.

Более обычным, однако, является переход не от правящей монархии к парламентской, а от правящей монархии к олигархической. Монархическая легитимность сохраняется, но реальная власть переходит из рук мо-

нарха в руки бюрократической элиты. Именно это произошло в действительности во время мятежа младотурков в Османской империи в 1908 г., и в последующее за ним десятилетие военная хунта правила страной от имени султана. Революция 1932 г. превратила Таиланд из абсолютной монархии в ограниченную. Олигархия, в которой доминировали военные, правила страной от имени монарха, и при этом внутри самой олигархии происходила регулярная смена кланов посредством ограниченных по масштабам и обычно бескровных переворотов. Этому олигархическому режиму, как и режиму младотурков, был свойствен некоторый рост политической активности сравнительно с тем, что имело место ранее. Он, однако, не создал никаких новых институционных возможностей для абсорбции дополнительных общественных групп. Таиланд по-прежнему не имел политической системы, допускающей расширение своей политической базы, и представлялось вероятным, что события 1932 г., приведшие к свержению абсолютной монархии, повторятся в будущем и приведут к революционному свержению военной олигархии.

Чем более энергично осуществляет свою власть монарх, тем труднее в дальнейшем передать его власть другому институту. Можно предположить, что практически нереально, чтобы монарх-модернизатор, боровшийся за централизацию власти и проведение реформ вопреки сопротивлению сильной традиционалистской оппозиции, ослабил свою хватку и добровольно сменил активную роль на почетную. Вполне естественно для него ощущать себя незаменимым в качестве блюстителя порядка, единства и прогресса в стране, считать, что подданные без него погибнут. Говорят, что однажды на вопрос, почему он не ведет себя как конституционный монарх, шах Ирана ответил: «Когда иранцы научатся вести себя, как шведы, я буду вести себя, как король Швеции»[38]. Столь же сильные патерналистские чувства испытывает, вероятно, и любой другой монарх-модернизатор подобного типа. К тому же в самом обществе возникает ожидание авторитарного монархического правления. Перспектива ослабления этого правления сулит появление соперничающих претендентов на власть и размывание принципов легитимности. Ситуация неуверенности и страха, которая может прийти на место легитимной монархии и королевского правления, может стать сильным источником воодушевления для многих групп, противостоящих изменениям. Если исчезнет авторитет королевской власти, что другое сможет связать воедино сообщество? В крайнем случае существование сообщества может оказаться полностью обусловлено авторитетом монархии.

Отчасти по этой причине успешному переходу от правящей монархии к конституционной могут способствовать такие случайные события,

как рождение, болезнь или смерть, показывающие, что авторитарное осуществление монаршьей власти не является необходимым условием политической стабильности. Своевременное появление монарха, потерявшего рассудок, короля-ребенка или принца-плейбоя может сыграть ключевую роль для сохранения институционного преемства. Безумие Георга III (если оно имело место) весьма содействовало успеху конституционной эволюции Великобритании. Модернизации Японии помогло то, что императору Муцухито (Мэйдзи) было 15 лет, когда была «восстановлена» его власть. Точно так же переход от абсолютной к ограниченной монархии в Таиланде был облегчен тем обстоятельством, что король Рама VII Прачатшок был достаточно пассивным и неэффективным правителем, который легко смирился с революцией 1932 г., а тремя годами позже отрекся от престола, передав его шестнадцатилетнему школьнику. Переход от правящей монархии к монархии царствующей облегчился бы в Иране и Марокко, если бы Мохаммед-шах и Хасан II отреклись от престола или умерли до того, как их дети достигли зрелости. В 1960-е гг. наследный принц Эфиопии был довольно слабым, покладистым парнем, вполне готовым принять ограниченную, конституционную форму правления, вступив на престол. Но было в то же время известно, что он озабочен тем, чтобы интенсифицировать процесс осуществления реформ, замедлившийся в конце 1950-х, — задача, решение которой требовало концентрации власти в руках правителя. После вступления на престол ему, таким образом, пришлось бы выбирать между отдаленными политическими преимуществами пассивности и текущей социальной необходимостью активизма. Практически универсальный опыт как самой Эфиопии, так и других стран подсказывает, что последнее обычно перевешивает.

Сосуществование

Если модернизация неизбежна, то как можно смягчить неблагоприятные последствия расширения участия населения в политической жизни? Существуют ли причины, по которым невозможно сочетание монархической формы правления и партийного принципа формирования правительства, институциализация конкурентного сосуществования двух независимых источников власти? Подобный компромисс может существовать на протяжении длительного периода времени — как это и было в имперской Германии в течение почти полувека, но отношения всегда будут оставаться нелегкими. Напряжения, существующие внутри такой системы, либо действуют в направлении превращения монарха всего лишь в сим-

вол, либо же побуждают его к усилиям, направленным на ограничение экспансии политической системы и приуготавливающим конституционный кризис, подобный тому, который имел место в Греции в 1965 г. Не практике в большинстве традиционных монархий, существовавших после Второй мировой войны, другие институты власти были слабы или вовсе отсутствовали. За немногими исключениями везде были того или иного рода законодательные органы; как правило, однако, они были послушными инструментами монархии. Если временами они пытались действовать независимо и утверждать собственный авторитет, обычно это принимало форму попыток блокировать реформаторские инициативы монарха. В Иране парламент существовал в качестве института со времени принятия конституции в 1906 г. и был достаточно энергичным и достаточно консервативным, чтобы Амини настаивал на его роспуске для согласия стать премьером в 1961 г. «В настоящее время, — пояснял Амини, — меджлис есть роскошь, которую иранский народ не может пока себе позволить»[39].

Политические партии были слабы или отсутствовали в большинстве традиционных монархий. В середине 1960-х политических партий не было в Эфиопии, Саудовской Аравии и Ливии. В Непале и Таиланде они были запрещены. Отсутствие у большинства монархий колониального опыта означало отсутствие главного побудительного мотива для формирования народных движений и политических партий. Там, где монархии пережили колониализм, как в Марокко и Буганде, они служили заменителем или конкурирующей силой по отношению к политическим партиям в качестве фокуса националистических настроений. В тех монархических режимах, где существуют политические партии, они обычно представляют собой немногим большее, нежели парламентские клики, не имеющие никакой сколько-нибудь значимой организованной массовой поддержки.

Наиболее яркая попытка сочетать монархические и современные источники власти после Второй мировой войны была предпринята в Марокко. Во многом благодаря колониальному опыту здесь сформировались более сильные политические партии, чем в большинстве стран с правящими монархами. Ко времени обретения независмости в 1956 г. наиболее влиятельной политической партией была Истикляль, основанная в 1943 г. и участвовавшая вместе с монархом в завоевании независимости. На самом деле марокканская система, как писал один политический лидер, не была ни «традиционной, феодальной, абсолютной монархией», ни современной конституционной монархией, где престол играл бы чисто символическую роль. Она была «разновидностью абсолютной монархии, основанной на восстановлении влияния ислама... и предполагающей личную ответственность короля»[40]. С неизбежностью, однако, притязания партии и короля затрудняли, если не вовсе исключали, возможность функционирования кабинета, ответственного перед обоими. Зартман четко суммирует существовавшие в этой связи в Марокко проблемы:

«При формировании первых двух кабинетов министров Мохаммед V попытался создать правительство национального единства с независимым лидером во главе. Оба правительства, однако, пали, поскольку игнорировали как требования партии, так и реальные обстоятельства. Некоторые члены третьего правительства и все члены того кабинета, который пришел ему на смену, были выбраны как непартийные специалисты, что было в согласии с действовавшей системой квазивезирата (quasivizirial)* правления. Но в такой молодой стране, как Марокко, политически ангажировано все и вся и не существует вполне непартийных специалистов. Правительство раздиралось между ответственностью перед королем и ответственностью перед партийными группами, между ролями везиров и министров. Оно тоже пало, поскольку не было ответственным перед политическими группами, которые могли бы сделать его работу невозможной, и поскольку эти группы не были связаны коллективной ответственностью кабинета.

Даже если бы не было такого катализатора, как давление со стороны принца, стремившегося усилить свое влияние, правительство все равно стремилось бы к достижению стабильной ситуации, к превращению в систему везирата или чисто министерского типа, просто для того, чтобы чувствовать себя комфортнее. В противовес партийному давлению в направлении системы второго типа король действовал в противоположном направлении; последнее правительство при Мохаммеде V, его работа после смерти этого короля и последующие правительства при Хасане II были везирскими правительствами, т.е. их члены получали назначение по отдельности и несли индивидуальную ответственность перед королем»[41].

Возможен и такой случай, когда монарх организует собственную политическую партию и пытается институциализовать народную поддержку своего активного правления. После смерти Мохаммеда V в 1961 г. новый король, Хасан II, движимый намерением изменить режим в направлении большей конституционности, провозгласил в 1962 г. конституцию. Основными участниками выборов, прошедших в мае 1963 г. в соответствии с этой конституцией, были Истикляль, Национальный союз народных сил,

* Везир (визирь) — высший сановник, возглавлявший ведомство в средневековой административной системе в Османской империи и других странах мусульманского Востока.

левая Социалистическая партия и партия, по существу, «друзей короля», носившая название Фронт защиты конституционных институтов. Король рассчитывал на то, что Фронт получит работоспособное большинство, он получил только 69 мест из 144.

В США широкий консенсус позволяет президенту работать с Конгрессом, где большинство составляют не только члены оппозиционной президенту партии, но и сторонники противоположной политики. В модернизирующейся стране проблемы глубже, страсти интенсивнее, и в случаях, подобных этому, речь идет о противостоящих друг другу принципах легитимности. Правительство оказалось в тупике, и в июне 1965 г. Хасан разогнал парламент, решив править единолично. Парламент, заявлял он в те дни, «парализован бесперспективными дебатами», парламентское правительство ускорит деградацию системы, требуются «решительные действия». «Страна вопиет о необходимости сильного и устойчивого правительства»[42]. Таким образом, эта попытка совместить монархическое правление и парламентское правительство окончилась неудачей. Последующие события показали, что король может оказаться во все большей зависимости от бюрократии и служб безопасности и стать, возможно, их заложником.

Не более успешными оказались попытки сочетать активность политических партий с правящей монархией и в Иране. Исторически политические партии в Иране были много слабее, чем в Марокко. Однако в конце 1940-х и в 1950-е гг. партия Туде и Национальный фронт набрали достаточную силу и добились достаточной поддержки населения, чтобы блокировать инициативы шаха в меджлисе, а в 1955 г. бросить вызов самому существованию монархии. Восстановив прочность своего престола, шах стал препятствовать развитию партий, которые могли бы стать автономными центрами власти. В конце 1950-х он поддержал образование «двухпартийной системы», состоявшей из правительственной и оппозиционной партий, причем во главе последней встал человек, близкий шаху лично и политически. На выборах 1960 г. шах старался поддерживать кандидатов, которые бы сочувствовали его программе. Однако консервативная оппозиция шаху способствовала возрождению более радикальной националистической оппозиции, и шах был вынужден аннулировать результаты выборов под предлогом коррупции и определяющего влияния на электоральный процесс реакционных элементов. В конечном счете в сентябре 1963 г. шах получил парламент, готовый поддержать его посредством, по существу, прямого назначения кандидатов. Говорят, что на вопросы относительно этого очевидного нарушения обычной демократической процедуры он ответил: «Ну и что? Не лучше ли, чтобы эта [т.е. его] организация сделала это, чем это будет сделано политиками для их собственных целей? Впервые мы

имеем меджлис и сенат, подлинно представляющие народ, а не помещиков»[43]. Таким образом, в Иране монарх подчинил себе парламент и партии, тогда как в Марокко король прекратил их деятельность. Ни в одной из этих стран не оказалось возможным совместить активное монархическое правление с активными автономными политическими партиями. Автономный парламент противостоит проводимым монархом реформам; автономные партии бросают вызов монаршей власти.

В 1950-е и 1960-е годы среди сохранявшихся монархических режимов преобладала тенденция к восстановлению полноты монаршьей власти. В 1954 г. в Иране, как мы видели, Мохаммед-шаху удалось вернуть престолу статус центра власти, а в 1963 г. Хасан II сделал то же в Марокко. В Непале в 1950 г. король Трибхуван лишил власти род Рана, представители которого возглавляли правительство. В 1959 г. его преемник, король Махендра, экспериментировал с парламентской демократией и допустил проведение выборов, на которых большинство в законодательном собрании получила партия Непальский конгресс. Эта попытка сочетания монархической и парламентской властей длилась восемнадцать месяцев. В декабре 1960 г. король совершил переворот, приостановил действие конституции, запретил Непальский конгресс, посадил в тюрьму премьер-министра и других политических лидеров и восстановил прямое королевское правление[44]. В Афганистане в 1963 г. король Захир, как и Трибхуван, сместил сильного премьер-министра и утвердил свою власть, пытаясь, однако, в то же время сохранять конституционный режим. Аналогичным образом в Бутане в 1964 г. король принял на себя всю государственную власть после борьбы с первым семейством страны. Даже в Греции в 1965 г. шла борьба за власть между премьер-министром, который располагал политической организацией, имевшей широкую опору в населении, и монархом — борьба, из которой последний вышел хотя и временным, но победителем. Если в этих случаях мы наблюдали попытки обратить вспять тенденции к рассредоточению власти, то в таких странах, как Ливия, Саудовская Аравия, Иордания и Эфиопия, правящие монархии не обнаруживали никаких признаков ослабления власти или допущения других источников легитимности. Политические требования модернизации, казалось, не оставляли другой возможности.

Поддержание существующего положения вещей

Таким образом, ситуация модернизации в условиях монархического режима не оставляет особых перспектив для существенных изменений в поли-

тических институтах и источниках легитимности. Но, закрывая дорогу таким фундаментальным изменениям, какими же возможностями располагают монархии — и располагают ли — для адаптации и выживания в современном мире? В какой мере правящая монархия может стать жизнеспособным институтом? Эта проблема не нова. Политика Александра II, как отмечает Мосс, «вызывала оппозицию с двух сторон. Реформа не могла не затронуть интересов помещиков, купцов и чиновников; отказ допустить участие общественности в управлении не мог не вызвать недовольства либералов. В правлении Александра сочетались реформы и подавление свободы; это сочетание не удовлетворяло ни одну из влиятельных категорий населения»[45].

Как может монарх справиться с этой проблемой, не жертвуя при этом своим авторитетом? Мыслима, например, такая возможность, как умиротворение либералов за счет включения их в состав правительства; или умиротворение консерваторов за счет воздержания от реформ; или же он может продолжать реформы и при этом усилить репрессии, чтобы подавить оппозицию как либералов, так и консерваторов.

Одной из характеристик централизованной бюрократической монархии современного типа является то, в какой мере она обеспечивает индивидуальную мобильность. Большинство таких монархий в теории и многие из них на практике дают возможность способным людям скромного происхождения подниматься по бюрократической лестнице на самые высокие посты в окружении монарха. Есть ли какие-либо причины, по которым это свойство традиционной монархии не могло бы обеспечить возможность инкорпорирования мобильных индивидов, появляющихся в результате модернизации? На начальных этапах модернизации монарх делает именно это. Назначение сторонников модернизации на бюрократические посты в самом деле необходимо для проведения реформ и является одним из ключевых средств, с помощью которых монарх уменьшает свою зависимость от традиционных элит в составе бюрократии. В 1960-е гг. Фейсал в Саудовской Аравии и Захир-шах в Афганистане утверждали свою власть в противостоянии олигархам-традиционалистам посредством формирования в этих странах кабинетов министров, где руководящая роль принадлежала людям простого происхождения. (Афганистан стал, вероятно, первой в истории страной, где одно время кабинет наполовину состоял из докторов философии.) В Иране после выборов 1963 г. в правительство, возглавленное премьером Хасаном Али Мансуром, влилась новая волна энергичных и прогрессивных специалистов из среднего класса. В Эфиопии после 1945 г. император создал, по существу, «новое дворянство» из старой аристократии, представители которой получили почетные посты, честолюбивых оппортунистов и квалифицированных специалистов[46]. Без сомнения, эти назначения примирили с монархией многих из тех, кто иначе перешел бы в оппозицию.

Однако с прогрессом модернизации эта способность традиционной монархии смягчать недовольство путем поглощения индивидов понижается. Эфиопская система, к примеру, была не в состоянии поглотить значительное количество новой интеллигенции, которая начала появляться после 1955 г. В отсутствие достаточных возможностей для занятия бизнесом и при традиционном презрении к наемному труду бюрократия может просто не располагать достаточными финансовыми и физическими возможностями для поглощения интеллигенции, порожденной процессом модернизации. Решающее значение в этой ситуации приобретают природные богатства, которыми располагает монархия: легко предположить, что поглощающая способность ближневосточных нефтяных стран существенно превосходит такую способность иных государств, менее щедро наделенных природными ресурсами. Кроме того, если некоторые из поднявшихся по бюрократической лестнице полностью идентифицируют себя с системой, предоставившей им возможность роста, то другие могут сохранять весьма двойственное отношение к этой системе. Обычной фигурой для всех традиционных монархий является современный, прогрессивный, образованный бюрократ, мучимый угрызениями совести в попытке найти равновесие между обретенными благодаря своему положению возможностями реформировать систему и теми преимуществами, которые он получает от участия в ней. «От решительных действий, — грустно заметил один эфиопский интеллектуал, — нас удерживали страх и выгоды занимаемого положения»[47].

И наконец, еще одно обстоятельство, ослабляющее эффект от индивидуального инкорпорирования, состоит в том, что, хотя оно может связывать с будущим режима кого-то из числа наиболее активных лидеров среднего класса, оно не создает возможностей для включения в систему групп людей, принадлежащих к среднему и низшему классам, — именно как групп. Влияние этого процесса носит характер отсрочки. В обществе все равно будут появляться новые группы с новыми интересами; высокий уровень индивидуальной мобильности может снизить степень интенсивности и искусности, с которыми предъявляются эти интересы, но не упразднит сами эти интересы. Проблема включения групп в систему сохраняется, хотя, возможно, становится менее острой.

Еще одна возможность для монарха-модернизатора состоит в том, что он может отказаться от модернизации. Дилемма вырастает из его усилий сочетать традиционную форму власти и модернизационные реформы.

Он может избежать дилеммы, если отбросит идею реформы, став, таким образом, монархом-антимодернизатором или традиционалистом. Но может статься, что это только кажется выходом из положения. Теоретически всякое общество может найти собственный вариант соединения традиционных и современных элементов. Борьба партий в демократических модернизирующихся странах придает новые силы традиционалистским движениям. Допустим, монарх-модернизатор может решить свои проблемы за счет того, что замедлит процессы модернизации и реформирования, достигнув согласия с традиционными элементами общества и заручившись их поддержкой в деле создания системы отчасти современной, но не модернизирующейся. Безусловно, монархи могут задавать темп и направление изменений в различных секторах общества таким образом, чтобы снизить риск дестабилизации режимов. Они, к примеру, могут, подобно эфиопскому правительству, сокращать число студентов, обучающихся за границей, и чинить препятствия формированию тесно спаянных студенческих объединений в колледжах страны. Применение такой тактики наталкивается, однако, на определенные трудности. Во-первых, как только процесс модернизации начался — т. е. как только на сцене появляется некоторое ядро интеллектуалов, ориентированных на модернизацию, — трудно, если вообще возможно, этот процесс обратить вспять. Если эти интеллектуалы не включены в состав бюрократии для ускорения реформ монарха-модернизатора, они непременно уйдут в подполье для его свержения. Вдобавок замедление самого процесса реформ хотя и может сократить появление в будущем новых групп, враждебных режиму, будет способствовать усилению враждебности тех групп, которые уже существуют. «Десять лет, даже пять лет тому назад император шел впереди и вел нас за собой, — заметил один молодой эфиоп в 1966 г. — Теперь мы, образованная элита, образованная благодаря установленному им порядку, находимся в первых рядах, а император плетется сзади»[48].

Традиционалистская политика обычно ассоциируется с лидерами скорее изоляционистского, нежели космополитического склада. Традиционалистская монархия требует большей степени отрыва от мировой культуры, чем любой другой тип политической системы, включая тоталитарные системы. Однако традиционный характер ее политических институтов означает, что такую изоляцию она не способна осуществить с той же эффективностью, как система тоталитарная. Могут быть и какие-то другие основания, скажем, внешнеполитические, по которым изоляция может представляться нежелательной. Успех, которого добилось эфиопское правительство, предоставив место в Аддис-Абебе Организации африканского единства и Экономической комиссии ООН по Африке, повышает международный престиж Эфиопии, но в то же время расшатывает политическую стабильность в стране.

Наконец, монарх может попытаться поддержать свою власть, продолжая осуществлять процесс модернизации, но усиливая при этом репрессии, необходимые для того, чтобы держать под контролем как консерваторов, недовольных реформами, так и либералов, недовольных монархическим правлением. Первоначально легитимность монархии основывалась на том, что все общество принимало традиционные представления о власти. По мере модернизации, однако, вновь появляющиеся группы отвергают эти представления, а старые группы отчуждаются от монархии вследствие проводимой ею политики. Модернизация ослабляет поддержку со стороны традиционных классов и рождает больше врагов, чем друзей, среди представителей классов современной ориентации. Встающая перед монархом политическая необходимость вносить раскол в ряды бюрократии, ускорять ротацию кадров в высших эшелонах бюрократии, назначать противников на конкурирующие посты, а фаворитов на ключевые снижает эффективность бюрократии как инструмента модернизации. Такая политика к тому же усиливает отчуждение и враждебность со стороны интеллигентных слоев среднего класса. «Я просыпаюсь ночью со стоном, — говорил в начале 1960-х один молодой эфиопский чиновник, — от мысли, что император может умереть естественной смертью. Я хотел бы, чтобы он испытал, как над ним свершится правосудие!»[49].

Монарх вместе со своей армией оказывается в изоляции между аристократическими и религиозными элитами, с одной стороны, и образованным средним классом, с другой. По мере иссякания источников его легитимности он все больше зависит от репрессивных возможностей военных, и таким образом военные начинают играть все более важную роль для его режима. Чтобы обеспечивать поддержку с их стороны, монарх должен удовлетворять их требования в отношении почестей и материального вознаграждения. В Эфиопии, после того как армия защитила императора от попытки переворота со стороны императорской гвардии в декабре 1960 г., ему ничего не оставалось, как удовлетворить требование военных о повышении денежного содержания. Деньги, затрачиваемые на выплаты военным, на их привилегии и на вооружения, в свою очередь, отвлекают те ограниченные ресурсы, которые иначе могли бы быть потрачены на школы, дороги, фабрики, больницы и другие цели, имеющие более прямое отношение к реформам. В Иране отставка премьера-реформатора Али Амини в июле 1962 г. была, по всей видимости, отчасти связана с его желанием сократить численность армии с 200 000 до 150 000 человек с тем, чтобы высвободить средства на проведение земельной ре-

формы и другие цели, связанные с модернизацией. Только что вызвав отчуждение существенной части традиционной аристократии объявлением земельной реформы и зная, что еще не пришло время для политической мобилизации крестьянства вследствие земельной реформы, шах не мог ставить под угрозу свои позиции в отношении поддержки военных. У него не было выбора между армией и Амини; следовало поставить на армию. Однако та же необходимость, которая побуждает короля отдавать предпочтение армии перед другими общественными группами, рождает с его стороны и попытки ослабить армию, расколов ее, лишив ее возможностей единого действия иначе чем под его руководством. Поэтому монархи нередко создают альтернативные вооруженные силы, такие, как личная охрана или территориальная милиция в Эфиопии, чтобы уменьшить вероятность того, что военные будут действовать как одно целое против монархии. С теми же целями монарх стремится использовать личное соперничество между военными руководителями, а иногда этнические и поколенческие различия внутри офицерского корпуса. Ни одна монархия, осуществляющая модернизацию, не гарантирована от попыток переворота, но, как в Иране и Эфиопии, монархи могут какое-то время успешно подавлять такие попытки.

Не только армия становится важнейшим организованным источником поддержки для монархии по мере модернизации; все более важную роль играют также полиция и службы внутренней безопасности. Монарх, неуклонно осуществляющий реформы, вынужден для того, чтобы удерживаться у власти, все больше полагаться на голое насилие. Можно видеть иронию судьбы и в то же время логику в том, что именно император-революционер Иосиф II создал также первую в Европе систему тайной полиции. Точно так же Александр II, начинавший как «царь-освободитель», вынужден был по мере развития событий превратиться в «царя-деспота»[50]. Союз деспотизма и реформ, отличавший Османскую империю XIX в., достиг своего наивысшего выражения в энергичных и всепроникающих методах подавления, которые применял Абдул-Хамид II. Распространение образования и средств информации побудило Абдул-Хамида «к созданию развитой сети шпионов и информаторов, сообщавших ему обо всех хоть немного сомнительных действиях его подданных»[51].

Монархии XX в. испытывают давление сходных обстоятельств. В Марокко восстановление полноты королевской власти сопровождалось делом Бен Барки и ростом сетований на «репрессивную» природу режима[52]. В Саудовской Аравии первые масштабные аресты молодых либералов, подозреваемых в коммунистических или пронасеровских симпатиях, произошли одновременно с тем новым импульсом, который задал реформам

Фейсал при вступлении на престол. Чем более важную роль в развитии Ирана в 1950-е гг. играл Мохаммед-шах, тем заметнее становилась растущая активность тайной полиции «Савак» в деле розыска врагов и потенциальных врагов режима. Таким образом, в какой-то мере успех модернизации, осуществляемой в своей стране монархом, измеряется численностью и эффективностью тех полицейских сил, которые он считает необходимым содержать. Как реформы, так и репрессии суть аспекты централизации власти и неспособности обеспечить рост политической активности населения. Логическим результатом этого являются мятеж или революция.

Будущее существующих традиционных монархий не слишком многообещающе. Их руководителям ничего не остается, как пытаться проводить социальные и экономические реформы, а для этого они должны добиваться централизации власти. Процесс централизации в традиционных формах достиг той точки, когда мирная адаптация этих монархий, за возможными исключениями Афганистана и Марокко, к ситуациям возросшей политической активности представляется крайне маловероятной. Вопрос только в масштабах насилия, которое потребуется для смены этих режимов, и в том, от кого будет исходить это насилие. Существуют три возможности. При наименее радикальном варианте перемен в результате переворота на смену правящей монархии приходит олигархическая монархия тайского типа. Это предполагает ограниченный рост участия населения в функционировании системы без создания институционных возможностей для дальнейшего расширения участия и, по всей вероятности, ценой снижения возможностей политического обновления. При этом, однако, сохраняется монархия как символ единства и легитимности. В стране, подобной Эфиопии, именно такой ход событий следует, вероятно, считать наилучшим. Более радикальным и, пожалуй, более вероятным вариантом изменений для большинства правящих монархий является переворот вроде того, который осуществил Касем в Ираке, низложив монарха и уничтожив монархию, но не сумев создать новых принципов или институтов легитимности. В этом случае политическая система вырождается в ситуацию бесформенного преторианства. Наиболее насильственный вариант связан с полномасштабной революцией, в ходе которой несколько групп недовольных объединяются, чтобы сокрушить традиционный политический и общественный порядок, и результатом которой в конечном счете становится диктатура современного партийного типа. Однако некоторые из существующих государств с традиционной монархической формой правления слишком отсталы даже для революции. Какой бы курс они ни избрали, можно с уверенностью утверждать, что существующие монархии утратят

полностью или частично приобретенные ими возможности проведения политических реформ при сохранении традиционной формы правления прежде, чем они приобретут сколько-нибудь существенные новые возможности для решения проблем политической активности, порожденных их же реформами.

4. Преторианство и политический упадок

Источники преторианства

Одним из самых заметных и распространенных аспектов политической модернизации является вмешательство военных в политику. Хунты и перевороты, военные мятежи и военные режимы — неотъемлемая характеристика политической жизни Латинской Америки; практически столь же часто они происходят и на Ближнем Востоке. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. во многих странах Южной и Юго-Восточной Азии также пришли к власти военные режимы. В середине 1960-х череда военных переворотов в Гане, Дагомее, Конго со столицей в Леопольдвиле, Центральноафриканской республике, Верхней Вольте и Нигерии вдобавок к тем, которые раньше произошли в Алжире, Того, Судане и Конго со столицей в Браззавиле, убедительно показали тщетность надежд, что Африке удастся как-то избежать преторианского опыта Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Очевидно, вмешательство военных есть неотъемлемая часть политической модернизации, на каком бы континенте и в какой бы стране она ни осуществлялась. Это ставит перед нами две проблемы. Во-первых, каковы причины вмешательства военных в политическую жизнь модернизирующихся стран? Во-вторых, каковы последствия такого вмешательства для модернизации и для политического развития?

Сама распространенность военного вмешательства заставляет предполагать, что многие из обычно выдвигаемых объяснений этого феномена недостаточно убедительны. Утверждалось, к примеру, что одним из важных факторов, побуждающих армию вмешиваться в политику, является американская военная помощь. При этом говорят, что такая помощь способствует росту политической независимости армии, наделяет ее большими возможностями и усиливает мотивацию к тому, чтобы выступать против гражданских политических лидеров. В некоторых ситуациях эта аргументация относительно убедительна. Способствуя росту численности и усилению вооруженных сил, программы военной помощи могут способствовать и дальнейшему нарушению равновесия между внутренне и внешне ориентированными институтами политической системы. Однако военную помощь никак нельзя считать единственным или главным фактором вмешательства военных в политику. Большинство стран, где военные перевороты происходили после получения американской военной помощи, переживали их столь же часто и до того, как на них распространилась щедрость Пентагона. Нет убедительных подтверждений тому, что существует

корреляция между американской военной помощью и участием военных в политике. Следует сказать, что и противоположная гипотеза не подтверждается: надежды многих людей на то, что склонность военных других стран к вмешательству в политику уменьшится за счет прохождения курсов в Ливенсуорте, индоктринации в духе англо-американской доктрины верховенства гражданских институтов и общения с профессиональным американским офицерством обернулись ничем. Армии, получавшие американскую, советскую, британскую и французскую военную помощь, равно как и армии, не получавшие военной помощи, — все эти армии вмешивались в политику. Военная помощь и военное обучение сами по себе политически нейтральны: они ни усиливают, ни ослабляют склонность армейского офицерства играть роль в политике страны[1].

Столь же бесплодны попытки объяснить вмешательство военных в политику, апеллируя как к главному фактору к внутренней структуре вооруженных сил или к социальному происхождению предпринимающих такое вмешательство офицеров. Морис Яновиц, например, ищет причины военного вмешательства в политику в «характеристиках военного истеблишмента» страны и пытается связать склонность и способность офицеров к вмешательству в политику с «этосом государственной службы», с профессиональной подготовкой, «в которой навыки управления сочетаются с героическим настроем», с их происхождением из рядов среднего класса и низшего среднего и с их внутренней сплоченностью[2]. Существуют данные, подтверждающие эту связь, но существуют и данные, ей противоречащие. Некоторые из военных людей в политике были очевидным образом вдохновлены высокими идеалами государственного служения; другие же с неменьшей очевидностью были движимы личной корыстью. Офицеры с самыми различными квалификационными характеристиками — управленческими, харизматическими, техническими и политическими — встречаются и среди тех, кто вмешивался в политику, и среди тех, кто воздерживался от такого вмешательства. Точно так же и среди офицеров, возглавлявших военные перевороты, встречались выходцы из всех общественных классов. Нельзя утверждать и того, что вооруженные силы, характеризующиеся большей внутренней сплоченностью, в большей мере склонны вмешиваться в политику, чем те, которые менее едины: напротив, вмешательство в политику и расколы в среде военных столь тесно связаны, что между ними практически невозможно проследить причинно-следственные отношения. Саму попытку ответить на вопрос «Какие характеристики военного истеблишмента новой нации способствуют его вмешательству во внутреннюю политику?» следует считать неплодотворной, поскольку важнейшие причины военного вмешательства в политику носят не военный, а политический характер и отражают не социальные и организационные характеристики военного истеблишмента, а политическую и институционную структуру общества.

Причины вмешательства военных в политику лежат не в военной сфере. Это объясняется просто-напросто тем, что военное вмешательство — это всего лишь одно из проявлений более общего феномена, свойственного слаборазвитым обществам: политизации общественных сил и институтов. В таких обществах политике недостает автономии, сложности, внутренней согласованности и адаптивности. Все категории общественных сил и групп оказываются непосредственно вовлеченными в общую политику. В странах, где политизирована армия, мы видим и политизированное священство, политизированные университеты, политизированную бюрократию, политизированные профсоюзы и политизированные корпорации. Вывихнутым является общество в целом, а не только военные. Все эти специализированные группы оказываются вовлечены в политику и занимаются общеполитическими вопросами — не только затрагивающими их особые институциональные интересы или группы, но и касающимися общества в целом. В любом обществе военные занимаются политикой, чтобы добиться повышения содержания и увеличения численности вооруженных сил, даже в таких политических системах, как Соединенные Штаты и Советский Союз, обладающих практически безупречными системами гражданского контроля. В слаборазвитых же странах военные озабочены не только деньгами и продвижением по службе, хотя их и это интересует, но и распределением власти и статуса в рамках политической системы в целом. В числе их целей есть не только ограниченные и конкретные, но и цели общего и диффузного характера. Полковники и генералы, студенты и профессора, мусульманские улемы и буддийские монахи — все оказываются непосредственно вовлечены в политику как целое.

Под коррупцией в узком смысле слова понимается влияние богатства в сфере политики. Преторианство в узком смысле означает вмешательство военных в политику, а клерикализм — участие в политике религиозных лидеров. Пока не найдено подходящего слова для обозначения студенческого участия в политике. Однако все эти термины относятся к различным аспектам одного и того же феномена, политизации общественных сил. Здесь, краткости ради, выражение «преторианское общество» употребляется применительно к такому политизированному обществу, причем имеется в виду, что речь идет об участии в политике не только военных, но и других общественных сил[3].

Научные исследования общественных институтов в странах, переживающих процесс модернизации, неизменно выявляют высокую сте-

пень политизации того института, который в каждом случае служит предметом анализа. Исследования вооруженных сил в модернизирующихся странах естественно фокусируются на их активной политической роли, отличающей их от армий в более развитых странах. Исследования профсоюзов обнаруживают «политический юнионизм» как отличительную черту рабочих движений в модернизирующихся обществах. Изучение университетов в модернизирующихся странах показывет активную вовлеченность студентов и профессуры в политическую жизнь. Исследования, посвященные религиозным организациям, показывают, насколько отделение церкви от государства оказывается отдаленной целью[4]. Каждая группа авторов рассматривает ту или иную общественную группу в модернизирующихся странах более или менее в отрыве от других общественных групп и явным или неявным образом акцентирует ее вовлеченность в политическую жизнь. Но очевидно, что такая вовлеченность не специфична для военных или для какой-то другой общественной группы, она пронизывает все общество. Те же причины, которые обусловливают вмешательство военных в политику, вызывают и политическую ангажированность профсоюзов, бизнесменов, студентов и священников. Эти причины коренятся не внутри той или иной группы, а в структуре общества. И в частности, они связаны с отсутствием или слабостью действующих в данном обществе политических институтов.

Во всех обществах специализированные общественные группы участвуют в политике. Что придает им более «политизированный» облик в преторианском обществе, так это отсутствие эффективных политических институтов, способных опосредовать, оформлять и делать более умеренным групповое политическое действие. В преторианской системе общественные силы противостоят друг другу в обнаженном виде. Нет никаких политических институтов, никакого корпуса профессиональных политических лидеров, которые бы признавались или принимались в качестве легитимных посредников для смягчения групповых конфликтов. Не менее важно и то, что не существует никакого соглашения между группами в отношении легитимных и авторитетных методов разрешения конфликтов. В институциализованном обществе между большинством участников политической жизни существует согласие относительно процедур, которые следует использовать для разрешения политических споров, т.е. при распределении постов и определении политического курса. Назначение на пост может осуществляться через посредство выборов, наследования, экзаменов, жребия или какой-то комбинации этих и других средств. Вопросы политики могут решаться иерархически, с помощью подачи петиций, их рассмотрения и подачи апелляций, большинством голосов, путем консультаций и достижения консенсуса или какими-то другими средствами. Но в любом случае существует общее согласие в том, каковы эти средства, и группы, участвующие в политической игре, признают себя обязанными использовать эти средства. Это справедливо как для западных конституционных демократий, так и для коммунистических диктатур. В то же время в преторианском обществе изменениям подвержен не только состав участников политической жизни, но и методы, используемые при принятии решений относительно распределения постов и выбора политического курса. Каждая группа использует те средства, которые отвечают ее специфике и возможностям. Богатые подкупают; студенты устраивают беспорядки; рабочие бастуют; толпы митингуют; военные устраивают перевороты. В отсутствие общепринятых процедур на политической сцене можно обнаружить все эти формы прямого действия. Такая форма, как вмешательство в политику военных, просто более драматична и более эффективна, чем другие, поскольку, как писал Гоббс, «когда под руками нет ничего другого, сойдет и дубина»[5].

Отсутствие в преторианском обществе эффективных политических институтов означает, что власть фрагментирована: она выступает во многих формах и малом количестве. Контроль над системой в целом имеет преходящий характер, и слабость политических институтов означает, что власть и положение легко приобретаются и легко теряются. Как следствие этого, ничто не побуждает лидера или группу к тому, чтобы многим жертвовать ради получения власти. Изменение позиции индивида имеет характер смены общественной группы, чью сторону он принимает, а не распространения его лояльности к какой-то ограниченной общественной группе на политический институт, воплощающий в себе множественность интересов. Отсюда типичность для преторианской политики феномена «предательства». В институциализованных системах политики по мере продвижения вверх по лестнице власти расширяют границы своей лояльности от общественной группы к политическому институту и политическому сообществу. В преторианском обществе успешный политик просто переносит свою лояльность с одной общественной группы на другую. В предельном случае популярный демагог может объявиться, породить широкое, но плохо организованное движение своих сторонников, создать угрозу для интересов богатых и аристократов, заполучить посредством выборов политический пост, а затем дать себя купить представителям тех самых групп интересов, на которые он нападал. В менее крайних случаях индивиды, восходящие вверх по лестнице богатства и власти, просто переносят свою лояльность с народных масс на олигархию. Они становятся составной частью или заложниками общественной силы с более узкими интересами, нежели те си-

лы, на чьей стороне они были прежде. Подъем на вершину в институциализованном гражданском обществе расширяет горизонты человека; в преторианской системе такой подъем их сужает.

Преторианские общества, не имеющие достаточного общественного согласия (community) и эффективных политических институтов, могут существовать практически на любом уровне эволюции политической активности населения. На уровне олигархии участники политической жизни практически однородны даже в отсутствие эффективных политических институтов. Общественное согласие остается в этом случае продуктом не только политического действия, но и социальных связей. Однако по мере роста политической активности численность участников политической жизни растет, и их методы политического действия становятся более разнообразными. В результате конфликты становятся более интенсивными в радикальном преторианском обществе среднего класса и еще в большей мере — в массовом преторианском обществе.

На всех стадиях преторианства общественные силы взаимодействуют непосредственно друг с другом и мало, если вообще, заботятся о том, чтобы соотносить свои частные интересы с общественным благом. В преторианской олигархии политика — это борьба между личными и семейными кликами; в радикальном преторианском обществе борьба между институциальными и профессиональными группами дополняет борьбу между кликами; в массовом преторианском обществе основными актерами на политической сцене становятся общественные классы и общественные движения. По мере того как общественные силы, участвующие в политической жизни, становятся крупнее, мощнее и разнообразнее, напряжение и конфликты между ними становятся все менее терпимыми. В институциализованном обществе участие новых групп в политической системе смягчает напряжение; новые группы инкорпорируются в систему посредством институтов политической активности — как это было, к примеру, в классическом случае расширения границ электората в Великобритании. В преторианских же обществах участие новых групп скорее усиливает, нежели смягчает напряжение. Оно приводит к умножению ресурсов и методов, используемых в политической деятельности, и способствует тем самым дезинтеграции общества. Новые группы мобилизуются, но не инкорпорируются. Расширение участия населения в политической жизни Великобритании привело к слиянию «двух наций» Дизраэли* в одну. Рост же политической активности в Аргентине превратил существовавшие здесь и прежде две нации в смертельных врагов.

* Имеется в виду роман Бенджамина Дизраэли (1804–1881) «Сибилла, **или Две нации**» (1845), в котором автор противопоставлял аристократии рабочий класс.

Стабильность гражданского общества, таким образом, прямо пропорциональна масштабам участия населения в политике; в преторианском обществе она обратно пропорциональна участию. Его жизнеспособность понижается, когда политическая активность растет. Преторианские олигархии могут жить веками; системы среднего класса — десятилетиями; массовые преторианские системы обычно живут лишь несколько лет. Либо массовая преторианская система трансформируется через захват власти тоталитарной партией, как в веймарской Германии, либо же традиционные элиты пытаются понизить уровень участия населения в политике посредством авторитарных мер, как это было в Аргентине. В обществе, лишенном эффективных политических институтов и неспособном их создать, конечным результатом социальной и экономической модернизации становится хаос.

От олигархического преторианства к радикальному: перевороты-прорывы и солдат как реформатор

Олигархическое преторианство доминировало в Латинской Америке XIX в. Имперская власть как Испании, так и Португалии не поощряла развитие автономных местных политических институтов. Войны за независимость породили институционный вакуум (они, по словам Морза, «обезглавили» государство[6]), который креолы попытались заполнить, копируя конституционные порядки США и республиканской Франции. Последние, конечно же, не могли укорениться в обществе, которое оставалось в высокой степени олигархическим и феодальным. В результате политическую ситуацию в Латинской Америке характеризовали противостоящие друг другу общественные силы и неэффективные политические институты, неспособные модернизировать общество. Это, в свою очередь, породило такой тип корпоративной или синдикалистской политики, который в большинстве этих стран сохранялся и в процессе роста политической активности. Даже в XX в. олигархическое преторианство все еще сохранялось в странах Карибского региона, Центральной Америки и района Анд и в Парагвае. Это же устройство было обычным и для Ближнего Востока. Здесь распад Османской империи и ее лишь частичная замена британским или французским правлением привели к вакууму легитимности и отсутствию эффективных политических институтов.

При преторианской олигархии доминирующими общественными силами являются крупные землевладельцы, верхушка клира и военные. Общественные институты остаются относительно недифференцированными,

и представители правящего класса беспрепятственно и часто совмещают руководящие позиции в политической, военной, религиозной, социальной и экономической сферах. Наиболее активными в политической жизни остаются группы в основном аграрного характера. Семейства, клики и племена беспрестанно борются друг с другом за власть, богатство и общественный статус. Политика приобретает индивидуалистический, гоббсианский образ*. Не существует консенсуса относительно средств разрешения споров. Нет или недостаточно политических организаций или институтов.

Почти все преторианские олигархии в конечном счете эволюционируют в радикальные преторианские системы. При этом не все радикальные преторианские системы в прошлом были преторианскими олигархиями. Некоторые суть продукт эволюции централизованных традиционных монархий. Такие политические системы обычно обладают высокой степенью легитимности и эффективности, пока политическая активность остается ограниченной. Их политические институты, однако, остаются негибкими и хрупкими перед лицом социальных перемен. Они не способны адаптироваться к ситуации вхождения в политику групп среднего класса. Появление таких групп приводит к свержению или крушению традиционной монархической системы правления и предвещает переход общества в преторианскую фазу. Общество эволюционирует от гражданского традиционного строя к радикальному преторианскому. Ценой роста политической активности оказываются институционный упадок и разрушение гражданского порядка.

Третьим источником радикального преторианства является западный колониализм. В Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии он ослабил, а часто и полностью разрушил местные политические институты. Даже там, где он принимал форму «косвенного правления», он подрывал традиционные источники легитимности, поскольку власть местных правителей очевидным образом зависела от поддержки со стороны империалистического государства. Оппозиция колониализму обычно возникала в среде младших поколений местных элитных и субэлитных групп, которым была свойственна глубокая приверженность ценностям модернизации и которые по своему внешнему виду, занятиям и поведению были типичным средним классом. Поскольку в военном отношении империалистические страны были в большинстве случаев очевидным образом сильнее, стремление к независимости принимало идеологический и политический характер. Интеллигенция, получившая образование в Лондоне и Париже, идентифицировала себя с национальной независимостью и народным правительством и пыталась создавать массовые организации для достижения этих целей. Колониальная система, охраняя свою власть, часто препятствовала созданию политических организаций, а затем резко выпускала бразды правления из своих рук. Это сочетание колониальной оппозиции развитию политической организации с поспешным предоставлением независимости колониям приводило к тому, что местные элиты получали независимость прежде, чем они могли создать политические организации. Даже там, где в годы борьбы за независимость массы оказывались в большой мере вовлеченными в события, это очень часто происходило на очень низких уровнях социальной мобилизации и было, таким образом, несколько искусственным феноменом, не поддающимся организации на постоянной основе.

* Состояние «войны всех против всех», которое, согласно Томасу Гоббсу (1588–1679), сделало необходимым учреждение государства.

Во всяком случае, обретение независимости нередко оставляло немногочисленную, модернизированную, интеллектуальную элиту лицом к лицу с большим, аморфным, немобилизованным, все еще в высокой степени традиционным обществом. Африка в 1960-е гг. не слишком отличалась от Латинской Америки 1820-х. В последнем случае креолы пытались навязать республиканские институты, непригодные для их общества; в первом элита пыталась навязать массовые институты, также непригодные для общества. В обоих случаях имел место упадок политической власти и политических институтов: латиноамериканские конституции превращались в клочки бумаги; африканское однопартийное государство превращалось в государство без партий. Институционный вакуум заполнялся насилием и правлением военных. В Латинской Америке низкий уровень модернизации означал сильно затянувшийся период олигархического преторианства. В Африке менее стратифицированный характер общества и другое историческое время обусловили появление радикального преторианства. «Прорыв» к политическому участию среднего класса произошел под руководством гражданской националистической интеллигенции, которую отстранило от власти офицерство, также происходившее из среднего класса; отстранение это стало возможным ввиду отсутствия у интеллигенции постоянной мобилизованной политической опоры и организованной политической силы для того, чтобы заполнить вакуум власти и легитимности, возникший с уходом колониальных правителей.

В процессе перехода от абсолютной монархии или преторианской олигархии к радикальному преторианству, напротив, военные играют ключевую роль. Средний класс впервые появляется на политической сцене не во фраке коммерсанта, а в эполетах полковника. В условиях преторианской олигархии борьба за власть нередко принимает форму переворотов,

но эти перевороты оказываются всего лишь «дворцовыми революциями», в которых на смену одному представителю олигархии приходит другой. Высшее руководство меняется, но никаких существенных изменений ни в масштабах правительственного контроля, ни в масштабах политической активности не происходит. Военные институты и военное управление не имеют автономного существования. На вершине олигархического общества вполне может стоять «генерал», он обычно одновременно является и помещиком, предпринимателем, и носителем в высшей степени личной власти, который, в духе Сомосы* или Трухильо, не делает различия между своими ролями. Он, в сущности, пользуется всеми теми политическими средствами — подкупом, насилием, обманом, угрозами, демагогией, — которые в более сложном преторианском обществе становятся специфическими для различных групп. Участие военных или групп военных как коллективов в политике начинается только с выделением офицерского корпуса как полуавтономного института, сопровождающим формирование среднего класса.

Со временем офицерский корпус приобретает особый облик и дух; все чаще в его состав рекрутируются люди скромного социального происхождения; его члены получают уникальные возможности для получения образования на родине и за рубежом; офицеры становятся восприимчивы к заграничным идеям национализма и прогресса; у них вырабатываются управленческие и технические навыки, редкие в других слоях общества. Наряду со студентами университетов, особенно теми, кто учился за рубежом, офицеры — это самая современная и самая прогрессивная группа в обществе. Офицеры из среднего класса, часто тесно связанные с такими гражданскими группами, как школьные учителя, государственные чиновники и инженеры, начинают испытывать все большее отвращение к коррупции, некомпетентности и пассивности правящей олигархии. Со временем офицеры и их гражданские союзники образуют клики и тайные общества для обсуждения будущего нации и свержения ее правителей. В какой-то момент заговор осуществляется, и олигархия оказывается свергнутой. Этот переворот отличается от правительственных переворотов олигархической эпохи тем, что его руководителями являются представители не высшего, а среднего офицерства; этих офицеров объединяет скорее верность общей цели, чем принадлежность к личному окружению одного лидера; у них обычно есть программа социальных и экономических реформ и национального развития; и часто происходит резкий скачок в масштабах сопровождающего переворот насилия.

* Сомоса, Анастасио (1896–1956) — диктатор Никарагуа, президент в 1936–1947, 1950–1956 гг.

Это изменение характеризует совершившуюся перемену: на смену олигархическому типу правительственных переворотов, или дворцовых революций, приходят перевороты радикальные, ориентированные на реформы и совершаемые представителями среднего класса[7]. Ирак, к примеру, был прочно во власти олигархического преторианства со времени получения независимости в 1932 г. до 1958 г., и его политическая жизнь сводилась к политике переворотов и контрпереворотов внутри господствующей военной элиты. Свержение в 1958 г. премьера Нури Саида не покончило с преторианской политикой. Но с концом монархии и провозглашением новых лозунгов и программ революции и национального развития наметилось качественное изменение характера политики и источников легитимности. Наметилось также существенное расширение границ политической активности, связанное с приходом к власти офицеров среднего звена, происходящих из среднего класса, и открытием путей вхождения в политику чиновников и специалистов. Свержение военными парламентского режима в Сирии в 1949 г. также привело к расширению границ политической активности — от немногочисленной элиты до представителей среднего класса[8].

Переход от традиционной правящей монархии к преторианству среднего класса также совершается с участием военных. В типичном случае именно военные составляют самую современную и сплоченную силу в составе бюрократии централизованной монархии, и монархия, как правило, становится жертвой тех, кого она усилила для того, чтобы они ей служили. При этом в отличие от того случая, когда переход совершается от преторианской олигархии, переворот, приводящий к власти военных среднего класса в традиционной монархии, представляет собой разрыв с предшествующей практикой и кровавое нововведение в области политических технологий. Он разрывает нить легитимности и кладет конец тому, что прежде было мирным, хотя и полицейским правлением*. Так, свержение военными бразильской монархии в 1889 г. знаменовало переход власти из рук владельцев сахарных плантаций на северо-востоке в руки производителей кофе и торговцев Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Тайская «революция 1932 г.» против абсолютной монархии означала установление власти в основном бюрократических, военных элементов среднего класса, пришедших на смену традиционным правящим кликам, связанным с двором и королевской семьей. Переворот в Египте в 1952 г. привел

* В оригинале игра слов: peaceful (if policeful) rule, т. е. правление, исполненное мира (peaceful), и в то же время «исполненное полиции» (policeful, неологизм).

к власти представителей военных из среднего класса, хотя в этом случае свергнутая монархия не обладала ни прочной легитимностью, ни большим авторитетом.

На этих ранних стадиях политической модернизации офицеры играют важную роль в деле модернизации и прогресса. Они противостоят олигархии, выступают за социальные и экономические реформы, за национальное единство и в какой-то мере за расширение границ политической активности. Они выступают с критикой расточительности, отсталости и коррупции и способствуют популяризации высоких идей среднего класса, таких, как эффективность, честность и патриотизм. Подобно протестантам-предпринимателям Западной Европы, солдаты-реформаторы в незападных обществах демонстрируют и пропагандируют пуританские ценности, которые, хотя и не столь радикальны, как у решительных революционеров, достаточно тем не менее новы для их обществ. Военные лидеры и военные группы сыграли эту инновационную роль в крупнейших и наиболее сложно организованных обществах Латинской Америки в конце XIX в. В Бразилии, Мексике и других странах офицеры и их гражданские союзники взяли на вооружение позитивизм в качестве своей философии развития.

В XX в. профессионализация офицерского корпуса привела к еще большей приверженности идеалам модернизации и национального развития и к тому же изменила типичные формы участия военных в политике: место единоличного лидера заняла хунта[9]. В Чили и Бразилии в 1920-е гг. военные группы среднего класса выдвигали радикальные программы социальных реформ. Во время Второй мировой войны и после нее аналогичные программы выдвигались офицерами в других латиноамериканских странах, таких, как Боливия, Гватемала, Венесуэла, Сальвадор, Перу и Эквадор, где традиционный консерватизм и олигархия сохраняли свое влияние. На Ближнем Востоке после Второй мировой войны солдаты играли аналогичную роль: военные среднего класса, сторонники модернизации, захватили власть в Сирии в 1949 г., в Египте в 1952 г. и в Ираке в 1958 г. Военные перевороты в Пакистане и Бирме в 1958 г. приняли сходные формы, хотя здесь различия в социальном происхождении между свергнутыми политическими элитами и пришедшими им на смену военными лидерами были не столь велики, как на Ближнем Востоке.

Становление радикального преторианства — длительный и сложный процесс. Он обычно связан с чередой переворотов и других перемен, когда различные группы карабкаются по спинам других в борьбе за политическую власть. Как свержение традиционных политических институтов, так и разрыв с олигархическими формами политики протекают обычно

более сложными путями, чем может показаться. Самому перевороту нередко предшествуют годы обсуждений и подготовки. «Промоторы» 1932 г. в Таиланде — это порождение организованных в Париже в 1920-е гг. дискуссий студентов и молодых офицеров. В Египте кадеты военного колледжа организовали обсуждение темы «Социальная и политическая напряженность в Египте» в 1938 г. В 1940-е гг. сформировался и выступил с инициативами реформ целый ряд националистических групп, связанных с военным истеблишментом. 1949 г. — год официальной организации группы «Свободные офицеры»; тремя годами позже эта группа захватила власть[10]. Нередко бывает так, что офицеры среднего класса делают несколько неудачных попыток захватить власть, прежде чем им удается свергнуть существующий режим. Эти «предваряющие попытки» составляют часть процесса выявления источников поддержки и оппозиции, проверки на прочность правящей монархии или олигархии. Подавление этих попыток правящими группами и казнь или высылка «злоумышленников» отвечают ближайшим интересам режима, лишая «контрэлиту» части ее элементов, но в конечном счете ослабляют режим, поскольку способствуют сплочению сохраняющихся элементов контрэлиты, делают их более осторожными и изощренными.

Политическую схему, в соответствии с которой происходит смещение традиционного или олигархического режима путем военного переворота, можно рассматривать как упрощенный вариант известной бринтоновской* модели революции. При формировании коалиции военных и гражданских элементов с целью осуществления переворота обычно бывает необходимо сделать акцент на тех целях, которые обладают максимальной притягательностью, и поставить во главе заговора умеренного, склонного к компромиссам военного лидера, который способен завоевать доверие всех участвующих в предприятии групп и к тому же более, чем другие члены этих групп, связан со старым режимом. За крушением старого режима следует, таким образом, видимый приход к власти умеренных. Вскоре, однако, проблемы обостряются, в среде участников переворота возникают разногласия, и со временем более радикальные, якобинские элементы пытаются вырвать власть из рук умеренных и совершают переворот ради консолидации. Этот «консолидационный переворот» окончательно определяет судьбу старого режима; с его успешным завершением элементы среднего класса утверждаются в своем положении ведущих актеров на политической сцене.

* Крен Бринтон — американский историк, автор работ по истории Великой французской революции и общей политологии революции (см. гл. 7).

Эта сложная комбинация «предваряющего», «прорывного» и «консолидационного» ударов по старому режиму характеризовала большинство случаев перехода от традиционного или олигархического режима к преторианскому режиму среднего класса. В Египте группа «Свободные офицеры» намечала переворот на март 1952 г., но он был отложен. Однако в связи с ростом политической напряженности «Свободные офицеры» вынуждены были захватить власть в июле. В последующие 18 месяцев революция прошла через несколько консолидационных этапов: последовательно уничтожались оппозиционные группы коммунистов, «Вафда» и «Братьев-мусульман», и в апреле 1954 г. на смену Нагибу, популярному умеренному лидеру, за спиной которого пытались объединиться более консервативные элементы, пришел более радикальный Насер[11].

Падение абсолютной монархии в Таиланде следовало аналогичной в каких-то чертах схеме. Первый переворот произошел здесь в июне 1932 г., когда группа гражданских и военных лиц захватила власть, арестовала королевскую семью и убедила короля согласиться на ограниченную монархию. Премьером стал достаточно консервативный гражданский Фья Мано (Манонакон Нититада). Весной 1933 г. возник кризис, когда премьер отклонил экономический план, выработанный гражданским интеллектуальным лидером переворота Приди Панамионгом. Военные руководители вышли из состава кабинета и затем выступили против правительства. «Был совершен второй, столь же бескровный и успешный переворот — на этот раз направленный против Фья Мано и его сторонников, которых обвинили в том, что они стремятся к полной реставрации монархии». Этот второй переворот завершил дело, начатое первым. «После первого переворота «промоторы» либо проявили большую скромность, либо весьма хитроумно ждали своего часа, поскольку, вместо того чтобы выдвигать своих людей и заполнять ряды гражданской службы, они объявили, что, ввиду своей неопытности, считают необходимым сохранить некоторые административные посты за монархистами. В ходе второго переворота эта тактическая ошибка была исправлена: на этот раз «промоторы» сменили всех должностных лиц старого режима и поставили всюду своих людей, сколь бы они ни были неопытны»[12].

Аналогична связь между переворотом, который совершил в Сирии в марте 1949 г. полковник Хусни Захим, свергнувший правительство президента аль-Куватли и положивший этим начало приходу к власти в Сирии среднего класса, и переворотом августа 1949 г., когда Захима сместил полковник Сами Хиннави: «Постепенно становилось ясно, что второй переворот был, в сущности, завершением первого, исполнением его первоначального замысла. Те, кто были товарищами Захима в деле свержения режима аль-Куватли, должны были избавиться от него, чтобы осуществить изначальную задачу первого заговора, которая состояла в том, чтобы убрать тех, кто оказался неспособным к управлению государством и ведению палестинской войны, и заменить их в системе государственного управления теми, кто был в числе наиболее бескомпромиссных и способных критиков старого режима»[13].

Сходным образом происходили и «прорывные» перевороты в Латинской Америке. Поражение Боливии в войне Чако побудило молодых офицеров-реформаторов к свержению в мае 1936 г. старого режима и к созданию «социалистической республики» во главе с полковником Давидом Торо. Этот режим начал осуществлять ряд реформ, но в июле 1937 г. «подполковник Герман Буш, кому и принадлежал замысел переворота, приведшего полковника Торо к власти, сместил Торо». Правительство Буша, в свою очередь, «продолжило и углубило общую политику администрации Торо»[14]. В Гватемале непрерывному олигархическому правлению был в начале 1940-х брошен вызов усилиями по свержению традиционалистского режима генерала Хорхе Убико. Наконец, в июне 1944 г. произошел успешный переворот, приведший к власти умеренное правительство во главе с генералом Понсе Вальдесом, «который пытался защитить старый порядок»[15]. Но Понсе был не в состоянии остановить процесс перемен. «Молодые армейские офицеры, многим из которых обучение, пройденное ими во время войны в США, помогло осознать потребность Гватемалы в реформах, теперь получили долгожданный шанс. Вместе с «ладино» (метисами), профессионалами из среднего класса и капиталистами-интеллектуалами, они планировали свержение генералов»[16]. В октябре 1944 г. в результате консолидационного переворота был свергнут Понсе, и в конечном счете к власти пришла радикальная администрация Аревало.

В Сальвадоре события пошли по несколько иному сценарию: первый шаг в направлении свержения власти «Лос Каторсе Грандес» (четырнадцати «грандов», т.е. семейств, которые, как считалось, правили страной) принял форму всеобщей забастовки в апреле 1944 г. против тринадцатилетней диктатуры генерала Максимилиано Эрнандеса Мартинеса. «Забастовка была сравнительно стихийным предприятием со стороны среднего класса города Сан-Сальвадор». Он привела к тому, что на смену Мартинесу пришел умеренный гражданский политик Кастанеда Кастро. Четыре года спустя в «революции 1948 г.» группа младших офицеров сместила его и сформировала новое правительство, призванное осуществить «управляемую революцию». Действия этих офицеров напоминали действия тех, кто возглавлял аналогичные движения на Ближнем Востоке.

«Армейские офицеры, управлявшие сальвадорской политической жизнью с 1948 г., имеют существенные общие характеристики. Почти все они имели звания майоров и подполковников, т.е. принадлежали к тому среднему звену офицерского корпуса, где продвижение по службе происходит медленно, так что политическая активность выглядит многообещающей альтернативой фрустрациям, которые порождает отсутствие перемен в рамках военной иерархии.

Еще более важно, видимо, то, что эти молодые офицеры по своим установкам сильно отличались от старой военной касты, которую они лишили власти. Многие из них происходили из нижних слоев (lower-middle) и среднего класса. В соответствии с местом жительства, образованием, общественными связями, экономическим статусом и притязаниями, а также социальными ориентациями они идентифицировали себя в большей мере с формирующимся средним классом, нежели с экономическими элитами. Большинство из них провело некоторое время в военных колледжах США и имело тесные связи с американскими военными миссиями»[17].

В более сложных обществах Латинской Америки политические институты были более развитыми, переход от консервативных, традиционных режимов к реформистским правительствам среднего класса произошел в более ранний исторический период и был связан с кооперацией между военными клубами и политическими партиями. В Аргентине в 1889 г. был организован Унион Сивика (Гражданский союз), реформистская партия среднего класса. В следующем году возникла Лохиа Милитар (Военная ложа), основанная группой прогрессивных офицеров, которые совместно со своими гражданскими союзниками организовали серию неудачных мятежей в 1890, 1893 и 1905 гг.[18]. Эти «предваряющие» перевороты давали основания предполагать, что в конечном счете реформаторы из военного среднего класса совершат успешный переворот и придут к власти. Оказалось, однако, что в этом нет необходимости: Аргентина к тому времени была лишь отчасти преторианской страной и правительство в результате мирных выборов 1916 г. возглавили радикальные гражданские союзники военных, Унион Сивика Радикаль (Радикальный гражданский союз).

В Чили политические партии были еще более зрелыми, правящая олигархия более открытой для проникновения в ее ряды представителей гражданского среднего класса, а армия более профессиональной. В результате вмешательство военных сыграло лишь вспомогательную роль в процессе перехода к режиму среднего класса. Основной импульс, подтолкнувший реформы, исходил от Либерального альянса, лидер которого Артуро Алессандри Пальма был избран президентом в 1920 г., когда «кончилось господство олигархии»[19]. После того как Конгресс заблокировал реформаторскую программу Алессандри, в сентябре 1924 г. произошло вмешательство в политику военных, которые добились от Конгресса одобрения программы. Алессандри ушел в отставку, и на его место пришла Хунта де Гобиерно, состоявшая из высших генеральских чинов. Генералы, однако, заняли умеренную позицию и планировали возвращение власти в руки консервативных гражданских политиков. В результате в январе 1925 г. восстали молодые офицеры, обединенные в весьма реформаторски настроенную организацию «Хунта Милитар», которые и осуществили «консолидационный» переворот, приведший к власти подполковника Карлоса Ибаньеса. Его реформистская и репрессивная диктатура закончила свое существование в 1931 г., и на смену ей на кототкое время пришла другая военная хунта, провозгласившая «социалистическую республику»[20].

Радикальное преторианство: социальные силы и формы политического действия

В середине XX в. олигархические преторианские режимы все еще можно было встретить в некоторых наиболее отсталых латиноамериканских и ближневосточных обществах. На другом конце спектра в Аргентине появилось массовое преторианство в форме перонизма; к нему предстояло прийти в будущем большинству модернизирующихся стран. Большинство преторианских обществ в Азии, Африке и Латинской Америке находилось в середине пути расширения границ политической активности. Социальные корни радикального преторианства лежат в разрыве между городом и селом. Первый приходит на смену второму в качестве главной сцены политического действия и становится постоянным источником политической нестабильности. «Усиливающееся влияние» города в политической жизни села ведет, как предсказывал Харрингтон, к ослаблению политического порядка[21]. В радикальном преторианском обществе город не может обеспечить фундамент для стабильного управления. Масштабы нестабильности зависят от того, в какой мере правительство может и желает использовать село для сдерживания и умиротворения города. Если оно может проложить мост между городом и селом, если оно может мобилизовать поддержку со стороны сельских районов, то оно сможет сдержать и перенести городские брожения. Если село пассивно и безразлично, если и сельская элита, и сельские массы отстранены от участия в политике, то правительство оказывается заложником городских беспорядков и действует по указке городской толпы, столичного гарнизона и студентов столичного университета. Если же село выступает против политической системы, если сельские мас-

сы оказываются мобилизованными на противостояние существующему строю, то правительство сталкивается уже не с нестабильностью, а с революцией и перспективой фундаментальных перемен. Отличительной чертой радикального преторианства является городская нестабильность. Стабильность этой нестабильности есть следствие того, что село исключено из политической жизни.

Выступление более прогрессивных, прозападных или радикальных офицеров, приводящее к свержению традиционных политических институтов или олигархического правления, открывает путь для вхождения в политику других элементов среднего класса. Между свержением монархии или олигархии силами военных и появлением на политической сцене других групп среднего класса может, однако, пройти немалый промежуток времени. На этом раннем этапе радикального преторианства политическая жизнь обычно характеризуется постоянными интригами и конфликтами между слабо структурированными группами, состоящими в основном из военных. Так, например, обстояло дело в Турции в период между 1908 и 1922 гг. и в Таиланде в течение трех десятков лет после «революции 1932 г.». Так же обстояло дело и в Латинской Америке после «прорывных» переворотов. Клики полковников и генералов при этом борются за власть, но ни одна из них не может обеспечить достаточно надежную опору для своей власти, поскольку не желает вступать в диалог (и делиться властью) с кем-либо за пределами армии и мобилизовать на свою сторону другие общественные силы. Но после того, как ослабевают традиционные источники легитимности, на смену военным в конечном счете приходят другие группы среднего класса, которые стремятся участвовать в политике, следуя собственными путями. Среди них техническая и гуманитарная интеллигенция, торговцы и промышленники, юристы и инженеры. Две наиболее активные общественные силы в преторианской системе на среднем уровне ее развития — это обычно интеллигенция и особенно студенты, с одной стороны, и военные, с другой. Между участием студентов в политике и участием в ней военных наблюдается высокая корреляция. Оба эти явления характерны для преторианского общества.

В радикальном преторианском обществе диверсификация политической активности приводит к тому, что формы политического действия сильно различаются при переходе от одной группы к другой. Группы, участвующие в жизни политической системы, намного более политически специализированы, чем это имеет место в более развитой и интегрированной политической системе. В то же время, однако, эти группы отличаются меньшей функциональной специализацией и дифференциацией, нежели в более развитой системе. В университете, к примеру, и работа преподавателей, и обучение студентов организованы на принципах неполной занятости. Университет часто не обладает высокой степенью корпоративной идентичности, и основные университетские функции — обучения и исследования — менее развиты и менее престижны, чем другие выполняемые им функции, политические и социальные. Уважение к образованию и академическим ценностям может находиться на низком уровне; студенты могут рассчитывать на то, что их жизненный успех будет определяться социальным статусом или простым подкупом; профессора могут назначаться исходя из неакадемических соображений. Речь, короче говоря, идет о том, что достигнут лишь очень низкий уровень институциализации академических ценностей. Как академический институт, призванный выполнять особые функции в обществе, университет может не иметь достаточной степени институционной автономии.

Это отсутствие функциональной автономии, однако, нередко сочетается с высокой степенью политической автономии. Во многих странах Азии и Латинской Америки, к примеру, университет признается лежащим вне пределов сферы действия полиции. Действия, которые считаются незаконными и запрещены за пределами университетского городка, не преследуются, если они совершаются на территории университета. «В царской России, — пишет Липсет, — согласно правилам действовавшей временами университетской автономии нелегальные революционные группы могли проводить свои встречи на университетской территории, и полиция не имела права вмешиваться. В Венесуэле в недавние годы террористы извлекали выгоду из этой традиции университетской автономии, используя университетскую территорию как место убежища от полиции»[22]. Политическая автономия студенчества есть до некоторой степени пережиток корпоративной автономии студенчества и других гильдий, которая существовала в эпоху Средневековья. Автономия студентов есть отчасти следствие того, что традиционно они рекрутируются из высших классов. У юношества, происходящего из рядов истеблишмента, больше возможностей для его подрыва, чем у тех, кто лишен таких связей. «Можем ли мы направить на них наши пулеметы? — вопрошал один из офицеров иранской полиции в разгар крупной студенческой демонстрации против режима. — Мы не можем этого сделать. В конце концов, это наши дети»[23]. Наследие традиции в виде корпоративных привилегий и социального статуса дает в модернизирующемся обществе университету, его преподавателям и студентам ту политическую базу, которой у них нет в обществе современном.

То сочетание функциональной зависимости и политической автономии, которое характеризует положение университета в преторианском обществе, еще более выражено в случае вооруженных сил. Профессиона-

лизм военных невысок; военные ценности, как и ценности академические, подчинены соображениям другого рода. На военную сферу оказывают влияние социальные, политические, экономические факторы. В то же время прилагаются незаурядные усилия для защиты политической автономии вооруженных сил. Считается, что вооруженные силы не находятся в прямом подчинении гражданских политических лидеров; их бюджеты обычно закреплены в конституции или обычаем; им принадлежит почти или полностью контроль в отношении собственной внутренней деятельности; члены кабинета, осуществляющие руководство вооруженными силами, назначаются из их рядов. Армия, как и университеты, жертвует функциональной автономией ради политического влияния. Политические руководители, бессильные добиться исполнения своих решений в университетах, едва ли могут этого добиться в отношении армии.

Преобладающие формы политического действия в радикальном преторианском обществе — подкуп, забастовки, демонстрации, перевороты — все это способы скорее давления на власти, нежели осуществления власти. Это не формы государственного действия или действия со стороны образований, в основе своей политических; это способы действия, характерные для образований, основные функции которых в теории не являются политическими. Поэтому участие этих групп в политике сильно меняется со временем. В политической системе с высоким уровнем институциализации участие групп в политике варьирует в соответствии с циклом выборов и созывов выборных институтов, а также в связи с появлением проблем и их исчезновением с повестки дня. Усилия, предпринимаемые некоторой группой участников политической игры для того, чтобы выиграть выборы или провести законопроект, вызывают аналогичные действия со стороны других групп. В результате участие расширяется; но обычно оно принимает единообразные формы и выражается через одни и те же институционные каналы. В преторианском обществе участие общественных групп в политике также обычно усиливается и ослабевает одновременно. Однако политическое действие одной группы вызывает к жизни другую форму политического действия со стороны другой группы. Последняя, в свою очередь, может подвигнуть третью к каким-то еще формам политического поведения. Конфликт усиливается, и его формы диверсифицируются, вызывая серьезный политический кризис, который может разрешиться лишь на пути понижения политической активности всех групп. В современном институциализованном обществе политическая активность способствует стабилизации; в преторианском она способствует дестабилизации.

«Последнее» средство давления на тех, кто находится у власти, это лишение их власти. Наиболее прямым средством достижения этой цели

в преторианской системе является военный переворот. Хотя все общественные группы прибегают к своим формам прямого политического действия, ясно, что военная форма — самая драматичная и самая эффективная. Она, однако, обычно оказывается реакцией на другие типы политического действия со стороны других групп или их продуктом. В радикальном преторианском обществе вмешательство военных в политику не есть изолированное отклонение от нормального мирного политического процесса. Это лишь одна из составляющих в сложном комплексе форм прямого действия, используемых множеством конфликтующих групп среднего класса. В таком обществе отсутствие общепринятых институционных каналов для выражения интересов приводит к тому, что притязания на участие в управлении обществом выражаются через посредство «механизмов гражданского насилия и военного вмешательства». Использование прямого действия всеми общественными силами есть не отклонение от норм такой системы; скорее, «устойчивая тенденция прибегать к насилию и *есть* в данном случае система или, по крайней мере, очень значительная часть этой системы»[24].

В радикальной преторианской системе распространенной формой политического действия студентов и сходных групп среднего класса служат волнения и демонстрации. Обычно такого рода действия приводят к падению правительства лишь в тех случаях, когда они таким образом поляризуют ситуацию, что вынуждают военных выступить против правительства. К примеру, в 1957 г. в Колумбии студенческие волнения вызвали всеобщую забастовку, целью которой было предотвратить формальные перевыборы и тем самым сохранить власть диктатора Рохаса Пинильи. Военные сначала отказывались выступать против Рохаса, но со временем эскалация насилия побудила сначала церковь, а потом армию перейти на сторону студентов. Когда это произошло, Рохасу пришел конец. В Корее в 1960 г. студенческие демонстрации против выборов привели к столкновениям, в которых, по сообщениям, погибло 186 студентов. Студенческая акция вынудила и другие общественные силы встать в оппозицию к режиму Ли Сын Мана. Сначала действия правительства осудили США; затем о своем нейтралитете в этом конфликте объявили военные. Лишенный поддержки военных, режим Ли пал. В Южном Вьетнаме в 1963 г. действия буддистов и студентов создали аналогичную ситуацию, в которой правительство Дьема лишилось поддержки сначала США, а потом военных.

Если, с другой стороны, военные в большой мере идентифицируют себя с правительством или упорствуют в своей к нему лояльности, мятежные действия студентов не составят угрозу правительству. В 1961 и 1962 гг., к примеру, студенческие волнения в Тегеране нарушили мир

в стране, но армия сохранила верность власти, и порядок был восстановлен. Осенью 1960 г. в Каракасе студенческие волнения привели к тому, что военные осадили Центральный университет. В этом случае также солдаты и рабочие остались верны правительству. Аналогичным образом в Бирме происшедшее в 1962 г. выступление студентов против военного режима привело к острой схватке между солдатами и студентами, которая закончилась тем, что было сровнено с землей здание студенческого союза. Таким образом, можно говорить о способности студенческих демонстраций и волнений побудить или вынудить правительство к существенным уступкам, но в ограниченной мере. Их влияние связано в первую очередь с тем, насколько они ведут к поляризации ситуации и склоняют другие общественные группы к поддержке правительства или выступлению против него.

В преторианской системе рост политической активности означает диверсификацию форм политического действия. Выход на политическую сцену городского рабочего класса приводит к росту разнообразия возможных демонстраций и появлению забастовки как важной формы прямого политического действия. В какой-то мере участие рабочих в политической жизни служит, очевидно, признаком перехода преторианского общества из радикальной фазы в массовую. В экономическом и социальном отношениях, однако, движение организованных рабочих в обществе, переживающем модернизацию, нельзя вполне отнести к движениям низших классов. Те, кто организован, составляют обычно экономическую элиту промышленной рабочей силы, и наиболее сильные профсоюзы чаще всего характерны для «беловоротничковых» профессий, представители которых относятся к среднему классу. Если для студентов излюбленными формами действия являются массовая демонстрация и устройство беспорядков, отличительной тактикой рабочих является, конечно же, забастовка, особенно всеобщая забастовка. Способность рабочих к проведению забастовки, как и способность военных осуществить переворот, в значительной мере зависит от их единства. Если имеет место высокая степень единства, то успех политического действия зависит от того, в какой мере оно побуждает к согласованным или параллельным действиям других групп, прежде всего военных. Возможны отношения четырех типов.

1. *Профсоюзы против правительства и военных.* В этом случае политические действия рабочих практически никогда не достигают своей цели. Если объявляется всеобщая забастовка, то объединенными действиями правительства, полиции и военных ее удается сорвать. В подобной ситуации забастовка нередко оказывается, по существу, свидетельством слабости профсоюзов (Перу, 1962; Чили, 1958).

2. *Профсоюзы плюс военные против правительства.* В этой ситуации всеобщая забастовка выполняет ту же функцию, что и студенческие беспорядки. Она поляризует ситуацию, и если у армии уже имеются причины выступать против правительства, то она может воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы принять участие в совместных или параллельных с профсоюзами действиях по отстранению правительства от власти. Такая конфигурация, однако, встречается нечасто.

3. *Профсоюзы плюс правительство против военных.* Такая ситуация чаще всего возникает в тех случаях, когда военные предпринимают прямые действия по свержению правительства, пользующегося профсоюзной поддержкой. Профсоюзы тогда встают на сторону правительства и объявляют всеобщую забастовку, чтобы помешать военному перевороту. Такая ситуация сложилась в Германии во время Капповского путча*; то же имело место в 1923 г. в Мексике, когда профсоюзы поддержали Обрегона против военных повстанцев. Похожая ситуация возникла и в 1949 г. в Гватемале, когда группа военных восстала против президента Аревало, а профсоюзы пришли ему на помощь, призвав ко всеобщей забастовке и предоставив добровольцев, которых лояльные воинские подразделения снабдили оружием. Вообще, успех коалиции профсоюзов с правительством против военных зависит от наличия какого-либо раскола в среде последних.

4. *Профсоюзы, правительство и военные друг против друга.* В этой ситуации профсоюзы оказывают давление на правительство, угрожая забастовкой и гражданскими беспорядками, что, в свою очередь, может побудить военных свергнуть правительство, чтобы подавить профсоюзы и восстановить порядок. Правительство, таким образом, оказывается перед выбором: изменить политику или потерять власть. Этот вариант — «насильственной демократии» — типичен для перуанской политики. Многочисленные примеры такого рода можно встретить и в политической жизни других латиноамерикаских государств. Например, в 1964 г. забастовки в оловодобывающей отрасли Боливии, направленные против правительства Паса Эстенсоро, вызвали гражданские волнения и беспорядки, которые побудили армию свергнуть Паса. Военные лидеры не испытывали особых симпатий к рабочим: через несколько месяцев им самим пришлось вести борьбу с горняками. Но ослабление режима и неспособность гражданских лидеров справиться с беспорядками предоставили военным возможность самим занять руководящие позиции. В Эквадоре похожий вариант трижды повторялся в отношении Веласко Ибарры: будучи избран пре-

* Попытка реакционного переворота 13–17 марта 1920 г.

зидентом, он разочаровал своих сторонников; «те, кто некогда поддерживал его, в частности студенты и рабочие, начали выступать против правительства; закон и порядок начали терять силу; в конечном счете вооруженные силы оказались перед необходимостью сместить его»[25]. В этом варианте конфликтной ситуации преторианство само себя поддерживает: вероятность прямого действия со стороны военных побуждает рабочих и студентов к прямому действию. Потенциал одной общественной группы усиливает другую, и происходит это за счет авторитета власти[26].

В радикальном преторианском обществе вмешательство военных представляет собой обычно реакцию на эскалацию социального конфликта между несколькими группами и партиями, сочетающуюся с падением эффективности всех существующих политических институтов. Военное вмешательство в этом случае направлено на прекращение быстрой мобилизации общественных сил, их выхода на политическую арену и на улицу (в преторианском обществе это одно и то же) и на то, чтобы, путем устранения мишени и непосредственного повода такой эскалации, обезвредить взрывную политическую ситуацию. Короче говоря, военное вмешательство часто означает окончание череды насильственных действий в политике. Оно в этом отношении существенно отличается от тактики, применяемой другими общественными группами. Хотя беспорядки, забастовки, демонстрации и могут прямо или косвенно понудить правительство к изменению его политики, сами по себе они не в силах сменить носителей государственной власти. В то же время военный переворот — это такая форма прямого действия, которая приводит к смене самого правительства, а не только его политики. Парадоксальным образом военные не имеют в своем распоряжении таких инструментов прямого действия, которые бы позволяли им достигать ограниченных политических целей. Они могут, конечно, угрожать правительству переворотом, если оно не изменит своей политики, но не могут надавить на правительство, чтобы оно изменило политику, осуществив переворот. Для достижения целей такого рода гражданские общественные силы и даже лица, служащие в армии по найму (которые могут забастовать или взбунтоваться), располагают более адекватными инструментами прямого действия, нежели офицеры. Единственное, что остается последним, это применение или угроза применения оружия в качестве крайней меры.

Природа политической тактики, используемой военными, отражает присущую им организованность и тот факт, что если другие общественные силы могут оказывать давление на правительство, то военные могут сместить его. Монахи и священники могут организовывать шествия, студенты — устраивать беспорядки, а рабочие — бастовать, но ни одна из этих групп не

выказала, кроме как в исключительных обстоятельствах, какой-либо способности управлять. «Наиболее серьезной составляющей хаоса, — писал один из исследователей ситуации в Корее после свержения Ли Сын Мана, — был тот факт, что студенты и городское население, положившие начало движению, не обладали ни организацией, ни программой, необходимыми для восстановления общественного порядка, и политические силы, сохранившие свое влияние в стране, не были тесно с ними связаны в процессе свержения режима»[27]. Военные же, напротив, обладают определенными возможностями для установления по меньшей мере временного порядка в радикальном преторианском обществе. Переворот есть крайняя форма прямого действия против власти, но он же является средством положить конец другим типам действий против этой власти и потенциальным средством восстановления политической власти. В ситуации развивающегося конфликта военный переворот, таким образом, создает немедленный эффект понижения уровня политической активности, включая удаление с улиц соперничающих общественных сил, и рождает у людей чувство облегчения и умиротворенности. После переворота, осуществленного в марте 1962 г. в Бирме, к примеру, «что бы там ни было, но возникло чувство облегчения; по крайней мере, было остановлено сползание вниз»[28]. В радикальном преторианском обществе сходные чувства, связанные со снижением остроты конфликта, наступают после большинства переворотов, приводящих к смещению гражданских правительств. На смену эскалации насилия в борьбе соперничающих групп приходит быстрая, хотя и временная, демобилизация групп из политики, по мере того как они покидают баррикады, чтобы понаблюдать, как будут развиваться события.

Отличительными чертами переворота как политического инструмента является то, что: (а) это попытка некоторой политической коалиции незаконным образом сместить существующих руководителей государства путем насилия или угрозы насилия; (б) размеры применяемого насилия обычно невелики; (в) число участников предприятия также невелико; (г) участники уже располагают источниками влияния в рамках политической системы. Ясно, что переворот может быть успешным только если: (а) общее число участников политической системы невелико или (б) число участников велико и значительная их часть поддерживает переворот. Последнее условие выполняется редко, поскольку, если число участников политической жизни велико, практически невозможно объединить их в составе эффективной коалиции в поддержку переворота. В отсутствие же такой коалиции переворот либо терпит поражение в результате оппозиции со стороны других групп, как было в случае Каповского путча, либо же приводит к полномасштабной гражданской войне, как это произошло в результате военного мятежа в Испании в 1936 г.

Переворот, приводящий военных к власти в зрелой радикальной преторианской системе, есть действие не только военное, но и политическое. Он является продуктом коалиции клик и групп, обычно включающих как военные, так и гражданские элементы, которые в большинстве случаев готовили его в течение достаточно долгого времени. В ходе подготовки различные группы возможных участников политической игры проходят испытание, дающее возможность убедиться в их поддержке или нейтрализовать их оппозицию. Если переворот завершает собой череду гражданских беспорядков, устроенных интеллигенцией, рабочими или другими гражданскими группами, то эта предваряющая его активность хорошо всем видна. И даже в тех случаях, когда перевороту не предшествуют открытые проявления насилия и беспорядки, о его приближении почти всегда свидетельствуют перемены в системе политических лояльностей и признаки трансформации связей и союзов.

Полковник, замышляющий переворот, если он умен, готовит его во многом так же, как лидер большинства в Сенате США готовится к вотированию важного законопроекта: он извлекает выгоду из прошлых услуг, обещает будущие дивиденды, апеллирует к патриотизму и верности, пытается отвлечь внимание оппозиции и расколоть ее, а когда дело подходит к решающему моменту, страхуется на предмет мобилизации и готовности к действию всех своих сторонников. Именно эта тщательная подготовка — кропотливая организация политического большинства — делает переворот безболезненным и бескровным. Сам захват власти может быть делом небольшой группировки, но в норме еще до того, как начинаются действия по захвату власти, она добивается поддержки со стороны значительной части общего числа игроков на политическом поле данного общества. В наиболее успешном варианте жертвы переворота вообще не оказывают никакого сопротивления: как только объявлен переворот, они уже знают, что проиграли, и поспешно направляются в аэропорт. Захват власти в этом смысле представляет собой завершение политической борьбы и регистрацию ее результатов — точно так же, как это происходит в день выборов в демократической стране.

От радикального преторианства к массовому: вето-перевороты и военные как охранители (guardians)

В 1960-е г. ученые потратили немало чернил и времени, обсуждая вопрос о том, играют ли военные в основном прогрессивную или реакционную роль в процессе модернизации. Большинство, кажется, согласно в том, что

на Ближнем Востоке военные обычно являлись сторонниками перемен; армия, как писал Халперн, есть «авангард национализма и социальных реформ»; это наиболее сплоченный и дисциплинированный элемент «нового среднего класса», чье воздействие на общество является преимущественно революционным. В отношении Латинской Америки, однако, такого согласия отнюдь не было; факты, логика и статистика убедительно использовались как сторонниками прогрессивности, так и сторонниками консервативности[29].

Обе точки зрения верны. Просто для Латинской Америки характерно большее разнообразие ситуаций. За исключением Турции, практически во всех средневосточных преторианских и полупреторианских обществах после Второй мировой войны все еще происходили процессы расширения границ политической активности — от олигархии к среднему классу. Армейские офицеры рекрутируются из рядов среднего класса и выполняют свойственные среднему классу функции в профессионализированной, бюрократической среде. Там, где решение фундаментальных политических проблем требует свержения олигархии и прихода к власти среднего класса, военные неизбежно оказываются на стороне реформ. Это было справедливо и для Латинской Америки. В наиболее развитых латиноамериканских обществах — Аргентине, Чили, Бразилии — военные в начале XX в. были реформаторами. Во время Второй мировой войны и после нее офицеры играли ведущую роль или участвовали в реформаторских движениях среднего класса в Боливии, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Венесуэле. В начале 1960-х они стали центром сильного реформаторского движения среднего класса в Перу и играли прогрессивную роль в Эквадоре. Однако в Бразилии и Аргентине в 1950-е и затем в Боливии, Гватемале и Гондурасе в 1960-е роль военных стала более реакционной. Отчетливо прослеживается зависимость этой роли от степени мобилизации в политическую жизнь низших классов.

Частота военных переворотов в Латинской Америке, как показал Хосе Нун, не связана с численностью среднего класса[30]. Преторианская политика имеет место на всех стадиях социальной мобилизации и роста политической активности. Однако влияние и значимость военного вмешательства в политику зависят от численности среднего класса. В Латинской Америке 1950-х, в тех странах, где средний и высший классы были очень немногочисленны, составляя менее 8% населения (Никарагуа, Гондурас, Доминиканская Республика и Гаити), стиль политики был все еще персоналистским, олигархическим, и военному реформатору из среднего класса еще только предстояло появиться на политической сцене. В тех странах, где средний класс был более многочисленным, состав-

ляя 8–15% всего населения, преобладающие группы в среде военных обычно играли в 1930-е и 1940-е гг. роль скорее реформаторскую и модернизаторскую. К таким странам относились Гватемала, Боливия, Сальвадор и Перу. Панама и Парагвай, где высший и средний классы в 1950 г. составляли соответственно 15 и 14%, в некоторых отношениях отклонялись от этой категории. В более крупных и сложноорганизованных обществах, где средний класс составлял от 15 до 36% всего населения, военные либо воздерживались от участия в политике и представляли собой в первую очередь профессиональную группу (Чили, Уругвай, Коста-Рика, Мексика), либо же вмешивались в политику, играя все более консервативную политическую роль (Аргентина, Куба, Венесуэла, Колумбия, Бразилия).

С изменением общества меняется и роль военных. В мире олигархии солдат является радикалом; в мире среднего класса он участник и арбитр; по мере того как на горизонте начинает маячить массовое общество, он превращается в охранителя существующего порядка. Таким — парадоксальным, но вполне понятным — образом, чем более отсталым является общество, тем прогрессивнее роль в нем военных; чем более общество становится развитым, тем более консервативной и реакционной становится роль военных. В 1890 г. аргентинские офицеры основали Лохиа Militар, чтобы способствовать реформам. Тридцатью годами позже они основали Лохиа Сан Мартин, которая противостояла реформам и в которой был выношен план переворота 1930 г., направленного на восстановление той «устойчивой конституционной демократии», которую подрывала «массократия» президента Иригойена[31]. Точно так же и в Турции младотурки в 1908 г. и кемалисты в 1920-е гг. играли весьма прогрессивную, реформаторскую роль, сходную с той, которую приняли на себя военные после Второй мировой войны в других ближневосточных странах. Однако к этому времени военные в Турции вмешивались в политику для того, чтобы помешать приходу к власти нового предпринимательского класса, поддерживаемого крестьянами. Солдаты не изменились; они все еще поддерживали реформы кемалистской эпохи. Но они к этому времени не желали допускать к власти те общественные классы, которые могли внести изменения в эти реформы.

Масштабы политизации военных институтов и лиц зависят от степени слабости гражданских политических организаций и неспособности гражданских политических лидеров к решению основных политических проблем, стоящих перед страной. То, в какой мере политизированный офицерский корпус играет консервативную или реформаторскую роль в политике, зависит от уровня политической активности в обществе.

Нестабильность и перевороты, связанные с выходом на политическую сцену среднего класса, имеют причиной изменение характера военных; те, что связаны с активизацией низшего класса, видят свою задачу в изменении общества в целом. В первом случае военные модернизируются и в их сознании укореняются такие понятия, как эффективность, честность и национализм, отчуждающие их от существующего порядка. Они вмешиваются в политику, чтобы подтянуть общество до своего уровня. Они являются авангардом среднего класса и прокладывают ему путь на политическую арену. Они способствуют проведению социальных и экономических реформ, национальной интеграции и в какой-то мере росту политической активности. После того как группы представителей городского среднего класса становятся доминирующими элементами политической жизни, военные начинают играть роль арбитров и факторов стабилизации. Если общество оказывается способным перейти от участия в политике среднего класса к ситуации массового участия с достаточно развитыми политическими институтами (так, как это произошло в Чили, Уругвае и Мексике), военные принимают на себя роль неполитического, специализированного, профессионального института, характерного для систем с «объективным» гражданским управлением. И действительно, среди латиноамериканских стран только в Чили, Уругвае и Мексике не было военных переворотов в течение двух десятилетий после Второй мировой войны. Если же общество вступает в фазу массового участия в политике, не сформировав у себя эффективных политических институтов, военные оказываются вовлеченными в консервативное движение по защите существующей системы от посягательств со стороны низших классов, особенно городских низших классов. Они становятся гарантами существующего доминирования среднего класса. Они, таким образом, являются в некотором роде привратниками на пути к политическому участию в преторианском обществе: их историческая роль состоит в том, чтобы открывать врата среднему классу и закрывать их перед низшими классами. Радикальная фаза преторианского общества начинается с яркого, модернизационного военного переворота, свергающего олигархию и возвещающего приход просвещения в политику, а заканчивается чередой болезненных и болезнетворных арьергардных попыток остановить низшие классы в их движении к высотам политической власти.

Такие вмешательства типа «вето» можно, следовательно, рассматривать как прямое отражение растущего участия низших классов в политике. Более активная роль военных в Аргентине после 1930 г. совпала с удвоением численности промышленного пролетариата с 500 000 до одного миллиона за время немногим больше десяти лет. Аналогичным обра-

зом в Бразилии «именно требования, шумно выдвигаемые городской массой, и рост числа политиков, демагогически завоевывающих ее голоса, были тем обстоятельством, которое вернуло военных в политику в 1950 г.». В 1954 г. военные выступили против Варгаса, когда он на пероновский манер попытался «быстро вернуть народную поддержку правительству, раздавая безрассудные обещания рабочим»[32].

Более конкретно, вмешательства типа «вето» обычно происходят в одной из двух ситуаций. Одна — это действительная или возможная победа на выборах партии или движения, неприемлемых для военных или представляющих группы, которые военные не хотят допустить к политической власти. Пять из семи переворотов, имевших место в Латинской Америке с 1962 по 1964 г., преследовали именно такую цель. В Аргентине в марте 1962 г. военные вмешались, чтобы сместить президента Фрондизи и аннулировать результаты выборов, на которых перонисты получили 35% голосов, провели своих кандидатов на посты десяти из четырнадцати губернаторов провинций и заняли почти четверть мест в Палате депутатов. В Перу в июле 1962 г. военные захватили власть после выборов, чтобы помешать стать президентом Айя де ла Торре из апристов* или бывшему генералу Мануэлю Одриа. В Гватемале в марте 1963 г. целью военного переворота было не допустить возможное избрание радикала Хуана Аревало. В Эквадоре в июле 1963 г. военные сместили президента Аросемену отчасти для того, чтобы обезопаситься от возвращения к власти Веласко Ибарры, которого они свергли в ноябре 1961 г.[33]. В Гондурасе в октябре 1963 г. произошло повторное вмешательство военных, чтобы предотвратить избрание реформатора-популиста Родаса Альварадо. Все более консервативная роль военных в Латинской Америке, нацеленная на недопущение к власти популистских, представляющих низшие классы и реформаторских движений, проявилась в том, что военные перевороты все в большей мере оказывались связанными с выборами. В 1935–1944 гг. в Латинской Америке только 12% переворотов имели место в течение двенадцати месяцев перед намеченными выборами или в течение четырех месяцев после них. В 1945–1954 гг. этот показатель вырос до 32%, а в 1955–1964 гг. примерно 56 % переворотов произошло незадолго до или вскоре после выборов[34].

Вето-перевороты также происходят в тех случаях, когда находящееся у власти правительство начинает проводить радикальную политику или обращаться к группам, которые военные не хотят допускать к власти. Так обстояло дело в Перу в 1948 г., в Доминиканской Республике в 1963 г.,

* По названию партии АПРА.

в Бразилии в 1964 г. и, в несколько ином контексте, в Турции в 1960 и в Индонезии в 1965 гг. Во всех этих случаях обоих типов доминирующая в вооруженных силах группа выступала против партии или движения, располагавшего широкой народной поддержкой — апристов, перонистов, коммунистов, демократов и т.п., — и действовала так, чтобы лишить эту группу власти или не допустить ее к власти.

При движении от традиционной или олигархической системы к системе, в которой ключевую роль играет средний класс, проведение социальных и экономических реформ идет рука об руку с ростом политической активности. При переходе от радикального общества к массовому эта связь проявляется не столь отчетливо. Почти всюду политизированный офицерский корпус противостоит приходу в политическую жизнь городских низших классов. Военное вмешательство оказывает в таких случаях консервативное действие: оно предотвращает рост политической активности вследствие допуска в политику более радикальных групп и тем самым замедляет процесс социально-экономических реформ. Однако в ближневосточных и азиатских обществах массы вполне могут оказаться более консервативными, нежели националистические элиты среднего класса, пришедшие к власти на волне западного колониализма. В этих условиях военное вмешательство с целью не допустить к власти новые группы может в конечном счете оказать положительное влияние на правительственную политику. Короче говоря, рост политической активности может мешать проведению социально-экономических реформ. Свержение в 1960 г. в Турции правительства Мендереса, к примеру, было попыткой ограничить участие в политике лидеров, поддерживаемых более традициоными и консервативными массами сельского населения. В таких обществах политика, можно сказать, ориентирована сверху вниз, поскольку защитники традиционного порядка располагаются внизу, а не наверху.

Даже в Латинской Америке, где отчетливо выраженная классовая структура обусловливает высокую корреляцию между ростом политической активности и проведением реформ, могут сложиться обстоятельства, в которых военные действуют в пользу последних и против первого. То, что в ранней истории Перу военные не смогли сыграть роль реформаторов, во многом объясняется развитием АПРА как реформаторского движения среднего класса и рабочих, а также инцидентами, которые привели к тому, что между этим движением и военными сложились в начале 1930-х неприязненные отношения. В действительности противоречия имели место внутри самого среднего класса, что было «на руку высшим классам, которые поэтому поддерживали и разжигали существующие

противоречия»[35]. Следствием этого было «неестественно» затянувшееся в Перу олигархическое правление, сохранявшееся до появления там в конце 1950-х нового, не связанного с апристами гражданского реформаторского движения. Вмешательство в 1962 г. военных в некотором роде ускорило исторический процесс. В том отношении, что его целью было помешать прийти к власти апристам, вмешательство было проявлением консервативной, опекунской роли. В том же отношении, что оно привело к власти реформаторски настроенную военную хунту и затем реформаторски настроенный гражданский режим, оно попадает в ранее рассмотренную прогрессистскую категорию, напоминая своими действиями неоднократное вмешательство военных в политику в Чили в 1920-е гг. В некоторых отношениях события 1962–1963 гг. следовали классическим образцам реформы. Переворот, совершенный в июле 1962 г., привел к власти военную хунту из трех человек, которая начала разрабатывать программы аграрной и социальной реформ. Глава хунты, генерал Перес Годой, оказался, однако, слишком консервативен; он, по словам Ричарда Пэтча, был «одним из последних генералов старого времени» и замышлял возвращение к власти консервативного генерала Мануэля Одриа. В связи с этим в начале 1963 г. в ходе консолидационного переворота Годой был смещен, и на его место пришел генерал Николас Линдли Лопес, который был лидером прогрессивной группы военных, сложившейся вокруг «Сентро де Альтос Эстудиос Милитарес» (Центра высших военных наук). «Смещение главы хунты генерала Годоя, — писал один из аналитиков, — было еще одним признаком консолидации реформаторски настроенных офицеров»[36].

В обоснование той охранительной роли, в которой выступают военные, приводится довод, который выглядит убедительным для многих армий, а нередко и для лидеров американского общественного мнения. Военные вмешиваются в политику в отдельных случаях и для ограниченных целей и поэтому не рассматривают себя ни как модернизаторов общества, ни как творцов нового политического порядка; они воспринимают себя в качестве охранителей существующего порядка и, возможно, тех, кто его очищает. Армия, по словам боливийского президента (и генерала ВВС) Баррьентоса, должна выполнять в отношении страны «опекунские функции... ревностно следить за исполнением законов и добросовестностью правительств»[37]. Вмешательство военных вызывается, таким образом, коррупцией, стагнацией, застоем, анархией, подрывными действиями против существующей политической системы. После того как явления такого рода устранены, утверждают военные, они могут вернуть очищенное общество в руки гражданских руководителей. Их роль сводится к тому, чтобы

ликвидировать беспорядок и потом устраниться. Их диктатура носит временный характер — в какой-то мере следуя римскому образцу.

Идеология охранительства мало меняется от страны к стране. Неудивительно, что наибольшего развития она достигла в Латинской Америке, где широко распространено преторианство и высок уровень политической активности. Как сказал один аргентинский генерал, армии следует вмешиваться в политику для предупреждения «крупных бедствий, угрожающих национальной стабильности и целостности, оставляя в стороне меньшие бедствия, попытки уберечь от которых лишь мешают нам ясно видеть наш долг и исполнять его». Многие латиноамериканские конституции явным или неявным образом признают за армией эту охранительную функцию. Перуанские военные, например, оправдывали свои действия по недопущению апристов к власти следующим пунктом конституции: «В задачу вооруженных сил входит обеспечение в Республике законности, соблюдения Конституции и законов и охрана общественного порядка»[38]. Можно сказать, что военные в некотором роде принимают на себя функции, аналогичные функциям Верховного суда США: на них лежит ответственность за сохранение политического строя, и они, соответственно, вмешиваются в политику в моменты кризиса или конфликта, чтобы наложить вето на те действия «политических» ветвей власти, которые противоречат основаниям, на которых зиждется данная система. Но помимо этого они озабочены и сохранением собственной институционной целостности и потому характеризуются внутренним разделением на две противостоящих категории, которые руководствуются тем, что можно назвать военными эквивалентами «правового активизма» и «правового невмешательства».

В наибольшей мере и наиболее явственно эта охранительная функция проявилась, вероятно, в бразильской армии. В дни вооруженного свержения императорского строя один из военных интеллектуалов отстаивал то, что он называл «неоспоримым правом вооруженных сил низлагать законную власть... если военные чувствуют, что это дело их чести, или считают это необходимым и уместным для блага страны»[39]. Эта охранительная функция была в какой-то мере внесена в конституцию 1946 г., где написано, что назначение вооруженных сил состоит в том, чтобы «защищать отечество и гарантировать конституционный строй, а также законность и порядок». Первейшая обязанность армии, таким образом, состояла в том, чтобы охранять общественный мир и бразильскую республиканскую форму правления. Поэтому армия должна быть вне и выше политики. Если армия решает, что республика в опасности, что возникает угроза общественному порядку, то ее долг — вмешаться и восстановить конституционный

порядок. После того как это сделано, она обязана устраниться и вернуть власть в руки нормальных (консервативных, представляющих средний класс) гражданских руководителей. «Военные, — говорил президент Кастельо Бранко, — должны быть готовы действовать согласованно, своевременно и к тому, чтобы перед лицом необходимости обеспечить в Бразилии правильность правительственного курса. Необходимость и возможность действия определяются не только стремлением быть опекунами нации, но и сознанием того, что ситуация требует чрезвычайных действий во имя блага нации». Эту доктрину, получившую некогда название «супермиссии», правильнее, вероятно, называть «государственничеством» (civism). В ней отражается та подозрительность, с какой армия относится к персонализму и к сильным, популярным, пришедшим к власти в результате прямого избрания и пользующимся поддержкой масс лидерам, таким, как Жетулиу, Жаниу, Жангу или Жуселину*. «Армия не желает никакого перонизма, никакой популярной партии, которая могла бы по своему организационному устройству угрожать доминирующему положению армии как выразителя и защитника национальных интересов»[40]. Таким образом, армия мирится с существованием популярного лидера лишь до той поры, когда он начинает создавать массовую организацию из своих сторонников, которая может позволить ему оспорить роль армии в качестве арбитра в деле определения национальных ценностей.

США нередко поддерживали это представление об армии как охранительнице общественного порядка. Во многих случаях США были рады, когда военные смещали неугодные им правительства, а затем, чтобы примирить эти действия со своей демократической совестью, настаивали на том, чтобы при первой же возможности военные руководители передали власть новому — предположительно надежному — гражданскому правительству, сформированному в соответствии с результатами свободных выборов. С точки зрения модернизации и развития вторая ошибка дополняла первую. Ибо совершенно ясно как то, что за охранительством стоят самые возвышенные обоснования и мотивы, так и то, что оно оказывает крайне разлагающее и коррумпирующее воздействие на политическую систему. Нарушается связь между ответственностью и властью. Гражданские лидеры могут обладать чувством ответственности, но они знают, что не располагают властью и что им не дано утвердить свою власть, поскольку их действия подлежат вето со стороны военных. Военная хунта может обладать властью, но ее члены знают, что им не придется нести ответственность за последствия своих действий, поскольку они всегда могут вернуть власть в руки гражданских, если не справятся с проблемами управления. Можно было бы предположить, что в такой ситуации сформируется система сдержек и противовесов, в которой гражданские лидеры будут стремиться избежать вмешательства военных, а военные будут делать все возможное, чтобы избежать травматических последствий неумелой политики. В действительности, однако, системы такого типа побуждают обе стороны к наихудшему возможному поведению.

* Жетулиу, Жаниу, Жангу или Жуселину — Жетулиу Д. Варгас (Бразилия), Жоад (Жангу) Гуларт (Бразилия), Жуселину Кубичек (Бразилия); носителя четвертого из популярных прозвищ латиноамериканских лидеров установить не удалось (возможно, это Хуан Перон, аргентинский лидер).

То, насколько кругозору военных свойственны все ограничения, типичные для среднего класса, заставляет считать безосновательными надежды на их все большее превращение в общественную силу, ориентированную на реформы. Высказывались, к примеру, предположения, что в будущем мы увидим появление латиноамериканского насеризма, т.е. «принятие на себя латиноамериканскими вооруженными силами той же ответственности за модернизацию и реформы, которую взяли на себя военные на Ближнем Востоке»[41]. Многие из латиноамериканцев, как гражданские, так и полковники, видят в насеровском варианте наиболее многообещающий путь в направлении социального, экономического и политического развития. Но у этих ожиданий мало шансов осуществиться. В большинстве обществ Латинской Америки нет условий для насеризма. Они слишком сложны, слишком дифференцированы и слишком экономически развиты, чтобы спасаться посредством военного реформаторства. По мере модернизации Латинской Америки роль военных там становилась все более консервативной. Между 1935 и 1944 гг. 50 % переворотов в Латинской Америке преследовали реформистские цели изменения экономического и социального статус-кво; между 1945 и 1954 гг. такие цели были свойственны 23% переворотов; между 1955 и 1964 гг. — только 17%[42]. Сказать, что Бразилии 1960-х нужен Насер, это примерно то же, что утверждать, что России 1960-х нужен Столыпин. Эти два типа руководителей просто не соответствуют стадии развития, достигнутой этими обществами. В 1960-е Столыпин принес бы, вероятно, пользу в Иране или Эфиопии, а в Латинской Америке Насеру бы нашлось место на Гаити, в Парагвае, Никарагуа или даже в Доминиканской Республике. Остальная же часть континента была уже просто слишком высокоразвитой для столь привлекательно простой панацеи.

По мере того как общество становится сложнее, военным становится все труднее, во-первых, эффективно управлять и, во-вторых, захватывать власть. Как сравнительно немногочисленная, социально однородная,

высокодисциплинированная и сплоченная группа верхушка офицерского корпуса может действовать вполне эффективно в качестве руководящей силы в обществе, которое остается достаточно несложным и малодифференцированным. По мере того как преторианское общество становится более сложным и дифференцированным, число общественных групп и сил множится и проблемы координации и согласования интересов все усложняются. В отсутствие эффективных центральных политических институтов для разрешения социальных конфликтов военные становятся всего лишь одной из многих сравнительно изолированных и автономных общественных сил. Их способность добиваться поддержки и побуждать к сотрудничеству снижается. Кроме того, военные, разумеется, далеко не всегда владеют теми эзотерическими искусствами ведения переговоров, достижения компромиссов и завоевания массовых симпатий, которых требует политическая деятельность в условиях сложного общества. Общество попроще можно взнуздать, пришпорить и повести к цели. Но там, где велика социальная дифференциация, политический лидер должен уметь балансировать и достигать компромиссов. Сама тенденция выбирать охранительную роль в более сложноорганизованном обществе свидетельствует о том, что военным не чуждо сознание трудностей, связанных с интеграцией общественных сил в таком обществе.

Речь идет не только о том, что высокоспециализированной группе труднее осуществлять руководящую роль в более сложноорганизованном обществе; сами средства, с помощью которых военные могут захватывать власть, начинают утрачивать свою эффективность. По самой своей природе переворот как метод политического действия становится все менее адекватным по мере роста политической активности. В олигархическом обществе и на ранних этапах развития радикального преторианского общества насилие имеет ограниченное распространение, поскольку правительство слабо и политическая жизнь характеризуется малой интенсивностью. Число участников политического процесса невелико, и они чаще всего сравнительно тесно связаны между собой. В Бирме, к примеру, военные и политические лидеры были в большой мере охвачены брачными связями[43]. Но с ростом политической активности и усложнением общества осуществлять перевороты все труднее, и они становятся все более кровавыми. 81% переворотов в Латинской Америке в период между 1935 и 1944 гг. были практически бескровными, без уличных боев и других форм участия населения. В 1945–1954 гг. невысокий уровень насилия наблюдался уже в 68% случаев, а в 1955–1964 гг. — только в 33% случаев[44]. Все более насильственный характер переворотов, естественно, имел следствием растущее использование форм насилия со стороны других общественных групп. По мере того как общество становится более сложным, другие группы вырабатывают собственные средства противодействия военным. Если предпринимается попытка ущемить их интересы, они могут в ответ прибегнуть к своим формам насилия или принуждения. Всеобщие забастовки, к примеру, сыграли большую роль в свержении режима в Гватемале в 1944 г. и в пероновском консолидационном перевороте в Аргентине в 1945 г.[45]. Когда число групп, участвующих в политической жизни, велико, желающий получить власть нуждается в более широкой опоре, чем та, которой располагает обычно классическая группа. Всеобщей забастовкой можно было остановить Каппа, но не Гитлера. Сходным образом, традиция «пронунсиаменто»* в Испании прервалась в 1936 г. Мятеж армии привел не к перевороту, а к гражданской войне — после того как в поддержку правительства выступили профсоюзы, радикалы, каталонцы и другие группы. В крайних случаях вето-переворотов часто создавались рабочие ополчения — либо для того, чтобы защитить власть от посягательств со стороны регулярной армии, либо же для того, чтобы создать противовес регулярной армии, прежде чем она захватит власть.

Следующие друг за другом перевороты, таким образом, в конечном счете снижают возможность переворотов. Перемены во власти и политике требуют либо сложного торга и соглашений между многими группами, либо кровавой гражданской войны. По мере того как расширяется число участников политического процесса, насилие становится менее частым, но более ожесточенным. Как указывал Д. Растоу: «Один-два века тому назад могли прогонять или казнить везиров, смещать или убивать султанов. Но рядовой ремесленник, крестьянин или кочевник практически не ощущали изменений. Сегодня же, напротив, политическое убийство, переворот — а иногда и простые выборы — нередко сопровождаются масштабными политическими или даже военными акциями, массовыми арестами и депортацией, запрещением газет и политическими судебными процессами. Нестабильность, некогда напоминавшая рябь на поверхности, теперь вздымает волны по всему обществу»[46]. Демократизация управления в обществе, где насилие составляет неотъемлемую принадлежность управления, означает и демократизацию насилия. На смену государственному перевороту — внутриполитическому силовому конфликту ограниченного масштаба — может прийти революционная война или другая форма насильственных действий, в которые вовлечено множество элементов общества. Возможно, конечно, что консервативные элементы мирно уступят

* Пронунсиаменто — военный переворот (а также призыв к нему) в Испании и Латинской Америке.

требованиям новых, появляющихся на политической арене групп, открывая тем самым дорогу процессам мирного изменения. Если же они этого не сделают, то уменьшение роли военных в общественной жизни и управлении вполне может сопровождаться повышением роли насилия.

Захват военными власти путем переворота, целью которого было помешать росту политической активности, приносит политической системе лишь временное облегчение. Единственное, что объединяет группы, участвующие в перевороте, это их стремление пресечь или обратить вспять те тенденции, которые, как они считают, подрывают существующий политический строй. Как только военные оказываются у власти, коалиция участников переворота начинает распадаться. Она может распасться на множество мелких клик, каждая из которых пытается реализовать свои цели. Чаще же она распадается на две больших фракции — радикалов и умеренных, сторонников жесткой и сторонников мягкой линии, «горилл» и «легалистов». Борьба между умеренными и радикалами может касаться многих вопросов, но обычно ключевым становится вопрос о возвращении к власти гражданских политиков. Хунта, приходящая к власти в ходе вето-переворота, всегда обещает быстрый уход и возвращение к нормальному гражданскому управлению. Однако сторонники жесткой линии настаивают на том, чтобы военные оставались у власти и навсегда исключили возвращение к власти тех гражданских групп, которые были устранены в результате переворота, а также на проведении структурных реформ в политической системе. Обычно сторонники жесткой линии — государственники в экономике и авторитаристы в политике. Умеренные, с другой стороны, обычно рассматривают задачи переворота как более ограниченные. После того как неприемлемые политические лидеры устранены с политической сцены и проведены некоторые политические и административные изменения, они склонны считать, что их дело сделано и они могут уйти на политическую периферию. Как и в прорывных переворотах, отмечающих начало политической активности среднего класса, в вето-переворотах тоже первыми к власти приходят умеренные. Их умеренность состоит, однако, не в том, что они готовы идти на компромиссы с существующей олигархией, а в том, что они готовы идти на компромиссы с нарождающимися массовыми движениями. Радикалы, с другой стороны, сопротивляются росту политической активности населения. В прорывном перевороте радикал не идет на компромиссы с олигархией; в вето-перевороте радикал не идет на компромиссы с массами. Один торопит историю; другой пытается ее тормозить.

Противостояние умеренных и радикалов означает, что вето-перевороты, как и прорывные перевороты, часто происходят парами: за первым переворотом следует второй, консолидационный, в ходе которого сторонники жесткой линии пытаются свергнуть умеренных и предотвратить возвращение власти в руки гражданских лиц. В этом случае, однако, меньше вероятность, что консолидационный переворот будет успешным, чем тогда, когда на арену выходит средний класс. К примеру, в Аргентине в 1958 г. и повторно в 1962 г. умеренные военные, желавшие возвращения к власти гражданских политиков, смогли подавить попытки «горилл» помешать этому переходу. В Турции в 1960 и 1961 гг. генерал Гюрсель также сумел подавить попытки консолидационного переворота, предпринятые радикальными полковниками. В Корее после военного переворота 1961 г. развернулась аналогичная борьба между старшими офицерами, склонявшимися к возвращению гражданской власти или к приданию гражданских черт военному правлению, и теми молодыми полковниками, которые настаивали на сохранении власти в руках военных в течение долгого времени для того, чтобы очистить корейскую политическую систему. Осенью 1962 г. генерал Пак выказал желание придать своему правлению гражданскую форму и заявил о намерении баллотироваться в президенты в открытых выборах. Зимой 1963 г. члены военной хунты высказались против этих действий. Со временем, однако, победили умеренные, и выборы были проведены поздней осенью 1963 г. Напротив, в той борьбе, которая началась в Бирме после переворота, произошедшего в марте 1962 г., умеренные потерпели поражение, и главный выразитель их позиции, генерал Аун Гуи, был в феврале 1963 г. выведен из состава правительства как сторонник возвращения гражданской власти.

Главное противоречие, связанное с охранительной ролью армии, коренится в двух основополагающих допущениях: что армия выше политики и что армия должна вмешиваться в политику для предотвращения изменений в политической системе. Охранительная роль армии зиждется на тезисе, что причинами военного вмешательства являются временные и экстраординарные нарушения в работе политической системы. В действительности, однако, эти причины лежат внутри политической системы и являются неизбежным следствием модернизации общества. Их нельзя устранить простым устранением людей. Кроме того, если армия блокирует завоевание власти другой общественной группой, то это ведет к объединению заинтересованных институтов и лиц и к появлению у офицеров смертельного страха перед возмездием, которое обрушится на них, как только они когда-нибудь отменят свое вето. В результате основания для вмешательства сохраняются, и армия оказывается обреченной на то, чтобы все время препятствовать приходу к власти некогда отстраненной группы.

Армия, предпринявшая вмешательство в политику в форме вето-переворота, оказывается перед выбором, с которым столкнулась бразильская армия после переворота в апереле 1964 г. «Бразильской армии, — писал тогда Тайсон, — приходится выбирать между тем, чтобы и дальше быть втянутой в бразильскую политику, что неизбежно приведет к разногласиям и нарушит единство армии, и тем, чтобы позволить другим существующим и вновь возникающим группам организовываться в целях эффективного политического действия, — ценой утраты своей монополии на власть и положения верховного арбитра»[47]. Точнее сказать, армия, предпринимающая такого рода вмешательство, может выбирать из четырех способов действия — удерживая власть или возвращая ее в руки гражданских, с одной стороны, и мирясь с ростом политической активности или препятствуя ему. Каждое из решений, однако, связано с издержками как для военных, так и для политической системы.

1. *Вернуть и ограничивать* (*вариант Арамбуру*). Военные могут отдать власть гражданским после своего кратковременного правления и чистки среди правительственных чиновников, но по-прежнему ограничивать доступ к политической власти для новых групп. В такой ситуации, однако, почти всегда возникает необходимость повторных вмешательств. В 1955 г., к примеру, аргентинские военные изгнали Перона. В ходе последующей борьбы сторонники мягкой линии во главе с генералом П. Арамбуру победили сторонников жесткой линии, и к власти вновь пришли гражданские политики. Были проведены выборы, и президентом был выбран умеренный Фрондизи. На следующих выборах (1962 г.) перонисты продемонстрировали, что они все еще располагают поддержкой трети аргентинского электората. По этой причине Фрондизи был вынужден идти на компромиссы и искать какие-то формы сотрудничества с ними. Но по той же причине военные почувствовали себя вынужденными вновь вмешаться и сместить Фрондизи. Были проведены новые выборы, от участия в которых удалось отстранить перонистов, центристы победили, получив 26% голосов, и президентом был выбран Артуро Ильиа. Перонисты, однако, были еще сильны, военные оставались непреклонными противниками их участия в управлении страной, и поэтому политическая система продолжала пребывать в преторианском состоянии, а военные на ее периферии были активной охранительной силой, всегда готовой вмешаться в подкрепление своего вето. Когда в 1966 г. власть Ильиа зашаталась, их возвращение в политику стало неизбежным. Ситуация напоминала то, что происходило в Перу в период 1931–1963 гг., когда армия трижды вмешивалась, чтобы не дать АПРА прийти к власти. Когда складывается ситуация, подобная этой, ясно, что охранительство начинает работать против себя. Военные, по существу, отказываются от притязаний на роль внешних, беспристрастных гарантов политического порядка. Вместо этого они становятся активными участниками и конкурентами на политической сцене, используя свое превосходство в организации и угрозы применения силы в качестве противовеса таким преимуществам других групп, как наличие у них массовой поддержки и многочисленность электората.

Другим примером ограничений, свойственных этому варианту, могут служить события в Бирме. В 1958 г., когда раскололась правящая АЛНС*, к власти на смену правительству У Ну пришел генерал Не Вин. Он, однако, дал ясно понять, что намерен вернуть власть в руки гражданской администрации, и всячески стремился минимизировать те изменения, которые его военный режим произвел в политической системе. В 1960 г. он действительно отказался от власти; были проведены выборы, в которых соперничали две партии, и в результате выборов во главе государства вновь встал У Ну. Действуя неохотно, но честно, Не Вин вернул ему власть. Через два года, однако, ситуация настолько ухудшилась, что генерал Не Вин почувствовал необходимость вновь вмешаться и сместить У Ну. На этот раз Не Вин решил добиться своего. У Ну и его соратники были арестованы, и Не Вин дал понять, что намерен остаться у власти.

2. *Вернуть и снять ограничения* (*вариант Гюрселя*). Военные руководители могут вернуть власть гражданским и разрешить в новых условиях и обычно под новым руководством приход к власти общественных групп, которые прежде они не допускали. После переворота 1960 г., когда турецкая армия свергла правительство Мендереса, военные казнили нескольких прежних руководителей, но генерал Гюрсель в то же время настоял на том, чтобы власть была возвращена гражданскому руководству. В 1961 г. были проведены выборы. Главными соперниками были Народная партия, которую предпочитали военные, и Партия справедливости, апеллировавшая к тем же группам, которые в прошлом поддерживали Мендереса. Ни одна из двух партий не получила большинства голосов, но генерал Гюрсель был избран президентом, и Народная партия сформировала слабое коалиционное правительство. Было в то же время ясно, что внутри электората преобладают группы, оказывающие предпочтение Партии справедливости, и ключевыми были вопросы о том, окажется ли Партия справедливости достаточно умеренной, чтобы не раздражать военных и не спровоцировать новое вмешательство, и о том, окажутся ли военные достаточно

* Антифашистская лига народной свободы; возглавляла борьбу за национальную независимость сначала против японских оккупантов, а затем против английского колониализма.

терпимы, чтобы позволить Партии справедливости прийти к власти путем мирных выборов. Ни одно из этих условий не было выполнено в Аргентине в отношениях между перонистами и аргентинскими военными. В Турции же, напротив, возобладал дух компромисса и умеренности. Попытки радикальных военных устроить второй переворот были блокированы правительством при поддержке старшего звена военного руководства, а на выборах 1965 г. Партия справедливости получила абсолютное большинство в парламенте и сформировала правительство. И военные примирились с приходом к власти той самой коалиции предпринимателей и крестьян, которую они не допускали к власти прежде, когда во главе ее стоял Мендерес. Можно предполагать, что турецкие военные будут сохранять свои позиции на периферии политической сцены к тому времени, когда может возникнуть новый кризис, связанный с ростом политической активности, например, когда своей доли власти потребует городской рабочий класс. В Венесуэле в 1958 г. и в Гватемале в 1966 г. военные также смирились с приходом к власти общественных групп и победой политических тенденций, которым они прежде противились. В таких случаях гражданские лидеры, берущие в свои руки власть, договариваются с военными и принимают хотя бы часть выдвигаемых ими условий, не последним из которых является отказ от возмездия за какие-либо действия, совершенные военными во время их пребывания у власти.

3. *Удерживать и ограничивать* (*вариант Кастелло Бранко*). Военные смогут сохранить за собой власть и продолжать сопротивляться росту политической активности. В этом случае, сколько бы они не стремились сознательно к противоположному, они с неизбежностью будут прибегать ко все более репрессивным мерам. Таков был курс, выбранный бразильскими военными после переворота апреля 1964 г., в результате которого было свергнуто правительство Гуларта. Переворот привел к власти военный режим при поддержке предпринимательских и технократических элементов. Однако выборы в бразильских штатах, прошедшие в 1965 г., ясно показали, что электорат стоит на стороне оппозиции. Эти результаты побудили сторонников жесткой линии в среде военных требовать их аннулирования — как это сделали военные в Аргентине в 1962 г. и как пытались сделать офицеры среднего звена в Турции в 1961 г. В Турции генерал Гюрсель подавил попытку переворота со стороны сторонников жесткой линии. В Бразилии на протяжении нескольких недель казалось, что может осуществиться такой же сценарий. Ожидали, что сторонники жесткой линии попытаются свергнуть умеренного президента, генерала Кастелло Бранко, и установить более авторитарный режим, чтобы не допустить оппозицию к власти. Многие также ждали, что Кастелло Бранко встанет на сторону общественного мнения и нанесет поражение сторонникам жесткой линии. Однако вместо того, чтобы возглавить успешное сопротивление попытке переворота, Кастелло Бранко предпочел сам возглавить переворот и распустил парламент, запретив политические партии и наложив новые ограничения на политическую активность и свободу слова. Каковы бы ни были основания для этих действий, их следствием было сокращение возможностей для Бразилии последовать примеру Турции и выработать компромисс, который бы позволил санкционированной оппозиции прийти к власти мирным путем. Напротив, ситуация еще больше поляризовалась, и бразильские военные, которые в прошлом гордились тем, насколько твердо они придерживались строго внеполитической, охранительной роли, теперь оказались в ситуации, когда они не могут отдать власть никому, кроме групп, совершенно для них неприемлемых. Чтобы исключить возможность прямого обращения к массам, выборы президента в 1966 г. были сделаны непрямыми, причем его выбирал конгресс, из которого военные удалили многие оппозиционные элементы. У кандидата военных, генерала Коста э Силва, соперников не было. И на последовавших за этим выборах в новый конгресс на кандидатов оппозиции было наложено много ограничений.

4. *Удерживать и снять ограничения* (*вариант Перона*). Военные могут сохранить за собой власть и в то же время допустить рост политической активности или даже извлечь из него выгоду. Именно таков был путь, избранный Пероном и, в меньшей степени, Рохасом Пинильей в Колумбии. В этих случаях военные приходят к власти путем переворота несколько иного типа, чем вето-перевороты, и затем изменяют свою политическую базу за счет привлечения в политику новых групп в качестве своей опоры. Последствия такого образа действий двояки. С одной стороны, военный руководитель теряет связь со своей первоначальной опорой в рядах армии и становится более уязвимым для консервативного военного переворота. С другой стороны, эти действия усиливают антагонизм между консервативным средним классом и радикальными массами. В этом случае происходит своего рода поворот в логике событий, свойственной олигархическому преторианскому обществу, в котором демагог-популист обычно изменяет массе своих сторонников, чтобы быть принятым элитой. Здесь же лидер среднего класса рвет связь со своим классом, чтобы завоевать массовую поддержку. Военный руководитель пытается стать диктатором-популистом. В конечном счете, однако, он терпит поражение точно так же и по тем же причинам, что и его гражданские прототипы. Перон следует путем Варгаса; Рохас Пинилья повторил судьбу Айя де ла Торре: их действия наталкиваются на вето их бывших товарищей по оружию, оставшихся верными своей роли охранителей.

От преторианства к гражданскому строю: военные в строительстве институтов

В простых обществах возможность формирования политических институтов связана с чувством общности. В обществах более сложных одной из важнейших, если не самой важной функцией политических институтов является повышение сплоченности сообществ. Взаимодействие между политическим и общественным строем носит, таким образом, динамический и диалектический характер: сначала последний играет важную роль в формировании первого, впоследствии первый начинает играть более важную роль в становлении второго. Преторианские общества, однако, оказываются в порочном круге. В сравнительно простых разновидностях преторианского общества недостает общности, и это мешает формированию политических институтов. В более сложных обществах отсутствие эффективных институтов мешает росту сплоченности. В результате в преторианском обществе формируются выраженные тенденции, способствующие закреплению существующего состояния. Сложившиеся установки и формы поведения обычно сохраняются и воспроизводятся. Преторианская политика укореняется в культуре общества.

Преторианство, таким образом, оказывается в большей мере присущим одним культурам (например, латиноамериканским, арабским), нежели другим; в первых оно укрепляется за счет роста политической активности и становления более сложной современной социальной структуры. Источниками латиноамериканского преторианства служат отсутствие политических институтов, унаследованных от колониальной эпохи, а также попытки привнести в латиноамериканское общество начала XIX в., до крайности олигархическое, республиканские институты среднего класса Франции и США. В арабском мире источниками преторианства являются крушение арабских государств при османском завоевании, длительный период османского господства, за время которого государство с высоким уровнем институциального развития выродилось в слабую, чуждую нации власть, терявшую легитимность с появлением арабского национализма, и, наконец, подчинение большей части арабского мира имперскому господству (semicolonialism) Франции и Великобритании. Этот исторический опыт способствовал развитию в арабской культуре устойчивого сознания своей политической слабости, сопоставимой с той, которую мы встречаем в Латинской Америке. Взаимное недоверие и враждебность, существующие между индивидами и группами, обусловливают устойчиво невысокий уровень политической институциализации. Когда в некоторой культуре существуют такого рода ситуации, с необходимостью встает вопрос: а как поправить дело? При каких обстоятельствах возможен переход от общества с политизированными социальными силами к такому, где действуют принципы законности и порядка? Что в таком обществе может послужить рычагом, с помощью которого можно вывести его из этого состояния? Кто или что может сформировать общие интересы и интегрирующие институты, необходимые для превращения преторианского общества в гражданское?

На эти вопросы нет очевидных ответов. Можно, однако, сделать два обобщения относительно движения обществ от преторианского разлада к гражданскому порядку. Во-первых, чем раньше в процессе модернизации и роста политической активности произойдет этот переход, тем дешевле он обойдется обществу. И наоборот, чем сложнее общество, тем труднее становится создавать интегрирующие политические институты. Во-вторых, на каждом этапе расширения границ политической активности наибольшие возможности плодотворного политического действия связаны с различными общественными группами и различными типами политических лидеров. Для обществ, переживающих фазу радикального преторианства, лидерство в создании прочных политических институтов должно принадлежать общественным группам среднего класса, и лидеры должны апеллировать именно к этим силам. Высказывались утверждения, что эту роль могут исполнить лидеры героического, харизматического склада. Там, где традиционные политические институты слабы, или распались, или низложены, центром влияния нередко становятся именно такие харизматические лидеры, которые пытаются перебросить мост из традиции в современность за счет сугубо личного авторитета. В той мере, в какой таким лидерам удается сосредоточить власть в своих руках, можно ожидать, что они смогут дать толчок институционному развитию и исполнить роль «великого законодателя» или «отца-основателя». Реформирование порочного государства или создание нового, писал Макиавелли, должно быть делом одного человека. Однако интересы индивида и интересы институциализации вступают между собой в противоречие. Институциализация власти означает наложение ограничений на ту власть, которой харизматический лидер мог бы в ином случае распоряжаться лично и по своему произволу. Предполагаемый строитель институтов нуждается в личной власти для того, чтобы созидать институты, но он не может созидать институты, не поступаясь личной властью. Власть институционная есть нечто противоположное власти харизматической, и харизматический лидер действует против самого себя, пытаясь создавать устойчивые институты общественного порядка.

Можно предположить, что в радикальном преторианском обществе интегрирующие политические институты могут формироваться на базе по-

литических организаций, которые первоначально представляют узкие этнические или экономические группы, но распространяют свое влияние за пределы тех общественных сил, которые ответственны за их возникновение. Однако политическая динамика преторианского общества препятствует такому развитию. Характер вышеназванного противоречия способствует тому, что политические организации становятся более специализированными и замкнутыми, что они более озабочены своими частными интересами и более привержены именно им присущим средствам политического действия. В первую очередь вознаграждаются те, кто действует агрессивно в своих собственных интересах, нежели те, кто пытается согласовать разные интересы.

Теоретически наиболее эффективные лидеры, могущие возглавить институционное строительство, должны происходить из групп, которые не связаны прямо с конкретной этнической или экономической принадлежностью. В какой-то мере в эту категорию могут попадать студенты, религиозные лидеры и солдаты. Опыт, однако, свидетельствует, что ни студенты, ни религиозные группы не играют конструктивной роли в формировании политических институтов. По самой своей природе студенты — противники существующего строя, и обычно они не способны сформировать органы управления или выработать принципы легитимности. Мы знаем много примеров студенческих и религиозных демонстраций, беспорядков и мятежей, но ни одного примера студенческого правительства и лишь редкие случаи правительств, сформированных религиозными группами.

Военные, с другой стороны, в большей мере способны к установлению порядка в радикальном преторианском обществе. Мы знаем военные перевороты, но мы знаем и правительства, сформированные военными, и политические партии, вышедшие из недр армии. Военные могут быть сплоченными, бюрократизированными и дисциплинированными. Полковники могут возглавить правительство; студенты и монахи не могут. Эффективность военного вмешательства не меньше связана с организационными характеристиками военных, чем с тем, что у них есть возможности применения насилия. Корреляция между применением в политике насилия и участием в ней военных существует далеко не всегда. Большая часть переворотов в большинстве регионов мира обходятся всего лишь единицами смертей. Студенческие беспорядки, всеобщая забастовка, религиозная демонстрация, этнический протест обычно приводят к намного большему числу жертв, чем военный переворот. Таким образом, именно превосходство организации делает вмешательство военных более жестким, более опасным и в то же время потенциально более продуктивным,

чем вмешательство других социальных сил. В отличие от студенческих выступлений, вмешательство военных, которое многие люди считают источником опасности в преторианском обществе, бывает и средством исцеления.

Возможности военных способствовать развитию общества или даже выступать в роли модернизаторов зависят от реального сочетания общественных сил. Влияние военных в преторианском обществе меняется с изменением уровня политической активности. В олигархической фазе развития обычно нет резкой границы между военными и гражданскими лидерами, и на политической сцене преобладают генералы или, по меньшей мере, лица, носящие звание генерала. К тому времени, как общество вступает в фазу преобладания радикального среднего класса, офицерский корпус обычно преобретает более четкие очертания в качестве института; влияние распределяется между военными и другими общественными силами; в границах узко очерченной и замкнутой политической системы при этом может происходить политическая институциализация, хотя и в ограниченной степени. Вмешательство военных часто носит дискретный характер; военные и гражданские хунты сменяют друг друга; постепенно формируются более мощные гражданские группы, уравновешивающие друг друга. Наконец, в фазе массового преторианского общества влияние военных оказывается ограничено появлением массовых народных движений. Таким образом, возможности для формирования политических институтов под эгидой военных наиболее велики на ранних этапах радикального преторианского общества.

Чтобы избежать преторианства, обществу требуется, с одной стороны — согласование интересов городского и сельского населения, с другой — создание новых политических институтов. Отличительным социальным аспектом радикального преторианства можно считать отчуждение города от села: политика есть борьба групп городского среднего класса, ни у одной из которых нет побуждений способствовать общественному согласию или установлению политического порядка. Социальной предпосылкой утверждения стабильности является возвращение в политику общественных сил, доминирующих на селе. Интеллигенция располагает идеями; у военных есть оружие; но крестьяне сильны численностью, и у них есть голоса. Политическая стабильность требует коалиции, по меньшей мере, двух из этих общественных сил. При той враждебности, которая обычно складывается между двумя политически наиболее выраженными элементами среднего класса, коалиция идей и оружия против численности есть большая редкость. Если даже она и возникает, как в Турции во времена Ататюрка, стабильность, которая при этом устанавливает-

ся, носит временный и хрупкий характер; в конце концов, с приходом в политику масс сельского населения она разрушается. Коалиция между интеллигенцией и крестьянством имеет другие последствия — она обычно связана с революцией, т.е. разрушением существующей системы как условием создания новой, более стабильной. Третий путь к стабильной системе правления лежит через союз оружия и численности против идей. Именно этот вариант дает военным в радикальном преторианском обществе возможность перевести общество из преторианского состояния в состояние гражданского порядка.

Способность военных к формированию стабильных политических институтов в первую очередь зависит от их способности идентифицировать свое правление с интересами крестьянства и мобилизовать крестьянство в политику на своей стороне. Во многих случаях именно это и пытались делать военные правители-модернизаторы, пришедшие к власти на ранних стадиях радикального преторианства. Нередко сами офицеры происходят из сельских классов или связаны с селом. В конце 1940-х гг., к примеру, большинство корейских офицеров «происходили из сел или малых городов и из семей скромного достатка»[48]. В начале 1960-х военное руководство Кореи составляли «молодые люди 35–45 лет, сельского происхождения, во многих случаях хорошо знакомые с бедностью. Для этих людей естественна сельская ориентация — сочувствие к крестьянину. Такие люди обязательно испытывают двойственные чувства в отношении урбанизма. Разве не с ним связаны аморализм, коррупция и фундаментальный эгоизм, свойственные корейской политике — да, по существу, и корейской жизни — последних лет? При этом они сознают, что экономическая реальность Кореи требует больше, а не меньше урбанизма. Индустриализация, как хорошо известно хунте, является ключом к развитию этого страдающего от избытка рабочей силы общества»[49].

Руководители переворота в Египте в 1962 г. имели подобное же происхождение. «Армия состояла в массе своей из египтян сельского происхождения; ее офицеры принадлежали к сельскому среднему классу». Офицерский корпус, писал Нагиб, «состоял в значительной мере из сыновей гражданских чиновников и солдат и крестьянских внуков»[50]. В Бирме военные лидеры, в отличие от вестернизированной политической элиты АЛНС, были «более тесно связаны с сельским буддийским населением»[51]. Сельское социальное происхождение часто побуждает военные режимы отдавать предпочтение политике, от которой выигрывает более многочисленное сельское население. В Египте, Ираке, Турции, Корее, Пакистане правительства, возникшие в результате военных переворотов, давали толчок земельным реформам. В Бирме и других странах военные правительства при выделении средств из бюджета отдавали предпочтение аграрным программам перед программами городского развития. Существенная поддержка со стороны более многочисленного и потенциально влиятельного сельского населения есть необходимое условие устойчивости любого правительства в стране, переживающей модернизацию, и это столь же верно для военного правительства, как и для любого другого. Военный режим, не способный мобилизовать такого рода поддержку, вербующий сторонников только в бараках и на улицах городов, не имеет достаточной социальной базы для строительства эффективных политических институтов.

Поддержка сельского населения есть, однако, лишь необходимое условие для того, чтобы военный режим мог формировать политические институты. Первоначально легитимность военного режима, проводящего модернизацию, опирается на то, что́ его правление сулит в будущем. Но со временем этот источник легитимности утрачивает свое значение. Если режим не формирует политической структуры, которая бы институциализовала некоторый принцип легитимности, то единственно возможным результатом этого оказывается военная олигархия, при которой власть переходит из рук одного олигарха в руки другого путем переворотов и которая к тому же все время находится под угрозой революционного свержения со стороны новых общественных сил, для инкорпорирования которых у нее нет институциональных механизмов. Египет и Бирма могут некоторое время поддерживать впечатление обществ, где происходят социальные изменения и осуществляется модернизация, но если в них не будут созданы новые институционные структуры, им уготована судьба Таиланда. Там тоже военная хунта, ориентированная на модернизацию, захватила в 1932 г. власть и начала осуществление программы радикальных изменений. Со временем, однако, пары были выпущены, и военное правительство выродилось в самодовольную бюрократическую олигархию.

В отличие от харизматического лидера или лидеров конкретной общественной силы, у военных руководителей формирование политических институтов не связано ни с какой неразрешимой дилеммой. В качестве группы военная хунта может и удерживать власть и в то же время институциализовать ее. Личные интересы членов хунты вовсе не обязательно вступают в противоречие с интересами политической институциализации. Они могут, иными словами, преобразовать военное *вмешательство* в политику в *участие* военных в политике. Вмешательство военных нарушает существующие правила игры и подрывает политический порядок и основания легитимности. Участие военных означает ведение политической игры

с целью создания новых политических институтов. Первоначальное вмешательство может быть незаконным, но оно становится легитимным по мере того, как преобразуется в участие и принятие на себя ответственности за создание новых политических институтов, которые сделают невозможным и ненужным будущее вмешательство со стороны как военных, так и других общественных сил. Спорадическое вмешательство военных для отмены или приостановки осуществления некоторой политики составляет сущность преторианства. Упорядоченное вмешательство военных в политику может уводить общество от преторианства.

Главное препятствие для того, чтобы военные исполнили эту роль в радикальном преторианском обществе, проистекает не из объективных социальных и политических условий, а из субъективных установок военных в отношении к политике и к самим себе. Проблему составляет неприятие военными политики. Военные лидеры легко могут представить себя в роли охранителей; они также могут представлять себя прозорливыми и беспристрастными поборниками социальных и экономических реформ в своих странах. Но, за редкими исключениями, они сторонятся политического строительства. В частности, они ненавидят партии. Они пытаются править государством без партий и тем самым отсекают одно из важнейших средств, с помощью которых они могли бы вывести свои страны из преторианского состояния. Партии, сказал как-то Айюб Хан, вторя Джорджу Вашингтону, «разделяют и смущают народ» и дают возможность «беззастенчивым демагогам эксплуатировать его». Законодательное собрание, продолжал он, должно «состоять из людей благородных и мудрых, не принадлежащих ни к какой партии»[52]. «Партии, — заявлял Насер, — это источники раскола, чужеродная прививка, орудие империалистов»; они стремятся к тому, «чтобы расколоть нас и посеять разногласия между нами»[53]. Точно так же генерал Не Вин рассказывает, как после захвата власти в 1958 г. двое политических лидеров пришли к нему и предложили создать и возглавить новую национальную партию, но, говорит он, «я отослал их прочь. Какой толк был бы в создании еще одной партии? Мне следовало оставаться вне политики, чтобы обеспечить справедливость следующих выборов. В Бирме политическая партия не может победить на выборах, не будучи коррумпированной. Если бы я принял предложение сформировать свою политическую партию, я бы сам стал коррумпированным, а я не готов к этому»[54]. Заявление Не Вина — прекрасный пример того, как военные хотят и съесть пирожок, и сохранить его в целости. Политика, партии и выборы пронизаны коррупцией, и военным приходится вмешиваться, чтобы очистить их. Но при этом им нельзя запачкаться и самим заразиться коррупцией через участие в партийной политике. Первое, на что обычно идет реформаторская или

охранительная хунта после захвата власти, это запрет всех существующих политических партий. «Теперь у нас нет политических партий, — заявил генерал Роусон на следующий день после совершенного им в 1943 г. переворота, — есть только аргентинцы». Эта установка практически повсеместна. «Заниматься политикой (вне службы) значит сеять раздор» — так Лайл Макалистер суммирует взгляды латиноамериканских военных; «политические партии — это «раскольнические группы», политики — «интриганы» или «продажные люди», выражение общественного мнения — “бунт”»[55]. Даже в большей мере, чем другие группы в обществе, офицеры склонны видеть в партии скорее фактор разделения, нежели механизм достижения согласия. Их идеал — это единство без политики, согласие по приказу. Подвергая критике и принижая роль политики, военные мешают обществу достичь того самого единства, в котором общество нуждается и которое сами военные ценят.

Военные лидеры, таким образом, становятся жертвой конфликта между их собственными субъективными предпочтениями и ценностями, с одной стороны, и объективными потребностями возглавляемого ими общества, с другой. В норме существует три категории таких потребностей. Во-первых, необходимы политические институты, которые бы отражали существующее распределение власти и в то же время были бы способны привлекать и инкорпорировать новые общественные силы по мере их появления на политической сцене и тем самым утверждать свою независимость от тех сил, которые их породили. На практике это означает, что институты должны отражать интересы военных групп, пришедших к власти, и в то же время обрести в конечном счете способность выходить за границы этих интересов. Во-вторых, в государствах, где пришли к власти военные, чаще всего получают высокое развитие бюрократические органы на «выходе» политической системы, тогда как органы на ее «входе», призванные выполнять функции выявления и согласования интересов, пребывают в состоянии хаоса и дезорганизации. Бюрократические органы, главным среди которых является армия, принимают на себя как политические, так и административные функции. Именно поэтому нужны политические институты, которые бы восстановили нарушенное равновесие, отобрали политические функции у бюрократических органов и ограничили бы деятельность последних выполнением их собственных специальных задач. Наконец, нужны политические институты, способные поддерживать преемственность и обеспечивать переход власти от одного лидера или группы лидеров к другому или другой без обращения к прямому действию в форме переворотов, мятежей и других акций, связанных с кровопролитием.

В современных развитых обществах эти три функции во многом выполняются политической партийной системой. Однако неприязнь к политике в целом и к партиям в частности делает для военных трудной задачу создания политических институтов, способных выполнять эти функции. И потому они пытаются устраниться от политики, сублимировать политику, действовать в расчете на то, что проблемы политического конфликта и политического согласия будут решены автоматически, если решить другие, менее сложные проблемы. В некоторых случаях военные лидеры были инициаторами создания политических партий. Но чаще им свойственны попытки заполнить институционный вакуум путем создания неполитических или по меньшей мере непартийных организаций, таких, как национальные ассоциации и согласительные комиссии. Всякий раз, однако, неспособность таких организаций выполнять необходимые политические функции понуждала военных, которые их создали, принимать то, что, в сущности, было какой-то формой политической партийной организации.

Привлекательность для военных такой формы, как национальная ассоциация, связана с массовостью членства в ней и с ее предполагаемой полезностью в качестве средства мобилизации и организации населения для достижения целей национального развития, которые, по их представлению, являются общими для всех. Они руководствуются «неполитической моделью национального строительства», в которой не учитываются конфликты интересов и ценностей, присутствующие во всяком обществе, но особенно свойственные обществам, переживающим быстрые социальные изменения, и которая, как следствие, не предусматривает средств для улаживания конфликтов и примирения интересов[56]. Во время своего пребывания у власти в 1958–1960 гг., к примеру, бирманские военные организовали Национальную ассоциацию солидарности как непартийную организацию для содействия росту политической активности и предотвращения коррупции и апатии. НАС не отражала ни распределение власти в бирманской политической системе, ни уровень участия масс в функционировании этой системы. В результате она не смогла ни стать институционным противовесом бюрократии, ни обеспечить механизм регулирования передачи власти.

Эти неудачи побудили бирманских военных руководителей отказаться от своей враждебности в отношении партийной организации и пойти по несколько иному пути политического национального строительства, когда они вновь захватили власть в 1962 г. Вместо массовой организации они создали то, что именуют кадровой партией, Партию Бирманской социалистической программы (ПБСП), предназначенную выполнять «такие базовые партийные функции, как рекрутирование кадрового ядра, обучение и испытание его посредством возложения обязанностей и т.д.». По словам одного из наблюдателей, эта кадровая партия подчиняла своих индивидуальных членов строгому дисциплинарному уставу, содержавшему положения о фракциях, конфликте интересов, индивидуальном доходе, подарках, секретах и дисциплинарных взысканиях, требованиях к членам партии в отношении приобретения знаний, самокритики и принятия "Бирманского пути к социализму"»[57]. Она строилась на принципах демократического централизма и должна была стать авангардом будущей массовой партии.

Сходный тип эволюции имел место в Египте. Переворот «Свободных офицеров» в июле 1952 г. был типичным реформаторским движением военных. В последующие за переворотом два года его руководители, организованные в Совет революционного командования, систематически принимали меры для устранения конкурирующих источников легитимности и народной поддержки. Король был немедленно отправлен в ссылку, и годом позже монархия была упразднена. Три политические партии, которые могли оспаривать власть офицеров — Вафд, коммунисты и «Братья-мусульмане», — были запрещены законом, их лидеры преследовались и сажались в тюрьмы. Весной 1954 г. победа Насера над Нагибом внутри «Свободных офицеров» стала сигналом к окончательному отказу от парламентских институтов. К концу 1954 г. все основные источники политической легитимности и политические институты, существовавшие до переворота, были уничтожены или дискредитированы. По существу, с доски, на которой писалась политика, все было полностью стерто. Вопрос теперь стоял так: какого рода политические институты могут быть созданы — и могут ли — взамен уничтоженных?

В 1956 г. была введена в действие новая конституция, которая предусматривала избираемое народом национальное собрание Это собрание, созданное в 1957 г., и второе собрание, выбранное в 1964 г., по временам критиковали правительственные программы и добивались внесения в них некоторых изменений[58]. Основная власть, однако, оставалась в руках военных руководителей и особенно Насера, который регулярно избирался и переизбирался подавляющим большинством. Ясно, что формальная правительственная структура едва ли могла сама по себе обеспечить механизм легитимизации власти и организации участия народа в политической жизни. Имели место три серьезные попытки военных руководителей создать национальную ассоциацию для заполнения институционного вакуума. Первая, Съезд освобождения, была организована в январе 1953 г., еще до сосредоточения власти в руках «Свободных офи-

церов». «Съезд освобождения, — говорил Насер, — не есть политическая партия. Это средство организации народной силы для перестройки общества на новой здоровой основе»[59]. Съезд выполнял, однако, некоторые из функций политической партии. Он служил для военных средством мобилизации и организации народной поддержки в борьбе с другими политическими группами, особенно «Братьями-мусульманами», и для проникновения в другие массовые организации, такие, как профсоюзы и студенческие группы, и контроля над ними. Эти функции он выполнял достаточно успешно. Однако сосредоточение власти в руках Совета революционного командования в 1954 г. устранила основания для существования Съезда освобождения и в то же время увеличила число его членов до необъятных размеров. Это число достигло в конечном счете нескольких миллионов человек, и в результате сильно снизилась эффективность Съезда.

Новая конституция 1956 г. провозгласила, что «Народ Египта сформирует Национальный союз, дабы достичь целей революции и всеми возможными средствами заложить прочные основания нации в политической, социальной и экономической областях». Союз был организован весной 1957 г. и заменил Съезд освобождения в качестве средства, с помощью которого режим пытался добиться массовой поддержки. Власти стремились обеспечить максимально широкое членство: Национальный союз, говорил Насер, «это нация в целом»[60]. И он тоже вскоре набрал несколько миллионов членов и стал слишком большим и аморфным, чтобы быть эффективным. В 1962 г., после разрыва с Сирией, была предпринята еще одна попытка создать организацию, Арабский социалистический союз, для мобилизации и организации населения.

Важно отметить, что АСС был первоначально задуман таким образом, чтобы избежать некоторых слабостей Съезда освобождения и Национального союза. Как и бирманские военные, египетские руководители сместили акцент, по крайней мере в теории, с массовой организации в сторону элитной или кадровой организации, с активным и неактивным членством и первоначально с ограничением членства десятью процентами населения[61]. Со временем, однако, АСС тоже разросся, и через два года число его членов оценивалось в 5 млн. человек. В 1964 г. сообщалось, что Насер пытался дополнить АСС еще одной группой, в которой должно было быть только 4000 членов и которая функционировала бы как «правительственная партия» внутри АСС. Новая организация была задумана Насером, чтобы «обеспечить мирную передачу власти и преемственность его политики, на случай если что-нибудь с ним случится»[62].

В Бирме и Египте военные, таким образом, попытались создать массовые национальные организации, открытые для всех, а потом, когда

этот замысел потерпел неудачу, направили свои усилия на создание того, что официально в Бирме и неофициально в Египте приобрело характер кадровой партии с ограниченным членством. Первоначальный замысел военных руководителей отражает их стремление избежать политики. Другие общества, как выразился один комментатор, пытаются «включить групповые интересы и групповую борьбу в процесс легитимизации и нормальный ход общественной жизни, тогда в центре египетской модели общества стоит некая организация, которая эффективно производит и справедливо распределяет между индивидами через индивидов»[63]. Союз всех предполагает единство всех. Но именно для достижения этой цели и создается политическая организация. Ни бирманская, ни египетская организации не могли выполнять функций, требуемых от политических институтов. Они охватывали всех, тогда как власть была сосредоточена в руках немногих. Они, с одной стороны, не отражали существующей структуры общественных сил, с другой — не служили тем инструментом, посредством которого господствующая общественная сила могла распространять вширь, ограничивать и легитимировать свою власть.

Вместо того чтобы начинать с группы, которая существовала — национальной хунты, — и пытаться ее организовать и институциализовать, бирманские и египетские лидеры начинали с группы, которая не существовала — национального сообщества, — и пытались ее организовать. Они пытались вдохнуть жизнь в организации, не укорененные ни в какой сплоченной общественной силе. Институт — это организация, которую ее члены и другие ценят как таковую. Организация, в которую может или должен вступить каждый, имеет меньше шансов стать институтом, чем та, членство в которой доступно не всякому. «Если партия открыта для всех, — задает вопрос Хелперн, — зачем кому-либо стремиться туда попасть?»[64] И в Бирме, и в Египте офицеры, игравшие ведущую роль в группе заговорщиков, составили некий орган — Революционный совет в Бирме, Совет революционного командования в Египте — для управления правительством. Эти органы могли бы стать центрами новой структуры управления. В Египте «Свободные офицеры» были, по словам Ватикиотиса, «политической группой, приближающейся по своим пропорциям к партии»[65]. «Свободные офицеры», однако, отказались признавать себя тем, чем они были, эмбриональной партии, и тем самым лишили себя возможности институциализовать свою роль. Вместо того чтобы сделать Совет революционного командования центральным органом новой политической структуры, они распустили его в 1956 г., когда была принята новая конституция, Насер был избран президентом, и предполагалось, что документы и плебисциты творят институты.

В результате в Египте не было создано никакой организации, которая бы облегчила перемены в социальном составе новой правящей элиты. Говорят, что Насер стремился заменить армию как главный источник кадров на высшие посты в государственном руководстве «более тесным союзом с гражданскими группами, состоящими из профессионалов и интеллектуалов»[66]. Проблема состояла в том, чтобы открыть доступ новым элементам, не отказываясь от первоначальных и наиболее важных источников поддержки в армии. Партийная организация есть одно из средств осуществления этой функции: она обеспечивает общий фокус лояльности и идентификации и для военных, и для гражданских и тем самым становится средством различения индивидов по иным основаниям, нежели их гражданский или военный статус. Между тем военные, вместо того чтобы строить от центра к периферии, попытались организовать всех сразу, двигаясь от периферии к центру. «Идея плетения паутины комитетов, центром которой стал бы Каир, могла бы оказаться привлекательной и даже полезной, — писал о Национальном союзе журнал «Экономист». — Проблема, однако, в том, что в ОАР люди, о которых идет речь, мало делают и еще меньше понимают. Так, деревни, призванные участвовать в выборах, голосовали за те самые семейства, которые всегда занимали здесь господствующее положение, и паутина рвалась задолго до возникновения центра»[67].

В Пакистане была предпринята попытка построения непартийной политической сети другими средствами. Пакистан до 1958 г., как Египет до 1952 г., по видимости управлялся парламентским режимом, где депутаты представляли небольшое число олигархических групп и групп интеллектуалов. Основным держателем власти была, однако, бюрократия. Короткий период народного, или партийного, правительства в Пакистане фактически закончился в апреле 1953 г., когда генерал-губернатору удалось сместить премьер-министра, который до этого момента пользовался поддержкой внушительного большинства в Национальном собрании. По существу, этот переворот создал систему совместного правления бюрократов и политиков, а последующий переворот октября 1958 г. привел к простому переходу власти из рук неэффективных гражданских бюрократов в руки эффективных военных бюрократов. Однако, в отличие от Насера, фельдмаршал Мохаммед Айюб Хан вполне сознавал важность политических институтов и предпринял очень тщательную разработку того типа институционной структуры, которая пригодна для Пакистана. Он сформулировал свои идеи в меморандуме о «Настоящих и будущих проблемах Пакистана», написанном, когда он был министром обороны в октябре 1954 г., за четыре года до того, как он захватил контроль над правительством[68]. Новые институты, созданные в Пакистане после 1968 г., были в значительной мере результатом сознательного политического планирования. Айюб Хан более, чем кто-либо другой из политических лидеров стран, переживавших после Второй мировой войны модернизацию, приблизился к роли Солона или Ликурга, или же «великого законодателя» в соответствии с платоновской или руссоистской моделью. Новые политические институты Пакистана создавались в три этапа, два из которых были запланированы Айюб Ханом, а один был навязан ему условиями политической модернизации. Первые два этапа были предназначены для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить концентрацию власти, а с другой — регулируемое ее распределение.

«Первичные демократические организации» (Basic Democracies) были теми основными институционными инструментами, которые должны были обеспечивать участие народа в политической жизни. Они были созданы через год после военного переворота как попытка сформировать систему демократических институтов, которые бы, по выражению Айюб Хана, были «просты для понимания, легки в работе и дешевы; ставили перед избирателем такие вопросы, которые он может понять без подсказки; обеспечивали эффективное участие всех граждан в полную меру их возможностей; производили на свет достаточно сильные и устойчивые правительства»[69]. Была сформирована иерархия советов. На нижнем уровне были «союзные советы» в составе десяти членов каждый, по одному члену на одну тысячу человек населения, избираемые всеобщим голосованием. Над ними стояли советы «тхана», или «техсил», составленные из глав союзных советов, плюс такое же число назначенных по должности членов. Еще выше располагались советы районов, также состоявшие наполовину из гражданских служащих, наполовину из «первичных демократов» (Basic Democrats), назначенных «дивизионным комиссаром». Над ними же стояли «дивизионные советы», комплектовавшие аналогично советам районов. Функции этих органов были связаны в первую очередь с экономическим и социальным развитием, местным самоуправлением, административной координацией и проведением выборов.

Выборы в союзные советы проводились в декабре 1959 г. и в январе 1960 г. при участии 50 % избирателей. Почти 80 000 «первичных демократов» составили корпус политических активистов и ядро политической системы. Большинство из них были новичками в политике, и в соответствии с характером политической структуры они оказались достаточно равномерно распределены в населении. Большинство «первичных демократов» составили грамотные и достаточно обеспеченные

люди. При этом более 50 000 из них были заняты в сельском хозяйстве[70]. До 1959 г. пакистанская политика была почти исключительно ориентирована на город. «Общественное мнение в Пакистане определяют городской средний класс, землевладельцы и некоторые религиозные лидеры. Это слишком узкое и неустойчивое основание, для того чтобы строить на нем прочное и эффективное государство... Политическая активность по большей части была замкнута в пределах небольшой группы активных политиков, живущих в городах. Простой человек, особенно в сельских районах, мало что знал о маневрах, происходивших в столицах провинций и страны в целом, или был к ним безразличен. Рядовые люди не привыкли видеть себя как избирателей»[71]. Однако «первичные демократические организации» принесли политику в сельские области и породили класс сельских политических активистов, которым предстояло сыграть свою роль в местной и общенациональной политике. Впервые политическая активность вышла за пределы городов и распространилась по сельской местности. Политическая активность тем самым расширилась, правительство получило новый источник поддержки, и был сделан значительный шаг в направлении создания того институционного звена между правительством и сельским населением, которое является необходимым условием политической стабильности в стране, переживающей модернизацию.

Корпус «первичных демократов» стал в какой-то мере конкурентом двух других общественных групп, активных в пакистанской политике. С одной стороны, будучи территориально связан с селом, он был оторван от городских интеллектуалов среднего класса и имел противоположные им интересы. «Вся интеллигенция, — предупреждал «первичных демократов» один из пакистанских министров, — против вас»[72]. С другой стороны, структура «первичных демократических организаций» не могла не породить конфликт бюрократических и народных интересов. Их назначение, по словам Айюб Хана, состояло в том, чтобы обеспечить условия, когда «каждая деревня и каждый житель деревни... станет равноправным с администрацией партнером в решении государственных задач»[73]. Вместо создания полностью автономной политической структуры, отдельной от административной, была предпринята попытка образовать некую смешанную структуру, сочетающую в себе бюрократические и народные элементы, так чтобы народные элементы преобладали на нижних уровнях, а официальные, бюрократические — наверху. Это, естественно, привело к трениям между гражданскими служащими и выборными руководителями. Однако борьба между этими двумя элементами велась внутри единой институционной структуры и, таким образом, способствовала упрочению этой структуры и идентификации с ней как чиновников, так и выборных деятелей. Как выражение народного недовольства бюрократией, так и проведение бюрократами правительственной политики осуществлялись через структуру «первичных демократических организаций».

Политически «первичные демократические организации»: (а) вовлекали в политическую систему новый класс местных политических лидеров по всей стране; (б) обеспечивали институционную связь между правительством и сельским населением, от чьей поддержки зависела стабильность; (в) создавали народный противовес доминированию бюрократического чиновничества; (г) выступали в роли структуры, через которую могло бы происходить последующее расширение границ политической активности. «Первичные демократические организации», следовательно, служили средством создания условий для распространения власти в политической системе.

Другое важное институционное новшество, спланированное и осуществленное Айюб Ханом, первоначально предназначалось для концентрации власти в руках правительства. Это было достигнуто с помощью новой конституции, которая была составлена под руководством Айюб Хана и вступила в силу в июне 1962 г., положив конец системе военного положения, служившей до этого правовым основанием концентрации власти в руках Айюб Хана. Конституция заменила существовавшую до 1958 г. систему слабого парламента при сильной бюрократии на систему сильной президентской власти. Хотя местами эта конституция казалась составленной по образцу американской, в действительности она предоставляла исполнительной власти много больше полномочий, чем в США, и даже значительно больше, чем в Пятой республике Франции. Главные институционные ограничения на президентскую власть исходили от судебной, а не от законодательной системы, и в этом отношении пакистанская система больше напоминала модель Rechtsstaat (правового государства), чем либеральную демократию. Концентрация власти в руках президента, однако, означала появление института, который служил более эффективной сдерживающей силой в отношении того, что составляло реальный центр власти, в отношении бюрократии. Президент должен был избираться на пятилетний срок (при возможности однократного повторного избрания) коллегией выборщиков из 80 000 «первичных демократов», которые, в свою очередь, разумеется, избирались народом.

«Первичные демократические организации» и президентская конституция в совокупности обеспечили Пакистан системой политических институтов. Для Айюб Хана этого было достаточно. В частности, он, как и На-

сер, был непримирим в отношении политических партий, и в период военного положения с октября 1958 по июнь 1962 г. партии были запрещены. Многие лидеры настаивали на том, чтобы их существование было предусмотрено в новой конституции. Айюб Хан, однако, последовательно отвергал эти требования, и конституция запретила партии до тех пор, пока противоположное решение не будет принято Национальным собранием. По мере того как приближалось время вступления конституции в силу и оппозиционные движения нападали на нее, окружение Айюб Хана предпринимало новые попытки убедить его принять партии как необходимый для современного общества институт. «Политические партии, деятельность которых регулируется законом, — утверждали они, — станут организационным механизмом в руках правительства для мобилизации масс. Они, кроме того, могут способствовать этому процессу через отчетливое разграничивание тех групп, которые выступают против отдельных направлений политики правительства, и тех, которые отвергают конституционный порядок в целом. Наконец, политические партии могут расколоть и руководство оппозиции»[74]. Эти аргументы в конце концов убедили Айюб Хана, и он неохотно согласился на легализацию политических партий. Было образовано несколько партий, включая партию сторонников правительства. Поскольку Айюб Хан хотел сохранить за собой положение лидера нации, стоящего выше партийных разногласий, партия его сторонников была «скорее партией за спиной власти, чем партией, находящейся у власти»[75]. Однако в течение следующего года необходимость обеспечить себе поддержку на грядущих президентских выборах постепенно вынуждала Айюб Хана отходить от своей отстраненной позиции и идентифицировать себя с партией, которая идентифицировала себя с ним. В мае 1963 г. он формально вступил в эту партию и через короткое время был избран ее лидером. «Мне не удалось сыграть эту игру по моим правилам, — объяснял он, — и потому мне приходится играть по чужим правилам. А правила требуют, чтобы я был с кем-то; иначе кто же будет со мной? Итак, все просто. Это признание поражения с моей стороны»[76]. Участие в политике вынудило его против воли принять партийную форму политики.

Президентские выборы осенью 1964 г. ускорили наведение мостов между партиями, которые формировались сверху вниз, и «первичными демократическими организациями», формировавшимися снизу вверх. На первом этапе выборов народ избрал 80 000 «первичных демократов», руководствуясь отчасти местными проблемами и личной приязнью, отчасти их идентификацией с одним из двух основных кандидатов в президенты. На втором этапе кандидаты и их партии должны были заручиться поддержкой «первичных демократов». Выборная кампания, таким образом, побудила общенациональных политических лидеров к тому, чтобы они вступали в контакт с местными лидерами, избранными в «первичные демократы», искали их поддержки и образовывали с ними коалиции. Нежеланная политическая партия становилась незаменимым институционно связующим звеном между централизованной властью, которую предусматривала конституция, и распределенной властью в лице «первичных демократических организаций».

В Бирме и Египте попытки военных руководителей организовать массовые ассоциации, чтобы институциализовать политическую активность населения и легитимизировать свою власть, не удались. В обоих случаях руководителям пришлось изменить направление своих усилий, направив их на то, что фактически, если не номинально, было кадровой партией. В Пакистане институционные новации Айюб Хана потребовали возвращения политических партий, чтобы новые институты могли эффективно функционировать. Во всех трех случаях лидеры сопротивлялись введению партийной системы, но были в конце концов вынуждены либо принять ее, либо смириться с постоянным беззаконием и нестабильностью. В других странах военные лидеры проявили бóльшую склонность к организации политических партий и к тому, чтобы приступить к строительству современных политических институтов, которые бы стали основанием политической стабильности и устойчивой власти.

Пожалуй, наиболее красноречивым примером строительства политических институтов, осуществляемого генералами, может служить Мексика, где в конце 1920-х гг. Кальес и другие военные руководители революции создали Национальную революционную партию и тем самым фактически институциализовали революцию. Создание этого института позволило политической системе инкорпорировать ряд новых общественных сил, рабочих и аграрных, которые выдвинулись на первый план при Карденасе в 1930-е. Тем самым возник и политический институт, способный защищать политическую сферу от разрушительных общественных сил. В XIX в. в Мексике произошло больше случаев вмешательства военных в политику, чем в какой-либо другой латиноамериканской стране. После 1930-х военные оставались вне политики, и Мексика стала одной из немногих латиноамериканских стран, обладающих каким-то институционным иммунитетом против военных переворотов.

Достижение мексиканских военных следует признать исключительным в том отношении, что оно явилось результатом полномасштабной революции, хотя и возглавляемой генералами из среднего класса, а не интеллектуалами среднего класса. То же достижение было, однако, повторено Мустафой Кемалем и турецкими генералами вне условий полной

социальной революции. С самого начала своей политической деятельности Кемаль сознавал необходимость создания политического института, пригодного для управления турецким государством. В 1909 г., через год после того, как младотурки захватили власть, он настаивал на полном отделении армии от политики: офицеры, желавшие делать политическую карьеру, должны были уволиться из армии; те же, кто хотел продолжать военную карьеру, не должны были лезть в политику. «Пока офицеры остаются в партии, — заявил он на одном из собраний Комитета за единение и прогресс, — мы не сможем построить ни сильной партии, ни сильной армии... Партия, черпающая силу от армии, никогда не будет принята нацией. Давайте прямо сейчас примем решение, что все офицеры, желающие остаться в партии, должны уволиться из армии. Мы должны также принять закон, запрещающий всем офицерам участвовать в политике»[77]. Лидеры младотурков не последовали его совету.

Десять лет спустя наступила очередь Кемаля, как единственного в Турции героя Первой мировой войны, определять ход послевоенных событий. В июле 1919 г., с началом националистических выступлений против османских султанов и французских, британских и греческих интервентов, Кемаль уволился из армии и с тех пор неизменно появлялся на публике не в военной форме, а в одежде муфтия. Свой авторитет он связывал с избранием председателем Ассоциации защиты прав Анатолии. В августе 1923 г., когда была окончательно утверждена независимость турецкого государства, эта ассоциация преобразовалась в Республиканскую народную партию. Она правила Турцией последующие 27 лет. Кемаль и многие из его соратников по созданию Турецкой республики и партии были армейскими офицерами. Он, однако, настоял на том, чтобы все они сделали ясный выбор между военной деятельностью и политикой. «Командиры при исполнении армейских обязанностей и решении армейских проблем, — заявлял он, — должны следить за тем, чтобы политические соображения не влияли на их решения. Они не должны забывать, что существуют другие должностные лица, в чьи обязанности входит решать политические вопросы. Солдатский долг не может исполняться в болтовне и политиканстве»[78].

И Республиканская народная партия Турции, и мексиканская Институционно-революционная партия основаны генералами-политиками. Кальес и Карденас были ключевыми фигурами в создании одной, Кемаль — при создании другой. В обоих случаях основная часть руководства партии происходила из офицерства. Но в обоих же случаях партия обрела институционное существование, отдельное от тех групп, которые ее создали. В обеих партиях (в Мексике в большей мере, чем в Турции) военные лидеры отказывались от мундиров, и со временем гражданские руководители приходили на смену военным. Обе партии, как хорошо организованные политические образования, оказались в состоянии составить политический противовес армии. В Мексике высшее руководство партией и страной перешло из военных рук в гражданские в 1946 г. К 1958 г. военные занимали только 7 из 29 губернаторских постов и 2 из 18 мест в кабинете министров. «В правящей партии и в самом правительстве гражданские профессионалы преобладают, — писал один из специалистов в начале 1960-х. — Политику делают именно они. Армия находится под их контролем. По вопросам, не касающимся армии, они могут действовать, не спрашивая мнения военных, и могут выступать, а иногда и выступают против них и по военным вопросам»[79].

В Турции происходил, хотя и не столь успешно, сходный процесс приобретения военной властью гражданского облика через посредство правящей партии. В 1924 г. из состава кабинета был выведен начальник генерального штаба. Постепенно уменьшалось число бывших офицеров на политических постах. В 1920 г. офицеры составляли 17 % состава Великого национального собрания; в 1943 г. — 12, 5 %; в 1950 г. — только 5 %. После смерти Мустафы Кемаля в 1938 г. руководство перешло к его сподвижнику Исмету Иненю, который, как и Кемаль, вышел из рядов армии и уже два десятка лет функционировал в роли гражданского политика. В 1948 г. был сформирован первый кабинет, в составе которого не было ни одного бывшего офицера, а в 1950-м состоялись выборы, на которых власть мирно перешла к оппозиционной партии. Десятилетием позже попытка руководства этой партии подавить оппозицию побудила турецких военных, во имя кемалистской традиции, вновь вмешаться в политику и установить на короткое время военный режим, который в 1961 г. вернул власть свободно избранному гражданскому партийному правительству.

В Турции централизованная традиционная монархия существовала до 1908 г., когда она была свергнута путем переворота, совершенного представителями военного среднего класса. В результате переворота в стране на десяток лет воцарилась преторианская политика, конец которой был положен в начале 1920-х, когда Мустафа Кемаль стабилизировал свое правление путем создания эффективной партийной организации. Мексика и Турция — два примечательных примера того, как партии зарождаются в недрах армии, генералы-политики создают политическую партию, а политическая партия кладет конец правлению генералов.

Самая заметная попытка повторить достижения турецких и мексиканских генералов была предпринята в Корее через два десятилетия пос-

ле окончания Второй мировой войны. В течение почти двух лет после захвата власти в Корее генералом Пак Чжон Хи на него оказывалось давление со стороны США, требовавших, чтобы он восстановил гражданское правление, и со стороны сторонников жесткой линии в его собственной армии, требовавших, чтобы он не отдавал власть и не допускал к ней гражданских политиков. Он постарался разрешить эту дилемму, пообещав провести выборы в 1963 г. и попытавшись, на кемалистский манер, перенести опору своей власти с армии на политическую партию. В отличие от военных лидеров Египта и Пакистана, руководители Кореи приняли партийный принцип и предусмотрели создание политических партий в новой конституции, составленной ими для страны. Конституция не только не запрещала создание партий и не препятствовала их созданию, но уделила им особое внимание. Пакистанская конституция 1962 г. запрещала кандидату быть «членом политической партии или какой-нибудь подобной организации или получать от нее поддержку». Корейская конституция 1962 г., напротив, предусматривала, чтобы каждый кандидат «был рекомендован политической партией, членом которой он является». В противоположность идеалу стоящего над борьбой интересов независимого законодателя, не связанного организационными узами, которым руководствовался Айюб Хан, по корейской конституции конгрессмен терял свое депутатское кресло, «если он уходил из партии, или переходил в другую, или при роспуске его партии».

В декабре 1962 г. Пак объявил, что он выставляет свою кандидатуру на президентских выборах, назначенных на следующий год. В этом следующем году некоторые члены военной хунты стали отвлекать государственные средства на подготовку организации партии. В начале 1963 г. племянник Пака, бригадный генерал Ким Чжон Пиль, ушел в отставку с поста главы корейского службы безопасности и приступил к созданию политической организации, Демократической республиканской партии, которая должна была стать опорой генерала Пака. Работа в разведке предоставила Киму большие возможности наблюдать организационную эффективность коммунистов Северной Кореи, и при формировании Демократической республиканской партии Южной Кореи он частично следовал принципам ленинизма. Ким привел с собой из армии примерно 1200 способных и энергичных офицеров, к тому же он располагал, как предполагают, значительными суммами государственных денег. С этими ресурсами он смог создать достаточно эффективную политическую организацию. На общенациональном уровне он создал сильный административный секретариат, который первоначально финансировался из средств ЦРУ и был укомплектован способными людьми, набранными из армии, университетов и прессы. На местном уровне он создал секретариаты из четырех человек в каждом избирательном округе и бюро из восьми человек в каждой провинции. В задачи этих органов входили интенсивное изучение политических проблем, существующих на местах, обеспечение поддержки, создание организаций и подбор кандидатов. Операция в целом отличалась весьма профессиональным подходом[80].

Сделанное Паком в декабре 1966 г. заявление о выдвижении своей кандидатуры вызвало немедленную реакцию со стороны тех членов военной хунты, которые считали, что армия должна оставаться у власти, не пытаясь легитимизировать свое правление с помощью выборов. Пак удалил из состава хунты четырех оппозиционеров и почти тотчас же столкнулся с полномасштабным бунтом оставшихся членов. «Вся армия против тебя», — было ему сказано. Он вынужден был отправить генерала Кима за границу и объявить в феврале, что снимает свою кандидатуру. В следующем месяце хунта официально объявила, что выборы в 1963 г. не состоятся и что военное правление продлится еще четыре года. Эти действия, в свою очередь, вызвали протесты со стороны правительства США и со стороны гражданских политиков, надеявшихся оспорить власть военных. На протяжении шести месяцев Пак лавировал между угрозой американских санкций, если он отменит выборы, и угрозой военного переворота, если он их проведет. К сентябрю становление Демократической республиканской партии привело к тому, что страх офицеров за возможный исход выборов сильно уменьшился, а активность оппозиции дошла до такой точки, когда отмена выборов вызвала бы значительные гражданские беспорядки.

Президентские выборы в октябре 1963 г. проходили под давлением со стороны правительства, но это все же были самые справедливые выборы в истории Кореи. Генерал Пак получил 45 % голосов, его главный соперник 43 %. На парламентских выборах демократические республиканцы получили 32 %, но заняли 110 из 175 мест из-за раскола в рядах их противников. Как и следовало ожидать, оппозиционные партии завладели голосами больших городов, тогда как правительственная партия получила сильную поддержку в сельских областях. Военная хунта трансформировалась в политический институт. За три года военное вмешательство в политику и власть, основанная на преторианском использовании силы, оказались преобразованными в участие военных в политике и власть, основанную на народной поддержке и легитимизированную посредством состязательных выборов.

За три года, прошедшие после того, как генерал Пак получил контроль над государством, его режиму удалось провести ряд реформ, самой

заметной из которых стало заключение договора, нормализовавшего японо-корейские отношения, в соответствии с которым Япония должна была выплатить Корее несколько миллионов долларов репараций. Оппозиция этому договору со стороны оппозиционных партий и студентов была очень сильной. Его ратификация в августе 1965 г. была встречена многочисленными беспорядками и демонстрациями; целую неделю 10 000 или более студентов протестовали на улицах Сеула, требуя свержения правительства и аннулирования договора. Точно такие же демонстрации привели в 1960 г. к падению правительства Ли Сын Мана. Но генерал Пак мог опираться на лояльность армии и поддержку сельского населения. Теперь, когда армия была отделена от политики, он настоял на том, чтобы тот же принцип действовал в отношении студентов: правительство, говорил он, примет «все необходимые меры», чтобы раз и навсегда покончить с «дурной привычкой студентов вмешиваться в политику». В Сеул вошла боевая дивизия в полном составе; Корейский университет подвергся репрессиям; десятки студентов были отправлены в тюрьму. В условиях политики, обычной для преторианского общества, такие действия не были бы чем-то экстраординарным, но в долгосрочной перспективе создание системы стабильного партийного правления должно было снизить как военное, так и студенческое участие в политике. Рост благосостояния вследствие политической стабилизации режима также способствовал уменьшению открытого вмешательства студентов в политику.

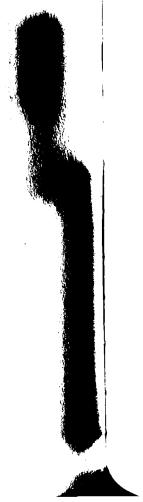
Достижения Айюб Хана в Пакистане, Кальеса и Карденаса в Мексике, Кемаля и Иненю в Турции, Пака и Кима в Корее и других, таких, как Риверы в Сальвадоре, показывают, что военные лидеры могут быть эффективными строителями политических институтов. Опыт свидетельствует, однако, что наиболее эффективно они могут играть эту роль в обществе, где общественные силы не вполне оформились. Трагедия такой страны, как Бразилия, в 1960-е гг. заключалась в том, что она была, в некотором смысле, слишком развитой, чтобы иметь Насера или Ататюрка, ее общество было слишком сложным и разнообразным, чтобы им мог управлять военный режим. Всякий бразильский военный лидер сталкивался с необходимостью отыскать способ приведения в равновесие региональных, индустриальных, коммерческих, плантаторских, рабочих и других интересов, которые формировали власть в Бразилии и согласие которых было необходимо для управления страной. Всякое правительство в Бразилии должно было так или иначе налаживать отношения с промышленниками Сан-Паулу. У Насера не было такой проблемы, и поэтому он мог быть Насером; точно так же и Ататюрк имел дело со сравнительно небольшой и однородной элитой. Модернизаторские военные ре-

жимы пришли к власти в Гватемале, Сальвадоре и Боливии. Но в Бразилии время для модернизации под руководством военных уже было упущено, ушло время и для военных в роли строителей политических институтов. Сложность расклада общественных сил может стать препятствием для строительства политических институтов под руководством военного среднего класса.

В странах менее сложных и менее развитых военные еще могут сыграть конструктивную роль, если они готовы следовать кемалистской модели. Во многих таких странах военные лидеры образованны, энергичны, прогрессивны. Они менее коррумпированы — в узком смысле слова, в большей степени идентифицируют себя с общенациональными целями и национальным развитием, чем большинство гражданских политиков. Их проблема носит чаще всего субъективный, а не объективный характер. Им необходимо понять, что хранительство способствует дальнейшему росту коррупции в обществе, которое они хотели бы очистить от коррупции, и что экономическое развитие без политической институциализации ведет лишь к социальной стагнации. Чтобы вывести страну из порочного круга преторианства, не нужно стоять выше политики или пытаться остановить политику. Вместо этого военные должны прокладывать свой путь в политике.

На каждом уровне политической активности могут существовать несколько эволюционных выборов, или возможностей, которые, не будучи использованы, быстро исчезают. На олигархическом уровне преторианства жизнеспособность партийной системы и ее способность к экспансии зависят от действий аристократов или олигархов. Если они проявят инициативу для получения голосов в свою поддержку и для развития партийной организации, страна вполне может выбраться из преторианского состояния уже на этом этапе. Если нет, если в преторианской политической жизни начинают принимать участие группы среднего класса, возможность действовать переходит к военным. Для последних модернизации недостаточно, и роль охранителей слишком скромна. От военных лидеров ожидаются позитивные усилия по формированию нового политического порядка. Во многих обществах возможности политического созидания, которыми располагают военные, могут оказаться последним реальным шансом политической институциализации. Альтернатива этому — только тоталитаризм. Если военные упускают эту возможность, рост политической активности превращает общество в массовую преторианскую систему. В такой системе возможность создавать политические институты переходит от военных, апостолов порядка, к другим лидерам среднего класса, апостолам революции.

В таком обществе, однако, революция и порядок вполне могут стать союзниками. Клики, блоки и массовые движения вступают в прямую борьбу друг с другом, каждый со своим оружием. Насилие демократизируется, политика деморализуется, общество оказывается не в ладах с самим собой. Конечным продуктом вырождения является специфическая подмена понятий. Подлинно беспомощным является не общество, которому угрожает революция, а общество, неспособное к революции. В нормальном обществе консерватор привержен стабильности и сохранению существующего порядка, тогда как с радикализмом связана угроза резкого и насильственного изменения того и другого. Но каково значение понятий консерватизма и радикализма в совершенно хаотическом обществе, где порядок может быть установлен актом политической воли? В таком обществе кто же радикал? Кто консерватор? И не является ли революционер подлинным консерватором?



5. Революция и политический порядок

Модернизация через революцию

Революция — это быстрая, фундаментальная и насильственная, произведенная внутренними силами общества смена господствующих ценностей и мифов этого общества, его политических институтов, социальной структуры, руководства, правительственной деятельности и политики. Революции, таким образом, необходимо отличать от восстаний, мятежей, бунтов, переворотов и войн за независимость. Переворот как таковой меняет лишь руководство и, возможно, политику; восстание или мятеж могут привести к смене политики, структур лидерства и политических институтов, но не социальной структуры и ценностей; война за независимость есть борьба одного сообщества против власти над ним другого сообщества и необязательно связана с изменениями в социальной структуре какого-либо из двух сообществ. То, что здесь называется просто «революцией», другие авторы называли великими революциями или социальными революциями. В качестве выдающихся примеров можно назвать французскую, китайскую, мексиканскую, русскую и кубинскую революции.

Революции редки. Многие общества никогда не переживали революции, и многие столетия, предшествовавшие современной эпохе, не знали революций. Революции, в подлинном смысле слова, суть, как выразился К. Фридрих, «особенность западной культуры». Великие цивилизации прошлого — Египет, Вавилон, Персия, государство инков, Греция, Рим, Китай, Индия, арабский мир — знавали восстания, мятежи и смены династий, но все это «никак не напоминало «великие» революции Запада»[1]. Подъем и падение династий в древних империях и попеременное утверждение олигархий и демократий в греческих городах-государствах были примерами политического насилия, но не социальных революций. Говоря точнее, революции характерны для периодов модернизации. Это один из путей модернизации традиционного общества, и они были так же незнакомы традиционным обществам на Западе, как и традиционным обществам в других регионах. Революция — это предельное выражение модернизаторской установки, убежденности в том, что во власти человека контролировать и изменять свою среду и что он не только способен, но и вправе делать это. Поэтому, как замечает Ханна Арендт, «говорить в связи с феноменом революции о насилии не более уместно, чем говорить об изменении; только в тех случаях, когда изменение имеет качество начала нового, когда насилие применяется для установления совершенно новой формы правления,

если оно приводит к формированию нового политического целого... можем мы говорить о революции»[2].

Предшественницей современных революций была английская революция XVII в., лидеры которой были убеждены, что им предстоит «совершить большие дела, сотворить для нас новое небо и новую землю, а у больших дел бывают большие враги»[3]. Их семантика была религиозной, но их цели и плоды их действий были радикально современны. Люди переделывали общество посредством законодательных действий. В XVIII в. образ революции секуляризовался. Французская революция породила революционное самосознание. «Она расколола современное сознание и заставила людей понять, что революция — это реальность, что большая революция может произойти в современном, прогрессирующем обществе... После Французской революции мы наблюдаем сознательную разработку революционных учений в предвидении грядущих революций, и вообще распространение более активного отношения к сознательному контролю над институтами»[4].

Революция, таким образом, есть один из аспектов модернизации. Она не может произойти в обществе любого типа в любой период его истории. Это не универсальная категория, а, скорее, исторически ограниченный феномен. Ему нет места в очень традиционных обществах с низким уровнем социальной и экономической сложности. Не встречается он и в наиболее современных обществах. Как и другие формы насилия и нестабильности, революции чаще всего происходят в обществах, где уже имело место некоторое социальное и экономическое развитие и где процессы политической модернизации и политического развития отстают от процессов социального и экономического изменения.

Политическая модернизация связана с распространением политического сознания на новые общественные группы и вовлечением этих групп в политику. Политическое развитие предполагает создание политических институтов, достаточно адаптивных, сложных, автономных и слаженных, чтобы направлять и упорядочивать деятельность этих новых групп, способствовать социальным и экономическим изменениям в обществе. Политическая сущность революции состоит в быстром распространении политического сознания и быстрой мобилизации новых групп в политику — настолько быстрой, что существующие политические институты не могут их ассимилировать. Революция — это крайний случай взрывного роста политической активности. Без такого взрыва нет революции. Завершенная революция, однако, предполагает и вторую фазу: создание и институциализацию нового политического порядка. В успешной революции сочетаются быстрая политическая мобилизация и быстрая политическая институциализация. Не все революции имеют своим результатом новый политический порядок. Мерой революционности служат быстрота и масштабы роста политической активности. Мерой успешности революции служат авторитет и стабильность институтов, которые она породила.

Полномасштабная революция, таким образом, связана с быстрым и насильственным разрушением существующих политических институтов, мобилизацией новых групп в политику и созданием новых политических институтов. Последовательность этих трех аспектов и соотношение между ними могут быть разными в разных революциях. Можно выделить две распространенные модели. В «западной» модели сначала терпят крушение политические институты старого режима; за этим следуют мобилизация новых групп в политику и затем создание новых политических институтов. «Восточная» революция, напротив, начинается с мобилизации новых групп в политику и создания новых политических институтов и заканчивается насильственным низвержением политических институтов старого строя. Французская, русская, мексиканская и, на своих первых этапах, китайская революции приближались к западной модели; позднейшие фазы китайской революции, вьетнамская революция и другие случаи колониальной борьбы против империалистических держав следовали восточной модели. В целом последовательность фаз более четко выражена в западной революции, чем в революции восточного типа. В последней все три фазы обычно осуществляются более или менее одновременно. Существует, однако, одно фундаментальное различие в последовательности фаз между двумя типами революций. В западной революции политическая мобилизация есть следствие крушения старого режима; в восточной революции она служит причиной его крушения.

Первая фаза западной революции — это крушение старого режима. Вот почему при анализе причин революции внимание исследователей обычно сосредоточено на политических, социальных и экономических условиях, существовавших при старом режиме. При этом неявно предполагается, что раз старый режим лишился власти, то это с неотвратимостью положило начало революционному процессу. На самом деле, однако, крушение многих старых режимов не приводит к полномасштабным революциям. Причины крушения старого режима необязательно достаточны для того, чтобы положить начало большой революции. События 1789 г. во Франции привели к крупному социальному перевороту; события 1830 и 1848 гг. не имели таких последствий. За падением маньчжурской династии в Китае и династии Романовых в России последовали великие революции; при падении династий Габсбургов, Гогенцоллернов, Османской и Кад-

жарской* этого не произошло. Свержение традиционных диктатур в Боливии в 1952 г. и на Кубе в 1958 г. высвободило мощные революционные силы; свержение традиционных монархий в Египте в 1952 г. и в Ираке в 1958 г. привело к власти новые элиты, но не разрушило полностью структуры общества. Падение режима Ли Сын Мана в Корее в 1960 г. могло послужить началом большой революции, но не послужило. Практически во всех этих случаях социальные, экономические и политические условия, существовавшие при старых режимах, за падением которых последовали революции, и при старых режимах, за падением которых этого не произошло, были одинаковыми. Старые режимы — традиционные монархии и традиционные диктатуры, власть которых централизована, но не велика, — очень часто рушатся, но редко за этим следует большая революция. И отсюда следует, что у нас не меньше шансов обнаружить факторы, ответственные за революцию, в ситуации, возникающей после крушения старого режима, чем в ситуации, существовавшей до его падения.

В «западной» революции для свержения старого режима требуется не слишком большая открытая активность со стороны мятежных групп. «Революция, — пишет Пети, — не начинается с того, что некая новая могущественная сила атакует государство. Она начинается с внезапного осознания почти всеми активными и пассивными участниками, что этого государства больше нет». Следствием крушения является отсутствие власти. «Революционеры выступают на сцену не верхом на коне, не как победившие заговорщики на форуме, а как испуганные дети, обследующие пустой дом и при этом не уверенные, что он пуст»[5]. Получит ли развитие революция, зависит от числа и характера групп, входящих в дом. Если общественные силы, сохранившиеся после ухода со сцены старого режима, заметно различаются по своей мощи, то наиболее мощная сила или комбинация сил сможет заполнить вакуум и восстановить порядок, не допустив значительного расширения границ политической активности. Крушение всякого старого режима влечет за собой беспорядки, демонстрации и выход на политическую арену ранее мирных или подавляемых групп. Если новая общественная сила (как в Египте в 1952 г.) или комбинация общественных сил (как в Германии в 1918–1919 гг.) сумеет быстро взять под свой контроль государственные механизмы и особенно орудия принуждения, оставленные старым режимом, то ей вполне может удаться подавить более революционные элементы, нацеленные на мобилизацию в политику новых сил («Братья-мусульмане», «Союз Спартака») и тем самым предотвратить возникновение подлинно революционной ситуации. Решающим фактором является концентрация или рассредоточение власти, происходящие после крушения старого режима. Чем менее традиционным было общество, в котором произошло падение старого режима, и чем больше в нем групп, способных и склонных участвовать в политике, тем вероятнее революция.

* Династия шахов Ирана в 1796–1925 гг.

Если нет группы, которая готова и способна установить после падения старого режима эффективное правление, то начинается борьба множества клик и общественных сил за власть. Именно эта борьба приводит к конкурентной мобилизации новых групп в политику и делает революцию революционной. Каждая группа политических лидеров пытается установить свою власть и в процессе этой борьбы либо завоевывает более широкую народную поддержку, чем ее конкуренты, либо терпит от них поражение.

После крушения старого режима главную роль в процессе политической мобилизации играют три типа лидеров. Первоначально, как указывали Бринтон и др., власть обычно попадает в руки умеренных (Керенский, Мадеро, Сунь Ятсен). Они, как правило, пытаются создать какую-то разновидность либерального, демократического, конституционного государства. Столь же обычно и то, что они характеризуют свои действия как восстановление прежнего конституционного порядка: Мадеро хотел восстановить конституцию 1856 г.; либеральные младотурки — конституцию 1876 г.; даже Кастро на начальном умеренном этапе считал своей целью восстановление конституции 1940 г. В редких случаях эти лидеры оказываются способными адаптироваться к последующей интенсификации революционного процесса: Кастро был и Керенским, и Лениным кубинской революции. Чаще, однако, умеренные остаются умеренными и исчезают из политики. Их неудача проистекает именно из их неспособности решать проблему политической мобилизации. С одной стороны, им не хватает энергии и безжалостности для того, чтобы остановить вхождение новых групп в политику; с другой — у них не хватает радикализма, чтобы это движение возглавить. Первая альтернатива требует концентрации власти, вторая — ее рассредоточения. Неспособные и не желающие выполнять ни одну из этих двух функций либералы оказываются сметены с дороги либо контрреволюционерами, выполняющими первую функцию, либо более крайними революционерами, выполняющими вторую.

Практически во всех революционных ситуациях контрреволюционеры, часто с иностранной помощью, пытаются остановить рост политической активности и восстановить политический порядок с небольшой, но централизованной властью. Корнилов, Юань Шикай, Уэрта* и в некото-

* Юань Шикай (1859–1916) — президент Китая после свержения династии Цин (1912). Установил режим военной диктатуры. Викториано Уэрта (1845–1916) — президент Мексики в 1913–1914 гг.

ром смысле Реза-шах и Мустафа Кемаль — все они сыграли такого рода роли в период, наступивший после падения режима Порфирио Диаса в Мексике и династий Романовых, Цин, Каджарской и Османской. Все эти примеры указывают на то, что контрреволюционеры — почти всегда люди военные. Сила — источник власти, но она оказывает более долгосрочное действие, если соединена с принципом легитимности. У Уэрты и Корнилова не было ничего, кроме силы, и они проиграли перед лицом радикализации революции и мобилизации в политику новых общественных групп. И Юань Шикай, и Реза-шах пытались установить новые, более жизнеспособные традиционные системы правления на развалинах предшествующих династий. Между двумя этими странами много общего: прежняя династия разложилась и пала; иностранные державы открыто и конкурируя друг с другом вмешивались в дела страны и готовились к ее расчленению; процветали борьба вооруженных кланов и анархия; казалось, что главные надежды на устойчивость связаны с командованием новых вооруженных сил, созданных в последние годы существования гибнущей династии.

Юань Шикай не смог создать новую династию, тогда как Реза-шаху это удалось, прежде всего потому, что политическая мобилизация зашла в Китае много дальше, чем в Персии. Средний класс в китайских городах был достаточно развитым, чтобы начиная с 1890-х поддерживать националистическое движение. Если в китайской политике студенты и интеллектуалы играли ключевую роль, то в Персии они практически отсутствовали на политической сцене. Низкий уровень социальной мобилизации в Персии позволял вдохнуть новую жизнь в традиционные формы правления. По существу, у Реза-шаха не было выбора: есть данные, что он стремился к тому, чтобы создать в Иране республику в кемалистском стиле, но оппозиция отказу от традиционных форм легитимности была столь сильна, что он оставил эту идею. Отчасти благодаря этому низкому уровню социальной мобилизации Реза-шах смог идентифицировать себя с персидским национализмом. Он стал символом персидской независимости от русского и английского влияния. В Китае, с другой стороны, Юань Шикаю не удалось в 1915 г. достойно ответить на «двадцать одно требование» со стороны Японии. Эта неудача завершила его изоляцию от националистических групп среднего класса и лишила авторитета, необходимого, чтобы противостоять расколу страны в результате действий вооруженных кланов.

Третью крупную политическую группу в революционной ситуации составляют радикальные революционеры. По идеологическим и тактическим причинам их целью является расширение границ политической активности, вовлечение новых масс населения в политику и тем самым усиление своего влияния. Разрушение установленных институтов и процедур, служащих для кооптации групп в систему власти, для их социализации и включения в политический порядок, дает экстремистам естественное преимущество перед соперниками. Они в большей мере склонны к мобилизации новых групп в политику. Революция в силу этого радикализуется, и все более широкие массы населения оказываются вовлеченными в политическое противостояние. Поскольку в большинстве стран, переживающих модернизацию, крупнейшей общественной силой являются крестьяне, наиболее революционными оказываются те лидеры, что мобилизуют и организуют для политического действия крестьян. В некоторых случаях при обращении к крестьянам и другим низшим классам лидеры ограничиваются социальными и экономическими лозунгами; однако часто к ним добавляются лозунги националистические. Этот процесс ведет к перенастройке политического сообщества и закладывает основы нового политического порядка.

В западных революциях символическое или действительное падение старого режима может быть достаточно точно датировано: 14 июля 1789 г., 10 октября 1911 г., 15 марта 1917 г.*. Этими датами отмечено начало революционного процесса и мобилизации новых групп в политику по мере того, как соперничество борющихся за власть новых элит заставляет их апеллировать ко все более широким массам. В ходе этого соперничества одна из групп в конечном счете утверждает свое первенство и восстанавливает порядок либо силой, либо через формирование новых политических институтов. В восточных же революциях старый режим современен, у него больше власти и легитимности, и поэтому не происходит простого крушения этого режима, которое бы создало вакуум власти. Режим в этом случае приходится свергать. Отличительной чертой западных революций является наступающий после падения старого режима период анархии или безвластия, когда умеренные, контрреволюционеры и радикалы борются за власть. Отличительной чертой восточных революций является длительный период «двоевластия», когда революционеры заняты вовлечением новых групп в политику, распространением и усилением влияния своих институтов управления, тогда как правительство продолжает — в других местах страны и в другое время — осуществлять свои государственные функции. В западных революциях основная борьба происходит между революционными группами; в восточных революциях это борьба между одной революционной группой и старым порядком.

В терминах двух аспектов нашего особого внимания, институтов и политической активности, западная революция проходит фазы крушения старых политических институтов, расширения границ политической актив-

* 14 июля 1789 г. — день взятия Бастилии. 10 октября 1911 г. в Китае низложена династия Цин. 15 марта (по н. ст.) 1917 г. — дата отречения от престола императора Николая II.

ности, создания новых институтов. Или, в более подробной характеристике, данной Бринтоном, она развивается через падение старого порядка, революционный медовый месяц, правление умеренных, попытки контрреволюционного переворота, приход к власти радикалов, царство террора и воинствующей добродетели и, наконец, термидор[6]. Логика развития восточной революции совершенно другая. Рост политической активности, создание новых политических институтов осуществляются революционной контрэлитой одновременно и постепенно, а крушение политических институтов старого режима завершает, а не начинает революционную борьбу. В западных революциях революционеры сначала приходят к власти в столице и затем постепенно подчиняют себе сельские районы. В восточных революциях они удаляются из центральных, городских районов страны, устанавливают контроль над каким-нибудь удаленным районом, делают его своей опорной базой, завоевывают поддержку крестьян террором и пропагандой, медленно расширяют подвластную им территорию и постепенно увеличивают масштабы своих военных операций — от отдельных террористических вылазок к партизанской мобильной войне до, наконец, регулярных военных действий. В конечном счете они оказываются в силах нанести поражение правительственным войскам на поле боя. Последней фазой революционной борьбы становится захват столицы.

В западной революции падение старого режима, с которого и начинается революционная борьба, может быть точно датировано, тогда как время, когда можно сказать, что борьба закончилась, точно установить практически невозможно; революция в некотором смысле истощается по мере того, как одна из групп постепенно утверждает свое доминирование и восстанавливает порядок. Напротив, в восточной революции невозможно указать точное начало революции, выделив его во множестве совершаемых небольшими отрядами мятежников нападений на деревенское начальство, правительственных чиновников и полицейские патрули. Истоки революции затеряны где-то в зарослях джунглей и извивах горных троп. Конец же революционного процесса, напротив, может быть точно датирован, символически или фактически, тем моментом, когда революционеры окончательно устанавливают свою власть в столице режима: 31 января 1949 г., 1 января 1959 г.*.

В западной революции революционеры устремляются из столицы в сельскую местность, чтобы поставить ее под свой контроль. В восточной революции они из отдаленных сельских районов пробиваются в центр и в конце концов овладевают столицей. Поэтому в западной революции самые кровавые столкновения происходят после того, как революционеры захватывают власть в столице; в восточной революции они происходят перед тем, как захвачена столица. В западной революции захват центральных институтов и символов власти обычно происходит очень быстро. В январе 1917 г. большевики были небольшой, нелегальной, заговорщической группкой, большинство лидеров которой находились либо в Сибири, либо в эмиграции. Менее чем год спустя они уже были главными политическими правителями России, хотя и было немало охотников оспорить их власть. «Знаете ли, — сказал както Ленин Троцкому, — из положения преследуемых и подпольщиков вдруг прийти к власти... Es schwindelt!*»[7] В противоположность этому у китайских коммунистических лидеров не было такой драматичной смены обстоятельств. Напротив, им пришлось медленно и постепенно пролагать себе путь к власти в течение двадцати двух лет, начиная с бегства в сельские районы в 1927 г., через ужасные сражения в Гуанси, тяготы «Великого похода», борьбы с японцами, гражданскую войну с гоминьданом, пока, наконец, не совершилось их триумфальное вступление в Пекин. В этом процессе не было ничего «головокружительного». В течение большей части этого времени коммунистическая партия осуществляла эффективную политическую власть на достаточно обширной территории и над большой частью населения. Это было правительство, пытающееся расширить границы своей власти за счет другого правительства, а не группа заговорщиков, вознамерившаяся свергнуть правительство. Для большевиков то, что в их руках оказалась общенациональная власть, было драматичным изменением; для китайских коммунистов это была всего лишь кульминация долгого, затяжного процесса.

Одним из существенных факторов, определяющих различный ход революций на Западе и на Востоке, является характер предреволюционного режима. Западная революция обычно направлена против очень традиционного режима, во главе которого стоит абсолютный монарх, или такого, где доминирует землевладельческая аристократия. Революция происходит, как правило, тогда, когда этот режим переживает серьезные финансовые затруднения, когда он не в состоянии инкорпорировать интеллигенцию и другие элементы городской элиты и когда правящий класс, из которого рекрутируются его лидеры, утратил моральный дух и волю к власти. Западная революция есть своего рода соединение начального «городского прорыва» среднего класса и «зеленого восстания» крестьянства в единый конвульсивный, революционный процесс. Восточные революции, напротив, направлены против режимов, хотя бы отчасти модернизированных. Это могут быть пра-

* 31 января 1949 г. — дата признания Нидерландами независимость Индонезии. 1 января 1959 г. — приход Ф. Кастро к власти на Кубе.

* Es schwindelt — это головокружительно (*нем.*).

вительства местного происхождения, вобравшие в себя какие-то современные и динамичные элементы среднего класса и возглавляемые новыми людьми, у которых хватает решимости, если и не политического мастерства, чтобы держаться за власть, или же это могут быть колониальные режимы, в которых богатство и мощь метрополии придают местному правительству видимость подавляющего превосходства во всех обычных проявлениях политической власти и военной силы. В таких ситуациях быстрая победа невозможна, и городским революционерам приходится пробиваться к власти путем затяжного процесса подрывной деятельности в сельских районах. Западные революции, таким образом, вызываются слабостью традиционных режимов; восточные революции — узостью модернизирующихся режимов.

В западной революции основная борьба обычно происходит между умеренными и радикалами; в восточной революции она происходит между революционерами и правительством. В западной революции умеренные находятся у власти недолгое время — между падением старого режима, расширением границ политической активности и приходом к власти радикалов. В революции восточного типа умеренные много слабее; они вообще не занимают властных позиций, и, по мере того, как развивается революция, они становятся жертвами либо правительства, либо революционеров, либо же вынуждаются процессом поляризации присоединиться к той или другой стороне. В западной революции время террора — это поздние стадии революции; к нему прибегают радикалы после прихода к власти, направляя его в первую очередь против умеренных и других революционных групп, с которыми они боролись. В восточных революциях, напротив, террор используется на первом этапе революционной борьбы. К нему прибегают революционеры, когда они слабы и далеки от власти, не могут обеспечить поддержку со стороны крестьян и запугать низшие эшелоны государственного порядка. В восточном варианте революции чем сильнее становится революционное движение, тем меньше оно склонно полагаться на терроризм. В западном варианте утрата прежней элитой воли к власти и способности управлять есть первая фаза революции; в восточном варианте это последняя фаза и продукт революционной войны, которую ведет контрэлита против режима. Эмиграция, следовательно, достигает пика в начале революционной борьбы в западной модели и в конце борьбы — в восточной.

Институционные и социальные условия революции

Революция, как уже было сказано, есть широкомасштабный, быстрый и насильственный рост политической активности за пределами существующей структуры политических институтов. Ее причины, таким образом, лежат во взаимодействии между политическими институтами и общественными силами. Революции происходят тогда, когда совмещаются определенные состояния политических институтов с определенными конфигурациями общественных сил. С этой точки зрения двумя предпосылками революции являются, во-первых, неспособность политических институтов послужить каналами для вхождения новых общественных сил в политику и новых элит в сферу управления и, во-вторых, стремление общественных сил, отстраненных от участия в политике, участвовать в ней; это стремление обычно проистекает от присущего группе чувства, что она нуждается в каких-то символических или материальных приобретениях, добиться которых она может только за счет выдвижения своих требований в политической сфере. Группы, выходящие на политическую арену и притязающие на более высокое положение в обществе, и институты, негибкие и не поддающиеся изменению, — вот тот материал, из которого делаются революции[8].

Многие из тех, кто предпринял в последнее время попытки определить причины революций, уделяли главное внимание ее социальным и психологическим корням. При этом, соответственно, мало учитывались политические и институционные факторы, от которых зависит вероятность революции. Революции маловероятны в политических системах, в которых существуют возможности распространения власти и расширения границ политической активности внутри системы. Именно это делает маловероятными революции в политических системах современного типа с высоким уровнем институциализации — конституционных или коммунистических, — которые стали таковыми по той простой причине, что в них предусмотрены процедуры инкорпорации новых общественных групп и элит, стремящихся к участию в политической жизни. Великие революции, которые знает история, происходили либо в традиционных монархиях с высоким уровнем централизации (Франция, Китай, Россия), либо при военных диктатурах с недостаточно широкой социальной базой (Мексика, Боливия, Гватемала, Куба), либо при колониальных режимах (Вьетнам, Алжир). Во всех этих политических системах практически отсутствовали какие-либо возможности для более широкого распределения власти и каналы для вхождения новых групп в политику.

Самым, пожалуй, важным и очевидным и в то же время самым пренебрегаемым можно счесть тот факт, что успешные масштабные революции не происходят в демократических политических системах. Это вовсе не значит, что формально демократические системы застрахованы от революций. Это конечно же не так, и олигархическая демократия с ограничен-

ной социальной базой может оказаться столь же неспособной обеспечить расширение границ политической активности, как и олигархическая диктатура с недостаточно широкой социальной базой. Тем не менее отсутствие успешных революций в демократических странах остается поразительным фактом и заставляет сделать вывод, что в среднем демократии имеют больше возможностей для включения новых групп в свои политические системы, чем политические системы, где власть столь же ограничена, но более централизована. Отсутствие успешных революций против коммунистических диктатур указывает на то, что ключевое их отличие от традиционных автократий заключается именно в их способности поглощать новые общественные группы.

Если демократия ведет себя «недемократично» и препятствует росту политической активности, дело вполне может кончиться революцией. На Филиппинах, к примеру, движение крестьян-арендаторов острова Лусон «Хукбалахап» сначала попыталось достичь своих целей путем использования тех возможностей политической активности, которые предоставляет демократическая политическая система. Представители движения участвовали в выборах и избрали нескольких членов филиппинского законодательного собрания. Собрание, однако, не дало возможности этим депутатам занять свои кресла, и в результате лидеры движения вернулись в сельские районы, чтобы начать восстание. Революцию удалось погасить только тогда, когда правительству Филиппин во главе с Магсайсаем удалось подорвать влияние «Хукбалахапа», предоставив крестьянству символические и действительные возможности для самоидентификации с существующими политическими институтами и участия в них.

Для того чтобы революция произошла, нужны не только политические институты, препятствующие росту политической активности, но и общественные группы, добивающиеся возможности участвовать в политической жизни. Теоретически всякий общественный класс, который не был инкорпорирован в состав политической системы, потенциально революционен. Практически всякая группа проходит фазу, короткую или продолжительную, когда уровень ее революционности высок. В некоторой точке развития в группе начинают формироваться устремления, которые побуждают ее предъявлять символические или материальные требования к политической системе. Лидеры группы очень скоро осознают, что для достижения этих целей они должны найти пути к политическому руководству страны и средства участия в функционировании политической системы. Если таковых нет и не ожидается, группа и ее лидеры приходят в состояние фрустрации и отчуждения. Можно предположить, что это состояние может сохраняться в течение неопределенного времени; первоначальные потребности, побудившие группу искать доступа к участию в политической системе, могут сойти на нет, или группа может попытаться навязать системе свои требования путем насилия или других средств, не признаваемых системой законными. В последнем случае либо система адаптируется к ситуации, как-то узаконивает эти средства и таким образом признает необходимость удовлетворить те требования, для удовлетворения которых применялись эти средства, либо же политическая элита пытается подавить деятельность группы и положить конец использованию этих методов. Нет причин считать, что такая попытка обязательно будет безуспешной, если группы внутри политической системы достаточно сильны и едины в своем нежелании допустить новую группу к участию в политической жизни.

Невыполнение требований и недопущение к участию в работе политической системы может превратить группу в революционную. Но для совершения революции нужна не одна революционная группа. Революция всегда предполагает отчуждение от существующего строя многих групп. Она есть продукт «множественной дисфункции» в обществе[9]. Одна общественная группа может совершить переворот или устроить мятеж, но лишь согласие групп может привести к революции. Понятно, что эта комбинация может принимать форму любой из множества возможных коалиций. Но в любом случае революционный альянс должен иметь в своем составе несколько городских и несколько сельских групп. Оппозиция правительству со стороны городских групп может привести к длительной нестабильности, характерной для преторианского государства. Однако лишь сочетание городской оппозиции с сельской может привести к революции. В 1789 г., замечает Палмер, «крестьяне и буржуа выступали против общего врага, и это и сделало возможной французскую революцию»[10]. В более широком смысле именно это делает возможной любую революцию. Выражаясь точнее, вероятность революции в стране, переживающей модернизацию, зависит от: (а) степени, в которой городской средний класс — интеллектуалы, профессионалы, буржуазия — отчужден от существующего строя; (б) степень, в которой крестьянство отчуждено от существующего строя; (в) степень, в которой городской средний класс и крестьянство объединяются не только в борьбе против «общего врага», но и в борьбе за общее дело. Таким делом обычно становится национализм.

Революция, таким образом, маловероятна, если период фрустрации городского среднего класса не совпадает с таким периодом для крестьянства. Можно представить, что одна группа переживает пик отчуждения от политической системы в одно время, а другая — в другое время; в такой ситуации вероятность революции ничтожна. Но в целом более медленный процесс социальных изменений в обществе уменьшает возмож-

ность того, что эти две группы будут переживать период отчуждения от существующей системы одновременно. Следовательно, в той мере, в какой социально-экономическая модернизация ускоряется, вероятность революции возрастает. Однако чтобы произошла крупномасштабная революция, необходимо не только отчуждение от существующего строя и городского среднего класса, и крестьянства, но и то, чтобы они имели способность и побуждения если и не сотрудничать, то действовать в одном направлении. Когда такого стимула к совместному действию нет, революции опять-таки можно избежать.

Город и революция

Люмпен-пролетариат

Какие городские группы чаще всего оказываются в числе революционных? Существуют три очевидных ответа: люмпен-пролетариат, промышленные рабочие и образованный средний класс.

На первый взгляд наиболее вероятным источником городского бунта являются, очевидно, трущобы и городские окраины, заселенные переселившейся из деревень беднотой. Во многих латиноамериканских городах в 1960-е гг. от 15 до 30 процентов населения жили в ужасающих условиях, в «фавелах», «ранчо» и «баррьядах». Такие же трущобы складывались в Лагосе, Найроби и других африканских городах. Рост городского населения в большинстве стран очевидным образом опережал рост городской занятости. Уровень безработицы в городах часто достигал 15–20% от общей численности рабочей силы. Эти социальные условия представляются крайне благоприятными не только для усиления оппозиции, но и для революции, и в 1960-е гг. американские политологи все более озабочены угрозой вспышек беспорядков и насилия в городах многих стран, экономическому и политическому развитию которых США помогают. «Город, — предупреждала леди Джексон, — может представлять такую же смертельную угрозу, как и бомба»[11].

И тем не менее поразительным обстоятельством 1960-х гг. остается то, сколь редко городские трущобы и бедные окраины становились средоточием оппозиции или революции. Повсюду в Латинской Америке и в значительной части Азии и Африки размеры трущоб росли, условия жизни в них существенно не улучшались, но при этом, за редкими исключениями, ожидаемых социального насилия, бунтов и восстаний так и не было. Этот разрыв между очевидным социальным и экономическим злом

и отсутствием политического протеста против этого зла, действий, направленных на его устранение, был феноменальным для в политической жизни стран, переживающих модернизацию.

Отмечались не только общая редкость случаев политического и социального насилия, но и формы ортодоксального политического поведения, удивительно плохо согласующиеся с социальными условиями. Теоретически фавелы должны были стать серьезным источником поддержки коммунистов и других радикальных левых движений. И все же это случалось нечасто. Там, где окраины голосовали за оппозиционные партии, они часто предпочитали правых, а не левых. В 1963 г. в Перу, к примеру, в трущобах Лимы наибольшее количество голосов набрал генерал Одриа, самый консервативный из четырех кандидатов в президенты. В том же году в Каракасе Услар Пиетри, консервативный кандидат, получил большинство голосов жителей городской окраины. В Чили в 1964 г. трущобы Сантьяго и Вальпараисо проголосовали за умеренного Фрея, а не за радикала Альенде[12]. Сходным образом события развивались в Сан-Паулу и других латиноамериканских городах.

Как можно объяснить этот видимый консерватизм и это смирение? Похоже, что здесь сказываются четыре фактора. Во-первых, мигранты из сельской местности в города продемонстрировали свою географическую мобильность и, в целом, они, несомненно, улучшили условия своей жизни за счет переезда. Сравнение нового, городского экономического статуса со своим положением в прошлом сообщает мигранту «чувство относительной вознагражденности. Это может иметь место, даже если он находится на самой низшей ступени городской стратификации»[13]. Во-вторых, сельский мигрант сохраняет сельские ценности и установки, включая прочно усвоенные образцы поведения, такие, как почтение к вышестоящим и политическая пассивность. Для городских трущоб характерны низкий уровень политической сознательности и политической информированности. Население трущоб не волнуют политические проблемы: менее одной пятой выборки из жителей трущоб Рио-де-Жанейро участвовали хотя бы в одном серьезном политическом споре за полгода. Жизнь в городе не избавляет от сельского сознания зависимости; соответственно, низкими остаются и уровни притязаний и ожиданий. Многочисленные исследования показали, что «городская и сельская беднота в Латинской Америке не ждет всерьез от своего правительства, что оно что-то сделает для того, чтобы облегчить их положение». В Панама-Сити 60% студентов из рабочего класса убеждены, что «деятельность правительства не может сильно повлиять на их жизнь». Это безразличие к политике, отстраненность от нее и от возможности политических перемен образуют фундамент консерватизма бед-

ных. И этому консерватизму не следует удивляться. В США тоже «люди из низших социальных слоев оказываются значительно более консервативными, чем люди более высокого статуса»[14].

Третьим фактором, объясняющим слабость политического радикализма в среде жителей трущоб, является повседневная нужда в пище, работе и жилье, удовлетворить которую они могут, только действуя через существующую систему, а никак не против нее. Как и европейский иммигрант в американских городах XIX в., сельский мигрант в современном модернизирующемся городе становится объектом влияния скорее для политических машин и лидеров, распределяющих материальные блага, нежели для идеологов-революционеров, обещающих тысячелетнее царство справедливости. Жители трущоб, по словам Халперина, «реалисты в смысле стремления к повышению своего благосостояния, и в политике они склонны поддерживать человека, от которого можно ждать такого повышения, даже если это диктатор или политик с отвратительной репутацией»[15]. «Баррьяды» Лимы проголосовали за генерала Одриа, поскольку в рамках обширной программы общественных работ, которую он проводил во время своего предыдущего президентского срока, возросла занятость. Житель трущоб живет малым; он ценит выгоду, получаемую здесь и теперь. Тот, кто думает о еде, не склонен думать о революции.

Наконец, сами формы социальной организации в трущобах не способствуют политическому радикализму. Во многих латиноамериканских городских трущобах наблюдается высокий уровень взаимного недоверия и антагонизма, а это, в свою очередь, затрудняет какую-либо организованную кооперацию для выражения требований и участия в политическом действии. Эти устремления больше распространены в городских трущобах, нежели в сельских общинах, из которых происходят мигранты: в Перу, к примеру, 54% жителей трущоб сказали, что они всегда чувствуют недоверие, даже среди своих друзей, тогда как в сельской местности эта цифра составила 34%[16]. Трудности в формировании новых ассоциаций для отстаивания своих требований дополняются живучестью традиционных форм социальной структуры. Важнейшую роль продолжает играть семья, а место помещика или управляющего занимает выборный чиновник. Насколько эти традиционные формы власти удовлетворяют минимальные потребности жителей трущоб, настолько же они минимизируют побуждения к созданию новых ассоциаций с более широкими политическими и общественными целями. В Африке, напротив, люди, мигрировавшие в города, по видимости довольно быстро объединяются в добровольные ассоциации на племенной или региональной основе. Помогая друг другу, эти ассоциации, возможно, заложат основу движения в направлении более эффективной политики, т. е. политики групп, организованных по интересам.

В политическом плане житель трущоб может поддерживать правительство или проголосовать за оппозицию. Но он не сторонник революции. Реформы, приносящие жителю трущоб немедленные материальные выгоды в виде работы и жилья, вполне могут произвести стабилизирующий эффект, по крайней мере, на короткое время. В какой-то момент, однако, эта ситуация, скорее всего, переменится, и улучшение условий жизни в трущобах приведет с большой вероятностью к росту политических беспорядков и насилия. Первое поколение жителей трущоб приносит в трущобы сельские установки почитания вышестоящих и политическую пассивность. Их дети вырастают в городской среде и усваивают цели и притязания, свойственные городу. Если родители удовлетворены географическим перемещением, то детям требуется вертикальная мобильность. Если роста возможностей не видно, велика вероятность, что будет существенно расти радикализм.

Зависимость между длительностью проживания в городе, профессиональной мобильностью и политическим радикализмом зримо иллюстрируют данные Соареша по Рио-де-Жанейро. Доля квалифицированных рабочих, поддерживающих ПТБ (Партию трудящихся Бразилии), была одна и та же (37–38%) для тех, кто жил в Рио больше двадцати лет, и для тех, кто жил там менее двадцати лет. В то же время для неквалифицированных мигрантов длительность проживания в городе существенно сказалась на поведении на выборах. Только 32% тех, кто жил в Рио меньше двадцати лет, поддерживали ПТБ, тогда как среди тех, кто прожил там двадцать лет и более, доля поддержавших ПТБ составила 50%[17]. Короче говоря, длительная жизнь в городе при малой профессиональной мобильности или в отсутствие таковой порождала политический радикализм. Сходным образом в Калькутте «гундас», т. е. профессиональные хулиганы, из которых рекрутируются лидеры радикалов и значительная часть буйствующих толп, много чаще принадлежат к уроженцам города, составляющим треть его населения, чем к тем двум третям, которые состоят из иммигрантов и людей, покинувших сельские районы. Сельские связи последних уменьшают вероятность того, что они будут заниматься противозаконной деятельностью. «Вопреки распространенному убеждению, связи мигранта с деревней и со своим семейством, неуверенность и, пожалуй, даже настороженность, которую он ощущает в большом городе, — все это делает его в какой-то мере законопослушным; городской житель, зависящий от города в отношении дохода и безопасности, в большей мере склонен к выступлениям против властей и к связям

с подпольным миром. Сельский иммигрант должен адаптироваться к городской жизни, прежде чем он сможет стать профессиональным преступником. Деревенскому жителю нужно научиться не бояться представителей власти, а презирать их, прежде чем он или его потомки смогут стать преступниками»[18].

Эти наблюдения подтверждаются американским опытом. В процессе иммиграции из Европы напряжения и тяготы, связанные с адаптацией, особенно сильно проявились во втором поколении рожденных или воспитанных в Америке. «Второму поколению, — по словам Хэндлина, — была свойственна неустойчивость... По мере того как оно выходило на авансцену, оно порождало острые проблемы по той причине, что у него не было определенного места в обществе»[19]. Аналогичным образом в США рост преступного и массового насилия в северных негритянских трущобах в 1960-е гг. был делом рожденных в городе детей первого поколения мигрантов из сельских районов Юга, которые отправились на Север во время Великой депрессии и Второй мировой войны. Первое поколение держалось сельских обычаев и нравов; второе поколение черпало свои мечты из городской жизни и, чтобы осуществить их, обратилось сначала к единичным преступлениям, а затем к массовым противозаконным действиям. 44% детройтских негров, участвовавших в беспорядках июля 1967 г., были рождены в Детройте, но лишь 22% тех негров, которые не участвовали в беспорядках, были уроженцами этого города. Точно так же 71% участников беспорядков, но только 39% не принимавших в них участия выросли на Севере, а не на Юге. «Старшие, — говорил в 1966 г. Клод Браун Роберту Кеннеди, — соглашались с мифом, что они принадлежат к низшей расе и что им не положено иметь больше, чем давало им белое общество. Нынешнее поколение больше не верит этому, благодаря ТВ, благодаря полученному воспитанию, благодаря чтению популярных журналов и тому подобного, и это поколение желает получить свое. И знаете, сенатор? Быть может, никто не успел этого заметить, но единственное из происходившего в негритянских кварталах, что действительно помогло добиться каких-то разумных уступок от белого общества, это беспорядки. Никто вообще не знал, что Уоттс существует до беспорядков 1965 г. в Уоттсе»[20]. В Азии и Латинской Америке, как и в Северной Америке, городское насилие, политическое и криминальное, имеет тенденцию к росту с увеличением доли в населении города местных уроженцев по отношению к иммигрантам. А значит, в трущобах Рио и Лимы, Лагоса и Сайгона должна прокатиться война насилия, как это было в Гарлеме и Уоттсе, когда дети города потребуют свою долю преимуществ жизни в городе.

Промышленные рабочие

В странах с запозданием процесса модернизации менее вероятным источником революционной активности является промышленный пролетариат. В целом разрыв между мобилизацией общественных сил для политического и социального действия и созданием институтов для организационного оформления этого действия много больше для стран, позднее проходящих процесс модернизации, чем для стран, проходящих его раньше. Однако в сфере промышленного труда действует как раз обратное отношение. В XIX в. в Европе и Америке промышленным рабочим были свойственны радикализм и даже революционность, поскольку индустриализация предшествовала становлению профсоюзного движения, господствующие в обществе группы резко выступали против профсоюзов, а наниматели и правительства делали все возможное, чтобы не выполнять предъявляемых рабочими требований более высокой оплаты труда, более короткого рабочего дня, улучшения условий труда, страхования от безработицы, пенсий и других социальных благ. В этих странах мобилизация рабочих обычно обгоняла их организацию, и поэтому в период, предшествовавший укреплению профсоюзов, радикальные и экстремистские движения часто получали поддержку в среде озлобленных рабочих. Профсоюзы были организованы, чтобы протестовать и бороться против существующего строя от имени этого нового класса. Коммунисты и другие радикальные группы завоевывали самые сильные позиции в рабочих движениях, которым отказывали в признании и легитимизации политические и экономические элиты. «Самые яркие проявления неравенства, — отмечает Корнхаузер, — возникают на *раннем* этапе индустриализации, и именно в это время расцветают массовые движения. Ослабление массовых тенденций связано с появлением новых общественных форм, в особенности профсоюзов, которые играют роль посредников в отношениях между промышленной рабочей силой и обществом в целом. Но их становление требует времени»[21].

Все эти условия играют много меньшую роль в странах, где индустриализация происходит позднее. В XX в. в странах с традиционными политическими системами (таких, как Саудовская Аравия) профсоюзы часто запрещались. В других странах поздней модернизации, однако, разрыв между мобилизацией рабочих и институциализацией рабочих организаций удалось резко сократить, если не преодолеть вовсе. Более того, в некоторых случаях организация рабочей силы едва ли не предшествовала формированию этой силы. Во многих модернизирующихся странах Африки и Латинской Америки в середине XX в. более 50% несельскохозяйственных

Таблица 5.1. Масштабы профсоюзного движения

Страны	Доля членов профсоюзов среди занятых вне сельского хозяйства				
	50% и выше	25–49%	10–24%	Менее 10%	Всего
африканские	7	7	5	4	23
латиноамериканские и карибские	6	3	5	7	21
ближневосточные и североафриканские	1	5	1	9	16
азиатские	1	6	2	8	17
коммунистические	10	2	1	0	13
западные	7	11	1	1	20
Всего	32	34	15	29	110

Источник: Ted Gurr, New Error Compensated Measures for Comparing Nations: Some Correlates of Civil Violence (Princeton, Princeton University, Center of International Studies, Research Monograph No. 25, 1966), p. 101–110.

рабочих были организованы в союзы. В 14 из 23 африканских стран и в 9 из 21 стран Карибского бассейна члены профсоюза составляли более четверти несельскохозяйственных рабочих. На Ближнем Востоке и в Азии масштабы профсоюзного движения были меньше, но и здесь они в некоторых странах были значительны. В 1950-е и 1960-е примерно в 37 азиатских, африканских и латиноамериканских странах доля рабочих, охваченных профсоюзными организациями, была выше, чем в США. Благодаря этому радикализирующие и стабилизирующие тенденции, связанные с подчинением сельских мигрантов фабричной дисциплине, сильно ослабли. Рабочее движение в этих странах является в целом намного более консервативной силой, чем на ранних этапах индустриализации на Западе.

Здесь мы имеем яркий пример того, как рост организованности замедляет социальные и экономические изменения. На Западе сравнительно позднее развитие юнионизма сделало возможным более высокий уровень эксплуатации промышленных рабочих на ранних этапах индустриализации, способствуя тем самым накоплению капиталов и росту капиталовложений. В странах ранней индустриализации реальная заработная плата также на этих начальных этапах интенсивной индустриализации росла медленно. Напротив, раннее распространение профсоюзов в странах поздней индустриализации обусловило более высокий уровень заработной платы и социального обеспечения на ранних этапах индустриализации, но при этом низкий уровень капиталовложений. Рост организованности, таким образом, имел своим результатом более мирную ситуацию в промышленности и бóльшую политическую стабильность, но более медленное экономическое развитие.

Раннее возникновение профсоюзов означает не только меньший радикализм в среде рабочих, но и сами союзы обычно менее радикальны, поскольку они часто являются скорее порождением существующего порядка, чем выражением протеста против этого порядка. Пожалуй, основным источником социальных и экономических конфликтов в промышленности в странах ранней индустриализации было нежелание властей признавать право рабочих на организационное объединение и законность профсоюзов. Чем энергичнее и упорнее правительство отказывалось признавать законность рабочих организаций, тем радикальнее становились профсоюзы. Профсоюзное движение рассматривалось как вызов существующему порядку, и такой взгляд на профсоюзы превращал их в вызов существующему порядку. В XX в., однако, рабочие организации получили всеобщее признание как естественная принадлежность индустриального общества. Все развитые страны имеют крупные и хорошо организованные рабочие движения; поэтому и отсталые страны желают их иметь. Национальная федерация труда — столь же неотъемлемая принадлежность национального достоинства, как армия, авиация и внешнеполитическое ведомство.

Многие исследователи отмечают, что профсоюзы в Азии, Африке и Латинской Америке намного более политизированы, чем в США и некоторых других западных странах. При этом имеется в виду, что эти профсоюзы стремятся к решению долгосрочных политических и социальных задач. В действительности, однако, это не так. Обычно профсоюзы политизированы постольку, поскольку они составляют часть политического порядка. Их организации и росту способствовали правительство или политические партии. Английское и французское колониальные правительства проводили в целом либеральную политику в отношении рабочих организаций. Профсоюзы часто разрешались там, где политические партии были запрещены, и, когда возникали движения за национальную независимость, между ними и профсоюзами возникали альянсы. Неру, Ганди, Мбойя, Адула, Нкомо, У Ба

Све, Туре* — вот лишь некоторые из националистических лидеров Азии и Африки, которые играли, помимо прочего, выдающиеся роли в рабочих движениях своих стран. Более того, обретение независимости в некоторых странах поставило серьезные проблемы перед профсоюзами ввиду значительного оттока профсоюзных лидеров в органы государственного управления. В Латинской Америке профсоюзы также были тесно связаны с политическими партиями, и в таких крупнейших странах, как Бразилия, Аргентина и Мексика, организации профсоюзов активно способствовали правительства. В некоторых случаях, как в Бразилии, возник особый класс профсоюзных чиновников, «пелегос», которые были одновременно государственными служащими и во многих отношениях функционировали скорее как государственные бюрократы, чем как представители рабочих[22].

Параллельно с выращиванием сверху рабочих организаций происходило и насаждение социального попечительства сверху. В XIX в. английские угольщики сформировали свои независимые организации и выработали собственные формы протеста; в противоположность этому «германские угольщики находились под государственной защитой и пользовались в доиндустриальный период определенными экономическими преимуществами; следствием этого были такие выработавшиеся у них черты, как покорность и зависимость от государства»[23]. Так же обстоит дело с профсоюзами в большинстве модернизирующихся стран XX в. Блага, которыми пользуются в них немногочисленные промышленные рабочие, являются в значительной степени результатом не давления, которое они оказывали посредством политического процесса, а инициативы политической элиты. В Латинской Америке преобладающая логика развития событий состояла в следующем: «действовать так, чтобы рабочие в целом или какая-то обделенная их часть получила некие существенные блага до того, как они оформятся в сильную группу давления. Эти ранние преимущества нередко вручаются им как бы на серебряном блюдце, чтобы превратить их в источник поддержки или предупредить рост недовольства»[24]. Аналогичным образом сообщается, что в Южной Азии «следствием контроля сверху, под которым находится здесь профсоюзный аппарат — со стороны ли правительственных чиновников, политических лидеров или предпринимателей, — оказывается присущая правительствам

* Мбойя, Томас Джозеф (1930–1969) — кенийский политический деятель. Туре, Ахмед Секу (р. 1922) — президент Гвинейской народной республики с 1958 г. У Ба Све — бирманский политический деятель, один из лидеров Антифашистской лиги народной свободы. Адула, Сирил — политический деятель Заира, премьер-министр в 1961–1964 гг. Нкомо, Джошуа (р. 1917) — один из лидеров национально-освободительного движения в Зимбабве, председатель Союза африканского народа Зимбабве с 1961 г.

в Южной Азии тенденция защищать рабочих посредством развернутого социального законодательства (применять которое нередко бывает трудно) вместо того, чтобы предоставить им возможность самим формировать средства самозащиты»[25]. Промышленный рабочий в большинстве модернизирующихся стран — это почти элита; его экономическое положение много лучше, чем положение сельского населения, и обычно ему благоприятствует правительственная политика. В странах, которые сегодня переживают процесс модернизации, как отмечает Фоллерс, рабочий попадает в сферу промышленности «при обстоятельствах, много менее чреватых для него фрустрациями и тревогами, которые имел в виду Маркс, обозначая их термином «отчуждение», чем те обстоятельства, в которых оказывались пионеры промышленного труда на Западе. В новых государствах нет недостатка в людях, жизнь которых характеризуется отчуждением, но промышленные рабочие здесь не на первом месте, как потому, что промышленный сектор пока невелик, так и потому, что рабочие живут в условиях социальной защищенности и достатка сравнительно со своими соотечественниками»[26].

Вероятно, Ленин был прав в том, что политическое сознание может усваиваться рабочими только извне, от других общественных групп. При этом в большинстве модернизирующихся сегодня стран это сознание приходило к рабочим не от революционеров-интеллектуалов, а от политических лидеров или правительственных бюрократов. Как следствие этого, цели рабочего класса носили достаточно конкретный и непосредственно экономический характер, в эти цели не входило преобразование политического и общественного строя. В борьбе за лидерство в отношении латиноамериканских рабочих «идеологически менее крайние элементы выигрывают сравнительно с более крайними, если только они являются энергичными поборниками прогресса»[27]. Рабочие организации созданы политиками и активны в сфере политики; их цели, однако, являются не политическими, а экономическими. Они отличаются от американских профсоюзов не целями, к которым они стремятся, а средствами, которые они используют для достижения этих целей. Эти средства несут на себе печать происхождения этих организаций и природы политической системы, в которой им приходится функционировать.

Интеллигенция среднего класса

Время от времени как промышленный пролетариат, так и люмпен-пролетариат могут оказываться в оппозиции к правительству. Случается, что жизнь в трущобах взрывается бунтом и политическим насилием. В целом, однако,

это не тот материал, из которого делаются революции. Для первого в статускво слишком много такого, чем он не хотел бы рисковать; второй слишком поглощен удовлетворением ближайших потребностей. Подлинно революционным классом в большинстве модернизирующихся обществ является конечно же средний класс. В нем заключен главный источник городской оппозиции правительству. Политические установки и ценности именно этой группы доминируют в политической жизни городов. То, что Халперн писал о Ближнем Востоке, справедливо и относительно большинства других быстро модернизирующихся регионов: «Тяга к революционному действию у нового среднего класса огромна». Революционность среднего класса подтверждается различиями в политическом облике профсоюзов «белых воротничков» и «голубых воротничков» в модернизирующихся странах. Обычно первые более радикальны, чем вторые. К примеру, профсоюзы банковских служащих в Латинской Америке были бастионами левых и коммунистов. В Венесуэле профсоюз банковских служащих играл ведущую роль в попытках левых свергнуть реформистское правительство Бетанкура в 1960 г. То же на Кубе при Батисте: «Как правило, чем больше профсоюз связан со средним классом, тем сильнее в нем коммунистическое влияние; ярким примером этого может служить профсоюз банковских служащих»[28].

Образ среднего класса как революционного элемента конечно же противоречит стереотипу среднего класса как опоры стабильности в современном обществе. Между тем отношение среднего класса к стабильности чем-то напоминает отношение богатства к стабильности. Многочисленный средний класс, как и широкое распространение достатка, играет в политике роль фактора умеренности. Однако процесс формирования среднего класса, как и экономический рост, часто оказывает дестабилизирующее действие. Можно выделить несколько этапов, через которые проходит эволюция среднего класса. В типичном случае первые группы среднего класса, появляющиеся на общественной сцене, — это интеллектуалы с традиционными корнями, но современными ценностями. Вслед за их появлением происходит постепенный рост численности гражданских служащих и армейских офицеров, учителей и адвокатов, инженеров и техников, предпринимателей и менеджеров. Первые появляющиеся элементы среднего класса наиболее революционны; по мере того как средний класс растет, он становится консервативнее. Все или почти все эти группы могут иногда играть революционную роль, но в целом к оппозиции, насилию и революции наиболее склонны небюрократические и непредпринимательские группы среднего класса. И наиболее склонны к революционности интеллектуалы.

Предвестником революции, утверждали Бринтон и другие, является дезертирство интеллектуалов. В действительности, однако, в этой функции

может выступать не дезертирство интеллектуалов, а их выход на сцену в качестве отдельной группы. В большинстве случаев интеллектуалы не могут дезертировать из существующего порядка, поскольку они никогда не были его частью. Они рождены для противостояния, и само их появление на общественной сцене, а не какая-либо смена лояльности, объясняет их потенциально революционную роль.

Революционер-интеллектуал — это практически универсальный феномен в обществах, переживающих модернизацию. «Никто так не склонен к насилию, как раздраженный интеллектуал, по крайней мере в индийском контексте, — отмечают Хоузлитц и Вайнер. — Именно эти лица составляют кадры безответственных партий, из них складывается узкое окружение демагогов, и они же становятся лидерами милленаристских и мессианских движений; и все это при определенных условиях может угрожать политической стабильности». В Иране ряды экстремистов — как левых, так и правых — с большей вероятностью, чем ряды умеренных, пополнялись городскими уроженцами, лицами, происходившими из среднего экономического слоя и лучше образованными[29]. Этот набор характеристик является наиболее распространенным. Способность интеллектуалов играть революционную роль зависит от их отношений с другими общественными группами. Первоначально они обычно занимают доминирующую позицию в рамках среднего класса; их способность побуждать к революционным действиям в это время определяется тем, насколько им удается добиваться массовой поддержки от других групп населения, таких, как крестьяне.

Город — это центр оппозиции внутри страны; средний класс — средоточие оппозиции в городе; интеллигенция — самая активная оппозиционная группа внутри среднего класса; наконец, студенты — это самые сплоченные и эффективные революционеры в составе интеллигенции. Это, разумеется, отнюдь не означает, что большинству студентов, как и большей части населения в целом, не свойственна политическая апатия. Но это означает, что группы активистов, доминирующие в студенческих организациях большинства модернизирующихся стран, выступают против режима. Именно здесь, в университете, существует самая последовательная, радикальная и непреклонная оппозиция правительству.

Крестьяне и революция

Интеллигенция революционна, но она не может осуществить собственную революцию. Оставаясь в пределах города, она может выступать против

правительства, подстрекать к беспорядкам и демонстрациям, иногда мобилизовать в свою поддержку рабочий класс и люмпен-пролетариат. Если ей удается привлечь к своему делу некоторые элементы внутри армии, то она может свергнуть правительство. Однако свержение правительства городскими группами обычно еще не означает свержения политической и социальной системы. Это изменение внутри системы, а не изменение системы. За редчайшими исключениями такое свержение правительства не возвещает начало революционного преобразования общества. Короче говоря, сами по себе городские оппозиционные группы в состоянии сместить правительство, но не совершить революцию. Последнее требует участия сельских групп.

Роль групп, доминирующих в сельских районах, становится, таким образом, критическим фактором, определяющим устойчивость или неустойчивость положения правительства. Если село поддерживает правительство, то у последнего сохраняются возможности для ограничения и сдерживания городской оппозиции. Учитывая склонность доминирующих городских групп к противостоянию власти, всякое правительство, даже то, что пришло на смену правительству, свергнутому этими группами, должно искать источники поддержки в сельских районах, если оно не хочет разделить судьбу своих предшественников. В Турции, к примеру, режим Мендереса был свергнут в 1960 г. городскими студентами, военными и профессиональными группами. Сменившее его военное правительство генерала Гюрселя и следующее за ним правительство Республиканской партии во главе с Иненю пользовались существенной поддержкой со стороны этих групп, но не располагали поддержкой крестьянской массы в деревне. Только в 1965 г., когда Партия справедливости одержала чистую победу, получив мощную поддержку со стороны крестьянства, появилось стабильное правительство. Этому правительству все равно пришлось иметь дело со значительной городской оппозицией, но в системе, мало-мальски претендующей на демократичность, правительство, которое опирается сельское население и к которому в оппозиции стоит население городов, будет стабильнее, чем то, для которого основным источником поддержки являются изменчивые группы горожан. Если нет такого правительства, которое могло бы прийти к власти при поддержке села или с его согласия, то оснований для политической стабильности очень мало. В Южном Вьетнаме, к примеру, после того, как режим Дьема* был свергнут городской оппозицией в лице студентов, монахов и офицеров, какая-либо часть этих групп

* Нго Динь Дьем (Зьем, 1901–1963) — президент Южного Вьетнама с 1955 г. Убит в результате военного переворота.

выступала против всякого из последующих режимов. Ни один из этих режимов, лишенных Вьетконгом поддержки сельского населения, не мог найти сколько-нибудь надежной опоры в трясине городской политики.

Таким образом, село играет в политике модернизации ключевую роль балансира. Природа «зеленого восстания», путь, которым крестьяне входят в политическую систему, определяет последующий ход политического развития. Если село поддерживает политическую систему и правительство, то системе не угрожает революция и у правительства есть надежда уберечь себя от опасности. Если же село находится в оппозиции, и системе, и правительству угрожает гибель. Роль города неизменна: это постоянный источник оппозиции. Роль села переменна: оно является либо источником стабильности, либо источником революции. Для политической системы оппозиция в городах — это повод для беспокойства, но она не смертельна. Оппозиция же в сельских районах фатальна. Тот, кто контролирует село, контролирует страну. В традиционных обществах и на ранних этапах модернизации стабильность основывается на доминировании сельской землевладельческой элиты и над селом, и над городом. С прогрессом модернизации на сцену в качестве политических действующих лиц, бросающих вызов существующей системе, выходят средний класс и другие городские группы. Сумеют ли они сокрушить систему, зависит, однако, от того, смогут ли они заручиться поддержкой крестьян в их противостоянии традиционной олигархии. Способность политической системы к выживанию и устойчивость ее правительства зависят от ее способности нейтрализовать эти попытки и вовлечь крестьян в политику на стороне системы. По мере роста политической активности группы, доминирующие в политической системе, должны сместить свои точки опоры на селе и добиваться поддержки крестьян. В системе, где политическая активность остается в ограниченных пределах, поддержки со стороны традиционной сельской элиты достаточно для политической стабильности. В системе, где политическое сознание и политическая активность расширяют свои пределы, определяющей группой становится крестьянство. Главное политическое соперничество разворачивается между правительством и городской революционной интеллигенцией за поддержку со стороны крестьянства. Если крестьянство нашло себе место в существующей системе и идентифицирует себя с ней, мы получаем систему с прочным фундаментом. Если же оно активно противостоит системе, то становится носителем революции.

Крестьянство может, таким образом, играть либо очень консервативную роль, либо очень революционную. В истории неоднократно осуществлялись оба варианта. С одной стороны, крестьянство часто воспринималось как крайне традиционная, консервативная сила, сопротивляющая-

ся переменам, верная церкви и трону, враждебная городу, замкнутая в сфере семьи и родного села, подозрительная, а временами и враждебная даже к таким агентам изменения, как врачи, учителя, агрономы, т.е. к тем, кто приходит в село единственно и непосредственно для того, чтобы облегчить жизнь крестьянина. Сообщения об убийствах таких людей подозрительными и суеверными крестьянами встречаются практически во всех модернизирующихся регионах.

Этот образ крайне консервативного крестьянства сосуществует с более поздним образом крестьянства как одной из революционных сил. Каждая из масштабных революций как в западных, так и в незападных обществах была в значительной мере крестьянской революцией. Это столь же справедливо для Франции и России, как и для Китая. Во всех трех странах крестьяне, действуя более или менее спонтанно, разрушали прежние аграрные политические и социальные структуры, захватывали землю и устанавливали на селе новый политический и социальный порядок. Без такой деятельности крестьян ни одна из этих революций не стала бы революцией. Во Франции летом 1789 г., когда Национальное собрание дебатировало в Версале, крестьяне осуществляли революцию на селе. «По всей стране бушевали аграрные бунты. Крестьяне отказывались платить подати государству, церкви и помещикам. Они захватывали замки и сжигали правовые документы, на которых основывались их обязательства. Они не удовлетворились бы ничем, кроме социальной революции, стремясь своими действиями разрушить поместную или «феодальную» систему и те формы собственности и доходов, которые за ней стояли... Разрушая поместную систему, крестьяне разрушали экономическую базу дворянства»[30]. Перед лицом этой ситуации в сельских районах — ситуации, многое в которой было не по душе среднему классу, — большинство в Национальном собрании, состоявшее из представителей этого самого среднего класса, «декретировало то, чего не могло предотвратить». В резолюциях, принятых 4 августа, оно «упразднило феодализм» и, по существу, выдало законодательную санкцию на те изменения, которые стихийно производились крестьянами на селе.

В России ситуация была в основном такой же. Поскольку Временное правительство медлило с земельной реформой, крестьяне дезертировали из армии и возвращались домой, чтобы самовольно захватывать землю. Весной их действия оставались мирными и облеченными в полулегальную форму. Они просто отказывались, как и во Франции, платить ренту и налоги и незаконно использовали помещичьи угодья для выпаса скота и других целей. Летом и осенью, однако, повсеместно распространились насилие и беспорядки. В мае в двух важнейших сельскохозяйственных областях 60% крестьянских акций носили характер псевдолегальных захватов собственности, открытые захваты имели место в 30% случаев, а уничтожение собственности — в 10% случаев. В октябре только 14% случаев имели псевдолегальный характер; открытые захваты составили те же 30% случаев, но уже в 56% случаев имели место разрушение и опустошение. К октябрю аграрная революция превратилась в примитивную, яростную войну, направленную на уничтожение всех следов старого порядка. «Библиотеки, произведения искусства, фермы племенного скота, теплицы и экспериментальные станции подверглись во многих случаях разрушению, животные были покалечены, дома сожжены, а работавшие там специалисты и управляющие в некоторых случаях убиты»[31]. В течение этого периода, несмотря на возражения Временного правительства, местные крестьянские комитеты и советы поставили решение земельных вопросов под свой контроль. Отмежевавшись от этого движения, Временное правительство предрешило свое падение. За это обстоятельство быстро ухватился Ленин. Не имея возможности обратиться за помощью к селу, Временное правительство не сможет защитить себя в городах. Крестьянские восстания, как точно выразился в то время Ленин, есть «важнейший факт в современной России» и в качестве довода в пользу успеха революции он оказывается «сильнее, чем тысяча пессимистических отговорок запутавшегося и напуганного политика». Что еще важнее, крестьянские восстания сделали возможным успех большевистского переворота. «Не было бы крестьянина, — отмечал Оуэн, — можно с уверенностью утверждать, что его (большевиков. — *Ред.*) попытку повторить Парижскую коммуну 1871 г. постигла бы та же судьба, что и монмартрских социалистов, и в историю она вошла бы как аналогичное событие»[32].

Не слишком отличались от приведенных примеров и первые этапы китайской коммунистической революции. Как и другие революционные группы прежних лет, китайские коммунисты были сосредоточены в городах, а не в сельских районах. Революционный потенциал крестьянства оставался практически незамеченным до похода на Север объединенных националистических и коммунистических сил в 1926–1927 гг. Одним из участников этого похода был Мао Цзэдун, которому в качестве сельского комиссара поручили усмирять крестьянские восстания в провинциях Хунань и Хубэй. Мао, однако, увидел в крестьянских восстаниях подлинную революцию. Крестьяне Хунани и Хубэя захватывали собственность, отбирая ее у помещиков, точно так же, как это делали французские и русские крестьяне в 1789 и 1917 гг. «По мощи и размаху это нападение напоминает бурю или ураган; тот, кто подчиняется ему, выживает, тот, кто сопротивляется, гибнет», — сообщал в своих донесениях Мао. «То, что г-н Сунь Ятсен

стремился, но не сумел совершить за сорок лет, отданные им национальной революции, крестьяне сделали за несколько месяцев». Это стихийное крестьянское восстание в регионе, где существовали огромное неравенство в распределении земли и чудовищные условия жизни крестьян, позволило по-новому оценить ключевую роль крестьянства как революционной силы. После победы китайских коммунистов этот революционный потенциал стал, разумеется, очевиден почти всем. Фундаментальная истина относительно революции была, однако, хорошо сформулирована Мао еще в 1927 г. «По справедливости надо сказать, что, если оценивать достижения демократической революции десятью баллами, то на вклад горожан и военных придется всего три балла, тогда как остальные семь баллов должны быть отданы крестьянам и их сельской революции... Без крестьянской бедноты не было бы революции. Отвергать ее — значит отвергать революцию. Нападать на нее — значит нападать на революцию. От начала и до конца общее направление, которое они задавали революции, никогда не было ошибочным»[33]. Революционеры хорошо усвоили этот урок. Крестьяне, как отмечал Фуртадо в отношении Бразилии, «много более восприимчивы к революционным влияниям марксистско-ленинского типа, чем городские классы, хотя последние, согласно ортодоксальному марксизму, должны были бы быть передовым отрядом революционного движения»[34]. Так обстоит дело в модернизирующихся странах вообще.

Если без крестьянства нет революции, то ключевым становится вопрос: что делает крестьянина революционером? Если проводимые реформы улучшают, а не ухудшают условия, побуждающие крестьян восставать, то существует возможность, чтобы социальные изменения происходили более или менее мирно; насильственного переворота в этом случае удалось бы избежать. Ясно, что в традиционных обществах крестьяне — это косная, консервативная сила, неотделимая от статус-кво. Модернизация обычно оказывает на крестьянина существенное воздействие двух типов. Поначалу она ухудшает объективные условия труда и жизни крестьянина. В традиционном обществе землей часто сообща владеет и обрабатывает ее деревня или расширенная семья. Модернизация — и в особенности влияние западных представлений о собственности на землю — подрывает эту систему. Как это произошло в Южной Италии и на Ближнем Востоке, на смену расширенной семье приходит нуклеарная семья: совокупные участки, которые, будучи в коллективном владении, составляли жизнеспособную экономическую единицу, сменяются небольшими и часто разбросанными индивидуальными участками, которых едва хватает на содержание семьи; в такой ситуации риск, что семья потерпит полную экономическую катастрофу, сильно возрастает. В тех странах, где прежде много

индивидов и групп делили между собой права и привилегии в отношении одного и того же участка земли, западные правители обычно разрушают этот порядок и настаивают на индивидуальном владении землей. На практике это означает, что люди более богатые и обладающие более высоким общественным статусом приобретают исключительные права на землю, а те, кто беднее и чей статус ниже, лишаются традиционных привилегий в отношении земли. На Ближнем Востоке, к примеру, законодательство наций-государств разрушило прежнюю систему общинного землевладения, сделало шейхов единственными землевладельцами и тем самым породило неравенство, которого раньше не было. Как правило, новые законы «открыто запрещали регистрацию какого-либо рода коллективных или специальных прав в отношении земли, действующих помимо ее владельца. Это делало невозможной юридическую защиту прав арендаторов или прав членов племени на землю, находившуюся в общинном владении, от посягательств со стороны шейхов. На практике почти везде земля перешла в руки представителей образованного класса — существующих владельцев, сборщиков налогов, чиновников, политических руководителей племени или частей племени»[35].

Аналогичным образом в Индии англичане во многих районах сделали фактическими единоличными владельцами земли заминдаров, которые раньше были просто сборщиками налогов. В Латинской Америке общинная собственность на землю преобладала в цивилизациях инков, майя и ацтеков. Под влиянием западной цивилизации на смену этим общинным системам пришла система асиенд, и индейский крестьянин был превращен в пеона или принужден зарабатывать скудные средства к существованию на мелких плантациях. Переход от общинного землевладения к индивидуальному часто рассматривался как необходимый шаг в направлении прогресса. Так, в Мексике «Лей Лердо» («Закон о земле», 1856), принятый режимом Хуареса, требовал от корпоративных собственников (таких, как церковь) и общин (таких, как индейские деревни), чтобы они продавали свои земли. Целью этого закона было создание системы индивидуальных сельских собственников. Следствием его, однако, было ускорение пеонизации крестьян. Только те, кто уже был богат, могли покупать землю, высвобождаемую из системы коллективного владения и ограничений, и последующие полстолетия стали периодом растущей концентрации земли в руках все меньшего числа владельцев.

То, что модернизация делала крестьянина беднее, не имело бы политического значения, если бы она к тому же не повышала в конечном счете уровень его притязаний. Временной разрыв между первым и вторым может быть существенным, в некоторых случаях даже до нескольких столе-

тий. Со временем, однако, городское просвещение становится доступным и для сельского населения. Преграды на пути коммуникации и перемещения рушатся; дороги, торговцы и учителя добираются до деревень. Появляется радио. Крестьянин начинает понимать не только то, что он страдает, но и то, что можно что-то предпринять в связи с его страданием. Ничто не несет в себе такого революционного потенциала, как это осознание. Неудовлетворенность крестьянина проистекает из сознания, что его материальные тяготы и страдания много больше, чем у других общественных групп, и что они не неизбежны. Его участь может быть изменена к лучшему. Его цели — и обычно именно эти цели ставят во главу угла революционные движения — состоят в том, чтобы улучшить ближайшие материальные условия труда и жизни.

В своей озабоченности ближайшими экономическими и социальными условиями крестьяне не слишком значительно отличаются от промышленных рабочих — разве что в том, что условия жизни крестьян обычно хуже, чем у рабочих. Главные различия между этими двумя группами лежат в их отношении к экономическому развитию и в том, какие перспективы действий перед ними открываются. Как и предприниматель, рабочий — это новый персонаж на сцене модернизирующегося общества. Он участвует в создании нового экономического богатства. Его столкновения с работодателем имеют своим предметом: (а) права рабочих на коллективную самоорганизацию с целью добиваться своей доли вновь произведенного продукта; (б) само распределение этого продукта между рабочим, владельцем и потребителем. Если владельцы признают право рабочих на организацию и тем самым устраняют первый предмет конфликта, то вторая группа вопросов может в норме решаться посредством коллективных договоренностей, дополняемых забастовками, локаутами и другими инструментами, применяемыми в индустриальных конфликтах между менеджментом и рабочими. Рабочий, таким образом, имеет мало или вовсе не имеет причин быть революционером; он заинтересован лишь в том, чтобы отстоять свое право на соответствующую долю экономического продукта, и если признается законность профсоюзов и коллективных договоренностей, то существуют признанные процедуры и методы для решения вопросов такого рода.

Крестьянин же, напротив, находится в совершенно иной ситуации. У помещика и крестьянина нет той общей заинтересованности в росте экономического продукта, которая есть у капиталиста и рабочего. Отношение социальной структуры к экономическому развитию на селе противоположно тому, которое свойственно городу. В индустриальном обществе более справедливое распределение *доходов* является результатом

экономического роста; в аграрном обществе более справедливое распределение *собственности* есть предпосылка экономического роста. Именно по этой причине модернизирующимся странам настолько труднее обеспечивать рост сельскохозяйственного производства, чем добиваться роста промышленного производства, и по этой же самой причине противоречия в сельских районах заключают в себе настолько больший революционный потенциал, чем противоречия в городе. Промышленный рабочий не может заполучить в личную собственность или под свой контроль средства производства; между тем именно в этом состоит цель крестьянина. Главным фактором производства в последнем случае является земля; земельные ресурсы ограниченны, если не неизменны; помещик теряет то, что приобретает крестьянин. Таким образом, крестьянин, в отличие от промышленного рабочего, не имеет другого выбора, кроме как выступать против существующей системы собственности и контроля. Земельная реформа, следовательно, означает не просто рост экономического благосостояния крестьянина. Она предполагает также фундаментальное перераспределение власти и статусов, перестройку базовых социальных отношений, которые прежде существовали между помещиком и крестьянином. Промышленный рабочий участвует в создании совершенно новой системы экономических и социальных отношений, которой прежде в обществе не было. Что же касается крестьянина и помещика, то они взаимодействуют в традиционном обществе, и разрушение или преобразование существующих социальных, экономических и политических отношений между ними (которые могли существовать веками) составляют сущность изменений в аграрном обществе.

За улучшение экономического положения крестьянина в сельской местности приходится, таким образом, платить намного бóльшую цену, чем за улучшение экономического положения рабочего в городе. Неудивительно поэтому, что наиболее активная и развитая часть сельского населения перемещается в города. Их гонят туда те преимущества, которые предоставляет город с его возможностями экономического и социального роста в сравнении с селом с его жесткой классовой структурой. Происходящая в результате быстрая урбанизация ведет к изменениям в социальной структуре городского населения и политической нестабильности в городах. Это, однако, незначительное социальное и политическое зло сравнительно с тем, что происходило бы на селе в отсутствие урбанизации. Миграция в города служит в какой-то мере заменой революции на селе. Следовательно, вопреки распространенному убеждению, подверженность страны революции может меняться обратно пропорционально темпам ее урбанизации.

Кроме того, не существует каких-либо признанных и принятых средств, с помощью которых крестьянин мог бы выдвигать свои требования. В большинстве стран признано право рабочих на создание своих организаций; права крестьян на организацию остаются куда более спорными. В этом отношении положение крестьян в модернизирующихся странах Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. не слишком отличается от положения промышленных рабочих в Европе и Северной Америке в первой половине XIX в. Любую форму коллективного действия существующие власти склонны рассматривать как скрыто революционную. Вот один пример: в Гватемале профсоюзы городских рабочих были организованы в 1920-е гг. А вот союзы сельскохозяйственных рабочих были запрещены. Этот запрет был отменен только в 1949 г. В последующие пять лет возникла Конфедерация гватемальских крестьян с 200 000 членов. В 1954 г. после свержения левого режима Арбенса одним из первых действий нового правительства полковника Кастильо Армаса было повторное провозглашение сельскохозяйственных профсоюзов незаконными. Крестьянские союзы и крестьянские движения, таким образом, до сих пор рассматриваются с позиций XIX в. Это, разумеется, способствует развитию в них революционных настроений. Как заметил Селсо Фуртадо, комментируя движение кампесинос в Бразилии: «Наше общество является открытым для промышленных рабочих, но не для крестьян. Наша политическая система позволяет городским группам организовываться, чтобы добиваться выполнения своих требований по правилам демократической игры. Ситуация с кампесинос совершенно иная. Поскольку у них вообще нет прав, они не могут выдвигать *законных* требований или вести переговоры об их удовлетворении. Если они организуются, предполагается, что они делают это, имея в виду подрывные цели. Безусловно, приходим к заключению, что в важном сельском секторе бразильское общество остается очень косным»[36].

Революционная коалиция и национализм

Городской образованный средний класс — это наиболее часто встречающаяся революционная группа в модернизирующихся обществах. Но чтобы совершить революцию, интеллигенции нужны союзники. Одним из потенциальных кандидатов является городской люмпен-пролетариат, многие годы остающийся не слишком революционной группой. Ее революционные настроения склонны, однако, расти, и поэтому в какой-то момент в большинстве модернизирующихся стран союз студентов и жителей трущоб может составить значительную угрозу политической стабильности. Впрочем, условия успеха этой революционной комбинации в какой-то мере оказываются и условиями ее поражения. Если общество остается преимущественно аграрным, интеллигенция и городская беднота могут оказаться в силах свергнуть правительство, но они не могут разрушить основания социальной структуры общества, поскольку их деятельность ограничена пределами города. Им все равно потребуется присоединение крестьян к их союзу, чтобы добиться фундаментальных изменений в общественной структуре. С другой стороны, если урбанизация достигла той точки, когда значительная часть населения сосредоточена в одном или нескольких крупных городах, то действия городских революционеров могут вызвать фундаментальное преобразование общества.

Однако сам процесс урбанизации, который делает это возможным, обычно создает и силы, направленные на поддержку политической стабильности. Последовательная урбанизация не только увеличивает численность населения трущоб, но и приводит к росту и диверсификации среднего класса, порождая в нем новые, более консервативные слои, которые будут в какой-то мере ограничивать и распылять революционную горячку интеллигенции. Как уже указывалось раньше, первые появившиеся на политической сцене группы среднего класса бывают самыми радикальными. Позднее возникающие группы обычно носят более бюрократический, более технократический, более предпринимательский характер, а потому они более консервативны. Если люмпен-пролетариат проходит через процесс радикализации, так что второе его поколение оказывается более революционным, чем первое, то средний класс проходит через процесс консервативации, так что каждое его пополнение смещает баланс от революции к стабильности. Можно, конечно, предположить, что в какой-то момент соотношение сил будет таково, что возникнет крупное социально-политическое потрясение только в городе, но вероятность такого события представляется достаточно низкой[37]. Вероятность революции, таким образом, зависит в первую очередь от возможности параллельных или совместных действий образованного среднего класса и крестьянства.

Редкость революций во многом обусловлена теми трудностями, которые стоят на пути параллельных действий интеллигенции и крестьян. Разрыв между городом и селом — это ключевой фактор политической жизни в модернизирующихся обществах. Трудности, с которыми сталкиваются правительства в попытках преодолеть этот разрыв, сопоставимы с теми трудностями, которые для той же цели приходится преодолевать революционерам. Препятствия на пути формирования такого революционного союза проистекают из различий в жизненном опыте, в перспективах и в це-

лях этих группи. Социальная дистанция между городской, принадлежащей к среднему или высшему классу, образованной, вестернизованной, космополитической интеллигенцией, с одной стороны, и сельским, отсталым, неграмотным, традиционным в культурном отношении, локализованным крестьянством, с другой, настолько велика, насколько только можно себе представить разрыв между двумя общественными группами. Проблемы коммуникации и взаимопонимания между ними огромны. Они говорят на разных языках, часто в буквальном смысле. Причин для взаимного недоверия и взаимонепонимания очень много. Преодолевать приходится всю массу подозрений, естественно возникающих у приземленного, практичного крестьянина к краснобаю-горожанину и у последнего к узколобому провинциалу-крестьянину.

Цели крестьян и интеллигенции также различны и часто противоречат друг другу. Требования крестьян обычно конкретны и, кроме того, направлены на перераспределение собственности; именно это последнее делает крестьян революционерами. Требования интеллигенции, напротив, обычно абстрактны и неспецифичны; оба эти качества делают из интеллигентов революционеров. Эти две группы движимы существенно различными мотивами. Городская интеллигенция обычно больше озабочена политическими правами и целями, нежели экономическими проблемами. Крестьянство же, напротив, озабочено, по крайней мере поначалу, в первую очередь материальными условиями землевладения, налогами и ценами. Хотя «земельная реформа» — знакомый и явно революционный лозунг, на самом деле городские революционеры не без колебаний писали его на своих знаменах. Будучи продуктом городской и интернациональной среды, они обычно формулировали свои цели, используя более масштабные политические и идеологические формулировки. В Иране, Перу, Бразилии, Боливии и других странах интеллектуалы-революционеры далеко не сразу стали обращать внимание на нужды крестьян. В Иране шаху удалось перехитрить националистов из городского среднего класса и вынудить их занять позицию противников проводимой правительством земельной реформы. В начале революции 1952 г. в Боливии коммунистическая партия была против земельной реформы[38]. В ближневосточных странах радикальная интеллигенция выступала против предоставления избирательного права сельской бедноте в предположении, нередко оправданном, что в силу своей пассивности и безразличия она добавит голоса помещику. В худших случаях городской интеллектуал видит в крестьянине животное, а крестьян видит в интеллектуале чужака.

В силу различий в мобильности и просвещенности на интеллектуала ложится основная ответственность за создание революционного союза,

и от него требуется проявить инициативу в этом направлении. Однако сознательные попытки возбуждения крестьян, предпринимаемые интеллигенцией, оказываются в целом мало успешными. В этом отношении красноречивым примером может служить прототип такого рода действий, неудачная попытка «хождения в народ» русских народников в 1873–1874 гг. В Латинской Америке попытки городских интеллектуалов поднять крестьян на герилью в 1950-е и 1960-е гг. в целом провалились за одним, но примечательным исключением Кубы. В большинстве этих случаев социальная дистанция между двумя группами и активные усилия правительства по дискредитации интеллигенции помешали созданию революционного союза. В Гватемале, к примеру, левые интеллектуалы первое время даже не умели говорить на языке крестьян-индейцев.

Попытки интеллектуалов поднять крестьян на борьбу практически всегда терпят неудачу, кроме тех случаев, когда социальные и экономические условия жизни крестьянства таковы, что у них имеются конкретные мотивы бунтовать. Интеллигенция может вступить в союз с революционным крестьянством, но она не может сотворить революционное крестьянство. В русской революции Ленин хорошо сознавал ключевую роль крестьян и приспособил большевистскую программу и тактику для завоевания крестьянской поддержки. Однако и большевики были преимущественно городской и интеллигентской группой, и в городах их действия были успешнее, чем в сельских районах. Напротив, китайские коммунисты терпели поражение в городах, поскольку в городских районах Центрального Китая им для захвата власти не хватало социальной базы и организации. Поэтому Мао и те, кто последовал за ним, основываясь на наблюдениях Мао относительно революционного характера крестьянства, предприняли попытку заново сформировать коммунистической движение в сельской местности после его поражения в городах. Здесь впервые в истории крестьянское восстание, сопровождающее всякую революцию, приняло организованный и дисциплинированный характер и было возглавлено группой высоко сознательных и отчетливо формулирующих свои задачи профессиональных интеллектуалов-революционеров. Отличает китайскую революцию от предшествовавших революций не поведение крестьян, а поведение интеллектуалов. Китайским коммунистам удалось то, что не удалось левым эсерам, и они создали революционный союз, который дал сплоченность, направление и руководство крестьянскому восстанию. В течение двух десятилетий после поражения революции в городах они не давали ей умереть в деревне.

Не меньшие трудности стоят на пути привлечения городской интеллигенции к союзу с крестьянским, т. е. базирующимся в сельских

районах революционным движением. В Южном Вьетнаме, к примеру, городской средний класс выступал против правительства Нго Динь Дьема и позднее поддерживал ситуацию нестабильности в годы, следовавшие сразу за его падением. Однако Вьетконг с его крестьянской ориентацией не сумел воспользоваться этим недовольством и создать союз с революционными элементами городского населения. В самом деле, в начале 1960-х гг. единственное, что удивляло, помимо неспособности правительства добиться поддержки со стороны крестьян, это неспособность Вьетконга получить сколько-нибудь существенную поддержку со стороны городских групп. В обоих случаях неудача свидетельствовала о разрыве между городским и сельским обществом в модернизирующейся стране.

Различия между интеллигенцией и крестьянами в опыте, перспективах и целях делают революцию маловероятной, если не невозможной, в отсутствие некоторого дополнительного общего дела, порожденного дополнительным катализатором. Все же революции происходят. То общее дело, которое и вызывает к жизни революционный союз или параллельные революционные действия, это обычно национализм, а в роли катализатора выступает внешний враг. Возможна, как это было в США, национальная война за независимость, которая не является еще и социальной революцией. Но невозможна социальная революция, которая бы не была также и национальной революцией. Именно апелляция к национальным чувствам обычно мобилизует в политику большие массы людей и создает базу для совместных действий городской интеллигенции и крестьянских масс.

Стимулом к национальной мобилизации может послужить либо иностранное политическое, экономическое и военное присутствие в стране перед крушением старого порядка, либо иностранная интервенция после этого крушения. В Мексике, Китае, Вьетнаме, Гватемале и на Кубе присутствие иностранного бизнеса, иностранных военных баз или иностранных правителей послужили тем объектом возмущения, против которого можно было поднять массы. Все эти страны, кроме Вьетнама, были формально независимыми, когда начались их революции, но все они были экономически и в военном отношении зависимыми от иностранных держав. В предреволюционной Мексике налоговое законодательство и нормативы, регулировавшие экономическую деятельность, создавали преимущества иностранцам; за десятилетие, предшествовавшее революции, английские инвестиции удвоились, французские выросли вчетверо, американские впятеро. Сумма американских капиталовложений в Мексике предположительно была выше инвестиций, сделанных самими мексиканцами; американцы владели 75% шахт и 50% нефтяных месторождений, сахарных, кофейных и хлопковых плантаций. Законодательство было построено так, чтобы давать преимущества иностранцам; согласно популярной поговорке того времени, «только генералы, тореро и иностранцы» могут рассчитывать на благоприятное решение суда. Точно так же и в Китае в первое десятилетие XX в. неравноправные договоры, экономические концессии и прямые территориальные уступки давали Германии, Японии, Англии, России и Франции особые позиции, а их гражданам особые привилегии. На Кубе в 1950-е гг. общая сумма американских инвестиций приближалась к миллиарду долларов. Американцы владели 90% телефонной сети и системы электроэнергоснабжения, 50% железных дорог, 40% производства нерафинированного сахара, а также банками, где были размещены 25% кубинских депозитов. Американские инвестиции на душу кубинского населения были в три раза больше, чем по Латинской Америке в целом. Более 70% кубинского экспорта направлялось в США и более 75% кубинского импорта приходило из США. США имели крупную военно-морскую базу в Гуантанамо. В политическом, культурном, экономическом и военном отношениях Куба была американским сателлитом[39].

Иностранное присутствие, без сомнения, играет некоторую роль в качестве стимулятора революции. Но революции происходили и в тех странах (например, во Франции, в России), где иностранное присутствие не было ни существенным, ни очевидным. Однако ни одна революция не имеет больших шансов свершиться во всей полноте, не будучи подстегнута иностранной интервенцией. Эта схема была задана во французской революции, когда прусское вторжение летом 1792 г. совпало с радикализацией революции и во многом послужило ее причиной: санкюлоты и интеллектуалы-эмигранты в Париже раздвинули границы народного участия в революции, завершили разрушение феодализма и провозгласили Французскую республику. «Война революционизировала Революцию... делая ее более решительной внутри страны и более мощным ее воздействие за пределами страны»[40]. Иностранная интервенция сыграла значительную роль в радикализации также и мексиканской, китайской, русской, югославской, вьетнамской и кубинской революций. В то же время отсутствие враждебного иностранного вмешательства в боливийскую революцию могло способствовать подрыву политических достижений этой революции. Ни одно общество не может совершить революцию в изоляции. Всякая революция направлена в какой-то мере не только против господствующего класса внутри страны, но и против господствующей системы за рубежом.

В Мексике дипломатическое вмешательство США способствовало приходу к власти Уэрты, что, в свою очередь, привело к убийству Мадеро

и восстаниям против Уэрты под руководством Каррансы, Гонсалеса и Панчо Вилья*. Именно эта вторая волна мобилизации, вызванная к жизни победой контрреволюционного переворота Уэрты и посла США Генри Лейна Уилсона, превратила мексиканскую революцию из предприятия ограниченных масштабов, затеянного представителями среднего класса под руководством Мадеро, в массовое восстание, в котором решающую роль играли крестьяне и рабочие, возглавленные новой группой лидеров, происходивших по большей части из низов: Сапата и Обрегон были крестьянами, Кальес — сельским учителем, Вилья — неграмотным бандитом.

В Китае роль иностранной интервенции в гальванизации революции и ее поддержании была еще более очевидной. В 1915 г. «21 требование» Японии способствовало падению Юань Шикая и росту революционной активности народа. В 1919 г. объявленная в Версале** передача германских концессий в Шандуне Японии вызвала к жизни Движение 4 мая со студенческими демонстрациями в Пекине и других городах и привела к появлению новой группы лидеров, пришедших не из традиционного правящего класса и не из региональной военной аристократии, а из студентов, интеллектуалов, рабочих и торговцев. В 1925 г. отсутствие действенной реакции со стороны пекинского правительства на убийство полицией студентов в Шанхае привело к вспышке демонстраций против англичан и других иностранцев, падению авторитета пекинского правительства и подготовило условия для марша националистов и коммунистов на Север. Оккупация японцами Маньчжурии в 1931 г. и последующее вторжение Японии в Китай способствовали полномасштабной мобилизации крестьянских масс на войну против захватчиков. Наконец, американское присутствие в Китае после Второй мировой войны и отождествление националистического режима с США способствовали росту авторитета китайских коммунистов в последние годы революции и гражданской войны. В каждый из этих моментов — 1919, 1925, 1937, 1946 гг. — иностранная интервенция служила новым толчком для активизации революционных сил и помогала им расширить свое влияние на массы.

* Франсиско Индалеско Мадере (1873–1913) — президент Мексики с 1911 г. Убит в ходе государственного переворота. Венустиано Карранса (1859–1920) — в 1914–1917 гг. временный президент. С 1917 г. президент Мексики. Убит в результате переворота. Энрике Гонсалес Мартинес (1871–1952) — мексиканский поэт и общественный деятель. Панчо Вилья (1877–1923) — лидер крестьянского движения в Мексике в период революции 1910–1917 гг. и сопротивления иностранной интервенции 1916–1917 гг.

** Заключенный в Версале мирный договор, завершивший Первую мировую войну.

В революционной ситуации идентификация какого-либо правительства с иностранным влиянием создает условия для утраты этим правительством легитимности. В конце Первой мировой войны правительство султана в Константинополе дискредитировало себя связью с британскими и французскими оккупационными силами и тем самым содействовало усилению Анатолийского националистического движения Кемаля. Режим Вафда в Египте в 1930-е гг. уступил английским требованиям, и происшедшие после этого уличные выступления против «несправедливого договора» привели в политику новые группы, которые, под лозунгами Братьев-мусульман и позднее сторонников Насера, положили конец парламентскому режиму в Египте. Точно так же гоминьдан, начинавший в качестве националистического движения, приобрел антинационалистическую окраску из-за своей неспособности вести войну с Японией и тесной связи с США. В Иране в конце 1940-х гг. за право выступать под националистическим флагом боролись шах и радикальная интеллигенция из среднего класса, объединенная в Национальный фронт. Чтобы выиграть соревнование с Моссадыком, шаху приходилось не только противостоять видам России на его страну, но и отстаивать иранские национальные интересы от посягательств Англо-Иранской нефтяной компании и развивать доктрину «позитивного национализма» в противовес «негативному национализму» Моссадыка. В этой борьбе ему помогало то обстоятельство, что она совпала по времени с изменением баланса иностранных интересов в Иране. В тот момент иранский национализм был направлен в первую очередь против традиционных врагов, России и Великобритании. Противостояние шаха обоим этим врагам в какой-то мере вуалировало его сотрудничество с США. В этом случае традиционный правитель оспаривал у радикальной интеллигенции националистическую мантию и одержал победу, по меньшей мере временную[41].

Иностранная интервенция может располагать достаточными силами, как в случае Гватемалы, чтобы подавить революционное движение. Обычно, однако, чем успешнее интервенция, тем бóльшую она вызывает оппозицию и тем более широкие массы оказываются вовлечены в борьбу. Кроме того, державы, осуществляющие вмешательство, обычно не имеют реальной политической альтернативы революционному движению. Сама интервенция обычно осуществляется в союзе с эмигрантами и высланными, а подчас даже под их руководством; главная же цель последних — восстановление старого режима. Но ведь тот режим уже был фундаментальным образом подорван за счет роста политической активности масс и перераспределения власти в политической системе. Во всякой революции активность масс в какой-то момент достигает пика, потом несколько сни-

жается, но она никогда не возвращается устойчиво к предреволюционному уровню. Распределение властной энергии много более гибко, чем сумма энергии в системе. Можно допустить, что власть, оказавшаяся рассредоточенной, может быть вновь централизована, но если имела место выраженная экспансия властной энергии, то вряд ли можно ожидать, что произойдет ее заметное сокращение. Массы, выведенные из пещеры, едва ли позволят, чтобы их снова и навсегда лишили света. Главными факторами, вызывающими к жизни это движение, служат война и иностранная интервенция. Национализм — это цемент революционного союза и двигатель революционного движения.

Политическое развитие через революцию

Сообщество и партия

Исследователи часто пытаются отличать «великие», или социальные и экономические, революции от потрясений более ограниченного масштаба, которые характеризуются как «чисто» политические. В действительности, однако, наиболее значительные результаты великих революций либо лежат в пределах политической сферы, либо прямо с ней связаны. Полномасштабная революция предполагает разрушение старых политических институтов и форм легитимности, мобилизацию новых групп в политику, переопределение политического сообщества, принятие новых политических ценностей и новых понятий о политической легитимности, завоевание власти новой, более динамичной элитой и создание более сильных политических институтов. Все революции связаны с модернизацией в смысле расширения пределов политической активности масс; некоторые революции к тому же несут с собой политическое развитие в смысле создания новых форм политического порядка.

Непосредственные экономические результаты революции бывают практически полностью негативными. И не только как результат вызванных революцией насилия и разрушений. Насилие и разрушения, производимые революцией, могут иметь своим следствием какую-то экономическую разруху, тогда как распад социальных и экономических структур может приводить к еще более серьезным последствиям. Боливийская революция не сопровождалась большим кровопролитием, но привела к экономическому краху. Также и на Кубе насилие не имело больших масштабов, но его экономические последствия были достаточно тяжелыми. Требуется много лет или даже десятилетий, чтобы общество вернулось

на тот уровень экономического развития, который был достигнут непосредственно перед началом революции. Более того, увеличение темпов экономического роста почти всегда зависит от стабилизации новых институтов власти. Потребовалось десятилетие, в течение которого большевики прочно утвердили свой образ правления, чтобы стали возможными победы индустриализации в Советском Союзе. Быстрый рост мексиканской экономики начался лишь в 1940-е гг., когда политические структуры, созданные революцией, обрели стабильную и высокоинституциализованную форму.

Консерваторы неизменно указывают на вызванную революцией экономическую разруху как на знак полного поражения революции. В 1950-е и 1960-е гг., к примеру, на дефицит товаров и экономические трудности, вызванные боливийской, вьетнамской и кубинской революциями, регулярно ссылались как на свидетельство надвигающегося падения революционных правительств в этих странах. Но те же самые экономические явления наблюдаются при всех революциях: нехватка продовольствия, плохой уход за оборудованием, недостаточная координация производственных планов, расточительность и неэффективность — все это были части того, что Лев Троцкий назвал «побочными издержками исторического прогресса», неизбежными во всякой революции[42]. Можно пойти еще дальше. Экономический успех безразличен для революции, тогда как материальные лишения вполне могут стать существенным фактором ее успеха. Предсказания консерваторов, что нехватка продуктов и материальные трудности приведут к свержению революционного режима, никогда не исполняются по одной простой причине. Материальные лишения, которые были бы невыносимы при старом режиме, служат доказательством силы режима нового. Чем хуже люди питаются и чем хуже условия их жизни, тем больше они начинают ценить политические и идеологические достижения революции, для которой они столь многим жертвуют. «По мере того как режим упрочивается, — отмечал один журналист, писавший о Кастро, — старые кубинцы учатся жить со своими тяготами, а молодые кубинцы — любить их как символ революции»[43]. Революционные правительства могут терять силу с ростом изобилия, но их никогда не свергают от бедности.

Экономика сравнительно безразлична для революций и для революционеров, и экономическая катастрофа оказывается небольшой платой за расширение и новое самоопределение национального сообщества. Революция уничтожает старые классы, старые основания, обычно аскриптивные, социальной дифференциации и старое общественное расслоение. Она порождает новое чувство общности и общей идентичности для новых общественных групп, обретающих политическое сознание. Если проблема

идентичности является ключевой в процессе модернизации, то революция дает окончательное, хотя и дорогостоящее решение этой проблемы. Она означает рождение национального или политического сообщества равных. Она означает фундаментальный переход от политической культуры, в которой для подданных правительство — это «они», к политической культуре, в которой для граждан правительство — это «мы». Ни один из аспектов политической культуры не является более важным, чем масштабы и глубина идентификации людей с политической системой. Наиболее значительным достижением революции и является это резкое изменение политических ценностей и установок. Массы, прежде бывшие за пределами системы, теперь идентифицируют себя с ней; элиты, которые прежде идентифицировали себя с системой, теперь исторгаются из нее.

Уничтожение прежних элит и их эмиграция могут поощряться революционными лидерами. Цель революции — создание нового однородного сообщества, и принуждение враждебных или не поддающихся ассимиляции элементов к эмиграции есть одно из средств построения такого сообщества. Поэтому то, что консервативным иностранцам часто представляется слабостью революционной системы, в действительности служит ее усилению. Мустафа Кемаль создал сильное государство, ограничив его рамки этническими турками и исключив из него армян, греков и другие группы, игравшие ключевые роли в Османской империи. Коммунистические революционные лидеры особенно хорошо усвоили этот урок. Исход 900 000 беженцев, преимущественно католиков, из Вьетнама в 1954 и 1955 гг., существенно усилил северовьетнамское политическое сообщество и в тоже самое время ввел разрушительный и разделяющий фактор в политическую жизнь Южного Вьетнама. То, что восточногерманское правительство до 1961 г. допускало сравнительно свободную эмиграцию своих граждан в Западную Германию, заложило фундамент более стабильного политического строя в Восточной Германии. Готовность Кастро допустить отъезд значительного числа недовольных кубинцев послужил установлению долгосрочной стабильности его режима. В предреволюционном обществе изгоями являются многие бедные, для которых миграция невозможна. В послереволюционном обществе изгоями становятся немногие зажиточные, от которых легко избавиться путем уничтожения или миграции.

Недовольство некоторых групп более чем уравновешивается новым чувством идентичности, которое приобретают другие, более многочисленные группы и появляющимся в результате новым чувством политической общности и единства. Отчасти это новое чувство общности отражается в акценте на равенстве в формах одежды и обращения: «санкюлотство»* и подчеркнутое обращение на «ты» становятся в порядке вещей; всякий становится братом или товарищем. Революции приносят мало свободы, но они — самое эффективное из имеющихся в распоряжении истории средств быстрого утверждения братства, равенства и идентичности. Эта идентичность и чувство общности оправдывают бедность и материальные тяготы. «Благодаря Фиделю, — заявил в 1965 г. один неквалифицированный кубинский рабочий, — теперь у нас настоящее равенство... Пусть даже еды не хватает, я не против, поскольку теперь я часть моей страны. Теперь борьба за выживание Кубы — это моя борьба. Если это коммунизм, я целиком за него»[44].

Политическое развитие, как мы утверждали выше, предполагает рождение и институциализацию общественных интересов. Нигде это не проявляется так ярко, как в процессе революции. Общество, существующее перед революцией, — это обычно общество, которому мало свойственно сознание общественного блага. Обычно оно характеризуется упадком и разрушением политических институтов, фрагментацией общественного целого, выдвижением локальных и провинциальных притязаний, преследованием частных целей, преобладанием лояльности семье и другим узким группировкам. Революция разрушает старый общественный порядок с его классами, плюрализмом и ограниченной лояльностью. Рождаются новые, более общие источники морали и легитимности. Они носят национальный, а не местнический, политический, а не социальный, революционный, а не традиционный характер. Лозунги, мистика и, возможно, идеология революции служат источниками новых критериев политической лояльности. Лояльность революции и ее целям, завоевавшим всеобщее признание, приходит на смену лояльности более узким и традиционным социальным группировкам старого общества. Общественный интерес старого строя выродился в множество конфликтующих групповых интересов. Общественный интерес нового строя — это интерес Революции.

Революция, таким образом, связана с моральным обновлением. На смену типичным образцам поведения старого развращенного общества приходят новые образцы, поначалу в высокой степени спартанские и пуританские. В своей негативной фазе революция завершает разрушение уже разрушающихся морального кодекса и системы институтов. В позитивной фазе революция рождает новые, более суровые источники морали, авторитета и дисциплины. Всякий революционный режим устанавлива-

* Стиль общения и поведения, навязанный демократическими слоями города в период французской революции — «санкюлотами» (*фр.*), людьми, ходившими, в отличие от аристократов, в длинных штанах.

ет стандарты общественной морали более высокие, всеохватывающие и жесткие, чем те, что существовали при режиме, на смену которому он пришел. «Протестантская дисциплина» первого крупного революционного движения в западном обществе поразила Европу XVII в.[45]. Показательно, что с того самого времени слово «дисциплина» повторяется в языке революционеров и в описаниях революций. Национальная дисциплина, пролетарская дисциплина, партийная дисциплина, революционная дисциплина — к ним постоянно взывают в ходе революционного процесса. Если преторианское общество — это общество, в котором недостает авторитета, честности, дисциплины, легитимности и представления об общественном интересе, то революционное общество — это общество, где все это есть, и притом нередко в такой степени, что приобретает характер угнетения. Точно так же, как о пуританах можно с некоторым основанием говорить как о первых большевиках, о большевиках и их сподвижниках XX в. можно говорить как о пуританах позднейшего времени. Всякая революция — это пуританская революция.

Революции происходят там, где политическая активность ограничена и политические институты непрочны. «Народы воздвигают эшафоты, — как писал Жувенель, — не в качестве моральной кары за деспотизм, а в качестве биологической платы за слабость»[46]. Однако негативная фаза революции связана с разрушением старого общественного строя и остатков старых политических институтов. Это создает вакуум. Общество перестает быть основанием общности. В процессах политического развития и модернизации дифференциация и возрастающая сложность общества постепенно делают общность зависимой от политики. Политические идеологии и политические институты приобретают ключевое значение для обеспечения общности, которая оказывается не результатом развития общества, а его разрушения. Всякая революция усиливает правительство и развивает политический строй. Это форма политического развития, которая делает общество более отсталым, а политику более сложной. Это способ восстановления — насильственный и разрушительный, но и созидательный, обеспечивающий равновесие между социальным и экономическим развитием, с одной стороны, и политическим развитием, с другой.

Революции, как часто отмечалось, заменяют слабые правительства на сильные. Новые правительства являются продуктом как концентрации власти, так и, что еще важнее, расширения границ власти в политической системе. «Истинная историческая функция революций состоит, — по словам Жувенеля, — в том, чтобы обновлять и усиливать Власть»[47]. Завершение той политической работы, которую выполняет революция, зависит, однако, от создания новых политических структур, посредством которых будут стабилизованы и институциализованы процессы централизации власти и ее распространения. Успешная революция требует создания партийно-политической системы.

Исторически революция приводила либо (а) к восстановлению традиционных структур власти, либо (б) к военной диктатуре и правлению силы, либо же (в) к созданию новых властных структур, отражающих фундаментальные изменения в объеме и распределении власти в политической системе, вызванные революцией. Карл II и Людовик XVIII — это примеры возвращения к власти традиционных правителей и реставрации традиционных структур власти. Кромвель был военным диктатором, который безуспешно пытался отыскать новые основания легитимности. Наполеон был военным диктатором, который безуспешно пытался учредить новую, императорскую династию, черпая основания легитимности из военных успехов, народной поддержки и монархической мистики. В каком-то смысле это была попытка сочетать традиционные и военные источники легитимности. Чан Кайши и Гоминьдан, с другой стороны, пытались сочетать военные и современные источники легитимности. Националистическое правительство было отчасти партийным правлением, отчасти военной диктатурой. Ему, однако, не удалось превратить гоминьдан в институт, способный адаптироваться к меняющимся формам политической активности.

В Мексике, с другой стороны, революция сначала привела к правлению генералов, слегка прикрытому конституционными формами. В 1929 г., однако, сочетание обстоятельств, эгоистических интересов и государственной мудрости Кальеса привело к созданию революционной партии, и система квазилегитимного правления генеральской олигархии была преобразована в институциализованную и легитимную систему власти Институционно-революционной партии (ИРП). Эта конструкция затем послужила механизмом, с помощью которого Карденас расширил базу революции и идентификацию масс с новой политической системой. То, что Кальес создал партию революции, дало возможность Карденасу расширить масштабы революции с помощью партии. Таким образом, если китайские националисты от попыток партийного правления перешли в военной диктатуре, то мексиканская революция эволюционировала в противоположном направлении — от чисто военной диктатуры к чисто партийному правлению.

Историки многие столетия называли веками революций. Но XX в. имеет особое право называться веком революций, поскольку только в XX в. революционные процессы привели к рождению революционных институтов. В этом смысле и английская, и французская революции кончились неудачей. В результате их агонии и родовых схваток на свет появи-

лись лишь военные диктатуры и реставрированные традиционные формы власти, протектор и император, из которых ни тот ни другой не смог институциализовать свое правление и на смену которым в свой черед пришли Стюарт и Бурбон. Английская революция закончилась компромиссом, французская — раздвоенной политической традицией, которая на полтора века расколола Францию. Во Франции революция не привела ни к какому согласию; в Англии она привела к согласию, которое не было революционным. Обе революции в некотором смысле произошли слишком рано, прежде чем люди осознали и приняли политические партии как организации. Обе революции раздвинули границы политической активности, но не смогли породить новых политических структур для институциализации этой активности.

Сравним эти «незавершенные» революции с революциями XX в. Со времени организации первых постоянных политических партий в США в конце XVIII в. революционное расширение политической активности было неразрывно связано с созданием революционных политических партий. В противоположность английской и французской, русская революция избежала военной диктатуры и монархической реставрации. Вместо этого она произвела на свет совершенно новую систему партийного верховенства, «демократический централизм» и идеологическую форму легитимизации, которая эффективно консолидировала и институциализовала процессы концентрации и распространения власти, вызванные революцией. Всякая крупная революция XX в. приводила к созданию нового политического порядка для структурирования, стабилизации и институциализации более широких форм участия масс в политике. Она приводила к созданию партийно-политической системы с глубокими корнями в населении. По контрасту со всеми предыдущими революциями, каждая крупная революция XX в. институциализовала централизацию и распространение власти с помощью однопартийной системы. И это общее наследие русской, китайской, мексиканской, югославской, вьетнамской и даже турецкой революций, очень разных в других отношениях. Триумф революции — триумф партийного правления.

Мексика

Однако не все революции кончаются триумфом и не все триумфы необратимы. Революция — это одно из средств политического развития, один из путей создания и институциализации новых политических организаций и процедур, усиления политической сферы по отношению к социальным

и экономическим силам. Политическое развитие посредством революции отчетливо прослеживается там, где коммунистические партии пришли к власти через восстание и гражданскую войну. Его можно видеть и в других случаях, например в Мексике, где революция привела к значительным изменениям в политической культуре и политических институтах. С другой стороны, однако, возможно, даже и в XX в., чтобы общество пережило агонию революционных потрясений, так и не достигнув стабильности и интеграции, которые может приносить революция. Сопоставление успехов и неудач революции с точки зрения политического развития на примерах Мексики и Боливии может дать нам некоторые основания для оценки вероятного хода революции в других, еще не пришедших к разрешению, случаях.

В течение двадцати лет перед 1910 г. Мексика переживала феноменальное экономическое развитие. Производство в добывающей промышленности возросло вчетверо; были построены десятки текстильных фабрик, сахарные заводы, вчетверо увеличившие производство сахара; крупной отраслью стала нефтедобыча; была проложена широкая сеть железных дорог. При Порфирио Диасе объем внешней торговли и сбор налогов выросли в десять раз. «За время одного поколения возник весь аппарат современной экономики: железные дороги, банки, тяжелая индустрия, устойчивая валюта и гарантированные иностранные кредиты». Однако экономический рост сопровождался растущим разрывом между богатыми и бедными. Контроль над новым финансовым и промышленным богатством сосредоточился в руках иностранных компаний и тесно спаянной олигархии. Нувориши скупали частные и общинные земли индейцев, так что к 1910 г. один процент населения владел 85% пахотной земли, а у 95% из десяти миллионов людей, занятых в сельском хозяйстве, не было ее совсем. Крестьяне были низведены практически до положения крепостных: реальная заработная плата пеона в 1910 г., согласно оценкам, составляла 25% от размера 1800 г.[48].

Этот быстрый экономический рост и растущее неравенство имели место в политической системе, плохо приспособленной для того, чтобы смягчать последствия этих изменений и предоставлять возможности для выражения политических требований и разрядки напряжения. Власть была сосредоточена в руках жестокого стареющего диктатора, окруженного немногочисленной и тоже стареющей креольской олигархией. К 1910 г. люди, стоящие наверху политической системы, нередко были старше 70 или даже 80 лет и, случалось, лет по двадцать и больше находились на своих постах. Новые, образованные группы среднего класса в городах были лишены возможности участвовать в функционировании политической сис-

темы. Правительство активно противодействовало созданию профсоюзов и запрещало забастовки, порождая этим насилие в сфере труда и способствуя дрейфу рабочего класса в направлении радикализма и анархосиндикализма. Политическая система представляла собой неинституциализованное личное и олигархическое правление, которому недоставало автономии, сложности, согласованности и адаптивности. Власть была централизованной, но ее было мало, и использовалась она все чаще в личных целях. Экономическое развитие, вызванное политикой Диаса, породило общественные силы, которым не находилось места в рамках политической системы, на сохранении которой Диас настаивал. Когда диктатор был в конце концов свергнут, все было готово к началу кровавой борьбы за власть между освободившимися от контроля элитами и к быстрой мобилизации в политику рабочих и крестьянских масс. Разразившаяся в результате революция привела к серьезным изменениям в мексиканской политической культуре и обновлению всех политических институтов. За два десятилетия перед 1910 г. Мексика пережила быстрое экономическое развитие и модернизацию. За три десятилетия после 1910 г. в Мексике наблюдались такие же, если не более быстрые, политическое развитие и политическая модернизация. На смену слабой, неинституциализованной системе личного правления, существовавшей до революции, системе, в которой доминировали личные интересы и общественные силы, пришла автономная, слаженная и гибкая политическая система высокой сложности, обладавшая собственным, независимым от общественных сил, существованием и продемонстрировавшая свою способность к сочетанию достаточно высокой централизации власти с расширением участия общественных групп в политической системе. Цена этих достижений была велика: 1 млн. мексиканцев были убиты или умерли от голода; почти все первые лидеры революции были убиты на каком-то из ее этапов; хозяйство страны было полностью дезорганизовано. Но эти жертвы были, по крайней мере, не напрасны. Политическая система, возникшая в результате революции, обеспечила Мексике политическую стабильность, беспрецедентную для Латинской Америки, и политическую структуру, необходимую для нового периода быстрого экономического роста в 1940–1950-е гг.

Революция способствовала отлаженности мексиканской политической системы за счет того, что она разрушила жесткую классовую стратификацию и положила конец традиционному для мексиканского общества расколу между аристократической, креольской, военной, религиозной традицией, пришедшей из колониальных времен, и либеральным, индивидуалистическим, гражданским средним классом, который сформировался в XIX в. По существу, революция произвела что-то вроде гегелевского синтеза. Консервативно-колониальная традиция была корпоративной по форме и феодальной по содержанию; рожденное в XIX в. движение, связанное с именами Хуареса* и Мадеро, было индивидуалистским по форме и либеральным по содержанию. Революция хорошо перемешала то и другое в составе политической культуры, плюралистической по форме и популистской, даже социалистической по содержанию. Этим был положен конец той вражде, которая разделяла мексиканское общество, и в конечном счете даже группы, враждебные революции — помещики, церковь, армия, — смирились с необходимостью сосуществовать по ее правилам. Революция, кроме того, произвела на свет новый объединяющий общественный миф и новые основания легитимности. Она дала Мексике национальный эпос, национальных героев и национальные идеалы, в соответствии с которыми можно было формулировать цели и оценивать результаты. Идеалы революции, отчасти получившие определение в конституции 1917 г. — первой социалистической конституции мира, — легли в основание мексиканского общественного согласия, во многом в той же мере, что и Конституция и Декларация независимости в США. «Подход ко всякому общественно значимому вопросу, его рассмотрение, приятие или отвержение того или иного решения осуществляются с точки зрения ценностей революции, и всякий серьезный автор какой-либо инициативы с необходимостью обосновывает законность своей точки зрения, выдавая ее за подлинное, быть может, единственно подлинное выражение идеалов революции[49].

Революция не только породила новые политические институты и наделила их способностью обеспечивать свою автономию от общественных сил и свою власть над ними. Партия стала эффективным инструментом как для выражения, так и для объединения групповых интересов. Перед революцией мексиканские политики впали в типичный для Латинской Америки «средиземноморский» стиль корпоративной политики, при котором иерархически организованные общественные силы — в первую очередь церковь, военные и землевладельцы — соперничали друг с другом и держали под своим контролем слабые политические институты[50]. По мере того как мексиканское общество модернизировалось, к этим традиционным общественным силам добавлялись предприниматели, рабочие и профессиональные группировки. Задача революции состояла в том, чтобы подчинить автономные общественные силы эффективным политическим институтам. Эта цель была достигнута в 1930-е гг. путем включения этих общественных сил в состав революционной партии и путем организации внутри этой партии четырех

* Бенито Пабло Хуарес (1806–1872) — глава правительства Мексики в 1858–1861 гг., президент страны в 1861–1872 гг.

секторов — аграрного, промышленного, народного и военного. Каждый сектор, в свою очередь, характеризовался множеством групп и интересов, принадлежащих соответствующим общественным силам.

Конфликты между секторами приходилось теперь решать в рамках партии, под руководством президента и центральных органов партии. Партийные центры внутри районов приписывались секторам с учетом их влияния в каждом районе, и каждый сектор был обязан поддерживать кандидатов, выдвинутых другими секторами. Система институциализованных сделок и компромиссов внутри партии пришла на смену прежней преторианской политике открытого конфликта и насилия. Секторальная организация партии также способствовала усилению центрального руководства, уменьшая влияние местных начальников и региональных каудильо. Интересы секторов были подчинены интересам партии и включены в последние. Сочетание политического института, обладающего властью, с сохранением представительства организованных групповых структур «средиземноморской» политики создало, по существу, новый тип политической системы, который лучше всего описывается выражением Скотта: *корпоративный централизм*.

Подчинение ранее автономных общественных сил правящему политическому институту нигде так отчетливо не проявилось, как в менявшейся роли военных в мексиканской политике. Перед 1910 г. политика Мексики была политикой милитаризма и насилия. «Пожалуй, ни одна страна в Латинской Америке, — пишет Льевен, — не страдала так долго и так глубоко от проклятия хищнического милитаризма, как Мексика. Более чем тысячу вооруженных восстаний пришлось пережить этой несчастной республике в первое столетие своего национального существования»[51]. Революция положила этому конец. В мексиканской истории президентские выборы и военные мятежи шли рука об руку. Последний успешный военный мятеж против избранного президента был в 1920 г. Во время мятежа 1923 г. на стороне мятежников была половина офицерского корпуса, и мятеж был подавлен с помощью вооруженных отрядов рабочих и крестьян. Участие этих групп показало, что способности военных монополизировать насилие и осуществлять принуждающее политическое действие приходит конец. Мексиканская политика становилась слишком сложна, чтобы осуществлять контроль над нею с помощью одной только военной силы. Менее четверти офицеров поддержали военный мятеж 1927 г., а в 1938 г. последний военный мятеж послереволюционной эры не нашел никакой существенной поддержки и был легко подавлен.

Исключению военных из политики способствовало введение более профессиональных систем подготовки, осуществленное в 1920-е гг.,

и довольно решительная политика в сфере назначений и увольнений, которая должна была помешать какому-нибудь генералу построить локальную политическую машину. Однако решающим фактором, приведшим к уходу военных из политики, стала организация в 1929 г. революционной партии и настойчивое требование ее первых двух руководителей, Кальеса и Карденаса (которые оба были генералами), чтобы размещение партийных центров и определение политики производились внутри партийной структуры. Когда партия была реорганизована в 1938 г., был создан военный сектор — чтобы обеспечивать представительство военных внутри партии. Цель этой меры состояла не в том, чтобы усилить роль военных в мексиканской политике, а в том, чтобы вместо насильственных методов использовать электоральные и переговорные. Защищая военный сектор, Карденас заявлял: «Мы не втягиваем армию в политику. Она уже в ней участвовала. Более того, она занимала доминирующее положение в ситуации, и мы правильно сделали, что уменьшили ее влияние до одного голоса из четырех»[52]. Три года спустя президент Авила Камачо упразднил военный сектор партии, расколол военный блок в конгрессе и отправил в отставку многих революционных генералов. Политические посты и политические роли постепенно переходили от генералов к гражданским бюрократам и политикам.

Политическая система, созданная революцией, отражала также высокий уровень институционной сложности. Как и в других послереволюционных государствах, основным институционным различием было различие между партией и правительством. Первая монополизировала функции на входе политической системы, второе играло решающую роль в осуществлении функций на выходе. Внутри партии секторальная организация выражала деление, которое проходило поперек деления по классам и регионам. Так, аграрный сектор делили между собой крестьянские организации, организации сельских рабочих и организации агрономов и техников. Промышленный сектор делился на доминирующий правый блок и меньший по численности левый блок. Народный сектор был разнородным собранием групп, представлявших гражданских служащих, мелкий бизнес, профессионалов, женщин и другие группы. Эта структура дробила конфликты и облегчала объединение политических интересов. К традиционным типам политического конфликта в Мексике — семейным, клановым и региональным — теперь добавилось соперничество между секторами и между группами внутри секторов.

Наконец, революционная политическая система продемонстрировала свою адаптивность. Самым, вероятно, очевидным достижением партийной системы в Мексике является то, в какой степени удалось разре-

шить проблему мирной передачи власти. Первоначальным лозунгом революции был лозунг «Никаких перевыборов», и революционная партия превратила этот лозунг в основание политической стабильности. Президенты избирались один раз на 6 лет посредством сложного и несколько мистического процесса «аускультации» (auscultación), рекомендаций, консультаций, обсуждений и поисков согласия, в котором будущий президент играл доминирующую роль. Отобранный с помощью такого неформального процесса, кандидат далее выдвигался партийным съездом и избирался, преодолевая слабую оппозицию со стороны существовавших в рамках системы мелких партий. В течение шести лет пребывания на посту он располагал значительной властью, но не имел перспектив на переизбрание. Эта практика существенно способствовала стабильности системы. Если бы президент мог оставаться у власти неопределенное время, это побуждало бы других претендентов на президентское кресло к попыткам незаконного его смещения. В той же ситуации, когда каждый президент избирается лишь на один срок, честолюбивые политики могут рассчитывать на неоднократное участие в выборах, до тех пор пока они не станут слишком стары, чтобы эффективно бороться за лидерство.

Мексиканская политическая система проявила также значительную адаптивность в отношении политических нововведений. В 1933 г. Кальес объявил, что революция не достигает своих целей, что коррупция и невежество препятствуют ее развитию. Состоявшееся на следующий год избрание Карденаса показало способность политической системы ставить новые цели, инкорпорировать новые группы и осуществлять множество радикальных реформ. С точки зрения проводимой политики режим Карденаса был второй мексиканской революцией. Был дан новый импульс земельной реформе, национализированы железные дороги и нефтяные скважины, более широкие слои населения были охвачены образованием, запущены новые социальные программы. То, что система смогла произвести на свет лидеров, которые смогли осуществить эти изменения, и то, что оказалось возможным осуществить сами эти изменения, действуя внутри системы, служит веским свидетельством в пользу как мудрости политических лидеров, так и адаптивности политической системы. Самому Карденасу было всего 39 лет, когда он был избран президентом, и его приход к власти говорил о появлении внутри партийной структуры нового поколения более молодых, более радикальных, более интеллектуальных политических лидеров. Приход к власти этого поколения был мирной революцией в истории мексиканской политической системы, сравнимой во многих отношениях с приходом к власти демократов-джексонианцев в американской политической системе.

К концу срока правления Карденас использовал свое влияние, чтобы обеспечить избрание на президентский пост Авилы Камачо. За Камачо последовал в 1946 г. более радикальный Алеман, смененный в 1952 г. более консервативным Кортинесом, которого в 1958 г. сменил более радикальный Лопес Матеос и в 1964 г. более консервативный Диас Ордас. Гибкость, таким образом, оказалась встроенной в систему через неформальный, но эффективный процесс чередования радикальных президентов-новаторов с консерваторами. Система, таким образом, путем сознательного выбора лидеров сумела установить то чередование реформ и консолидации, которое в более конкурентных партийных системах достигается через сдвиги в предпочтениях избирателей.

Высокий уровень институциализации мексиканской политической системы позволил ей эффективно решать проблемы модернизации в середине XX в. За созданием в 1929 г. революционной партии в 1930-е гг. последовали как централизация власти, необходимая для проведения социальных реформ, так и распространение власти, связанное с расширившейся идентификацией людей с политической системой. Ключевой фигурой в этом процессе был Карденас, который институциализовал партию, централизовал власть в руках президента, осуществил социальные реформы и расширил участие населения в политической жизни. Первоначально централизация была на неформальной основе осуществлена Кальесом в 1920-е гг. В 1930-е гг., после создания революционной партии централизация власти была институциализована в президентстве. После избрания на пост президента Карденас сумел оспорить неформальную власть Кальеса и утвердил свое влияние во всей партии. Реорганизация партии на секторальной, а не географической основе разрушила власть региональных каудильо. Поток партийных средств шел из местных организаций в национальную, и, таким образом, последняя могла осуществлять контроль над партийной деятельностью на местном уровне.

При Карденасе власть одновременно и распространялась вширь, и централизовалась. Карденас активно подталкивал процессы самоорганизации в промышленности и сельском хозяйстве, поддерживая образование Национальной крестьянской конфедерации и Мексиканской конфедерации труда. Эти организации были включены в состав партии, за счет чего членство в партии сильно расширилось, так что преобладающим элементом стали рабочие и крестьяне, а не государственные служащие. К 1936 г. в партии было более миллиона членов. Позднее в состав партии были включены также молодежные группы, кооперативные общества и другие общественные организации. По существу, этот процесс означал мобилизацию новых групп в партию и тем самым в политику, и в то же вре-

мя укрепление этих групп. Мобилизация и организация осуществлялись одновременно. Что не менее важно, Карденас создал символы для идентификации народа с системой. Во время своей президентской кампании в 1934 г. он установил практику, подхваченную последующими кандидатами, длительной президентской предвыборной поездки с целью завоевания народной поддержки и поднятия общественного интереса. На посту президента он всячески старался выказать близость к народу и доступность (вплоть даже до того, что национальной телеграфной службе было дано указание в течение одного часа ежедневно бесплатно принимать любые послания, адресованные президенту)[53]. Он много путешествовал по стране, посещал деревни, выслушивал жалобы и внушал людям чувство, что его правительство — это *их* правительство.

Значение этого процесса расширения политического участия в функционировании системы и народной идентификации с системой можно ясно увидеть, если обратиться к данным проделанного Алмондом и Вербой сравнительного анализа политических ценностей и установок в США, Великобритании, Германии, Италии и Мексике[54]. Практически по всем показателям социального и экономического развития Мексика и Италия отстают от остальных трех стран, а Мексика существенно отстает от Италии. Но с точки зрения политической культуры наблюдаются поразительные различия между Мексикой и Италией и даже между Мексикой и другими странами с намного более высоким уровнем модернизации. Мексиканцы меньше гордились политикой и правительством своей страны, чем американцы и англичане, но больше, чем итальянцы и немцы. Мексиканцы не признавали за правительством большой роли в их жизни, но очень многие интересовались политикой. Даже те мексиканцы, которые считали, что государство не оказывает влияния на их жизнь, все же выказывали серьезное внимание к политике.

Что, пожалуй, наиболее важно, мексиканцы, как и американцы, были в большей степени гражданами, чем подданными. В этом, как предполагают Алмонд и Верба, и состоит главное различие между обществами революционными и нереволюционными. Иными словами, это можно рассматривать как социологическое свидетельство в пользу суждения Токвиля, что США воспользовались результатами демократической революции, хотя и никогда не переживали такой революции. 33% мексиканцев в сравнении с 27% итальянцев выказали гражданскую компетентность, и 45% мексиканцев в сравнении с 63% итальянцев были отнесены к числу отчужденных с точки зрения «входа» в политическую систему. В типичном случае, как указывают Алмонд и Верба, люди сначала развивают в себе компетентность в качестве подданных и лишь позднее гражданскую компетентность. Однако в Мексике революция видоизменила этот процесс. Мексиканцы говорят, что получают мало пользы от своей политической системы, но надеются, что будут получать больше. Их политика — это политика чаяний. Мексиканскую политическую культуру характеризует «революционная надежда», и легитимность политической системы зиждется на чаяниях и надеждах, которые принесло это событие[55].

Политическое развитие никогда не бывает завершено, никакая политическая система не решает всех стоящих перед нею проблем. Однако, в сравнении с другими революциями, мексиканская революция была очень успешной в отношении политического развития, т.е. в создании сложных, автономных, слаженных и адаптивных политических организаций и процедур, была достаточно успешной в деле политической модернизации, т.е. в централизации власти, необходимой для проведения социальных реформ и расширении пределов власти, необходимом для включения новых групп. Через 35 лет после создания революционной партии* многие ставили под вопрос способность политической системы по-прежнему удовлетворять потребности быстро меняющейся социальной и экономической жизни Мексики. Можно предположить, что потребуются серьезные изменения в политической системе, чтобы она смогла справляться с этими новыми проблемами. Можно также допустить, что система окажется неспособной адаптироваться к новым уровням экономического развития и социальной сложности. Какова бы, однако, ни была ее последующая судьба, система, рожденная революцией, дала Мексике политическую стабильность, идентификацию народа с государством, социальные реформы и экономическое развитие, не имеющие аналогов в более ранней истории страны и уникальные в Латинской Америке.

Боливия

Ничего подобного этой сводке достижений не принесла боливийская революция. В отличие от Мексики, Боливия показывает, что, хотя при определенных условиях революция может быть дорогой к политической стабильности, она не ведет туда с необходимостью. На поверхности можно усмотреть много сходного в боливийской и мексиканской революциях. Дореволюционной Боливией управляла немногочисленная белая элита, которая господствовала над массой неграмотных, не говорящих по-ис-

* Институционно-революционная партия Мексики была создана в марте 1929 г.; до 1946 г. носила другие названия.

пански крестьян-индейцев. Говорили, что три компании по производству олова и 200 семей владеют страной. В 1950 г. 10% землевладельцев владели 97% земли[56]. Здесь мы видим почти в чистом виде двуклассовое олигархическое общество. В 1930-е гг., однако, Боливия оказалась вовлеченной в войну с Парагваем, которая потребовала мобилизации большой крестьянской армии. Поражение Боливии в войне привело, в свою очередь, к военному перевороту, совершенному группой полковников, стремившихся к созданию более эффективного и прогрессивного правительства. В 1939 г. на смену этой военной хунте пришел более консервативный режим. В следующие годы было организовано несколько политических партий, включая Националистическое революционное движение (НРД), образованное группой интеллектуалов. В 1943 г. военный переворот привел к власти группу армейских офицеров, состоявших в коалиции с НРД. Этот режим начал осуществлять программу, которая была отчасти фашистской, отчасти радикальной и отчасти кровожадной. В 1947 г. он был свергнут в ходе городского восстания, вновь пришло к власти консервативное правительство, и лидеры НРД отправились в изгнание. В 1951 г. были проведены выборы, блистательно выигранные находившимся в изгнании Пас Эстенсоро, лидером НРД. Однако армия отменила результаты выборов. Наступил период смуты.

Наконец, в апреле 1952 г. НРД начало борьбу за свержение правительства. Это удалось сделать сравнительно малой кровью. Революционеры пришли к власти; Пас Эстенсоро вернулся из изгнания, чтобы стать президентом нового революционного режима. Правительство НРД национализировало оловянные копи и провозгласило всеобщее избирательное право. Хотя его лидеры были в аграрных вопросах достаточно умеренны, в 1952 г. крестьяне образовали свои собственные организации и начали захватывать землю. Столкнувшись с этим движением снизу, лидеры НРД, как и Национальное собрание в 1789 г. и большевики в 1917 г., выбрали единственно возможный революционный курс и легализовали действия крестьян. Режим также упразднил старую армию и организовал милицейские отряды крестьян и рабочих. В течение последующих 12 лет в Боливии фактически существовала однопартийная система, при которой НРД монополизировала власть, не допуская к ней различные диссидентские и раскольнические группировки левого и правого толка. В 1956 г. президентом был избран другой основатель НРД, Эрнан Силес, который проводил более умеренную и осторожную политику, чем его предшественник. В 1960 г. Пас Эстенсоро был снова избран президентом и, после того, как он изменил конституцию, чтобы сделать это возможным, в 1964 г. был переизбран. На протяжении 1950-х гг. был предпринят ряд попыток переворотов, вдохновляемых главным образом правыми, но все они были подавлены. Однако в 1961 г. правительство, попытавшись реформировать оловодобывающую отрасль, оказалось втянуто в ряд вооруженных столкновений с горняками. Интенсивность этих конфликтов возрастала, и в октябре 1964 г. страна оказалась охвачена необъявленной гражданской войной, в которой армия и крестьяне сражались со студентами и горняками. В первую неделю ноября высшее командование армии и военно-воздушных сил сместило президента Паса, отправило его в изгнание и установило военный режим. На следующий год и этот режим оказался втянут в серию кровавых схваток с горняками. В 1966 г. лидер военных генерал Рене Барриентос был избран президентом без серьезной оппозиции.

Такой ход событий ставит очень интересные и важные вопросы. Как и мексиканская революция, боливийская революция в качестве своих ближайших результатов принесла социальное равенство, политическую мобилизацию и экономический хаос. Почему же, в отличие от мексиканской революции, она не принесла такого долговременного результата, как политическая стабильность? Что в боливийской революции пошло не так? Почему НРД, в отличие от Институционно-революционной партии Мексики, не смогла осуществить эффективную институциализацию? Почему милитаризм и военные перевороты вновь стали принадлежностью боливийской политической жизни?

Можно указать на четыре фактора, послужившие причиной сказанного. Во-первых, у боливийской революции немало черт большой революции: смещение с постов и эмиграция традиционной социоэкономической элиты; революционный союз между интеллигенцией среднего класса и крестьянством; национализация собственности и, по существу, экспроприация земли; взрывной рост политической активности масс; установление однопартийного правления. Но у нее не было одной черты завершенной революции. Сам по себе захват власти был связан со сравнительно небольшим насилием. Прежний режим пал в апреле 1952 г., армия раскололась, и вооруженные партизаны НРД в союзе с рабочими и мятежной частью армии легко установили контроль над страной. В Мексике в 1910–1920 гг. около миллиона людей, почти 10% населения, погибли от насилия или голода. В боливийской революции 1952 г. было убито примерно 3000 человек, менее одной десятой процента населения, а после своего прихода к власти режим НРД установил в стране относительные порядок и безопасность. В следующие год или два наблюдались отдельные вспышки насилия в сельской местности, но в целом эта революция оказалась, по меркам обычных революций, довольно мирной. «Революция, — как писал Ричард Пэтч, — развивалась не по правилам. Не было классовой борь-

бы. Она отняла мало жизней. За пределами Ла-Паса было мало вооруженной борьбы. Не было экстремистов у власти, не было террора, не было термидора»[57]. После прихода НРД к власти проходила значительная мобилизация крестьян и рабочих, но без соперничества. В боливийском случае отсутствовала насильственная борьба за власть, которая обычно имеет место между революционными элементами после падения старого режима. В данном случае захват власти НРД больше напоминал захват власти Насером в Египте, чем кровавую борьбу за власть, которую пришлось вести «нортенос» в Мексике, большевикам в России или коммунистам в Китае. Этот сравнительно мирный характер борьбы в Боливии, по крайней мере, двояким образом неблагоприятно сказался на последующей политической стабильности. Во-первых, длительное насилие вызывает физическое, психологическое и моральное истощение, которое в конечном счете понуждает общество к принятию какого бы то ни было порядка, лишь бы это был порядок. Одним из объяснений тому, что крайне жестокие революции приводят к миру и стабильности, служит то, что люди просто измучены насилием и готовы смириться с властью любого правительства, которое выглядит способным предотвратить возобновление этого насилия. Мексиканцы в 1920 г., русские в 1922 г., китайцы в 1949 г., как и испанцы в 1939 г., достаточно натерпелись от гражданской войны, чтобы желать ее продления. Напротив, боливийцы не были истощены своей революцией, и их жажда насилия не была утолена. Во-вторых, одной из функций насильственной борьбы за власть между революционными группами является уничтожение соперничающих претендентов на лидерство в революции. Убийство в первое десятилетие революции Мадеро, Вильи, Сапаты и Карансы сделало возможным союз Обрегона и Кальеса в деле наведения порядка в 1920-е гг. Позднейшее убийство Обрегона оставило Кальеса единственным, кто контролировал послереволюционную сцену. Такого рода борьба, как писал Жувенель, «приводит к тому, что на места уставших и скептически настроенных правителей приходят политические атлеты, которые только что окровавленными, но победоносными вышли из смертельных схваток революции»[58]. В Боливии на ранних этапах революции не было этой жестокой борьбы за власть и уничтожения революционных соперников.

То обстоятельство, что на ранних этапах революции не произошло уничтожения соперничавших в борьбе за власть революционеров, могло бы и не помешать последующему установлению политической стабильности, если бы политические лидеры умели разрешать возникающие противоречия путем компромисса. Пас Эстенсоро, ведущая фигура революции, был, однако, мало склонен делить свою власть с коллегами. Настойчивость, с которой он стремился баллотироваться в 1960 г. на второй президентский срок, вызвала враждебность со стороны сооснователя НРД, Уолтера Гевара Арсе, считавшего, что наступил его черед быть президентом, и выдвинувшего свою кандидатуру. Чтобы усилить свои позиции, Пас вступил в союз с левым крылом НРД, лидер которого Хуан Лечин был выдвинут и избран вице-президентом при Пасе. В 1964 г. Лечин считал, что наступила его очередь президентствовать, но Пас внес поправку в конституцию, чтобы сделать возможным свое переизбрание, и тем настроил против себя Лечина и левое крыло НРД. Таким образом, своими действиями ради монополизации президентского поста Пас настроил против себя практически всех лидеров партии. В результате его собственные позиции сильно ослабли, и, когда в ноябре 1964 г. против него выступила армия, он не смог найти сколько-нибудь существенной поддержки со стороны своих прежних товарищей по партии.

Контраст между этим ходом событий и тем, что наблюдался в Мексике, показывает важность государственной мудрости в деле обеспечения политической стабильности и институциализации власти. Главным правилом мексиканской революции было «никаких перевыборов», и, несмотря на искушение удержаться на посту, лидеры революции соблюдали этот принцип. Когда Карранса попытался обойти его, выдвинув в президенты своего приспешника, его сместили. В 1920-е гг. Обрегон и Кальес были президентами поочередно, и, когда Обрегон был в 1928 г. убит, Кальес сохранил верность принципу и отказался от притязаний. Напротив, он заявил, что революция должна быть институциализована, и возглавил деятельность по созданию Мексиканской революционной партии. Аналогичным образом, пятью годами позже у Кальеса хватило мудрости признать, что революция стагнирует, что необходимы молодые лидеры, и согласиться на выдвижение в президенты Карденаса. Напротив, Пас Эстенсоро подорвал политическую стабильность своей страны тем, что попытался сохранить за собой политическое руководство. Политическая стабильность есть отчасти нечто производное от исторических условий и общественных сил, но отчасти она является результатом сделанных политическими лидерами выборов и принятых ими решений. Вторым источником различий между мексиканской и боливийской революциями с точки зрения утверждения политической стабильности является, таким образом, различие в государственной мудрости Кальеса и Паса Эстенсоро.

Третье ключевое различие между двумя революциями касается связей между общественными силами и политическими институтами. Одним из результатов мексиканской революции было подчинение автономных общественных сил авторитету интегрирующей политической партии.

Традиционные социальные институты, такие, как армия и церковь, поначалу враждебные революции, были исключены из политической жизни и затем постепенно включались в состав политической системы на вспомогательных или подчиненных ролях. Новые общественные группировки, такие, как рабочие и крестьяне, пришедшие в политику в результате революции, были в значительной мере организованы революцией. В 1918 г. президент Карранса и его правительство поддержали создание конфедерации профсоюзов. В 1920-е гг. профсоюзное движение во главе с Луисом Моронесом оказалось тесно связано с президентом Кальесом. В 1930-е гг. Карденас в качестве президента помогал формированию новых крестьянских и рабочих организаций, которые, в свою очередь, были прямо интегрированы в структуру революционной партии, когда в 1938 г. Карденас реорганизовал ее по секторам. Отличительной характеристикой мексиканского рабочего движения была его тесная связь с правительственной партией, активное участие профсоюзных лидеров в руководстве партией и, соответственно, сильное влияние партии на профсоюзные организации.

В Боливии рабочие и крестьянские организации также играли ключевую роль в политической сфере. Во многом потому, что боливийская революция произошла через 40 лет после мексиканской революции, степень организованности рабочих в Боливии оказалась ко времени революции намного более высокой, чем в Мексике. В течение двух десятилетий перед 1910 г. режим Диаса в Мексике противодействовал организации рабочих и подавлял попытки в этом направлении. В то же время режимы Торо и Буша в Боливии в 1930-е гг. активно поощряли объединение рабочих, в 1940-е гг. все — НРД, другие левые партии, правительство — оспаривали друг у друга контроль над рабочим движением. Таким образом, в Мексике элементы более раздробленного рабочего движения оспаривали друг у друга доступ к политическим лидерам и влияние внутри революционной партии, тогда как в Боливии политические партии боролись за влияние на центральную рабочую организацию и контроль над ней. В период между 1952–1958 гг. правительство считалось органом «соправления» НРД и центральной рабочей организации, и последняя выбирала четырех членов кабинета[59]. Итак, в отличие от Мексики, организация рабочих в Боливии предшествовала революции и после революции развивалась независимо от политических организаций.

Еще поразительнее, что формирование крестьянских организаций в Боливии также осуществлялось независимо от политических партий и национального политического руководства. Первые крестьянские синдикаты были организованы в районе г. Кочабамба после войны с

Парагваем. В последующие 15 лет крестьянские организации распространялись постепенно, а потом, после революции 1952 г., очень быстро. Сразу же после прихода к власти в апреле 1952 г. НРД попыталось создать собственную крестьянскую организацию, но ему пришлось уступить дорогу движению, независимо организованному самими крестьянами. Эти организации «кампесино» играли ведущую роль в захватах земли в конце 1952 и в 1953 г., вынудив этим правительство принять закон об аграрной реформе[60]. В результате сложился высокий уровень идентификации НРД с крестьянским движением, и впоследствии несколько лидеров, связанных с крестьянами, играли важную роль в правительстве. При этом, однако, крестьянские организации всегда существовали независимо от партии и вне ее.

Таким образом, в Боливии организованные общественные силы, крестьяне и рабочие, оказывали на господствующую политическую партию большее влияние, чем в Мексике. НРД, как отмечал один из наблюдателей, «не было главной ареной нации, на которой бы осуществлялись массовые политические действия: центрами низовой политики были скорее союзы горняков и крестьян. Значит, мобилизация населения для политического действия осуществлялась принципиально классовыми организациями, такими, которые не требовали лояльности к политическим институтам и не формировали ее»[61]. Эта ситуация не обязательно привела бы к политическому расколу, если бы не острые конфликты, возникшие вокруг горнодобывающей промышленности. Главными источниками поддержки для НРД во время революции были городские студенты и интеллектуалы, горняки и другие рабочие. Однако в 1950-е гг., после того, как копи были национализированы, производство начало резко падать, а производительность еще быстрее. В то же время сильная инфляция заставила правительство, возглавляемое президентом Силесом, начать в 1957 г. осуществление довольно жесткой стабилизационной программы. Это вызвало сопротивление горняцкой организации во главе с Хуаном Лечином. В ходе последовавшей затем взаимной демонстрации силы горняки смирились с правительственной политикой, но Лечин сохранил контроль над горняцкой организацией. Позднее Пас Эстенсоро, переизбранный президентом в 1960 г., с иностранной помощью и следуя указаниям иностранцев, начал осуществление программы модернизации горнодобывающей промышленности. Это привело к новой конфронтации между горняками и правительством, проявившейся в забастовках, беспорядках и вспышках насилия.

К этому времени в роли основных источников поддержки правительства, вместо городской интеллигенции, которая выступает против большинства правительств, и горняков, недовольных политикой прави-

тельства, стали крестьяне, выигравшие от земельной реформы и других действий правительства. Теоретически Пас должен был бы мобилизовать крестьян и крестьянскую милицию в своей борьбе с горняками. Во время своего второго срока он, однако, формировал новую профессиональную армию. Между 1960 и 1963 г. боливийский военный бюджет удвоился, вызвав таким образом к жизни новую общественную силу, способную к самостоятельным действиям. Политическая сила военных проявилась весной 1964 г., когда Пас был вынужден отменить свое прежнее решение и сделать начальника штаба ВВС генерала Рене Барьентоса своим кандидатом в вице-президенты. После переизбрания конфликт с горняками обострился, и Пасу пришлось направить армию на подавление восстания горняков. В то же время учителя и другие городские группы также бастовали и выступали против режима. Перед лицом возможной гражданской войны генерал Барьентос возглавил переворот, который привел к смещению Паса.

Расколов НРД конфликтами с Лечином, Геварой и Силесом Пас изолировал себя от своих сторонников из городского среднего класса и рабочих; верными ему остались лишь крестьяне. Создав новую армию как опору своей власти, он, однако, вызвал к жизни то, что сам позднее точно характеризовал как «военное чудовище Франкенштейна»[62]. Когда настал момент пробы сил, интеллигенция и рабочие были против режима, крестьянам недоставало ни желания, ни возможностей, чтобы действовать, и армии, следовательно, было нетрудно сместить его. В 1923 г. президент Мексики Обрегон подавил военный мятеж, призвав на помощь крестьянскую милицию и рабочие отряды. В 1964 г. в Боливии рабочие отряды были на стороне противника, а крестьянская милиция слишком слаба и слишком безразлична, чтобы ее можно было быстро мобилизовать на поддержку президента. Расстановка общественных сил напоминала ту, что была в Турции в 1960 г., и это говорит о том, что если крестьянская поддержка является необходимым условием политической стабильности, то она не является достаточным ее условием. Требуется также участие по меньшей мере одного из основных элементов городского населения — интеллигенции, рабочих или армии.

Четвертый фактор, который можно связать с неудачей боливийской революции, — это труднообъяснимое отсутствие здесь национализма, направленного против иностранного вмешательства. Всякая большая революция была связана на том или ином из ее этапов с мобилизацией масс на борьбу против внешнего врага. В случае Боливии это обстоятельство явственно отсутствовало. Иностранное присутствие в Боливии перед революцией было довольно умеренным; три крупнейших владельца оловянных

копей — Патиньо, Хохшильд и Арамайо — были боливийцами. Национализация копей не вызвала сколько-нибудь значительного протеста за рубежом, тем более интервенции. В изолированной, расположенной в глубине континента и удаленной от мировых центров силы боливийская революция не имела непосредственной и очевидной мишени, которая бы послужила генератором массовой активности, ненависти и национализма.

Боливийская революция, таким образом, ставит вопрос о том, возможна ли завершенная революция в отсутствии как значительного предреволюционного иностранного присутствия, так и значительного послереволюционного иностранного вмешательства. Она ставит этот вопрос, но не отвечает на него. А ведь здесь не только не было иностранной интервенции против революции, но была довольно значительная иностранная поддержка революции. Боливийскую революцию финансировали США. Ее, в сущности, финансировала та самая американская администрация, которая подавила одну революцию в Гватемале и готовилась к свержению другого революционного режима на Кубе. За 1953–1959 гг. Боливия получила 124 миллиона долларов прямой американской экономической и технической помощи и еще 30 миллионов долларов в виде займов. Размеры помощи на душу населения много превосходили то, что было получено любой другой латиноамериканской страной. Даже после начала деятельности Союза ради прогресса Боливия все еще оставалась одним их крупнейших получателей американской помощи, общий объем которой к 1964 г. составил примерно 400 миллиона долларов.

Вопрос, следовательно, состоит в том, в какой мере поддержка революционной системы со стороны США способствует нестабильности этой системы? Такое воздействие может осуществляться двояким образом. Во-первых, зависимость правительства от финансовой помощи США позволяла США вынуждать или побуждать правительство проводить политику, которой оно бы не проводило, если бы зависело только от внутренних источников политической поддержки. Боливийское правительство проводило консервативную политику, выплачивая компенсации прежним владельцам оловянных копей и обслуживая внешний долг. По настоянию США президент Силес в 1957 г. начал осуществлять весьма непопулярную стабилизационную программу, предусматривающую замораживание заработной платы на уровне, сильно отстающем от роста цен после 1952 г. США также настояли на том, чтобы были отложены или отменены некоторые программы социальной помощи и развития. «Нам пришлось сказать боливийскому правительству, — говорил один из представителей США, — что оно не должно вкладывать в это деньги и что мы не собираемся вкладывать в это наши деньги»[63]. В 1962–1963 гг. США вместе с западногер-

манскими фирмами и Межамериканским банком развития увеличили помощь восстановлению оловянных копей, на том условии, что правительство предпримет решительные действия по сокращению расходов и избавлению от избыточной рабочей силы. По-видимому, США влияли и на отбор политических лидеров. Они активно поддерживали Силеса, когда он был президентом, и постоянно поддерживали Паса Эстенсоро. В 1964 г. посол США сопровождал Паса в его предвыборной поездке по стране. В это и последующее время США, по всей видимости, делали все возможное, чтобы предотвратить военный переворот против Паса. По имеющимся данным, ранее, в 1955 г., левый профсоюзный лидер Хуан Лечин был лишен поста министра горнодобывающей промышленности по настоянию США[64]. Почти все эти действия способствовали обострению отношений между правительством и горняками. У правительства, не столь зависимого от США, практически не было бы иного выбора, кроме как проводить примирительную политику в отношении горняков. Вмешательство США в Боливии существенно способствовало поляризации боливийской политической жизни.

Второе важное дестабилизирующее следствие этого вмешательства состояло в том, что оно способствовало становлению политической силы, сыгравшей решающую роль в свержении того самого правительства, которое США поддерживали. Речь идет, разумеется, о боливийской армии. До 1960 г. Боливия почти не получала военной помощи от США. В 1960–1965 гг., однако, Боливия получила американскую военную помощь на 10,6 миллиона долларов. Без этой помощи армия как организованная сила и политический институт была бы, вероятна, слишком слаба, чтобы свергнуть Паса. В 1944 г., за 8 лет до революции, Пас заявлял, что «в такой экономически зависимой стране, как наша, невозможно совершить экстремистскую революцию»[65]. Весьма возможно, он был прав. Представляется, что одним из важных факторов, способствовавших политической нестабильности в Боливии, была зависимость боливийского революционного правительства от американской помощи. Эта помощь могла существенно способствовать росту социального благосостояния и экономическому развитию. Но ее политическое воздействие было дестабилизирующим. Помогая революции, США развращали ее.

Ленинизм и политическое развитие

Различные мотивы побуждали коммунистов и некоммунистов подчеркивать революционный характер коммунизма. Но коммунисты не изобрели

идею революции; модернизационные революции совершались задолго до появления коммунистов. Коммунистическая теория революции есть лишь обобщение опыта французской революции, впоследствии модифицированное с учетом опыта русской и китайской революций. Немногие традиционные режимы были свергнуты коммунистическими движениями. Отличительным достижением коммунистов было не это, а создание после революций современных правительств, деятельность которых основывается на широком участии народных масс в политике.

Общества, вступающие в современный мир без традиционных принципов легитимности и традиционных институтов власти, особенно восприимчивы к коммунистическому влиянию. До большевистской революции ни одна революция не была завершена, поскольку никто из революционных лидеров не сформулировал теории, которая бы объясняла, как организовать и институциализовать расширение политической активности, составляющее саму суть революции. Ленин решил эту проблему и, сделав это, совершил одно из самых значительных политических открытий XX в. Его последователи разработали политическую теорию и политическую практику приведения в соответствие процесса мобилизации новых групп в политику с процессом создания и институциализации новых политических организаций. Группы многих типов — религиозные, националистические, классовые — могут приводить в политику новых участников. Но только коммунисты постоянно демонстрировали способность организовывать и структурировать такое участие и тем самым создавать новые институты политического порядка. Не революция и разрушение установленных институтов, а организация и создание новых политических институтов составляет специфический вклад коммунистических движений в современную политику. Политическая функция коммунизма состоит не в том, чтобы свергать власть, а в том, чтобы заполнять вакуум власти.

Более того, эффективность и стабильность коммунистических политических систем лишь отчасти зависит от того, каким путем они утверждались. Шесть из четырнадцати коммунистических правительств (Советский Союз, Китай, Югославия, Албания, Северный Вьетнам, Куба) пришли к власти путем внутренней в основных своих чертах социальной и национальной революции. Другие восемь (Польша, Восточная Германия, Венгрия, Болгария, Румыния, Чехословакия, Северная Корея, Монголия) были в значительной мере навязаны внешней (т. е. советской) силой. Коммунистическая легитимность в последних была заметно слабее, чем в первых, поскольку коммунизм в них в меньшей степени идентифицировался с национализмом. В самом деле, интересы коммунизма и национализма вполне могут противоречить друг другу, как это иногда и бывало в восточноев-

ропейских странах. 8 коммунистических «оккупационных» систем являются, таким образом, менее стабильными, чем 6 коммунистических «революционных» систем. Правда, «оккупационные» режимы вполне могут оказаться способными преодолеть свою первоначальную ущербность, идентифицируясь с национальными чувствами в своих странах и утверждая свою национальную независимость (как сделали в 1960-е гг. Румыния и Северная Корея) в противостоянии попыткам контроля извне. Фактически оккупационные режимы в большей степени испытывают давление в этом направлении внутри страны, чем режимы революционные, которые могут руководствоваться сознанием, что они вправе вступать в союз с иностранными державами и даже подчиняться им, не поступаясь при этом независимостью своей страны или своей ролью в качестве выразителей национальных интересов. Более того, коммунистические государства обоих типов демонстрируют высокий уровень политической стабильности по сравнению с большинством других стран с таким же уровнем социального и экономического развития.

Сила коммунизма проявляется не в его экономике — которая безнадежно устарела — и не в его природе как секулярной религии (в этом его легко превзойдет своей привлекательностью национализм). Наиболее важное в нем — это его политическая теория и практика; не его марксизм, а его ленинизм. В социалистической интеллектуальной традиции Маркса принято считать вершиной: до Маркса были его предшественники — социалисты-утописты; после Маркса были ученики и интерпретаторы, такие, как Каутский, Бернштейн, Роза Люксембург, Ленин. Однако с точки зрения политической теории марксизма это совершенно неправильно: Ленин не был учеником Маркса; скорее, Маркс был предшественником Ленина. Ленин превратил марксизм в политическую теорию и в процессе этого превращения поставил Маркса на голову. Для Маркса ключевое значение имел общественный класс; для Ленина — политическая партия. Маркс был в политике примитивен. Он не мог создать политической науки или политической теории, поскольку не признавал политику автономным полем деятельности и не имел понятия о политическом строе, который более фундаментален, нежели социально-классовый строй. Ленин же поставил политический институт, партию, над общественными классами и общественными силами.

Согласно более конкретной ленинской формулировке, пролетариат не способен самостоятельно обрести классовое сознание. Такое сознание должно быть привнесено интеллектуалами извне. Революционное сознание есть продукт теоретического прозрения, а революционное движение есть продукт политической организации. Социал-демократ, утверждал Ленин, «должен прежде всего думать об организации революционеров, способной руководить *всей* освободительной борьбой пролетариата»[66]. Эта организация должна «отвлечь» рабочий класс от заботы о чисто материальных выгодах и сформировать более широкое политическое сознание. Члены потенциально революционных общественных классов не должны замыкаться в кругу своих ближайших интересов. Классы должны усвоить «всестороннее политическое сознание» и научиться «применять на практике материалистический анализ и материалистическую оценку *всех* сторон деятельности и жизни *всех* классов, слоев и групп населения»[67]. То, что Ленин постоянно подчеркивал важность формирования подлинно революционного сознания как отличного от ограниченного непосредственно «тредюнионистского», или экономического, сознания, означало практическое осознание им более широких горизонтов и потребностей политики и превосходства политических целей над экономическими.

Более того, организация революционеров может пополняться из всех общественных слоев. Она «должна обнимать прежде всего и главным образом людей, которых профессия состоит из революционной деятельности... Пред этим общим признаком членов такой организации должно *совершенно стираться всякое различие рабочих и интеллигентов*, не говоря уж о различии отдельных профессий тех и других»[68]. В качестве критерия принадлежности к партии вместо аскриптивного признака, который использовал Маркс (классовое происхождение), Ленин предложил оценку по достижениям (революционное сознание). Отличительной чертой членов коммунистической партии в этом смысле является их бесклассовость. Они преданы партии, а не какой-нибудь общественной группе. Выдающаяся роль, которую играли в партии интеллектуалы, обусловлена тем, что интеллектуалы меньше, чем другие члены общества, привязаны к какой-либо общественной группе.

Марксизм как теория общественной эволюции был опровергнут ходом событий; ленинизм как теория политического действия доказал свою правоту. Марксизм не может объяснить приход к власти коммунистов в таких индустриально отсталых странах, как Россия и Китай, а ленинизм может. Решающим фактором является природа политической организации, а не стадия общественного развития. Ленинистская партия, необходимая для завоевания власти, не обязательно зависит от сложившегося сочетания общественных сил. Ленин мыслил по большей части в терминах интеллигенции и рабочих; Мао показал, что ленинская теория политического развития столь же применима к коалиции интеллектуалов и крестьян. Китайская коммунистическая партия, как утверждает Шварц, была «элитным отрядом политически сформировавшихся лидеров, организованных в со-

ответствии с ленинскими принципами, но рекрутированных, на своих высших уровнях, из различных слоев китайского общества». Троцкий был не прав, когда сказал: «Решают классы, а не партии»[69]. Ленин и Мао были правы, когда они подчеркивали примат политической организации, независимой от общественных сил и при этом манипулирующей ими для достижения своих целей. В сущности, партия должна обращаться ко всем группам населения[70]. По мере того как коммунизм расширяет свое влияние на другие общественные группы, кроме пролетариата, акцент все больше смещается на партию как инструмент политического изменения.

Ленин, таким образом, на место аморфного общественного класса поставил сознательно сформированный, структурированный и организованный политический институт. Подчеркивая примат политики и партии как политического института, подчеркивая необходимость построения «сильной политической организации», основанной на «широкой революционной коалиции», Ленин создал предпосылки политического порядка. В этом отношении поразительны параллели между Лениным и Мэдисоном, между «Федералистом» и «Что делать?». В обоих случаях это работы практических политологов, анализирующих социальную реальность и формулирующих принципы, на которых может быть построен политический порядок. Если Ленин имел дело с классами, то Мэдисон — с группировками. Мэдисон находит основание отстаиваемого им политического порядка в институтах представительной системы правления и специфических ограничениях на власть большинства, присущих большому республиканскому государству. Ленин находит основание своему политическому порядку в верховенстве партии над всеми общественными силами.

Политическая организация, партия становится, таким образом, высшим благом, самостоятельной ценностью, ее потребности оказываются выше потребностей отдельных лидеров, членов партии и общественных групп. Для Ленина выше всего преданность ни семье, ни клану, ни племени, ни нации, ни даже классу; выше всего преданность партии. Партия есть конечный источник морали, «партийность» — высший вид лояльности, партийная дисциплина — высший закон. При необходимости интересы всех других групп и индивидов должны быть принесены в жертву ради сохранения и успеха партии, ради ее победы. «Партия в конечном счете всегда права, — признавал Троцкий, обвиненный в ошибке, — поскольку партия — это единственный исторический инструмент, предоставленный пролетариату для решения главных проблем... Правым можно быть только вместе с партией и через партию, ибо история не проложила никакого другого пути для осознания того, в чем состоит правда»[71]. В ленинизме партия не просто институциализуется — она обожествляется.

Здесь, однако, присутствует очевидный парадокс. Большинство революционеров нападают на организацию; Ленин прославлял ее. «Основным грехом» российской социал-демократии он считал ее излишнюю сосредоточенность на сиюминутных задачах экономической борьбы и ставил во главу угла конспиративную организацию профессиональных революционеров[72]. Ленинский акцент на организации отразился в большевистской и коммунистической практике и в мышлении позднейших коммунистических лидеров. В ранней истории Китайской коммунистической партии Мао выделялся отстаиванием важности организации. В модернизирующихся странах Азии и Африки именно акцент на организации был той ключевой характеристикой, которая отличала коммунистическое движение от националистических. Обе группы, утверждал Франц Шурманн, показали «себя способными вызывать большой отклик тех людей, на которых они воздействовали. Но в том, что касается одного механизма политического действия, националисты оказались слабыми и менее опытными, чем коммунисты. Этот механизм — *организация*». От большевиков в России в начале 1900-х до Вьетконга в Индокитае в 1960-е гг. именно организация была источником коммунистической силы[73].

Более того, большевистская концепция политической партии дает ясный и отчетливый ответ на вопрос противоречия между мобилизацией и институциализацией. Коммунисты активно пытаются расширять политическую активность масс. В то же время это самые энергичные и усердные современные ученики Токвиля, его «искусства объединения». Их специальность — организация, их цель — мобилизация масс в свои организации. Для них мобилизация и организация идут рука об руку. «Есть только два вида политических задач, — сказал один из ведущих китайских коммунистических теоретиков, — это задача пропаганды и агитации и задача организации»[74]. Партия первоначально представляет собой элитную группу тех, кто достиг требуемой степени революционной сознательности. Ее ряды расширяются по мере того, как она обретает способность завоевывать поддержку и участие других. Периферийные организации и внешние группы образуют организационную лестницу для мобилизации и индоктринирования тех, кто со временем становится полноправными членами партии. Если политическая борьба принимает характер революционной войны, то мобилизация происходит по территориальному принципу, по мере того, как деревня за деревней изменяет свой статус, — из находящейся под вражеским контролем она становится оспариваемой, затем местом партизанской борьбы и, наконец, превращается в базовую территорию. В теории это называется избирательной мобилизацией; вовлечение в политику масс, еще не достигших надлежащего уровня политического сознания, мо-

жет быть лишь на руку реакции. «Оппортунист»-меньшевик, предупреждал Ленин, «стремится идти снизу вверх и потому отстаивает везде, где можно и насколько можно, автономизм, "демократизм"». Большевик, с другой стороны, «стремится исходить сверху, отстаивание расширение прав и полномочий центра по отношению к части»[75].

Ленин придерживался традиционной марксистской теории государства как органа классового господства, не имеющего автономного существования в качестве политического института. В буржуазном обществе государство есть механизм защиты интересов капиталистов. Однако организация революционеров обладает автономным существованием; это, таким образом, более высокая форма политической организации. Подчиненность государства контрастирует с автономией партии. Первоначально ленинская теория партии была, разумеется, сформулирована для партии, не находящейся у власти. Она, однако, в равной, если не в большей мере применима к партии, находящейся у власти, и для определения отношений между политической организацией и общественными силами. Партия состоит из политической элиты; она независима от масс и в тоже время связана с ними. От нее исходят воля и руководство. Партия — это «авангард» пролетариата; она «не может быть действительной партией, если ограничивается регистрированием того, что переживает и думает масса рабочего класса». Она поддерживает связь с массами через систему приводных ремней: через профсоюзы, кооперативы, молодежные группы, советы. Государственный аппарат становится простым административным органом партии. «Диктатура пролетариата есть, *по существу*, «диктатура» его авангарда, «диктатура» его партии, как основной руководящей силы пролетариата»[76]. Западные исследователи интерпретируют это знаменитое место у Сталина как предупреждение и оправдание той безжалостной диктатуры, которую вскоре установит в стране автор. Но его можно рассматривать и как еще одно выражение постоянной ленинской темы: примата политики и политического реализма большевиков. Управление осуществляют посредством политических институтов, а не общественных сил. Правят партии, а не классы; диктатура должна быть диктатурой партии, даже если она осуществляется именем класса.

Придерживаясь марксистской теории государства, Ленин, конечно, бросал вызов пятидесятилетнему опыту, доказывающему, что политические системы Западной Европы и Северной Америки не были просто делом рук буржуазии. Он отказывался признать за либерально-демократическим государством политические достоинства, которые в иной форме он считал ключевыми для профессиональной революционной организации. Этой слепотой объясняется, почему его теория политического развития была

неприменима к большинству высокоиндустриализованных западных обществ и почему коммунистические партии в этих обществах добились столь малых успехов. Марксова теория роста и обнищания пролетариата была опровергнута западным экономическим развитием, которое ограничило влияние коммунистических партий незначительной и все сокращающейся частью общества. Ленинская теория подчинения государства классу капиталистов была опровергнута западным политическим развитием, которое ограничивало политическое влияние коммунистических партий, в силу адаптивности и эффективности существующих политических институтов. Отсутствие пролетариата, такого, какой существовал в Европе, делает марксизм неактуальным для модернизирующихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Но отсутствие политических институтов, таких, какие существовали в Европе, делает именно ленинизм особенно актуальным.

Существует любопытная параллель между усилиями Ленина расширить и политизировать марксизм и усилиями политических реформаторов XIX в. расширить и адаптировать их собственные политические институты. Аристократические классы в большинстве европейских стран не в большей мере были склонны принять такие парламенты, бюрократию и офицерский корпус, где бы не господствовали богатство и происхождение, чем «экономисты» и меньшевики были склонны принять партию, не подчиненную ближайшим интересам пролетариата. В обоих случаях, однако, силы, стремившиеся к созданию более автономных, обладающих более широкой социальной базой политических институтов, смогли одержать по крайней мере частичные победы.

Марксизм есть теория истории. Ленинизм есть теория политического развития. Он имеет дело с социальной базой политической мобилизации, методами политической институциализации, основаниями общественного порядка. Теория верховенства партии есть, как мы уже говорили ранее, современный аналог возникшей в XVII в. теории абсолютной монархии. Модернизаторы XVII в. канонизировали короля, модернизаторы XX в. — партию. Но партия — намного более гибкий и открытый институт для модернизации, чем абсолютная монархия. Она способна не только к централизации власти, но и к ее распространению вширь. Вот что делает ленинскую теорию политического развития актуальной для переживающих модернизацию стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Пожалуй, особенно ярко актуальность ленинской модели политического развития видна на примере Китая. Разумеется, одним из наиболее выдающихся политических достижений середины XX в. было установление в Китае в 1949 г. впервые за сотню лет системы правления, действительно способной управлять Китаем. В свою очередь, кризис этой системы на-

ступил тогда, когда ее лидер отказался от Ленина в пользу Троцкого и подчинил интересы партии целям революционного обновления.

Эффективность ленинской модели можно наблюдать в сравнении на двух примерах, когда эта и альтернативная модели применялись одновременно к одному и тому же народу с одной культурой, примерно одинаковым уровнем экономического развития и проживающему на смежных территориях: на примерах Кореи и Вьетнама. Экономические аргументы здесь могут быть использованы двояко. Располагая бóльшими ресурсами, Северная Корея сначала экономически развивалась быстрее, чем Южная Корея. В то же время Южный Вьетнам, до того как он испытал революционные потрясения, развивался быстрее, чем Северный Вьетнам. Можно, таким образом, приводить экономические доводы как за коммунизм, так и против него. Однако с точки зрения политики Северная Корея и Северный Вьетнам скоро достигли такого уровня политического развития и политической стабильности, которого долго не было в Южной Корее и которого все еще нет в Южном Вьетнаме. Политическая стабильность здесь означает институциальную стабильность, которая приводит к уверенности в том, что, когда Хо Ши Мин и Ким Ир Сен сойдут со сцены, ни одна из двух стран не будет переживать политический хаос и насилие, которые последовали за уходом Ли Сын Мана и Нго Динь Дьема. Различия в политическом опыте между северными и южными половинами этих двух стран не могут быть объяснены культурными различиями или существенными различиями в экономическом развитии. Нельзя и отделаться от них, сказав просто, что политическая стабильность — это оборотная сторона политической диктатуры. Дьем установил политическую диктатуру в Южном Вьетнаме; Ли пытался установить ее в Южной Корее. Ни тот, ни другой политической стабильности не добились. Различие между Севером и Югом в обеих странах было не различием между диктатурой и демократией, а, скорее, различием между хорошо организованными, с широкой социальной базой сложными политическими системами, с одной стороны, и нестабильными, расколотыми, с ограниченной социальной базой режимами личной власти, с другой. Это было различие в политической институциализации.

6. Реформа и политическое изменение

Стратегия и тактика реформ: фабианство, блицкриг и насилие

Революции редки. Реформы, пожалуй, еще более редки. И ни те, ни другие не являются необходимыми. Страны могут просто стагнировать или же меняться так, что происходящие перемены нельзя назвать ни реформами, ни революцией. Хотя граница между ними иногда бывает не вполне отчетливой, их можно различать в отношении скорости, масштабов и направления изменений в политической и социальной системах. Революция предполагает быстрое, полное и насильственное изменение ценностей, общественной структуры, политических институтов, государственной политики и социально-политического руководства. Чем шире эти изменения, тем более тотальной является революция. «Великая», или «социальная», революция предполагает существенные изменения во всех составляющих социальной и политической систем. Изменения в руководстве, политике и политических институтах, характеризующиеся ограниченностью масштабов и умеренной скоростью, можно назвать реформами. Однако не все умеренные изменения суть реформы. Понятие реформы связано с направлением изменений, а не только с их масштабами и скоростью. Реформа, как утверждает Хиршман, это изменение, в ходе которого «власть дотоле привилегированных групп урезается, а экономическое положение и социальный статус ущемленных групп соответственно улучшается»[1]. Это означает изменение в направлении большего социального, экономического или политического равенства, вовлечение в общественную и политическую жизнь более широких слоев населения. Умеренные изменения в противоположном направлении лучше называть «консолидацией», нежели реформами.

Судьба реформатора нелегка. В трех отношениях его проблемы более трудны, чем проблемы революционера. Во-первых, он неизбежно ведет борьбу на два фронта против как консерваторов, так и революционеров. В сущности, чтобы добиться успеха, ему, возможно, приходится воевать на многих фронтах с множеством участников, в которой его враги находятся по одну сторону, а союзники по другую. Цель революционера — поляризовать политику, и поэтому он пытается упростить, драматизировать и сгруппировать политические вопросы в виде единой, жесткой дихотомии между силами «прогресса» и силами «реакции». Он стремится свести множество противоречий к одному глубокому противостоянию, тогда как реформатор стремится диверсифицировать и конкретизировать

противоречия. Революционер стремится придать политике жесткость, реформатор — гибкость и адаптивность. Революционер должен уметь дихотомизировать общественные силы, реформатор — манипулировать ими. От реформатора, следовательно, требуется значительно более высокий уровень *политического искусства*, чем от революционера. Реформы редки хотя бы потому, что редки политические таланты, необходимые для того, чтобы сделать их реальностью. Успешный революционер не обязательно должен быть мастером политики; успешный реформатор всегда является таковым.

Реформатор должен не только быть более искусным в манипулировании общественными силами, чем революционер; он также должен лучше справляться с регулированием общественных изменений. Его целью являются какие-то изменения, но не тотальные; постепенные, а не конвульсивные. Для революционера какой-то интерес представляют все типы изменений и нарушений порядка. Все, что нарушает статус-кво, представляет для него какую-то ценность. Реформатор должен быть намного более избирательным и осторожным. Он должен уделять намного больше внимания методам, техникам и срокам изменений, чем это делает революционер. Как и революционера, его интересуют связи между типами изменений, но последствия этих связей для него часто оказываются даже более значимыми, чем для революционера.

Наконец, проблема приоритетов и выбора между различными типами реформ много острее стоит для реформатора, чем для революционера. Революционер в первую очередь нацелен на расширение политической активности; возникающие в результате политизированные силы используются затем для осуществления изменений в социальной и экономической структуре. Консерватор выступает против и социально-экономических реформ, и расширения политической активности. Реформатор должен сбалансировать эти две цели. Меры, способствующие установлению социально-экономического равенства, обычно требуют концентрации власти; меры, способствующие установлению политического равенства, обычно требуют рассредоточения власти. Эти цели в сущности своей не противоречат друг другу, но, как показывает опыт монархов, осуществлявших политику модернизации, слишком большая концентрация власти в институтах, по природе своей неспособных к расширению участия во власти, может завести политическую систему в тупик. Реформатору, следовательно, приходится уравновешивать изменения в социально-экономической структуре изменениями в политических институтах и так сочетать их друг с другом, чтобы ни та ни другая цель не пострадала. Лидеры и институты, подходящие для реформ одного типа, могут быть менее пригодны для реформ другого

типа. Военный реформатор — Мустафа Кемаль, Гамаль Абдель Насер, Айюб Хан — добивается, к примеру, бóльших успехов в осуществлении социально-экономических изменений, чем в организации участия новых групп в политической системе. В то же время социал-демократическим и христианско-демократическим партийным лидерам, таким, как Бетанкур, Белаунде, Фрей, лучше удается способствовать идентификации с политической системой тех, кто был отверженным, нежели осуществлять социальные и политические изменения.

В теории для реформатора, желающего внести ряд существенных изменений в социально-экономическую структуру и политические институты, возможны две широких стратегии. Одна стратегия состояла бы в том, чтобы уже на раннем этапе обнародовать все свои цели и добиваться реализации возможно большего их числа, чтобы получить возможно бóльшие результаты. Альтернативная стратегия состоит в том, чтобы «просунуть ногу в дверь», скрывать свои цели, отделять реформы друг от друга и каждый раз добиваться осуществления какого-нибудь одного изменения. Первый подход можно назвать всеохватным, «коренным», или блицкригом; второй — подходом малых приращений, «отраслевым», или фабианским[2]. В разные периоды истории реформаторы применяли оба эти подхода. Результаты их усилий показывают, что для большинства стран, переживающих трудности и конфликты, связанные с модернизацией, самым эффективным методом является сочетание фабианской стратегии с тактикой блицкрига. Для достижения своих целей реформатору следует отделить одну проблему от другой, но, сделав это, он должен, когда придет время, возможно быстрее разделываться с каждой проблемой, снимая ее с повестки дня прежде, чем его оппоненты сумеют мобилизовать свои силы. Способность достигать такого правильного сочетания фабианства и блицкрига служит верным признаком политического искусства реформатора.

С точки зрения общей программы реформ можно, однако, привести некоторые доводы в пользу стратегии блицкрига. Почему бы реформатору не сделать известным сразу весь набор его требований, воодушевить и мобилизовать группы, настроенные в пользу перемен, и через процесс политического конфликта и политических соглашений осуществить столько, сколько позволит баланс сил сторонников изменения и консерваторов? Если он запросит 100% того, что ему нужно, разве не получит он наверняка по меньшей мере 60%? Или, еще лучше, если он запросит 150%, не сможет ли он договориться практически обо всем, что надеется получить? Не в этом ли состоит общая стратегия переговоров, наблюдаемая и в дипломатии, и в области отношений между рабочими и управляющими, и при обсуждении бюджета?

Ответ на эти вопросы применительно к осуществлению реформ в модернизирующемся обществе будет в целом отрицательным. Всеохватная стратегия, или блицкриг, эффективна только в том случае, когда участники процесса относительно известны и неизменны, если, короче, контекст процесса достижения соглашения в высокой степени стабилен. Сущность реформаторской деятельности в условиях модернизирующейся страны состоит, однако, в том, чтобы структурировать ситуацию таким образом, чтобы воздействовать на участников политического процесса, если не определять их. Характер требований и проблем, формулируемых реформатором, в значительной мере определяет союзников и оппонентов, которые будут исполнять свои роли на политической арене. Проблема реформатора состоит не в том, чтобы ошеломить одного оппонента исчерпывающим набором требований, а в том, чтобы минимизировать оппозицию за счет по видимости очень ограниченного набора требований. Реформатор, который пытается сделать все сразу, кончает тем, что добивается очень малого или ничего не добивается. Прекрасными примерами этого служат Иосиф II и Гуансюй. Оба они пытались одновременно осуществить большое число реформ на многих фронтах, чтобы полностью изменить существующий традиционный порядок. Они потерпели поражение, поскольку их попытки добиться столь кардинальных перемен мобилизовали очень много оппонентов. Практически все общественные группы и политические силы, имевшие какие-то преимущества в рамках существующего общественного устройства, почувствовали угрозу своему положению; блицкриг, или атака на всех фронтах, послужил лишь тому, что насторожил и активизировал потенциальную оппозицию. Вот почему всеохватные реформы, в смысле «революции сверху», никогда не удаются. Они вовлекают в политику не те группы, не в то время и в связи не с теми проблемами.

С поражением Иосифа II и Гуансюя очевидным образом контрастирует успешная фабианская стратегия, примененная Мустафой Кемалем на раннем этапе существования Турецкой республики. Перед Кемалем стояли практически все обычные проблемы модернизации: определение границ национального сообщества, создание современной светской политической организации, осуществление социальных и культурных реформ, ускорение экономического развития. Однако вместо того, чтобы пытаться решить все эти проблемы одновременно, Кемаль аккуратно отделил их друг от друга и добился согласия или даже поддержки для одной реформы от тех, кто выступал бы против других реформ. Последовательность, в которой решались проблемы, была выбрана таким образом, чтобы двигаться от тех вопросов, в которых Кемаль располагал наибольшей поддержкой, к тем, которые могли вызвать наибольшее противодействие. Приоритет

пришлось отдать определению национального сообщества и очерчиванию этнических и территориальных границ государства. После того как было сформировано сравнительно однородное в этническом отношении сообщество, следующим шагом — как и в случае мексиканской, русской и китайской революций — стало создание эффективных современных политических институтов для отправления власти. После этого те, кто обладал властью, получили возможность навязать обществу религиозные, социальные, культурные и правовые реформы. Когда традиционные формы и обычаи были ослаблены или уничтожены, открылся путь для индустриализации и экономического развития. Короче говоря, экономический рост требовал культурной модернизации; культурная модернизация требовала эффективной власти; эффективная власть должна была уходить корнями в однородное национальное сообщество. Последовательность, в которой многие страны решали проблемы модернизации, была делом случая и исторических обстоятельств. Между тем в Турции последовательность изменений была сознательно спланирована Кемалем, и эта линия единство-власть-равенство и есть самая эффективная последовательность модернизационных реформ[3].

Успех Кемаля в проведении этих реформ определялся его способностью заниматься каждой из них в отдельности и особенно умением создавать впечатление, что когда он занимается одной реформой, то вовсе не собирается проводить другие. Свой большой проект и конечные цели он держал при себе. Прежде всего было необходимо создать турецкое национальное государство в Анатолии на развалинах Османской империи. В своих действиях по определению национального сообщества Кемаль тщательно отделял вопрос об ограниченном, целостном, однородном турецком национальном государстве от вопроса о том, какого типа будет в этом государстве политическая власть. Между 1920 и 1922 г. султан оставался в Константинополе, тогда как националистическое движение под водительством Кемаля набирало силу во внутренних областях. Своими успешными сражениями с армянскими, французскими и греческими войсками Кемаль приобрел значительное число сторонников. Однако султан и султанат все еще пользовались широкой народной поддержкой и симпатией. Кемаль поэтому разделял борьбу за национальное государство и противостояние султанату. Он провозгласил одной из целей националистического движения освобождение султана от контроля британских и французских сил, оккупировавших Константинополь. Он нападал на министров султана за их сотрудничество с чужеземцами, но не на самого султана. Как говорил впоследствии сам Кемаль, «мы избрали своей мишенью один кабинет Ферид-паши и притворялись, что ничего не знаем

о соучастии падишаха [султана]. Наша теория состояла в том, что суверен был обманут кабинетом и пребывал в полном неведении о том, что реально происходит»[4]. Благодаря такой тактике Кемалю удалось привлечь к националистическому делу тех консерваторов, которые все еще считали своим главным долгом сохранять верность традиционному авторитету султана.

Как только победа националистов стала очевидной, Кемаль взялся за политическую организацию нового государства. Националисты прежде декларировали свою верность государю, но в то же время они провозглашали суверенитет народа. Точно так же, как ранее Кемаль отделял национальный вопрос от политического, теперь он постарался отделить политический вопрос от религиозного. Правитель Османской империи совмещал политический пост султана с религиозным постом халифа. Кемаль знал, что, попытавшись посягнуть на этот последний, он столкнется с серьезной оппозицией: халифат давал Турции особый статус среди исламских наций. «[Если] мы потеряем халифат, — писала одна из газет в ноябре 1923 г., — турецкое государство, с его пятью или десятью миллионами жителей, утратит какое бы то ни было значение в исламском мире, а в глазах европейцев мы опустимся до положения мелкого и незначительного государства»[5]. Сознавая силу религиозных чувств, связанных с халифатом, Кемаль на этом этапе реформирования ограничился упразднением политических составляющих традиционной власти. В ноябре 1922 г. Великое национальное собрание упразднило султанат, но предусмотрело сохранение халифата, с тем чтобы пост халифа занимал один из членов Османской династии, выбранный собранием. Следующим летом была организована Республиканская народная партия и избрано новое Собрание. Вскоре после этого, в октябре 1923 г., столица страны была перенесена из Стамбула — с его многочисленными ассоциациями с Османами и даже с византийским прошлым — в маленький город Анкару в центре Анатолии. Через несколько недель Национальное собрание довершило дело политической реконструкции, официально провозгласив Турцию республикой и определив, что президент будет избираться Собранием. Посредством этой тщательно выстроенной последовательности шагов на место имперских политических институтов османской эпохи были поставлены современные политические структуры светской республики и националистической партии.

После того как был заложен политический фундамент нового общества, Кемаль обратился к религии и культурной реформе. Поддержку этим реформам должны были оказать представители модернизированной и ориентировавшейся на Запад бюрократической и интеллектуальной

элиты. Потенциальными противниками представлялись религиозная бюрократия и, вероятно, крестьяне. Чтобы провести желаемые социальные и культурные реформы, необходимо было обеспечить пассивность и относительное безразличие последних. Поэтому Кемаль тщательно отделил эту фазу своих реформ от каких-либо усилий в направлении экономического развития и изменений, которые могли бы стимулировать рост политической сознательности и активности крестьян. В январе 1924 г. Кемаль приступил к секуляризационным реформам и двумя месяцами позже убедил Национальное собрание упразднить халифат и религиозные министерства, отправить в изгнание всех членов Османского дома, закрыть отдельные религиозные школы и училища, объединить тем самым народное образование и упразднить особые религиозные суды, применявшие мусульманское право. Чтобы обрести замену ему, была назначена комиссия для выработки нового кодекса, и в начале 1926 г. Собрание одобрило ее рекомендацию адаптировать швейцарский гражданский кодекс. Были также введены новые кодексы коммерческого, морского и уголовного права, новые процедуры гражданского и уголовного судопроизводства и новая судебная система. В 1925 г. Кемаль начал свою кампанию против фесок как символа религиозного традиционализма, ношение фески было запрещено. Кроме того, в 1925 г. был отменен старый календарь и принят григорианский. В 1928 г. ислам официально был лишен статуса государственной религии, а осенью того же года был издан декрет о переходе с арабского алфавита на латинский. Эта последняя реформа имела фундаментальное значение: она сделала практически невозможным для нового поколения, получившего образование на латинице, доступ ко всему огромному массиву традиционной литературы; она способствовала изучению европейских языков; и она облегчила проблему распространения грамотности.

Осуществление этих социальных реформ в конце 1920-х гг. подготовило почву для усилий в направлении экономического развития, предпринятых в 1930-е гг. Была провозглашена политика этатизма, и в 1934 г. принят пятилетний план. На протяжении десятилетия большое внимание уделялось прежде всего промышленному развитию, особенно в текстильной, чугунолитейной и сталелитейной, целлюлозно-бумажной промышленности, производстве стекла и керамики. В период 1929–1938 гг. национальный доход увеличился на 44%, доход на душу населения — на 30%, добыча полезных ископаемых — на 132%, и «еще более впечатляющие успехи имели место в промышленности»[6].

Эта последовательность реформ — национальная, политическая, социальная и экономическая — отражала сознательную стратегию Кема-

ля. В апреле 1923 г. Кемаль выпустил манифест, обращенный к Республиканской народной партии, где основное внимание уделил политическим реформам, которые он тогда пытался осуществить: упразднению султаната, народному суверенитету, представительному правительству, фискальной и административной реформам. Комментируя эту программу в 1927 г., после того, как уже было начато большинство социально-религиозных реформ, Кемаль специально разъяснял свою стратегию — решать лишь ближайшие задачи и оставлять в тени долгосрочные цели. Программа 1923 г., говорил он, «содержала, в сущности, все, что мы сделали до нынешнего дня. Были, однако, некоторые жизненно важные вопросы, которые не были затронуты в этой программе, такие, к примеру, как провозглашение республики, упразднение халифата, ликвидация министерства образования и министерства по делам медресе [клерикальных школ] и текка [религиозных орденов], введение шляп.

Я держался того мнения, что не стоит вручать невежественным людям и реакционерам судьбу всей нации, что произошло бы, будь они включены в программу раньше, чем пришло их время, поскольку я был абсолютно уверен, что эти вопросы будут в свое время решены и что люди в конце концов будут довольны»[7]. Имея дело с каждой группой вопросов по отдельности, Кемаль минимизировал оппозицию в отношении каждой группы реформ. Оппоненты одной реформы оказывались изолированы от своих потенциальных союзников, выступавших против других реформ. «Тех, с кем Гази* хотел покончить, — справедливо замечает Фрей, — он сначала изолировал»[8].

Таким образом, фабианская стратегия отделения одной группы вопросов от другой способствует минимизации противодействия реформатору. Сходные соображения побуждают реформатора использовать тактику блицкрига при решении каждой отдельной группы вопросов. Тогда проблема состоит в том, чтобы принять и применить законы, в которых воплощается данная реформа. Быстрота и внезапность — эти два древних принципа военных действий — становятся в этом случае тактической необходимостью. Наличествующая в политической системе сумма власти обычно достаточно явно сосредоточена в руках лидера-реформатора. Ему нужно провести в жизнь свои реформы прежде, чем оппозиция сумеет мобилизовать своих сторонников, увеличить число участников и общее количество власти в системе и тем самым заблокировать изменения. «Как опыт, так и разум, — писал Ришелье, — свидетельствуют о том, что представляемое внезапно обычно изумляет в такой степени, что лишает человека средств

* Гази — титул главнокомандующего.

противостоять этому, тогда как если план исполняется медленно, то постепенное его обнаружение может создать впечатление, что это всего лишь проект и что он не обязательно будет исполнен»[9].

Упразднение расовой сегрегации в США всего успешнее и всего быстрее происходило, согласно наблюдениям, там, где люди, наделенные властью, предпринимали резкие, твердые и необратимые действия без долгой предварительной подготовки. Такая политика привела к нужным изменениям в поведении без попытки изменить установки и ценности. Однако известно, что изменения в последних обычно следуют за изменениями в поведении. Напротив, более постепенный подход к десегрегации не повышал вероятности ее принятия со стороны тех членов сообщества, кто был против интеграции. «*Возможности и время для подготовки общественности к изменениям не обязательно связаны с «эффективностью» и «гладкостью» изменений.* Интервал времени, предоставленный для осуществления изменений, может быть использован не только для конструктивной подготовки к ним, но и как возможность мобилизоваться для открытого им противодействия»[10].

Мустафа Кемаль демонстрирует эффективность тактики блицкрига на отдельных реформах. Как правило, приступая к проведению реформы, он сначала устраивал общее обсуждение проблемы, осторожно выясняя отношение различных групп. Затем он поручал своим помощникам секретно подготовить план реформы. Этот план показывали нескольким ведущим политическим и общественным лидерам и заручались их поддержкой. В наиболее благоприятный в политическом отношении момент Кемаль делал энергичное заявление о необходимости реформы, обращаясь к партии и Национальному собранию, раскрывал свой план изменений и требовал немедленного одобрения. Законы, обеспечивающие проведение реформы, сразу же принимались собранием, прежде чем оппозиция могла мобилизовать своих сторонников и подготовиться к контрнаступлению. Планы провозглашения Турецкой республики, к примеру, были разработаны Кемалем и несколькими его ближайшими советниками в течение лета 1923 г. Объявление этой революционной идеи, «целиком противоречившей идее традиционного мусульманского государства», вызвало огромное «смятение, как в стамбульской печати, так и в коридорах парламента, где пока не существовало никакого серьезного республиканского движения. Кемаль понимал, что дебаты по этому вопросу могут оказаться фатальными. Республику нужно было навязать другими средствами, прежде чем оппозиция успеет объединиться»[11]. В ту пору различные группы желали либо сохранения традиционной формы правления, либо установления конституционной монархии с халифом в качестве монарха, либо же многопартий-

ной парламентской демократии. Чтобы обеспечить утверждение республики, прежде чем эти группы могут объединиться против него, Кемаль устроил министерский кризис, погрузил правительство на несколько дней в кажущуюся анархию, а затем красноречиво представил предлагаемые конституционные изменения партийному съезду и Собранию, которым не оставалось ничего, как одобрить их, несмотря на неприятие и глухую оппозицию многих участников этих форумов.

Сходная тактика использовалась Кемалем при проведении и других крупных реформ. В январе 1924 г., к примеру, Кемаль решил, что пришло время упразднить халифат. Он пригласил высших руководителей правительства сопровождать его в поездке на военные маневры и там добился их согласия на это предложение, на ликвидацию министерства шариата и на изменения в религиозном образовании. В этом совещании участвовали и редакторы ведущих газет, которые оказались в изоляции лицом к лицу с президентом в течение двух дней, пока он не убедил их начать наступление на правительство, обвинив его в бездействии в вопросе о халифате. Месяцем позже, 1 марта, он представил эти предложения в своей речи на открытии Великого национального собрания, убеждая, что эти изменения необходимы для безопасности республики, для объединения национальной системы образования и для очищения и возвышения исламской веры. И снова у консервативной и религиозной оппозиции не было времени для контрнаступления: законы, необходимые для осуществления целей Кемаля, были приняты 3 марта.

Другие реформаторы-модернизаторы повторяли, иногда сознательно, тактику Кемаля. В Пакистане, к примеру, Айюб Хан попытался во многих отношениях действовать по образцу Мустафы Кемаля и, в частности, следовал тактике блицкрига в проведении реформ. «Когда он сталкивается с проблемой, — отмечал один из наблюдателей, — он учреждает комиссию экспертов для отыскания решения, и когда ему сообщают, что решение найдено, он немедленно проводит его в жизнь»[12]. Такова была, к примеру, тактика, использованная в 1958 г. для проведения земельной реформы. Законопроект был разработан специальной комиссией и через пять дней после того, как она доложила об окончании работы, законопроект был утвержден в качестве закона.

Как показывает это обсуждение фабианской стратегии и тактики блицкрига, ключевым вопросом для реформатора является вопрос о темпах и последовательности мобилизации новых групп в политику. Реформатору приходится прилагать усилия для того, чтобы контролировать и направлять этот процесс, чтобы в каждый момент времени и по каждому вопросу быть уверенным, что его сторонники сильнее оппонентов. И революционеры, и консерваторы гораздо меньше стеснены в отношении мобилизации новых участников политического процесса. Революция сама по себе есть процесс мобилизации ранее исключенных групп в политику вопреки существующим институтам и социально-экономической структуре. Ясно, что при некоторых обстоятельствах ограниченная мобилизация, необходимая для реформ, может вызвать неудержимую мобилизацию, которая и есть сущность революции. В то же время, однако, мобилизация может представлять для реформатора угрозу с консервативной стороны. Поскольку реформы означают движение в направлении большего социального, экономического и политического равенства, они вызывают противодействие со стороны тех, кто в выигрыше от неравенства, создаваемого существующим режимом. Преодоление этого противодействия ставит реформатора перед лицом многих трудностей, но обычно их можно преодолеть, если противник не сможет вовлечь в политику на своей стороне значительную часть апатично настроенных групп населения. Такие группы обычно не имеют больших материальных выгод от существующего порядка, часто они даже должны материально выиграть от предлагаемых реформ. Они, однако, духовно связаны с существующим обществом, и их ценности и установки часто крайне консервативны и мало подвержены изменению. Они склонны идентифицировать себя с теми самыми общественными и религиозными институтами, от реформирования которых они должны выиграть. Это и делает задачу реформатора столь трудной. Нет, писал Макиавелли, «дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые. Холодность же эта объясняется отчасти страхом перед противником, на чьей стороне — законы; отчасти недоверчивостью людей, которые на самом деле не верят в новое, пока оно не закреплено продолжительным опытом. Когда приверженцы старого видят возможность действовать, они нападают с ожесточением, тогда как сторонники нового обороняются вяло, почему, опираясь на них, подвергаешь себя опасности»[13].

Диалектика изменения такова, что предложения о реформах часто приводят в действие прежде безразличные группы, которые видят угрозу своим существенным интересам. В какой-то мере именно эту природу имело аристократическое сопротивление возвышению среднего класса в конце XVIII в. К этой же категории относится и та неприязнь, с которой группы малоимущих белых встретили в XX в. укрепление позиций негров в США. Такие явления обычно приводят к дихотомизации политики и подрыву позиций реформатора. Сочетание фабианской тактики и тактики

блицкрига призвано уменьшить эту опасность и понизить вероятность того, что у противников реформ будет достаточно побуждений или возможностей для мобилизации масс против перемен. Мобилизация масс на политическое действие прежде модернизации их ценностей и установок составляет величайшее из возможных препятствий на пути реформатора. Соперничество за влияние на массы между революционными и консервативными группами обычно также, разумеется, поляризует политику и лишает реформатора поддержки. Кто бы ни победил в этой борьбе, реформатору нечего надеяться выиграть от нее. Немецкие коммунисты сильно ошибались, когда в 1932 г. они самоуверенно предсказывали: «После Гитлера придем мы»; они, однако, не столь уж и ошибались, направляя свои атаки против центра и тем самым создавая ситуацию выбора: «Гитлер или мы».

Последствия расширения политической активности меняются в зависимости от ситуации. В кемалистской Турции политическая активность ограничивалась в основном городскими, бюрократическими, элитными группами. В этих узких пределах политической жизни модернизаторски настроенные элементы в армии и на гражданской службе могли оказывать решающее влияние. Таким образом, интересы реформ сталкивались с интересами более широкого участия населения в политике. Расширение политической активности привело бы в политику более консервативные группы и изменило баланс не в пользу реформаторов. Именно это и произошло в конце концов в 1950-е гг., но к тому времени основания кемалистского государства были столь прочны, что возможны были лишь незначительные сдвиги в направлении традиции. Предвидя эту опасность в 1920-е гг., Кемаль, однако, мало что делал для расширения политической активности. Действительно, как пишет Фрей, «сущность революции Ататюрка состоит в том, что она *воспользовалась* тем коммуникационным разрывом, который существовал в турецком обществе, вместо того чтобы сетовать по его поводу или бороться с ним напрямую, как делали многие другие националистические движения... Отсутствие связей между элитой и массой было тем важнейшим фактором, который он использовал для упрощения своей задачи и приведения ее в соответствие со своими ресурсами»[14]. В Турции существовало противоречие между движением в направлении социального и экономического равенства, с одной стороны, и движением в направлении политического равенства, с другой. Прогресс в первом направлении зависел от ограничений во втором, и именно эту функцию выполняла однопартийная политическая система в Турции до конца Второй мировой войны. Переход к конкурентной партийной системе после Второй мировой войны привел к расширению политической активности, сделал политику более демократической, но в то же время замедлил, а в некоторых областях и обернул вспять процесс социально-экономических реформ.

Ситуация, с которой столкнулись реформаторы во многих латиноамериканских странах, была прямо противоположна той, с которой столкнулся Кемаль. В этих странах в политике наблюдался «крен вправо» и на политической арене господствовали консервативные и олигархические группы. Как следствие этого, социально-экономические реформы ассоциировались с расширением политической активности, а не с ее ограничением. Это накопление проблем и разногласий придавало политике в Латинской Америке более напряженный и насильственный характер, чем в Турции, так что угроза революции здесь казалась намного более реальной. В Турции реформатор мог создавать политические институты и осуществлять социально-экономические изменения, не привлекая к участию в политике широкие слои населения. Напротив, в Латинской Америке расширение политической активности было не тормозом в деле осуществления социальных перемен, а предпосылкой таких перемен. Поэтому в Латинской Америке консерватор выглядел более реакционным, поскольку он выступал против того и другого, тогда как реформатор выглядел более революционным (и опасным для консерватора), поскольку ему приходилось поддерживать и то и другое.

Ни в каком обществе существенные социальные, экономические или политические реформы не происходят без насилия или угрозы насилия. Относительно децентрализованное и спонтанное насилие служит обычным средством, с помощью которого группы, находящиеся в худшем положении, привлекают внимание к своим бедам и требованиям. Активные участники таких насильственных действий обычно удалены от центров власти, но факты такого насилия могут быть успешно использованы реформаторами для осуществления мер, которые иначе были бы невозможны. Такое насилие вполне может поощряться лидерами, которые полностью готовы действовать в рамках существующей системы, но рассматривают насилие в качестве необходимого стимула для проведения реформ внутри этой системы. История реформ в США — от Джефферсона, аболиционистов, популистов и рабочего движения до движения за гражданские права — наполнена случаями насилия и других форм беспорядка, которые служили толчком для изменения правительственной политики. В Англии в начале 1830-х гг. бунты и другие формы насилия сыграли значительную роль в деле консолидации сторонников предложенного вигами в 1832 г. Акта о реформе. В Индии в 1950-е гг. группы представителей среднего класса обычно прибегали к демонстрациям, бунтам, «сатьяграхе» и другим формам массового протеста (обычно в сопровождении насилия), чтобы добиться уступок от правительства[15].

Что касается модернизирующихся стран вообще, то самой, пожалуй, важной формой нелегальных и часто насильственных действий в поддержку реформ является захват земли. По многим ранее обсуждавшимся причинам земельная реформа имеет ключевое значение для поддержания политической стабильности. Однако осуществление этой реформы часто требует нарушения стабильности. К примеру, в Колумбии в конце 1920-х и начале 1930-х гг. крестьяне начали захватывать частные земли. Многие асиенды были захвачены целиком и обращены в кооперативы, управлявшиеся с помощью коммунистических функционеров. Землевладельцы настаивали, чтобы полиция и армия приняли меры для восстановления их прав собственности. Правительство, однако, отказалось активно принять чью-либо сторону в местных схватках, а воспользовалось этими проявлениями насилия в сельских районах для того, чтобы провести через парламент — где, как и в большинстве парламентов в модернизирующихся странах, преобладали помещики — закон о земельной реформе, который легализовал захваты и, по существу, поставил права собственности в зависимость от того, насколько эффективно эта собственность используется. Сходным образом в Перу захваты земли, происходившие в 1963 г. одновременно с избранием правительства Белаунде*, послужили необходимым толчком для сплочения сторонников реформ, проводимых этим правительством. В обоих этих случаях, однако, децентрализованное насилие совпало во времени с нахождением у власти сочувствующей и ориентированной на реформы администрации, точно так же, как это и в случае насильственных действий сторонников гражданских прав в середине 1960-х в США. В большинстве обществ гражданский мир невозможен без некоторых реформ, а реформы невозможны без некоторого насилия. Эффективность насилия в качестве стимулятора реформ прямо зависит от того, в какой мере оно содействует мобилизации в политику новых групп, использующих новые политические методы. Кроме того, эффективность насилия зависит от наличия реальных политических альтернатив, осуществление которых может умерить беспорядки. Если насилие предстает как чисто аномическая реакция на общую ситуацию, и мишени, против которых оно направлено, размыты и неопределенны, то оно мало может способствовать проведению реформ. Для того чтобы оно выполнило эту функцию, и реформаторы, и консерваторы должны воспринимать это насилие как прямо связанное с действием по некоторому конкретному политическому вопросу. В таком случае насилие переводит обсуждение с вопроса о достоинствах реформы на вопрос о необходимости общественного порядка.

* Фернандо Белаунде Терри (р. 1912) — президент Перу в 1963–1968 и 1980–1985 гг.

В самом деле, позиции реформаторов никогда не бывают столь сильными, как тогда, когда они ссылаются на необходимость сохранения мира в стране. Сознание этой необходимости привлекает на сторону реформ консерваторов, заинтересованных в подержании порядка. С первых дней правления Варгаса* в 1930-е гг. бразильская элита часто цитировала фразу: «Мы должны совершить революцию прежде, чем ее совершит народ». После беспорядков в Бирмингеме в 1963 г. президент Кеннеди заявил, что принятие билля о гражданских правах было необходимо, чтобы «перенести борьбу с улиц в суды». Непринятие билля, предупреждал Кеннеди, приведет к «непрекращающимся, если не растущим, расовым столкновениям, в ходе которых лидерство с обеих сторон неизбежно перейдет из рук разумных и ответственных людей в руки носителей ненависти и насилия». Подкрепленные такими аргументами, как расовые беспорядки и расовое насилие, предсказания, подобные этому, побуждали даже консервативных республиканцев и демократов поддержать законодательство о гражданских правах.

Та эффективность, с которой насилие и беспорядки выступают в роли стимуляторов реформ, не вытекают, однако, из сущности самого насилия. Не насилие само по себе, а, скорее, шок и ощущение новизны, связанные с применением незнакомого или необычного политического метода, служат делу проведения реформы. Именно видимая готовность общественной группы выйти за пределы принятых форм действия придает убедительность ее требованиям. Фактически такие действия связаны с диверсификацией политических методов и угрозой для существующих политической организации и процедур. Бунты и насилие, например, были обычным явлением в Англии в начале XIX в. Однако масштабы и напряженность насильственных действий в 1831 г. были внове. Комментируя бунты в Ноттингеме и Дерби, Мельбурн** отмечал: «Такие проявления насилия и ярости являются, как я полагаю, чем-то совершенно новым и беспрецедентным в этой стране; по крайней мере, я не припомню, чтобы когда-либо слышал о нападениях на дома, их разграблении и поджогах во время волнений, происходивших когда-либо в прошлом»[16]. Именно беспрецедентный характер насилия и побудил Мельбурна приступить к реформам. Точно так же в США сидячие забастовки 1930-х и сидячие демонстрации против дискриминации 1960-х были теми новыми тактиками, сама новизна которых под-

* Жетулиу Дорнелис Варгас (1883–1954) — президент Бразилии в 1930–1945 и 1951–1954 гг.

** Уильям Лэм, виконт Мельбурн (1779–1848) — премьер-министр Англии в 1834 и 1835–1841 гг.

черкивала серьезность требований, выдвигавшихся соответственно рабочими и неграми. Обычным явлением бунты и демонстрации были в Южном Вьетнаме в 1963 г. Однако самосожжение буддийских монахов отражало рост масштабов насилия, который, несомненно, сыграл значительную роль, склонив американских чиновников и вьетнамских офицеров к выводу о необходимости изменения режима.

Именно новизна метода, а не то, каков этот метод, стимулирует проведение реформ; это доказывает тот факт, что повторное применение метода снижает его ценность. В 1963 г. расовые беспорядки в США и самосожжения монахов во Вьетнаме способствовали внесению существенных изменений в правительственную политику и смене политического руководства. Тремя годами позже сходные события не имели аналогичных последствий. То, что когда-то казалось шокирующим отклонением от политической нормы, теперь сделалось сравнительно обычной политической тактикой. Во многих преторианских политических системах насилие становится эндемической формой политического действия и потому полностью утрачивает свою способность порождать значительные изменения. К тому же в непреторианских системах новые или необычные формы протеста вполне могут быть включены в число форм политического действия, признаваемых законными. Верно подметил А. Васкоу: «В той мере, в какой политика нарушения порядка нацелена на то, чтобы привести к изменениям, ее обычно изобретают люди, находящиеся «вне» данной системы политического порядка и желающие вызвать изменения, которые позволили бы им войти в систему. Делая это, они обычно используют новые методы, имеющие смысл для них в силу их собственного опыта, но представляющиеся беспорядком для людей, которые мыслят и действуют внутри системы. Негры ни в коем случае не были первыми, кто стал так действовать. К примеру, в XVII–XVIII вв. городские стряпчие и торговцы, которые не могли добиться от не желавших ничего слышать политиков, чтобы те обратили внимание на их беды, использовали такое незаконное и нарушавшее порядок средство, как политические памфлеты против установленного порядка. Точно так же в XIX в. рабочие, которые не могли добиться от своих работодателей и выборных законодателей, чтобы те обратили внимание на их требования, прибегали к образованию профсоюзов и забастовкам — которые поначалу были незаконными, — чтобы привлечь внимание к своим трудностям. В обоих случаях использование политики нарушения порядка имело своим результатом не только то, что применившие ее были приняты в качестве участников политического порядка и их ближайшие нужды были приняты во внимание, но и то, что новые методы были включены в реестр допустимых. Короче говоря, изменилась сама система «порядка». Так,

то, что квалифицировалось как «преступные» политические памфлеты, получило освящение в условиях свободы печати, «преступный заговор» в форме забастовки был легализован в системе свободных профсоюзов. То, что в одном столетии было беспорядком, в другом превратилось в свободу в рамках закона и порядка»[17]. Одним из критериев адаптивности системы вполне может служить ее способность усваивать, смягчать и узаконивать новые методы политического действия, применяемые группами, которые предъявляют к системе новые требования.

Эффективность насилия или какого-то другого нового средства содействия реформам может снижаться и по мере достижения успеха в стимулировании этих реформ. Если совершенные группой насильственные действия или вызванные ею беспорядки вынуждают правительство к уступкам, то склонность данной группы прибегать к такого рода действиям, вероятнее всего, возрастет. Но неоднократное применение одной и той же тактики ослабляет ее воздействие. В то же время готовность правительства идти на уступки, как можно предположить, уменьшится. С одной стороны, правительство, разумеется, утверждало раньше, что его реформы приведут к уменьшению насилия, а не к его усилению, и следует ожидать, что оно будет реагировать с раздражением на то, что исход оказался иным. Кроме того, тот факт, что оно пошло на уступки, которые сочло желательными и необходимыми, означает, что новое насилие с целью добиться дополнительных уступок утрачивает в его глазах законность, поскольку совершается в поддержку «безответственных», а не «разумных» требований. Как следствие, ситуация поляризуется, и у правительства появляется чувство, что оно «должно поставить барьер» группам, «которые зашли слишком далеко», а у групп — чувство, что правительство «купило их задешево» и что оно «не заинтересовано в фундаментальных переменах». Именно в этой точке влияние реформ на вероятность революции приобретает решающее значение.

Реформы: замена или катализатор?

В начале 1960-х гг. социальные реформы стали декларированной целью американской политики. Союз ради прогресса был воплощением идеи, что демократические реформы, ведущие к более справедливому распределению материальных и символических ресурсов в Латинской Америке, станут заменителем насильственной революции. Напряжение, порождаемое необходимостью социальных изменений, накапливалось в обществах, где все еще господствовали олигархические группы, и его следовало снимать

постепенно, иначе оно развилось бы до той точки, когда могло прорваться разом, опрокинув и разрушив всю конструкцию общества. Непрекращающаяся последовательность малых изменений в руководстве и политике должна была предотвратить резкие, быстрые, насильственные изменения в институтах, социальной структуре и ценностях, с которыми ассоциируется революция.

Это политическое решение имело серьезные основания, вытекающие из политической теории и исторического опыта. «Преемственность, программные реформы и дворцовые революции, — утверждают Лассуэлл и Каплан, — выполняют функцию заменителей политической и социальной революции». Им вторит Фридрих, говоря, что «множество мелких революций предотвращают большую революцию, поскольку по мере того, как разнообразные факторы общественного порядка «революционизируются» посредством действующего политического процесса, напряжение, которое могло бы неизбежно привести к насильственному «свержению» политического порядка, снижается, находя «выход» в конструктивных действиях». Аналогичным образом и Р.Р. Палмер заключает свою большую двухтомную работу о французской революции следующим наблюдением: «Ни одна революция не может рассматриваться как неизбежность. Могло бы так случиться, что в XVIII в. вовсе не было революций, если бы только прежние высшие и правящие классы проявили благоразумие и пошли на бóльшие уступки, если бы не были столь сильны противоположные тенденции самоуверенного отстаивания аристократических ценностей»[18]. И конечно, это выглядит убедительно. Какие еще нужны подтверждения справедливости этого наблюдения после провала марксистских надежд в Западной Европе, когда страна за страной отводили запал от динамита промышленной революции за счет распространения избирательного права, фабричного законодательства, признания профсоюзной деятельности, законов о заработной плате, продолжительности рабочего дня, социального обеспечения и страхования по безработице?

Существуют, правда, и контрдоводы. Иногда говорят, что реформы могут способствовать не политической стабильности, а, напротив, большей нестабильности и даже революции. Реформа может оказаться катализатором революции, а не ее заменителем. Указывалось на то, что исторически великие революции происходили после периодов реформ, а не периодов стагнации и угнетения. Тот факт, что власть проводит реформы и идет на уступки, поощряет требования еще больших изменений, которые легко могут, накапливаясь как снежный ком, перерасти в революционное движение. И, скажем, Токвиль в своем анализе французской революции пришел к знаменитому и часто цитируемому заключению, которое является противоположным палмеровскому: «Общественный порядок, разрушаемый революцией, почти всегда лучше того, что ей непосредственно предшествовал, и, как показывает опыт, наиболее опасным и трудным для правительства является тот момент, когда оно приступает к преобразованиям. Только гений может спасти государя, предпринявшего попытку облегчить положение своих подданных после длительного угнетения... [Реформы во Франции] приблизили Революцию не столько тем, что устранили стоявшие на ее пути препятствия, сколько тем, что продемонстрировали народу, что́ нужно сделать для ее осуществления»[19].

Теорию катализатора разделяет меньшинство американских мыслителей. Однако распространенное среди американцев убеждение, что реформы способствуют политической стабильности внутри страны, поразительным образом контрастирует с преобладающим среди американских исследователей противоположным подходом в отношении международных дел. Американцы склонны считать, что уступки оказывают стабилизирующее действие перед лицом требований изменить общество, выдвигаемых внутри страны, но приводят к дестабилизации перед лицом международных требований, направленных на изменение ситуации. Уступки внутри страны хороши; их называют реформами. Уступки в международных отношениях плохи; их называют малодушием. Похоже, что и в этом случае принципы американской политики основаны на историческом опыте, а конкретнее — на том факте, что внутренняя политика Франклина Рузвельта сработала, а внешняя политика Невилла Чемберлена — нет. Очевидно, однако, что и в международной, и во внутриполитической областях ни одно из этих двух утверждений о влиянии постепенных изменений не является универсально истинным[20]. И внутри страны, и на международной арене постепенные изменения или реформы в одних случаях могут приводить к большей стабильности, в других же они могут приводить к беспорядкам и насильственным фундаментальным изменениям.

Таблица 6.1. Отношение к политическим переменам

Отношение к революции	Представление о том, как реформы влияют на перспективы революции	
	катализатор	заменитель
за	Ортодоксальный революционер	Левый уклонист
против	Сторонник топтания на месте	Сторонник ускорения реформ

Отношение между реформой и революцией имеет ключевое значение для всех групп, затронутых процессом политических изменений. Сторонник решительных реформ убежден, что реформа есть заменитель революции, и именно по этой причине пытается достичь большего социального и экономического равенства мирными средствами. Крайний радикал, или «левый уклонист», также обычно принимает теорию альтернативы и на этом основании выступает против реформ. «Ортодоксальный революционер» и сторонник «топтания на месте», напротив, принимают теорию катализатора, которая побуждает последнего выступать против всякого изменения статус-кво, тогда как первый надеется использовать малые перемены в роли клина для подготовки к осуществлению более фундаментальных изменений.

Основные споры идут не между сторонниками и противниками революции, а между теми, кто по-разному прогнозирует влияние реформ на перспективы революции. Решительный реформатор убеждает сторонника топтания на месте, что какие-то уступки необходимы, чтобы избежать потопа, тот же, в свою очередь, предупреждает, что всякая уступка подрывает установленный порядок. Параллельный спор идет и между ортодоксальным революционером и левым уклонистом. Самые интересные, содержательные и глубокие споры по этому вопросу велись в марксистских кругах. Самым, пожалуй, плодовитым автором по этому предмету был Ленин, который в то или иное время занимал практически каждую из мыслимых здесь позиций. В целом, однако, его взгляды чаще всего бывали ближе к позиции ортодоксального революционера; он считал, что реформы, вырванные у режима, ускоряют революцию, хотя реформы, добровольно начатые режимом, могут ее отсрочить. «Реформы, — утверждал Ленин в 1894 г., выступая против ревизионистской, т.е. реформаторской, позиции Петра Струве, — не следует противопоставлять революции. Борьба за реформы есть лишь средство подготовки отрядов пролетариата к борьбе за окончательную победу революции». Аналогичным образом на левом фланге он спорил с «отзовистами» в 1906 г. и с «левыми коммунистами» в 1920 г., утверждая что реформы, к которым побуждают существующую систему, хороши и ведут к революции: «Частичные победы в революциях, вынужденные, поспешные уступки со стороны старого режима — это надежнейший залог новых, много более решительных, более острых гражданских потрясений, в которые будут вовлечены все более и более широкие народные массы»[21].

Однако революционеры XX в. все больше ставят под сомнение ленинскую модифицированную теорию реформ как катализаторов. После крушения марксистских ожиданий в развитых странах Запада стало трудно верить в то, что революционеры могут добиваться реформ, не ставя под угрозу перспективы революции. Традиционная революционная ортодоксия

пришла в упадок, и принятие теории заменителя разделило ее прежних приверженцев на тех, кто следует путем Бернштейна, и тех, кто следует путем Мао.

Исследователи в области социальных наук — как и практики социальной революции — не могут держаться обеих теорий. Если теория заменителя в общем случае верна, то в общем случае неверна теория катализатора, и наоборот. Более вероятно, что одна верна при некоторых условиях, а другая верна при других условиях. Условия, требующие учета, это *предпосылки* реформ и революции, и *последствия* реформ для революции. Без сомнения, одной из наиболее важных связей между реформами и революцией является то, что централизация власти в политической системе представляется необходимой предпосылкой и реформы, и революции. Централизация власти, особенно в системе, где объем власти невелик, является существенной предпосылкой обновления политики и реформ. Но она же является и предпосылкой революции. По крайней мере, на ранних этапах модернизации уязвимость режима для революции прямо пропорциональна его способности проводить реформы.

Дилемма, с которой сталкивается монарх-модернизатор в традиционной политической системе, есть лишь наиболее яркое проявление очень распространенной ситуации в обществах, переживающих политические перемены. В XVIII в. физиократ Летрон говорил: «Нынешняя ситуация во Франции намного превосходит ситуацию в Англии, поскольку здесь реформы, изменяющие всю социальную структуру, могут осуществляться во мгновение ока, тогда как в Англии такие реформы всегда могут быть заблокированы системой партийного правления»[22]. Но те же самые условия, которые облегчали проведение реформ во Франции, сделали возможной и революцию, а «система партийного правления» в Англии защитила ее от революции. Точно так же в 1861 г. Александр II успешно отменил крепостное право, тогда как одновременное проведение аналогичной реформы в США потребовало четырех лет кровопролитного конфликта. Однако та же централизация власти, которая сделала возможными русские реформы 1860-х гг., сделала возможными и революции 1917 г.

В более общем случае, как мы видели, централизованные традиционные системы и особенно бюрократические империи, такие, как Маньчжурская, Российская и Османская, с большой вероятностью кончают революцией. В этих обществах монарх монополизирует легитимность, и система, таким образом, оказывается не способна мирно адаптироваться к распространению политической власти и появлению новых источников общественной инициативы и политического влияния. Появление таких источников требует свержения системы. В странах же с более сложными

и дисперсными политическими системами, с энергичным местным управлением, с автономными штатами или провинциями, менее благоприятны условия как для успешных реформ, так и для революции. Общественные силы, которые находятся в оппозиции к группам, контролирующим центральное правительство, могут тем не менее держать под своим контролем региональные и местные органы власти и тем самым будут идентифицироваться с некоторыми элементами существующей политической системы, вместо того, чтобы противостоять ей как целому. «Если и можно утверждать что-либо определенное о политических революциях, — пишет Таннен-баум, — так это то, что они не происходят и не могут происходить в странах, где политическая мощь рассеяна по тысяче мест и где массы ощущают себя вовлеченными в постоянный процесс решения проблем самоуправляющегося округа или местечка и участниками выработки правил для более крупных образований, таких, как округ, штат или нация»[23].

Зависимость и реформ, и революции от централизации власти часто приводит к драматичному «соревнованию» — что́ произойдет раньше. В этих обстоятельствах влияние реформ на вероятность революции может зависеть от характера реформ, от состава группы революционеров, а также от времени и сроков проведения реформ. К примеру, политические реформы могут повысить вероятность революции, поскольку они порождают ожидание больших приобретений и в то же время заставляют подозревать слабость существующего режима. С другой стороны, реформы, состоящие в изменении состава руководства страны, могут оттянуть динамичные элементы из революционного движения и включить их в состав истеблишмента, делая тем самым революцию менее вероятной. Различия в политической стабильности между Великобританией, с одной стороны, и Францией и Германией, с другой, можно в какой-то мере связать с этими различными вариантами реформ[24]. Кроме того, некоторые политические реформы (но не все) и некоторые реформы руководства (но не все) могут способствовать расколу революционных сил, охлаждению революционного пыла, уменьшению привлекательности революционного движения для потенциальных союзников, а также росту и сплочению реформаторских групп и их сопротивлению дальнейшим уступкам в пользу революционных сил. В частности, сами реформы могут изменить баланс сил между различными революционными группами, стоящими в оппозиции к существующему порядку. Реформы, проводимые в ответ на требования более умеренных революционных лидеров, усиливают позиции этих лидеров и их политику по отношению к революционерам более экстремистских взглядов. Реформы, осуществленные в ответ на насилие и прямое действие, организованные радикальными группами внутри революционного движения, усиливают

этих лидеров и убеждают других в правильности их тактики и целей. Для правительств многих модернизирующихся стран, однако, именно такие действия являются необходимым условием реформ. Правительство слишком слабо, слишком апатично или слишком слепо в отношении неоднородности революционного движения, чтобы пойти на реформы, которые бы способствовали усилению умеренных тенденций в этом движении. Побудить его к действию могут лишь бунты, демонстрации и насилие; в таких обстоятельствах реформа становится лишь стимулом, как и полагал Ленин, к еще бóльшим бунтам, демонстрациям и насилию.

Время реформ также может быть важно в некотором более общем смысле. Контрэлиты, как предполагают Лассуэлл и Каплан, с наибольшей вероятностью выдвигают революционные требования в моменты, когда они наиболее слабы или когда они наиболее сильны[25]. В первом случае они мало склонны принимать реформы и уступки, поскольку последние слишком незначительны в сравнении с их стремлением к полному преобразованию общества. В последнем же случае их готовность принять реформы или уступки мала ввиду их близости к цели — захвату всей власти: у них есть все основания требовать безусловной капитуляции. Однако в промежуточном положении контрэлита может быть заинтересована в том, чтобы быть включенной в состав существующей структуры власти. Ее члены могут предпочесть получить свою долю власти — для немедленного достижения некоторых целей, а не жить надеждой на свержение системы в целом. Реформы руководства, следовательно, могут быть эффективными именно в такие моменты, будучи бесплодными тогда, когда революционеры либо заметно слабее, либо заметно сильнее.

Более непосредственным образом воздействие реформ на вероятность революции зависит от социального состава групп, требующих перемен, и от характера устремлений этих групп. Двумя решающими в этом отношении группами являются городская интеллигенция и крестьянство. Эти группы и их требования фундаментальным образом различаются. Как следствие этого различия, реформы, направленные на удовлетворение требований городского среднего класса оказываются катализатором революции; реформы, направленные на удовлетворение требований крестьянства выступают в роли заменителя революции.

Городская интеллигенция: реформа как катализатор

Оппозиция правительству со стороны городской интеллигенции составляет общую характеристику не только преторианских обществ, но и почти лю-

бого типа модернизирующегося общества. В преторианских обществах студенты обычно являются наиболее активной и влиятельной политической силой гражданского среднего класса. В непреторианских обществах их возможности политического действия ограничивают прочность политических институтов и преобладающие представления о легитимности. Их установки и ценности относятся, однако, к тому же оппозиционному синдрому, что существует в преторианских обществах. В традиционных политических системах столичный университет — это обычно центр оппозиции и заговорщической деятельности против режима. Тегеранский университет в Иране и Университет Хайле Селассие в Эфиопии — центры антимонархических настроений. Жизнь городов в Марокко и Ливии была полностью нарушена студенческими беспорядками и демонстрациями. На противоположном полюсе, в коммунистических политических системах, университеты также являются центрами критики режима и оппозиции к нему. В Советском Союзе, в Китае, в Польше и повсюду в Восточной Европе голос студентов — это голос протеста: в этих случаях протест направлен не столько против идеологических оснований общества, сколько против политических институтов и деятельности правительства[26]. В независимых странах Африки — но, по-видимому, особенно в бывших французских колониях — студенты также часто выступали в качестве противников режима.

Студенческая оппозиция правительству представляет собой крайнее выражение свойственного среднему классу синдрома оппозиции — поскольку она столь постоянна. Студенческая оппозиция может испытать лишь незначительное воздействие реформ правительства. Она существует практически независимо от характера действующего правительства и политики, которую оно проводит. В Корее, к примеру, в конце 1950-х гг. все большее число сеульских студентов становились в оппозицию режиму Ли Сын Мана. Студенческие демонстрации и беспорядке в апреле 1960 г. положили начало цепи событий, которая привела к свержению диктатуры Ли. На смену этому режиму пришло либеральное правительство, которое в своих целях, политике, составе руководства и источниках поддержки реализовало практически все, чего требовали студенты. Однако уже через несколько месяцев после прихода к власти и это правительство также сотрясалось студенческими демонстрациями, а опрос показал, что менее 4% корейских студентов полностью поддерживают его[27]. Шестью месяцами позже, когда режим Чана был свергнут военными, студенческая оппозиция немедленно выступила против нового правительства во главе с генералом Паком. В последующие годы, в годовщину «апрельской революции» против Ли, а нередко и в другие дни режиму Пака приходилось сталкиваться с массовыми беспорядками и демонстрациями со стороны студентов сеульских колледжей и университета. Авторитарная диктатура, либеральная демократия, военное правление, партийное правительство — корейские студенты выступали против всех.

Сходные ситуации наблюдаются и в других обществах. В 1957 г. колумбийские студенты сыграли ключевую роль в свержении диктатуры Рохаса Пинильи и возвращении к выборной демократии. Через несколько лет, однако, 90% студентов Национального университета Боготы заявили, что у них нет веры в политическую систему и социальные ценности правительства. То же происходит и в странах, ставших коммунистическими. Гаванский университет был центром оппозиции Батисте; он же стал центром оппозиции Кастро. В 1920 г. Пекинский университет был местом рождения китайского националистического движения и Китайской коммунистической партии; в 1966 г. он стал, согласно оценке ЦК КПК, «упорным бастионом реакции»[28]. В некоторых модернизирующихся странах правительство получает поддержку в первую очередь от богатых классов, в других — в первую очередь от бедноты. В некоторых странах правительство апеллирует к более современным элементам, в других оно опирается на поддержку традиционных групп. В некоторых странах поддержка правительству организуется через бюрократические структуры, в других — через ассоциации или аскриптивные группировки. Но практически ни в одной из модернизирующихся стран ни одно правительство не может рассчитывать на длительную поддержку интеллектуального сообщества. Если существует раскол, практически универсальный для модернизирующихся стран, то это раскол между правительством и университетом. Если президентский дворец — это символ власти, то здание студенческого союза — это символ мятежа.

Устойчивость этой парадигмы городского среднего класса, интеллигенции и студентов как источников оппозиции указывает на то, что такую оппозицию реформы не могут смягчить и вполне могут обострить. Эта оппозиция не проистекает в большинстве случаев из какой-либо материальной нужды. Она коренится в психологической неуверенности, отчуждении и чувстве вины, а также всепоглощающей потребности в надежном чувстве идентичности. Городской средний класс нуждается в чувстве национального достоинства, ощущении прогресса, национальной цели и возможностях самореализации через участие в полной перестройке общества. Это утопические цели. Это запросы, которых не сможет реально удовлетворить ни одно правительство. Следовательно, эти элементы городского среднего класса невозможно умиротворить реформами. И в самом деле, они в большинстве случаев яростно противятся реформам, которые склонны рассматривать как подачки вместо перемен. Так часто и бывает, но есть и другая сторона медали. Если громогласное объявление реформ

может быть прикрытием для частичных, незавершенных действий, то требование революции часто является прикрытием для полного бездействия. Латиноамериканские кофейни и бары заполнены интеллектуалами, которые с презрением отвергают возможности улучшения своих обществ, поскольку предлагаемые изменения не являются фундаментальными, революционными или, если воспользоваться их любимым выражением, структурными.

Студент получает представление о современном мире и передовых странах Запада. В его сознании существуют два больших разрыва; один между принципами современного мира — равенством, правосудием, единством общества, экономическим благосостоянием — и их реализацией в его собственном обществе, а второй между действительностью, которая существует в передовых странах мира, и той, которая преобладает в его собственном обществе. «Разумеется, во всех странах, — писал Липсет, — реальность обычно не соответствует принципам, и молодые люди, особенно те из них, кто был избалован в отрочестве... ощущают это остро. Поэтому непропорционально большая часть образованных молодых людей повсюду склонна поддерживать идеалистические движения, которые принимают идеологию взрослого мира более серьезно, чем сам взрослый мир»[29]. Студент, таким образом, начинает стыдиться своего общества и становится отчужденным от него; его наполняет желание перестроить его полностью, чтобы оно вышло в «передние ряды наций». Утративший связь со своей семьей, с традиционными нормами и образцами поведения, студент все больше идентифицируется с абстрактными стандартами и принципами современности. Они становятся теми абсолютными критерия, с помощью которых он судит свое общество. Его не удовлетворяет ни одна цель, кроме полной перестройки общества.

Модернизационные попытки студентов и интеллектуалов в России XIX в. являются, во многих отношениях, прототипом для сходных явлений в Азии, Африке и Латинской Америке XX в. Поведение русских интеллектуалов также хорошо иллюстрирует то, как реформы могут стать катализатором экстремизма. «Великие реформы» Александра II прямо стимулировали развитие революционных организаций и революционной деятельности среди студентов и других представителей интеллигенции. В ответ на студенческие беспорядки в конце 1850-х гг. Александр проводил политику терпимости и либеральных уступок. Однако недовольство только росло, достигнув пика в первые годы после отмены крепостного права и завершившись покушением на Александра в 1866 г. «Небольшое расширение свободы, дозволенное царем, — замечает Мосс, — с неизбежностью вызвало требования большего. Ограничения, практически безропотно принимаемые

при Николае, внезапно стали восприниматься как тягостные; общественность, еще недавно в значительной мере отстраненная от дел государства, теперь протестовала против того, что относительная свобода, данная Александром, недостаточна»[30]. В какой-то мере русское революционное движение второй половины XIX в. было продуктом «Великих реформ», осуществленных Александром в 1860-е гг.

Сходным образом события развивались во многих странах в 1848 г.: революционные события разразились как раз после того, как правительства попытались осуществить реформы, нацеленные на удовлетворение хотя бы некоторых требований среднего класса. В Папской области, к примеру, Пий IX в период между 1846 и 1848 гг. расширил свободу печати, установил муниципальное управление для Рима, модернизировал провинциальную администрацию, создал конституционное собрание и учредил гражданскую гвардию, «вооружив тем самым средний класс, который сильнее, чем кто-либо, требовал реформ». Однако реформы Пия не удовлетворили средний класс. Разразилась революция; гражданская гвардия встала на сторону восставших. Пий был вынужден бежать в Неаполь[31].

В совершенно иной ситуации в XX в. правительство Реида Кабраля в Доминиканской Республике было свергнуто в результате восстания представителей среднего класса, сразу же после того, как начало проводить ряд реформ. В числе этих реформ были направленные на оживление экономики, расширение политических свобод, уменьшение коррупции, сокращение расходов, установление сроков проведения выборов и удаление из армии «наиболее властолюбивых и коррумпированных элементов». И тем не менее «как раз в этот момент умеренного подъема и медленных, постепенных улучшений разразилась революция апреля 1965 г.; иронией судьбы представляется то, что Реид был смещен хотя бы отчасти из-за реформ, которые он начал проводить»[32].

Программы, угождающие радикальному среднему классу, лишь увеличивают его силу и радикализм. Маловероятно, что они могут уменьшить революционные наклонности этого класса. Для правительства, заинтересованного в поддержании политической стабильности, адекватным ответом на радикализм среднего класса являются репрессии, а не реформы. Меры, уменьшающие число, влияние и сплоченность радикальных элементов этого класса, существенно способствуют поддержанию политического порядка. Правительственные действия, направленные на ограничение развития университетов, вполне могут уменьшить влияние революционных группировок. Напротив, программы, предусматривающие предоставление каких-то благ студентам, не приводят к сокращению революционных тенденций среди них. По существу, они могут лишь усилить латентное

чувство вины, которое часто свойственно студентам из среднего и высшего классов, и тем самым усилить и оппозиционные настроения. Национальный университет Боготы, к примеру, был центром политической агитации, противоправительственной и антиамериканской деятельности. В середине 1960-х университет начал осуществлять, со значительной помощью Агентства международного развития, широкую программу, нацеленную на устранение причин студенческого недовольства. Программой, в частности, предусматривались «повышение качества общежитий и другие меры по благоустройству, увеличение числа преподавателей и пересмотр учебного плана»[33]. Такого рода реформы, однако, обычно лишь облегчают и поощряют студенческую политическую агитацию. С точки зрения политической стабильности эфиопское правительство действовало мудрее, когда в 1962–1963 гг. закрыло общежитие при Университете Хайле Селассие и тем самым заставило многих студентов возвратиться домой.

Крестьянство: реформа как альтернатива

Кто-то сказал однажды, что величие английского флота состояло в том, что в нем никогда или почти никогда не было бунтов по иной причине, чем прибавка к жалованью. Практически то же самое можно сказать о крестьянах. Они бунтуют, когда в их представлении становятся невыносимыми условия землевладения, аренды, труда, а также налоги и доходы. Во все века крестьянские волнения и восстания имели своей целью, как правило, устранения конкретных зол и злоупотреблений. В России, как и всюду, они почти неизменно были направлены на местных землевладельцев и чиновников, а не на царскую власть, церковь или политическую и социальную систему в целом. Во многих случаях экономическое положение крестьян перед революцией резко ухудшалось. Волнения французских крестьян в 1770-х гг., как замечает Палмер, «были вызваны не просто бедностью, но чувством обнищания»[34]. Экономическая депрессия 1789 г. усугубила это положение, цена хлеба достигла высшей точки за 100 лет. Эти материальные бедствия вкупе с той политической возможностью, что открывалась с созывом Генеральных Штатов, послужили горючим материалом и толчком к крестьянскому восстанию. Действия крестьян во всех больших революциях были изначально направлены на быстрое, прямое и, если надо, насильственное исправление ставших невыносимыми материальных условий. Революционные интеллектуалы взывают к уничтожению старого порядка и рождению нового общества; революционные крестьяне убивают сборщика налогов и захватывают землю.

Материальная основа крестьянских недовольств является ключевым обстоятельством для поиска альтернативы революции. Ни у одного правительства нет шансов удовлетворить требования бунтующих студентов. Но правительство может, если возьмется за это, существенно повлиять на условия сельской жизни, с тем чтобы снизить склонность крестьян к бунту. В то время как в городе реформы могут служить катализатором революции, в деревне они могут быть ее альтернативой.

Материальный характер причин крестьянских волнений помогает понять противоречивость в оценке поведения крестьян. Городской интеллектуал из среднего класса лелеет надежды, которые никогда не могут быть реализованы, и потому постоянно находится в состоянии некоторого возбуждения. Его роль не вызывает сомнений. Крестьянство же может быть и бастионом статус-кво, и передовым отрядом революции. Какую из ролей оно изберет, зависит от того, насколько система удовлетворяет его непосредственные экономические и материальные нужды, как он их понимает. Эти нужды фокусируются обычно на условиях владения землей и аренды, на налогах и на ценах. При справедливых и благоприятных для жизни условиях землевладения революция маловероятна. При несправедливых условиях, когда крестьянин живет в бедности и страданиях, а власти не принимают срочных мер для исправления положения, революция весьма вероятна, если не неизбежна. Нет социальной группы более консервативной, чем крестьяне, владеющие землей, и более революционной, чем крестьяне, не имеющие достаточно земли либо вынужденные платить слишком высокую арендную плату. Таким образом, стабильность правительств в модернизирующихся странах в определенной степени зависит от их способности обеспечить земельную реформу[35].

Интеллектуал — отчужден; крестьянин — недоволен. Цели интеллектуала, соответственно, имеют тенденцию к расплывчатости и утопичности; цели крестьянина конкретны и связаны с перераспределением. Последнее обстоятельство превращает крестьян в потенциальных революционеров: для удовлетворения нужд крестьян необходимо лишить землевладельца собственности. Это конфликт с нулевой суммой: что одна его сторона теряет, другая приобретает. В то же время тот факт, что цели крестьянина конкретны, означает, что правительство, достаточно сильное, чтобы обеспечить некоторое перераспределение земельной собственности, иммунизирует тем самым крестьян против революции. Материальные уступки в адрес интеллектуального среднего класса вызывают озлобление и чувство вины; материальные уступки крестьянам — удовлетворение. Таким образом, земельная реформа, как посредством революции, так и без

нее, превращает крестьянство из потенциального источника революции в фундаментально консервативную социальную силу.

Земельная реформа в Японии после Второй мировой войны стала для японских крестьян прививкой против социалистических идей и превратила их в самых надежных и лояльных сторонников консервативных партий. В Корее организованная американцами в 1947–1948 гг. раздача земель, принадлежавших прежде японцам, «очень способствовала снижению нестабильности, подорвала как реальное, так и потенциальное коммунистическое влияние на крестьян, побудила их к участию в выборном процессе и породила ожидания, что земли, принадлежавшие местным землевладельцам, тоже будут перераспределены — ожидания, которые в дальнейшем оправдались». В Индии земельная реформа, проведенная ИНК сразу после обретения страной независимости, сделала «владельцев земель и крестьян, обрабатывающих собственную землю, склонными к поведению, характерному скорее для их постреволюционных французских предшественников*, чем для крестьян русских или китайских. Возникла широкая база для мелкой земельной собственности и система, заинтересовывавшая крестьян в ее сохранении, а не просто эксплуатирующая их в целях быстрой индустриализации». В Мексике последовавшая после революции земельная реформа оказалась важным фактором политической стабильности, преобладавшей в стране после 1930-х гг. В Боливии земельная реформа, проведенная после 1952 г., превратила крестьян в фундаментально консервативную силу, поддерживавшую правительство в его борьбе с революционными группами. Как было отмечено в одном из исследований, «вопреки первоначальным революционным эксцессам, реформа не способствовала коммунизации страны. Представляется, что крестьянство, для которого владение землей стало его ставкой в процветании и стабильности страны, скорее служит фактором, сдерживающим более радикально настроенный рабочий класс». Случалось, что боливийское правительство использовало вооруженных крестьян для подавления городских бунтов и насилия. В Венесуэле, как и в Мексике и Боливии, земельная реформа сделала политический климат «более консервативным» и повысила «политическое влияние фундаментально консервативного сектора населения»[36].

О возможности консервативного эффекта земельной реформы говорил Ленин, когда комментировал те попытки перемен в земельной собственности, что предпринял Столыпин между 1906 и 1911 гг. Целью его было уменьшить роль крестьянской общины, или *мира*, развить частное землевладение и создать класс благополучных крестьян-хозяев, который

* После революции 1789 г.

бы служил стабильной опорой монархии. «Частная собственность, — говорил Сталин, — это гарантия порядка, потому что мелкий собственник будет фундаментом, на котором зиждется стабильность государства»[37]. Ленин прямо критиковал тех революционеров, которые утверждали, что эти реформы бессмысленны. В 1908 г. он заявил, что столыпинская конституция и столыпинская аграрная политика «знаменуют новую фазу развала старой полуфеодальной системы царизма, новый шаг в направлении ее трансформации в буржуазную монархию... Если это будет продолжаться очень долго... мы будем вынуждены отказаться вообще от какой-либо аграрной программы. Говорить, что успех такой политики в России «невозможен» — пустая и глупая демократическая болтовня. Он возможен! Если политика Столыпина продолжится... аграрная структура России станет совершенно буржуазной, более сильные из крестьян захватят почти все земельные наделы, сельское хозяйство станет капиталистическим, и любое «решение» аграрной проблемы — радикальное или какое угодно — капитализм сделает невозможным».

У Ленина были весомые причины для тревоги. Между 1907 и 1914 гг. в результате столыпинских реформ около 2 000 000 крестьян вышли из общин и стали частными предпринимателями. К 1916 г. 6 200 000 из 16 000 000 семей, подпадавших под реформу, запросили отделения; в 1915 г. около половины крестьян в Европейской России имели собственные земельные участки с правом наследования. Как отмечает Бертрам Вулф, Ленин «видел ситуацию как соревнование: поспеют ли столыпинские реформы реализоваться раньше, чем произойдет восстание. Если бы восстание отложилось на пару десятков лет, новые земельные отношения так изменили бы село, что оно не было бы больше революционной силой... «Я не надеюсь дожить до революции», — говорил Ленин несколько раз в конце столыпинского периода[38]. Не сбылся этот прогноз в некоторой степени благодаря пуле, сразившей Столыпина в сентябре 1911 г.

Итак, представляется, что земельная реформа служит сильным фактором стабилизации политической системы. При этом, как и всякая реформа, она может потребовать некоторого насилия и также может сама его спровоцировать. Освобождение крепостных в России, например, вызвало ряд местных бунтов и актов крестьянского неповиновения. Однако, в отличие от реформистского экстремизма интеллигенции, эти вспышки насилия быстро улеглись. В 1861 г., когда вышел указ об отмене крепостного права, акты неповиновения были отмечены в 1186 хозяйствах. В 1882 г. таких актов было 400, в 1883-м — 386. К 1884 г. беспорядки, связанные с реформой, практически прекратились[39]. Такая последовательность событий — сначала острый и быстрый, хотя и невысокий, рост проявлений на-

силия, а затем устойчивый спад и сравнительно скорый возврат к спокойному состоянию — представляется типичной для земельных реформ. Как отмечал Кэрролл, земельная реформа «если это серьезно — дело взрывчатое и непредсказуемое, однако куда более взрывоопасная ситуация создается, если ее не провести»[40]. В плане политической стабильности цена земельной реформы незначительна и временна, в то время как положительный эффект — фундаментален и длителен.

В плане других критериев выгоды и невыгоды, связанные с земельной реформой, не столь ясны. Самый непосредственный эффект земельной реформы, особенно проведенной революционным путем, — это обычно снижение производительности и объема сельскохозяйственного производства. В дальнейшем, однако, и то и другое имеет тенденцию расти. После земельной реформы 1953 г. в Боливии крестьяне, ставшие хозяевами земли, явно не были заинтересованы в том, чтобы производить больше, чем потребляли сами, и продуктивность сельского хозяйства значительно упала, с тем чтобы вновь вырасти в 1960-х гг. В Мексике продуктивность сельского хозяйства сразу после революции тоже упала, но затем стала расти, и на протяжении 1940-х гг. рост этот был самым быстрым во всей Латинской Америке.

Экономический аргумент в пользу земельной реформы — это, конечно, то, что она создает у индивидуального фермера прямой экономический интерес в эффективном пользовании землей и тем самым создает тенденцию к повышению как производительности, так и объема производства. Ясно, однако, что сама по себе земельная реформа не обязательно дает экономические выгоды. Она должна сопровождаться другими аграрными реформами, направленными на более эффективное землепользование. Пока бóльшая часть населения занята сельским хозяйством, индустриальное развитие страны в большой степени отражает способность этого населения потреблять продукцию промышленности. Создавая класс мелких собственников и таким образом существенно повышая средний уровень доходов в сельской местности, земельная реформа, по мнению многих, расширяет внутренний рынок и создает дополнительный стимул для индустриального развития. С другой стороны, существует мнение, что, снижая среднюю площадь земельных угодий, реформа порождает также тенденцию к снижению возможности использования для роста эффективности сельского хозяйства крупного производства. Это сдерживает экономический рост в целом.

В определенной степени, возможно, земельная реформа действительно вносит вклад в экономическое развитие, как и в рост благосостояния народа и в политическую стабильность. Однако, как и в других аспектах модернизации, эти цели могут иногда вступать между собой в конфликт. В Египте, например, земельная реформа 1952 г. была задумана как инструмент фундаментальных социальных перемен в деревне и как «рычаг для подрыва господствующего класса». В пореформенные годы произошло множество положительных изменений в жизни сельского населения, индекс сельскохозяйственного производства вырос со 105 в 1951 г. (за 100 взят уровень 1935–1939 гг.) до 131 в 1958-м. Эти успехи, однако, были достигнуты ценой потерь в социальной сфере. Реформа «оказалась полезным инструментом для выполнения пятилетнего плана, но по ходу ее первоначальная концепция реформы как инструмента масштабного перераспределения доходов испарилась. Истинные социальные цели были подменены стремлением к экономической эффективности». Несмотря на технические достижения реформы, крестьяне «были разочарованы незначительным уровнем перераспределения доходов; процветал цинизм на почве уклонения от арендной платы»[41]. Для возрождения революционного духа и социальных целей земельной реформы в 1961 г. был принят новый закон, еще больше ограничивавший размеры сельскохозяйственных владений и ужесточавший другие статьи прежнего закона. Целью было, по словам Насера, завершить ликвидацию феодализма. Закон этот был одним из элементов значительного поворота влево, предпринятого тогда насеровским режимом. Пятью годами позже, в 1966 г., наступление на «феодализм» получило новый импульс, были предприняты усилия по более строгому применению закона. Этот египетский опыт показывает, что в той мере, в какой осуществление земельной реформы находится в руках бюрократии, экономические и технические цели берут верх над политическими и социальными. Чтобы последние оставались главными, власть должна периодически включать в действие политические процессы, дающие реформе новый импульс.

Политика земельной реформы

Формы владения землей, как известно, очень широко варьируют от страны к стране и от региона к региону. В Латинской Америке в целом относительно небольшое число латифундий покрывало большую долю общей площади обрабатываемых земель, в то время как на многочисленные «минифундии» приходилась лишь небольшая ее доля. При этом ни для больших землевладений, ни для мелких наделов не было характерно эффективное ведение хозяйства, и, разумеется, разрыв в доходах между собственниками первых и вторых был очень велик. В Азии землевладение не было, как правило, так концентрировано, более распространена была крестьянская аренда, а в крупных владениях — ведение хозяйства в отсутствии хозяина.

Более характерна для Азии и высокая плотность сельского населения. Ближневосточные страны в некоторых случаях (Ирак, Иран) характеризуются высокой концентрацией земельной собственности, а в других — распространенностью аренды. За исключением тропической Африки, объективные условия, общие для большой части модернизирующегося мира, так или иначе способствуют крестьянским волнениям. Похоже на то, что в ходе модернизации надежды крестьян будут расти и приближать момент, когда существующие условия становятся невыносимыми. Тем самым альтернатива — либо революция, либо земельная реформа — становится для многих политических систем очень реальной.

Влияние земельной реформы на политическую ситуацию в разных странах видно по таблице 6.2. Горизонтальная ось дает примерное представление о степени важности сельского хозяйства для экономики данной страны; вертикальная — выстраивает страны в зависимости от степени неравенства в распределении земельной собственности. Данные по этому пункту приводятся для разных стран на разные моменты времени, а иногда на два момента времени для одной страны. Под названиями большинства стран приведены данные по удельному весу аренды в сельском хозяйстве на указанный в скобках год.

Из этих данных создается впечатление, что земельная реформа не является насущной проблемой в четырех типах стран. Во-первых, это страны с высоким экономическим развитием, где сельское хозяйство играет сравнительно незначительную роль, и поэтому даже большая неравномерность землепользования не создает там существенных проблем в плане социального равенства и политической стабильности. Это касается почти всех стран в левой колонке. Даже в такой стране, как Аргентина, где большое неравенство в размерах земельных владений сочетается с высокой долей аренды, земельные проблемы не играют большой роли, поскольку в сельском хозяйстве там занято менее 30% рабочей силы. Италия тоже сочетает большое неравенство в размерах хозяйств и распространенность аренды, но проблема касается в основном южных районов, и правительство предприняло довольно эффективные действия для ее решения. Так или иначе, для стран этой категории земельная реформа не представляется политической проблемой первого порядка.

Во-вторых, это множество стран, давно уже достигших приемлемого баланса в распределении земельной собственности. Многие страны Западной Европы, оказавшиеся в группах G и J, входят в эту категорию, как и в категорию стран, для которых сельское хозяйство не имеет первостепенного значения. Хотя точные и позволяющие адекватное сравнение данные трудно получить, к этой категории можно отнести и по крайней мере

Таблица 6.2. Склонность к крестьянским волнениям

Распределение сельскохозяйственных земель: индекс неравенства Джини	Доля рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве		
	0–29%	30–59%	60% и более
0,800 и выше	A Австралия — 93(48)* Аргентина — 86(52) 33(52)** Италия — 80(46) 24(30)	B Мексика — 96(30) Чили — 94(36) 13(55) Венесуэла — 91(56) 21(50) Коста-Рика — 89(50) 5(50) Эквадор — 86(54) 15(54) Колумбия — 86(60) 12(60) Ямайка — 82(43) 10(43) Уругвай — 82(50)	C Боливия — 94(50) 20(50) Ирак — 88(58) Перу — 88(50) Гватемала — 86(50) 17(50) Бразилия — 84(50) 9(50) Сальвадор — 83(50) 15(50) Египет — 81(52) 12(39)
0,700–799	D Новая Зеландия — 77(49) 22(50) Пуэрто-Рико — 74(59) 4(59) Великобрит. — 71(50) 45(50) США — 71(50) 20(59)	E Доминиканская Республика — 79(50) 21 (50) Куба — 79(45) 54(45) Испания — 78(29) 44(50) Греция — 75(30) 18(39) Австрия — 74(51) 11(51) Панама — 74(61) 12(61)	F Гондурас — 76(52) 17(52) Никарагуа — 76(50) Ливия — 70(60) 9(60)
0,500–699	G ФРГ — 67(49) 6(49) Норвегия — 67(59) 8(50) Люксембург — 64(50) 19(50) Нидерланды — 61(50) 53(48) Бельгия — 59(59) Франция — 58(48) 26(46) Швеция — 58(44) 19(44)	H Мексика — 69(60) Тайвань — 65(30) 40(48) Финляндия — 60(50) 2(50) Ирландия — 60(60) 3(32) Филиппины — 59(48) 37(48) Филиппины — 53(60)	I Ю. Вьетнам — 67(35) 20(50) Египет — 67(64) Иран — 65(60) Индия — 63(54) 53(31) ЗападныйПакистан — 61(60) Индия — 59(61) Восточный Пакистан — 51(60)
0,499 и ниже	J Швейцария — 49(39) 19(44) Канада — 49(31) 7(31) Дания — 46(59) 4(49)	K Япония — 47(60) 3(60) Тайвань — 46(60) Польша — 45(60)	L Югославия — 44(50)

Источник: Bruce M. Russett et al., *World Handbook of Political and Social Indicators* (New Haven, Yale University Press, 1964), Tables 50, 69, 70; Hung-chao Tai, «Land Reform in Developing Countries: Tenure Defects and Political Response» (Неопубл. работа, Harvard University, Center for International Affairs, 1967).

* Индекс Джини и дата.

** Фермы на арендованных землях в процентах от общего количества ферм, и дата.

некоторые из модернизирующихся стран — скорее всего, Кипр, Ливан, Турцию, Таиланд и Индонезию.

Третья категория состоит из стран, где традиционный общинный тип земельной собственности только начинает уступать место собственности индивидуальной. Речь идет в основном о Центральной Африке. В определенном смысле эти страны находятся в фазе, предшествующей той, что характеризует модернизирующиеся общества, где общинная собственность, если когда-то существовала, сменилась некоторое время назад индивидуальной, а затем и концентрацией земли в руках относительного меньшинства. В зависимости от того, как идут процессы такой индивидуализации, эти африканские страны могут избежать проблем, которые вызываются неравенством в распределении сельскохозяйственных земель и с которыми мучается так много модернизирующихся стран.

Наконец, четвертая категория стран, для которых земельная реформа не составляет слишком заметной проблемы, состоит из тех, где недавно в ходе революции или как-то еще были проведены эффективные, радикальные реформы. Сюда входят все коммунистические страны, осуществившие коллективизацию, а также Польша и Югославия, внедрившие формы индивидуальной земельной собственности, отличающиеся высокой степенью равенства в ее распределении. Если говорить о некоммунистических странах, то земельный вопрос как весомую политическую проблему сняли после Второй мировой войны, по крайней мере на время, Япония и Тайвань. В определенной степени сходные результаты принесли революции в Мексике и Боливии, хотя для первой остается проблемой неэффективность тамошних *ejido** и тенденция к перераспределению собственности.

Во всем остальном модернизирующемся мире земельная реформа остается серьезной политической проблемой. С большой вероятностью можно предсказать, что вопросы реформы будут критическими для политики семи стран, составивших группу С. Здесь высокая степень неравенства сочетается со значительной долей рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве. В 1950 г. Боливия имела, наверное, самый высокий в мире уровень неравенства (индекс Джини) и в то же время значительную долю арендного земледелия. В 1952-м там грянула крестьянская революция. В 1958 г. Ирак тоже отличался высокой степенью неравенства во владении землей; и в том же году ориентированная на модернизацию военная хунта сбросила старый режим и запустила программу земельных реформ. В Сальвадоре и Перу, характеризовавшихся таким же неравенством, реформаторские правительства при активной поддержке США направили в 1961 и 1964 гг.

* Ejido — крестьянская община (в Мексике).

значительные усилия на проведение земельных реформ. В 1954 и 1964 гг., соответственно, попытки серьезной земельной реформы были предприняты в Гватемале и Бразилии, однако они были пресечены вмешательством военных. В Египте реформы Насера снизили индекс Джини с 0,81 в 1952-м до 0,67 в 1964 г. Во всех шести названных странах, кроме Боливии, земельная реформа оставалась в середине 1960-х большой проблемой.

Очень похожа ситуация в группах B и F, а также в других странах, где 30 и более процентов населения были заняты в сельском хозяйстве и 20 и более процентов хозяйств работали на арендной основе. Таковы, например, Доминиканская Республика, Куба, Тайвань, Филиппины, Южный Вьетнам и Индия. Интересно, что в двух из них — Кубе и Тайване — были проведены значительные реформы, при этом на Тайване уровень неравенства упал с 0,65 в 1930-х до 0,46 в 1960 г. Остальные 20 стран с высоким уровнем неравенства и (или) большой долей аренды (группы B, C и F минус Боливия плюс Доминиканская Республика, Испания, Филиппины, Южный Вьетнам и Индия) — это, предположительно, те места на карте, где земельная реформа остается особенно острым политическим вопросом. К ним следует добавить и страны (такие, как Марокко, Сирия, Эфиопия), по которым нет данных относительно структуры земельной собственности, но о которых известно, что распределение земельной собственности там очень неравномерно, или просто, «по факту», известно, насколько высока там политическая цена этого вопроса. Во всех этих странах долговременная стабильность политической системы с большой вероятностью может зависеть от способности правительств провести земельные реформы.

При каких же условиях земельная реформа осуществима? Как и любые другие реформы, изменения в характере землепользования требуют концентрации власти и расширения сферы ее действия. Говоря конкретнее, они предполагают, во-первых, сосредоточение власти в руках новых элит, ориентированных на реформы, и, во-вторых, мобилизацию крестьянства и его организованное участие во внедрении реформ. Исследователи процессов земельной реформы пытаются время от времени вводить различие между «реформой сверху» и «реформой снизу». На самом деле, однако, успешная земельная реформа предполагает активность с обеих сторон. Эффективность земельной реформы, связанной с революцией, объясняется, очевидно, именно этим: концентрацией власти в руках революционной элиты и быстрой политической мобилизацией крестьянства. В случаях, подобных боливийскому, крестьяне захватывают землю и организуются в национальные крестьянские союзы, а новая правящая элита издает закон о земельной реформе, который закрепляет их права и учреждает административные структуры, необходимые для проведения реформ.

Если предполагается, что традиционные элиты — это элиты землевладельческие, прореформенная инициатива сверху должна идти от какой-то новой элитной группы, способной поломать политически укорененную систему интересов и взять власть, достаточную для того, чтобы обеспечить законодательное принятие и реализацию земельной реформы вопреки сопротивлению значительного числа землевладельцев. По самой своей природе земельная реформа предполагает некоторый элемент конфискации. Она может иметь форму прямой экспроприации земли государством, без какой-либо компенсации, как это происходит в случае революции. Возможна компенсация на уровне той цены земли, которая установлена в целях налогообложения и которая обычно гораздо ниже ее рыночной стоимости. Возможна компенсация в форме ценных бумаг или других формах отложенного платежа, где реальные выплаты обычно резко уменьшены инфляцией и нестабильностью правительств, берущих на себя обязательства. Единственное исключение из практики частичной или полной конфискации — это те счастливые страны, где, как, например, в Венесуэле или Иране, была возможна, так сказать, «нефтяная земельная реформа» — то есть там, где источником существенной компенсации были доходы от нефти. Во всех остальных случаях земельная реформа предполагает насильственную передачу собственности из одних рук в другие. И это обстоятельство делает земельную реформу самым серьезным — и самым трудным — из того, что берет на себя правительство, взявшееся за модернизацию.

Готовность землевладельцев к утрате собственности в результате земельной реформы, не столь радикальной, как революция, варьирует в прямой зависимости от того, насколько неизбежной альтернативой этому представляется утрата ее именно в результате революции. Помимо этого, способность правительства провести земельную реформу может варьировать в прямой зависимости от степени концентрации собственности. При высокой концентрации большие земельные массивы для перераспределения могут быть получены через экспроприацию очень богатого меньшинства, которое вполне может быть способно позволить себе такую потерю. Если же земельная реформа требует лишить собственности гораздо более широкий класс землевладельцев средней руки, кулаков, правительство сталкивается с более серьезной проблемой.

Устранение традиционной землевладельческой элиты может проходить разными путями и осуществляться новыми элитами разного происхождения. В случае революционной реформы значительная часть землевладельческой элиты устраняется посредством физического насилия либо эмигрирует в страхе перед насилием. Политическое лидерство осуществляет при этом городская интеллигенция, создающая новые политические институты и поддерживающая действия крестьян соответствующими декретами о земельной реформе. В мире земельная реформа чаще всего проводилась именно революционным путем.

Второй по эффективности путь земельной реформы — из-за рубежа. Иностранец так же мало привязан к существующему укладу, как революционер, и если последний легитимизирует действия взбунтовавшихся крестьян, то действия иностранца легитимизируются оккупационными властями. В обоих случаях реформа становится возможной благодаря вторжению новых элит и новых масс в недоступную для них ранее политическую жизнь. Иностранцы обычно не устраняют полностью традиционную элиту от власти, но подчиняют ее колониальным либо оккупационным властям. Перемены в землепользовании, которые приносил с собой колониализм, состояли обычно в смене традиционной общинной собственности индивидуальным землевладением западного типа. Как было отмечено выше, это часто приводит к концентрации земли в руках относительно малого числа собственников. Лишь в редких случаях колониальные правительства проявляют заинтересованность (как это было в случае американского правления на Филиппинах в 1930-х гг.) в более равномерном землевладении.

Другое дело — военная оккупация. После Второй мировой войны США провели в Японии одну из самых эффективных земельных реформ современности. Процент арендаторов и частичных собственников (т.е. крестьян, арендующих 50 и более процентов обрабатываемой ими земли) был снижен с 43,5 до 11,7; часть сельскохозяйственного дохода, приходящаяся на аренду, доход от вложений и заработную плату, была снижена до 4%; компенсация, выплаченная землевладельцам за их землю, рассчитывалась по ценам 1938 г., что было, учитывая резкую послевоенную инфляцию, равносильно конфискации. В Южной Корее американское военное правительство провело одну реформу, состоявшую в перераспределении земель, принадлежавших японцам, а затем местное правительство провело другую, направленную на перераспределение земель, принадлежавших корейцам. В 1945 г. полные или частичные арендаторы составляли там 67,2% всего сельского населения, а в 1954-м их было только 15,3%. Как и в Японии, класс богатых землевладельцев был практически ликвидирован, и была достигнута высокая степень равенства в размерах земельной собственности в масштабах всей страны. Выглядит парадоксом тот факт, что самые радикальные земельные реформы после Второй мировой войны были проведены благодаря либо коммунистической революции, либо американской оккупации.

Похожая картина наблюдается и на Тайване. В качестве «оккупационных властей» здесь выступила китайская националистическая элита, ко-

торая сбежала на остров от коммунистов, захвативших материковый Китай. Реформа снизила процент земель, обрабатываемых арендаторами, с 41,1 в 1949-м до 16,3% в 1953 г. и значительно улучшила условия аренды и страховки арендаторов[42]. Участие крестьян во внедрении этой программы поощрялось американскими советниками и поддерживалось Объединенной китайско-американской комиссией по перестройке сельского хозяйства, финансируемой из американских источников.

В некоторых случаях земельная реформа инициируется традиционными лидерами и проводится в рамках существующих властных структур. Условием здесь служит высокая концентрация власти. Типичной является ситуация, когда абсолютный монарх при поддержке элементов своей бюрократии навязывает реформу сопротивляющейся земельной аристократии. Освобождение крестьян Александром II, столыпинские реформы, реформы Амини–Арзанджани в Иране в 1961–1962 гг. могут служить примерами перемен, осуществлявшихся через традиционные политические институты. Это, можно сказать, крайние варианты «реформы сверху», и, соответственно, главная проблема таких реформ — мобилизация устойчивой активности со стороны самого крестьянства.

Другие традиционные системы лишены способности не только мобилизовать поддержку снизу, но и направить на цели реформы те ограниченные силы, на которые они могут опереться внутри самих себя. В таких обстоятельствах реформа требует либо настоящей революции, либо свержения традиционного режима, основанного на власти землевладельческой элиты, настроенными на модернизацию военными. Второй вариант особенно характерен для Ближнего и Среднего Востока. Он был реализован в Египте, Ираке, Пакистане и отчасти в Сирии. Случай Египта ярко иллюстрирует многие черты, общие для разных вариантов аграрного развития. До XIX в. большая часть земель находилась здесь во владении государства или религиозных обществ. Модернизаторские реформы Мухаммеда Али* поощряли частную собственность и привели в конечном итоге к большой ее концентрации. В результате «к концу столетия узкая прослойка крупных землевладельцев оказалась резко отделена от массы феллахов»[43]. Со времени Первой мировой войны до 1952 г. египетский парламент и правительство отражали преимущественно интересы крупных землевладельцев, среди которых первым был сам король. Крестьяне оставались пассивны, и в отсутствие настоящей буржуазии и автономного городского среднего класса там не было каких-то еще социальных групп, способных бросить вызов гос-

* Мухаммед Али (1769–1849) — паша Египта с 1805 г., основатель династии, правившей до 1952 г.

подству землевладельцев. Даже самые радикальные группы не придавали большого значения проблеме земельной реформы. Египетские коммунисты, например, хотели ликвидации крупного землевладения, но «аграрный вопрос в целом не занимал важного места в их политической и социальной борьбе. Даже в 1940-х гг., когда деятельность коммунистов была легальной, их главное периодическое издание, «Аль-Фаджр аль-Джадид», вообще практически его не затрагивало. В отличие от большинства других партий, коммунисты не имели корней в египетской деревне». Однако в течение 1940-х гг. другие группы и реформаторы начали выдвигать земельный вопрос на передний план общественного сознания. В свою очередь, военному перевороту 1952 г. предшествовали события, которые можно рассматривать как начало настоящей аграрной революции. «В 1951 г. впервые в современной египетской истории произошло несколько крестьянских волнений, в которых феллахи выразили солидарную позицию против землевладельцев». Впервые вообще феллахи решились на захват земель и насилие[44]. В июле 1952 г. к власти пришел военный режим; в сентябре он издал закон о земельной реформе.

И наконец, можно представить себе проведение земельной реформы политической партией, пришедшей к власти демократическим путем. Меры этого рода были приняты демократически избранными правительствами в Индии, Филиппинах, Венесуэле, Чили, Перу, Колумбии и некоторых других странах. Однако демократический путь земельной реформы долог, полон фрустраций и часто невозможен. Плюралистическая политика и парламентское правление часто несовместимы с эффективной земельной реформой. В частности, парламентская система без явно доминирующей партии лишена инструментов, с помощью которых можно эффективно ослабить консервативных землевладельцев. В модернизирующихся странах законодатели более консервативны, чем исполнительная власть, и в парламентах там часто доминируют интересы землевладельцев.

Существует элемент фундаментальной несовместимости между парламентской формой правления и земельной реформой. В Пакистане, например, при парламенте реформа не продвигалась на протяжении десяти лет, но была быстро принята и проведена в жизнь, когда власть захватил генерал Айюб Хан. В Иране в меджлисе тоже доминировали землевладельцы, и, чтобы сделать земельную реформу реальностью, пришлось приостановить деятельность парламента и провести соответствующий закон через референдум. «Парламенты, хорошие или плохие, представляют препятствие для реформы», — ворчал премьер-министр Амини[45]. В Египте, как и в Пакистане, законодательство по земельной реформе не сдвигалось с места до тех пор, пока традиционный режим, т. е. король и парламент, не был свергнут На-

сером и его военной элитой. В Эфиопии закон о земельной реформе, предложенный правительством в 1963 г., был отклонен парламентом.

В Латинской Америке законодательные собрания также традиционно хоронили мероприятия земельной реформы. В начале 1960-х Бразильский конгресс, например, последовательно отказывался санкционировать такие мероприятия, предлагаемые президентом Гуларт*. В итоге они были введены в 1964 г. президентским декретом. В те же годы и в Эквадоре конгресс «отказывался от серьезного рассмотрения фундаментальных реформ, на которых настаивал президент Аросемена**, таких, например, как пересмотр налогового законодательства и земельная реформа»[46]. То же самое и перуанский конгресс в начале 1960-х отказывался провести законодательство по земельной реформе, предпочтя проигнорировать заем в 60 млн. долларов от США, предложенный на условиях принятия этих законов[47]. В Сирии в середине 1950-х сравнительно скромные предложении партии Баас*** по аграрной реформе были заторможены законодательным собранием, где доминировали интересы землевладельцев.

В Корее Временное законодательное собрание, действовавшее при американском военном правительстве в 1940-х гг., не предприняло действий по предложениям о земельной реформе. В результате «после долгих и бесполезных дебатов в Собрании [генерал] Ходж вынужден был издать распоряжение о земельной реформе односторонне». Затем, когда была создана Корейская Республика, парламент, в котором главной силой были землевладельцы, все-таки провел земельную реформу, чтобы утвердить верховенство своей власти по отношению к исполнительной. Президент Ли наложил вето на билль, но затем был принят другой, который президент санкционировал. В парламенте «землевладельцы были доминирующим меньшинством; их общие интересы были отражены в земельной реформе и даже в законе о правительственных служащих»[48].

Тенденция доминирования землевладельческого элемента в парламентах тех модернизирующихся стран, где существует система конкурентных выборов, отражает отсутствие там эффективной политической организации. Бóльшая часть населения живет там в сельской местности, и поэтому природа режима определяется тем, как протекают выборы именно в этих районах. В отсутствие эффективных партий, крестьянских союзов и других политических организаций главным политическим ресурсом является экономический

* Жоао Гуларт (1918–1976) — президент Бразилии в 1961–1964 гг.

** Отто Аросемена Гомес (р. 1911) — временный президент Эквадора в 1966–1968 гг.

*** Баас — общеарабская партия, выступавшая за единство всех арабских народов. В Сирии приняла название Партии арабского социалистического возрждения (1954 г.)

и социальный статус. Традиционные элиты пользуются им, чтобы обеспечить себе подавляющее большинство в парламенте. В некоторых случаях этому способствуют сами парламентские процедуры. В Бразилии, Перу и других латиноамериканских странах число парламентских мест определяется в зависимости от численности населения регионов, но право голоса имеют лишь грамотные. Благодаря этому незначительное число сельских избирателей из высших классов контролирует большинство мест, принадлежащих сельскохозяйственным регионам. В некоторых странах Ближнего Востока ситуация прямо противоположная: консервативные землевладельческие группы оказывали давление, с тем чтобы увеличить представительство неграмотных крестьян. Они были уверены в своей способности контролировать их голоса и обеспечить себе их политическую поддержку благодаря своему экономическому и социальному влиянию.

Демократические правительства могут осуществить земельную реформу там, где существует энергичная и популярная исполнительная власть, а также сильные партийные организации, которые представляют группы населения, заинтересованные в завоевании крестьянских голосов. В Венесуэле Ромуло Бетанкур*, действуя совместно с организационно сильной партией «Демократическое содействие» и крестьянскими союзами, добился в 1960 г. принятия закона о земельной реформе. Однако даже при этих благоприятных обстоятельствах парламент оставался главным бастионом оппозиции, и пришлось прибегнуть к мерам не вполне парламентского свойства. Была создана внепарламентская комиссия по земельной реформе, которая после длительных слушаний, консультаций и исследований разработала предложения. Затем они были выдвинуты на рассмотрение законодательного собрания и с незначительными изменениями «продавлены» проправительственным большинством. «Комиссия представляла собой сначала соединение представителей всех политических партий, философий и большинства венесуэльских групп, имеющих отношение к сельскому хозяйству. Таким образом, оказалось возможным привести весь спектр политических членений к консенсусу относительно окончательной версии предложений комиссии»[49]. По существу, законодательный процесс был перенесен из неблагоприятной парламентской среды в более благоприятную среду слушаний в комиссии по земельной реформе. Успех земельной реформы создал ситуацию активного состязания между политическими партиями за популярность в крестьянской среде. «Скупка голосов, — как заявил один из венесуэльских деятелей в сфере земельной реформы, — это хорошая политика. Лучше нет»[50]. Колумбийс-

* Ромуло Бетанкур (1908–1981) — президент Венесуэлы в 1945–1948 и в 1959–1964 гг.

кая земельная реформа 1961 г. была проведена похожим способом. Тоже была создана внепарламентская комиссия, однако, в отличие от реформы венесуэльской, законопроект был подвергнут длительному рассмотрению и дальнейшей доработке в парламенте.

В Индии законодательство по земельной реформе было исторической целью конгресса и его лидеров. К тому же первая фаза реформы, упразднение *заминдаров*, была частью процесса национального освобождения. Правовой статус *заминдара* был создан англичанами в XIX в., и упразднение этой категории землевладельцев можно было рассматривать как символ конца британского владычества. С такой же легкостью, с какой иностранные правители лишают собственности местных землевладельцев, местные правители лишают собственности иностранных или таких, чье право на владение собственностью представляется вытекающим из иностранного источника. (Имеется в виду ситуация, когда землевладельцы иностранного происхождения не могут рассчитывать на интервенцию в защиту их прав.) В результате этого, однако, земельная реформа в Индии продвигалась очень медленно. Она была в юрисдикции законодательных собраний штатов, и на протяжении 1950-х гг. нигде, за исключением штата Уттар-Прадеш, собрания не приняли эффективного законодательства по земельной реформе. Законы, которые были приняты, пестрели дырами, делающими очень трудным для крестьян добиться осуществления своих прав и очень легким для землевладельцев уйти от исполнения своих обязанностей.

Еще в одной демократической стране Южной Азии, на Филиппинах, земельная реформа претерпела такую же, если не худшую, судьбу. Восстание Хукбалахап* и активность Магсайсая вынудили филиппинских законодателей провести в 1955 г. закон о земельной реформе. Закон этот, однако, был полон прорех. Некоторое представление о его неэффективности дает сдержанный комментарий из отчета ООН в 1962 г.: «Даже если бы закон был полностью введен в действие, большие площади разрешенного землевладения способствовали бы сохранению широких масштабов аренды. Меры обеспечения реформы представляются недостаточными, и арендаторы предпочитают сохранять хорошие отношения с семьями землевладельцев вместо того, чтобы пользоваться преимуществами, которые дает им закон»[51]. Слабость закона побудила президента Макапагала оказать давление для принятия в 1963 г. другого закона.

В любой политической системе для проведения эффективной земельной реформы необходимо, чтобы какая-то группа элиты порвала с аг-

* Хукбалахап — партизанская армия, воевавшая в 1942–1945 гг. против японских оккупантов. Во главе ее находились коммунисты.

рарной олигархией и провела необходимое законодательство. В авторитарной системе инициативу в проведении земельной реформы может взять на себя монарх, диктатор либо военная хунта. В демократической системе с сильными политическими партиями эту роль могут взять на себя лидеры правящей партии. В отсутствие сильных партий, заинтересованных в земельной реформе, для принятия необходимого законодательства обычно требуется раскол в рядах высших экономических классов и поддержка реформы со стороны промышленных и коммерческих кругов, как и со стороны «прогрессивных» землевладельцев. Например, принятие на Филиппинах в 1963 г. закона о реформе стало возможным благодаря промышленникам и среднему классу, поддержавшим законодательство как необходимый элемент в общей программе экономического развития. На самом деле президент Макапагал, формулируя свои аргументы против сохранения арендного земледелия, упирал больше именно на нужды экономического развития, чем на социальную справедливость. Законопроект встретил значительное сопротивление законодателей, однако в конце концов прошел. Отмечалось, что «сопротивление конгресса переменам в формах землепользования было ослаблено тем, что землевладельцам приходилось делить власть с промышленными группами»[52].

Та же самая тенденция проявилась в Латинской Америке. Конфликт интересов промышленников, «прогрессивных фермеров и сельскохозяйственных дельцов», с одной стороны, и «полуфеодальных» землевладельцев, с другой, способствовал принятию в 1961 г. колумбийского законодательства по земельной реформе. Тот же самый конфликт в Перу способствовал принятию законопроекта 1964 г. В бразильском штате Сан-Паулу закон 1961 г. об аграрных преобразованиях был отчасти результатом того факта, что «сильные новые средний и высший классы городского населения могли оказать значительное влияние на земельную политику»[53]. Представляется, что в отсутствие сильной политической организации, способной провести законодательство по земельной реформе вопреки сопротивлению землевладельческих групп, осуществление этой цели требует союза с промышленными и коммерческими лидерами.

«Начало всякого предприятия, — сказал однажды Мустафа Кемаль, — требует действия сверху вниз, а не снизу вверх». Многие исследователи земельной реформы говорят противоположное: реформа может быть осуществлена только посредством позитивного действия и требований крестьянства. На самом деле, однако, в том, что касается земельной реформы, ни одна из этих крайних позиций не представляется верной. Реформа может быть результатом инициативы как со стороны правящей элиты, так и со стороны крестьянских масс. Если не революция, то волнения

и вспышки насилия в сельской местности и организация крестьянских союзов, способных предъявить властям эффективные и скоординированные требования, обычно ускоряют принятие законодательства о реформе. Восстание Хукбалахап в 1940-х и начале 1950-х гг. сделало возможным филиппинский земельный закон 1955 г. Захваты земель крестьянами в районе Куско и рост влияния крестьянских организаций помогли принятию закона о земельной реформе в Перу в 1964 г. В Венесуэле захват земель в конце 1950-х способствовал принятию закона о реформе 1960 г. В Колумбии закон об аграрной реформе, который был принят в 1930-х гг., изначально, как это обычно и бывает в случае революционных правительств, представлял собой легитимацию уже осуществленных крестьянами земельных захватов. Образование национальных крестьянских организаций в Чили и Бразилии в 1961 г. дало толчок тем элементам в обоих правительствах, которые были заинтересованы в продвижении реформы.

В то же время реформа движется не только снизу. В большинстве стран арендаторы и безземельные крестьяне не обладают умениями и организацией, необходимыми для того, чтобы крестьянство могло стать эффективной политической силой. Оно больше склонно пользоваться слабостью власти, чтобы захватить землю, чем пользоваться ее силой, заставляя политических лидеров работать на благо крестьян. Даже в такой стране, как Филиппины, бедные фермеры и арендаторы были в 1960-х гг. лишены эффективной организации и не играли большой роли в принятии закона о реформе 1963 г. В результате этого во многих случаях реформа оказывается исключительно делом элит при отсутствии давления со стороны крестьян. Однако в предвидении такого давления в начале 1960-х гг. в Колумбии «социальная группа, которой предстояло извлечь из закона наибольшую для себя пользу — т. е. мелкие колумбийские фермеры–арендаторы, издольщики, владельцы «минифундий»* и безземельные сельскохозяйственные рабочие, — играла лишь незначительную и косвенную роль в его принятии». Происходили кое-где захваты земель, но в очень небольшом масштабе. В Венесуэле необходимым катализатором довольно умеренных захватов земель была идеологическая приверженность Бетанкуру и его лидерство. В Иране со стороны крестьян вообще не было насилия или иного беззакония. Здесь, как и в Колумбии, лидеры, проводившие реформы, были озабочены не теми слабыми проявлениями насилия, что были в прошлом, а угрозой большого насилия в будущем. «Я не собираюсь выступать в роли предсказателя беды, — заявил один колумбийский законодатель, — но, если следующий конгресс не проведет аграрной реформы, революция неизбежна». Премьер-министр Амини предупреждал иранскую элиту: «Разделите свои земли, не то получите революцию — или смерть»[54].

* «Минифундий» — мелкие земельные участки по контрасту с крупными — «латифундиями».

«Земельная реформа, — отмечал Нил, — не делает из крестьян новых людей. Это новые люди делают реформу»[55]. В отсутствие революции новых людей представляют обычно иные классы, чем крестьянство. Тем не менее эффективность земельной реформы, кто бы ее ни инициировал, зависит от активного и в конечном счете организованного участия крестьян. Не обязательно начало реформ связано с мобилизацией крестьян, однако, чтобы увенчаться успехом, реформа должна стимулировать их мобилизацию и организацию. Законы о реформе становятся эффективны, только когда они институциализованы в организациях, цель которых — сделать реформы эффективными.

Для того чтобы реформа стала реальностью, необходимы две формы связи между правительством и крестьянами. Во-первых, правительство должно практически во всех случаях создавать и адекватно финансировать новую административную структуру, хорошо укомплектованную сильными специалистами, преданными целям реформы. В большинстве стран, где проблема реформы является критической, министерства сельского хозяйства представляют собой слабые, сонные чиновничьи образования, мало заинтересованные в модернизации и реформе, часто обслуживающие господствующие в агросекторе интересы. Пассивная бюрократия может свести реформу к нулю. Согласно одному исследованию, например, провал земельной реформы в некоторых районах Индии произошел по двум причинам: «одна — плохое законодательство, и другая — негативное отношение правительственных чиновников на государственном, региональном, провинциальном и деревенском уровнях. За исключением Алигарха*, нигде не было серьезных попыток внедрить принятое законодательство о земельной реформе»[56]. Практически все успешные земельные реформы были связаны с созданием института аграрной реформы. Там, где такой институт не был создан, как в Индии, реформы были, как правило, неэффективны. Кроме того, часто необходимо мобилизовать значительные административные силы для внедрения реформы на уровне самой сельской местности. Японская земельная реформа потребовала участия 400 000 человек для покупки и передачи 2 000 000 гектаров и для того, чтобы переписать 4 000 000 договоров о земельном владении. На Тайване реформа потребовала участия 33 000 чиновников. На Филиппинах и в Иране в помощь проведению реформы была призвана армия[57].

* Алигарх — город на севере Индии в штате Уттар-Прадеш.

В то же время в Индии в начале 1960-х гг. земельной реформой специально занималось только 6000 служащих.

Второе условие земельной реформы — это организация самих крестьян. Концентрированная власть может предложить необходимые для реформы законы, но только власть, распространенная на все население, может претворить эти законы в жизнь. Для принятия закона участие крестьян может и не требоваться, но оно необходимо для его внедрения. В демократических странах существует особенно большая вероятность того, что закон о реформе принимается из уважения к общественному мнению или из идеологических соображений; но он остается без применения по причине отсутствия крестьянских организаций, которые бы активно способствовали его применению. В Индии бытовало мнение, что «причина неудачи в развитии деревни состоит в том, что тут недостаточно администрирования, нужна организация. Администрирование может быть взято на себя правительственными службами, но развитие деревни — задача политическая. Администрация не может ее решить»[58]. Чтобы обеспечить жизненность земельной реформы, необходимы крестьянские союзы, ассоциации, кооперативы. Каковы бы ни были их номинальные функции, сам факт организации создает новый центр силы в деревне. Демократическая наука ассоциации, по Токвилю, включает в сельскую политику новый ресурс, выступающий противовесом социальному статусу, экономическому богатству и образованию, которые были главным источником власти землевладельческого класса.

Таким образом, создание крестьянских союзов является делом политическим и осуществляется политическими партиями, заинтересованными в мобилизации народной поддержки и посредством таких организаций крепко привязывающими крестьян. Практически все сильные политические партии в модернизирующихся странах тесно связаны с крестьянскими организациями. Служа интересам партийных лидеров, эти организации одновременно служат крестьянам. Как явствует из одного сравнительного анализа, «любой рост влияния крестьян имеет тенденцию к консервативному воздействию на национальное правительство, поскольку, будучи мелкими собственниками, крестьяне высоко чтут частную собственность. Но самый сильный фактор роста влияния крестьянских масс — это феномен организации типа синдиката, развивающийся параллельно аграрной реформе. Формирование таких групп интереса вполне может быть самым важным результатом многих реформаторских движений в деревне»[59].

Одним словом, реформа становится реальностью, только когда она подготовлена. Крестьянская организация — форма политического действия. Эффективные крестьянские организации рождаются из союза с эффективными политическими партиями.

7. Партии и политическая стабильность

Модернизация и партии

Политическое сообщество в современном обществе

Рождая новые роли, модернизация ведет к формированию более широкого и диверсифицированного общества, которое лишено «природного» связующего начала, характерного для большой семьи, деревни, клана или племени. Границы этого более широкого модернизирующегося общества часто задаются такими внешними обстоятельствами, как географические случайности или колониализм; в результате оно представляет собой общество «плюралистическое», включающее в себя различные религиозные, расовые, этнические и языковые группы. Сходная ситуация может существовать и в традиционном обществе, однако слабое участие его членов в политической жизни нивелирует проблемы, которые такой «плюрализм» создает для интеграции. Когда же социальная активизация захватывает низы всех этих групп, антагонизм между ними нарастает. Проблема интеграции первичных социальных сил в рамках общенационального политического сообщества становится все более и более трудной. Модернизация также порождает и пробуждает к политическому самосознанию и активности группы, которые либо вообще отсутствуют в традиционном обществе, либо исключены там из политики. Они могут входить в политическую систему, а могут и стать источником антагонизмов и революций. Таким образом, формирование в модернизирующихся обществах политического организма предполагает как «горизонтальную» интеграцию различных групп, так и «вертикальную» инкорпорацию социальных и экономических классов.

Общий фактор, делающий национальную интеграцию и политическую инкорпорацию проблемой, — это вызываемое модернизацией расширение политического сознания и активности. Государствам со стабильным балансом между участием граждан в политической жизни и институциализацией при низком уровне того и другого грозит дестабилизация, если расширение политической активности не сопровождается развитием политических институтов. Поскольку вероятность этого низка, такие общества, скорее всего, нестабильны. И наоборот, там, где созданы современные политические институты, способные иметь дело с активностью населения, более высокой, чем существующая, общества, скорее всего, стабильны. Общества, где активность уже обогнала институциализацию, очевидно,

нестабильны, а такие, где существует баланс между двумя процессами при высоком уровне обоих, можно рассматривать как примеры подтвержденной стабильности. Это общества и политически современные, и политически развитые. Их институты демонстрируют способность включать в систему новые социальные силы и выдерживать повышенные уровни политической активности, вызванные модернизацией.

Таким образом, перспектива стабильности в обществах с низким уровнем политической активности связана в большой степени с характером политических институтов, которые имеют дело с проблемами модернизации и расширения активности населения. Главное институциальное средство организации и расширения политической активности — это политические партии и система их взаимодействия. В обществах с относительно развитыми политическими партиями, при том что уровень активности населения сравнительно низок (так было, например, в Индии, Уругвае, Чили, Англии, США и Японии), расширение политической активности не связано с таким риском дестабилизации, как в обществах, где партии организуются лишь по ходу модернизации. Вероятность стабильного развития в 1960-х гг. в Малайзии, например, где традиционные лидеры вплели местное этническое многообразие в единую партийную систему, была выше, чем в Таиланде, где практическое отсутствие политических партий лишило государство институционных механизмов включения новых групп.

Крестьяне большинства стран Латинской Америки в 1960-х гг. демонстрировали низкий уровень активности и идентификации с политической системой. Однако предположительная способность развитой партийной системы, какой обладала Мексика, справиться с этой проблемой была гораздо выше, чем у институционных автократий типа Парагвая. Общества, сочетавшие низкий уровень политической активности населения с режимом абсолютной монархии (как в Саудовской Аравии, Ливии или Эфиопии в 1960-х), были предположительно нестабильны. То же представляли собой и Гаити при Дювалье, Доминиканская Республика при Трухильо, а ранее — Мексика при Диасе, которые не имели ни эффективных традиционных, ни современных политических институтов. Проблемы, с которыми столкнулась американская политическая система в связи с интеграцией негритянского меньшинства в 1960-х, в принципе не отличались от проблем многих модернизирующихся стран. Она и раньше сталкивалась с подобными проблемами и демонстрировала способность их решать. Включение же каренов, тамилов, курдов или негров в бирманскую, цейлонскую, иракскую или суданскую политическую систему была куда более проблематична просто потому, что политические элиты этих стран не имели таких развитых и институциализованных процедур для подобных проблем.

Общества с развитыми традиционными политическими институтами могут достичь более высокого уровня политической активности посредством адаптации этих институтов к новым задачам. В определенный момент организация и структурирование возросшей политической активности населения требуют формирования политических партий, однако роль их вспомогательная: они здесь не столько заполняют институционный вакуум, сколько поддерживают институционные силы. Однако страны, позже других вступившие на путь модернизации, не имеют традиционных политических институтов, способных успешно адаптироваться к нуждам современного государства. Поэтому для снижения риска нестабильности, связанной с развитием политического сознания и активности народа, строительство современных политических институтов, т.е. партий, необходимо здесь на первых же этапах модернизации.

Характерная проблема стран поздней модернизации состоит в том, что вопросы, которые страны ранней модернизации решали последовательно в течение длительного промежутка времени, они должны решать одновременно. Это обстоятельство, однако, представляется не только проблемой, но и благоприятной возможностью. Оно, по крайней мере, дает элитам возможность выбора проблем, которые надо решать в первую очередь. То, что для стран ранней модернизации определяла история, для запаздывающих может быть предметом сознательного выбора. Опыт и тех и других подсказывает, что раннее внимание к вопросам политической организации и заблаговременное создание современных политических институтов благоприятствует стабильному процессу модернизации. «Ищи сначала политическое государство, а все остальное приложится». Политическая деградация Ганы высветила последствия отхода Нкрумы от собственного принципа. Проблема, однако, в том, что политическое государство нельзя найти, его надо создать.

Относительный успех коммунистических государств в отношении политического порядка в значительной степени объясняется тем приоритетом, которым пользовалось там сознательное строительство политической организации. Одной из функций нэпа в Советском Союзе было создание условий для реконструкции и укрепления партии, для стимулирования ее кадров перед тем, как в 1930-е гг. сосредоточить усилия на индустриализации страны и коллективизации ее сельского хозяйства. Большевики были правы, уделяя внимание в первую очередь совершенствованию политической организации, с помощью которой им предстояло управлять Россией. В результате этого уже в 1923 г. «был заложен фундамент партийного контроля над жизнью страны, были установлены: усовершенствованная система контроля за назначениями, позволившая поставить доверен-

ных и хорошо проверенных людей на ключевые позиции во всех партийных организациях; строгая партийная дисциплина, обеспечившая подчинение местных руководителей центру, а рядовых членов местных парторганизаций — центральным руководителям; и, наконец, господство партии над институтами государства»[1].

Далее, одновременно с расширением контроля аппарата над партией расширялся контроль партии над промышленностью и культурой. К 1930 г. была создана политическая организация, которая смогла успешно провести индустриализацию, коллективизацию и войну и пережить их последствия. Такой же курс был проведен после 1949 г. Коммунистической партией Китая. Главный приоритет был отдан расширению партийного контроля над страной и укреплению партийной организации. Экономическое развитие стало первоочередной задачей только в конце 1950-х. Северная Корея также последовала этому образцу: «развитие корейских хозяйственных институтов запаздывало по сравнению с политическими, особенно в сфере торговли и сельского хозяйства. Внедрение советских политических форм было завершено к 1948 г., советизация же экономики растянулась до 1957 г. Только тогда частный сектор перестал играть существенную роль»[2].

В некоммунистических однопартийных государствах успешная модернизация также была связана с приоритетом, отданным политическим целям. В Турции Мустафа Кемаль, прежде чем заняться социальными реформами и экономическим развитием, создал национальный и политический базис общества. В Мексике период между революцией 1910 г. и 1940 г. тоже «был эрой развития ключевых предпосылок для наделения государства новой ролью. В течение этих 30 лет государство восстановило контроль над нацией; оно начало формировать для себя новую философию и новую роль в реализации ее целей; оно создало новые центры власти и новый набор институтов; оно начало пробовать силы в новых программах и новых подходах к проблемам кредита, транспорта, водных ресурсов и земельной аренды в сельской местности»[3].

Укрепление государства и развитие партийной организации в 1930-е гг. заложило фундамент для утроения мексиканского валового национального продукта в 1940 и 1950-х гг.

То же самое и в Тунисе, где неодестуровское правительство поставило на первое место национальную интеграцию и развитие политических институтов и лишь в 1961 г. перешло к развитию социально-экономическому. Тот же порядок приоритетов был выбран западным соседом Туниса. «Для Алжира, как и для Китая, экономическое развитие является задачей не номер один, а номер три. Первоочередная задача — строительство государства, следующая — формирование национального правящего класса. Для их решения, особенно второй, можно допустить регресс в третьей»[4]. В модернизирующихся обществах «строительство государства» значит отчасти создание эффективной бюрократии, но более важным является формирование эффективной партийной системы, способной структурировать участие в политике новых социальных групп.

Партии организуют политическую активность, и от характера партийной системы зависят темпы расширения этой активности. Стабильность и эффективность партии и партийной системы зависят как от уровня институциализации, так и от уровня активности. Высокий уровень активности при низком уровне институциализации ведет к аномии и распространению насилия. Однако и низкий уровень активности тоже снижает вес политических партий по отношению к другим политическим институтам и вообще социальным силам. В интересах политических лидеров — расширять политическую активность в той мере, в какой они способны поставить ее в партийные рамки. Партия, пользующаяся массовой поддержкой, очевидно, сильнее той, чья поддержка ограниченна. Так и партийная система, которая опирается на массы, сильнее, чем система, где рост политической активности связан с постепенным отходом партии от своей народной базы и превращением массовой организации в горстку политиков, не имеющих корней в населении. Политическая активность в отсутствие организации вырождается в массовое движение; организация без участия масс вырождается в персонализированную клику. Сильная партия сочетает высокий уровень институциализации с широкой опорой в массах. «Мобилизация» и «организация» — два этих лозунга коммунистической внутренней политики дают совершенно точную формулу сильной партии. Партия, сочетающая эти два принципа, достигает успеха и в модернизации, и в политическом развитии.

Таким образом, партии и партийные системы, в отличие от выборов и представительных ассамблей, или парламентов, выполняют в политической системе как динамические, так и пассивные функции. Выборы и парламент — это инструменты гражданского представительства, партии — инструмент мобилизации. Парламенты и другие виды выборных ассамблей совместимы с относительно статичным традиционным укладом. Сила тех групп, которые доминируют в социальной структуре, воспроизводится в рамках структуры парламентской. Наличие выборной ассамблеи не является само по себе признаком ни современности политической системы, ни ее готовности к модернизации. И выборы без партий воспроизводят статус-кво; это феномен консервативный, придающий подобие демократической легитимности традиционным структурам и традиционным лидерам.

Для них, кстати, характерна очень низкая активность избирателей. Выборы с участием партий создают механизм политической мобилизации в институционных рамках. Партии переводят политическую активность на электоральные рельсы. Чем сильнее партии, тем выше процент явки избирателей. Полдюжины яростно сражающихся кандидатов-«индивидуалов» вовлекают в выборы куда меньше людей, чем одна сильная партия без всякой реальной оппозиции. 99% участия населения в выборах в коммунистических странах служит свидетельством силы политических партий; 80% участия в Западной Европе есть результат высокого уровня партийной организации; 60%, характерные для Америки, отражают более рыхлую организацию партий.

Неустойчивость государства без партий

В сообществах традиционного типа нет партий; модернизация требует возникновения партий, но это вызывает сопротивление. Этому есть три причины. Консерваторы сопротивляются, потому что видят в партиях, с полным на то основанием, вызов существующей социальной структуре. В отсутствие партий политическое лидерство связано с позицией в традиционной социальной и институционной иерархии. Партии представляют собой инновацию, внутреннее несовместимую с властвованием элиты, базирующейся на наследовании, социальном статусе или владении землей. Консервативное отношение к партиям хорошо выражено в предостережении, сделанном Вашингтоном в 1794 г., что «самовозникающие общества... постоянно порождают недоверие, зависть и, конечно, недовольство» в народе, и, если этого не остановить, они разрушают управление страной[5].

Естественно, что правящий монарх склонен видеть в политических партиях силу, которая либо бросает вызов его власти, либо очень осложняет его усилия в направлении сплочения и модернизации страны. Попытки совместить монархическое правление с партийным почти всегда кончаются провалом. Приходится делать выбор между Болингброком и Бёрком; для индивида или группы, желающих совместить консервативную власть с модернизацией, первый вариант гораздо более привлекателен. Модернизирующий монарх обязательно видит себя «Королем-Патриотом», призванным «...не разводить партии, но править, как общий отец всего своего народа»[6]. Консервативные лидеры, не обладавшие монаршим саном — Сарит Танарат, Айюб Хан, Франко, Ли Сын Ман, — разделяли общее отношение к партиям, хотя могли быть вынуждены идти в этом плане на компромисс. Проблема в том, что государство без партий лишено и институционального инструмента устойчивых изменений, и смягчения шока от этих изменений. Его способность к политической, экономической и социальной модернизации сильно ограничена. «Режим без партий — это неизбежно режим консервативный», — как сказал Дюверже[7].

Консервативная оппозиция партиям в модернизирующемся обществе дополняется оппозицией административной. Чистый консерватизм равно отрицает аспект политической активности и аспект рационализации. Администратор, противящийся партиям, признает необходимость рационализовать социальные и экономические структуры. В то же время он против подразумеваемого модернизацией расширения участия народа в политике. Его идеал — бюрократия, цель — эффективность и избегание конфликта. Партии в его глазах лишь вносят иррациональные и своекорыстные мотивы, препятствующие эффективному преследованию целей, относительно ценности которых каждый должен быть согласен. Административный оппонент партий может носить самые разные одежды, но скорее это не гражданский костюм (mufti), а военная униформа.

Третий источник сопротивления партиям — те, кто допускает политическую активность, но не признает необходимость ее организовать. Это популисты в духе Руссо, приверженцы прямой демократии. Консерватор верит, что существующая социальная структура достаточна для того, чтобы обеспечить связь между народом и правительством. Администратор считает, что это обеспечивается бюрократией. Популист отрицает потребность в какой-либо структуре, связывающей население с политическими лидерами. Он проповедует «беспартийную демократию». Джайяпракаш Нарайян* — единомышленник Насера и Хайле Селассие в их отказе признать партии уместными для политики модернизации.

Консерватор видит в партиях вызов установленной иерархии; администратор — угрозу рациональному управлению; популист — препятствие выражению народной воли; но всех критиков объединяют некоторые общие темы. Наверное, самым эффектным и красноречивым образом их выразил Вашингтон, когда предостерегал против «подрывных влияний партийного духа» на американскую государственную систему. Партия, говорил он, «всегда отвлекает общественные советы и ослабляет администрацию. Она возбуждает зловредную зависть и ложные озабоченности, разжигает враждебность одних против других, иногда поднимает бунт и внутренние войны. Она открывает двери подрывным иностранным влияниям, которые, используя партийные страсти, добираются до самого правительства.

* Нарайян, Джайяпракаш — индийский политический деятель.

Тем самым политика и воля страны оказываются подчинены политике и воле другой страны»[8] .

Эти замечания Вашингтона очень точно выражают четыре главных обвинения против партий, которые мы слышим сегодня. Партии способствуют разложению и административной неэффективности. Они разделяют общество, противопоставляя одни его части другим и провоцируя конфликт. Как сказал Айюб Хан, партии «разделяют людей и смущают их дух». Они способствуют нестабильности государства и его политической слабости. Они открывают его внешним влияниям и проникновению враждебных сил. Если предоставить свободу развитию партий, по крайней мере одна из них станет, как сказал лидер одной из модернизирующихся стран, инструментом ЦРУ.

В аргументах против партий отражаются обстоятельства их происхождения на ранних стадиях политической модернизации. Это аргументы не столько против партий, сколько против слабых партий. Коррупция, общественная раздробленность и нестабильность, подверженность внешним влияниям — все это характеризует слабые партийные системы, но не сильные. Это общие черты политических систем, которые лишены стабильных институтов социального контроля. Партии действительно могут способствовать общественному разложению, но со становлением сильной партии разрозненные частные интересы заменяются институциализованным общественным интересом. На ранней стадии своего развития партии выступают как продукт раскола общества и как инструмент усугубления конфликта, но, набирая силу, они начинают выполнять роль пряжки, что скрепляет разные социальные силы и создает основу лояльности и идентификации, выходящих за границы местных группировок. Кроме того, упорядочивая процедуры преемственности лидерства и включения в политическую жизнь новых групп, партии оказываются скорее основой стабильности и плавных изменений, чем источниками потрясений. И наконец, если слабые партии могут вправду оказаться инструментом внешних сил, сильные в большой степени выступают в качестве институционных механизмов, защищающих политическую систему от такой опасности. То зло, что приписывают партиям, — это в действительности атрибут неорганизованной и деструктивной политики клик и враждующих фракций, политики, характерной для ситуаций, где партии либо отсутствуют, либо слишком слабы. Лечение состоит в развитии политической организации, и в модернизирующемся обществе политическая организация есть система партий.

Тем не менее широкое распространение недоверия к партиям есть свидетельство политики подавления партийной активности во многих модернизирующихся обществах. В глубоко традиционной политической системе элиты обычно пытаются предотвратить возникновение партий. Как профсоюзные организации и крестьянские ассоциации, партии там нелегальны. Иногда в таких системах смягчение запретов позволяет каким-то формам политических объединений выходить на поверхность, но в большинстве случаев традиционный правитель и традиционная элита стараются ограничить политические группировки внутриэлитными фракциями и кликами, действующими внутри бюрократии или законодательного собрания, если таковое существует. Так, например, в 1960-х гг. не было еще партий в Эфиопии, Ливии, Саудовской Аравии, Иордании, Кувейте и еще в некоторых из сохранившихся монархий, по большей части микроскопических. В других традиционных системах, таких, как Таиланд и Иран, партии в какой-то момент существовали, хотя и в очень слабой форме, но обычно были либо нелегальными (Таиланд), либо свирепо подавлялись (Иран). Во всех этих системах с развитием модернизации росла необходимость в организации политической активности. В ряде случаев эти системы проявляют все знаки современной стабильности, но те усилия, что прилагаются там для предотвращения развития политических партий, делают их априорно нестабильными. Чем дольше длится организационный вакуум, тем более взрывоопасным он становится.

В большинстве модернизирующихся обществ правительства время от времени проводят политику подавления партий. Иногда им позволяют формироваться либо в рамках традиционных парламентов, либо прямо в народе. Могут они возникать и в ходе борьбы с колониальным правлением. В дальнейшем могут прилагаться усилия для уменьшения их влияния и ограничения как политической активности населения, так и возможностей ее организации. В Марокко, например, монарх вновь утвердил свою власть после периода довольно интенсивного партийного развития. Чаще после того, как партии были ослаблены и раздроблены, власть захватывает военный диктатор и запрещает их, пытаясь править чисто административными средствами. В большинстве латиноамериканских стран в то или иное время партии были запрещены. То же самое и в Африке, и в Азии: в результате военных переворотов и свержения национальных лидеров, пришедших к власти с обретением страной независимости, партии запрещались. Обычно это сопровождается усилиями снизить уровень общественного сознания и активности. В Испании, например, Фаланга послужила ценным инструментом мобилизации и организации поддержки мятежников, как в ходе, так и непосредственно после гражданской войны. В дальнейшем, однако, франкистский режим предпочел политическую стабильность политической активности. В результате Фаланга утратила свое значение.

В странах, где партии подавляются, обычно существует социальная база для партий, представляющих собой нечто большее, чем просто клики или фракции, и имеющих корни в массовых и осознающих свои интересы общественных силах. Таким образом, продолжительные периоды подавления партий аккумулируют энергию, которая с концом авторитарного правления вызывает взрыв. С выходом подпольных, подавленных партий на поверхность происходит быстрая эскалация политической активности. Чем внезапней падение репрессивного режима, тем шире и многообразней спектр политической активности[9]. Такая экспансия активности обычно вызывает реакцию правого толка и новые попытки консервативных авторитарных сил подавить эту активность и восстановить политический порядок, опирающийся на узкие группы.

Для традиционного общества естественным является государство беспартийное. В случае модернизации беспартийное государство превращается в антипартийное. Предотвращение и подавление политической активности требует сознательных усилий. Все больше делается попыток найти партиям какую-то замену, разработать технику такой организации политической активности, которая бы уменьшила риск ее экспансии и подрывного эффекта. Чем более правительство модернизирующейся страны враждебно политическим партиям, тем больше вероятна будущая нестабильность этого общества. Военные перевороты гораздо более часты в государствах без партий, чем в любых других политических системах. Беспартийный режим — консервативный режим; антипартийный режим — реакционный режим. Чем дальше движется модернизация, тем более хрупка беспартийная система.

Сильные партии и политическая стабильность

Стабильность модернизирующихся политических систем зависит от силы их политических партий. В свою очередь, партия сильна в той мере, в какой обладает институциализованной поддержкой масс. Ее сила отражает масштаб этой поддержки и степень ее институциализации. Модернизирующиеся страны, достигшие высокого уровня реальной и ожидаемой политической стабильности обладают по крайней мере одной сильной политической партией. Партия Конгресса, Нео-Дестур*, Демократическое действие, Институционно-революционная партия, Мапай, Народно-демократическая

* Нео-Дестур — ведущая политическая партия Туниса. С 1964 г. — Социалистическая дестуровская партия.

Таблица 7.1. Перевороты и попытки переворотов в модернизирующихся странах с момента завоевания страной независимости

Тип политической системы	Число стран	Страны, где произошли перевороты	
		Число	Процент
Коммунистическая	3	0	0
Однопартийная	18	2	11
Одна партия доминирует	12	4	33
Двупартийная	11	5	45
Многопартийная	22	15	68
Нет действующих партий	17	14	83

Источник: Fred R. von der Mehden, *Politics of the Developing Nations* (Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1964), p. 65.

партия, Республиканская народная партия, TANU: каждая из этих партий была в какой-то момент образцом политической организации в модернизирующемся обществе. Мерой разницы в уровне политической стабильности между Индией и Пакистаном 1950-х гг. было различие в организационной силе между партией Конгресса и Мусульманской лигой. Различия в политической стабильности между Северным и Южным Вьетнамом на протяжении 10 лет после Женевы* определялись различиями в организационной силе между партиями Лао Донг**, с одной стороны, и Дай Вьет, ВКДД*** и Кан Лао, с другой. В арабском мире различия в политической стабильности между Тунисом, с одной стороны, и Восточным Средиземноморьем, с другой, были в большой степени отражением различия между широким охватом населения и высокой институциализацией, характеризовавшими Нео-Дестур, и высокой институциализацией при узкой базе Баас.

* Женевская конференция 1954 г., решения которой санкционировали суверенитет Вьетнама, Камбоджи, Лоаса, входивших во Французский Индокатай.

** Партия трудящихся Вьетнама (с 1976 г. Коммунистическа партия Вьетнама) — правящая партия с 1945 г. в Северном Вьетнаме (ДРВ).

*** ВКДД (VNQDD, Вьетнам Куок Дан Данг, «Вновь обретенное величие Вьетнама») — организация вьетнамских политэмигрантов, сторонников конституционной монархии, основанная в начале XX в. Дай Вьет — националистическая организация во Вьетнаме, взявшая название первого вьетнамского королевства, добившегося независимости от Китая в 939 г.

Подверженность политической системы риску военного вмешательства находится в обратной зависимости от силы ее политических партий. Такие страны, как Мексика и Турция, обзаведясь сильными политическими партиями, нашли тем самым путь к снижению вмешательства в политику военных. Снижение силы партий, фрагментация лидерства, размывание массовой поддержки, деградация организационной структуры, переключение внимания политических лидеров с партии на бюрократию, подъем персонализма — все это предвестники одного прекрасного момента, когда являются полковники и оккупируют столицу. Военные перевороты не разрушают партии; они просто ратифицируют факт их уже случившейся деградации. В Доминиканской Республике, например, партия Хуана Боша «начала разваливаться» с момента выборов, на которых он был избран президентом. В результате она «не оказала сопротивления полиции и вооруженным силам. Большинство ее лидеров превратилось по всем признакам в бюрократов, погруженных в технические и административные дела, связанные с реформой»[10]. То же самое относится и к насилию, бунтам и другим формам политической нестабильности; все это более вероятно в системах, лишенных сильных партий, чем в системах, обладающих ими.

Большинство модернизирующихся стран вне коммунистического лагеря не имели после Второй мировой войны сильных политических партий и партийных систем. Большинство партий были слишком молоды, чтобы быть по-настоящему способными к адаптации. Основное исключение представляли некоторые латиноамериканские партии и партия Конгресса в Индии. Большинство остальных были не просто молоды: их возглавляли основатели. Первейшим свидетельством институционной силы политической партии является ее способность пережить своего основателя — харизматического лидера, приведшего ее к власти. Способность партии Конгресса к адаптации выразилась в преемственности ее лидерства: от Банерджи и Безанта к Гокхале и Тилаку и далее к Ганди и Неру. Так и в Мексике переход лидерства от Кальеса к Карденасу утвердил Национальную революционную партию на пути успешной институциализации, прямо обозначенной последующей сменой ее названия на Институционно-революционную партию. Институционная сила Мапай была продемонстрирована тем фактом, что она смогла пережить не только уход Бен-Гуриона, но и его активную оппозицию. Партия тем самым убедительно показала, что она сильнее своего лидера. В отличие от Бен-Гуриона, Муньос Марин в Пуэрто-Рико сознательно сложил с себя лидерство в Народно-демократической партии именно для того отчасти, чтобы продвинуть ее институциализацию: «Выборы были началом, — сказал он, — я взялся доказать, что остров может обойтись без меня. Люди приучатся к идее институциализованной партии и научатся работать с Санчесом так же, как работали со мной»[11]. С другой стороны, слабые партии зависят от своего лидера. Смерть Сенанаяке на Цейлоне, Джинны и Али Хана в Пакистане и Аун Сана в Бирме оказались прямой причиной ускоренной дезинтеграции их политических партий. Тот факт, что в Индии смерть Ганди и Пателя* не имела таких же последствий для партии Конгресса, был связан не только с фигурой Неру.

Вторым аспектом силы партии являются развитость и глубина ее организации, особенно в том, что касается связей с такими социально-экономическими организациями, как профсоюзы и крестьянские ассоциации. В Тунисе, Марокко, Венесуэле, Индии, Израиле, Мексике, Ямайке, Перу, Чили и некоторых других странах такие связи очень усилили влияние и укрепили организацию главных партий. Заодно они породили обычные проблемы в плане отношений между организациями функционального и политического характера, и степень близости партии к профсоюзу или ассоциации варьировала от почти полной интеграции до аморфных эпизодических альянсов. Если партия идентифицировала себя только с одной социальной силой, она, конечно, проявляла тенденцию к утрате собственной идентичности и превращению в придаток этой группы. В случае более сильных партий лидеры профсоюзов и других функциональных групп подчинялись партийным лидерам, так что сфера политических решений оставалась монополией последних. Однако большинство партий в модернизирующихся странах не имели такой организационной опоры. Чаще всего они не могли рассчитывать на массовую поддержку рабочих и крестьян. Иногда партии или отдельные лидеры имели такую поддержку, но не развили организационной и институционной инфраструктуры, которая бы структурировала их опору на массы.

Третий аспект силы партии связан с тем, в какой степени политические активисты и люди, стремящиеся к власти, идентифицируют себя с партией, а в какой они видят в ней просто средство достижения иных целей. С партией за лояльность таких политически активных деятелей соревнуются традиционные социальные группы, бюрократия и другие партии. Консервативные партии, например, склонны больше опираться на социальную структуру и аскриптивные отношения и потому принимают организационные формы, менее автономные и слабее артикулированные, чем партии более радикальные, отвергающие наличную социальную структуру и борющиеся с ней. Как предположил Ф. Конверс, «в большинстве полити-

* Патель, Валлабхан (1875–1950) — один из крупнейших деятелей партии Конгресса в Индии.

ческих систем стресс в отношении групповой лояльности и сплоченности как таковых становится все более *явным* по мере того, как мы движемся от правого к левому краю партийного спектра»[12].

Во многих модернизирующихся странах с получением независимости политические лидеры переносят свою лояльность с националистической партии на правительственную бюрократию. По существу, речь здесь идет о подрыве их идеологической позиции колониальными нормами и политической переориентации с популизма к администрированию. Во многих африканских странах перед обретением ими независимости националистическая партия была единственной значительной организацией современного типа. Обычно она была «хорошо организована. В условиях политической борьбы, будучи связаны со своей партией как главным инструментом политических перемен, верхи партийной элиты отдавали большую долю энергии и ресурсов созданию крепкой и хорошо управляемой организации, способной на дисциплинированное действие в соответствии с директивами сверху, на разжигание недовольства в массах и на использование его в политических целях»[13]. Однако обретение независимости часто ослабляет правящую партию, вынужденную теперь распылять свои организационные ресурсы на множество конфликтующих целей. Такое распыление ресурсов означает снижение общего уровня политической институциализации. Как предупреждал один наблюдатель, «таланты, которые когда-то были направлены на партийную организацию как главнейшую цель, могут быть теперь заняты управлением каким-то министерством или правительственным учреждением... Если не найти новые источники лояльных организационных и административных талантов, партийная организация — а значит, и главная связь между режимом и массами — может быть ослаблена»[14]. В подобных ситуациях идентификация с партией носит преходящий характер и подрывается преимуществами, которые предлагает правительственный пост.

В развитых политических системах лидер редко меняет свою партийную принадлежность, и перемещение социальных групп и классов от одной партии к другой представляет собой сложный и длительный исторический процесс. Для некоторых же модернизирующихся систем очень характерно перемещение индивидов и групп между партиями. На Филиппинах, например, политические лидеры постоянно дрейфуют между двумя главными партиями. Для местных лидеров характерна смена партии в зависимости от того, кто выиграл национальные выборы, а национальные лидеры меняют свою партийную принадлежность в зависимости от выборных перспектив той или иной партии. Как сказал один лидер, «знаете, как это здесь, — это вам не Великобритания и не США. Здесь существуют только личные интересы и никаких партийных привязанностей. Мы меняем партии, когда этого требуют наши интересы. Все так делают»[15]. За неизменностью наименования партии легко увидеть постоянно меняющиеся коалиции политических лидеров.

Процессы партийного развития

Сильная система политических партий обладает способностью, во-первых, расширить политическую активность населения и таким образом предотвратить или преодолеть аномию или революционную активность и, во-вторых, смягчить активность новых групп, вступающих в политику, и направить ее таким образом, чтобы она не подрывала порядок. То есть сильная партийная система обеспечивает институционные формы и процедуры для вовлечения новых групп. Развитие в модернизирующихся странах таких институционных форм является предпосылкой политической стабильности.

Развитие партийной системы проходит через четыре фазы.

Раздробленность. В первой фазе и политическая активность, и ее институциализация слабы. Индивиды и группы расстаются с традиционными формами политического поведения, но еще не развили политических организаций современного типа. В политике участвует незначительное количество людей, соперничающих друг с другом в рамках широкого спектра слабых, переменчивых альянсов и группировок. Группировки эти недолговечны и бесструктурны. Обычно они представляют собой продукт индивидуальных амбиций в контексте личной и семейной вражды и союзов. Такие группировки могут рассматриваться как партии, но они лишены устойчивых организационных форм и социальной базы, т. е. черт, составляющих сущность партии. Сведения о 42 партиях в Корее, 29 в Южном Вьетнаме или 18 в Пакистане нельзя принимать за чистую монету. На самом деле речь идет о фракциях, которые очень похожи на политические клики, хунты, кланы и семейные группировки, которые преобладали на политической сцене Европы и Америки XVIII в. В американской политике 1780-х гг. «фракция фигурировала как часть электората, политической элиты или судебного сообщества, участников которой объединяло и противопоставляло другим фракциям параллельное действие или координация некоторой степени согласованности, но малой длительности. Клика... выступала как фракционная группа, отношения внутри которой базировались на семейных связях, на сильном лидере или на тесном союзе людей, связанных совпадением личных интересов. Обычно смерть или отход от дел центральной фигуры приводил к разрушению клики... Такая политика решающим обра-

зом зависела от личностей и личных отношений и была подвержена резким калейдоскопическим переменам»[16].

Этого же рода формы доминировали в XX в. в большинстве модернизировавшихся стран. Например, в Пакистане в 1950-х гг. «политическая партия... стала орудием личной политической карьеры. Когда старая партия не обеспечивала карьеры, формировалась новая. Партию создавали лидеры или группы, которые затем старались мобилизовать сторонников. Некоторые из партий формировались почти целиком из членов законодательного сообщества и представляли собой, по существу, временные парламентские группировки, целью которых было создание или ликвидация какого-нибудь министерства»[17].

То же самое и в Таиланде: существующие партии «имеют очень слабую, если вообще какую-то, организацию вне пределов законодательного собрания. В основном каждый член партии избирается в парламент в результате собственных усилий в своем регионе. Названия партий имеют случайный характер. Партии никогда не представляли каких-то реальных социальных сил, но состояли из клик и индивидов, действующих в верхах»[18].

В политических системах, имеющих законодательные собрания, фракции ориентированы на маневры в рамках этих собраний, а не на работу с гражданами. Это организации парламентского, а не электорального уровня. Создаются они обычно кандидатами, прошедшими в парламент, в среде самих законодателей, а не в населении в порядке организации поддержки того или иного кандидата на выборах. Выбираются кандидаты на основе их социального или экономического статуса и привлекательности. Таким образом, фракция или клика внутри парламента оказывается средством их объединения с другими политическими активистами, а не средством связи политических активистов с массами. В Корее после Второй мировой войны, например, кандидаты избирались как индивиды и присоединялись к партиям после того, как приезжали в Сеул для участия в законодательном собрании. Партии «возникали в столице в качестве фракций, обеспечивавших альтернативные, и при этом оппортунистически меняемые, пути к исполнительной власти». Даже в такой стране, как Нигерия, колониальное прошлое которой способствовало развитию настоящих партий, большинство кандидатов, избранных в законодательные собрания в 1951 г., выставлялись как независимые кандидаты, и только будучи избранными, входили в партийные фракции[19].

Таким образом, парламентская клика представляет собой допартийную фракцию, типичную для ранних стадий модернизации. В отсутствие парламента и института выборов преобладающая форма допартийной

фракции — революционный заговор. Как и в случае парламентских клик, заговорщицкие сообщества невелики, слабы в плане жизнеспособности и многочисленны. Как и клики, поначалу они лишены связей с какими-то существенными социальными силами. Интеллектуалы и другие участники таких заговоров организуются и реорганизуются через серии путаных перестроек и комбинаций. Несмотря на громкие названия и пространные манифесты, это не более чем все те же фракции. Можно сказать, что это — гражданский эквивалент подпольных хунт и клубов офицерства, задумавшего сменить существующий традиционный порядок. Если Англия XVIII в. являет прототип политики, действующие лица которой — парламентские фракции, Россия XIX в. — прототип политики революционных фракций. И как бы велика ни была разница, она не имеет принципиального характера. В одном случае фракции действуют внутри существующей системы, в другом — вне ее, однако в обоих случаях политическая энергия очень ограничена, а та, что имеется, очень фрагментирована.

Как и непартийная, фракционная или допартийная политика имманентно консервативна. Революционные фракции могут говорить о массах и действительно прилагать какие-то усилия, направленные на мобилизацию поддержки в населении, однако условия для нее здесь еще не созрели. Подобно народникам, все другие группы этого типа отторгаются тем самым населением, интересы которого они имеют в виду защищать. Они так же остаются изолированными в своих ячейках, как парламентские фракции изолированы в своих кабинетах. Борьба фракций, будь то парламентских или революционных, сама по себе имеет тенденцию к замкнутости. Это — бесконечные раунды маневрирования, с постоянной тасовкой партнеров и антагонистов и без появления новых участников.

Поляризация. Решающий поворот в эволюции политической системы происходит, когда политика вырывается из закрытого круга революционной или парламентской фракционности, в нее втягиваются новые социальные силы, и организованная связь фракций с этими силами образует партии. Перед тем, однако, как происходит такой «прорыв» и партия «принимает старт» в своем развитии, сам характер фракционной политики должен измениться таким образом, чтобы лидеры фракций почувствовали интерес к расширению своей политической базы. Когда политика состоит в борьбе множества групп, ни для одной из них нет большого резона в расширении участия населения в политической активности. Ключ к успеху в борьбе одной фракции с другой состоит в ее способности привлечь сторонников. Без поляризации политического поля каждая фракция пытается одолеть своих сегодняшних оппонентов, заключая союзы со вчерашними. Множественность групп и линий раздела побуждает участников вырабаты-

вать стратегию, направленную на перераспределение сил внутри системы, а не на рост ее общей мощи.

Последнее достигается слиянием и поляризацией фракций, что, в свою очередь, происходит либо посредством накопления расколов и разделением всей массы фракций на две более или менее стабильные группировки, либо с появлением какой-то доминирующей темы, которая перекрывает все остальные и тем самым тоже ведет к поляризации политического сообщества. Стоит одним основным его членам оказаться на одной, а другим на другой стороне противостояния, лидеры каждой из сторон оказываются подвержены сильному давлению в направлении расширения борьбы и привлечения на свою сторону дополнительных социальных сил.

Решающим здесь оказывается вопрос: в каких обстоятельствах закрытая система множественных расколов сменяется двусторонней поляризацией и широким вовлечением социальных сил? Ясно, что самый сильный стимул к поляризации существует в ситуации, когда какие-то из фракций стремятся к полному разрушению существующей системы. Как только оппозиция или революционные фракции прекращают борьбу между собой и концентрируются на борьбе с существующей системой — все готово для поляризации политики в разрезе истеблишмент—революционеры. Возможно, однако, появление доминирующих расколов и на почве парламентской фракционности. Очень легко они могут базироваться на отношении к традиционным источникам власти: виги против тори, люди короля против приверженцев власти народа. Кроме того, по мере модернизации общества растут требования к правительству, и главнейшей политической проблемой становится экономическая политика, которая бы отвечала на эти требования. Превращение программы экономической модернизации, выдвинутой Гамильтоном, в проблему парламентской политики не могло не вызвать поляризации мнений и слияния фракций. Политические коалиции могут также стимулироваться внешними социальными силами, стремящимися войти в систему. В таком случае главной проблемой становится отношение этих сил к политической системе.

Авторы работ о политике очень упирают на желательность расколов, идущих поперек основных и тем самым снижающих интенсивность общественного конфликта. Это — условие политической стабильности. Поляризация политических сил является, как мы отмечали в пятой главе, целью революционеров. Она обостряет политический конфликт. Однако в модернизирующемся обществе такая интенсификация конфликта может служить предпосылкой создания политической системы, построенной на широкой социальной базе. Если с революцией можно справиться посредством расширения влияния групп, уже участвующих в системе, она может быть мирной. Система с широкой политической активностью нуждается в разнонаправленном противостоянии интересов, которое предотвращает ее разрушение в борьбе между двумя массовыми движениями, приверженцами которых оказывается почти все население. Однако в обществе, где политически активна лишь небольшая часть населения, поляризация мнений и кумуляция расколов играет гораздо более конструктивную роль. Расширяется участие населения в политической жизни и развиваются связи между политическими фракциями и пробуждающимися социальными силами. В той или иной форме поляризация мнений является предпосылкой перехода от фракционности к партийной политике.

Экспансия. Сильная партия апеллирует к широким массам населения и привязывает эти массы к себе посредством эффективной организации. Политические лидеры стремятся к тому, чтобы достичь положительного отношения масс и развить такие организационные связи только тогда, когда это необходимо для достижения целей. Обычно это обладание властью и реорганизация общества. Таким образом, расширение политической активности и ее организация в рамках партийной работы являются продуктом интенсивной политической борьбы. Борьба эта связана обычно с усилиями, направленными на разрушение существующей системы либо, наоборот, на вхождение в нее.

В борьбе революционного или националистического типа целью политических активистов является разрушение существующего порядка либо освобождение от имперского владычества. Революционные и националистические лидеры стремятся к постоянному расширению своей социальной базы, чтобы обеспечить себе народную поддержку в борьбе с режимом. С той же самой целью они придают этой поддержке организованные формы и в результате создают политические партии. Все революции, как мы видели, связаны с расширением участия масс в политической жизни, успешные же революции связаны с созданием сильных политических партий, организующих это участие. То же самое и в случае продолжительной борьбы за национальную независимость. Националистические лидеры вначале действуют в рамках фракций на обочине имперской администрации. На этой стадии цели их часто разрозненны и внутренне противоречивы: ассимиляция, участие во власти, самоопределение, восстановление традиционных форм, полномасштабная независимость — все эти цели конфликтуют между собой. Со временем, однако, предмет борьбы упрощается, фракции вступают в коалиции, и на арену выходит «единое» национальное движение, опирающееся на широкую поддержку масс. Фракции, не желающие обращаться к массам, отбрасываются в сторону. В национальной борьбе политическая активность расширяется и принимает организованные формы. На этом «инкубацион-

ном» этапе необходимо, чтобы колониальные власти были готовы в течение многих лет разрешать национальные движения, предоставляя таким образом время для развития сознательности, необходимой борцам за независимость для институционного строительства. Обычно, однако, колониальные правительства склонны как можно дольше подавлять национальные движения и, лишь видя неизбежность предоставления стране независимости, сдаются и поспешно уходят. В результате получение независимости может пресечь политическое развитие.

В том типе партийного развития, который характерен для Запада, парламентские фракции, действующие внутри политической системы, сливались в более широкие группировки и затем начинали мобилизовывать поддержку новых социальных сил. Сдвиг от фракционной к партийной политике и растущая борьба партий были прямо связаны с ростом участия масс в политике[20]. Такая ситуация, когда две группы лидеров в рамках существующей системы берут на себя расширение этой системы, способствует наиболее плавной эволюции. Подобная опека делает включение новых социальных сил в систему более приемлемым. Однако расширение политической активности может быть долговременным, а организации, обеспечивающие его, эффективными, только если они являются продуктом соревновательной борьбы. Сильные однопартийные системы всегда возникают из националистического или революционного движения снизу, движения, вынужденного бороться за власть. Попытки создать однопартийную систему сверху, как мы видим на примере Насера, бесполезны: мобилизация и организация — процессы, смысл которых — захват или усиление власти. Авторитарные лидеры в этом, как правило, не нуждаются. По этой самой причине генерал Пак в Корее преуспел в том, что не удалось в Египте полковнику Насеру. То есть парадоксальный факт состоит в том, что двухпартийная система может быть создана сверху, в то время как однопартийная — только снизу.

Соревновательная борьба за расширение политической активности и организацию партий может быть результатом стремления какой-то социальной силы войти в политическую систему. В этом случае обычно создается политическая партия, действующая вне или на периферии политической системы и затем делающая попытки в нее войти. Многие из социалистических партий Западной Европы и несколько партий Латинской Америки имели именно такую историю. Вызов существующей системе часто стимулирует лидеров фракций, столкнувшихся с новой угрозой, вступать в союз с традиционными лидерами. Организация снизу стимулирует организацию сверху, результатом чего является тенденция к многопартийной системе, где каждая из значительных социальных сил обладает собственными средствами борьбы. Поскольку политическая элита играет в расширении активности масс меньшую роль, тенденция к насилию и конфликту здесь больше, чем в случае, когда за поддержку масс соревнуются лидеры, уже утвердившиеся в системе.

Институциализация. То, каким образом расширялось участие населения в политике, очевидно, определяет форму образовавшейся партийной системы. Антисистемный революционный или националистический вариант развития приводит в конечном счете к ликвидации старой политической системы и утверждению новой, где обычно доминирует или вообще существует лишь одна партия. Внутрисистемный процесс ведет, как правило, к ранней институциализации двухпартийной системы, в то время как процесс, построенный на вхождении в систему новых сил, с большой вероятностью порождает многопартийную систему. Стоит какой-то из этих форм на ранней стадии развития проявиться, возникает тенденция к ее институциализации в качестве постоянной. Дальнейшие изменения в характере партийной системы происходят обычно лишь в результате больших кризисов или фундаментальных общественных изменений.

В однопартийной системе процессы, определяющие правительственную политику и лидерство, происходят почти исключительно в рамках правящей партии. Могут существовать и мелкие партии, но они слишком малы, чтобы оказывать сколько-нибудь существенное влияние на то, что происходит в правящей партии. В середине XX в. однопартийные системы существовали в коммунистических государствах, в авторитарных режимах, существовавших, например, в Испании при Франко или националистическом Китае, в Тунисе, Мексике и почти во всех государствах Африки к югу от Сахары. При доминировании одной партии только она имеет возможность править страной, но при этом две или три оппозиционные партии, представляющие обычно какие-то специфические социальные силы, достаточно сильны, чтобы оказывать влияние на политический процесс внутри правящей партии. Короче говоря, правящая партия не монополизирует политику; она должна быть в определенной степени отзывчива к другим политически активным группам. В тот или иной период времени системы с доминированием одной партии существовали в Индии, Бирме, Малайе, Сингапуре, Южной Корее, Пакистане и некоторых африканских государствах.

В двухпартийной системе одна из партий может быть сильнее другой, однако здесь, в отличии от системы с доминированием одной партии, более слабая составляет оппозицию, достаточно значительную, чтобы быть реально способной на формирование альтернативного правительства. Правящая партия в системе с доминированием одной партии вполне может опираться на меньшинство населения, но фрагментация других по-

литических групп такова, что доминированию правящей партии ничего не грозит. В 1950-х гг. христианские демократы в Германии имели поддержку большей части электората, чем партия Конгресса в Индии, однако во втором случае мы имели систему с доминированием одной партии, поскольку у правящей партии не было серьезного соперника. В Германии же им были социал-демократы. В двухпартийных системах существуют и малые партии, они даже желательны здесь, поскольку служат инструментом политического баланса, однако сущностная характеристика системы состоит в том, что только две из партий способны сформировать реальное правительство.

Что же касается многопартийной системы, то здесь ни одна из партий не может самостоятельно сформировать правительство и вообще существенно возвышаться над другими. Одни партии могут быть больше, другие меньше, но формирование правительства требует коалиции нескольких партий, и несколько коалиций могут составить базис правительства. В этой ситуации партии могут входить в правительство, затем выходить из него, присоединяясь к оппозиции — и все это в результате не каких-то изменений их позиции в отношении электората, а перемен в позиции или амбиций их лидеров. Граница между многопартийной системой и системой с доминированием одной партии часто очень размыта. Довольно распространенный промежуточный тип — это когда одна из партий существенно больше других и располагается при этом ближе к центру политического спектра. Таким образом, она входит в любую правительственную коалицию, как это годами было с партией Мапай в Израиле и социал-демократами в Италии.

Адаптивность партийной системы

Авторы работ о политике тратят много слов, обосновывая сравнительные преимущества однопартийных систем и систем, построенных на политическом соревновании, для целей модернизации. Однако, если говорить о политическом развитии, важно не число партий, а сила и адаптивная способность данной партийной системы в целом. Предпосылка политической стабильности — партийная система, способная инкорпорировать новые социальные силы, возникающие в ходе модернизации. С этой точки зрения число партий имеет значение только в той мере, в какой это влияет на способность системы обеспечить институционные каналы, необходимые для политической стабильности. Проблема, следовательно, состоит в том, существует ли зависимость между числом партий и их силой в модернизирующихся странах, и если существует, то какова она.

В глобальном масштабе похоже на то, что сколько-нибудь существенной связи нет. Как видно из таблицы 7.2, сильные партии, как и слабые, могут существовать в любом варианте системы с точки зрения численности составляющих ее партий. Огрубленная классификация, сделанная на основе этой таблицы, по-видимому, подтверждается таблицей 7.3, которой Банкс и Текстер иллюстрируют связь стабильности партийной системы с числом в ней партий. Отсутствие нестабильных однопартийных систем может быть скорректировано, если принять во внимание африканские государства, где в 1960-х гг. произошли военные перевороты.

Таблица 7.2. Сила и число партий

Сила партии	Число партий			
	Одна партия	Одна доминирует	Две партии	Много партий
Сильная	Коммунистические режимы Тунис Мексика Тайвань Гвинея Танганьика Либерия	Индия Малайя Южная Корея Сомали? Боливия?	Великобритания Германия США Уругвай Ямайка Цейлон Филиппины Колумбия Гондурас	Нидерланды Скандинавия Италия Израиль Чили Венесуэла Перу Аргентина Бразилия Остальная Центральная Америка
Слабая	Другие страны Африки			

Таблица 7.3. Партийная стабильность и число партий

Число партий	Степень стабильности			
	Стабильны	Сравнит. стабильны	Нестабил.	Итого
Одна партия	19	4	0	23
Доминирующая партия	2	4	3	9
Полторы партии	2	0	0	2
Две партии	7	0	2	9
Много партий	11	2	13	26
Итого	41	10	18	69

Источник: Arthur S. Banks and Robert B. Textor, *A Cross-Polity Survey* (Cambridge, M.I.T. Press, 1963), p. 97–98, 101.

Таблица 7.4. Успешные перевороты в модернизирующихся странах: с 1945 г. или года получения независимости до 1965 г.

Система	Число стран	Страны, где произошел переворот	
		Число	Процент
Однопартийная	26	6	25
Доминирование одной партии	18	6	33
Двухпартийная	16	7	44
Многопартийная	20	17	85

Однако это явное свидетельство отсутствия значимой корреляции между числом и силой партий не отражает всей полноты картины. Связь между этими двумя факторами варьирует в зависимости от уровня модернизации. На высоких ее уровнях любое число партий может составить сильную систему. То же самое и на низком уровне: однопартийная система может быть и сильной, и слабой. Многопартийная же система всегда слаба. 12 стабильных многопартийных систем у Банкса и Текстора включают Израиль и 10 западноевропейских стран; две сравнительно стабильные системы представлены Италией и Коста-Рикой; 13 нестабильных многопартийных систем включают 10 латиноамериканских стран, две азиатские и по одной из Среднего Востока и Африки. Короче говоря, ни одна из модернизирующихся стран не имеет многопартийной системы. Единственное видимое исключение — Израиль — представляется сомнительным.

В модернизирующихся странах однопартийная система проявляет бóльшую стабильность, чем плюралистическая. В таких странах, например, многопартийная система более уязвима для вмешательства военных, чем система однопартийная или системы с доминированием одной партии и с двумя партиями. В 1965–1966 гг. во многих африканских странах действительно произошли военные перевороты, однако это не меняет общей картины обратной связи между числом партий и стабильностью системы. Как показывают данные таблицы 7.4 на 1966 г., однопартийные модернизирующиеся страны были наименее, а страны многопартийные наиболее склонны к военным переворотам. Конечно, и однопартийная система не застрахована от военного переворота, но многопартийной такие перевороты почти гарантированы. Все исключения связаны либо с промежуточными типами системы (Марокко, где в 1965 г. произошел переворот в пользу королевской власти), либо это страны с высокоевропеизированным населением (Израиль, Чили), где недавняя или старая иммиграция плюс историческая традиция способствовали воспроизведению более стабильных образцов многопартийной системы, характерных для континентальной Европы.

Один из приблизительных показателей адаптивной способности партийной системы — средний возраст составляющих ее партий. Чем он выше, тем, предположительно, выше институциализация системы и ее стабильность. В целом средний возраст главных партий в многопартийной системе, конечно, ниже, чем в одно- или двухпартийной. Можно, однако, сравнить формы, которые принимает партийная институциализация высокого уровня в модернизирующихся и модернизированных странах. Приблизительную границу между первыми и вторыми можно провести, используя критерий уровня грамотности. Граница проходит на уровне 70% грамотности взрослого населения. Среди 29 стран с высоким уровнем грамотности и старыми партиями (возраст главных партий 30 лет на 1965 г.) не было преобладания какого-то одного типа системы. В обществах с высоким уровнем грамотности высокоинституциализованная партийная система может иметь самые разные формы. В противоположность этому, 10 из 16 стран с низким уровнем грамотности и высокоинституциализованной партийной системой имели однопартийную систему или систему с доминированием одной партии. 6 имели двухпартийную систему и ни одна — многопартийную. Вновь проявляется то правило, что многопартийная система в модернизирующейся стране несовместима с высоким уровнем политической институциализации и стабильности. В таких странах многопартийная система — значит слабая система.

Причину такого положения вещей следует искать в различных формах адаптации, характерных для многопартийных систем, и в различиях между теми формами, в которых там выражается сила партий. В многопартийных системах сильные партии обычно более сплоченны и сложнее организованы, но в то же время менее гибки и менее автономны, чем сильные партии в двухпартийных системах. В сильных многопартийных системах существует тенденция к однозначному соответствию между социальными силами и политическими партиями. Профсоюзы, бизнес, землевладельцы, городской средний класс, церковь — все эти силы имеют собственных политических представителей, а для достижения компромисса и адаптации вырабатываются особые институционные средства. Сильная система такого вида может существовать только при высоком уровне мобилизации и политической активности. Если этого нет, социальные силы, активно проявляющиеся в политике, ограничены, и нет социальной базы для сильной

многопартийной системы. Те многопартийные системы, что существуют в подобных обстоятельствах, обычно отражают многообразие клик и семей в рамках ограниченной элиты. Слабая институциализация и узкая социальная база делает такие системы в высшей степени хрупкими. Таким образом, шаг от многопартийности к полному отсутствию партий оказывается столь же легким, как шаг в противоположном направлении. То есть отсутствие партий и многопартийность сходны в отношении своей институционной слабости.

Однако способность различного типа партийных систем к адаптации и расширению политической активности может варьировать с течением времени. Критической здесь является степень институциализации процедур для включения в систему новых групп. Практика свидетельствует, что двухпартийная система и система с доминированием одной партии лучше других с точки зрения длительной политической стабильности, поскольку они создают лучшие условия для состязания партий.

Стабильность однопартийной системы связана в большей степени с ее происхождением, чем с ее внутренней природой. Такая система является обычно продуктом националистической или революционной борьбы, которая способствует широкой мобилизации и институциализации. Однако, победив в этой борьбе, сильная партия создает однопартийную систему, которая устраняет те условия, что привели ее к победе. Стабильность системы оказывается, таким образом, функцией прошлого. Чем более интенсивной и продолжительной была борьба за власть и чем глубже идеологическая приверженность ее участников, тем выше политическая стабильность родившейся в ней однопартийной системы. Таким образом, однопартийная система, родившаяся в результате революции, более стабильна, чем система, наследовавшая национальному движению, а длительное национальное движение порождает систему более стабильную, чем та, что стала результатом быстрой и легкой победы. Можно действительно видеть, что, чем дольше борьба националистической партии за независимость, тем дольше она, победив, остается у власти. В Индии партия Конгресса существовала до момента своей победы 62 года; в Тунисе Нео-Дестур существовала к моменту победы 22 года; Мапай на момент, когда Израиль завоевал себе место в мире, было 18 лет. ТАНУ и ее предшественнице исполнилось 32 года, когда Танганьика стала независимой. Все эти партии оказались жизнеспособными после обретения страной независимости.

И наоборот, множество националистических партий, появившихся на сцет за несколько лет до независимости, которой они легко добились, после этого у власти как следует не укрепились. Многие африканские народы добились независимости так легко, что, по словам Эмерсона, «их революцию у них украли»[21]. Лишенные своей революции, они бывали лишены и ее плодов. Перспективы политической стабильности в Гвинее выглядели более радужными, чем в других французских колониях, потому в большой степени, что лидеры Демократической партии Гвинеи должны были мобилизовать своих последователей на борьбу с Францией до получения независимости и преодолеть враждебность метрополии после ее получения. Враждебность колониального правительства в отношении нового правительства может быть важным преимуществом для последнего. Отсутствие этого фактора не компенсируется ритуальными заклинаниями в адрес неоколониализма.

Таблица 7.5. Интитуциализованные партийные системы
(Процент партий, существующих на 1966 г. более 30 лет, среди основных партий)

Уровень грамотности	Тип системы				
	Однопартийная	Доминирование одной партии	Двухпартийная	Многопартийная	В целом
70% и выше	8	0	9	12	29
Ниже 70%	9	1	6	0	16
В целом	17	1	15	12	45

В однопартийной системе новая группа может войти в систему, очевидно, только влившись в партию. В этом смысле однопартийная система менее сложна, чем плюралистическая, и в ней меньше путей для включения новых социальных сил. Поэтому политические лидеры системы могут обладать высокой степенью контроля над мобилизацией новых групп. Они не испытывают конкурентного давления, которое бы вынуждало их расширить свое влияние и вводить новые группы в политику, с тем чтобы оставаться у власти. Способность лимитировать политическую мобилизацию или контролировать ее повышает их способность к «горизонтальной» интеграции этнических, религиозных и региональных групп. В состязательной партийной системе, наоборот, у каждой из партий существуют мощные стимулы к тому, чтобы привлечь одни и те же группы. В итоге, соревнование партий углубляет и усиливает существующие социальные расколы, мобилизация масс усиливает этническую и религиозную вражду.

В то же время стабильная модернизация является для однопартийной системы проблемой. Сила партии есть функция борьбы за власть. Ка-

кие у властвующей партии стимулы для поддержания высокого уровня мобилизации и организации? Какое-то время она может почивать на лаврах, пользуясь наследием прошлого; при высокой степени институциализованного и организованного участия народа в политической жизни это время может тянуться достаточно долго. Однако она лишена стимулов к борьбе, которые составляют долговременный базис политической стабильности. Какое-то время этот импульс может идти от раскола между партией и обществом. Идеология партийных лидеров обычно требует от них радикального изменения общества. Пока сохраняются традиционные структуры и островки сопротивления, существуют стимулы к усилению и организации партии. Она может, как это было в случае Коммунистической партии Советского Союза в 1920 и 1930-х гг., сосредоточиться на подрыве традиционных источников власти, богатства и статуса и на замене их структурами собственного изготовления, подчиненными ее контролю. Но, перестроив таким образом общество, она лишается противников, которые бы оправдывали ее собственное существование. Если, как это часто случается, ее идеологический порыв иссякает и между ней и обществом устанавливается мир, она тем самым лишается своего *raison d'être*.

В конечном счете борьба между партией и группами, действующими вне политической системы или в иной системе (имперская политика, традиционная иерархия), должна быть институциализована в рамках политической системы. Между тем оправдание однопартийной системы часто базируется на стремлении к отрицанию различий, к прекращению борьбы. Таким образом, продолжительная жизнеспособность однопартийной системы зависит от присутствия феномена, являющегося для лидеров системы настоящим проклятием. В отсутствие конкуренции между партиями ближайшим ее функциональным замещением в однопартийной системе является борьба между партийной иерархией и государственной бюрократией. Для этого, однако, требуется а) чтобы иерархии не совпадали и б) чтобы между ними существовал некоторый баланс власти. Кроме того, борьба между ними — это борьба между институтами, функции которых различны. Соответственно, формы и результаты этой борьбы больше похожи на вражду между исполнительной и законодательной ветвями президентской системы правления, чем на борьбу партий.

В 1920-х гг. однопартийные системы возникли в Турции и Мексике. Мексиканская система, возникшая в результате социальной революции, поначалу мобилизовала гораздо более широкий сегмент сельского населения, чем турецкая, которая была продуктом национального движения более ограниченного характера. Однако после 1946 г. Турция перешла к двухпартийной системе, в результате чего масштабы народного и особенно крестьянского участия в политике выросли разительно. В течение двух десятилетий перед 1946 г. мексиканская система гораздо лучше отвечала нуждам сельского большинства, чем однопартийная турецкая. Два десятилетия после 1946 г. представляли картину прямо противоположную: турецкая двухпартийная система оказалась более отзывчива к запросам сельского населения, чем мексиканская однопартийная. Революционный подъем в Мексике выдохся; в то же самое время в Турции разгорелось состязание за крестьянские голоса.

Помимо того что модернизация делает лидеров однопартийной системы менее заинтересованными в расширении политической активности и ее организации, она также умножает и разнообразит группы, стремящиеся к такой активности. Если лидеры пытаются вместить активность новых групп в рамки единой партии, расширение охвата, достигаемое таким образом, происходит за счет ослабления сплоченности, дисциплины и энергии партии. Если они, наоборот, отторгают новые группы от партии, они сохраняют партийную сплоченность ценой того, что ставится под угрозу монополия партии на политику и растет аномическое политическое поведение и насилие, подрывающее саму систему. Те однопартийные системы, что преуспевают в вовлечении новых социальных сил, часто показывают тенденцию к развитию побочных организаций формального или неформального характера, как это мы видим в случае мексиканской ИРП. Если они оказываются не способны ассимилировать новые социальные силы в рамках партии, однопартийная система либо прекращает существование (как в Турции после 1946 г.), либо поддерживается ценой повышенного насилия и нестабильности.

Однопартийная система черпает свою силу из борьбы с имперскими, традиционными и консервативными формами власти. Слабость ее идет от отсутствия институциализованного состязания внутри политической системы. Можно считать, что многопартийная система обеспечивает достаточную меру такой борьбы, и сделать из этого вывод, что она должна быть сильной политической системой. Мы, однако, видели, что этот вывод справедлив только в отношении высокомодернизированных обществ, где в политику вовлечен широкий спектр социальных сил. В модернизирующихся обществах многопартийные системы слабы. При этом предполагается, что соревнование способствует силе системы. Как объяснить такое противоречие? Ответ состоит, естественно, в том, что нет прямой связи между состязательностью и численностью партий. Ясно, что в однопартийной системе состязание невозможно, однако и в многопартийной оно имеет тенденцию быть ниже, чем в двухпартийной или в системе с доминированием одной партии. В последних лидеры активно состязаются в привле-

чении электората на свою сторону. В двухпартийной системе победа одной из партий означает поражение другой, поэтому каждая из партий кровно заинтересована в том, чтобы превзойти другую в мобилизации и организации приверженцев. В системе с доминированием одной партии ее лидеры тоже заинтересованы в том, чтобы минимизировать переход своего электората к малым партиям.

В многопартийной системе состязание обычно менее выражено. В слабой многопартийной системе, где партии только-только образуются из того, что было фракциями, множественность групп препятствует сколько-нибудь значительному мобилизационному эффекту. В многопартийной системе, где партии более твердо укоренены в социальных силах, каждая из них обычно имеет собственный круг избирателей, но соревнование партий за поддержку со стороны одних и тех же групп слабее, чем в случае двухпартийной системы или системы с доминированием одной партии. Каждая из партий обычно связана с определенным избирательским контингентом, всегда ее поддерживающим, твердо себя с ней идентифицирующим и, как правило, невосприимчивым к призывам других партий. Поэтому вовлечение в многопартийную систему новых социальных сил требует образования новых партий. Система в целом адаптивна, а ее отдельные компоненты — нет. В результате партии возникают и исчезают по мере изменения социальной структуры и состава политически активного населения. При своем возникновении каждая партия воспринимается как носитель прогресса и реформ, поскольку выражает она интересы новой силы, выходящей на поверхность социальной жизни. Однако, заняв свое место с политической системе, она меняется с изменениями в ее электорате и становится в конечном итоге рупором конкретных групповых интересов. Партийная система оказывается точным, и даже слишком точным, зеркалом общества, и ее части обладают минимальной независимостью от тех социальных сил, с которыми они связаны. Например, апристы в Перу в 1930-х были реформаторской партией, а в 1960-х оказались странным образом партией консерваторов. Перуанское общество изменилось, а партия продолжала выражать те же интересы, что выражала тридцать лет назад. В результате возникла новая реформаторская партия, апеллирующая на этот раз к прогрессивному среднему классу.

Состязание партий оправдывается обычно с точки зрения демократии, власти, отзывчивой к интересам народа, правительства большинства, но оно может оправдываться и такой ценностью, как политическая стабильность. Электоральное состязание между партиями имеет тенденцию расширять политическую активность населения и в то же время укреплять партийную организацию. Состязание этого типа повышает вероятность того, что новые социальные силы с новым политическим сознанием и целями будут мобилизованы на службу системе, а не против нее.

В системе с доминированием одной партии включение новых социальных сил проходит обычно через две фазы. Сначала новая группа выражает свои претензии к системе посредством малой партии, существующей в основном или в целом как выразительница интересов названной группы. С течением времени рост сторонников этой партии вынуждает доминирующую партию скорректировать свою политику и практику таким образом, чтобы включить лидеров и сторонников первой в свои рамки. В системе с доминированием одной партии лидеры малых партий не имеют шансов, чтобы прийти к власти, но они могут надеяться, что им так или иначе удастся поставить под вопрос власть доминирующей партии. Соответственно, политический вес и активность последней направляются прежде всего, чтобы отразить поползновения своего на данный момент сильнейшего оппонента. Если общественное мнение склоняется влево, доминирующая партия тоже сдвигается в этом направлении, чтобы минимизировать успехи малых партий. Если мнение склоняется в противоположном направлении, она делает то же самое. Малые же партии апеллируют к специфическим интересам и потому, как правило, между собой не конкурируют. Каждая по-своему состязается с доминирующей.

В Индии недовольство каких-то регионов поначалу выражалось часто через малые партии или непартийные движения, но затем партия Конгресса вводила главных выразителей этого недовольства в свою структуру. В Израиле выборы обычно вращаются вокруг борьбы между Мапай и ее на данный момент главным оппонентом; при этом Мапай адаптирует свою стратегию и свои лозунги таким образом, чтобы ослабить оппозицию. Та же картина проявилась в 1950-х в Нигерии на региональных выборах. Например, в 1957 г. НСНГ, вопреки сильной оппозиции католиков по образовательным вопросам, завоевала в парламенте Восточной провинции 64 из 84 мест. Независимые кандидаты все-таки получили почти 20% общего числа голосов. Руководство НСНГ ответило на этот вызов тем, что назначило католиков на 5 из 14 мест в региональном правительстве, хотя в предыдущем кабинете они имели только одно место. Таким образом, в системе с доминированием одной партии новые группы сперва выражают свои требования через партию, оказывающую давление на власть, или «партию давления», а затем входят в «партию консенсуса»[22]. Если они не ассимилируются доминирующей партией, они могут существовать на периферии главной партии как перманентные партии давления. Таким образом, система с доминированием одной партии получает своего рода «клапаны безопасности», через которые сбрасывается давление групп, выра-

жающих особые интересы, и одновременно предлагает мощные стимулы для ассимиляции таких групп в рамках главной партии, если похоже, что их требования находят широкий отклик в населении.

Обычно самое высокое давление в плане экспансии политической активности развивает двухпартийная система. Стимул к привлечению новых сторонников у той партии, что не у власти, очевиден: ей нужно для этого расширять свои электоральные территории, «окружать» противника. В Уругвае, например, соперничество между партиями Колорадо и Бланко оказалось причиной раннего (первая половина XX в.) и беспрецедентного для Южной Америки включения городского рабочего класса в политическую систему. Мобилизовав эту группу населения, Батлье* обеспечил доминирование партии Колорадо на всю вторую половину столетия. Однако проблемой двухпартийной системы является то, что очень быстрое расширение политической активности может создать серьезный раскол в системе. Может получиться так, что группы мобилизуются, но не ассимилируются. «Избыток демократии», или «повышенное участие народа» во власти, может, как рассуждал Д. Дональд в отношении США середины XIX в., подорвать силу правительства и его способность «справляться с проблемами, требующими тонкого понимания и деликатного обращения»[23]. В XX в. в модернизирующихся странах быстрое включение новых групп в политику в результате соперничества двух партий приводило к военным переворотам, направленным на ограничение политической активности и восстановление единства.

Заложенная в двухпартийной системе тенденция к быстрому росту политической активности вызывает иногда попытки ограничить этот рост. В Колумбии, например, в течение долгого времени две партии сознательно сдерживали соперничество, ограничивая его уровнем политической элиты. В 1930-х эта модель была ответом на вызов со стороны народа, требовавшего экономических улучшений. В конце 1940-х система рухнула под давлением неконтролируемого разгула насилия, и пришел военный диктатор. Этот диктатор, Рохас Пинилья, попытался сделать то, чего не смогла демократическая система, — провести социальные реформы и интегрировать в политическую систему новые группы. Как писал один наблюдатель, Рохас «двинул стрелки часов вперед в направлении улучшения социального положения масс. Уже самим своим акцентом на их благополучие он дал им статус и чувство собственного достоинства... В этом смысле, как это ни покажется парадоксальным, военный диктатор внес существенный вклад в ста-

* Хосе Батлье-и-Ордоньес (1856–1929) — президент Уругвая в 1903–1907 и 1911–1915 гг. Провел ряд социальных реформ.

новление демократии»[24]. Однако в 1958 г. Рохас был свергнут, и лидеры партий пришли к соглашению ограничить свое соперничество. Президент теперь должен был попеременно представлять то либералов, то консерваторов, и участие в правительстве и конгрессе разделялось между ними поровну. По словам другого эксперта, прибегнувшего к той же фигуре речи, в 1958 г. «партийные лидеры, казалось, во многих отношениях... перевели политические стрелки назад в 1930-е гг., к демократии американского типа, к ситуации, имевшейся перед тем, как левое крыло либеральной партии попыталось использовать поддержку извне элиты»[25]. Результатом этого соглашения было резкое сокращение активного электората и подъем новых движений и политических сил, а также возрождение партии Рохаса, апеллирующей к тем, кого господствующие партии игнорировали.

«Естественная эволюция обществ, — говорит Дюверже в одном из своих наиболее цитируемых и наиболее критикуемых трудов, — движется к двухпартийной системе»[26]. На самом же деле, что бы ни понимать под «естественностью» двухпартийной системы, она происходит не от природы или эволюции обществ, но от природы политической системы. Общественное мнение может действительно кристаллизоваться «вокруг двух противоположных полюсов», но оно может также быть очень фрагментированным, и многочисленность и многообразие социальных сил в модернизирующихся и современных обществах должно было бы сделать многопартийную систему гораздо более естественной, чем двухпартийную. Главное измерение поляризации социальных групп и сил в высокоинституциализованной политической системе разделяет тех, кто близок к власти, и тех, кто ее лишен. «Естественная» граница пролегает между правительством и оппозицией. Если политическая система слаба, лишена влияния и слабо институциализована, эта граница не очень ощутима, и поэтому импульс в направлении двухпартийной системы слаб. Там же, где власть сильна и авторитетна, у политических лидеров, по той или иной причине отчужденных от власть имущих, есть сильный стимул сотрудничать с последними, чтобы вернуться к власти. Для тех, кто хочет прийти к власти, естественно искать поддержку в социальных силах, недовольных или потенциально недовольных существующим порядком вещей. Естественная биполярность — не социальная, между левыми и правыми, а политическая, между допущенными к власти и отброшенными от нее.

Итак, двухпартийная система наиболее эффективна в том, что касается институциализации и уравновешивания поляризации, выступающей как первейший фактор развития партийной политики. В однопартийной системе политические лидеры господствуют над социальными силами. В многопартийной — социальные силы господствуют над партиями. Двух-

партийная система поддерживает наилучший баланс в этом взаимодействии. Партии состязаются за поддержку социальных сил, но каждая черпает ее у многих сил и таким образом не является творением лишь одной из них. В отличие от многопартийной системы, приход в политику новой социальной силы не обязательно требует создания новой партии. В отличие от однопартийной системы, привлечение социальной силы происходит не обязательно через единую политическую организацию. Выходит, что в двухпартийной системе есть определенная логика, но это политическая логика, а не социальная, и базируется она не только на преимуществах народовластия и демократических свобод, но и на потребности общества в политической стабильности.

Зеленое восстание: партийные системы и политическая активизация села

Партии и разрыв между городом и деревней

В модернизирующихся странах большинство населения, и зачастую подавляющее большинство, живет в сельской местности и занято в сельском хозяйстве. Кроме того, в большинстве модернизирующихся стран городское население растет значительно быстрее, чем сельское. В большой степени это — результат миграции людей из села в города. Сочетание этих двух обстоятельств, т.е. сельского большинства и роста городов, создает особый тип политической жизни. Растет разрыв в характере политических установок и поведения в городах и в сельской местности. Город становится постоянным очагом оппозиции политической системе. Стабильность правительства зависит от той поддержки, которую оно может мобилизовать в деревне.

Главной функцией политических партий и всей партийной системы в модернизирующихся странах является институционное обеспечение этой мобилизации. Политическая партия — современная организация; здесь она оказывается творением новых людей в сельском окружении. Партийные лидеры обычно принадлежат к кругам интеллигенции, имеющей образование западного типа и происходящей из среднего и имущего класса. В большинстве модернизирующихся стран, как, например, в Индии в 1950-х гг., партийные активисты рекрутировались «в большой степени в городах из чиновников, владельцев магазинов, специалистов с высшим образованием и других слоев среднего класса»[27]. Однако раз партии предстоит стать массовой организацией, а затем и устойчивой основой государства, она должна охватить своей организацией сельские районы.

Партия и вся партийная система служат институционным средством преодоления разрыва между городом и деревней. Идеальной партией была бы такая, к которой применимы слова Зейду Куйате: «политическая организация была плавильным горном, где соединялись крестьянин и городской житель. Она вытащила первого из его изоляции, излечила последнего от его презрения к «дикости» и добилась национального единения, из которого затем черпала свою силу. Пропасть, разделявшая город и деревню, была заполнена, и различные слои населения слились в единый поток, направленный на политические цели»[28].

Препятствия, которые стоят перед реализацией этого идеала, огромны. Партия — современная организация, но для достижения успеха она должна внести организованность в традиционную сельскую среду. Городские партийные лидеры часто не способны, либо психологически, либо политически, добиться поддержки со стороны деревни. Чтобы достичь здесь успеха, они должны радикально менять или сдерживать свои современные ценности и цели, принимая позицию более традиционную, лучше отвечающую чаяниям деревни. Рост политического сознания традиционных групп вынуждает партийных лидеров выбирать между ценностями современности и ценностями политики. Источник политического прогресса — город, источник политической стабильности — деревня. Задача партии — сочетать эти два фактора. Одно из главных условий институциализации партии и способности ее лидеров к адаптации — готовность последних к уступкам, необходимым, чтобы завоевать симпатии деревни. Сильные партии и стабильная партийная система — те, что справляются с этим тестом. В модернизирующихся обществах успешная партия есть детище города, но зрелости она достигает в работе с деревней.

Для различных типов партийных систем характерны различные пути преодоления разрыва между городом и деревней. В однопартийном государстве элита, проводящая модернизацию, обычно старается держать крестьянство под контролем и позволяет ему политическую активность только в той мере, в какой оно принимает модернизационные ценности политической элиты. Если крестьянство остается пассивным и безразличным к модернизации, политические лидеры в однопартийной системе могут сосредоточить свое внимание на реформах в городском секторе. По существу, именно это делал Кемаль[29]. По-другому, но в тех же целях советские лидеры проводили в отношении крестьянства в 1920-х гг. относительно сдержанную и либеральную политику. Однако даже в однопартийных государствах в определенный момент необходимость стабильности

требует от политической системы признания и решения проблемы участия деревни в политической жизни. Советы предприняли попытку решить ее, организовав жизнь в деревне на манер городской, разрушив традиционный для нее образ жизни, и силой — посредством коллективизации и распространили аппарат коммунистической партии на сельскую местность, привив крестьянству современные ценности. Политическая и экономическая цена этого предприятия оказалась такова, что мало кто решился его повторить. С другой стороны, в Турции включение крестьян в политику потребовало ликвидации монополии одной партии на власть и разрешения распространить состязание между разными группами модернизирующей элиты на более широкие круги населения. В результате в Турции ассимиляция деревни в политической системе проходила в условиях, гораздо более благоприятных для крестьян, чем в России. В целом соревновательные партийные системы имеют меньшие темпы модернизации, однако при этом ассимиляция происходит легче, чем в системах с монополией одной партии на власть.

Город в модернизирующихся странах служит не только очагом нестабильности, но и центром оппозиции. Если власть рассчитывает на какую-то степень стабильности, ей необходима серьезная поддержка со стороны деревни. Если правительство не может добиться такой поддержки, стабильность невозможна. В результате в модернизирующихся системах демократического типа формируется очень значительное различие в электоральном поведении деревни и города. Поддержка правящей партии, если таковая существует, идет от деревни, поддержка оппозиции — от города. Эта картина повторяется на всех континентах. В Индии главный ресурс силы партии Конгресса находится в сельской местности; оппозиционные партии и левого, и правого толка сильнее в городах. В Венесуэле партия «Демократическое действие» была популярна в деревне, но в Каракасе ее поддержка была слаба. В 1958 г., когда она получила в национальном масштабе 49% голосов, в Каракасе за нее голосовало только 11%. В 1962 г., будучи доминирующей партией в законодательной и исполнительной ветвях национального правительства, она имела только одно место из 22 в муниципальном совете столицы. На выборах 1963 г. она опять была первой в стране и только четвертой в Каракасе.

Та же самая картина была и в Корее при нескольких режимах. В 1950-х гг. Либеральная партия Ли Сын Мана доминировала, как честными, так и бесчестными методами, в деревне. Оппозиционная Демократическая партия была тем временем фаворитом в городах. В 1956 г. ее кандидат оказался благодаря этому вице-президентом. В 1958-м пять крупнейших городов страны дали демократам 23 места в национальном

собрании, либералам — только пять. В Сеуле оппозиция получила 15 из 16 мест, в двух других больших городах, Тэгу и Инчхоне, либералы не получили ни одного места. «К концу режима Ли, — заключает Грегори Хендерсен, — несмотря на аресты, угрозы, экономический фаворитизм и слежку, городское население было едино в своей оппозиции правительству»[30]. И та же самая картина повторилась с режимом Пака в 1960 г. На президентских выборах 1963 г. генерал Пак добился скромной победы благодаря поддержке со стороны крестьянства; большинство горожан было настроено против него. Сеул дал оппозиции 12 мест из 14 в национальном собрании. В течение четырех лет своего правления режим постоянно подвергался резким, а иногда и насильственным атакам оппозиции, окружавшей Пака в столице.

Выборы на Филиппинах после завоевания независимости иллюстрирует тот же самый тип оппозиции городского населения правительству. Характерным было довольно ровное разделение симпатий деревни между правительством и оппозицией, в то время как в городе оппозиция имела 75% голосов. В результате неспособности ни одной из партий обрести опору среди крестьян города обеспечивалось постоянное преимущество оппозиции. За два десятилетия после Второй мировой войны партии, находившиеся у власти, проиграли в шести президентских выборах четырежды[31]. Примерно в том же духе в период 1940-х гг. оппозиционная Демократическая партия в Турции была сильна в городах и слаба в деревне. Однако в 1950-х она отняла у Республиканской народной партии половину сельского электората и в результате этого сменила последнюю у власти. В последующих выборах она завоевала широкую популярность в деревне, которая осталась основным источником ее поддержки, как и поддержки ее преемницы, Партии справедливости, в 1960-х. И наоборот, Республиканская народная партия, утратив опору в деревне, преуспевала в городах.

Пакистан — та же картина. В 1951 г. в Пенджабе, например, Мусульманская лига получила почти 75% мест в законодательном собрании провинции, но лишь 50% голосов от Лахора. В президентских выборах 1964 г. Айюб Хан получил 63% из общего числа голосов, а мисс Джинна* — 36%. Айюб выиграл в 13 из 16 электоральных регионов, мисс Джинна — в трех — Читтагонге, Дакке и Карачи. «По сути, — как отмечал один комментатор, — результаты выборов означали, что массовая поддержка Айюба идет безусловно из деревни, а города поддерживают мисс Джинну»[32]. В марокканских выборах 1963 г. оппозиционные партии Истикляль и Национальный союз народных сил (НСНС) выиграли в городе, правитель-

* Мисс Джинна — сестра основателя Пакистана Мухаммеда Али Джинны (1876–1948).

ственная же — в сельских районах. В Сальвадоре в 1964 г. оппозиционные христианские демократы выиграли место мэра Сан-Сальвадора и 14 мест в сенате, преимущественно от городов, однако правительственная Партия национального примирения получила в сенате 32 места, победив в сельских районах за явным преимуществом. На выборах 1966 г. в Доминиканской Республике Бош победил в Санто-Доминго с 60% голосов, но Балагер завоевал президентство, получив 62% голосов за пределами столицы[33].

Все эти выборы имели две общие черты. Первая — существенное различие между городским и сельским голосованием: партии и кандидаты, популярные в сельской местности, слабы в городах, и наоборот. Вторая — партии, которые сильны в деревне, обычно контролировали правительство, и порядок, который они поддерживали, характеризовался большой степенью политической стабильности. Там, где ни одна партия не имела явной опоры в деревне, результатом была та или иная форма нестабильности. Иногда правительства, базирующиеся на сельской поддержке, свергались городскими революциями, но обычно правительства, сильные в деревне, способны устоять против постоянной оппозиции со стороны города, если и не исключить, и не снизить риск такой оппозиции. Даже в таких странах, где нет четкого партийного различия между городом и деревней, городская оппозиция находит свои формы проявления. В Ливане, например, «многие районы центра Бейрута пренебрегают выборной политикой и даже презирают ее. Легитимность электоральной системы, по-видимому, сильнее в сельской местности, где эта система довольно хорошо соответствует традиционным формам организации... Похоже на то, что простой народ деревни лучше интегрирован в политическую систему, чем столичный электорат, политические возможности которого широки, многообразны и неопределенны»[34].

В других странах, где выборный процесс не имеет для населения большого смысла, контраст между сельской поддержкой правительства и городской оппозицией тем не менее находит свои пути для того, чтобы проявиться. Так, например, обстоит дело в течение уже долгого времени в Иране: оппозиция режиму концентрируется в Тегеране, и его (режима) продолжающееся существование базируется на признании со стороны деревни. Даже в Южном Вьетнаме президент Дьем получил только 48% голосов в Сайгоне, при том что в сельской местности его преимущество было подавляющим. «Какой африканский президент, — вопрошал Ахмед Бен Белла* в июне 1965 г., — имеет поддержку большинства в собственной столице?»[35] То, что произошло несколькими неделями позже, показало, что он не был из их числа.

* Ахмед Бен Белла (р. 1910) — президент Алжира в 1963–1965 гг.

Политический разрыв между городом и деревней может быть устранен революционерами или военной элитой, сознательно апеллирующей к деревне и ее организующей. Однако вовлечение сельских масс может быть и результатом деятельности партий и партийной системы, будь то в контексте борьбы националистической партии против колониального господства или в контексте борьбы двух или более партий за поддержку со стороны крестьян.

Мобилизация деревни в рамках националистического движения

В националистическом контексте стимулом к мобилизации сельского населения служит стремление интеллектуальных лидеров движения обеспечить поддержку их борьбы против колониальных режимов в сельских районах. Происходило это редко, потому что националисты не всегда были способны мобилизовать крестьян на достижение своих целей, да это им и не требовалось. В Китае и Вьетнаме коммунистические партии воспользовались ограниченностью и колебаниями националистов и втянули крестьян в свою политику, объединявшую националистические цели с революционными.

Два наиболее ярких примера, когда широкая мобилизация сельского населения происходила именно в контексте борьбы за национальную независимость, — Индия и Тунис. В Индии радикальное изменение националистического движения произошло в начале 1920-х г., когда относительно узкий круг интеллектуальных лидеров, принадлежавших к традиционному высшему классу, но по-английски образованных и совершенно западных по культуре, развернул широкое народное движение, поддержанное средним классом и жителями небольших городов. Лидером этого движения был, как известно, Ганди, который перевел националистический призыв на язык более традиционный и более понятный широкой местной аудитории. Говоря словами Рудольфов, «народный национализм является творением Ганди. Это он трансформировал довольно робкий и разрозненный национализм предшествовавших 1920-м лет, расширил его классовую базу и изменил идеологическое содержание». До Ганди националисты были «продуктом новой образовательной системы, представителями одетого в брюки и говорящего на английском верхнего слоя среднего класса. По большей части они принадлежали к высшим кастам и новым профессиям». Их ценности были «по сути те же, что и ценности британского среднего

класса тех времен... и обращались они к городу, а не к деревне, к образованным, а не к безграмотным. Деревню они игнорировали, как и она их». После 1920 г. лидерство Ганди радикально изменило характер явления. Былые лидеры западного типа «уступили место лидерам, принадлежавшим более традиционной культуре, происходившим часто из более низких каст». У них не было «большого, а то и никакого западного образования», они ценили старые обычаи и «скептически воспринимали модернистские призывы... Призыв Ганди, его язык, стиль и методы вдохнули в национализм новый дух, дух, который апеллировал к тем, кто был еще погружен в традиционную культуру». Индийский национализм превратился в «народное, традиционно окрашенное движение»[36].

Примерно та же эволюция произошла в Тунисе. Переход от либерального к народному национализму не мог быть здесь осуществлен в рамках первой большой националистической организации. Того же рода привлечение народных масс, что в Индии было связано с именем Ганди, произошло здесь в начале 1930-х гг., когда вместо партии Дестур возникла Нео-Дестур. Основатели Нео-Дестур пошли к массам и организовали их. Как и в Индии, здесь были использованы новые источники лидерства. В отличие от старого Дестура Нео-Дестур рекрутировала своих активистов и сторонников в малых городах и деревнях. «Хотя некоторые из сыновей «тунисских *балди* (старые семьи) присоединились к Нео-Дестур, большая часть ее лидеров была из *афаки* (изгоев), а ее самыми надежным передовым отрядом были крестьяне и тунисский плебс»[37].

В тех многочисленных случаях, когда подъем деревни происходит до национального освобождения и не под националистическими лозунгами, националистические силы, приходящие к власти с обретением страной независимости, представляют городское движение и черпают своих активистов из среднего и высшего классов. Между этой городской образованной политической элитой и традиционными лидерами, как и в целом массами той глубинки, на управление которой эта элита претендует, может существовать глубокая пропасть. В некоторых отношениях те, кто приходит к власти после освобождения, могут быть почти так же далеки от основной массы населения, как имперская элита, которую они сменили. Об обществе, освободившемся от империалистического господства, говорят, что оно стало независимым. На самом деле, однако, это не общество становится независимым, а лишь некоторые его члены. Независимость по-разному сказывается на различных социальных группах, и чем раньше достигается независимость в политической мобилизации, тем глубже разница между группами в отношении того, что им приносит национальное освобождение. Во избежание этого политика имперских властей может быть сознательно

направлена на то, чтобы минимизировать силу тех национальных групп, которым предстоит унаследовать власть. Согласно ставшему классическим заявлению Лугарда, «главнейший принцип британской колониальной политики — следить за тем, чтобы местное население не оказалось подчинено ни воле узких европейских групп, ни узким местным образованным и европеизированным меньшинствам, не имеющим с этим населением ничего общего и часто руководимого прямо противоположными интересами»[38]. Однако, когда приходит независимость, это — независимость для «узких местных образованных и европеизированных меньшинств». Риторика национализма и суверенитета — прозрачное прикрытие перехода власти от чуждой народу иностранной олигархии к чуждой же местной.

В таких обстоятельствах у националистической элиты немного шансов надолго остаться у власти. Занимая господствующее положение, она не слишком заинтересована в дополнительной народной поддержке для достижения новых целей. Она достигла своих целей. Однако ее положение шатко. Низкий уровень силы политической системы в целом служит предпосылкой ее свержения какой-то группой, которая либо располагает более решительными и убедительными формами давления, либо способна расширить силу системы и мобилизовать в политику новые группы. В случае выборов в политической системе, возникшей в результате завоевания той или иной страной независимости, вестернизованная националистическая элита с большой вероятностью свергается более популистскими и традиционными силами. Если выборы не допускаются, элиту свергают военные. Националистические лидеры, которые не мобилизовали народной поддержки перед тем, как завоевать независимость, недолго остаются у власти после ее завоевания. Если им не удается вступить в союз с одной из этих двух сил против другой, их сбрасывают либо разъяренные полковники, либо разъяренные граждане.

Падение националистических режимов, лишенных широкой народной базы, было распространенным явлением среди африканских стран, ставших независимыми. Важность мобилизации деревни до получения независимости для стабильности будущего государства хорошо иллюстрируется контрастом между Марокко и Тунисом и между Пакистаном и Индией. В Марокко, в отличие от Туниса, главная националистическая партия, Истикляль, никогда не достигала такого веса, как Нео-Дестур в Тунисе. Отчасти это связано с тем, что при французском владычестве король Марокко был более влиятелен, чем бей Туниса, и играл важную роль в движении за независимость. Но надо отметить также, что Истикляль, созданная в 1943 г. группой горожан-интеллектуалов, никогда не имела массовой базы, сравнимой с базой Нео-Дестур. В Тунисе профсоюзы были тесно связаны с Нео-

Дестур, лидеры часто были одни и те же. Марокканские профсоюзы и их лидеры оставались в стороне от Истикляль и в конечном счете объединились с ее левым крылом, отколовшимся от партии и образовавшим вместе с профсоюзами отдельную партию, Национальный союз народных сил. Что особенно важно, Нео-Дестур мобилизовала в борьбе за независимость поддержку со стороны племен, населяющих сельскую местность, в то время как Истикляль в основном действовала в городах. В результате этого после получения страной независимости она оказалась перед вызовом, во-первых, со стороны Народного движения, новой партии, представлявшей интересы сельского населения и берберских племен, и, во-вторых, со стороны короля, чья наиболее сильная поддержка шла тоже из сельских районов. На выборах 1963 г. Истикляль и НСНС завоевали поддержку городов, однако политический орган монархии, Фронт защиты конституционных учреждений, завоевал, апеллируя к деревне, большинство.

К моменту получения независимости Мусульманская лига в Пакистане, как и партия Конгресса в Индии, была уже старой организацией. Возникла она в 1906 г., но большую часть своей истории была небольшой группой давления. В середине 1930-х она была «полумертвой» и, по сравнению с партией Конгресса, это «была организация оборонительного характера, состоящая из некоторого числа богатых *заминдаров* и недовольных интеллектуалов, требующих более открытого доступа к правительственным постам»[39]. Мобилизация народных симпатий партией Конгресса в 1920-х гг. оказала влияние на Лигу. Джинна, который в 1937–1938 гг. возглавил Лигу, был, вопреки собственному нежеланию вовлекать массы в политику, вынужден создать массовую организацию как противовес партии Конгресса и орудие достижения поставленной в 1940 г. цели создать мусульманское государство. Таким образом, мобилизация общественного мнения одной организацией вызвала ответную мобилизацию со стороны соперничающей организации. Однако наибольшая поддержка Мусульманской лиги пришла оттуда, где мусульмане составляли меньшинство. В 1947 г. многие из этих районов стали частью Индии. Получилось, что лидеры Мусульманской лиги стали лидерами нового государства, отрезавшего их от самых активных и организованных приверженцев.

С достижением Пакистаном независимости Лига потеряла и людей, и цели. Потеряла она и свой «народный характер», став партией западнопакистанских землевладельцев. Далее «партия превратилась в совокупность небольших клик, обладавших властью либо стремившихся к ней, а ее массовый фундамент рассыпался... В то время как во многих странах партии организованы с тем, чтобы проводить в жизнь интересы своих членов, в Пакистане политика сводилась к личному соперничеству лидеров, каждый из которых поддерживался группой приверженцев»[40]. В определенном смысле Пакистан получил независимость слишком легко. Не проведя широкую мобилизацию своих будущих граждан перед обретением независимости, его лидеры не имели стимулов для того, чтобы проводить ее после. По существу, они наложили вето на национальные выборы, которые могли бы вынудить их к контакту с народными источниками власти. В результате они были с легкостью устранены от власти сначала гражданскими бюрократами, затем военными. Словно в насмешку над ними, развитие политических структур в деревне, вовлечение сельского населения в политику и электоральное состязание произошло под эгидой военного лидера, презиравшего партийную политику.

Политическая мобилизация сельского населения через состязание партий: консерватизм демократии

Состязательная партийная система обеспечивает каналы политической мобилизации сельского населения. Природа этих каналов зависит от типа партийной системы: от того, имеем мы дело с системой однопартийной, двухпартийной или многопартийной. Способность партийной системы включать новые группы зависит от степени готовности господствующих до этого групп — консервативных, националистических или военных — уступить власть. Включение сельских групп часто требует от партий, чтобы они адаптировали свои программы к нуждам аграрных слоев, обещали земельную реформу и государственные капиталовложения в сельские регионы. В этом плане партии могут соревноваться между собой в обещаниях экономических реформ, учитывающих интересы сельского электората. Однако желания и ожидания деревни, как правило, довольно специфичны и умеренны. В случае их более или менее приемлемого удовлетворения сельское население возвращается к своей привычно консервативной роли. Кроме того, вне зависимости от характера его экономических требований к политической системе, социальные и культурные ценности сельского населения остаются, как правило, в высокой степени традиционными. В результате этого в большинстве колониальных и постколониальных обществ вовлечение сельского большинства в политику через партийную систему является важным фактором политического традиционализма и консерватизма.

Традиционные тенденции усиливаются в большинстве случаев, когда страна добивается независимости от иностранного господства; и такие тенденции, по всей видимости, сильнее в демократических государствах,

чем в авторитарных. Их порождает, прежде всего, расширение электората и включение в него основной массы сельского населения. В обществах ранней модернизации, где расширение политических прав было довольно продолжительным историческим процессом, первая фаза этого процесса — предоставление прав городскому среднему классу — радикально способствовала модернизации. Дальнейшее расширение электората за счет сельского населения часто повышало вес консервативного элемента в политическом балансе.

В 1848 г. в Германии либералы были сторонниками имущественного ценза, в то время как консерваторы требовали распространения права голоса на всех мужчин. В Англии Дизраэли тоже понимал и использовал выгоды более широкого участия в голосовании. Так же и в середине XX в. «сельские избиратели труднее поддаются влиянию более прогрессивных слоев латиноамериканского среднего класса»[41]. В Бразилии, где сельские массы были допущены до голосования, «главной социальной функцией выборов было сохранение существующей структуры власти. В рамках сообществ традиционного типа выборы повысили возможность выражения и укрепления феодальной лояльности. В то же время они укрепили и легализовали политический статус землевладельца»[42]. Введение всеобщего голосования на Цейлоне в 1931 г. дало такой же эффект. «По существу, люди внесли в свою роль платного наемного работника элементы квазифеодального почитания. За пользование землей, или буйволами, или поддержку в периоды острой необходимости при семейном кризисе, или в обмен на записку врачу или адвокату крестьяне расплачивались своими голосами». В 1950-х гг. в Восточной Турции ситуация выглядела так: «В этих все еще отсталых районах, где царят почти полная безграмотность и религиозный фанатизм, целые общины голосовали за правящую партию просто по указанию местного землевладельца»[43]. Распространение электоральной активности на сельское население в обществе, которое по остальным своим характеристикам остается глубоко традиционным, укрепляет и узаконивает власть традиционной элиты.

Зачастую консервативный эффект участия деревни в выборах сохраняет силу после распространения на нее современной политической агитации и организации. Состязание между традиционными группами часто способствует модернизации таких групп: в Нигерии, например, лидеры ибо и йоруба занимались в целях политической борьбы образованием своих соплеменников. С другой стороны, работа современных городских групп по привлечению на свою сторону традиционных сельских масс ведет к традиционализации самих этих групп. После 1921 г. в Бирме «характерно было, что, столкнувшись с разногласиями по поводу ответственного выбора политической линии, группы модернизаторов сначала разрушались, а затем искали поддержки со стороны более традиционного элемента населения, который к этому моменту набирал силу». То же самое и в случае Индии: «крестьянский протест часто мобилизовывался и направлялся какой-то городской элитой с целью ослабить или разрушить политическую силу другой элиты, поскольку городские регионы действуют как центры, из которых партии распространяют свое влияние на деревню»[44]. Обращаясь к деревне, городские элиты вынуждены переформулировать и модифицировать современные формы пропаганды, которые эффективны в городе. Состязание как среди традиционных, так и среди современных групп способствует наведению мостов между современной элитой и традиционными массами. Первые таким образом принимают по крайней мере какие-то из современных целей элиты; вторые же принимают по крайней мере какие-то из традиционных ценностей масс.

Итак, представляется, что электоральное состязание в постколониальных странах переносит внимание политических лидеров с городского избирателя на сельского, делает политические лозунги и правительственную политику менее современными и более традиционными, способствует тому, что на смену высокообразованной космополитической элите в лидеры выходят люди менее образованные и провинциальные, и повышает влияние местных и провинциальных правительств за счет правительства национального. Эти тенденции укрепляют политическую стабильность, но в то же время могут препятствовать модернизаторским реформам, не направленным на интересы деревни. В целом предпосылкой реформ служит концентрация власти в руках одной модернизаторской элиты, демократия же распыляет власть между множеством более традиционных элит. Повышая влияние местных групп, демократия также имеет тенденцию к усилению политики, направленной на аграрное и сельское развитие, а не на индустриальное и городское.

При двухпартийной системе эти тенденции часто проявляются в «окрестьянивающих» выборах, когда политическая партия, базирующаяся в деревне, оттесняет от власти партию, базирующуюся в городе. При многопартийной системе вовлечение сельского населения в политический процесс проходит труднее. Должны возникнуть одна или несколько партий, которые бы состязались за поддержку со стороны крестьян. Однако такие партии имеют обычно слабую поддержку со стороны других социальных групп. Им противостоят партии, защищающие интересы других групп. И поскольку мобилизация крестьян на политическое действие труднее, их партиям трудно стать партиями большинства. В результате этого политическая ассимиляция сельских масс, если она вообще происходит, име-

ет прерывистый и разрозненный характер. В Латинской Америке, где многопартийные системы широко распространены, до 1967 г. единственным случаем успешной мобилизации крестьян была Венесуэла. Здесь идеология, эффективное лидерство и почти революционная борьба против диктаторских режимов Гомеса и Переса Хименеса послужили предпосылкой мобилизации и организации сельского населения в рамках крестьянских союзов, ассоциированных с Демократическим действием. Похожим можно считать развитие, которое имело место в Перу и Чили. Однако проблемой многопартийной системы является то, что, во-первых, она не содержит в себе достаточного стимула, чтобы какой-то из ее утвердившихся элементов стремился мобилизовать крестьян, и, во-вторых, если такая мобилизация все-таки происходит, она множит политические и социальные расслоения, затрудняющие интегрирование крестьянского политического движения системой.

В системе с доминированием одной партии тот факт, что демократия расширяет политическое действие и включает в него деревню, оказывает влияние на распределение власти между партиями. Однако более вероятны изменения в организационной структуре и распределении власти внутри доминирующей партии. В Индии, например, 1950-е гг. были отмечены борьбой между «правительственным» и «организационным» крылом партии Конгресса. В этой борьбе организационное крыло вело себя на самом деле «в духе, обычно ассоциируемом с поведением оппозиционных партий». Его члены критиковали правительство, публиковали свои претензии к нему в прессе, пытались получить большинство в законодательном собрании и вели собственную энергичную кампанию на уровне выборов в партийные комитеты и на лидерские посты[45]. В этой борьбе организационное крыло в итоге вышло победителем, и высшие позиции в правительстве и партии были заняты новой группой лидеров, которая поднялась через местные и государственные партийные структуры и была более отзывчива к местным, коммунальным и сельским, нуждам, чем к национальным.

Электоральное состязание в Индии способствовало замене лидеров националистического и космополитического толка, имевших европейское образование, лидерами более провинциальными, хуже образованными и ориентированными на местные проблемы. На выборах 1962 г. «практически всюду проявлялась заинтересованность в том, чтобы избрать местных людей, которые бы могли выступать посредниками между избирателем и сложной, часто медлительной правительственной бюрократией, а не государственных деятелей, не публичных политиков, которые бы дискутировали на общенациональные темы»[46]. В качестве символа общего сдвига, происходившего внутри партии Конгресса, можно, пожалуй, рассматривать те изменения, которые претерпело ее руководство в 1965 г. Неру, получивший образование в Хэрроу и Кембридже, был настолько же англичанином, насколько индусом. Шастри до того, как стал премьер-министром, никогда не бывал за пределами страны. Его безвременная смерть в момент, когда местные политические силы набирали влияние, ускорила закат партии Конгресса.

Динамика демократической политики была также фактором выхода на авансцену лидеров из провинции. Около 15% членов временного парламента 1947 г. были выходцами из сельских районов. В 1962 г. около 40% Лок Сабха* были оттуда же. Такие же изменения в составе партии Конгресса имели место на уровне штатов. В Мадрасе, например, «адвоката-брамина» Раджагопалачари сменил в качестве главного министра К. Камрадж, малообразованный в формальном смысле крестьянин. Первый знал и английский и санскрит так же, как местный диалект, он был первым генерал-губернатором Индии индусского происхождения и лидером национального масштаба в партии Конгресса. Второй — проницательный местный политик, хорошо говоривший только по-тамильски. Камрадж определенно не был интеллектуалом, его славили именно как «человека из народа». Это можно сравнить с поражением Джона Куинси Адамса от Эндрю Джексона в США»[47].

М. Вайнер нашел также, что в сельских отделениях партии Конгресса «в качестве источника партийных кадров городские центры сменили малые города и большие деревни. Отмечалось общее снижение доминирования наиболее образованных высших каст и соответствующий рост числа людей из сельского хозяйства, людей более разнообразного образовательного уровня, представителей так называемых средних каст»[48]. Параллельно этому сдвигу в характере рекрутирования актива происходило перераспределение власти в направлении от центрального партийного лидерства к политическим центрам штатов и далее к партийным организациям этого уровня.

В 1950-х в Индии, а также на Цейлоне выборы и демократия в целом были фактором «усиления, а не подтачивания власти традиционных лидеров» и тем самым порождали «резкий конфликт между ценностями представительной системы власти и планового социально-экономического развития». Отсутствие в Пакистане выборов в 1950-х гг. избавило страну от этого конфликта[49]. Но уже в 1960-х работа «первичных демократических организаций» выдвинула на повестку дня ту же проблему. Как отме-

* Лок Сабха («Дом народа») — нижняя палата индийского парламента.

чал один видный пакистанский чиновник: «Одно из внутренних противоречий социального развития состоит в том, что люди, руководящие его программами, представляют группы интересов и классы, которым в случае успеха предстоит потерять свой статус, привилегии и власть. Нынешняя политическая и экономическая власть сконцентрирована в руках вестернизованной элиты и особенно правительственных служащих, а демократизация должна лишить их этой власти»[50].

Двухпартийное состязание и выборы с сельским уклоном

Есть в Южной Азии три страны, очень точно иллюстрирующие три различных типа отношений, которые могут существовать между националистическим движением и политической мобилизацией сельского населения. В Индии националистическая элита добилась широкой народной поддержки до того, как страна получила независимость, и могла дальше расширять и перестраивать эту поддержку после получения независимости. В результате она смогла оставаться у власти более двадцати лет. Пакистанская националистическая элита не мобилизовала народной поддержки в сельских районах до получения независимости и не рискнула подвергнуть себя испытанию выборами после. В результате она была легко устранена чиновными служащими былой имперской власти. На Цейлоне националистическая элита тоже не имела перед получением независимости широкой народной базы. Тем не менее она подвергла себя электоральному испытанию и была сметена в 1956 г. тем, что можно рассматривать как архетипическое проявление «выборов с сельским уклоном». Речь идет о типичном пути, по которому двухпартийная система в модернизирующейся стране идет к организации широкого участия деревни в политической жизни.

Цейлон, 1956 год. Цейлон стал независимым в 1948 г. под руководством Д.С. Сенанаяке и его Объединенной национальной партии, которая была создана годом раньше. В ОНП вошло много членов Цейлонского национального конгресса, организованного в 1919 г. Последний «не имел организационных корней в деревне и среди низших классов городского населения, подобных тем, что создал индийский Конгресс, но его состав был тем же — тот же тип по-западному образованного верхнего среднего класса с лидерами из высшего класса»[51]. Независимость была, по существу, дарована Цейлону индийцами и британцами: заставив последних дать независимость Индии, первые не оставили им иного выбора, кроме как дать ее и Цейлону. Основная масса цейлонского населения не играла никакой роли в борьбе за независимость. «Массового освободительного движения на Цейлоне не существовало, не было больших жертв, если вообще были какие-то (даже со стороны главных лидеров), и практически никаких героев и мучеников»[52].

После получения независимости в правительстве доминировала узкая группа городской элиты из англизированных представителей высшего и верхушки среднего класса, объединенных рамками ОНП. Ее члены были, по замечанию одного наблюдателя, подобны «во всем, кроме цвета кожи, бывшим колониальным правителям»[53]. Подавляющее большинство членов группы жили в городах, в то время как 70% цейлонского населения живет в деревне. Большинство составляли христиане, в то время как 91% цейлонцев — нехристиане, а 64% придерживались буддизма. Языком этой группы был английский, в то время как 92% цейлонцев на английском ни говорить, ни писать не могли. Короче говоря, она представляла менее 10% населения. Соблазн, который такая ситуация создавала для желающих обратиться к широкому большинству сельского, буддистского и сингальского населения, не мог долго оставаться латентным. В 1951 г. один из ведущих членов политической элиты, Соломон Бандаранаике, ушел из ОНП и создал для участия в выборах 1956 г. свою собственную оппозиционную Партию свободы Шри-Ланки. Перед выборами большинство было уверено, что ОНП одержит очередную легкую победу. ПСШ «пришла к выборам практически без надежды на то, что выиграет. Деньги, организация и большая часть престижных родов были на стороне Объединенной национальной партии»[54]. Однако выборы обернулись решительной победой ПСШ и ее союзников, которые получили меньшинство голосов, но стабильное большинство мест в парламенте — 51 из 95. Представительство ОНП сузилось до восьми мест, восемь из десяти ее министров потеряли свои посты в правительстве. Состав палаты изменился самым решительным образом.

На этих выборах для сельских низов сингальского населения «неожиданно открылась их политическая сила, и политическая монополия, принадлежавшая до этого узкой богатой вестернизованной элите, была разрушена»[55]. Инаугурация правительства ПСШ была пронизана символами популистского, традиционалистского возрождения: «массовое присутствие одетых в желтое *бхикку* (буддистского духовенства), бой традиционных церемониальных барабанов *магул бера* вместо фанфар и, к концу церемонии, наплыв радостно возбужденной толпы людей в саронгах — вверх по ступеням здания парламента, мимо удаляющихся гостей, прямо в зал заседаний. *«Але андува*, — говорили они, — то *наше* Правительство», рассматривая здание и пробуя кресла, на которых будут заседать те, кого они только что избрали»[56].

За 127 лет до этого один газетчик писал по поводу подобного события: «Это был день народной гордости». Фермеры из глуши тогда тоже нахлынули в правительственные кабинеты. «Генерал Джексон — *их собственный* президент»[57]. Параллель вполне уместна, хотя революция Бандаранаике в 1956 г. была, как минимум, более фундаментальной, чем джексоновская революция в 1829. Как отмечал Х. Риггинз, из всех южноазиатских революций до середины 1960-х гг. «только она имела результатом явный переход власти от одного сегмента населения к другому. Этот переход был осуществлен без крови, без массового подкупа или насильственного подавления электората. Это были не выборы в порядке подтверждения результатов государственного переворота, но настоящая смена власти через коллективный выбор сотен тысяч индивидов»[58].

Победа Партии свободы базировалась на ее апелляции к сельским интересам, буддистским верованиям и сингальским предрассудкам большинства цейлонского населения. ОНП обличалась как прозападная и христианская. Буддистские священники ходили от деревни к деревне и объявляли, что голоса, отданные за правительственную партию, направлены против буддизма. Агитируя за сингальский как единственный официальный язык, Партия свободы апеллировал как к нижнему среднему классу и «малой интеллигенции», которая ставила в упрек высшему классу его владение английским, так и к сингальскому большинству, недовольному тем, до какой степени говорящее по-тамильски меньшинство (около 20% населения) ухитрялось преобладать в правительстве. Проблемы языка и религии преломлялись в других различиях, создавая таким образом базу для выборных альянсов и «способ для того, чтобы городские политические лидеры, сельский средний класс и крестьяне реагировали совместно на поползновения со стороны западных ценностей, ассоциируемых в 1956 г. с ОНП»[59].

В последующие годы правительство Партии свободы провело голосование, с тем чтобы сделать сингальский язык официальным, и реализовало другие программы, направленные на то, чтобы укрепить его связи с деревенским электоратом. Два из последствий этого были: столкновения между сингальской и тамильской общинами в 1958 г. и убийство Бандаранаике сингальским экстремистом в 1959-м. Выборы марта 1960 г. создали политический тупик, но вторые выборы, проведенные в июле, привели к еще одной победе Партии свободы. И вновь победа базировалась на поддержке сельских районов, где партия получила две трети голосов. В больших городах же она не получила ни одного места из 18 на первых выборах 1960 г. и лишь четыре места на вторых. Один из высших ее руководителей хорошо выразил позицию партии, заявив, что она установила

«очень простой принцип: мы стоим на стороне сельского населения этой страны... Простые люди этой страны, люди деревни могут быть уверены в том, что мы их никогда не предадим»[60].

Однако политика Партии свободы вызвала такое неприятие со стороны других элит, что в январе 1962 г. произошла попытка переворота. По существу, это была попытка старой элиты, представлявшей вестернизированные высшие слои общества, вернуться к власти. «Почти все предполагаемые заговорщики были христианами, по большей части католиками. Многие из них принадлежали к богатым и известным семьям, окончили престижные учебные заведения и вообще представляли тот самый «привилегированный класс», против которого направлен эгалитаризм ПСШ»[61]. Попытка переворота отражала те напряжения, что были внесены в политическую систему с включением в нее деревенских масс. Победа в 1965 г. ОНП в союзе с Федеральной партией, представлявшей тамильское меньшинство, показала также, что система, достаточно адаптивная, чтобы включить в политику деревенские массы, была достаточно адаптивной и для того, чтобы при новых обстоятельствах позволить городским элитам, превратившимся в оппозицию, вернуться к власти. ОНП оказалась способной прийти к власти, только адаптировав свои программы таким образом, чтобы суметь соперничать с ПСШ. С одной стороны, политическая система включила сельские массы; с другой — их вовлечение в политику изменило стиль, семантику, программы и самих людей, доминирующих в новой системе. Состязательная партийная система показала себя эффективной средой для более или менее мирных фундаментальных изменений в плане политической активности масс и распределения политической власти.

Турция, 1950 год и далее. Сдвиг, в некоторой степени подобный цейлонскому, произошел почти в то же самое время в Турции. После окончания Второй мировой войны разного рода силы и обстоятельства привели к тому, что правительство Исмета Иненю позволило группе ведущих политиков из Республиканской народной партии отколоться и создать оппозиционную партию. Эти лидеры ничем существенным не отличались от тех, кто доминировал в РНП, но они склонялись к более либеральным взглядам, благоволили частному предпринимательству и таким образом ассоциировались с представителями турецкого бизнеса, получившего развитие в 1930-х гг. и в течение войны. В двух эпизодах на протяжении долгого правления РНП, в 1924 и 1930 гг., были позволены оппозиционные партии, и, конечно, лидеры РНП предполагали, что новая группа оппозиционных политиков будет меньшей угрозой для них вне партии, чем внутри. Так или иначе, возникла Демократическая партия, которая, участвуя в выборах 1946 г., завоевала 15% мест в Национальном собрании. В ходе после-

дующих четырех лет сначала Демократическая партия, а затем, в порядке реакции, РНП, делали все более и более энергичные усилия в направлении мобилизации и организации как в городах, так и в сельской местности. Ожидалось, что выборы 1950 г. дадут РНП подавляющее большинство. Но она безоговорочно проиграла. Демократическая партия получила 53% голосов и 408 мест в Национальном собрании, РНП — 40% голосов и всего 69 мест.

Победа демократов состояла из значительного большинства в городах плюс равенства с РНП в сельской местности. Однако выборы оказались первым шагом выхода сельских избирателей на турецкую политическую арену в качестве доминирующей группы. В течение нескольких последующих лет демократическое правительство Аднана Мендереса прилагало всяческие усилия, чтобы крестьянство идентифицировало себя с ним. В области экономики оно сдвинуло с мертвой точки строительство дорог в сельской местности, производство сельскохозяйственного оборудования, субсидирование и кредитование крестьянских хозяйств. Не менее значительными были его усилия в культурной сфере: был модифицирован строгий секуляризм, господствовавший при власти РНП, введено религиозное образование в школах, обеспечено государственное финансирование строительства мечетей. Как отмечал один исследователь, Мендерес «был первым из правителей этой страны, кто решительно поставил сельские интересы выше городских, первым, проявившим отзывчивость к материальным нуждам крестьян, первым, кто дал им начатки гражданского сознания»[62]. Соответственно, в течение 1950-х гг. сельская поддержка Демократической партии выросла, а поддержка со стороны городского среднего класса ослабла. На выборах 1954 г. демократы подняли свое большинство до уровня 56,6%. «Какое имеет значение, что думают стамбульские интеллектуалы, — вопрошал Мендерес, — если крестьянство с нами?»[63]

В 1957 г. упало общее число голосовавших и вместе с ним число голосов, поданных за демократов. Правительство Мендереса склонялось ко все более и более авторитарным методам правления, городской средний класс становился все более и более ему враждебен, и в мае 1960 г. оно был свергнуто военными.

Политический кризис, вылившийся в этот переворот, был преодолен благодаря быстроте и ответственности, проявленными генералом Гюрселем и его соратниками в их усилиях по возвращению к гражданскому правлению. Однако в выборах 1961 г. голосование приняло ту же форму. Вопреки всем факторам, работавшим на РНП, она получила только 37% голосов, в то время как вновь образованная Партия справедливости унаследовала основную массу сторонников объявленной вне закона Демократической партии и получила 35%. Четырьмя годами позже Партия справедливости победила с подавляющим преимуществом, завоевав 56% голосов и 57% мест в Национальном собрании. Источники ее поддержки были разные, но главным среди них были крестьяне. Пример Турции ясно иллюстрирует, как писал Уайкер, «трудности, которыми чревато быстрое реформирование в условиях многопартийного правительства... Часто звучавшее утверждение турецких лидеров, что при правильном руководстве народ поймет ситуацию и принесет добровольные жертвы, никогда в Турции не подтверждалось. Факт состоит в том, что, получив право свободного голосования, турецкий народ ни разу в прошлом не поддержал сторонников быстрых реформ; и существуют убедительные свидетельства тому, что это равно маловероятно и сегодня»[64].

Электоральное состязание не только обратило внимание власти к интересам деревни, но и породило тенденцию к ослаблению власти в государстве, которое до этого представляло собой высоко централизованную политическую систему. В 1947 г. в ответ на вызов со стороны демократов РНП децентрализовала свой контроль над определением кандидатов, и 70% кандидатов в депутаты были выдвинуты местными партийными организациями. В результате, как заключает Фрей, «центральный контроль и внутрипартийная дисциплина заметно ослабли. Местные силы стали настолько весомы, что способность партии выполнять даже такие необходимые политические функции, как инспектирование собственной организации, была нарушена... Непослушные партийные лидеры, потерявшие свои центральные посты, стали обслуживать местные интересы, с тем чтобы вернуться к власти вопреки оппозиции центра»[65].

Состав основных участников политического процесса также стал меняться, как это происходило в Индии и на Цейлоне. Вестернизованная бюрократическая элита национального масштаба, «ориентированная на развитие страны под ее покровительством», уступала место провинциальной элите, «ориентированной на более непосредственные местные и политические выгоды»[66]. Наиболее ярко эта перемена проявилась в конце 1940-х гг., при переходе от однопартийной системы к соревновательной. Крестьяне, адвокаты и торговцы стали доминировать в Национальном собрании вместо военных и чиновников. Одновременно усилился «локализм»: в апогее однопартийного периода уроженцами местности, которую они представляли, были около трети депутатов; после десяти лет двухпартийного состязания в этой категории было уже две трети депутатов[67]. Состязание партий не только включило массы в политику, но и сблизило их с политическими лидерами.

Турция и Цейлон являют собой яркие примеры того, как двухпартийное состязание и выборы с сельским уклоном способствуют политической мобилизации сельского населения стран, где оно преобладает. В определенной мере сходные ситуации были в нескольких других странах.

Бирма, 1960 год. После получения независимости в Бирме главенствовала Антифашистская народная лига свободы, безоговорочно выигравшая выборы 1951–1952 и 1956 гг. В первом случае оппозиция была очень слаба и разрозненна, во втором она была сильнее и блокировалась вокруг левого Фронта национального единства. В 1958 г. АНЛС раскололась на две фракции. Последующая нестабильность и усиление давления со стороны повстанцев побудили У Ну передать в октябре этого года правление генералу Не Вину и армии. К удивлению многих, военное правительство оставалось у власти лишь около восемнадцати месяцев и организовало переход к гражданскому правлению посредством выборов. Они состоялись весной 1960 г. Главными партиями, состязавшимися на этих выборах, была АНЛС «чистая», возглавлявшаяся У Ну, и АНЛС «твердая», возглавлявшаяся двумя другими видными деятелями этой партии. Когда в 1958 г. партия раскололась, «чистые» сохранили контроль над Всебирманской крестьянской организацией, а «твердые» поначалу доминировали в профсоюзном и женском движении.

Выборы 1960 г. совершенно недвусмысленно выдвинули на первый план конфликт между традиционализмом и реформой. Военное правительство Не Вина много сделало для осуществления необходимых реформ, повышения эффективности государственных служб, укрепления закона и порядка. Однако его старания и непреклонность вызвали неприязнь многих в бирманском обществе. Армия явно предпочитала победу «твердых», и, соответственно, У Ну постарался извлечь максимум из отождествления своих оппонентов с военными. Расклад политических сил очень напоминал ситуацию выборов 1961 г. в Турции. Для бирманцев «безвластие былых дней правления единой АНПС было, несмотря на всю коррупцию и неэффективность, меньшим злом, чем реформистское правительство с армией во главе и с требованием затянуть пояса»[68].

Столь же важна, как сопротивление неприятной необходимости реформ, была идентификация У Ну с буддизмом и традиционными ценностями. Сознательно и демонстративно следуя незападному стилю жизни и поведения, У Ну очень выделялся на фоне большинства других политических лидеров Бирмы. В начале кампании он открыто заявил о своем намерении сделать буддизм государственной религией Бирмы. Как и на Цейлоне в 1956 г., ключевую роль в кампании играли буддистские монахи: «большинство из них выступили в поддержку У Ну и стали его самыми эффективными пропагандистами в бирманских городах и деревнях»[69]. В результате — безоговорочная победа У Ну и «чистых», которые получили две трети голосов и заняли две трети разыгрывавшихся мест в парламенте. В отличие от других выборов с деревенским уклоном, У Ну поддержали все группы населения. В Рангуне его партия выступила еще лучше, чем в сельской местности.

Как и турецкая армия в 1960-х гг., бирманские военные очень неохотно разрешили прийти к власти более консервативной партии. В течение двух лет своего правления У Ну вел политику «явно более традиционалистскую, чем революционную». Высшим своим приоритетом он сделал обещанное превращение буддизма в государственную религию[70]. Однако в 1962 г. бирманские военные решили, что традиционалистские и разъединительные тенденции демократии зашли слишком далеко, сместили гражданское правительство и ввели в Бирме строгую, авторитарную, догматическую версию военного социализма. В отличие от турецких военных, бирманские не согласились на компромисс между традицией и реформами, которого требует демократия.

Сенегал, 1951. Состязательная партийная система способствовала смене узкой городской базы власти более широкой деревенской и на этапе приближения к независимости. В Сенегале политическая власть десятилетиями базировалась на прибрежных городах. После Второй мировой войны там доминировала партия, представлявшая собой ответвление французской Социалистической партии. Однако на выборах 1951 г. ей бросила вызов новая группа, Сенегальский демократический блок, организованный Леопольдом Сенгором. Он адресовал свой призыв к новым группам получивших избирательное право и набиравших политическое сознание сельских жителей. «Расширившийся деревенский электорат, благодаря своей численности, получил преимущество и захватил ключи к успеху на выборах... (которые) оказались победным восстанием новых граждан, городских и сельских, против старых, представлявших “четыре коммуны”»[71]. На выборах Сенгор апеллировал к городским и традиционным ценностям, особенно религиозным. Так же как на Цейлоне в 1956-м и в Бирме в 1960 г., религиозные лидеры и активисты сыграли ключевую роль в кампании. В дальнейшем Сенгор признал, что победу его партии «обеспечили имамы в своих мечетях»[72].

Ямайка, 1944. На Ямайке соревнование партий оказалось таким средством включения в политику новых групп, которое не вызвало значительного насилия и практически не нарушило течения политического процесса. Как это обычно бывает, Народная национальная партия, образованная в 1938 г. в борьбе за независимость, состояла поначалу из представителей «очень узкого среднего класса специалистов, чиновников

и учителей». Она придерживалась модернизаторской, социалистической и националистической ориентации. В 1944 г. были проведены первые всеобщие выборы. Александр Бустаманте, лидер Промышленного профсоюза, который, вопреки своему названию, был преимущественно профсоюзом сельскохозяйственных рабочих, организовал Ямайскую рабочую партию и мобилизовал для участия в выборах сельское население. Результат был шоком для среднего класса, представленного ННП. Последняя получила только 24% голосов, против 41%, полученных ЯРП и 30% независимыми. Норман Мэнли, лидер ННП, был интеллектуалом из среднего класса, и программа ННП была радикальной и идеологической. Профсоюз же Бустаманте и ЯРП упирали больше на «хлеб с маслом» и конкретные материальные проблемы, чем на глобальные идеологические цели. Их «приверженцами были в основном городские и сельские рабочие», и их лидер, Бустаманте, представлял собой смесь профсоюзного босса и демагога-популиста[73].

Однако результатом победы ЯРП было стимулирование таких же усилий в направлении организации масс со стороны ННП, которая создала собственный профсоюз, Национальный рабочий союз, вступивший в борьбу с организацией Бустаманте. Состязание также помогло в 1950-х гг. умеренному крылу ННП одержать во внутрипартийной борьбе победу над левоэкстремистами. В итоге в 1955 г. ННП смог одержать уверенную победу над ЯРП и вернуться к власти. Несколькими годами позже ЯРП в свою очередь мобилизовала поддержку со стороны своих сельских сторонников и опять оказалась у власти. Таким образом, состязание двух лидеров и двух партий способствовало вовлечению ямайского народа в политику и его эффективной организации в рамках политических партий и связанных с ними профсоюзов.

Лесото, 1965. В момент получения Басутолендом независимости доминировала в нем Басутолендская партия конгресса. Она была организована по образцу ганской НПК и опиралась на интеллектуалов, учителей, протестантских миссионеров и другие группы горожан. Ее лидеры нередко выезжали за границу, ассоциировались с панафриканским движением, однако мало были знакомы и мало контактировали с сельскими районами собственной страны. Как и на Ямайке, в Сенегале и на Цейлоне, оппозиционная партия, Басутолендская национальная партия (БНП), была организована незадолго до первых общих выборов в 1965 г. Ее опорой стали сельские районы, где она пользовалась поддержкой нижнего слоя вождей и служителей римско-католической церкви. В кампании своей она упирала в основном на проблемы «хлеба с маслом». К большому удивлению наблюдателей, она одержала скромную победу, собрав 42% голосов против 40%, собранных БПК. Снова состязание партий обернулось победой консерваторов сельской ориентации над национально и урбанистически ориентированными радикалами[74].

Все эти выборы с сельским уклоном — это, конечно, не более чем один из поворотных пунктов в длительном, постепенном и временами бурном процессе политической мобилизации и интеграции. В некоторых странах этот процесс может быть настолько постепенным, что практически невозможно выделить какие-то конкретные выборы, которые бы ясно означали переход власти из рук городской элиты в руки сельских масс. На Филиппинах, например, после получения независимости мобилизация сельского электората растянулась через целую цепочку выборов, в которых кандидаты на президентство были почти всегда отвергнуты. В 1953 г. Магсайсай одержал решительную победу над президентом Кирино. Первый апеллировал на выборах к сельским избирателям и на них же ориентировал свою политику, став президентом. Помимо земельной реформы и других мер, направленных на повышение продуктивности сельского хозяйства, он занялся «прокладкой каналов постоянной политической коммуникации с филиппинскими сельскими массами... Он впервые наладил контакт большого числа людей с правительством и президентом и сделал так, чтобы политические изменения могли происходить в рамках легальной структуры управления и насилие утеряло актуальность и смысл. Никакой политик после Магсайсая не мог позволить себе игнорировать память о нем и его цели[75]. Его преемник, Гарсиа, был, однако, фигурой гораздо более консервативной и связанной с привилегированными классами.

В 1961 г. Филиппины вступили во вторую фазу мобилизации сельских масс, когда кандидат оппозиции Макапагал одержал сенсационную победу над Гарсиа. Как и Магсайсай, Макапагал происходил из низших классов и апеллировал к сельским избирателям. В течение четырех лет подготовки к выборам он побывал почти в каждом из 23 000 филиппинских *барриос* (округов). Впервые в истории Филиппин претендент на президентство с успехом бросил вызов крупным землевладельцам и машине Националистической партии, контролировавшим поведение сельского электората[76]. В 1965 г. Макапагал, был в свою очередь, смещен Фердинандом Маркосом, который, по всей видимости, тоже делал ставку на мобилизацию сельских масс и на аграрную реформу. Таким образом, на Филиппинах отсутствие эффективной организации партийного процесса и по-настоящему осмысленных связей между партиями и социальными силами создало ситуацию, в которой Зеленая революция происходила постепенно и под самыми разными партийными ярлыками.

Более «чистые» случаи выборов с сельским уклоном характеризуются некоторым набором общих черт:

1. Городская элита, представляющая средний и привилегированные классы, оттесняется от власти.

2. Исход выборов оказывается сюрпризом для большинства наблюдателей.

3. Своим успехом партия-победитель обязана мобилизации новых групп сельских избирателей.

4. Лидером победившей партии является обычно бывший член элиты, ориентированный на модернизацию, отколовшийся от элиты и сменивший объект своей проповеди на слои более «народные» и традиционные.

5. В отличие от верховного лидера, другие лидеры партий, выдвинувшихся на передний план, рекрутируются, как правило, из местных, сельских, не космополитических элит.

6. Партия-победитель апеллирует к сельскому избирателю посредством комбинации этнических и религиозных тем, а также используя тему «хлеба с маслом».

7. Во многих случаях партия-победитель извлекает существенную выгоду из поддержки со стороны священников, имамов и других религиозных фигур, действующих в сельской местности.

8. В глазах как приверженцев, так и оппонентов, победа оппозиционной силы воспринимается как поворотный пункт в политическом развитии страны.

9. Придя к власти, новое правительство обычно стремится удовлетворять интересы своих сельских сторонников.

10. Политика нового правительства вызывает враждебность старой элиты, часто до такой степени, что провоцирует военные перевороты, успешные, как в Турции и Бирме, или неудачные, как на Цейлоне.

11. В большинстве, если не во всех случаях партия, отстраненная от власти, адаптируется к новому типу политического действия, делает, в свою очередь, усилия для завоевания поддержки масс и в некоторых случаях (Цейлон, Ямайка) возвращается к власти.

12. Посредством этого процесса двухпартийные системы вовлекают сельские массы в политику и тем самым наводят между городом и селом мосты, служащие ключевым условием политической стабильности в модернизирующихся странах. Сравнительный опыт модернизирующихся обществ, как в прошлом, так и сегодня, позволяет считать, что двухпартийная система более эффективна в достижении такой ассимиляции, чем большинство других типов политических систем.

Организационный императив

Социальная и экономическая модернизация подрывает старые формы власти и разрушает традиционные политические институты. И не обязательно она создает новые формы или новые политические институты. Однако, расширяя политическое сознание и политическую активность масс, она создает острейшую в них необходимость. Волей-неволей США способствовали политической мобилизации широких масс в Азии, Африке и Латинской Америке. Другие группы, сознательно и следуя своим ценностям, сделали много для организации этой активности масс. «У пролетариата нет в борьбе за власть иного оружия, чем организация... — писал в 1905 г. Ленин. — Только благодаря ей пролетариат может стать и станет непобедимой силой». «Широкие массы чилийцев лишены организации, — говорил в 1966 г. Фрей*, — а без организации нет власти, без власти же в жизни страны нет народного представительства»[77]. Организация есть путь к политической власти, но она же и фундамент политической стабильности и тем самым — предпосылка политической свободы. Вакуум власти и авторитета, столь распространенный в модернизирующихся странах, может быть временно заполнен харизматическим лидером либо военной силой. Но постоянно он может быть заполнен только политической организацией. Идет ли речь о господствующих элитах, соревнующихся между собой и организующих массы в рамках существующей политической системы, или об элитах, противостоящих власти и организующих массы с целью разрушения системы, — в любом случае в модернизирующемся мире будущее за тем, кто организует будущую политику.

* Эдуардо Фрей Монтальва (1911–1982) — президент Чили в 1964–1970 гг.

Примечания

Сэмюэл Хантингтон и его концепция политической модернизации

1 См.: «Столкновение цивилизаций»: перспективы и альтернативы (А. Злобин, А. Медовой, Г. Черников и др.) // Общественные науки и современность. 1995. № 4; «Цивилизационная модель» международных отношений и ее импликации (И.К. Пантин, В.Г. Хорос, А.А. Кара-Мурза и др.) // Полис. 1995. № 1.

2 Huntington S.P. The soldier and the state: The theory and politics of civil-military relations. Cambridge (Mass.): Belknap, 1957; Id. The third wave: Democratization in the Late Twentieth century. Norman; London: Univ. of Okhlahoma press, 1991 (Русский перевод последней осуществлен издательством РОССПЭН в 2003 г.).

3 Huntington S.P. The clash of civilizations and the remaking of world order. N.Y.: Simon and Shuster, 1996.

4 Bellah R.N. Beyond belief: Essays of religion in a post-traditional world. N.Y. Harper and Row etc., 1970. P. XVI, XX.

5 Здесь, кроме монографии об отношениях между армией и государством, следует упомянуть книги Хантингтона «Совместная оборона: Стратегические программы в национальной политике» (The common defence: Strategy programs in national politics. 1961) и «Возможность дисгармонии в американской политике» (American politics: The promise of disharmony. 1981).

6 Huntington S.P. Political order in changing societies. New Haven; London: Yale univ. press, 1996. P. 7–8.

7 Ibid. P. 2.

8 Ibid. P. 137.

9 Ibid. P. 26.

10 Rostow W.W. The stages of economic growth: A non-communist manifesto. Cambridge: Univ. press, 1960.

11 Huntington S.P. Political order in changing societies. P. 6.

12 См.: Эйзенштадт Ш. Революции и преобразование обществ: Сравнительное изучение цивилизаций. М.: Аспект-пресс, 1999 (Оригинальное американское издание 1978 г.).

13 Huntington S.P. Political order in changing societies. P. 99.

14 Ibid. P. 264.

15 См.: Гордон А.В. Цивилизация Нового времени между мир-культурой и культурным ареалом (Европа и Азия в XVI–XX вв.). М., 1998.

16 Huntington S.P. Political order in changing societies. P. 262.

17 См.: Фюре Ф. Постижение Французской революции. СПб., 1998 (Оригинальное французское издание 1968 г.). Точка зрения «ревизионистов» была отвергнута в советской историографии (см. например: Манфред А.З. Некоторые тенденции зарубежной историографии // Манфред А.З. Великая французская революция. М., 1983). Напротив, для постсоветской историографии характерна положительная оценка работ Фюре и его единомышленников (см.: Блуменау С.Ф. «Ревизионистское» направление в современной французской историографии Великой буржуазной революции конца XVIII в. Брянск, 1992).

18 Huntington S.P. Political order in changing societies. P. 303.

19 Ibid. P. 347

20 Ibid. P. 336.

21 Ibid. P. 406.

1. Политический порядок и политический упадок

1 Walter Lippmann, *New York Herald Tribune*, Dec. 10, 1963, p. 24.

2 Gunnar Murdal, *Rich Lands and Poor* (New York and Evanston, Harper and Row, 1957), p. 6; George D. Woods, «The Development Decade in the Balance», *Foreign Affairs, 44* (Jan. 1966), 207.

3 Wallace W.Conroe, «A Cross-National Analysis of the Impacts of Modernization upon Political Stability» (unpublished M.A. thesis, San Diego State College, 1965), p. 52–54; Ivo K. and Rosalind L. Feierabend, «Aggressive Behaviors within Polities, 1948–1962: A Cross-National Study», Journal of Conflict Resolution, 10 (Sept. 1966), 253–254.

4 Alexis de Tocqueville, *Democracy in America* (ed. Phillips Bradley, New York, Knopf, 1955), 2, 118.

5 Francis D. Wormuth, *The origins of Modern Constitutionalism* (New York, Harper, 1949), p. 4.

6 Цит. по: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1. М.: Наука, 1994 (пер. С.И. Соболевского). С. 99.

7 Соответствующие дефиниции и обсуждение понятий института и институциализации см. в следующих работах: Talcott Parsons, *Essays in Sociological Theory* (rev. ed. Glencoe, Ill., Free Press, 1954), p. 143, 259; Charles P. Loomis, «Social Change and Social Systems», in Edward A. Tiryakian, ed., *Sociological Theory, Values, and Sociocultural Change* (New York, Free Press, 1963), p. 185 ff. Иное применение понятия институциализации в контексте модернизации см. в работах Ш.Н. Эйзенштадта (S.N. Eisenstadt), особенно в его статьях: «Initial Institutional Patterns of Political Modernization», *Civilisations*, 12 (1963), 15–26; «Institutionalization and Change», *American Sociological Review*, 24 (April 1964), 235–247; «Social Change, Differentiation and Evolution», ibid., 24 (June 1964), 375–386.

8 Ср. William H. Starbuck, «Organizational Growth and Development», в кн.: James G. March, ed. *Handbook of Organizations* (Chicago, Rand McNally, 1965), p. 453: «Фундаментальная природа адаптации такова, что чем дольше существует организация, тем в большей мере она готова к дальнейшему выживанию».

9 Ashoka Mehta в кн.: Raymond Aron, ed. *World Technology and Human Destiny* (Ann Arbor, University of Michigan Press, 1963), p. 133.

10 См. очень полезное обсуждение этого вопроса в небольшой классической работе Филипа Селзника: Philip Selznick, *Leadership in Administration* (New York, Harper and Row, 1957), p. 5 ff.

11 Ср. у Старбека с. 473–475 наблюдение, что организации более старые меньше, чем молодые, склонны сопротивляться изменению целей, но с большей, чем у мо-

лодых, вероятностью сопротивляются изменениям в социальной структуре и структуре задач.

12 См. кн.: Mayer N. Zald and Patricia Denton, «From Evangelism to General Service: The Transformation of the YMCA, *Administrative Science Quarterly*, 8 (Sept/ 1963), 214 ff.

13 Joseph R. Gusfield, «Social Structure and Moral Reform: A Study of the Woman's Christian Temperance Union», *American Journal of Sociology*, 61 (Nov. 1955), 232; Gusfield, «The Problem of Generations in an Organizational Structure», *Social Forces*, 35 (May, 1957), 323 ff.

14 Sheldon L. Messinger, «Organizational Transformation: A Case Study of a Declining Social Movememt», *American Sociological Review, 20* (Feb. 1955), 10; курсив в оригинале.

15 David L. Sills, The Volunteers (Glencoe, Ill., Free Press, 1957), p. 266. В главе 9 этой книги содержится великолепное обсуждение темы изменения целей организации на материале ИМКА, СЖХВ, Таунсендского движения, Красного Креста и других организаций.

16 Sigmund Neumann, «Toward a Comparative Study of Political Parties», в кн.: Neumann, ed. *Modern Political Parties* (Chicago, University of Chicago Press, 1956), p. 403–405.

17 Аристотель. Политика, кн. 5, IX, 23. Пер. С.А. Жебелева.

18 Edmund Burke, *Reflections on the Revolution in France* (Chicago, Regnery, 1955), p. 37.

19 Аристотель. Политика, кн. 4, 9, IV.

20 *Reflections on the Revolution in France*, p. 92.

21 См. работу: Samuel P. Huntington, «Patterns of Violence in World Politics», in Huntington, ed., *Changing Patterns of Military Politics* (New York, Free Press, 1962), p. 44–47.

22 См., например: Herbert McCloskey, «Consensus and Ideology in American Politics», *American Political Science Review*, 18 (June 1964), 361 ff.; Samuell Stouffer, *Communism, Conformity, and Civil Liberties* (Garden City, N.Y., Doubleday, 1955), passim.

23 Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. С. 193, 195.

24 David C. Rappoport, «A Comparative Theory of Military and Political Types», in Huntington, ed., *Changing Patterns of Military Politics*, p. 79.

25 Harry Holbert Turney-High, *Primitive War* (Columbia, S.C., University of South Carolina Press, 1949), p. 235–236.

26 См.: Glendon Schubert, *The Public Interest* (Glencoe, Ill., Free Press, 1960); Carl J. Friedrich, ed.. *Nomos V: The Public Interest* (New York, American Society of Political and Legal Philosophy, 1962); Douglas Price, «Theories of the Public Interest», in Lynton K. Caldwell, ed., *Politics and Public Affairs* (Bloomington, Indiana University Press, 1962), p. 141–160; Richard E. Flathman, *The Public Interest* (New York, Wiley, 1966).

27 Carl J. Friedrich, Man and His Government (New York, McGraw-Hill, 1963), p. 150; курсив в оригинале).

28 Политика, кн. V, II.

29 См. в кн.: Walter Lippmann, The Public Philosophy (Boston, Little Brown, 1955), особенно на с. 42, авторское определение общественного интереса как того, «что́ люди выбрали бы, если бы видели ясно, мыслили рационально, действовали бескорыстно и благожелательно».

30 См.: Richard E. Neustadt, Presidential Power (New York, John Wiley, 1960), passim, но особенно с. 35–37, 150–151.

31 Bertrand de Jouvenel, *Sovereignty* (Chicago, University of Chicago Press, 1963), p. 123.

32 Sania Hamady, *Temperament and Character of the Arabs* (New York, Twayne, 1960), p. 101, 126, 230.

33 Симон Боливар цитируется в кн.: Kalman H. Silvert, ed., *Expectant Peoples* (New York, Random House, 1963), p. 347; *El Dia*, Quito, Nov. 27, 1943, цит. в кн.: Bryce Wood, *The Making of the Good Neighbor Policy* (New York, Columbia University Press, 1961), p. 318.

34 Donald N. Levine, «Ethiopia: Identity, Authority, and Realism», in Lucian W. Pye and Sidney Verba, eds., *Political Culture and Political Development* (Princeton, Princeton University Press, 1965), p. 277–278; Andrew F. Westwood, «Politics of Distrust in Iran», *Annals*, 358 (March 1965), 123–136; Lucian W. Pye, *Politics, Personality and Nation-Building* (New Haven, Yale University Press, 1962), p. 205, 292–293; Gabriel Almond and Sidney Verba, *The Civic Culture* (Boston, Little Brown, 1965), p. 308.

35 Silvert, p. 358–59.

36 P.J. Vatikiotis, *The Egyptian Army in Politics* (Bloomington, Indiana University Press, 1961), p. 213–14; H.A.R. Gibb, «Social Reform: Factor X», in Walter Z. Laquer, ed., *The Middle East in Transition* (New York, Praeger, 1958), p. 8.

37 Luigi Barzini, The Italians (New York, Atheneum, 1964), p. 194.

38 De Tocqueville, 2, 118; Edward C. Banfield, *The Moral Basis of a Backward Society* (Glencoe, Ill., Free Press, 1958), p. 15.

39 George C. Lodge, «Revolution in Latin America», *Foreign Affairs*, 44 (Jan. 1966), 177; Pye, p. 38, 51.

40 Daniel Lerner, *The Passing of Traditional Society* (Glencoe, Ill., Free Press, 1958), p. 438; курсив в оригинале.

41 Robert A. Dahl, *Who Governs?* (New Haven, Yale University Press, 1961), p. 85–86.

42 Karl W. Deutsch, «Social Mobilization and Political Development», *American Political Science Review*, 55 (Sept. 1961), 494.

43 Об «эрозии демократии» и политической нестабильности см.: Rupert Emerson, *From Empire to Nation* (Cambridge, Harvard University Press, 1960), Chap. 5; и Michael Brecher, *The New States of Asia* (London, Oxford University Press, 1963), Chap. 2.

44 См.: Banfield, p. 85 ff.

45 Thomas Hodgkin, «Letter to Dr. Biobaku», *Odu*, No. 4 (1957), p. 42; цит. по: Immanuel Wallerstein, «Ethnicity and National Integration in West Africa», *Cahiers d'Êtudes Africaines*, No. 3 (Oct. 1960); David Abernethy, «Education and Politics in a Developping Society: The Southern Nigerian Experience» (unpublished Ph. D. dissertation, Harvard University, 1965), p. 307; курсив в оригинале.

46 «Report on Preliminary Results of Cross-Cultural Study of Ethnocentrism», by Robert A. LeVine and Donald T. Campbell, *Carnegie Corporation of New York Quarterly* (Jan. 1966), p. 7.

47 Feierabend, «Aggressive Behaviors», p. 258–262; Bruce M. Russett et al., *World Handbook of Political and Social Indicators* (New Haven, Yale University Press, 1964), p. 273; Raymond Tanter and Manus Midlarsky, «A Theory of Revolution», *Journal of Conflict Resolution, 11* (Sept. 1967); Raymond Tanter, «Dimensions of Conflict Behavior Within Nations, 1955–1960: Turmoil and Internal War», *Papers, Peace Research Society, 3* (1965), 173.

48 Выступление Роберта Макнамары в Монреале, Квебек, 18 мая 1966 г. (*New York Times*, May 19, 1966, p. 11); Brecher, p. 62–63.

[49] Hayward R. Alker, Jr. and Bruce M. Russett, «The Analysis of Trends and Patterns», in Russett et al., p. 306–307. См. также: Ted Gurr with Charles Ruttenberg, *The Conditions of Civil Violence: First Tests of a Causal Model* (Princeton, Princeton University, Center of International Studies, Research Monograph No. 28, 1967), p. 66–67.

[50] Harry Eckstein, «Internal War: The Problem of Anticipation», in Ithiel de Sola Pool et al., *Social Science Research and National Security* (Washington, D.C., Smithsonian Institution, 1963), p. 120–121.

[51] Feierabend, p. 263.

[52] Manus Midlarsky and Raymond Tanter, «Toward a Theory of Political Instability in Latin America», *Journal of Peace Research, 4* (1967), 215. См. также обнаруженную Робертом Путнемом положительную связь между экономическим развитием (но не социальной мобилизацией) и военной интервенцией в Латинской Америке: «Toward Explaining Military Intervention in Latin American Politics», *World Politics, 20* (Oct. 1967), 94–97.

[53] Bert Hoselitz and Myron Weiner, «Economic Development and Political Stability in India», *Dissent, 8* (Spring 1961), 173.

[54] William Kornhauser, *The Politics of Mass Society* (Glencoe, Ill., Free Press, 1959), p. 143–44.

[55] William Howard Wriggins, *Ceylon: Dilemmas of a New Nation* (Princeton, Princeton University Press, 1960), p. 134–135, 138–140.

[56] Kornhauser, p. 145 (курсив в оригинале); Seymour Martin Lipset, *Political Man* (Garden City, N.Y., Doubleday, 1960) p. 68 (курсив в оригинале).

[57] Conroe, «A Cross-National Analysis», p. 65–73, 86–87; Feierabend, p. 263–267.

[58] Cyril E. Black, *The Dynamics of Modernization* (New York, Harper and Row, 1966), p. 90–94.

[59] Tanter and Midlarsky, p. 272, где цит. готовящаяся к изданию кн.: *Dimensions of Nations* by Rummel, Sawyer and Guetzkow; Conroe, p. 66.

[60] Wriggins, p. 119, 245. Нестабильность на Цейлоне, измеренная с помощью индекса Файерабенда—Несволда—Конроу, выросла с 3:012 в 1948–1954 гг. до 4:089 в 1955–1962 гг.; см.: Conroe, Table 1.

[61] Gregory Henderson, *Korea: The Politics of the Vortex* (Cambridge, Harvard University Press, готовится к печати 1968), p. 170.

[62] Hoselitz and Weiner, p. 177.

[63] David Abernethy and Trevor Coombe, «Education and Politics in Developing Countries», *Harvard Educational Review, 35* (Summer 1965), 292.

[64] Цит. в: Abernethy, p. 501.

[65] Deutch, «Social Mobilization and Political Development», p. 496.

[66] Mancur Olson, Jr., «Rapid Growth as a Destabilizing Force», *Journal of Economic History, 23* (Dec. 1963), 532. Этот перечень дестабилизирующих последствий экономического роста взят в основном из статьи Олсона.

[67] Alexis de Tocqueville, *The Old Regime and the French Revolution* (Garden City, N.Y., Doubleday, 1955), p. 173, 175–176; Crane Brinton, *The Anatomy of Revolution* (New York, Vintage, 1958), p. 264; Olson, p. 544–547; Tanter and Midlarsky, p. 272–274; Hoselitz and Weiner, p. 173 (цит. об Индии).

[68] См.: Samuel A. Stouffer et al., *The American Soldier* (Princeton, Princeton University Press, 1949), I, 251–258, 275–276.

[69] Conroe, p. 65–69; Martin C. Needler, *Political Development in Latin America: Instability, Violence, and Evolutionary Change* (New York, Random House), гл. 5.

[70] Eric Hoffer, *The True Believer* (New York, New American Library, 1951), p. 17; Daniel Goldrich, «Toward an Estimate of the Probability of Social Revolutions in Latin America: Some Orienting Concepts and a Case Study», *Centennial Review, 6* (Summer 1962), 394 ff.

[71] Эти термины использует Дейч (Deutsch, p. 493 ff.); James C. Davies, «Toward a Theory of Revolution», *American Sociological Review, 27* (Feb. 1962), 5 ff.; Feierabend, p. 256–262; Charles Wolf, *Foreign Aid: Theory and Practice in Southern Asia* (Princeton, Princeton University Press, 1960), p. 296 ff.; Tanter and Midlarsky, p. 271 ff.

[72] О связи между «потребностью в успехе» и коммунизмом см. в кн.: David C. McClelland, *The Achieving Society* (Princeton, Van Nostrand, 1961), p. 412–413.

[73] Feierabend, p. 259; Wolf, Chap. 9; Needler, Chap. 5.

[74] См.: Davies, p. 5 ff.; Tanter and Midlarsky, passim; Martin C. Needler, «Political Development and Military Intervention in Latin America», *American Political Science Review, 60* (Sept. 1966), 617–18.

[75] Политика, кн. V, 3–4.

[76] Russett et al., p. 272.

[77] Bruce M. Russett, «Inequality and Instability: Relation of Land Tenure to Politics», *World Politics, 16* (April 1964), 442–454.

[78] См.: Simon Kuznets, «Qualitative Aspects of the Economic Growth in Nations: VIII. Distribution of Income by Size», *Economic Development and Cultural Change, 11* (Jan. 1963), 68; UN Social Commission, *Preliminary Report on the World Social Situation* (New York, United Nations, 1952), p. 132–133; Gunnar Myrdal, *An International Economy* (New York, Harper, 1956), p. 133.

[79] Kuznets, p. 46–58.

[80] Gustav F. Papanek, *Pakistan's Development: Social Goals and Private Incentives* (Cambridge, Harvard University Press, 1967), p. 2–7, 67–72, 176–178; Barbara Ward (Lady Jackson), Notes for Seminar, Harvard University, Center for International Affairs, March 11, 1965. См. также David Worfel, «The Philippine Elections: Support for Democracy», *Asian Survey, 2* (May 1962), 25; John J. Johnson, *The Military and Society in Latin America* (Stanford, Stanford University Press, 1964), p. 94–95.

[81] M.G. Smith, «Historical and Cultural Conditions of Political Corruption among the Hausa», *Comparative Studies in Society and History, 6* (Jan. 1964), 194.

[82] M. McMullan, «A Theory of Corruption», *The Sociological Review, 9* (July 1961), 196.

[83] Smith, p. 194; McMullan, p. 190–191.

[84] Nathaniel Leff, «Economic Development Through Bureaucratic Corruption», *American Behavioral Scientist, 8* (Nov. 1964), 132; курсив в оригинале.

[85] Colin Leys, «What is the Problem about Corruption», *Journal of Modern African Studies, 3* (1965), 230.

[86] Leff, p. 137.

[87] Robert R. Alford, *Party and Society* (Chicago, Rand McNally, 1963), p. 298.

[88] Needler, *Political Development in Latin America*, Chap. 6, p. 15–16.

[89] Peter C. Lloyd, «The Development of Political Parties in Western Nigeria», *American Political Science Review, 49* (Sept. 1955), 695.

[90] George E. Taylor, *The Philippines and the United States: Problem of Partnership* (New

York, Praeger, 1964), p. 157.

91 Myron Weiner, *The Politics of Scarcity* (Chicago, University of Chicago Press, 1962), p. 253. См. также статью: Joseph S. Nye, «Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis», *American Political Science Review*, 61 (June 1967), 417–427.

92 Джеймс Харрингтон цитируется в кн.: Sabine, *A History of Political Thought* (rev. ed. New York, Henry Holt, 1950), p. 501.

93 См.: Leff, p. 10–12.

94 Henry Jones Ford, *The Rise and Growth of American Politics* (New York, Macmillan, 1858), p. 322–323.

95 См. в главе 4 более детальный анализ такого рода переворотов и политики радикального преторианства.

96 Аристотель. Политика, кн. 3, IV, 7.

97 Sabine, p. 343.

98 Kornhauser, passim; David C. Rappoport, «Praetorianism: Government without Consensus» (неопубликованная диссертация, Калифорнийский университет, Беркли, 1960); и Rappoport in Huntington, ed., *Changing Patterns*, p. 72, откуда взята цитата.

99 Edward Gibbon, *The Decline and Fall of the Roman Empire* (New York, Macmillan, 1899), I, 235; цит. Раппопортом в кн.: Huntington, ed., *Changing Patterns*, p. 98.

100 Sarmiento, *Facundo* (New York, Appleton, 1868), p. 33; Silvert, p. 358–359.

101 Ralph Braibanti, «Public Bureaucracy and Judiciary in Pakistan», in Joseph LaPalombara, ed., *Bureaucracy and Political Development* (Princeton, Princeton University Press, 1965), p. 375.

102 Johnson, *Military and Society*, p. 143.

103 См.: «Государство», кн. VIII, и особенно описание деспотического режима (Oxford University Press, 1946), p. 291–293.

104 Наиболее, пожалуй, точная модель принадлежит не социологу, а романисту — Уильяму Голдингу. Школьники (элита стран, ставших независимыми) «Повелителя мух» сначала пытаются подражать поведению взрослых (прежних западных правителей). Однако при этом падает дисциплина и рушится согласие. Демагогический военный лидер и его сторонники убеждением или силой добиваются поддержки большинства. Разрушается символ власти (раковина). Голоса, взывающие к ответственности (Ральф) и разуму (Пигги), остаются без внимания и подвергаются глумлению; авторитет разума разрушается. В конце концов, как раз вовремя появляется морской офицер (британские морские десантники), чтобы спасти Ральфа (Ньерере) от «охотников» (мятежных войск). Джулиус Ньерере (1922–1989) — в 1981–1962 гг. премьер-министр, в 1962–1964 гг. президент Танганьики, в 1964–1985 гг. президент Танзании.

105 См.: Robert T. Holt and John E. Turner, *The Political Basis of Economic Development* (Princeton, Van Nostrand, 1966).

106 Письмо Маколея к Генри Рэнделлу, напечатанное в статье «What Did Macoley Say About America?», *Bulletin of the New York Public Library*, 24 (July 1925), 477–479.

107 См.: William H. Riker, *Federalism: Origin, Operation, Significance* (Boston, Little Brown, 1964), p. 1–10.

108 Lloyd I. Rudolph, «From the Politics of Status to the Politics of Opinion» (неопубликованная диссертация, Гарвардский ун-т, 1956).

2. Политическая модернизация: Америка и Европа

1 Robert R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution* (2 vols, Princeton, Princeton University Press, 1959–1964), I, 213 ff.

2 В целях ясности уточним географический смысл, который я вкладываю в эти термины. Принося соответствующие извинения латиноамериканским и канадским читателям, я в целях краткости отношу название «Америка» к тем тринадцати колониям, которые позднее стали Соединенными Штатами Америки. Под «Европой» я понимаю Великобританию и континентальные страны. Наименование «континент» я отношу к Франции, Нидерландам, Испании, Португалии, Швеции и Священной Римской империи.

3 См.: George Clark, *The Seventeenth Century* (New York, Oxford-Galaxy, 1961), p. 91.

4 Carl J. Friedrich, *The Age of the Baroque: 1610–1660* (New York, Harper, 1952), p. 215–18.

5 A.L.Rowse, *The England of Elizabeth* (New York, Macmillan, 1951), p. 262.

6 S.B.Chrimes, English Constitutional History (2nd ed., London, Oxford University Press, 1953), p. 121–123. См. также: W.S.Holdsworth, *A History of English Law* (3d ed. London, Methuen, 1945), 4, 209 ff.

7 Wallace Notestein, *The English People on the Eve of Colonization, 1603–1630* (New York, Harper, 1954), p. XIV. См. также: Edward S. Corwin, *The «Higher Law» Background of American Constitutional Law* (Ithaca, Cornell University Press, 1955), p. 74.

8 Charles Howard McIlwain, *The High Court of Parliament and Its Supremacy* (New Haven, Yale University Press, 1910), p. 386.

9 A.F.Pollard, *Factors in American History* (New York, Macmillan, 1925), p. 39. См. также: Charles Howard McIlwain, *The American Revolution: A Constitutional Interpretation* (Ithaca, Cornell University Press, 1958), и Randolph G. Adams, *Political Ideas of American Revolution* (3d ed. New York, Barnes and Noble, 1958).

10 McIlwain, *High Court*, p. 388.

11 Henry Jones Ford, *The Rise and Growth of American Politics* (New York, Macmillan, 1900), p. 5. См. также: James Bryce, *The American Commonwealth* (London, Macmillan, 1891), 2, 658.

12 Corvin, p. 27.

13 McIlwain, *High Court*, p. 51 ff., 65.

14 John Neville Figgis, *The Divine Right of Kings* (Cambridge, England, Cambridge University Press, 1922), p. 230. См. также: Christopher Morris, *Political Thought in England: Tyndale to Hooker* (London, Oxford University Press, 1953), p.1.

15 Holdsworth, 4, 208.

16 Chrimes, p. 122–23. См. также: J.B.Black, *The Reign of Elizabeth, 1558–1603* (2d ed. Oxford, Clarendon Press, 1959), p. 206.

17 John Neville Figgis, *Political Thought in the Sixteenth Century*, The Cambridge Modern History (Cambridge, 1904), 3, 748; J.W.Allen, *A History of Political Thought in the Sixteenth Century* (New York, Barnes and Noble, 1960),

18 Figgs, *Divine Right*, p. 237.

19 Ibid., p. 258. См.: Allen, p. 386. Charles Howard McIlwain, ed., ***The Political Works of James I*** (Cambridge, Harvard University Press, 1918).

[20] Цит. у Friedrich, p. 15–16.

[21] Clark, p. 83.

[22] Palmer, I, 461: «В 1787 г. раздавались требования возродить провинциальные собрания в различных частях страны. Это была сильно запоздавшая реакция на деятельность Ришелье и Людовика XIV, требование превратить Францию в конституционную монархию не по английскому образцу, а по образцу Франции далекого прошлого».

[23] См. обзор тенденций в эволюции государственного строя у Кларка, с. 86–87, а также: F.L.Carsten, *Princes and Parliaments in Germany* (Oxford, Clarendon Press, 1959), p. 436–437, и Holdsworth, 4, 168–172.

[24] James I, «The Trew Law of Free Monarchies», in McLlwain, ed., *Political Works*, p. 62.

[25] Figgis, *Divine Right*, p. 232.

[26] McLlwain, *High Court*, p. 93–96; курсив в оригинале.

[27] Corwin, p. 89.

[28] George H. Sabine, *A History of Political Theory* (rev. ed. New York, Holt, 1950), p. 455.

[29] Pollard, p. 31–34. Весьма содержательное обсуждение тех последствий, которые это отторжение идеи суверенитета имело для путей, которыми шла адаптация политической системы к самым современным проблемным ситуациям см. в кн.: Don K. Price, *The Scientific Estate*, Cambridge, Harvard University Press, 1965), особ. p. 45 ff., 58, 75–78, 165–167.

[30] Samuel H. Beer, «The Representation of Interests in British Government: Historical Background», *American Political Science Review, 51* (Sept. 1957), 614.

[31] Faith Thompson, *A Short History of Parliament: 1295–1642* (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1953), p. 59.

[32] Rowse, England of Elizabeth, p. 306. Ср. A.F.Pollard, The Evolution of Parliament (2nd ed. rev. London, Longmans, Green, 1926), p. 159, где утверждается, что изменения в направлении централизации начались в годы правления Тюдоров.

[33] Beer, p. 614–615.

[34] Herbert W. Horwill, *The Usages of the American Constitution* (London, Oxford University Press, 1925), p. 169.

[35] Maurice Klain, «A New Look at the Constituencies: The Need for the Recount and Reappraisal», *American Political Science Review, 49* (Dec. 1955), особ. 1111–1113. В 1619 г. лондонский округ копировал английскую практику, когда его избиратели послали в первое представительное собрание штата Виргиния «по два представителя от каждой плантации... избранных ее жителями».

[36] Horwill, p. 169–170, и см., напротив, комментарии американского журналиста, описывающего всеобщие выборы 1964 г.: «Британские парламентарии не ориентированы на своих избирателей. Они даже не обязаны жить рядом с ними... Избирательные округа принято рассматривать как своего рода политические фабрики по производству корма для питания национального собрания в Лондоне. Американский конгрессмен может получать от полутора до двух тысяч писем в неделю от людей, которые его избрали. Член британского парламента обычно получает не больше десяти». Roderick MacLeish, *New York Herald Tribune*, Oct. 11, 1964.

[37] McLlwain, *High Court*, p. xi; курсив в оригинале.

[38] Pollard, *Parliament*, p. 257.

[39] Richard E. Neustadt, *Presidential Power: The Politics of Leadership* (New York, John Wiley, 1960), p. 33; курсив в оригинале.

[40] Walter Bagehot, *The English Constitution* (London, Oxford-World's Classics, 1949), p. 202.

[41] Pollard, *Parliament*, p. 255–257.

[42] Holdsworth, 4, 169.

[43] Sir William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, Thomas M. Cooley, ed. (Chicago, Callagan, 1876), I, 90.

[44] См.: J.W. Gough, *Fundamental Law in English Constitutional History* (Oxford, Clarendon Press, 1955), p. 27.

[45] McIlwain, *High Court*, p. ix, 385–386.

[46] Holdsworth, 4, 174, 184–85, 188–189.

[47] См.: J.E.Neale, *The Elizabethan House of Commons* (London, Penguin, 1949), p. 290–95; Rose, p. 307; Donald R. Matthews, *The Social Background of Political Decision-Makers* (New York, Random House, 1954), p. 28–31; J.F.S. Ross, *Elections and Electors* (London, Eyre and Spottiswoode, 1955), p. 444; W.L. Guttsman, *The British Political Elite* (New York, Basic Books, 1963), p. 82, 90, 105; D.E. Butler and Richard Rose, *The British General Election of 1959* (London, Macmillan, 1960), p. 127.

[48] Bagehot, p. 304. См. также: Francis X. Sutton, «Representation and the Nature of Political Systems», Comparative Studies in Society and History, 2 (Oct. 1959), 7: «Проводимое Бейджхотом различие, когда он говорит о «почетных» и «действенных» частях английского государственного устройства, можно вполне отчетливо наблюдать во многих странах... Это различение функций основывается, разумеется, на аналитическом различии, приложимом к любой политической системе. Это — различие между символической репрезентацией и исполнительным контролем».

[49] Томас Джефферсон. Письмо к Джеймсу Мэдисону, 20 декабря 1787 года, Writings (Washington, D.C., Thomas Jefferson Memorial Association, 1903–1905), 6, 389–390; Ford, p. 293. Элегантную и красноречивую характеристику президента как короля можно найти в эссе Д.У. Броугана «The Presidency», Encounter, 25 (Jan. 1964), 3–7. Я в долгу перед Ричардом Е. Нейштадтом за сообщенные им наблюдения относительно природы американской монархии и элементов сходства между политикой Белого дома и дворцовой политикой. См. также: Pollard, Factors in American History, p. 72–73: «Вплоть до сегодняшнего дня исполнительная власть в Соединенных Штатах намного более монархическая, и монархия эта намного более персональная, чем в Соединенном Королевстве. «Он» есть здесь единственное лицо, тогда как в Великобритании власть есть некое сложное образование».

[50] Benjamin F. Wright, «The Origins of the Separation of Powers in America», *Economics*, 13 (May 1933), 169 ff.

[51] J.E.Neale, *Elizabeth I and Her Parliaments* (New York, St. Martin's, 1958), I, 16–17.

[52] Ibid., p. 235, 287, 387–388, 412–413; G.F.M.Campion, *An Introduction to the Procedure of the House of Commons* (London, Philip Allan, 1929), p. 199; Ada C. McCown, *The Congressional Conference Committee* (New York, Columbia University Press, 1927), p. 23–37.

[53] Rowse, p. 307.

[54] Neale, *House of Commons*, **p. 381 e.a.**; Holdsworth, 4, 177; Campion, 2, 52–54.

[55] Rowse, p. 294.

[56] Neale, *House of Commons*, p. 411.

[57] Rowse, p. 294–295.

[58] Neale, *House of Commons*, p. 410–412; Neale, *Elizabeth I and Her Parliaments*, passim.

[59] См.: Campton, p. 37–38; Pollard, *Parliament*, p. 237–238; Richard F. Fenno, *The President's Cabinet* (Cambridge, Harvard University Press, 1959), p. 10–13.

[60] См. Huntington, *The Soldier and the State* (Cambridge, Harvard-Belknap, 1957), passim.

[61] J.H.Hexter, *Reappraisal in History* (Evanston, Ill., Northwestern University Press, 1962), p. 147; Clark, p. 84. О фундаментальных изменениях в европейской военной практике см.: Michael Roberts, *The Military Revolution: 1560–1660* (Belfast, Queen's University, n.d.).

[62] Alfred Vagts, *A History of Militarism* (rev. ed. New York, Meridian Books, 1959), p. 92. См. также: Louis Morton, «The Origins of American Military Policy», *Military Affairs, 22* (Summer 1958), 75–82.

[63] Clark, p. 98; Quincy Wright, *A Study of War* (Chicago, University of Chicago Press, 1942), I, 235–40. См. также: Sir George Clark, *War and Society in the Seventeenth Century* (Cambridge, Cambridge University Press, 1958, passim.

[64] Clark, *Seventeenth Century*, p. 98, 101–102. См. также: Wright, *Study of War*, I, 256: «Представляется, что наиболее радикальное и быстрое изменение политического порядка в Европе происходило в XVII и XX вв., когда войны достигали наибольшей интенсивности. XVII в. стал свидетелем того, как на смену феодализму и Священной Римской империи пришли светские суверенные государства Европы. Похоже, что XX в. становится свидетелем того, что на смену светским суверенным государствам приходит нечто новое. Что именно, сказать пока трудно».

[65] McLlwain, *High Court*, p. 336; Rowse, p. 223 ff.

[66] Friedrich, p. 20–21; Sabine, p. 372–373.

[67] Chrimes, p. 138.

[68] Louis Hartz, *The Founding of New Societies* (New York, Harcourt, Brace and World, 1964), p. 3, 4, 6, 23. Выдвинутая Харцем теория фрагментации задает отличный концептуальный каркас для анализа атрофии поселенческих колоний, а его идея либерального консенсуса в Америке в большой мере объясняет сохранение здесь тюдоровских политических институтов.

[69] Louis Hartz, *The Liberal Tradition in America* (New York, Harcourt, Brace and World, 1955), p. 9–10, 45–46, 85–86, 133–134, 281–282.

[70] Ibid., p. 43.

[71] Carsten, p. 434; Friedrich, p. 20–25.

[72] Palmer, I, особенно с. 323–407.

[73] Ibid., 2, 350–351.

[74] Robin Williams, *American Society* (2nd ed. rev. New York, Knopf, 1961), p. 571; Eli Ginzberg and Ewing W. Reilley, *Effecting Change in Large Organizations* (New York, Columbia University Press, 1957), p. 18–19.

[75] Это касается и американского вклада в политический лексикон. Как отмечалось выше, многие из терминов, используемых американцами для описания своих государственных институтов, когда-то были в ходу в Англии, но в ходе политической модернизации вышли там из употребления. Противоположным образом дело обстоит в отношении языка для описания массовой политической активности и институтов для организации этой активности. Здесь многие термины (такие, как институты) были либо изобретены в США (caucus, gerrymander — термины, относящиеся к избирательным технологиям), либо получили новое, специально политическое значение — citizen, primary, machine, boss, spoils (распределение должностей среди сторонников победившей партии), ticket (список кандидатов партии на выборах), lobby.

[76] James MacGregor Burns, *The Deadlock of Democracy* (Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1963), p. 34.

[77] Maurice Duverger, *Political Parties* (New York, John Wiley, 1954), p. 22.

[78] Merle King, «Toward a Theory of Power and Political Instability in Latin America», *Western Political Quarterly*, 9 (March 1956), 21–35.

[79] Arnold J. Toynbee, «If We Are to Be the Wave of the Future», *New York Times Magazine*, Nov. 13, 1960, p. 123.

[80] См.: Seymour Martin Lipset, The First New Nation (New York, Basic Books, 1963), Part I: J. Leiper Freeman, «The Colonial Stage of Development: The American Case» (неопубликованная работа, Comparative Administration Group), p. 4.

[81] См.: Clifford Geertz, ed. *Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa* (New York, Free Press, 1963).

[82] О либеральном и демократическом потенциале однопартийных государств см. в: Immanuel Wallerstein, *Africa: The Politics of Independence* (New York, Vintage, 1961), p. 159–163, и Ruth Schachter (Morgenthau), «Single-Party System in West Africa», *American Political Science Review*, 55 (June 1961), 294–307. Более реалистические оценки см. в: Martin Kilson, «Authoritarian and Single-Party Tendencies in African Politics», *World Politics*, 13 (Jan. 1963), 262–294, и Aristide Zolberg, «The African Mass-Party State in Perspective» (работа, подготовленная для ежегодного заседания Американской ассоциации политической науки в сентябре 1964 г.).

[83] См.: Lloyd I. and Susanne Hoeber Rudolph, «The Political Role of India's Caste Associations», *Pacific Affairs*, 33 (March 1960), 5–22; Lloyd I. Rudolph, «The Modernity of Tradition: The Democratic Incarnation of Caste in India», *American Political Science Review*, 59 (Dec. 1965), 975–89; Michael C. Hudson, «Pluralism, Power and Democracy in Lebanon» (работа, подготовленная для ежегодного заседания Американской ассоциации политической науки в сентябре 1964 г.).
Оценка Хантингтоном Ливана отражает представления 60-х гг. — *Прим. ред.*

[84] Clark, Seventeenth Century, p. 83, 90–91.

[85] Max Beloff, *The Age of Absolutism: 1660–1815* (London, Hutchinson, 1954), p. 168–69.

[86] См., например: Stephen Graubard, ed. *A New Europe?* (Boston, Houston Mifflin, 1964); Stanley Hoffmann, «Europe's Identity Crisis: Between the Past and America», *Daedalus*, 93 (Fall 1964), 1249, 1252–1253. Относительно роли судов см.: «Three Constitutional Courts: A Comparison», *American Political Science Review*, 53 (Dec. 1959), 963–84; Gottfried Dietze, «America and Europe — Decline and Emergence of Judicial Review», *Virginia Law Review*, 44 (Dec. 1958), 1233–1272.

3. Политическое изменение в традиционных государствах

[1] James Q. Wilson, «Innovations in Organization: Notes Toward a Theory», in James D. Thompson, ed. *Approaches to Organizational Design* (Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1966), p. 193–218.

[2] Zbiegnev Brzezinski and Samuel P. Huntington, *Political Power: USA/USSR* (New York, Viking, 1964), Chap. 4. См. также: Mayer N. Zald and Patricia Denten, «From Evangelism to General Service: The Transformation of YMCA», *Administrative Science Quarterly*, 8 (Sept. 1963), 214–34.

[3] См., к примеру: Norman E. Whitten, Jr., «Power Structure and Socio-cultural Change in Latin American Communities», *Social Forces*, 43 (March 1965), 320–329; David E. Apter, *The Politics of Modernization* (Chicago, University of Chicago Press, 1965), Chap. 3; Ethel M. Albert, «Socio-political Organization and Receptivity in Change: Some Differences between Ruanda and Urundi», *Southwestern Journal of Anthropology*, 16 (Spring 1960), 46–74.

[4] См., например: Kenneth Clark, «Desegregation: An Appraisal of the Evidence», Journal of Social Issues, 9 (1953), 54–58, 72–76. Готовящаяся к публикации работа Х. Дугласа Прайса показывает, как концентрация власти в городе связана с быстрым экономическим и демографическим ростом, а рассредоточение власти со снижением темпов этого роста.

[5] Talcott Parsons, «The Distribution of Power in American Society», World Politics, 10 (1957), 140; курсив оригинала.

[6] См.: Frederick W. Frey, The Turkish Political Elite (Cambridge, Mass., M.I.T. Press, 1965), Chap. 13 и особенно систем. 406–419, и «Political Development, Power and Communications in Turkey», in Lucian W. Pye, ed., Communications and Political Development (Princeton, N.J., Princeton University Press, 1963), p. 298–305. На с. 309 (прим.) Фрей высказывается в том смысле, что политическое развитие предполагает концентрацию и расширение власти. См. также его «Democracy and Reform in Developing Countries» (неопубликованная работа, представленная на Семинаре по вопросам политического развития, университет Минаш Герайш, Бразилия, 1966).

[7] См. ниже, гл. 7.

[8] Niccolo Machiavelli, *The Prince and The Discourses* (New York, The Modern Library, 1940), p. 15; Gaetano Mosca, *The Ruling Class* (New York, McGraw-Hill, 1939), p. 80 ff.; David E. Apter, *The Politics of Modernization* (Chicago, University of Chicago Press, 1965), p. 81 ff. См. также: S.N.Eisenstadt, «Political Struggle in Bureaucratic Societies», *World Politics*, 9 (Oct. 1956), 18–19, и *The Political Systems of Empires* (New York, Free Press, 1963), p. 22–24.

[9] Mosca, p. 83.

[10] Данные взяты из кн.: Russett et al., *World Handbook of Political and Social Indicators*.

[11] Rushton Coulborn, «The End of Feudalism», in Coulborn, ed., *Feudalism in History* (Hamden, Conn., Archon Books, 1965), p. 303.

[12] Frey, *Political Development, Power and Communications*, p. 310–311.

[13] Apter, *Modernization*, p. 104.

[14] Bernard Lewis, *The Emergence of Modern Turkey* (London, Oxford University Press, 1961), p. 88; Donald N. Levine, «Ethiopia: Identity, Authority, and Realism», in Pye and Verba, eds., *Political Culture and Political Development*, p. 272; Levine, *Wax and Gold* (Chicago, University of Chicago Press, 1965), p. 212–213; Margery Perham, *The Government of Ethiopia* (London, Faber and Faber, 1947), p. 76. См. также: Eisenstadt, *Political Struggle*, p. 15–33.

[15] См. обсуждение этой темы у Р.Палмера: *The Age of Democratic Revolution*, I, 373–84.

[16] Там же, *I*, 347; курсив в оригинале.

[17] W.E.Mosse, *Alexander II and the Modernization of Russia* (London, English University Press, 1958), p. 59–70, 131–132.

[18] C.C.Wrigley, «The Christian Revolution in Buganda», *Comparative Studies in Society and History*, 2 (Oct. 1959), 48, где цитируется работа: J.G.Frazer, *Lectures on the Early History of the Kingship* (London, Macmillan, 1905), p. 86.

[19] См.: Lewis, *Emetgence of Modern Turkey*, p. 137–156.

[20] Palmer, *Democratic Revolution, I*, 381.

[21] Lloyd Fallers, «Despotism, Status Culture and Social Mobility in an African Community», *Comparative Studues in Society and History*, 2 (1959), 30.

[22] Mosca, p. 81.

[23] См. выше, гл. 2.

[24] Edwin O. Reischauer, *The United States and Japan* (rev. ed., Cambridge, Harvard University Press, 1957), p. 157.

[25] William W. Lockwood, «Japan's Response to the West: the Contrast with China», *World Politics, 9* (1958), 38–41.

[26] Edwin O. Reischauer and John K. Fairbank, *East Asia: The Great Tradition* (Boston, Houghton Mifflin, 1960), p. 672–673. Сходного типа анализ с попыткой объяснить, почему Англия и Япония развивались экономически быстрее, чем Франция и Китай, содержится в кн.: Robert T. Holt and John E. Turner, *The Political Basis of Economic Development* (Princeton, N.J., Van Nostrand, 1966), особ. 233–291.

[27] Albert, 54–60. См. также: Rene Lemarchand, «Political Instability in Africa: The Case of Rwanda and Burundi» (неопубликованная работа), p. 34. О традиционной системе в Руанде вообще см. в работе: Jacques Maquet, *The Premise of Inequality in Ruanda* (London, Oxford University Press, 1961).

[28] Albert, p. 66–67, 71–73.

[29] *New York Times*, January 22, 1964, p. 2, Feb. 9, 1964, p. 1; *Newsweek*, 63 (Feb. 24, 1964), 51.

[30] Lemarchand, «Political Instability», p. 18.

[31] Rene Lemarchand, «Social Change and Political Modernization in Burundi» (доклад, подготовленный к ежегодной конференции Ассоциации африканских исследований, 24–26 октября 1966), p. 43–44.

[32] В этой связи представляют интерес предсказания вспышек насилия в 1961–1963 гг. для 119 государств, сделанные Тедом Герром с помощью регрессионного анализа с использованием 29 переменных, характеризующих в первую очередь национальную интеграцию, социальную мобилизацию, экономическое развитие, государственное участие в экономике и силы обороны и внутренней безопасности. Для 99 стран его предсказания были сравнительно благоприятными, но не для наших двух центральноафриканских государств. Из числа 199 стран, той, где

масштабы насилия особенно значительно превысили предсказанные, оказалась Руанда. В Бурунди, напротив, показатели насилия в наибольшей мере (не считая еще одной страны) отклонились вниз от предсказанного уровня. Эти крайние величины разнонаправленных отклонений убедительно объясняются различиями в социально-политической структуре власти в этих двух обществах. См. кн.: Ted Gurr with Charles Ruttenberg, The Conditions of Cuivil Violence: First Tests of a Causal Model (Princeton, Princeton University, Center of International Studies, Research Monograph No. 28, 1967), p. 100–106.

33 Fred G. Burke, Local Government and Politics in Uganda (Siracuse, N.Y., Siracuse University Press, 1964), p. 184.

34 Apter, *Modernization*, p. 114 n.

35 David E. Apter, «The Role of Traditionalism in the Political Modernization of Ghana and Uganda», *World Politics, 13* (1960), 48.

36 Apter, *Modernization*, p.99.

37 Аристотель. *Политика*; Douglas H. Mendel, Jr., «Japan as a Model for Developing Nations» (доклад, подготовленный для ежегодной конференции Американской политологической ассоциации, 8 сентября 1965 г.), p. 8–9.

38 Цит. в статье: Claire Sterling, «Can Dr. Amini Save Iran?», *The Reporter, 30* (August 17, 1961), 36.

39 Цит. в кн.: Donald N. Wilber, *Contemporary Iran* (New York, Praeger, 1963), p.126.

40 'Adberrahim Bou'abid. Цит. в кн.: I. William Zartman, *Destiny of a Dynasty: The Search for Institutions in Morocco's Developing Society* (Columbia, S.C., University of South Carolina Press, 1964), p. 1.

41 Zartman, p. 60–61.

42 *New York Times*, June 8, 1965; Ronald Steel, «Morocco's Reluctant Autocrat», *The New Leader*, August 30, 1965.

43 Цит.: Джеем Уолцем в «Нью-Йорк таймс» (25 сентября 1965 г.). См. также: Andrew F. Westwood, «Elections and Politics in Iran», *Middle East Journal*, 15 (1961), 153 ff.

44 Eugene B. Mihaly, *Foreign Aid and Politics in Nepal* (London, Oxford University Press, 1965), p. 108; Anirudha Gupta, *Politics in Nepal* (Bombay, Allied Publishers, 1964), p. 157–60; Bhuwan Lal Joshi and Leo E. Rose, *Democratic Innovations in Nepal* (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1966), p. 384–388.

45 Mosse, p. 176–177.

46 Levine, *Wax and Gold*, p. 185–193.

47 Ibid., p. 215.

48 *New York Times*, March 8, 1966, p. 10.

49 Levine, *Wax and Gold*, p. 187 ff.; Leonard Binder, *Iran* (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1962), p. 94–95; David S. French, «Bureaucracy and Political Development in African States» (неопубликованная работа, Гарвардский университет, 1966).

50 Mosse, Chap. 3, 6.

51 Frey, «Political Development, Power and Communication», p. 311–323.

52 См., например: «Нью-Йорк таймс» от 21 ноября 1966 г.

4. Преторианство и политический упадок

1 По Латинской Америке см.: Charles Wolf, Jr. *United States Policy and the Third World: Problems and Analysis* (Boston, Little Brown and Company, 1967), Chap. 5; John Duncan Powell, «Military Assistance and Militarism in Latin America», *Western Political Quarterly, 18* (June 1965), 382–392; Robert D. Putnam, «Toward Explaining Military Intervention in Latin American Politics», *World Politics, 20* (Oct. 1967), 101–102, 106.

2 Moris Janowitz, *The Military in the Political Development of New Nations* (Chicago, University of Chicago Press, 1964), p. 1, 27–29.

3 См.: David Rapoport, «A Comparative Theory of Military and Political Types», в: Huntington, ed., *Changing Patterns of Military Politics*, p. 71–100, и Rapoport, «Praetorianism: Government Without Consensus», passim. См. также у Амоса Перлмутера независимый анализ вмешательства военных в политику, отчасти параллельный тому, что проводится в этой главе: «The Praetorian State and the Praetorian Army: Towards a Theory of Civil-Military Relations in Developing Politics» (неопубликованная работа, Институт международных исследований, университет штата Калифорния [Беркли]).

4 См.: Bruce H. Millen, *The Political Role of Labor in Developing Countries* (Washington, D.C., The Brookings Institution, 1963); Sidney C. Sufrin, *Unions in Emerging Societies: Frustration and Politics* (Syracuse, Syracuse University Press, 1964); Edward Shils, «The Intellectuals in the Political Development of the New States», *World Politics, 12* (April 1960), p. 329–368; Seymour Martin Lipset, ed., «Student Politics», special issue of *Comparative Education Review*, 10 (June 1966); Donald Eugene Smith, Religion and Politics in Burma (Princeton, Princeton University Press, 1965); Fredrick B. Pike, *The Conflict between Church and State in Latin America* (New York, Alfred A. Knopf, 1964; Robert Bellah, ed., *Religion and Progress in Modern Asia* (New York, Free Press, 1965); Ivan Vallier, «Religious Elites in Latin America: Catholicism, Leadership and Social Change», *America Latina, 8* (1965), 93–114.

5 Цит. в кн.: Dankwart A. Rustow, *A World of Nations* (Washington, D.C., Brookings Institution, 1967), p. 170.

6 Richard M. Morse, «The Heritage of Latin America», в кн.: Louis Hartz, ed., *The Founding of New Societies* (New York, Harcourt, Brace and World, 1964), p.161.

7 См.: Huntington, *Changing Patterns*, p. 32 ff.

8 См.: Caractacus, *Revolution in Iraq* (London, Victor Golancz, 1959); Patrick Seale, *The Struggle for Syria: A Study of Post-War Arab Politics* (London, Oxford University Press, 1965).

9 Johnson, *The Military and Society in Latin America*, p. 77–79, 113–115; L.N.McAlister, «The Military», in Johnson, ed. *Continuity and Change in Latin America* (Stanford, Stanford University Press, 1964), p. 140–141.

10 См.: Amos Perlmuter, «Ambition and Attrition: A Study of Ideology, Politics and Personality in Nasser's Egypt» (неопубликованная рукопись), p. 11–16; Keith Wheelock, *Nasser's New Egypt*, The Foreign Policy Research Institute Series, 8 (New York, Frederick Praeger, 1960), p. 12–36.

11 Здесь и местами на нескольких следующих страницах я опирался на свою работу «Формы насилия в мировой политике», опубликованную в кн.. P.Huntington, ed.,

Changing Patterns, p. 32–40.

12 John Coast, *Some Aspects of Siamese Politics* (New York, International Secretariat, Institute of Pacific Relations, 1953), p. 5.

13 Alford Carleton, «The Syrian Coup d'Êtats», *Middle East Journal, 4* (Jan. 1950), 10–11.

14 Robert J. Alexander, *The Bolivian National Revolution* (New Brunswick, Rutgers University Press, 1958), p. 25–26.

15 George Blanksten, «Revolutions», in Harold E. Davis, ed., *Government and Politics in Latin America* (New York, Ronald Press, 1958), p. 138–139.

16 Edwin Liewen, *Arms and Politics in Latin America* (New York. Frederick Praeger, 1960), p. 91–92.

17 Charles W. Anderson, «El Salvador: The Army as Reformer», in Martin D. Needler, ed., *Political Systems of Latin America* (Princeton, D. Van Nostrand Company, 1964), p. 58–59, 61.

18 Liisa North, *Civil-Military Relations in Argentina, Chile, and Peru*, Politics of Modernization Series, 2 (Berkley, Institute of International Studies, University of California, 1966), 26–27.

19 Federico G. Gil, «Chile: Society in Transition», in Needler, p. 361.

20 North, p. 34–35, 74–77.

21 См.: James Harrington, *Oceana*, ed. S.B. Liljegren (Heidelberg,1924), p. 10.

22 Seymour Martin Lipset, «Universiry Students and Politics in Uderdeveloped Countries», *Minerva*, 3 (Autumn 1964), 40. См. также с. 43–44, где приводятся данные об отсутствии функциональной автономии у университетов в странах, переживающих модернизацию.

23 *New York Times*, December 4, 1961, p. 10.

24 James L. Payne, *Labor and Politics in Peru* (New Haven, Yale University Press, 1965), p. 271–272. См. также обсуждение «репрезентационного насилия» у Мартина Нидлера: Martin C. Needler, *Political Development in Latin America: Instability, Violence and Evolutionary Change*, Chap. 3.

25 Edwin Liewen, *Generals vs. Presidents* (New York, Praeger, 1964), p. 48. Концепцию «насильственной демократии» развивает Пейн в работе *Labor and Politics in Peru*.

26 Порочный круг прямого действия в преторианском обществе наглядно иллюстрирует Абрахам Ф. Лёвенталь в своем описании доминиканской политики: «Есть, наконец, еще один аспект политической нестабильности в Доминиканской Республике, который я хотел бы выделить: крайне прямой, ничем практически не опосредованный характер конфронтации общественных сил. Тактика, которую использовали все группы начиная с 1961 г., характеризовалась все более грубой, неприкрытой демонстрацией силы, направленной чаще на свержение правительства, нежели на принуждение его к определенным действиям, и использование такой прямой тактики способствовало эскалации конфликта. Студенты и университетские политики выпускали манифесты, распространяли листовки, подстрекали ко все новым и новым забастовкам, устраивали марши, демонстрации и беспорядки, захватывали университетский городок и административные корпуса университета, требуя полной смены университетского руководства по политическим основаниям, поставляли из своей среды участников краткосрочной герильи и воевали в качестве коммандос на стороне движения «конституционалистов». Профсоюзы выпускали обращения к народу, устраивали митинги и забастовки, организовывали «турбас» для физического устранения чиновников и предпринимателей, которых им хотелось сменить по политическим соображениям; они даже организовали в 1966 г. общенациональную забастовку, едва не приведшую к полному успеху, и они также формировали отряды коммандос во время столкновений 1965 г. Бизнесмены уже на самом раннем этапе борьбы начали с внушительной демонстрации силы в забастовке 1961 г., направленной против остатков режима Трухильо; к аналогичной тактике прибегла небольшая группа коммерсантов для свержения Боша в 1963 г., а также группа, организовавшая контрзабастовку против всеобщей забастовки 1966 г. К этому можно добавить, что, по некоторым данным, группы предпринимателей и коммерсантов формировали и субсидировали террористические отряды, которые, по всей вероятности, с 1965 г. побеждали в актах насилия такие же отряды, организованные крайне левыми. Даже Церковь, хотя и очень озабоченная сохранением своего статуса в качестве одного из немногих носителей преемства в доминиканской жизни, временами пыталась повлиять на происходящее прямыми обращениями к народу. Многочисленные пастырские послания и другие публичные обращения и даже активное участие в переговорах по формированию в 1965 г. временного правительства были проявлениями прямого действия со стороны Церкви. К тому же Церковь очевидным образом оказывала влияние на ход событий посредством организации кампании «курсильос де Кристианидад» — краткосрочных религиозных курсов с политической окраской — и через поддержку в 1963 г. массовых митингов «Христианского возрождения», направленных против Боша. Различные другие общественные силы прибегали не только к речам, пропаганде, митингам, организации своих сторонников и т.д., но — что более важно — к подрывной и заговорщической деятельности, подталкивая различные фракции среди военных к переворотам и конрпереворотам. А военные, в свою очередь, свергали правительства, принуждали их к отказу от проведения той или иной политики, а также подавляли оппозицию. Поскольку каждая из участвовавших в конфликтах групп прибегала к прямым действиям, военным группам до кризиса 1965 г. всегда удавалось брать верх. Эскалация насилия в 1965 г., включавшая в себя вооружение нерегулярных боевых отрядов, привела к тому, что в Центре подготовки военно-воздушных и армейских сил, располагавшем самыми мощными вооруженными силами, было принято решение покарать своих врагов в рядах армии и в гражданском населении. Именно последствия этого решения, конечный этап политики хаоса, привели к кризису 1965 г. и создали условия для интервенции со стороны США». «Политическая нестабильность в Доминиканской Республике» (неопубликованная рукопись, Гарвардский университет, май 1967).

27 Henderson, *Korea: The Politics of the Vortex*, p. 175–176.

28 Frank N. Tager, «The Failure of U Nu and the Return of the Armed Forces in Burma», *Review of Politics, 25* (July 1963), p. 320–321.

29 Manfred Halpern, *The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa* (Princeton, Princeton University Press, 1963), p. 75, 253. Доводы в пользу прогрессивной роли военных в процессе модернизации в Юго-Восточной Азии см. в: Lucien Pye, «Armies in the Process of Modernization», in John J. Johnson, ed., *The Role of the Military in Underdeveloped Countries* (Princeton, Princeton University Press, 1962), p. 69–90. Применительно к Латинской Америке консервативная концепция отстаивается Лёй-

веном в кн.: *Generals vs. Presidents* и Мартином Дж. Нидлером в статье: «Political Development and Military Intervention in Latin America», *American Political Science Review, 60* (September 1966), 616–626. Более прогрессивная роль военных подчеркивается Джонсоном в кн.: *The Military and Society in Latin America.*

30 Jose Nun, «A Latin American Phenomenon: The Middle Class Military Coup», in Institute of International Studies, *Trends in Social Science Research in Latin American Studies: A Conference Report* (Berkeley, University of California, 1965), p. 68–69. Нун здесь воспроизводит оценки численности среднего класса в Латинской Америке, сделанные Джино Джермани (*Politica y Sociedad en una Epoca de Transicion*, Buenos Aires Editorial Paidos, 1962, p. 169–170), и я, в свою очередь опирался на них в этом разделе. Примеры другого использования тех же данных можно найти в статье: Gino Germani and Kalman Silvert, «Politics, Social Structure and Military Intervention in Latin America», *European Journal of Sociology, 2* (1961), p. 62–81.

31 North, p. 26–27, 30–33.

32 Johnson, *Military and Society*, p. 217.

33 Liewen, *Generals vs. Presidents*, p. 10 ff., 45–50.

34 Needler, «Political Development», p. 619–620.

35 North, p. 49.

36 Ibid., p. 55.

37 Цитировано Кристофером Рэндом в статье «Письмо из Ла Паса» (*New Yorker*, December 31, 1966), p. 50.

38 Major Julio Alsogaray, *New York Times*, March 6, 1966, p. 26; Rosendo A. Gomez, «Peru: The Politics of Military Guardianship,» in Needler, *Political Systems*, p. 301–302.

39 Benjamin Constant Botelho de Bagalhaes, слова которого цитируются в: Charles W. Simmons, «The Rise of the Brazilian Military Class, 1840–1890», *Mid-America, 39* (October 1957), 237.

40 *New York Times*, March 6, 1966, p. 26; Brady Tyson, «Brazilian Army 'Civism'» (неопубликованная рукопись, май 1964), p. 6.

41 Liewen, *Generals and Presidents*, p. 138. См. с. 136–141, где содержится хороший разбор возможностей и трудностей латиноамериканского насеризма.

42 Needler, «Political Development», p. 619–620.

43 Pye, «Armies in the Process of Modernization», in Johnson, *Military in Underdeveloped Countries*, p. 234–235.

44 Needler, p. 619–620.

45 George I. Blanksten, «The Politics of Latin America», in Gabriel Almond and James S. Coleman, eds., *The Politics of the Developing Areas* (Princeton, Princeton University Press, 1960), p. 498.

46 Dankwart A. Rustow, *Politics and Westernization in the Near East* (Princeton, Center of International Studies, 1956), p. 17.

47 Tyson, p.11.

48 Henderson, p. 339.

49 Robert A. Scalapino, «Which Route for Korea?» *Asian Survey, 11* (September 1962), 11.

50 Perlmutter, Chap. 2, p. 25, 26; Mohammad Naguib, *Egypt's Destiny* (Garden City, Doubleday and Company, 1955), p. 14–15.

51 John H. Badgley, «Burma: The Nexus of Socialism and Two Political Traditions», *Asian Survey, 3* (February 1963), 92–93.

52 Ayub Khan, *Dawn* (Karachi), June 16, 1960 — цит. в ст.: D.P. Singhal, «The New Constitution of Pakistan», *Asian Survey, 2* (August 1962), 17.

53 Gamal Abdel Nasser, Speeches Delivered in the Northern Region (February—March 1961), p. 88, цит. у Перлмуттера, гл. 6, с. 37.

54 Цит. в кн.: Brian Crozier, The Morning After (London, Methuen and Company, 1963), p. 73.

55 McAlister, p. 152.

56 См.: James Heaphey, «The Organization of Egypt: Inadequacies of a Nonpolitical Model for Nation-Building», *World Politics, 18* (January 1966), 177–178.

57 Fred R. von der Mehden, «The Burmese Way to Socialism», Asian Survey, 3 (March 1963), 133. О НСА можно прочитать в статье: Richard Butwell, «The New Political Outlook in Burma», *Far Eastern Survey, 29* (February 1960), 23–24.

58 См.: P.J.Vatikiotis, *The Egyptian Army in Politics* (Bloomington, Indiana University Press, 1961), p. 106, 284; *New York Times*, June 26, 1964, p. 2; December 15, 1963, p. 17.

59 Речь, произнесенная 9 апреля 1953 г.; цит. по кн. Ватикиотиса, с. 83.

60 Vatikiotis, p. 139.

61 См.: George Lenczowski, «Radical Regimes in Egypt, Syria and Iraq: Some Comparative Observations on Ideologies and Practices», *Journal of Politics, 28* (February 1966), 51–52.

62 *Washington Post*, February 9, 1964, p. A–17.

63 Heaphey, p. 193.

64 Halpern, *Politics of Social Change*, p. 286.

65 Vatikiotis, p. 72.

66 Ibid., p. 225.

67 The Economist (March 12, 1960), p. 974, 977; цит. у Перлмуттера, гл. 6, с. 30, 31.

68 Текст меморандума см. в кн.: Karl von Vorys, *Political Development in Pakistan* (Princeton, Princeton University Press, 1965), p. 299 ff.

69 Цит. в кн.: Richard V. Weekes, *Pakistan: Birth and Growth of a Muslim Nation* (Princeton, D. Van Nostrand and Company, 1964), p. 118.

70 Von Vorys, p. 201.

71 Keith Callard, *Pakistan: A Political Study* (London, Allen and Unwin, 1957), p. 50, 52.

72 Цит. у Вориса, с. 206.

73 Mohammad Ayub Khan, *Speeches and Statements*, 2, 35, цит. у Вориса, с. 106.

74 Ibid., p. 256–257.

75 Mushtq Ahmad, *Government and Politics in Pakistan* (Karachi, Pakistan Publishing House, 1963), p.282.

76 Цит. в статье: Lucian Pye, «Party Systems and National Development in Asia», in Joseph LaPalombara and Myron Weiner, eds., *Political Parties and Political Development* (Princeton, Princeton University Press, 1966), p. 369.

77 Цит. в кн.: Irfan Orga, *Phoenix Ascendant: The Rise of Modern Turkey* (London, Robert Hale, 1958), p. 38.

78 Цит. в статье: Dankwart A. Rustow, «The Army and the Founding of the Turkish Republic», *World Politics, 11* (July 1959), 546.

79 Liewen, *Arms and Politics*, p. 119.

[80] Jae Souk Sohn, «The Role of the Military in the Republic of Korea» (неопубликованная рукопись, сентябрь 1966), с. 7; Henderson, p. 185–188, 305–306.

5. Революция и политический порядок

[1] Carl J. Friedrich, *Man and His Government* (New York, McGraw-Hill, 1963), p. 644.

[2] Hanna Arendt, *On Revolution* (New York, Viking, 1963), p. 28.

[3] Стефен Маршалл, 1641, цит. в кн.: Michael Waltzer, The Revolution of the Saints (Cambridge, Harvard University Press, 1965), p. XIV. В исследовании Уолцера убедительно показана модернизаторская, революционная природа пуританства.

[4] George S. Pettee, *The Process of Revolution* (New York, Harper, 1938), p. 96.

[5] Ibid., p. 100–101.

[6] Crane Brinton, *The Anatomy of Revolution* (New York, Vintage, 1958).

[7] Leon Trotsky, *My Life* (New York, Scribner's, 1930), p. 337; цит. в кн.: Merle Fainsod, *How Russia is Ruled* (Cambridge, Harvard University Press, 1953), p. 84. — Es schwindelt — это головокружительно (*нем.*)

[8] Ср. Chalmers Johnson, *Revolution and the Social System* (Stanford, Hoover Institution, 1964), p. 3–22; Harry Eckstein, «Internal War: The Problem of Anticipation», in Ithiel de Sola Pool et al., *Social Science Research and National Security* (Washington, Smithsonian Institution, 1963), p. 116–118.

[9] Pettee, p. 12, 100; Brinton, p. 100 ff.; Johnson, p. 5 ff.

[10] R.R.Palmer, *The Age of the Democratic Revolution*, I, 484.

[11] Barbara Ward, «The City May Be as Lethal as the Bomb», *New York Times Magazine*, April 19, 1964, p. 22.

[12] Ernest Halperin, «The Decline of Communism in Latin America», *Atlantic Monthly, 215* (May 1965), 65.

[13] Glaucio A.D. Soares, «The Political Sociology of Uneven Development in Brazil», in Irving L. Horovitz, ed., *Revolution in Brazil* (New York, Dutton, 1964), p. 191; Andrew Pearse, «Some Characteristics of Urbanization in the City of Rio de Janeiro», in Philip Hauser, ed., *Urbanization in Latin America* (Paris, UNESCO, 1961), p. 196.

[14] Angus Campbell et al., *The American Voter* (New York, John Wiley, 1960), p. 209–210; Frank Bonilla, «Rio's Favelas», *American Universities Field Stuff Report Service* (East Coast South American Series, Vol. 8, No. 3, February 1, 1961), 12; John P. Harrison, «The Role of the Intellectual in Fomenting Change: the University», in John TePaske and Sydney N. Fisher, eds., *Explosive Forces in Latin America* (Columbia, Ohio State University Press, 1964), p. 34; Daniel Goldrich, «Toward an Estimate of the Probability of Social Revolutions in Latin America: Some Orienting Concepts and a Case Study», *Centennial Review, 6* (Summer 1962), 400. См. также: Daniel Goldrich, Raymond B. Pratt, and C.R. Schuller, «The Political Integration of Lower Class Urban Settlements in Chile and Peru: A Provisional Inquiry» (доклад на ежегодной встрече Американской политологической ассоциации, Нью-Йорк, 5–10 сентября 1966 г.).

[15] Halperin, p. 66.

[16] H.Rotondo, «Psychological and Mental Health Problems of Urbanization Based on Case Studies in Perú», in Hauser, p. 255.

[17] Soares, p. 191–192; Alfred Stepan, «Political Development Theory: The Latin American Experience», *Journal of International Affairs, 20* (1966), p. 229–231; Joseph A. Kahl, «Social Stratification and Values in Metropolis and Provinces: Brazil and Mexico», *America Latina, 8* (Jan.—Mar. 1965), 33. Cf. John C. Leggett, «Uprootedness and Working-Class Consciousness», *American Journal of Sociology, 68* (1963), 682 ff.

[18] Weiner, *The Politics of Scarcity*, p. 205–206, и Weiner, «Urbanization and Political Protest», *Civilisations*, 17 (1967), p. 44–50.

[19] Oscar Handlin, *The Uprooted* (Boston, Little Brown, 1951), p. 267; Will Herberg, *Protestant-Catholic-Jew* (Garden City, N.Y., Doubleday, 1956), p. 28–35; Marcus L. Hansen, *The Immigrant in American History* (Cambridge, Harvard University Press, 1940), p. 92–96.

[20] Claude Brown, Testimony, *Hearings on Federal Role in Urban Problems*, U.S. Senate, Subcommittee on Executive Reorganization of the Committee on Government Operations, 89th Congress, 2d Session (1966), Part V, p. 1106; Philip Meyer, *A Survey of Attitudes of Detroit Negroes After the Riot of 1967* (Detroit, Detroit Urban League and Detroit Free Press, 1967).

[21] Kornhauser, *The Politics of Mass Society*, p. 150–151; курсив в оригинале.

[22] См. George E. Lichtblau, «The Politics of Trade Union Leadership in Southern Asia», *World Politics, 7* (1954), p. 89–99; Arnold Zack, *Labor Training in Developing Countries* (New York, Praeger, 1964), p. 12; Bruce Millen, *The Political Role of Labor in Developing Countries*, p. 49–52; Robert J. Alexander, *Organized Labor in Latin America* (New York, Free Press, 1965), p. 13; Marshall R. Singer, *The Emerging Elite* (Cambridge, M.I.T. Press, 1964), p. 128–136.

[23] Gaston V. Rimlinger, «The Legitimation of Protest: A Comparative Study in Labor History», *Comparative Studies in Society and History, 2* (April 1960), p. 342–343.

[24] Henry A. Landsberger, «The Labor Elite: Is It Revolutionary?» in Seymour Martin Lipset and Aldo Solari, eds., *Elites in Latin America* (New York, Oxford University Press, 1967), p. 260.

[25] Lichtblau, p. 100.

[26] Lloyd Fallers, «Equality, Modernity, and Democracy in the New States», in Clifford Geertz, ed., Old Societies and New States (New York, The Free Press, 1963), p. 188. См. также замечание Теодора Дрейпера, что кубинские профсоюзы «сумели за многие годы добиться немалого числа уступок и привилегий, что превратило членов этих профсоюзов в сравнительно привилегированный класс». *Castroism: Theory and Practice* (New York, Praeger, 1965), p. 76–77.

[27] Landsberger, p. 271.

[28] Halpern, *The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa*, p. 75; Draper, p. 79.

[29] Bert F. Hoselitz and Myron Weiner, «Economic Development and Political Stability in India», *Dissent, 8* (Spring 1961), 177; Benjamin B. Ringer and David L. Sills, «Political Extremists in Iran», *Public Opinion Quarterly, 16* (1952–1953), p. 693–694.

[30] Palmer, *I*, p. 483–484.

[31] John Maynard, *The Russian Peasant and Other Studies* (London, Victor Gollancz, 1947), p. 74–75; Launcelot Owen, *The Russian Peasant Movement, 1906–1917* (New York, Russell and Russell, 1963), p. 139. Мне также оказались очень полезными сведения

по этим вопросам, содержащиеся в неопубликованной работе: JoClayre Marvin, «The Political Role of the Russian Peasantry, 1890–1921» (Cambridge, Mass., Harvard University, 1965).

32 Owen, p. 138; Ленин процитирован в кн.: William Henry Chamberlin, *The Russian Revolution, 1917–1921* (New York, Macmillan, 1952), *I*, 294.

33 Mao Tse-Tung, «Report of an Investigation into the Peasant Movement in Hunan»; перепечатка в кн.: Stuart R. Schram, ed., *The Political Thought of Mao Tse-Tung* (New York, Praeger, 1963), p. 180–182, 184; курсив в оригинале.

34 Celso Furtado, цит. в работе: Thomas F. Carrroll, «Land Reform as an Explosive Force in Latin America», in TePaske and Fisher, p. 119–120.

35 Paul Stirling, «Structural Changes in Middle East Society», in Philip W. Thayer, ed., *Tensions in the Middle East* (Baltimore, Johns Hopkins Press, 1958), p. 145. См. также работу: Douglas D. Crary, «The Villager», in S.N.Fisher, ed., *Social Forces in the Middle East* (Ithaca, Cornell University Press, 1955), p. 52. По этому вопросу мне была также полезна неопубликованная работа Стивена Дейла: «The Anatomy of La Miseria: A Critique of Banfield's Theory of the Moral Nature of Underdeveloped Societies» (Cambridge, Mass., Harvard University, 1966).

36 Celso Furtado; цит. в работе: Carroll, «Land Reform», p. 120; см. также: Royal Institute of International Affairs, *Agrarian Reform in Latin America* (London, Oxford University Press, 1962), p. 15.

37 Полезное обсуждение перспектив союза между университетскими интеллектуалами и городской беднотой см. в работе Харрисона «University», in TePaske and Fisher, p. 34–36.

38 См.: Edmundo Flores, *Land Reform and the Alliance for Progress* (Princeton, Center of International Studies, 1963), p. 13.

39 О Мексике см. в кн.: Henry Bamford Parker, *A History of Mexico* (rev. ed. Boston, Houghton Mifflin, 1950), p. 309. О Кубе см. в работе: Leland L. Johnson, «U.S. Business Interests in Cuba and the Rise of Castro», *World Politics, 17* (April 1965), p. 440–459.

40 Palmer, 2, 4.

41 См.: Perlmutter, «Ambition and Attrition», Chap. 3, p. 10, 11; Chalmers Johnson, *Peasant Nationalism and Communist Power* (Stanford, Stanford University Press, 1962), p. 22–26; Richard Cottam, *Nationalism in Iran* (Pittsburg, University of Pittsburgh Press, 1964), p. 291.

42 Leon Trotsky, *History of the Russian Revolution* (New York, Simon and Schuster, 1932), p. 2, 46.

43 Edwin Reingold, *Time, 84* (August 14, 1964), 28.

44 Цит.: С.К.Макклэтчи (*Washington Post*, September 26, 1965, p. E4).

45 См. блестящее истолкование этого феномена у Уолцера в кн.: Waltzer, *Revolution of the Saints*, passim.

46 Bertran de Jouvenel, *On Power* (Boston, Beacon Press, 1962), p. 218.

47 Ibid.

48 См.: Howard F. Cline, *The United States and Mexico* (2nd ed. Cambridge, Harvard University Press, 1965), p. 52; Parkes, p. 308.

49 Robert E. Scott, *Mexican Government in Transition* (Urbana, University of Illinois Press, 1959), p. 96.

50 См.: Kalman Silvert, ed., *Expectant Peoples* (New York, Random House, 1963), p. 358–361.

51 Edwin Lieuwen, *Arms and Politics in Latin America*, p. 101.

52 Ласаро Карденас; цит. в кн.: Lieuwen, p. 114. См. выше, с. 256–257, о росте цивилизованности мексиканского политического руководства.

53 О Карденасе см. у Скотта, с. 127.

54 Gabriel A. Almond and Sidney Verba, *The Civic Culture*.

55 Sidney Verba and Gabriel A. Almond, «National Revolutions and Political Commitment», in Harry Eckstein, ed., *Internal War* (New York, The Free Press, 1964), p. 230; Almond and Verba, *Civic Culture*, p. 99, 219. Ср. Robert E. Scott, «Mexico: The Established Revolution», in Pye and Verba, eds., *Political Culture and Political Development*, p. 330–395.

56 Russell et al., *World Handbook of Political and Social Indicators*, p. 239; Cornelius H. Zontag, *The Bolivian Economy, 1952–1965* (New York, Praeger, 1966), p. 144.

57 Richard Patch, «Bolivia: The Restrained Revolution», *Annals, 334* (March 1961), p. 127.

58 De Jouvenel, p. 219.

59 О формах организации рабочих в Мексике и Боливии см. в кн.: Alexander, *Organized Labor in Latin America*, p. 102–110, 197–198.

60 Richard W. Patch, «Bolivia: U.S. Assistance in a Revolutionary Setting», in Richard Adams, ed., *Social Change in Latin America Today* (New York, Vintage, 1960), p. 119–124.

61 Richard Weinert, «Bolivia's Shaky Truce», *The New Leader, 48* (July 5, 1965), p. 8.

62 *The Daily Journal* (Caracas), June 4, 1965, p. 24.

63 Roy R. Rubottom, Jr., Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs, *Hearings on Mutual Security Act of 1960*, U.S. House of Representatives, Committee on Foreign Affairs, 86th Cong., 2nd Sess. (1960), p. 847; цит. в: Patch, «U.S. Assistance», p. 159. Я и вообще опирался на Пэтча в отношении влияния американских программ помощи в Боливии.

64 Patch, «U.S. Assistance», p. 133.

65 Paz Estenssoro, *New York Times*, Oct. 26, 1963, p. 9.

66 В.И. Ленин. Что делать? // ПСС, т. 6. С. 117.

67 Там же. С. 69.

68 Там же. С. 112.

69 Benjamin Schwartz, *Chinese Communism and the Rise of Mao* (Cambridge, Harvard University Press, 1951), p. 193, 198.

70 В.И. Ленин. Что делать? // ПСС, т. 6. С. 122–127.

71 Лев Троцкий, цит. по: Fainsod, p. 139.

72 Ленин. Что делать? См. также блестящую интерпретацию Ленина как пионера в разработке возникшей в XX в. теории организации в кн.: Sheldon Wolin, *Politics and Vision* (Boston, Little Brown, 1960), p. 421–429.

73 Schwartz, p. 35; Franz Schurmann, «Organizational Principles of the Chinese Communists», *China Quarterly, 2* (April—June 1960), 47; Douglas Pike, *Viet Cong* (Cambridge, The M.I.T. Press, 1966), passim.

74 Ай Сучжи, цит. в: Frederick T. C. Yu, «Communications and Politics in Communist Chima», in Pye, ed., *Communications and Political Development*, p. 261–262.

75 В.И. Ленин. *Шаг вперед, два шага назад.* // ППС, т. 8. С. 384–385.

76 И.В. Сталин. *Вопросы ленинизма* (М., Партиздат, 1935), с. 63, 117; курсив в оригинале.

6. Реформа и политическое изменение

1 Albert O. Hirschman, *Journeys Toward Progress* (New York, Twentieth Century Fund, 1963), p. 267.

2 См.: Charles E. Lindblom, «The Science of 'Muddling Through'», *Public Administration Review, 19* (Spring 1959), p. 79–88.

3 Dankwart A. Rustow, *A World of Nations*, p. 126–127. О стратегии Кемаля и тактике осуществления реформ см. в: Rustow, «The Army and the Founding of the Turkish Republic», *World Politics, 11* (July 1959), 545 ff.; Bernard Lewis, *The Emergence of Modern Turkey* (London, Oxford University Press, 1961), p. 254; Richard D. Robinson, *The First Turkish Republic* (Cambridge, Harvard University Press, 1963), p. 65–66, 69, 80–81; Lord Kinross, *Ataturk* (New York, William Morrow, 1965), p. 430.

4 Mustapha Kemal, *A Speech Delivered by Ghazi Mustapha Kemal, President of the Turkish Republic, October 1927* (Leipzig, K.F.Koehler, 1929), p. 119.

5 Цит. в: Lewis, p. 257.

6 Peter F. Sugar, «Economic and Political Modernization: Turkey», in Robert E. Ward and Dankwart A. Rustow, eds., *Political Modernization in Japan and Turkey* (Princeton, Princeton University Press, 1964), p. 174; Z.Y.Hershlag, *Turkey: An Economy in Transition* (The Hague, Van Keulen, 1958), Chap. 11, 14, 15.

7 Kemal, p. 598.

8 Frederick W. Frey, «Political Development, Power and Communications», in Pye, ed., *Communications and Political Development*, p. 314–315.

9 Cardinal Richelieu, *Political Testament* (tr. H.B.Hill, Madison, University of Wisconsin Press, 1961), p. 75.

10 Kenneth Clark, «Desegregation: An Appraisal of the Evidence», *Journal of Social Issues, 9* (1953), 43; курсив в оригинале. См. также: Ronald Lippitt et al., *The Dynamics of Planned Change* (New York, Harcourt, Brace, 1958), p. 58–59.

11 Kinross, p. 431.

12 Guy Wint, «The 1958 Revolution in Pakistan», *St. Anthony's Papers* (No. 8, 1960), 79.

13 Николо Макиавелли. *Государь* (М., ЭКСМО-ПРЕСС; Харьков, ФОЛИО, 1999), с. 63.

14 Frey, p. 313–314 (курсив в оригинале).

15 Joseph Hamburger, *James Mill and the Art of Revolution* (New Haven, Yale University Press, 1963), p. 277–278; Myron Weiner, *The Politics of Scarcity*, Chap. 8. Относительно роли насилия в осуществлении реформ вообще см.: Hirschman, p. 256–260 и H.I. Niebung, «The Threat of Violence and Social Change», American Political Science Review, 56 (Dec. 1962), p. 865–873.

16 Цит. в: Hamburger, p. 278.

17 Arthur I. Waskow, *From Race Riot to Sit-In, 1919 and 1960s* (Garden City. N.Y., Doubleday, 1966), p. 278–279.

18 Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan, *Power and Society* (New Haven, Yale University Press, 1950), p. 276; Carl J. Friedrich, *Man and His Government* (New York, McGraw-Hill, 1963), p. 641; Palmer, *The Age of the Democratic Revolutions*, 2, 574.

19 А. Де Токвиль. Старый порядок и революция // М.: Московский философский фонд, 1997. С. 149–150.

20 К несчастью, вопрос о том, когда умиротворение в международных отношениях

действительно умиротворяет, а когда оно, наоборот, возбуждает, теоретически исследован мало. Полезное краткое его обсуждение см. в работе: George A. Lanyi, «The Problem of Appeasement», *World Politics, 15* (Jan. 1963), p. 316–329. Несколько работ в обширной литературе о мирном изменении также имеют отношение к этой теме. См. в частности: Bryce C. Wood, Peaceful Change and the Colonial Problem (New York, Columbia University Press, 1940) и Lincoln Bloomfield, Evolution or Revolution? (Cambridge, Harvard University Press, 1957). Нельзя заходить слишком далеко в проведении параллелей и (или) аналогий между внутренней и международной политикой. На внутриполитической сцене обычно действуют консерваторы, реформаторы и революционеры, на международной — страны-сторонники статус-кво и неудовлетворенные страны. Революционеры обычно привержены революции как необходимому средству и отрицают возможность достижения результатов революции без революции. Неудовлетворенные страны, напротив, часто предпочли бы достичь результатов войны, не воюя.

21 Ленин. Цит. по кн.: Bertram D. Wolfe, Three Who Made a Revolution (Boston, Beacon Press, 1955), p. 120, и в кн.: Alfred G. Meyer, Leninism (Cambridge, Harvard University Press, 1957), p. 377. См. ниже, на с. 377, о несколько иной оценке Лениным земельных реформ.

22 Цит. у Токвиля, с. 161–62.

23 Frank Tannenbaum, «On Political Stability», *Political Science Quarterly, 75* (June 1960), 169.

24 См.: Seymour Martin Lipset, «Democracy and the Social System», in Harry Eckstein, ed., *Internal War* (New York, The Free Press, 1964), p. 296–302.

25 Lasswell and Kaplan, p. 267.

26 См. сводку данных у Сеймура Мартина Липсета в работе: «University Students and Politics in Underdeveloped Countries», in Lipset, ed., «Special Issue on Student Politics», *Comparative Education Survey, 10* (June 1966), 132 ff.

27 Henderson, Korea: *The Politics of the Vortex*, p. 181.

28 John P. Harrison, «The Role of the Intellectual in Fomenting Change: The University», in TePaske and Fischer, eds., *Explosive Forces in Latin America*, p. 33; *Red Flag*, цит. в: *Boston Globe*, July 5, 1966, p. 14.

29 Lipset, p. 140–141.

30 Mosse, *Alexander II and the Modernization of Russia*, p. 125–126; Franco Venturi, *Roots of Revolution* (New York, Grosset and Dunlap, 1966), p. 222–226; Michael Karpovich, *Imperial Russia, 1801–1917* (New York, Holt, Rinehart and Winston, 1932), p. 46.

31 Nicolas S. Timasheff, *War and Revolution* (New York, Sheed and Ward, 1965), p. 179–180.

32 Howard J. Wiarda, «The Context of United States Policy toward Dominican Republic: Background to the Revolution of 1965» (неопубликованная работа, Harvard University, Center for International Affairs, 1966), p. 30–31.

33 Eugene B. Mihaly and Joan M. Nelson, «Political Development and U S. Economic Assistance» (неопубликованная работа), с. 8.

34 Palmer, *I*, 482

35 Смысл фраз «земельная реформа» и «аграрная реформа» различается, как «что» и «как». В плане предмета, или «что», выражение «земельная реформа» обозначает

перераспределение собственности на землю, а значит, и дохода от землепользования. «Аграрная реформа» относится к улучшению агротехники, сельскохозяйственного оборудования, удобрения, поддержания плодородия почвы, севооборота, ирригации и сбыта. Результатом всего этого является повышение продуктивности и эффективности хозяйствования. Наше основное внимание направлено на земельную реформу, поскольку она имеет наиболее прямое отношение к политической стабильности. Аграрная реформа без земельной может повысить экономическую продуктивность и одновременно политическую нестабильность деревни. Земельная без аграрной может повысить стабильность, но снизить продуктивность. В плане «как», выражение «земельная реформа», будучи применено без оговорок, означает перемены в землевладении, достигнутые без революции. Поскольку все революции влекут за собой и изменения в порядке землевладения, последние надо квалифицировать как «революционная земельная реформа», отличая ее таким образом от земельной реформы мирными методами.

36 Приведены цитаты, последовательно, из: Henderson, p. 1956–1957; Lloyd I. Rudolph and Susanne Hoeber Rudolph, «Toward Political Stability in Underdeveloped Countries: The Case of India», *Public Policy* (Cambridge, Graduate School of Public Administration, 1959), 9, 166; Royal Institute of International Affairs, *Agrarian Reform in Latin America* (London, Oxford University Press, 1962), p. 14; Charles J. Erasmus, «A Comparative Study of Agrarian Reform in Venezuela, Bolivia and Mexico», in Dwight B. Heath, Charles J. Erasmus, Hans C. Buechler, *Land Reform and Social Revolution in Bolivia* (unpublished manuscript, University of Wisconsin, Land Tenure Center, 1966), p. 708–709.

37 Stolypin, цит. у William Henry Chamberlin, «The Ordeal of the Russian Peasantry», *Russian Review, 14* (October 1955), p. 297.

38 Цитаты и данные взяты у Wolfe, p. 360–361.

39 Mosse, p. 60; Jerome Blum, *Lord and Peasant in Russia* (Princeton, Princeton University Press, 1961), p. 592.

40 Thomas F. Carroll, «Land Reform as an Explosive Force in Latin America», in TePaske and Fisher, p. 84.

41 Doreen Warriner, *Land Reform and Development in the Middle East*, (2d ed. London, Oxford University Press, 1962), p. 208–209.

42 См. Sidney Klein, *The Pattern of Land Tenure Reform in East Asia After World War II* (New York, Bookman, 1958), p. 230, 250; R. P. Dore, *Land Reform in Japan* (New York, Oxford University Press, 1959).

43 Gabriel Baer, *A History of Landownership in Modern Egypt, 1800–1950* (London, Oxford University Press, 1962), p. 13 ff. Мое рассмотрение египетского примера базируется в основном на этой книге.

44 Ibid., p. 214–215, 220–222.

45 Премьер-министр Али Амини, цит. по: Donald N. Wilber, *Contemporary Iran* (New York, Praeger, 1963), p. 126.

46 Edwin Lieuwen, *Generals vs. Presidents*, p. 47, 74–84.

47 Tad Szulc, *The Winds of Revolution* (New York, Praeger, 1964), p. 182–183.

48 Gregory Henderson, «Korea: The Politics of the Vortex» (неопубликованная работа, Harvard University, Center for International Affairs, 1966), p. 413, 425–426, 447.

49 John Duncan Powell, «The Politics of Agrarian Reform in Venezuela: History, System and Process» (Ph.D. thesis, University of Wisconsin, 1966), p. 176–177.

50 Цит. в: Erasmus, p. 725.

51 Организация Объединенных Наций, Департамент экономических и социальных проблем, *Progress in Land Reform: Third Report* (United Nations, 1962), p. 22.

52 Jean Grossholtz, *Politics in the Philippines* (Boston, Little Brown, 1964), p. 71.

53 Hirschmann, p. 155–156; Carroll, p. 107–108.

54 Hirschman, p. 142, 157; Премьер-министр Амини, цит. по Jay Walz, *New York Times*, May 30, 1961, p. 2.

55 Walter C. Neale, *Economic Change in Rural India* (New Haven, Yale University Press, 1962), p. 258.

56 Wolf Ladejinsky, *A Study on Tenurial Conditions in Packaya Districts* (New Delhi, Government of India Press, 1965), p. 9.

57 J. Lossing Buck, «Progress in Land Reform in Asian Countries», in Walter Froehlich, ed., *Land Tenure, Industrialization and Social Stability: Experience and Prospects in Asia* (Milwaukee, Marquette University Press, 1961), p. 84.

58 *The Economic Weekly* (Bombay), Feb. 1964, p. 156, цит. по: Wayne Wilcox, «The Pakistan Coup D'Etat of 1958», *Pacific Affairs, 38* (Summer 1965), p. 153.

59 Erasmus, p. 787.

7. Партии и политическая стабильность

1 Leonard B. Schapiro, *The Communist Party of the Soviet Union* (New York, Random House, 1960), p. 258.

2 Philip Rudolph, *North Korea's Political and Economic Structure* (New York, Institute of Pacific Relations, 1959), p. 61.

3 Raymon Vernon, *The Dilemma of Mexico's Development* (Cambridge, Harvard University Press, 1963), p. 59.

4 M. Corpierre, «Le totalitarism africain», *Preuves*, 143 (January 1963), 17, цит. по: Immanuel Wallerstein, «The Decline of the Party in Single-Party African States», La Palombra and Weiner, eds., *Political Parties and Political Development*, p. 204.

5 George Washington, Letter to Jay, November 1, 1794, *Writings* (W.C.Ford ed., New York, Putnam's, 1891), *12*, 486.

6 Lord Bolingbroke, «The Idea of a Partiot King», *Works* (London, Hansard and Sons, 1809), *4*, 280–281.

7 Maurice Duverger, *Political Parties* (New York. John Wiley, 1954), p. 426.

8 Washington, «Farewell Address», in Ford, ed., *13*, 304.

9 См.: Myron Weiner and Joseph LaPalombara, «The Impact of Parties on Political Development», in LaPalombara and Weiner, p. 400.

10 Edwin Lieuwen, *Generals vs. Presidents*, p. 61.

11 Luis Muñoz Marin, *New York Times*, Dec. 27, 1964, p. 43.

12 Philip E. Converse, «The Nature of Belief Systems in Mass Publics», in David Apter, ed., *Ideology and Discontent* (New York, The Free Press, 1964), p. 248–249.

13 William J. Foltz, «Building the Newest Nations: Short-Run Strategies and Long-Run

Problems», in Karl W. Deutsch and William J. Foltz, eds., *Nation-Building* (New York, Atherton Press, 1963), p.121.

14 Ibid., p. 123–124.

15 Цит. по: Caridad C. Semana, «Some Political Aspect of Philippine Economic Development After Independence» (Ph. D. dissertation, Harvard University, 1965), p. 166.

16 William N. Chambers, *Political Parties in a New Nation* (New York, Oxford University Press, 1963), p. 26.

17 Keith Gallard, *Political Forces in Pakistan, 1947–1959* (New York, Institute of Pacific Relations, 1959), p. 24–25.

18 David A. Wilson, *Politics in Thailand* (Ithaca, Cornell University Press, 1962), p. 68.

19 Henderson, *Korea: The Politics of the Vortex*, p. 288; David Abernethy, «Education and Politics in a Developing Society: The Southern Nigerian Experience» (Ph.D. dissertation, Harvard University, 1965), p. 331.

20 См., например, обсуждение американского опыта в: Chambers, p. 32–33.

21 Rupert Emerson, «Nation-Building in Africa», in Deutsch and Foltz, p. 110–111

22 Термины взяты у Rajni Kothary, «The Congress 'System' in India», *Asian Survey, 4* (December 1964), 1161 ff. См. также. Abernethy, p. 482–489.

23 David Donald, *An Excess of Democracy* (Inaugural Lecture, Oxford, Clarendon Press, 1960), p. 17.

24 Vernon Lee Fluharty, *Dance of the Millions: Military Rule and Social Revolution in Colombia, 1930–1960* (Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1957), p. 316–317.

25 Edwin Lieuwen, *Arms and Politics in Latin America* (New York, Frederick Praeger, 1960), p. 89.

26 Duverger, p. 215–216.

27 Myron Weiner, *Party Politics in India* (Princeton, Princeton University Press, 1957), p. 230–231.

28 Seydou Kouyate, *Africa Report* (May 1963), p. 16, цит. в: Rupert Emerson, «Parties and National Integration in Africa» in LaPalombara and Weiner, p. 296–297.

29 См.: Frederick W. Frey, «Political Development, Power and Communication in Turkey», in Lucian W. Pye, ed., *Communications and Political Development*, p. 313–314.

30 Henderson, p. 303.

31 См.: Martin Meadows, «Philippine Political Parties and the 1961 Election», *Pacific Affaires, 35* (Fall 1962), 270 n.

32 Sharif al-Mujahid, «Pakistan's First Presidential Elections», *Asian Survey*. 5 (June 1965), 292; Keith Gallard, *Pakistan* (New York, Macmillan, 1957), p. 55.

33 *New York Times*, October 25, 1965, p. 17, November 21, 1966, p. 12. Выражаю признательность Абрахаму Ловенталю за данные по Доминиканской Республике.

34 Michael C. Hudson, *The Precarious Republic: Political Modernization of Lebanon* (New York, Random House, Forthcoming, 1968), Chap. 6.

35 Ben Bella, цит. по: Russell Warren Howe, «Would-Be Leader of the 'Third World'», *New Republic*, 154 (May 14, 1966), 14.

36 Lloyd I. and Susan Hoeber Rudolph, «Toward Political Stability in Underdeveloped Countries: The Case of India», *Public Policy*, 9 (1959), p. 155–157.

37 Clement Henry Moore, «The Era of the Neo-Destour», in Charles Micaud, ed., *Tunisia: The Politics of Modernization* (New York, Praeger, 1964), p. 81–82.

38 Lord Lugard, цит. у: Abernethy, p. 169.

39 Callard, *Pakistan*, p. 34.

40 Callard, *Political Forces*, p. 23–24; Mushtaq Ahmad, *Government and Politics in Pakistan* (2d ed. Karachi, Pakistan Publishing House, 1963), p. 136, 142–143.

41 Jose Nun, «A Latin American Phenomenon: The Middle Class Military Coup», p. 79.

42 Emilio Willems, «Brazil», in Arnold M. Rose, ed., *The Institutions of Advanced Societies* (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1958), p. 552.

43 W. Howard Wriggins, *Ceylon: Dilemmas of a New Nation*, p. 107–108; *The Times* (London), December 12, цит. у: George E. Kirk, «Political Problems of Selected Poly-ethnic Countries in the Middle East: Iraq, Syria, Iran, Turkey, Cyprus» (неопубликованная работа, Fifth World Congress, International Political Science Association, Paris, 1961), p. 18–19.

44 Weiner, p. 11–12; Pye, *Politics, Personality and Nation-Building*, p. 114.

45 Marcus F. Franda, «The Organizational Development of India's Congress Party», *Pacific Affairs, 35* (Fall 1962), p. 251.

46 Myron Weiner, «India's Third General Election», *Asian Survey, 2* (May 1962), 10.

47 George Rosen, *Democracy and Economic Change in India* (Berkley and Los Angeles, University of California Press, 1966), p. 72–74.

48 Myron Weiner, *Congress Party Elites* (Bloomington, Ind., Department of Government, University of Indiana, 1966), p. 14–15.

49 Waine Wilcox, «The Politics of Tradition in Southeast Asia» (неопубликованная работа, Columbia University Seminar on the State, November 13, 1963), p. 1.

50 M. Zaman, *Village AID* (Lahor, Government of West Pakistan, 1960), цит. у: A. K. M. Musa, «Basic Democracies in Pakistan — an Analytical Study» (неопубликованная работа, Harvard University, Center for International Affaires, 1965), p. 26.

51 Wriggins, p. 106.

52 D.K. Rangnekar, «The Nationalist Revolution in Ceylon», *Pacific Affairs, 33* (December 1960), 363; Wriggins, p. 81.

53 Rangnekar, p. 362–364; Marshall Singer, *The Emerging Elite* (Cambridge, MIT Press, 1964), p. 122.

54 Singer. p. 144.

55 Robert N. Kearney, «The New Political Crisis of Ceylon», *Asian Survey, 2* (June 1962), 19; Wriggins, p. 327.

56 B. M., «A 'People's Government': Social and Political Trends in Ceylon», *World Today, 12* (July 1956), 281.

57 Amos Kendall, цит. у: Arthur M. Schlesinger, Jr., *The Age of Jackson* (Boston, Little Brown, 1948), p. 6.

58 Wriggins, p. 326–327.

59 Ibid., p. 348.

60 Mr. Dias Bandaranaike, цит. у: Kearney, p. 20.

61 Ibid., p. 26.

62 Dankwart A. Rustow, «Turkey's Second Try at Democracy», *Yale Review, 52* (Summer 1963), 529.

63 Adnan Menderes, цит. у: Irwin Ross, «From Ataturk to Gursel», *The New Leader, 43* (December 5, 1960), 17.

64 Walter F. Weiker, *The Turkish Revolution, 1960–1961: Aspects of Military Politics* (Washington, D.C., The Brooklings Institution, 1963), p. 89.

65 Frey, in Pye, *Communications and Political Development*, p. 325; Kemal H. Karpat, *Turkey's Politics: The Transition to a Multi-Party System* (Princeton, Princeton University Press, 1959), p. 207–208; *Time, 86* (Oct. 22, 1965), 46.

66 Frderick W. Frey, цит. у: Richard D. Robinson, *The First Turkish Republic* (Cambridge, Harvard University Press, 1963), p. 144.

67 Frderick W. Frey, *The Turkish Political Elite*, Chap. 7 and p. 396–397.

68 Richard Butwell and Fred von der Mehden, «The 1960 Election in Burma», *Pacific Affairs, 33* (June 1960), 1954.

69 Donald E. Smith, *Religion and Politics in Burma* (Princeton, Princeton University Press, 1965), p. 242.

70 Richard Butwell, *U Nu of Burma* (Stanford, Stanford University Press, 1963), p. 244.

71 Paul Mercier, «Political Life in the Urban Centers of Senegal: A Study of Transition», *PROD Translations, 3* (June 1960), 10.

72 Цит. у: William J. Foltz, «Senegal», in James S. Coleman and Carl G. Rosberg, eds., *Political Parties and National Integration in Tropical Africa* (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1964), p. 22.

73 C. Paul Bradley, «Mass Parties in Jamaica: Structure and Organization», *Social and Economic Studies, 9* (Dec. 1960), 375–416.

74 См.: *New York Times*, May 5, 1965, p. 6.

75 Grossholtz, p. 43–44.

76 См.: Meadows, по тексту и особенно p. 262–263, 271–273.

77 Lenin, цит. у: Rustow, *A World of Nations*, p. 100, from «One Step Forward, Two Steps Backward», Robert V. Daniels, ed., *A Documentary History of Communism* (New York, Vintage, 1960), *I*, 26 f.; Eduardo Frei, цит. у: William P. Lineberry, «Chile's Struggle on the Left», *The New Leader, 49* (May 23, 1966), 6.

Сэмюэл Хантингтон

Политический порядок в меняющихся обществах

Директор издательства Б.В. Орешин
Зам. директора Е.Д. Горжевская
Зав. производством Н.П. Романова

Подписано в печать 27.04.04. Формат 60x90/16.
Гарнитура Franklin. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Печ. л. 30,0.
Тираж 1000 экз. Заказ № 7832.

Издательство «Прогресс-Традиция»
119048, Москва, ул. Усачева, д. 29, корп. 9
Тел. (095) 245-53-95, 245-49-03

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ФГУП "Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ",
140010, г. Люберцы Московской обл.,
Октябрьский проспект, 403. Телефон 554-21-86

ISBN 589826194-X

9 785898 261948